

Гроссман Василий За правое дело (Книга 1)

Гроссман Василий Семенович
«За правое дело»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Петру Семеновичу Вавилову принесли повестку.

Что-то сжалось в душе у него, когда он увидел, как Маша Балашова шла через улицу прямо к его двору, держа в руке белый листок. Она прошла под окном, не заглянув в дом, и на секунду показалось, что она пройдёт мимо, но тут Вавилов вспомнил, что в соседнем доме молодых мужчин не осталось, не старикам же носят повестки. И действительно, не старикам — тотчас загремело в сенях, видимо, Маша в полутьме споткнулась и коромысло, падая, загремело по ведру.

Маша Балашова иногда заходила то вечерам к Вавиловым, еще недавно она училась в одном классе с вавиловской Настей, и у них были свои дела. Звала она Вавилова «дядя Петр», но на этот раз она оказалась.

— Распишитесь в получении повестки, — и не стала говорить с подругой.

Вавилов сел за стол и расписался.

— Ну всё, — сказал он поднявшись.

И это «всё» относилось не к подписи в разносной книжке, а к кончившейся домашней, семейной жизни, оборвавшейся для него в этот миг. И дом, который он собирался покинуть, предстал перед ним добрым и хорошим. Печь, дымившая в сырые мартовские дни, печь с обнажившимся из-под побелки кирпичом, с выпуклым от старости боком показалась ему славной, как живое, всю жизнь прожившее рядом существо. Зимой он, входя в дом и растопырив перед ней сведенные морозом пальцы, вдыхал её тепло, а ночью отогревался на овчинном полушубке, зная, где печь погорячей, а где попрохладней. В темноте, собираясь на работу, он вставал с постели, подходил к печи, привычно нашаривал коробок спичек, высохшие за ночь портянки. И всё, все — стол и маленькая скамеечка у двери, сидя на которой жена чистила картошку, и щель между половицами у порога, куда заглядывали дети, чтобы подсмотреть мышиную подпольную жизнь, и белые занавески на окнах, и чугунок, настолько чёрный от копоти, что утром его не различишь в теплом мраке печи, и подоконник, где стоял в банке красенький комнатный цветок, и полотенце на гвоздике — всё это стало по-особому мило и дорого ему, так мило, так дорого, как могут быть милы и дороги лишь живые существа. Из троих его детей старший сын Алексей ушёл на войну, а дома жила дочь Настя и четырёхлетний, одновременно раз умный и глупенький сыночек Ваня, которого Вавилов прозвал «самоваром». И правда, он был похож на самовар краснощёкий, пузатенький, с маленьким крапчиком, всегда видным из раскрытых штанишек, деловито и важно сопящий.

Шестнадцатилетняя Настя уже работала в колхозе и на собственные деньги купила себе платье, ботинки и суконный красный беретик, казавшийся ей очень нарядным. Вавилов, глядя, как дочь, возбужденная и веселая, в знаменитом берете, выходила гулять, шла по улице среди подруг, обычно с грустью думал, что после войны девушек будет больше, чем женихов.

Да, здесь шла его жизнь. За этим столом сидел ночами Алексей, готовившийся в агрономический техникум, вместе с товарищами решал задачи по алгебре, геометрии, физике. За этим столом Настя читала с подругами хрестоматию «Родная литература» За этим

столом сидели сыновья соседей, приехавшие гостить из Москвы и Горького, рассказывали о своей жизни, работе, и жена Вавилова, Марья Николаевна, раскрасневшись от жара печи и от волнения, угощала гостей пирогами, чаем с мёдом и говорила:

— Что ж, наши тоже в город поедут учиться на профессоров да на инженеров.

Вавилов достал из сундука красный платок, в котором были завернуты справки и метрики, вынул свой воинский билет. Когда он вновь положил сверточек со справками жены и дочери и свидетельством о рождении Вани в сундук, а свои документы переложил в карман пиджака, он почувствовал, что как бы отделился от своего семейства. А дочь смотрела на него новым, пытливым взглядом. В эти мгновения он стал для неё каким то иным, словно невидимая пелена легла между ним и ею. Жена должна была вернуться поздно, ее послали с другими женщинами ровнять дорогу к станции — по этой дороге возили военные грузовики сено и зерно к эшелонам.

— Вот, дочка, и мое время пришло, — сказал он, Она тихо ответила ему:

— Вы о нас с мамой не беспокойтесь. Мы работать будем. Только бы вы здоровый вернулись, — и, поглядев на него снизу вверх, прибавила — Может, Алёшу нашего встретите, вам вдвоём там тоже веселей будет.

О том, что ждало его впереди, Вавилов ещё не думал, мысли были заняты домом и незаконченными колхозными делами, но эти мысли стали новые, иные, чем несколько минут назад. Сперва нужно было сделать то, с чем жене самой не справиться. Начал он с самого лёгкого: насадил топор на готовое, лежавшее в запасе топориче. Потом заменил худую перекладину в лестнице и полез чинить крышу. Он захватил туда с собой несколько новых тесин, топор, ножовку, сумочку с гвоздями. На минутку ему показалось, что он не сорокапятилетний человек, отец семейства, а мальчишка, взобравшийся ради озорной игры на крышу, сейчас выйдет из избы мать и, заслоня ладонью глаза от солнца, поглядит вверх, крикнет:

— Петька, чтоб тебя, слазь! — и топнет в нетерпении ногой, досадуя, что нельзя схватить его за ухо. — Слазь, тебе говорят!

И он невольно поглядел на поросший бузиной и рябиной холм за деревней, где виднелись редкие, ушедшие в землю кресты. На миг показалось ему, он кругом виноват: и перед детьми, и перед покойной матерью, теперь уж не поспеет он поправить крест на её могиле, и перед землёй, которую ему не пахать в эту осень, и перед женой, ей на плечи он переложит тяжесть, которую нёс. Он оглядел деревню, широкую улицу, избы и дворики, темневший вдали лес, высокое ясное небо — вот тут шла его жизнь. Белым пятном выделялась новая школа, солнце блестело в её просторных стеклах, белела длинная стена колхозного скотного двора, из-за дальних деревьев видна была красная крыша больницы.

Много он тут потрудился! Это он со своими односельчанами возводил плотину, строил мельницу, бил камень на постройку инвентарного сарая и скотного двора, возил лес для новой школы, рыл котлованы для фундаментов. А сколько он допахал колхозной земли, накосил сена, намолотил зерна! А сколько он со своими товарищами по бригаде наформовал кирпича! Из этого кирпича — и больница, и школа, и клуб, и даже в район его кирпич возили. Два сезона он проработал на торфе — от комаров на болоте такое гудение, что дизеля не слышно. Много, много он бил молотом, и рубил топором, и копал лопатой, и плотничал, и стёкла вставлял, и точил инструмент, и слесарил.

Он всё оглядывал, дома, огороды, улицу, тропинки, оглядывал деревню, как оглядывают жизнь. Вот прошли к правлению колхоза два старика — сердитый спорщик Пухов и сосед Вавилова Козлов, его за глаза звали Козликом. Вышла из избы соседка Наталья Дегтярева, подошла к ворогам, поглядела направо, налево, замахнулась на соседских кур и вернулась обратно в дом.

Нет, останутся следы его труда.

Он видел, как в деревню, где отец его знал лишь соху да цеп, косу да серп, вторглись трактор и комбайн, сенокосилки, молотилки. Он видел, как уходили из деревни учиться молодые ребята и девушки и возвращались агрономами, учителями, механиками,

зоотехниками. Он знал, что сын кузнеца Пачкина стал генералом, что перед войной приезжали гостить к родным деревенские парни, ставшие инженерами, директорами заводов, областными партийными работниками.

Вавилов ещё раз посмотрел вокруг.

Ему всегда хотелось, чтобы жизнь человека была просторна, светла, как это небо, и он работал, поднимая жизнь. И ведь не зря работал он и миллионы таких, как он. Жизнь шла в гору.

Закончив работу, Вавилов слез с крыши, пошёл к воротам. Ему вдруг вспомнилась последняя мирная ночь, под воскресенье 22 июня: вся огромная, молодая рабочая и колхозная Россия пела, играла на баянах в городских садах, на танцевальных площадках, на сельских улицах, в рощах, в перелесках, на лугах, у родных речек.

И вдруг стало тихо, не доиграли баяны.

Вот уж год стоит над советской землёй суровая, без улыбки тишина.

Вавилов пошёл в правление колхоза. По дороге он опять увидел Наталью Дегтярёву.

Обычно она смотрела на Вавилова угрюмо, с упрёком — у неё на войне были и муж и сыновья. Но сейчас, по тому, как она поглядела на него внимательно и жалостливо, Вавилов понял. Дегтярёва уже знает, что и к нему пришла повестка.

— Идешь, Пётр Семёнович? — опросила она. — Марья-то ещё не знает?

— Узнает, — ответил он.

— Ой, узнает, узнает, — сказала Наталья и пошла от ворот в избу.

В правлении председателя не оказалось: уехал на два дня в район Вавилов не любил председателя. Тот, случалось, гнул свой личный интерес, хитрил. Он, видно, считал, что главное в жизни не работа, а умение обращаться с людьми, говорил одно, а делал другое.

Вавилов сдал однорукому счетоводу Шепунову колхозные деньги, полученные им накануне в районной конторе Госбанка, получил расписку, сложил вчетверо и положил в карман.

— Ну всё, до копеечки, — сказал он, — перед колхозом я не виноват ни в чем.

Шепунов, позванивая медалью «За боевые заслуги» о металлическую пуговицу на гимнастёрке, подвинул в сторону Вавилова лежавшую на столе районную газету и спросил:

— Читал, товарищ Вавилов, «В последний час»? Успешное наступление наших войск на Харьковском направлении, от Советского Информбюро?

— Нет, — ответил Вавилов.

Шепунов, заглядывая в газету, стал читать

— «12 мая наши войска, перейдя в наступление на Харьковском направлении, прорвали оборону немецких войск и, отразив контратаки крупных танковых соединений и мотопехоты, продвигаются на Запад. — Он поднял палец, подмигнув Вавилову: — ...продвинулись на глубину 20-60 километров и освободили свыше 300 населённых пунктов. «Вот и пишут «захвачено орудий 365, танков 25, а патронов около 1.000.000 штук...

Он посмотрел на Вавилова с дружелюбием старого солдата к новичку и спросил:

— Понял теперь?

Вавилов показал ему повестку из военкомата.

— Понял, отчего ж я не понял... Я и другое понял это только начало, а к самому делу как раз и я поспею, — и он разглядел повестку на ладони.

— Может, передать что-нибудь Ивану Михайловичу? — спросил счетовод.

— Что ж ему передавать, он и сам всё знает. Они заговорили о колхозных делах, и Вавилов, забыв о том, что председатель «сам всё знает», стал наказывать Шепунову:

— Ты передай Ивану Михайловичу доски, что я с лесопильного завода привез, пусть на ремонт не пускает, для стройки пустит. Так и скажи. Потом насчёт мешков наших, что в районе остались. Надо человека послать, а то пропадут, либо заменят их нам. Потом насчёт оформления ссуды... так и скажи — Вавилов передал...

В колхозе Вавилова многие побаивались — бывал он резок и прям. Но ему верили и уважали его.

Он шел обратно к дому по пустой улице и все ускорял шаги. Его нестерпимо тянуло вновь увидеть детей, дом, казалось — всем телом, не только умом ощутил он тоску близкого расставания.

Он вошёл в дом, и всё в доме было знакомо и известно, и всё знакомое и известное показалось новым, волновало и трогало душу. И комод, покрытый вязаной скатертью, и подшитые валенки с черными заплатами, и ходики, висевшие над широкой кроватью, и фотографии родных в застеклённой раме, и большая легкая кружка из тонкой белой жести, и маленькая тяжёлая кружка из темной меди, и стиранные вылинявшие серые штанишки Ванюши, отливающие какой-то грустной, неясной голубизной. И сама изба внутри имела удивительное свойство, присущее русским избам, — была одновременно тесна и просторна... Как в этой избе хороши были дети! С утра, топоча босыми ножками, пробежит Ваня по полу, светлоголовый, точно живой тёплый цветочек...

Вавилов помог Ване влезть на высокий стул, и сквозь шершавую мозолистую ладонь дошло до него тепло родного детского тела, а весёлые ясные глаза подарили его доверчивым и чистым взором, и голос крошечного человека, ни разу не оказавшего грубого слова, не выкурившего ни одной папироски, не выпившего и капли вина, спросил:

— Папаня, правда ты завтра на войну идешь?

Вавилов усмехнулся, и глаза его стали влажными.

Ночью Вавилов при лунном свете рубил сложенные под навесом за сараем пеньки. Эти пеньки в течение многих лет собирались во дворе, были они ободраны и оббиты остались в них лишь перекрученные в узлы связанные волокна, которые ни расколоть, ни рассечь, а лишь можно разодрать.

Марья Николаевна, высокая, плечистая, такая же, как и Вавилов, темнолицая, стояла возле него и время от времени нагибалась, подбирала отлетевшие далеко в сторону куски дерева, искоса поглядывая на мужа. И он оглядывался, то взмахивая топором, то наклоняясь. Он видел ее ноги, край платья, то вдруг, распрямившись, смотрел на ее большой тонкогубый рот, пристальные и тёмные глаза, высокий, выпуклый, без морщин, ясный лоб. А иногда, распрямившись, они стояли рядом и казались братом и сестрой, так одинаково отковала их жизнь, трудный труд не согнул их, а расправил. Они оба молчали, это было их прощание. Он бил топором по упругому, одновременно мягкому и неподатливому дереву, и от удара охала земля, охало в груди у Вавилова, яркое лезвие топора при свете луны было синим, оно то вспыхивало, занесённое высоко вверх, то гасло, устремляясь к земле.

Тихо было кругом. Лунный свет, словно мягкое, льняное масло, покрывал землю, траву, широкие поля молодой ржи, крыши изб, расплывался в окошечках и в лужах.

Вавилов обтёр тыльной частью ладони вспотевший лоб и поглядел на небо. Казалось, припекло его летним горячим солнцем, но высоко в небе стояло бескровное, ночное светило.

— Хватит, — сказала ему жена, — на всю войну все равно не напасёшь.

Он оглянулся на гору нарубленных дров.

— Ладно, придем с Алексеем с войны, ещё дров тебе наколем. — И он обтёр ладонью лезвие топора так же, как только что обтёр свои вспотевший лоб.

Вавилов вынул кисет и свернул папиросу, закурил, махорочный дым медленно расплывался в неподвижном воздухе.

Они зашли в дом. Тепло дохнуло в лицо, слышалось дыхание опавших детей. Этот спокойный сумрак, этот воздух, головы детей, белевшие в полутьме, — это была его жизнь, его любовь, его счастливая судьба. Ему вспомнилось, как он жил здесь холостым парнем — ходил в синих галифе, в будённовке со звездой, курил трубочку с крышечкой, которую старший брат привёз с германской войны. Этой трубочкой он гордился, она придавала ему лихой вид, и люди брали её в руки и говорили: «хорошая вещь, интересная вещь». Он потерял её перед женитьбой.

Он увидел лицо спавшей Насти и оглянулся на жену, и лучшим счастьем в мире показалось ему быть в этой избе, не уходить из неё. Этот именно миг стал самым горьким в его жизни — миг, когда не умом, не мыслью, а глазами, кожей, костями ощутил он в этой

сонной предрассветной тишине злую силу врага, которому нет дела до Вавилова, ни до того, что он любил и чего хотел. И с острой мукой и тревогой смешалось чувство любви к детям и жене. На минуту он забыл, что его судьба, судьба опавших на постели детей слилась с судьбой страны и жившего в ней народа, что судьба колхоза, в котором он жил, и судьба огромных каменных городов с миллионами горожан были едины. В горький час сердце его сжалось той болью, которая не знает и не хочет ни утешения, ни понимания. Ему лишь одного хотелось: жить в тех дровах, которые жена будет зимой класть в печь, в той соли, которой она будет солить картошку и хлеб, в том зерне, что привезёт она за его трудодни. И он знал, что жить ему в их мыслях и воспоминаниях, и в пору обилия, и в дни недостатка, в час нужды.

Жена заговорила быстро, тихо, о детях и доме и словно упрекала мужа, точно он уходил по своему легкомыслию.

Ему стало обидно, но он понимал, что ей тяжело и она говорит всё это, чтобы не прорвались из души тяжесть и боль.

Он не стал спорить с ней, а потом, когда она замолчала, спросил:

— Собрала мне, что говорил?

Она положила на стол мешок и сказала:

— В мешке весу больше, чем в вещах твоих.

— Ничего, легче итти будет, — примирительно оказал он. И действительно, весу в мешке было не много: хлеб, скрипящие ржаные сухари, кусок сала, немного сахара, кружка, иголка с моточком ниток, фуфайка, две пары белья, две пары стиранных портянок.

— Рукавицы положить? — спросила она.

— Нет. И фуфайку оставлю, пусть Насте будет, мне выдадут, — сказал Вавилов.

Марья Николаевна молча согласилась, отложила фуфайку в сторону.

— Папаня, — сказала сонным голосом Настя, — а, папаня, да вы бы фуфайку свою взяли, мне зачем она?

— Спи, спи, — сказала мать, передразнивая её сонный голос, — фуфайку, фуфайку... а сама в чём ходить будешь, вот пошлют зимой окопы копать, будешь знать тогда.

Вавилов сказал дочке:

— Ты не думай — строгий, я тебя жалею, я тебя люблю, глупенькую.

И девочка заплакала, припала щекой к его руке, оказала.

— Папенька.

— А то возьми фуфайку, — сказала жена.

— Вы хоть письма нам пишите, — всхлинула Настя. Ему многое хотелось сказать, десятки незначительных и важных вещей, в них он выразил бы свою любовь, а не только заботу о хозяйстве про то, что надо получше укрыть зимой от мороза молодое сливовое дерево, про то, чтобы не забыли перебрать картошку — она начала преть, про то, чтобы попросить председателя насчёт ремонта печки. Хотелось сказать про эту войну, на которую пошёл весь народ, и сын их пошёл, и вот отцу пришло время пойти.

Но столько было мелкого и важного, значительного и пустякового, что он не стал говорить, все равно всего не высказать.

— Так, Марья, — сказал он, — давай я вам напоследок воды наносу.

Он взял ведра и пошел к колодцу. Ведро, погромыхая об осклизлые стенки сруба, шло вниз Вавилов наклонился над колодцем, и на него пахнуло холодной влагой, и чёрный мрак ударил по глазам. В этот миг он подумал о смерти.

Ведро хлебнуло воды сразу по самый край. Оно шло вверх, и Вавилов слушал, как вода падала на воду, и чем выше поднималось ведро, тем звонче становился этот звук. Ведро выплыло из тьмы, и быстрые струи сбегали с него, торопливо и жадно устремлялись обратно во тьму.

Входя в сени, он увидел жену, сидевшую на лавке. В полутьме он не мог ее хорошо разглядеть, но угадывал выражение её лица.

Она подняла голову и сказала:

— Посиди, отдохни, поешь.

— Ничего, успею, — сказал он.

Уже светало. Он сел за стол. На столе лежала в миске картошка, белел засахарившийся мёд на блюде, лежал нарезанный хлеб, стояла кружка молока. Он ел неторопливо. Щёки у него горели, как от зимнего ветра. Жена подвинула ему миску и проговорила:

— Съешь яичек, я полтора десятка тебе в мешок положу, сварила.

Он улыбнулся этой заботе такой застенчивой и ясной улыбкой, что Марью Николаевну словно обожгло. Так улыбался он ей, когда она восемнадцатилетней вошла в эту избу. И женщина почувствовала то, что чувствуют тысячи тысяч таких, как она Сердце сжалось, и одно оставалось — закричать, чтобы криком выразить и оглушить своё горе. Но она только проговорила:

— Надо бы пирогов напечь, вина купить, да где — война. А он встал, обтёр рот и сказал:

— Ну! — и стал собираться. Они обнялись.

— Петр, — медленно проговорила она, как бы убеждая его опомниться, одуматься.

— Надо, — оказал он.

Движения его были медленны, но он старался не смотреть в сторону жены.

— Надо детей разбудить, а то Настя снова заснула, — рассуждая сама с собой, проговорила Марья Николаевна. Разбудить детей ей хотелось в помощь себе, чтобы поделить с ними тяжесть этой минуты.

— Чего будить, я с вечера с ними простился, — сказал он и прислушался к сонному дыханию дочери.

Он поправил мешок, взял шапку, шагнул к двери, быстро поглядел на жену.

Она вместе с ним обвела глазами стены, но как по-разному видели они эту избу, когда в последнюю минуту стояли рядом на пороге! Она заранее знала, что всё ее одиночество увидят эти стены, и они казались ей угрюмы, пусты. А ему хотелось унести в памяти самый добрый для него дом на земле.

Он шёл по дороге, а она, выйдя к воротам, смотрела ему вслед, и ей казалось, что она снесёт всё, всё переживёт, лишь бы вернулся и хоть час побыл, хоть раз ещё посмотреть на него.

— Пётр, Петя, — шептала она.

Но он не оглянулся, не остановился, всё шёл навстречу красной заре, поднявшейся над краем вспаханной им земли. А холодный ветер бил в лицо, выдувая из его одежды тепло, дух жилья.

В семейном празднике, устроенном в военные дни 1942 года в доме Александры Владимировны Шапошниковой, вдовы известного инженера-мостостроителя, не было легкомыслия.

В коротком сборе родных, усаживающихся вокруг стола, чтобы поглядеть в лицо готового уйти в далёкий путь близкого человека, есть внутренний, трогательный смысл. Недаром обычай этот существовал в различных слоях общества и сохранился, когда исчезли многие обычаи прошлого.

Родные и друзья понимали: это, быть может, последний сбор семьи, кто знает, удастся ли встретиться когда-нибудь.

Было решено позвать Мостовского и старинного знакомого, Андреева Андреев знал покойного мужа Александры Владимировны с очень давних времён, когда тот, еще студентом-политехником, приезжал на Волгу практиковать машинистом на буксирном пароходе. Андреев служил на этом пароходе кочегаром, и девятнадцатилетний студент Шапошников много раз беседовал с ним на паровой палубе. После у него с семьей Шапошниковых завязалось устойчивое знакомство, и когда Александра Владимировна, вдовой, приехала с детьми в Сталинград, Андреев постоянно навещал её.

Женя, младшая дочь Александры Владимировны, смеясь, говорила.

— Судя по всему, мамин поклонник.

Была позвана также недавняя знакомая Шапошниковых Тамара Берёзкина. Тамаре так круто пришлось во время войны, столько на её долю и долю её детей выпало скитаний, бомбёжек, пожаров, что её в семье Шапошниковых обычно называли «бедняга Тамара» и говорили «Что же это не приходит бедняга Тамара?»

Трёхкомнатная квартира Шапошниковых, казавшаяся всем просторной — в ней Александра Владимировна жила вдвоём с внуком Серёжей, — ныне стала тесной. К Александре Владимировне вскоре после начала летнего немецкого наступления перебралась со Сталгрэса семья средней дочери, Маруси. До этого Маруся с мужем и дочерью Верой жила в доме, примыкавшем к зданию электростанции. Большинство инженеров, имевших родственников в Сталинграде, опасаясь ночных налётов, переселили свои семьи в город.

Степан Фёдорович, муж Маруси, перевёз к тётке пианино и часть мебели. Вскоре после переезда Маруси и Веры приехала в Сталинград младшая дочь Александры Владимировны. Женя.

В свободное от дежурств время ночевала у Шапошниковых старинная приятельница Александры Владимировны, док-тор Софья Осиповна Левинтон, работавшая хирургом в одном из сталинградских госпиталей.

Накануне внезапно приехал Толя — сын Людмилы, старшей дочери Александры Владимировны, он ехал из военной школы с назначением в армию. Приехал он не один, а со своим дорожным товарищем, лейтенантом, возвращающимся из госпиталя в часть. Когда они вошли в дом, бабушка не сразу узнала Толю в военной форме и строго спросила:

— Вам кого нужно, товарищи? — И вдруг вскрикнула. — Толенька!

Женя объявила, что необходимо торжественно отметить сбор семьи.

Степан Фёдорович привёз белой муки, и с вечера было расчищено тесто на пироги. Женя добыла три бутылки сладкого вина; Маруся пожертвовала для пира часть неприкосновенного, обменного фонда — пол-литровую бутылку водки.

В то время было принято ходить в гости со своими продуктами «единоличным» хозяевам трудно было устроить многолюдное пиршество.

Женя с влажными от кухонного жара висками и липом, в халатике, наброшенном поверх нарядного летнего платья, повязав косынку, из-под которой выбивались тёмные завитки волос, стояла посреди кухни — в одной руке её был нож, в другой — кухонное полотенце.

— Господи, неужели мама ещё не пришла с работы до сих пор? — спросила она у сестры. — Нужно его уже поворачивать, а вдруг сгорит, я вашей духовки не знаю.

Она была увлечена печением пирога и думала только о пироге. Маруся, посмеиваясь над хозяйственным пылом младшей сестры, проговорила:

— Я ведь тоже этой духовки не знаю, ты не волнуйся, ведь мама уже дома, там уже пришёл кто-то из гостей.

— Маруся, зачем ты носишь этот ужасный коричневый жакет? — спросила Женя. — Ты и так сутулишься, а в нём кажешься совсем горбатой. А темный платочек только подчёркивает седину. Тебе при твоей худобе надо носить светлое.

— Где мне об этом думать, — сказала Маруся, — я скоро бабушкой стану, Вере моей восемнадцать лет, шутка ли?

Она прислушалась к звукам пианино, доносившимся из комнаты, и, нахмутив лоб, посмотрела на Женю сердитым взглядом своих больших тёмных глаз.

— Только тебе могло прийти в голову устраивать всё это, — сказала она, перед соседями неловко. Не во-время, не во-время ты пировать затеяла.

Женя часто принимала внезапные решения, порой причинявшие ей и близким её немало огорчений. В школьные годы она то в ущерб занятиям увлекалась танцами, то вдруг воображала себя художником. Её привязанность к подругам была непостоянна: то она объявляла одну из своих подруг замечательной, благородной, то с горячностью обличала её грехи. Она поступила на факультет живописи Московского художественного института и кончила его. Иногда Жене казалось, что она отличный мастер — и она восхищалась своими

работами и своим» замыслами, то вдруг вспоминала чьи-то равнодушные глаза, чьё-то насмешливое замечание — и решала: «я бездарная королева», и жалела, что не училась прикладным искусствам, раскрашиванию тканей. Двадцати двух лет Женя, студенткой последнего курса, вышла замуж за работника Коминтерна Крымова. Он был старше её на тринадцать лет. Ей всё нравилось в муже: его равнодушие к мещанским удобствам и к красивым вещам, романтическое прошлое участника гражданской войны, его работа в Китае, его коминтерновские друзья. Но вот, хотя Женя и восхищалась мужем, а Крымов, казалось, искренне и сильно любил её, супружество их не было прочным.

И кончилась их совместная жизнь тем, что в один декабрьский день Евгения Николаевна уложила вещи в чемодан и уехала к матери. Это случилось в 1940 году. Женя так путано объяснила родным причину своего разрыва с мужем, что ни кто ничего не понял. Маруся назвала её неврастеничкой, мать спрашивала, не полюбила ли Женя кого-нибудь? Вера спорила с пятнадцатилетним Серёжей, которому поступок Жени казался правильным.

— Как ты не понимаешь, — говорил он, — разлюбила и всё, как ты не понимаешь!

— Ну вот, расфилософствовался: полюбила, разлюбила. Что ты в этом смыслишь, минога, — говорила ему двоюродная сестра, учившаяся тогда в девятом классе и считавшая себя искушённой в сердечных делах.

Но всё это было до войны и в этот приезд Жени не вспоминалось.

Молодое поколение собралось в маленькой Серёжиной комнатке, в которую Степан Фёдорович ухитрился втиснуть пианино, привезённое со Сталгрэса.

Шёл шуточный разговор о том, кто на кого похож и кто не похож. Худой, бледнолицый, темноглазый Серёжа походил на мать. От матери были у него черные волосы и смуглая кожа, нервные движения и быстрый, робкий и дерзкий взгляд тёмных больших глаз. Толя, высокий и плечистый, с широким лицом и широким носом, то и дело поправлявший перед зеркалом светлосоломенные волосы, вынул из кармана гимнастёрки фотографию, на которой он был снят рядом с сестрой Надей, худенькой девочкой с длинными тонкими косичками, жившей сейчас с родителями в казанской эвакуации, и все рассмеялись, настолько были не похожи брат и сестра. А Вера, высокая, румяная, с маленьким прямым носиком, не имела никакого сходства с двоюродными братьями и двоюродной сестрой, только живыми и сердитыми карими глазами она походила на свою молодую тётку Женю.

Утром Толя вместе с попутчиком лейтенантом Ковалёвым сходили в штаб округа. Ковалёв узнал, что его дивизия по-прежнему стоит в резерве где-то между Камышином и Саратовом. Толя тоже имел предписание явиться в одну из резервных дивизий. Молодые лейтенанты решили остаться в Сталинграде на лишние сутки «Войны на нас хватит, — рассудительно сказал Ковалёв, — не опоздаем». Было условлено не выходить на улицу, чтобы не попасться комендантскому патрулю.

Всю трудную дорогу до Сталинграда Ковалёв помогал Толе, у него имелся котелок, а у Толи котелок пропал в день выхода из школы. Ковалёв заранее знал, на какой станции будет кипяток, на каких продпунктах по аттестату дают копчёного рыбца и баранью колбасу, а на каких лишь гороховый и пшённый концентрат.

В Батраках он раздобыл фляжку самогона, и они распили её с Толей. Ковалёв рассказал ему о своей любви к девушке-землячке, на которой он женится, как только кончится война.

Дружеское расположение фронтового лейтенанта льстило Толе. В поезде он старался казаться бывалым парнем, а когда речь заходила о девушках, с утомлённой усмешкой говорил. «Да, брат, всяко бывает».

Сейчас Толе хотелось поболтать, как некогда, с Серёжей и Верой, но он почему-то стыдился их перед Ковалёвым, почему — сам не мог понять. Уйди Ковалёв, он бы заговорил о том, о чём всегда говорил с двоюродными братом и сестрой. Минутами Ковалёв тяготил Толю, и ему становилось стыдно оттого, что возникало такое чувство к верному дорожному товарищу.

Вся жизнь его была связана с миром, где жили Серёжа, Вера и бабушка, но встреча с

близкими людьми казалась сейчас случайной и мимолётной.

В мире военной службы, где были лейтенанты, политруки, старшины и ефрейторы, треугольники, кубики, «шпалы» и ромбы, продовольственные аттестаты и проездные литеры, ему суждено было отныне жить. В этом мире встретились ему новые люди, новые друзья и новые недруга, в этом мире всё было по-новому.

Толя не сказал Ковалёву, что он хотел поступить на физико-математический факультет и собирался произвести переворот в естественных науках. Он не рассказывал Ковалёву о том, что незадолго до войны начал конструировать телевизор.

По внешности Толя был плечистый, рослый: «тяжеловес» — называли его в семье, а душа у него оказалась робкая и деликатная.

Разговор не вязался. Ковалёв выстукивал на пианино одним пальцем «Любимый город может спать спокойно».

— А это кто? — зевая, спросил он и указал на портрет, висевший над пианино.

— Это я, — сказала Вера, — тётя Женя рисовала.

— Не похожа, — сказал Ковалёв. Главную неловкость производил Серёжа, он смотрел на гостей насмешливыми, наблюдающими глазами, хотя ему полагалось бы, как всякому нормальному отроку, восхищаться военными, да ещё таким, как Ковалёв, с двумя медалями «За отвагу», со шрамом на виске. Он не расспрашивал о военной школе, и это обижало Толю, ему обязательно хотелось рассказать о старшине, о стрельбе на полигоне, о том, как ребята ухитрились без увольнительной записки ходить в кино.

Вера, знаменитая в семье тем, что могла смеяться без всякого повода, просто оттого, что смех был постоянно в ней самой, сегодня была неразговорчива и угрюма. Но она хотя бы присматривалась к гостю, а Серёжа, чувствовал Толя, нарочно затевал самые неподходящие разговоры, со злорадной прозорливостью находил особенно бестактные слова.

— Вера, а ты что молчишь? — раздражённо спросил Толя.

— Я не молчу.

— Её ранил амур, — сказал Серёжа.

— Дурак, — ответила Вера.

— Факт, сразу покраснела, — сказал Ковалев и плутовски подмигнул Вере, точно, влюблена! В майора, верно? Теперь девушки говорят «Нам лейтенанты на нервы действуют».

— А мне лейтенанты не действуют на нервы, — сказала Вера и посмотрела Ковалёву в глаза.

— Во, значит в лейтенанта, — сказал Ковалёв и немного расстроился, так как лейтенанту всегда неприятно видеть девушку, отдавшую сердце другому лейтенанту. — Знаете что, — сказал он, — давайте выпьем по сто грамм, раз такое дело, у меня в фляжке есть.

— Давайте, — внезапно оживился Серёжа, — давайте, обязательно.

Вера сперва стала отказываться, но выпила лихо и закусила солдатским сухариком, добытым из зелёного мешка.

— Вы будете настоящая фронтовая подруга, — сказал Ковалёв

И Вера стала смеяться, как маленькая, морща нос, притопывая ногой и трясая русой гривой волос.

Серёжа сразу захмелел, сперва пустился в критику военных действий, а потом стал читать стихи. Толя искоса поглядывал на Ковалёва, не смеется ли он над семейством, где взрослый малый, размахивая руками, читает наизусть Есенина, но Ковалёв слушал внимательно, стал похож на деревенского мальчика, потом вдруг раскрыл полевую сумку и сказал:

— Стой, дай я спишу!

Вера нахмурилась, задумалась и, погладив Толю по щеке, сказала!

— Ой, Толя, Толенька, ничего ты не знаешь! — таким голосом, точно ей было не восемнадцать лет, а по крайней мере пятьдесят восемь.

Александра Владимировна Шапошникова, высокая, статная старуха, задолго до революции кончила по естественному отделению Высшие женские курсы. После смерти мужа она одно время была учительницей, затем работала химиком в бактериологическом институте, а в последние годы заведывала лабораторией по охране труда. Штат в лаборатории был невелик, а во время войны и вовсе уменьшился, и ей приходилось самой ездить на заводы, в железнодорожные депо, на элеватор, на швейные и обувные фабрики, брать пробы при исследовании воздуха и промышленной пыли. Эти поездки утомляли, но Александре Владимировне они были приятны и интересны. Она любила работу химика, и в своей маленькой лаборатории сконструировала аппаратуру для количественного анализа воздуха промышленных предприятий, производила анализы металлической пыли, технической и питьевой воды, определяла вредоносные окись углерода, сероуглерод, окислы азота, анализировала различные сплавы и свинцовые соединения, определяла пары ртути и мышьяка. Она любила людей и при поездках на предприятия встречалась и разговаривала, заводила дружбу с токарями, швеями, мукомолами, кузнецами, монтерами, кочегарами, кондукторами трамваев, желез подорожными машинистами.

Вернувшись с работы, она, подойдя к зеркалу, долго поправляла свои белые волосы, приколола к воротничку блузки брошечку-две эмалевые фиалки. Она задумалась на мгновение, глядя на себя в зеркало, и решительно открепила брошку, положила её на столик. Дверь приоткрылась, и Вера громким, смешливым и испуганным шёпотом сказала:

— Бабушка, скорей, пришёл этот самый грозный старик Мостовской!

Александра Владимировна на секунду замешкалась, вновь приколола брошку и торопливо пошла к двери.

Ока встретила Мостовского в маленькой передней, заставленной корзинами, старыми чемоданами и мешками с картошкой.

Михаил Сидорович Мостовской принадлежал к людям той неисчерпаемой жизненной силы, о которых принято говорить — «это человек особой породы».

Мостовской жил до войны в Ленинграде. Его вывезли из блокады самолётом в феврале 1942 года. Мостовской сохранил лёгкость походки, хорошее зрение и слух, сохранил память и силу мысли, а главное, сохранил живой, не запылённый интерес к жизни, науке и людям. Он обладал всем этим, несмотря на то, что прожил жизнь, которой бы хватало на много людей столько пришлось на него одного царской каторги, ссылки, бессонных трудовых ночей, лишений, ненависти врагов, разочарований, горечи, радости, печали Александра Владимировна познакомилась с Мостовским до революции. Это было в ту пору, когда покойный муж её служил в Нижнем Новгороде, и Мостовской, приехавший туда по конспиративным делам, около месяца прожил у Шапошниковых на квартире. Потом уж, после революции, она, приезжая в Ленинград, навещала его, а ныне, в пору войны, судьба столкнула их в Сталинграде.

Он вошёл в комнату и оглядел живыми прищуренными глазами стулья и табуретки, стоящие вокруг накрытого белой скатертью, ожидавшего гостей стола, стенные часы, платяной шкаф, китайскую складную ширму с вытканной шелком фигурой крадущегося тигра среди зеленовато-желтого бамбука.

— Эти некрашенные книжные полки напоминают мою ленинградскую квартиру, проговорил Мостовской, — да и не только полки напоминают, но и то, что на полках: вот «Капитал», и Ленинские сборники, и Гегель — по-немецки, а на стене портреты Некрасова и Добролюбова.

Мостовской поднял палец:

— 0! Судя по количеству приборов — у вас званый обед. Напрасно вы мне не сказали, я бы надел свой лучший галстук.

Александра Владимировна всегда испытывала перед Мостовским несвойственное ей чувство робости. И сейчас ей показалось, что Мостовской осуждает её, и она покраснела. Печальна и трогательна краска смущения на старческом лице.

— Подчинилась требованиям дочерей и внуков, — сказала Александра Владимировна,

— после ленинградской зимы вам это, вероятно, кажется лишним и странным.

— Наоборот, совсем наоборот, далеко не лишним, — сказал он и, сев к столу, принялся набивать самосадом трубку. — Пожалуйста, вы ведь курите, — протянул он ей кисет. — Попробуйте моего.

Мостовской вынул из кармана кремень, пухлый белый шнур и кусок стального напильника.

— «Катюша», — сказал он, — не ладится она у меня. Они переглянулись и улыбнулись друг другу «Катюша» действительно не ладилась, не давала огня.

— Я сейчас принесу спички, — предложила Александра Владимировна, но Мостовской замахал рукой

— Что вы, спички, кто их теперь тратит зря.

— Да, теперь держат спички на случай ночных неожиданностей военного времени.

Ода пошла к шкафу и, вернувшись к столу, с шутливой торжественностью сказала:

— Михаил Сидорович, разрешите вам преподнести от всей души, — и протянула непечатый коробок спичек, Мостовской принял подарок. Они закурили, одновременно затянулись и выпустили дым, он смешался в воздухе, пополз лениво к открытому окну.

— Думаете об отъезде? — опросил Мостовской.

— Как все, но пока ещё никаких разговоров нет.

— А куда думаете, если не военная тайна?

— В Казань, туда эвакуирована часть Академии наук, а муж моей старшей дочери, Людмилы, он профессор, собственно член-корреспондент, получил квартиру, то есть не квартиру-две комнатки, зовет к себе. Но вам-то беспокоиться нечего, за вас подумают.

Мостовской посмотрел на неё и кивнул.

— Неужели их не остановят? — спросила Александра Владимировна, и в голосе её было отчаяние, как-то не вязавшееся с уверенным и даже надменным выражением её красивого лица. Она заговорила медленно, с усилием: — Фашизм действительно так силен? Я не верю этому! Объясните мне, ради бога. Что это? И эта карта на стене, мне иногда хочется её снять, спрятать. Серёжа каждый день переставляет флажки. Как прошлым летом — возникают всё новые направления: Харьковское, потом вдруг Курское, потом Волчанское и Белгородское. Пал Севастополь. Я спрашиваю у военных, выпытываю — что это?

Она помолчала и, движением руки как бы отталкивая страшную для себя мысль, продолжала:

— Я подхожу к книжным полкам, вот о которых вы говорили, где Пушкин, Чернышевский, Толстой, Ленин, беру в руки книги, листаю их, — нет, нет, мы остановим фашистов, конечно, конечно, остановим!

— Что же вам отвечают военные? — спросил Мостовской. В это время из-за двери послышался сердитый и смеющийся молодой женский голос:

— Мама, Маруся, где же вы? Ведь пирог сгорит!

Мостовской сказал:

— О, дело, оказывается, нешуточное, пирог! Александра Владимировна, указав в сторону двери, объяснила;

— Собственно, из-за неё всё и устроили, это моя младшая, Женя, вы её знаете. Неделю назад вдруг приехала. Теперь близкие все разлучаются, а тут такая неожиданная встреча. А тут еще внук, сын Людмилы, проездом на фронт остановился. Вот мы и решили одновременно отметить и встречу и расставание.

— Да, — сказал Мостовской, — жизнь ведь идёт...

Шапошникова тихо произнесла:

— Если бы вы знали, как тяжело, и общее горе я воспринимаю не как молодые, а по-стариковски.

Мостовской погладил её по руке. — Идите, идите, а то и в самом деле пирог сгорит.

— Наступает решающий момент, — сказала Женя, наклоняясь вместе с Александрой Владимировной над полуоткрытой дверцей духовки. Она сбоку глянула на мать и, приблизив

губы к её уху, произнесла скороговоркой:

— Я утром получила письмо, помнишь, я тебе рассказывала, давно ещё, до войны... военный, мой знакомый, Новиков, в поезде встретился... Какое удивительное совпадение и тогда и теперь. Представь, сегодня проснулась и именно его вспомнила, подумала: вот уж кого давно нет на свете, а через час письмо.. И та наша встреча в поезде, после моего ухода из Москвы, ведь тоже странное совпадение?

Женя обняла мать за шею и стала целовать её в щёку, в седые волосы, спускавшиеся на виски.

Когда Женя училась в Художественном институте, ей как-то пришлось быть на торжественном вечере в Военной академии. Там она познакомилась с высоким, медленно и тяжело ступавшим военным, старшиной курса. Он проводил её до трамвая, затем несколько раз был у неё дома. Весной он кончил академию, уехал, написал ей два или три письма, и в этих письмах он не объяснялся в чувствах, однако просил прислать фотографию. Она послала ему маленькую карточку, снятую в пятиминутке для паспорта. Потом он перестал писать ей, она уже к этому времени кончила Художественный институт, вышла замуж.

Когда она после разрыва с мужем ехала к матери, в Воронеже в её купе вошёл плечистый светловолосый военный.

— Вы не узнаете меня? — спросил он, протягивая ей большую белую руку.

— Товарищ Новиков, — сказала она, — конечно, я вас узнала. Почему вы тогда перестали мне писать?

Он усмехнулся и, молча вынув маленькую, вложенную в конвертик фотографию, показал ей.

Это был снимок, посланный ему когда-то.

— Я вас узнал, когда ваше лицо мелькнуло в окне, — сказал он.

Соседи по купе, две пожилые врачихи, прислушивались к каждому их слову. Эта встреча была для них развлечением. Разговор шёл общий, одна врачиха, с футляром от очков, торчавшим из карманчика жакетки, говорила без умолку, вспоминала все неожиданные встречи, бывшие в её жизни, в жизни её родных и знакомых. Женя была благодарна болтливой докторше — Новиков, видимо, ждал сердечного, важного разговора, считал, что встреча эта не случайная, а Жене хотелось лишь одного — молчать.

Он сошёл в Лисках, обещав написать ей в Сталинград, но не написал. И вот от этого Новикова, которого она считала убитым, вдруг пришло письмо, напомнившее Жене её тогдашние «предвоенные» мысли и чувства, казалось навсегда ушедшие.

Александра Владимировна, глядя на дочь, хлопотавшую у плиты, подумала, что к белой шее Жени очень идёт эта тоненькая золотая цепочка, а тёмные волосы отливают золотом оттого, что она удачно подобрала гребень. Но и цепочка на шее, и гребень в волосах были хороши лишь оттого, что живая красота молодой женщины коснулась их. Александре Владимировне казалось, что тепло идёт не от покрасневших щёк дочери, её белых рук и полураскрытых губ, а откуда-то из глубины её ярких карих глаз, таких повзрослевших и как много видевших, и таких неизменно детских, какими были они двадцать лет назад.

За стол уселись к пяти часам. Для почётного гостя поставили плетёное кресло, но Мостовской отказался от почёта и сел рядом с Верой на табуретке; слева от него сидел молодой светлоглазый военный с двумя вишневыми кубиками на углах отложного воротника. В кресло посадили Степана Фёдоровича.

— Вы, Степан, должны сидеть здесь, как глава семью, — смазала Александра Владимировна.

— Папа — главный источник света, тепла и солёных помидоров, — сказала Вера.

— Дядя — начальник семейного ремонтного треста, — добавил Серёжа.

Действительно, Степан Фёдорович заготовил теще на зиму солёные помидоры и обеспечил её топливом. Он умел всё чинить: электрические утюги, чайники, водопроводные краны, ножки стульев.

Усевшись, он искоса поглядывал на дочку. Русыми волосами, высоким ростом,

румяными щеками Вера походила на него. Иногда он вслух сожалел, что дочь не похожа на Марусю. Но в душе он радовался тому, что узнавал в ней черты своих деревенских сестёр и братьев.

Степан Фёдорович Спиридонов вместе с десятками и сотнями тысяч людей прошёл простой путь, который стал настолько обычен, что никто не видел в нем ничего удивительного. Но именно в том, что путь этот стал незаметен, и заключалась его потрясающая человечество новизна.

Степан Фёдорович, главный инженер, а затем управляющий Сталгрэса, тридцать лет назад пас коз за фабричным посёлком под Наро-Фоминском. И теперь, когда немцы пошли от Харькова на юг, прямо к Сталинграду, он задумался о своей жизненной судьбе, оглянулся на свои прошедшие годы и подивился тому, кем был и кем стал. Он был известен как инженер, наделённый смелым умом. Ему принадлежало несколько изобретений и нововведений в производстве электрической энергии, и даже в толстом руководстве по электротехнике упоминалась его фамилия. Он был руководителем большой ГРЭС, кое-кто считал его слабым администратором — заберется в цех и сидит там целый день, а в это время секретарь отбивается от телефонных звонков. Однажды он сам просил, чтобы его перевели с административной работы, но в глубине души обрадовался, когда нарком не внял его ходатайству Степан Фёдорович и в административной работе находил много интересного и приятного для себя. Ему нравилось напряжение директорской работы, он не боялся ответственности. Рабочие относились к нему хорошо, хотя он бывал шумлив, а иногда и крут. Он любил выпить под хорошую закуску, любил ходить в ресторан и обычно тайно от жены хранил сотни две три рублей, он их называл «подкожные». Но он был хорошим семьянином, очень любил жену, гордился ее ученостью и был готов на любой труд ради своей Маруси, дочери и всех близких.

За столом рядом со Спиридоновым сидела Софья Осиповна, пожилая женщина с толстыми плечами, с мясистыми красными щеками, с двумя майорскими «шпалами» на гимнастёрке. Софья Осиповна говорила отрывисто, хмуря брови, и, по рассказам подруг Веры, работавших в том госпитале, где Софья Осиповна заведывала хирургическим отделением, её побаивались не только санитары и сестры, но и врачи. Она и до войны работала хирургом — может быть, вообще характер её подходил для этой профессии, а профессия в свою очередь наложила некоторую печать на характер. Она участвовала в качестве врача во многих экспедициях академии то на Камчатке, то в Киргизии, два года прожила на Памире.

Софья Осиповна вставляла в разговор киргизские в казахские слова, и Вера и Сережа за те несколько недель, что она жила у Шапошниковых, переняли у нее эту манеру и вместо «ладно» говорили «хоп», вместо «хорошо» — «джахши».

Она любила музыку и стихи и обычно, придя с суточного дежурства, ложилась на диван, заставляя Сережу читать Пушкина и Маяковского. Когда она, полузакрыв глаза и дирижируя рукой, тоненько напевала «В храм я вошла смиренно», лицо её становилось таким смешным, что у Веры надувались щёки от смеха, и она выбегала на кухню.

Софья Осиповна любила карточные игры, раза два она играла со Степаном Фёдоровичем в очко, а большей частью — для отдыха, как она говорила, с Верой и Сережей в подкидного дурака. Во время игры она сердилась, шумела, а потом, вдруг смешав карты, говорила:

— Ох, дети мои, видно, мне в эту ночь не спать, пойду-ка я снова в госпиталь.

Рядом с ней села худая женщина с миловидным, поблёкшим и утомлённым лицом — Тамара Дмитриевна Берёзкина, жена командира, пропавшего в самом начале войны. Глядя на такие тонкие и измученные женские лица с прекрасными, печальными глазами, всякому думается, что для суровой, жестокой жизни такие существа не приспособлены.

Тамара Дмитриевна жила перед войной с мужем на границе. В день объявления войны она выбежала из горящего дома в халате и туфлях на босу ногу, держа на руках маленькую дочь, больную корью; рядом, уцепившись за её халат, бежал сын Слава.

Так, с больной девочкой на руках и с босым мальчуганом, её посадили на грузовик, и она пустилась в тяжкий, долгий путь, добралась до Сталинграда, кое-как устроилась — помог военкомат. Она в горсовете случайно познакомилась с Марией Николаевной, работавшей старшим инспектором отдела народного образования, затем с Александрой Владимировной.

Александра Владимировна отдала Тамаре своё пальто и боты, настояла на том, чтобы Маруся устроила Славу в интернат.

Рядом с Тамарой сидел старик Андреев, важный и хмурый. Это был человек лет шестидесяти пяти, но в его чёрных густых волосах почти не было седины. Худое, длинное лицо старого рабочего казалось замкнутым и холодным.

Александра Владимировна задумчиво сказала, погладив по плечу Тамару Дмитриевну:

— Вот, может быть, и нам суждена эвакуационная горькая чаша. Кто мог только думать, такой глубокий тыл! — Она вдруг ударила по столу ладонью и сказала: — Вот что, Тамара, в случае чего вы поедете с нами. Устроимся у Людмилы в Казани. Что с нами будет, то и с вами.

Тамара сказала:

— Спасибо большое, но для вас ведь обуза ужасная.

— Пустяки, — решительно сказала Александра Владимировна, — не время думать об удобствах.

Маруся шепнула мужу:

— Пусть меня простит бог, но мама определённо живёт вне времени и пространства. У Людмилы в Казани две крошечные комнатки.

Степан Фёдорович добродушно махнул рукой:

— Мамаша — она по себе меряет. Вот мы к ней все ворвались и все себя у неё как дома чувствуем. И кровать свою она тебе уступила, ты и не подумала отказаться.

Степана Фёдоровича всегда восхищало практическое неразумие тёщи. Она обычно вела знакомство с людьми, душевно ей приятными, но в большинстве с такими, которые не только не могли оказаться полезными, но и сами нуждались в помощи. Степану Фёдоровичу нравилась эта черта — и он не гнался за высокими знакомствами, но он понимал практическую ценность людей и, когда нужно было, умел отличить полезного и нужного человека, а Александра Владимировна была в этом отношении, как слепая.

Степан Фёдорович несколько раз заходил на работу к Александре Владимировне, он любил наблюдать уверенность её движений, лёгкость и умелость, с какой обращалась она со сложной химической аппаратурой для титровального и газового анализа. Он, сам мастер на все руки, сердился и раздражался, когда племянник Сережа не мог сменить перегоревшие пробки либо когда Вера медленно и неловко шила и штопала. Степан Фёдорович не только столярничал, слесарил, мог сложить печь; дома, в часы отдыха, он придумал смешное приспособление, с помощью которого можно было, сидя в кресле, зажигать и тушить свечи на новогодней ёлке, и сконструировал такой занятный звонок к двери, что с Тракторного завода приезжал инженер посмотреть его устройство. Ему ничего не давалось в жизни даром, и он презирал растяп и бездельников.

— Ну как, товарищ лейтенант, не подпустите немцев к Сталинграду? — спросил Степан Фёдорович.

— Наше дело такое, — снисходительно ответил светлоглазый Ковалёв, чувствуя своё превосходство над людьми тыла, — прикажут — будем драться!

— Приказ давно есть, с первого дня войны, — сказал посмеиваясь Степан Фёдорович.

Лейтенант принял слова Степана Фёдоровича на свой счёт.

— В тылу легче рассуждать, — сказал он, — а вот на переднем крае, когда миномёты бьют, сверху пикирует авиация, там другое рассуждение. Да, Толя?

— Да уж точно, — неопределённо сказал Толя.

— Вот теперь я вам скажу, — повышая голос, сказал Степан Фёдорович, — к Сталинграду немец не подойдёт. За Дон они не пройдут. На Дону совершенно неприступная

оборона.

— Ну, если вы так уверены, Степан Фёдорович, — сказала Софья Осиповна, то не надо вам заниматься перевозкой и упаковкой вещей

— Вы уже забыли, видно! — вскрикнул Серёжа тонким голосом. — Вспомните, как в прошлом году все говорили! «Вот дойдёт до старой границы и там остановится».

— Внимание! Воздушная тревога, — закричала Вера, — внимание, внимание! — и указала в сторону кухонной двери. Женя, сопровождаемая Тамарой Дмитриевной, раскрасневшейся и потому похорошевшей, внесла бледно-голубое блюдо. Тамара Дмитриевна торопливо поправляла на ходу белое полотенце, прикрывавшее пирог.

— Краешек сгорел, — объявила Женя, — я прозевала всё-таки.

— Сгоревший краешек я съем, не беспокойся, — сказала Вера.

— А я вам говорю, что через Дон он не перейдёт, на Дону ему крышка! проговорил Степан Фёдорович и встал, взмахнув длинным ножом: ему всегда за столом поручались такие ответственные операции, как делёж арбуза или разрезание пирога. Боясь раскрошить пирог и не оправдать доверия, Степан Фёдорович прибавил: — Вообще-то говоря, пирог должен остыть, а потом уж его режут.

— А вы как думаете? — спросил Серёжа, уставившись на Мостовского. Но Мостовской молчал.

— На Дон идёт, Украину всю прошёл, пол-России прошёл, — угрюмо сказал Андреев.

— Что ж вы считаете? — опросил Мостовской.

— Считать не полагается, — сказал Андреев, — что вижу, то и говорю, а считают другие люди, может быть, поумней меня.

— А почему вы уверены, что на Дону ему крышка? — снова с волнением спросил Серёжа. — Где же этот рубеж? Вот и Березина была, и Днепр, а вот Дон, вот Волга, где же рубеж? Иртыш, Аму-Дарья? Где же эта река?

Александра Владимировна внимательно глядела на внука: его обычная молчаливость и застенчивость исчезли. Александра Владимировна объяснила это тем, что Серёжа был взбудоражен присутствием лейтенантов.

Александра Владимировна была права, но тут имелось ещё одно, более простое обстоятельство, ей не известное: перед обедом Серёжа хлебнул из фляжки Ковалёва. Голова у него затуманилась, и он сам себе стал казаться необычайно умным, строгим, справедливым, но он не был уверен, ясно ли видят его многочисленные достоинства Мостовской и лейтенанты. Вера наклонилась к нему и спросила:

— Серёжка, ты пьяный?

— Ничего подобного, — сердито ответил он.

— Видите ли, милый мой, — оказал Мостовской, повернувшись к Серёже, и за столом стало тихо, так как всем хотелось услышать, что он скажет. — Вы, конечно, помните, как перед войной, говоря о нашей силе, Сталин привёл миф об Антее: с каждым шагом по земле Антей становится сильней. К этому следует сегодня добавить рассказ об анти-Антее, о фальшивом, противоположном Антею, мнимом богатыре. Когда этот фальшивый богатырь начинает шагать по земле, которую он завоёвывает, то каждый шаг не прибавляет ему силы, как Антею, а убавляет её. Не он питается силами земли, а враждебная ему земля забирает его силы, и он кончает тем, что падает, его валят. В этом различие между истинным богатырём истории Антеем и мнимым, фальшивым лжебогатырём, возникающим, как плесень. А советская сила — огромная сила. И есть у нас партия, чья воля собирает, организует спокойно, разумно и уверенно всю мощь народа.

Серёжа, наморщив лоб, смотрел на Мостовского блестящими тёмными глазами, и тот, рассмеявшись, погладил его по голове.

Мария Николаевна поднялась, взяла со стола бокал с вином и сказала.

— Товарищи, выпьем за победу! За нашу Красную Армию!

Все потянулись чокаться с Толей и Ковалёвым, наперебой желать им успехов и здоровья.

Затем началась церемония разрезания пирога. Этот пышный, румяный пирог мирных времён всех умилил и обрадовал, но одновременно вызвал грусть и воспоминания о прошедшем, всегда кажущемся людям таким хорошим.

Степан Федорович сказал жене:

— Помнишь, Маруся, наше студенческое житьё? Вера кричит не своим голосом, тут же пелёнки висят, а мы с тобой гостей принимаем да ещё пирогом угощаем?

— Помню, конечно, помню, — сказала она улыбаясь Александра Владимировна, растягивая задумчиво слова, сказала:

— Да, пироги я пекла в Сибири, когда мужа выслали за участие в студенческих волнениях. Напеку пирогов с брусникой, из нельмы, придут товарищи. Ах, боже мой, как далеко это время!

— Хороши пироги с фазанами, я их ела в долине Иссык-Куля, — сказала Софья Осиповна.

— Джахши, джахши, в один голос сказали Серёжа и Вера.

— Давайте условимся сегодня не говорить о войне, — проговорила Женя, только о пирогах.

В это время маленькая Люба подошла к Тамаре Дмитриевне и, указывая на Софью Осиповну, сказала восторженно:

— Мама, тётя мне дала во какой ком сахару! — И, разжав пальчики, с торжеством показала кусок пиленого сахару, увлажнённый теплом её одновременно беленького и грязного кулачка — Видишь, видишь, — сказала она громким шёпотом, — не надо уходить домой, может быть, ещё дадут что-нибудь.

Люба оглянулась на лица, обращённые к ней, потом увидела растерянные глаза матери, спрятала голову у неё в коленях и заплакала, Софья Осиповна погладила девочку по голове и шумно вздохнула.

Вновь заговорили о том, что терзало всех: об отступлении, о том, что, может быть, придётся ехать на Урал либо в Сибирь.

— А если со стороны Сибири японцы пойдут, что тогда? — спросила Женя.

Степан Фёдорович заговорил о «бывших» людях, которые не собираются уезжать, ждут немцев.

— А вот я слышал о парне, — сказал Серёжа, — которого когда-то не хотели принимать по социальному происхождению в лётную школу, а он всё же добился, окончит школу и вот, рассказывают, погиб, как Гастелло!

— Погляди на детей, — проговорила Александра Владимировна, обращаясь к Софье Осиповне. — Толя, комсомолец, стал взрослый человек, наш защитник, а ведь до войны приезжал к нам совершенно ребёнок. И голос другой, и манеры, и глаза какие то...

— Ты обрати внимание, как его приятель всё на нашу Женю поглядывает, тихим басом сказала Софья Осиповна.

— А позпрошлым летом, когда Людмила с Толей гостили у нас, Толя гулять пошёл, а в это время дождь... Людмила схватила плащ, калоши и кинулась к Волге его искать: «мальчик простудится, расположен к ангине»...

А на другом конце стола начался спор.

— Ничего не драп, — сердито говорил Ковалёв Серёже. — Мы бои вели от самой Касторной.

— Так почему же так стремительно отступали?

— Вот ты повоевал бы, так не спрашивал. Я за всех отвечать не могу, а наш полк дрался! Да как дрался!

— А некоторые раненые у нас в госпитале, — сказала Вера, — считают, что всё опять, как в сорок первом.

— Вот на переправах, там тяжело, — сказал Ковалёв, — бомбит день а ночь. Моего друга убило, а меня подранило. Ночью навесит ракеты и бомбит, как зверь.

— Он и нам тут даст, — сказала Вера, — боюсь бомбёжки!

— Это как раз не страшно, — вмешалась в разговор Мария Николаевна, — мы пока в глубоком тылу, у нас кольцо зенитной обороны, говорят, не слабее московской. Если прорвутся, то единичные только!

— Ну, это вы бросьте, знаем мы эти единичные, — снисходительно усмехнулся лейтенант. — Верно, Толька? У него тактика — удар с воздуха, подготовочка, и сразу удар танками.

Этот юноша был здесь самым опытным, уверенным и больше других знал о войне. Говорил он усмехаясь, снисходя к наивности своих собеседников.

Вере Ковалёв напоминал тех лейтенантов, что лежали в госпитале. Они с разгорячёнными лицами яростно спорили между собой о том, что было понятно лишь им одним, насмешливо усмехаясь, поглядывали на сестёр. Этот Ковалёв был, однако, похож и на тех довоенных ребят, что, приходя в гости, играли с ней в подкидного и в домино, участвовали в школьных кружках и брали у неё на два вечера «Как закалялась сталь».

— Пожалуй, пори затемнять окна, — оказала Маруся и, прижав кулаки к вискам, точно преодолевая боль, пробормотала: — Война, война...

— Теперь бы самое время ещё стопочку выпить, — сказал Степан Фёдорович.

— После сладкого, Степан?» — спросила Маруся. Лейтенант снял с пояса фляжку.

— Хотел на дорогу оставить, но ради таких людей... Ну, Анатолий, будь здоров. Я решил не ночевать, сейчас пойду.

Ковалёв разлил желтоватую водку Анатолию, Степану Фёдоровичу, себе и потряс пустой флягой перед Сережей, в ней постучала пробка.

— Вся.

В полутёмной передней Ковалёв втолковывал Жене:

— Рассуждать можно так и этак. А вот я через пять дней снова буду на передовой. Понятно?

Он смотрел на неё пристальными, одновременно злыми и ласковыми глазами. Да, она понимала — он просил её любви и сочувствия. И сердце сжалось у неё, так ясно видела она простую и суровую судьбу этого юноши.

Степан Фёдорович обнял за плечи лейтенанта, словно собрался уйти вместе с ним. Он выпил лишнего, и Мария Николаевна смотрела на него с таким упреком, точно эта лишняя стопка водки имеет не меньше значения, чем все трагические события войны.

Стоя в дверях, Ковалёв с внезапным бешенством сказал:

— Рассуждение происходит, почему отступаем? Хорошо рассуждать! Все вы родину защищаете, а наше дело маленькое, мы воюем. А тут — как бывает? Ляжешь отдохнуть в обороне, а он за ночь сорок километров прошёл строго на восток. Что тогда скажешь, а? Я видел бюрократов, в тыл драпают, только ветер свистит. Посмотрел бы я на этих, что пальцами тычат, если б в окружение попали. Тот, кто на передовой, у того душа живёт!

Лицо Ковалёва побледнело, он хлопнул дверью и на лестнице выругался.

Вера сказала:

— Вот, думала сегодня от госпиталя отдохнуть... Мостовской, когда Женя вернулась из передней в столовую, спросил у неё:

— Вы от Крымова ничего не получаете?

— Нет, — оказала она. — Но я знаю, что он в армии.

— Да, я и забыл, — сказал Мостовской и развёл руками, — я и забыл, что вы расстались... Но должен доложить вам, человек он хороший, я ведь его давно знаю, еще юношей, мальчиком.

В доме Шапошниковых, едва ушли гости, воцарился дух покоя и мира. Толя вдруг вызвался мыть посуду. Такими милыми казались ему семейные чашки, блюдца, чайные ложечки после казённой посуды. Вера, смеясь, повязала ему платочком голову, надела на него фартук.

— Как чудно пахнет домом, теплом, совсем как в мирное время, — сказал Толя.

Мария Николаевна уложила Степана Фёдоровича спать и то и дело подходила к нему

пощупать пульс — ей казалось, что он всхрипывает из-за сердечных перебоев.

Заглянув в кухню, она сказала:

— Толя, посуду и без тебя вымоют, ты лучше напиши маме письмо. Не жалеете вы тех, кто вас любит.

Но Толе не хотелось писать письмо, он расшалился, как маленький, подзывал кота, подражая голосу Марии Николаевны.

— Будь мирное время, — сказала мечтательно Вера, — мы завтра с самого утра на пляж бы пошли, лодку бы взяли, правда? А теперь даже купаться не хочется, я в этом году на пляже ни разу не была.

Толя ответил:

— Будь мирное время, я бы с утра поехал с дядей Степаном на электростанцию. Мне хочется её посмотреть, хоть и война, а хочется.

Вера наклонилась к нему и тихо сказала:

— Толя, я всё хочу рассказать тебе одну вещь.

Но в это время пришла Александра Владимировна, и Вера, плутовски подмигнув, замотала головой.

Александра Владимировна стала расспрашивать Толю, трудно ли ему было в военной школе, бывает ли у него одышка при быстрой ходьбе, научился ли он хорошо стрелять, не жмут ли сапоги, есть ли у него фотографии родных, нитки, иголки, носовые платки, нужны ли ему деньги, часто ли получает письма от матери, думает ли о физике.

Толя чувствовал тепло родной семьи, оно было сладостно и одновременно тревожило и расслабляло, делало особо тяжёлой мысль о завтрашнем расставании, в огрубении душа легче переносит невзгоды. Евгения Николаевна вошла в кухню, на ней было надето синее платье, в котором она приезжала на дачу к своей сестре Людмиле, Толиной матери.

— Давайте на кухне чай пить, Толе это будет приятно! объявила она. Вера пошла звать Серёжу и, вернувшись, сказала:

— Он лежит и плачет, уткнулся в подушку.

— Ох, Серёжа, Серёжа, это по моей части, — сказала Александра Владимировна и пошла в комнату к внуку.

Выйдя из дома Шапошниковых, Мостовской предложил Андрееву погулять.

— Погулять? — усмехнулся Андреев. — Разве старики гуляют?

— Пройтись, — поправился Мостовской. — Давайте походим, вечер прекрасный.

— Что ж, можно, я завтра с двух работаю, — сказал Андреев.

— Устаёте сильно? — спросил Мостовской.

— Бывает, конечно.

Этот небольшого роста старик, с лысой головой, с маленькими внимательными глазами, понравился Андрееву.

Некоторое время они шли молча. Очарование летнего вечера стояло над Сталинградом. Город чувствовал Волгу, невидимую в лунных сумерках, каждая улица, переулок — всё жило, дышало её жизнью и дыханием. Направление улиц и покатошь городских холмов и спусков — всё в городе подчинялось Волге, её изгибам, крутизне её берега. И огромные, тяжёлые заводы, и маленькие окраинные домики, и многоэтажные новые дома, оконные стёкла которых расплывчато отражали летнюю луну, сады и скверы, памятники — всё было обращено к Волге, принакало к ней.

В этот душный летний вечер, когда война бушевала в степи в своём неукротимом стремлении на восток, всё в городе казалось особенно торжественным, полным значения и смысла: и громкий шаг патрулей, и глухой шум завода, и голоса волжских пароходов, и короткая тишина.

Они сели на свободную скамейку. С соседней скамейки, где сидели две парочки, поднялся военный, подошёл к ним по скрипящей гальке, посмотрел, потом вернулся на место, что-то негромко сказал, послышался девичий смех. Старики смутились и покашливали.

— Молодёжь, — сказал Андреев голосом, в котором одновременно чувствовалось и

осуждение и похвала.

— Мне говорили, что на заводе работают эвакуированные ленинградцы, рабочие с Обуховского завода, — сказал Мостовской. — Хочу к ним съездить: земляки.

— Это у нас, на «Октябре», — ответил Андреев. — Я слышал, их немного. А вы приезжайте, приезжайте.

— Вам пришлось участвовать, Товарищ Андреев, в революционном движении при царском режиме? — спросил Мостовской.

— Какое мое участие — листовочки читал, конечно, две недели посидел в участке за забастовку. Ну и с мужем Александры Владимировны беседовал. На пароходе я кочегаром был, а он студентом практику отбывал. Выходили мы с ним на палубу и вели беседу.

Андреев вынул кисет. Они зашуршали бумагой, стали свёртывать самокрутки.

Тяжёлые искры щедро и легко скользнули вниз, но шнур не хотел принять искру.

Сидевший на соседней скамейке военный весело и громко сказал:

— Старики жизни дают, «катюшу» в ход пустили. Девушка рассмеялась.

— Ах, черт побери, забыл я драгоценность, коробку спичек, Шапошникова мне подарила, — сказал Мостовской.

— А вы как считаете, — сказал Андреев, — положение всё таки трудное? Антей Антеем, а немец прет. А?

— Положение трудное, а войну Германия всё-таки проиграет, — ответил Мостовской. — Я думаю, что и внутри Германии не мало врагов у Гитлера.

Он сидел сгорбившись, казалось, дремал. А в мозгу его вдруг возникла картина пережитого почти четверть века назад огромный зал конгресса, разгорячённые, счастливые, возбуждённые глаза, сотни родных, милых русских лиц и рядом лица братьев-коммунистов, друзей молодой Советской республики французов, англичан, японцев, негров, индусов, бельгийцев, немцев, китайцев, болгар, итальянцев, венгров, латышей. Весь зал вдруг замер, казалось, это замерло сердце человечества, и Ленин, подняв руку, сказал конгрессу Коминтерна ясным, уверенным голосом — «Грядет основание международной Советской Республики»...

Андреев, видимо, охваченный доверием и дружелюбием к старику, сидевшему рядом с ним, тихо пожаловался:

— Сын мой на фронте, а у невестки всё гулянки да в кино, а со свекровью, как кошка с собакой. Понимаешь, какое дело...

Мостовской жил одиноко, жена его умерла задолго до войны. Одинокая жизнь приучила Михаила Сидоровича к заботе о порядке. Просторная комната его была чисто прибрана, на письменном столе аккуратно лежали бумаги, журналы, газеты, а книги на полках стояли на отведённых им по чину местах. Работал Михаил Сидорович обычно по утрам. Последние годы он читал лекции по политэкономии и философии и писал статьи для энциклопедии и философского словаря.

Знакомств у него в городе завелось немного. Изредка к нему приезжали за консультацией преподаватели философии и политической экономии. Они его побаивались, так как он отличался резким характером и был нетерпим в спорах.

Весной Мостовской заболел крупозным воспалением лёгких, и эта болезнь ещё не оправившегося от ленинградской блокады старика казалась врачам смертельной Мостовской превозмог болезнь, стал поправляться. Доктор оставил Михайлу Сидоровичу длинную программу постепенного перехода от постельного режима к обычному образу жизни.

Михаил Сидорович внимательно прочел программу, пометил отдельные пункты красными и синими птичками и на третий день после того, как встал с постели, принял холодный душ и начистил паркет в комнате.

В нем сидел упрямый задор, он не хотел благоразумия и покоя.

Иногда ему снилось прошедшее время, и в ушах его звучали голоса давно ушедших друзей, ему казалось, он говорит речь и из маленького лондонского зальца на него глядят живые глаза, он узнавал бородатые лица, высокие крахмальные воротнички, чёрные галстуки

друзей. Он просыпался среди ночи и долго не засыпал, возникали видения далёкого прошлого студенческие сходки, споры в университетском парке, прямоугольная плита над могилой Маркса, парходик, плывущий по Женевскому озеру, зимнее бушующее Черное море, Севастополь; душный арестантский вагон, стук колёс, хоровое пение и грохот приклада в дверь, ранние сибирские сумерки, скрип снега под ногами и далекий жёлтый огонь в окне избы, огонь, на который он шёл ежевечерне в течение шести лет своей сибирской ссылки.

Те тяжёлые, тёмные дни были днями его молодости, днями суровой борьбы и сладостного ожидания того великого, ради чего жил он на свете.

Ему вспоминалась бессонная и неутомимая работа в годы создания Советской республики, губернский комиссариат просвещения, армейский политпросвет, работа по теории и практике планирования, участие в разработке плана электрификации, работа в Главнауке.

Он вздыхал. О чём печалился он, о чём вздыхал? Или просто вздыхало усталое, больное сердце, которому трудно день и ночь гнать кровь по обизвествлённым, суженным артериям и венам?

Иногда он шел до рассвета к Волге, уходил далеко по пустому берегу, под глинистый обрыв, садился на холодные камни и смотрел на приход света, на пепельные ночные облака, вдруг взбухавшие розовым теплом жизни, на знойный ночной дым над заводом, терявший при лучах солнца свою кровь и становящийся серым, скучным, пепельным.

Он сидел на камнях, глядел на молодешую при косом свете чёрную воду, на крошечную, вершковую волну, тихо, робко вползавшую по плотному, плоскому песочку, и на то, как тысячи тысяч песчинок, блистая, втягивали воду.

Грозное видение ленинградской зимы вставало перед ним улицы в снежных и ледяных холмах, тишина смерти и грохот смерти, кусочек хлеба на столе, саночки, саночки, саночки, на которых везли воду, дрова, мертвецов, прикрытых белыми простынями, ледяные тропинки, ведущие к Неве, заиндевевшие стены домов; поездки в воинские части и на заводы, выступление на митинге ополченцев, серое небо, рассечённое прожекторами, розовые пятна ночных пожаров на стёклах, вой сирен, памятник Петру, обложенный мешками с песком, и всюду живая память о первом биении молодого сердца революции — Финляндский вокзал, пустынная красота Марсова поля, Смольный, — и над всем этим мертвенно бледные, с живыми, страдающими глазами лица детей, упрямое и терпеливое героичество женщин, рабочих и солдат. И сердце его наполнялось такой режущей болью, что казалось, оно не выдержит страшной тяжести. «Зачем, зачем я уехал?» — думал он с тоской.

Михаилу Сидоровичу хотелось написать книгу о своей жизни, и ему представлялись отдельные части её: детство, деревня, отец-дьячок, учение в четырёхклассном училище, подполье, годы великого советского строительства...

Он не любил переписываться с теми из старых друзей, что писали много о болезнях, о санаториях, о кровяном давлении, о склерозе.

Мостовской видел, чувствовал, знал никогда за тысячелетнюю историю России не было такого стремительного, напряжённого движения событий, такой уплотнённой смены огромных пластов жизни, как за последнюю четверть века. Да, и в прежние, дореволюционные годы всё текло и изменялось. И тогда человек не мог дважды вступить в одну реку. Но так Медленно текла эта река, что современники видели всё одни и те же берега, и откровение Гераклита качалось им странным и тёмным.

Но кого из тех, кто жил в России в советское время, удивляла истина, озарившая грека? Она ныне из области философского мышления возведена в ощущение действительности, общее академикам и рабочим, колхозницам и школьникам.

Михаил Сидорович много думал об этом. Стремительное, — неукротимое движение! Всё напоминало, твердило о нём. Движение было во всём: в почти геологическом изменении пейзажа, в огромности охватившего страну просвещения, в новых городах, появляющихся на географической карте, в новых кварталах и улицах, в новых домах и в новых, всё новых

жильцах этих домов. Этот поток развития, это движение вызывало из неизвестности, из туманных дальних деревень, из сибирских пространств сотни новых, гремевших по всей стране имён, и оно же безжалостно погружало в неизвестность бывших недавно известными и знаменитыми. Газеты, вышедшие десять лет назад, походили на пожелтевшие свитки, такая толща событий лежала между временами. За короткие годы материальные отношения совершили могучий скачок. Новая Советская Россия прынула на столетие вперёд, прынула всей огромной тяжестью своей, триллионами тонн своих земель, лесов, она меняла то, что от века казалось неизменным, своё земледелие, свои дороги, русла рек. Исчезли тысячи русских кабаков, трактиров, кафешантанов; исчезли епархиальные училища, духовные семинарии, институты благородных девиц, исчезли монастырские уголья и монастыри, помещичьи экономии и усадьбы, особняки капиталистов, биржи. Исчезли разбитые и развеянные революцией, истаяли огромные слои людей, составлявших костяк эксплуататорских классов и тех, кто обслуживал их, людей, бытие которых казалось вечно прочным; людей, о которых народ слагал песни гнева, людей, чьи характеры описывали великие писатели помещики, купцы, фабриканты, подрядчики, биржевые маклеры, кавалергарды, ростовщики, камергеры, полицмейстеры, жандармские ротмистры и жандармские унтеры, столичные лихачи; исчезли сенаторы, статские, действительные статские и тайные советники, столоначальники, коллежские асессоры — весь пёстрый и огромный, громоздкий, разделённый на семнадцать классов мир русского чиновничества; исчезли шарманщики, шансонетки, гувернеры, лакеи, дворецкие. Из обихода исчезли понятия и слова: панич, барыня, господин, милостивый государь, ваше благородие и многие другие. Вновь была открыта Сибирь, и в этом суровом краю росли города, рождались рудники, заводы, гигантские нефтепроводы, шоссе, дороги легли в тайге и тундре, электричество взорвало полярную ночь, освещая рудные богатства, миллионы лет спавшие в зоне вечной мерзлоты. Были вырыты геологические количества земли, взорваны горы гранита, каналы соединили Балтику и Белое море, Москву и Каспий. Родились новые моря и озёра. От гула больших домен Магнитогорска и Кузнецка, от рева воды на Днепровской плотине, от ударов паровых молотов нового Урала, от шума станков в Харькове, Сталинграде, Челябинске, от пульсирующего напора газа в агрегатах Березников и Сталиногорска, казалось, подрагивала вся безмерная земля, шевелилась листва на могучих дубах, и рябь шла по зеркалу степных прудов и горных озёр.

Рабочий и крестьянин стали управителями жизни суровой и трудовой, трудной и радостной. Родился новый мир невиданных профессий и характеров фабричные и сельские плановики, ученые крестьяне-полеводы, учёные пасечники, животноводы, огородники, колхозные механики, радисты, трактористы, электрики. Родилось невиданное в России народное просвещение, которое можно сравнить лишь со взрывом солнечного света астрономической силы; если б свет народного просвещения, вспыхнувший в России, мог иметь эквивалент в электромагнитных волнах, астрономы иных миров зарегистрировали бы в 1917 году вспышку новой звезды, свет которой всё разгорался. Простые люди, «четвёртое сословие», рабочие и крестьяне внесли свой простой, сильный и своеобразный характер в мир высших государственных отношений — стали маршалами, генералами, областными и районными руководителями, отцами гигантских городов, управителями рудников, заводов и земельных угодий. Сотни новых промышленных производств породили тысячи новых профессий, выявили, сгруппировали и сформировали новые характеры. Пилоты, бортмеханики, воздушные штурманы, радисты, водители автомашин и тягачей, рабочие и инженеры промышленности синтетической химии, электрохимии, электроэнергетики высоких напряжений, высокочастотники, фотохимики, термохимики, геологи, авиа— и автоконструкторы представляли собой характеры людей нового советского общества.

Сила рождавшейся жизни была колоссальна, и жизнетворящее, создающее новый мир движение было неумолимо в своей, отрицающей старое, мощи.

И теперь, в самую тяжелую пору войны, Мостовской ясно видел, что мощь советской державы огромна, во много раз больше силы старой России, что миллионы трудовых людей, составляющих главную основу нового общества, сильны своей верой, грамотностью,

знаниями, любовью к советскому отечеству.

Он верил в победу. И одного лишь хотелось ему: несмотря на свои годы, забыв о них, стать непосредственным участником военной борьбы за свободу и достоинство народа.

Быстрая, поворотливая старуха Агриппина Петровна, носившая Мостовскому обед из обкомовской столовой, готовившая ему утренний чай и стиравшая бельё, по многим признакам отлично видела своими прищуренными глазами, как сильно переживал Михаил Сидорович события войны.

Часто, когда она заходила утром в комнату, постеленная с вечера кровать оставалась несмятой, Мостовской сидел в кресле у окна, и подле на подоконнике стояла пепельница, полная окурков.

Агриппина Петровна знала лучшие времена: при царизме покойный муж её держал лодочную переправу через Волгу.

Вечером Агриппина Петровна обычно выпивала у себя в комнатке стопочку и выходила на двор посидеть на скамейке, поговорить с людьми. Этим она удовлетворяла потребность в беседе, возникающую после выпивки почти у всякого. Хотя собеседники были трезвы, зато у старухи приятно туманилась голова, и бойко, весело шёл разговор. Говорила она, обычно прикрывая рот краешком платка и стараясь не дышать в сторону своих всегдашних собеседниц, дворничихи суровой Марковны — и вдовы сапожника Анны Спиридоновны. Агриппина Петровна сплетен не любила, но потребность поговорить с людьми была в ней действительно сильна.

— Вот, бабы, какое дело, — сказала она, подходя к скамейке и сметая фартуком пыль, прежде чем сесть, — вот, бабы, раньше старухи думали коммунисты церкви закрывают.. — Она поглядела на открытые окна первого этажа, громко, чтобы слышно было, произнесла: — Ох же и антихрист Гитлер этот проклятый, ох же и антихрист, чтоб ему на том свете добра не было. Говорят люди, в Саратове митрополит служит, во всех соборах молебствия идут. И народу, народу, и старые, я какие хотите. Всё, как есть, всё против него, против Гитлера этого, рогатого, всё поднялось! — Тут она вдруг понизила голос — Да, женщины, и в нашем доме вещи паковать стали, на базар люди ходят, чемоданы, верёвки покупают, мешки шьют. А Михаил Сидорович, ох и переживает, с лица даже потемнел, сегодня пошёл к старухе Шапошниковой, про отъезд договариваться. И обедать не стал.

— А что ему? — недоверчиво спросила Марковна — Одинокий, старый.

— Что ты говоришь, ей богу, что ты, ей-богу, говоришь. Он первым должен уехать Его со света немцы сотрут. Всё ходит, узнаёт. Вот и сегодня сорвался. Партийный ведь, ленинградский, старый большевик, шутишь? Я вижу, сохнет прямо. Ночи не спит. Курит!

Женщины беседовали в темноте. О чем только не говорили они! Потом Марковна, оглянув окна, произнесла:

— Опять на третьем этаже у этой Мельниковой свет видно. Не соблюдает маскировки.

Грозным сильным басом Марковна крикнула:

— Эй, на третьем этаже, слышишь тама, что ли? Старухи поднялись со скамейки, и Агриппина Петровна пошла к дому.

Спиридоновна и Марковна на минуту задержались, чтобы осудить Агриппину Петровну.

— И опять от неё винный дух, — сказала Спиридоновна. — И где берёт вино, деньги откуда?

— Где берёт? Она Михаила Сидоровича обкрадывает.

— Господи, господа, — вдруг пугаясь, произнесла Марковна, — за какие грехи на нас этот сатана немецкий послан!

В сумерках провожали к вечернему поезду Толю. Он, точно впервые поняв, что ждёт его, был весь напряжен, но старался казаться безразличным и спокойным; он видел расстроенное лицо бабушки, понимал, что Александра Владимировна чувствует его тревогу, и это его сердило и волновало.

— Ты написал домой? — спросила она.

— Ах, боже мой, — раздражаясь, ответил он, — что вы от меня хотите? Я маме всё время писал, не написал сегодня — напишу завтра.

— Не надо сердиться, прости меня, пожалуйста, — поспешно сказала Александра Владимировна. Но и эти слова его раздосадовали.

— Что вы, ей-богу, со мной, как с шизофреником, разговариваете.

Но тут рассердилась бабушка.

— Милый мой, — сказала она, — возьми-ка себя в руки. За полчаса до расставания Толя позвал двоюродного брата:

— Серёжа, зайди сюда на минутку. Он вынул из вещевого мешка тетрадь, обёрнутую в газетную бумагу.

— Вот что. Эта тетрадка — мои записки, тут конспекты книг, мои собственные мысли. Тут я записал план моей жизни до шестидесяти лет, я ведь решил посвятить себя науке, работать, не теряя ни дня, ни часа. Ну, в общем, понимаешь... Если я... Словом, ты понимаешь, храни её в память обо мне. Ну, в общем... и всё такое.

Несколько мгновений они, потрясенные, смотрели друг на друга, не находя слов. Толя сжал Серёже руку, крепко, судорожно, так, что у того побелели пальцы.

Дома были лишь бабушка и Серёжа Толя прощался с ними торопливо, видимо боясь раскиснуть.

— Пусть Серёжа не идёт на вокзал, я не люблю, когда на вокзале провожают И, уже стоя в коридоре, он сказал Александре Владимировне поспешно, скороговоркой. — Я жалею, что заехал, отвык от близких, как-то загрубел, а тут сразу оттаял, если б знал, что так будет, лучше бы проехал мимо, я и маме оттого не написал..

Александра Владимировна сжала меж ладоней его горячие от волнения большие уши и, притянув его к себе, сдвинула пилотку и долгим поцелуем поцеловала в лоб. Он замер, внезапно озарённый воспоминанием самой ранней поры детства воспоминанием о чувстве счастливого покоя, испытанного им на руках у бабушки.

И ныне, когда она была стара и немощна, а он, воин, силен, вдруг всё смешалось — и сила, и беспомощность его; он прижался к ней всем телом, замер, проговорил «бабуля», «бабуся» — и, пригнув голову, бросился к двери.

Вера осталась в госпитале на ночное дежурство. После вечернего обхода она вышла в коридор.

В коридоре горела синяя лампочка. Вера открыла окно и облокотилась на подоконник.

С четвёртого этажа хорошо был виден город, освещённый луной, белый блеск реки. Замаскированные окна домов сияли голубым слюдяным светом. В этом недобром свете не было жизни, в его ледяной голубизне уже не содержалось тепла — то был свет, отраженный от мертвой поверхности луны и вновь, ещё раз отражённый от пыльных стёкол и холодной ночной воды. Он был хрупок, неверен, и стоило немного повернуть голову, как свет исчезал, оконные стекла и волжская вода становились чёрными, неживыми.

По левому берегу Волги шла машина с зажжёнными фарами. Высоко в небе скрестились лучи двух прожекторов, и казалось, что кто-то бесшумно работал голубыми ножницами, стриг в небе курчавые облака. Внизу, в садике, вспыхивали красные огоньки и слышались негромкие голоса: очевидно, раненые из палаты выздоравливающих ускользнули через кухонные двери и тайно курили. Ветер доносил с Волги свежесть воды, и её чистый, прохладный запах то побеждал тяжёлый госпитальный дух, то отступал перед ним, и тогда казалось, что не только госпиталь, но и весь город, луна и Волга пахнут эфиром и карболовой кислотой и что по небу ползут не облака, а пыльные хлопья ваты.

Со стороны изолятора, где умирали трое безнадежных, раздавались неясные стоны.

Вера знала этот монотонный стон умирающих, которые ничего не просили: ни еды, ни воды, ни морфия.

Открылась дверь изолятора, и оттуда вынесли носилки. Впереди шёл низкорослый рябой Никифоров, сзади — высокий худой Шулепин, делая неестественно маленькие шажки, чтобы попасть в одну скорость с Никифоровым.

Никифоров, не оборачиваясь, говорил:

— Реже шаг, нажимаешь.

На носилках лежало тело, покрытое одеялом.

Казалось, сам мертвец натянул на голову одеяло, чтобы не видеть этих стен, этих палат и коридоров, где выпало сну столько страданий.

— Кто это? — спросила Вера. — Соколов?

— Нет, это новый, — ответил Шулепин.

Вера вообразила «Вот я, генерал медицинской службы, прилетаю из Москвы, главный хирург вводит меня в изолятор, говорит — «Этот безнадежен». Нет, вы не правы, подготовьте его немедленно к операции, я сама буду оперировать».

Из командирской палаты на третьем этаже послышался смех и негромкое пение:

Таня, Татьяна, Танюша моя,
Помнишь ли знойное лето это
Разве мы можем с тобою забыть
Всё, что пришлось пережить..

Пел выздоравливающий Ситников. Потом кто-то стал подпевать, видимо техник-интендант 3-го ранга Квасюк с переломом ноги: он вёз в полutorке арбузы для столовой, и на него налетела трёхтонка с боеприпасами.

Ситников несколько дней приставал к Вере, просил принести ему спирту из аптеки.

— Хоть пятьдесят грамм, — говорил он — Девушка, неужели жалко для солдата!

Вера отказывала ему, но с тех пор, как Ситников познакомился с Квасюком, от них нередко пахло спиртным духом, должно быть, нашли сочувствие у дежурной по аптеке.

Здесь, стоя у окна, она ощущала два мира, что жили, казалось, не соприкасаясь один с бестелесным, голубым светом, то вспыхивающим, то исчезающим в окнах, мир освещённой ночной воды, прохлады, звёзд, неясный, ни на что не похожий, рожденный из героических романов, из ночных мечтаний, мир, без которого, казалось ей, и не стоило жить. Ах, какая сладкая чушь приходила ей в голову!

А второй был рядом, он подступал к ней отовсюду, шевелил её волосы, входил в её ноздри, шуршал в её халате, пропахшем лекарствами, стучал сапогами, стонал, дымил махоркой. Он был во всём: в скучных учётных карточках, которые она заполняла, в сердитых замечаниях врачей, в пшённой каше с постным маслом, в нотациях комиссара госпиталя, в уличной пыли, в завывании сирены, в нравоучениях мамы, в разговорах о ценах, очередях, в ссорах с Серёжей, в семейных обсуждениях достоинств и слабостей родственников и знакомых, в туфлях на резиновой подошве, в пальто, перешитом из старого папиного пальто.

Вера различила за единой негромкий стук костылей. Она оперлась локтями на подоконник и, вытянув шею, стала смотреть в небо. Она заставляла себя смотреть на облака, на звёзды, на игру лунного света в стёклах, но её ухо напряжённо ловило стук костылей, шедший из тьмы коридора. Едкой звук был лишь у одной пары госпитальных костылей.

— О чём мечтаете? — спросил юношеский голос. Она молчала, будто не слыша, потом вздохнула, будто внезапно возвращенная от мечтаний к действительности, удивлённо оглянувшись, тряхнула головой и медленно, будто все ещё не придя в себя, произнесла:

— Это вы, Виктор? Я и не слышала, как вы подошли. Ей стало тут же смешно от своего притворства и неестественного голоса, и она рассмеялась.

— Чего вы? — спросил он и сам рассмеялся, выражая покорную готовность делить с ней её настроение, будь то веселье, будь то грусть, потому лишь только, что это её настроение. Но Вера сказала:

— Нет, всё пустое, я прекрасно слышала, что вы идёте сюда, и нарочно сделала вид, будто впала в мечтания.

Но эта правда тоже не была правдой, а лишь игрой в правду, она чувствовала — эти

слова выгодны для её любви, нужны, чтобы показаться ему совсем особенной, странной, не похожей на других. Она вела эту игру уверенно и легко, хотя нигде не училась ей в свои восемнадцать лет. Учиться игре этой было невозможно и не нужно — невозможно, потому что она была слишком сложна и трудна, не нужно, потому что она с необычайной легкостью и простотой сама рождалась в душе.

— Ну, что вы, — искренне и живо сказала Вера, услыша те слова, что хотела слышать, — я совершенно обыкновенная, таких в нашем городе пятьдесят тысяч, скучная, неинтересная.

Викторова привезли месяц назад из степи, где упал его самолет, расстрелянный «мессерами». Он лежал, склонив голову на длинной тонкой шее, побледневшее лицо его казалось грязным, пыльным, а глаза смотрели с каким то странным, тронувшим её выражением тоски и детского испуга.

Когда лётчика раздевали, он посмотрел на Веру, потом перевёл глаза на своё заношенное бельё и отвернулся. Вера внезапно смутилась, и слезы выступили у неё на глазах.

К ней иногда приставали с ухаживаниями выздоравливающие, в коридорах некоторые прямо-таки нахально пытались её обнять. Один политрук объяснился ей в любви в письменной форме, предлагал пожениться и, выписавшись из госпиталя, просил, чтобы она дала ему свою фотографию.

Старшина Викторов с ней никогда не разговаривал, но когда она входила в палату, она чувствовала его внимательный взгляд.

Она сама заговорила с ним.

— Ведь ваша часть недалеко, почему к вам никто из товарищей не приезжает? Он объяснил.

— Я был переведён в новый полк, а в прежнем полку лётный» состав почти весь новый

— Страшно? — спросила она.

Он поколебался, не сразу ответил, и она поняла, что он подавил желание ответить ей так, как обычно молодые лётчики отвечают девушкам на подобные вопросы. Глянув исподлобья на её руки, он серьёзно сказал:

— Страшно.

Они оба смутились: он и она почувствовали — им хотелось особенных, не случайных, не пустых отношений, и эти особенные отношения вдруг возникли, точно колокол торжественным ударом дал им обоим знать об этом.

Оказалось, что он сталинградец, работал когда-то на Сталгрэсе слесарем и знал Степана Фёдоровича — тот нередко приходил шуметь в механическую мастерскую.

Но общих знакомых у них не было. Викторов жил в шести километрах от станции и после работы сразу шёл домой, не оставался на сеансы в клубе и не участвовал в спортивных командах.

— Я не люблю спорта, — сказал он, — я люблю читать. Вера заметила, что ему нравились те книги, которые читал Серёжа и которые были ей не очень интересны.

— Я больше всего любил исторические читать, только доставать их хуже нет, в клубной библиотеке их маловато, я в город ездил по воскресеньям и из Москвы выписывал.

Относились к нему раненые хорошо. Вера однажды слышала, как один политракторник сказал о нём:

— Хороший парень, серьёзный.

Она покраснела, словно при матери посторонние хвалили сына.

Он много курил. Она приносила ему табак и папиросы и видела, что вся палата дымила, когда у него было курево.

На руке у Викторова был вытатуирован якорь с куском каната.

— Это когда я в фабричной школе учился, — объяснил он и добавил: — О, я тогда бедовый был, меня даже исключить раз хотели, хулиганил.

Ей нравилась его скромность, он не хвастался рассказами о своих боевых полётах, и

когда говорил о них, то всегда о товарищах, самолёте, моторе, погоде, взлётных условиях, а не о самом себе. Ему больше нравилось разговаривать о мирном времени. Когда затевался в палате разговор о фронтовых случаях, он обычно молчал, хотя, видимо, мог рассказать больше, чем главный оратор Ситников, служивший в артснабжении.

Он не был красив: худой, узкие плечи, нос широкий, большой, глаза маленькие. Но Вере казалось, что и его движения, и улыбка, и манера сворачивать папиросу, и смотреть на часы очень хороши.

Она знала, что он некрасив, но так как он нравился ей, то и в этой некрасивости она видела достоинство Викторова, а не недостаток. Он тем и был особенным, что не все могли увидеть и понять, какой он, и только она могла видеть и понять это.

Когда Вере было двенадцать лет, она собиралась выйти замуж за Толю, а в восьмом классе она влюбилась в комсорга, ходила с ним в кино и ездила на пляж. Ей казалось, что она уже всё знает, и, снисходительно улыбаясь, слушала, когда дома заходил разговор о любви и романах. В десятом классе были девушки, говорившие: «Замуж надо выходить за тех, кто старше лет на десять, у кого есть положение в жизни...»

Но оказалось всё не так...

Окно в коридоре стало местом их встреч, и часто стояло ей, урвав свободную минуту, подойти к этому окну и подумать о Викторове, как слышался стук его костылей, словно к нему доходила телеграмма от нее.

А случалось, они стояли рядом, и Викторов, задумавшись, глядел в окно, она молча смотрела на него, и он резко поворачивался и говорил:

— Что?

— Отчего это? — спрашивала она.

Часто они говорили о войне, порой этот разговор меньше способствовал их внутренней беседе, чем случайные, ребячьи слова.

— Мне смешно, что вы старшина. Старшина — старый, какой же вы старшина в двадцать лет!

В этот вечер он подошел к ней, и они стали рядом, их плечи касались, и хотя они всё время говорили, но слушали друг друга невнимательно, и главным в их разговоре было то, что её плечо вдруг отклонялось, и он замирал, ожидая нового прикосновения, а она доверчиво поворачивалась к нему, и он вновь ощущал это, казавшееся ему случайным прикосновение и искоса глядел на её шею, на ухо, щёку, на прядку волос. Лицо юноши при свете синей лампочки казалось тёмным и печальным. Она посмотрела на него, и ею овладело ожидание беды.

— Я не понимаю, вначале казалось, что я вас просто жалею, как раненого, а теперь мне жалко становится самоё себя, — сказала она.

Ему хотелось обнять её, и он подумал, что и она этого хочет и ждёт, снисходительно наблюдая его нерешительность.

— Почему жалко? — спросил он.

— Я не знаю почему, — ответила она и посмотрела на него снизу вверх, как дети смотрят на взрослых. Он задохнулся от волнения и потянулся к ней. Костыли упали на пол, и он тихонько вскрикнул — не оттого, что ступил на больную ногу, а от одной мысли, что может ступить на больную ногу. — Что с вами, голова закружилась?

— Да, — сказал он, — голова закружилась, — и он обнял ее за плечи.

— Я сейчас подниму костыли, а вы держитесь за подоконник.

— Зачем, так лучше, — сказал он.

Они стояли обнявшись, и ему казалось, что не она поддерживает его, беспомощного и неловкого, а он её защищает, прикрывает от огромного, враждебного, вещающего недоброе ночного неба.

Он выздоровеет и будет барражировать на своем «яке» над госпиталем и над Сталгрэсом, и вот он снова слышит рев мотора, он идёт стремительно в хвосте «юнкерса», и он опять ощутил то понятное лишь летчику стремление к сближению с несущим смерть

врагом; мерцающая сиреневая трасса бесшумно мелькнула перед глазами, и он увидел злое, белое лицо немецкого стрелка-радиста таким, каким однажды увидел его в бою над Чугуевом.

Он отпахнул полу своего больничного халата и прикрыл им Веру, и она прижалась к нему.

Так стоял он несколько мгновений молча, опустив глаза, ощущая тепло её дыхания и прелесть ее груди, прижавшейся к нему, и подумал, что готов год простоять так на одной ноге, обнимая эту девушку в пустом тёмном коридоре.

— Ничего не нужно, — внезапно сказала она — Я сейчас подниму костыли.

Она помогла ему сесть на подоконник.

— Почему? За что это нам? Так бы все могло быть хорошо. Мой двоюродный брат сегодня на фронт уехал. Утром хирург сказал у вас необычайно скоро идёт заживление, через десять дней вас выпишут.

— Ну и пусть, — проговорил он с беспечностью мужчины, не думающего о будущем в любви, — ну и пусть будет что будет, зато сейчас нам хорошо.

Он усмехнулся

— А знаете, то есть, отчего я так быстро поправляюсь? Оттого, что я вас люблю.

Ночью она лежала в дежурке на маленьком деревянном диванчике, крашенном белой масляной краской, и думала.

В этом огромном пятиэтажном доме, полном стонов, страданий, крови, могла ли выжить родившаяся любовь?

Ей вспомнились носилки, мертвое тело, прикрытое одеялом, и острая, режущая жалость к человеку, которого санитары понесли в могилу, человеку, чьего имени она не знала и чье лицо забыла, охватила её с такой силой, что она вскрикнула и поджала ноги, точно укрываясь от удара.

Но вот, именно теперь она знала, что этот безрадостный мир дороже ей небесных дворцов ее детских мечтаний.

Утром Александра Владимировна в своём неизменном тёмном платье с белым кружевным воротничком, накинув на плечи пальто, вышла из дому. У подъезда её ожидала лаборантка Кротова — они вместе должны были на грузовике поехать исследовать воздух в цехах химического завода.

Александра Владимировна села в кабину, а Кротова, коренастая молодая женщина, лихо, по-мужски ухватила за борт и влезла в кузов.

— Товарищ Кротова, следите за аппаратурой на ухабах, — сказала Александра Владимировна, выглянув из окошечка кабины.

Водитель машины, щупленькая молодая женщина в лыжных штанах, с головой, повязанной красным платочком, положила на сидение вязанье и включила мотор.

— Дорога — асфальт, ухабов нету, — сказала она и, с любопытством оглядев старую женщину, добавила: — Вот выедем на шоссе — нажмём на железку.

— Вам сколько лет? — спросила Александра Владимировна.

— О, я пожилая, двадцать четыре.

— Мне ровесница, — усмехнулась Шапошникова — Замужем?

— Была, теперь опять девка.

— Убит муж?

— Нет, в Свердловске на Уралмаше, другую жену взял.

— И дети есть?

— Есть девочка, полтора года.

Они выехали на шоссе, и водительница, скосив весёлый светлый глазок, стала расспрашивать Александру Владимировну о ее дочерях, внуках, о том, для чего она везёт в кузове пустые стеклянные баллоны, резиновые шланги и изогнутые трубки; стала рассказывать о своей жизни.

Муж прожил с ней полгода и уехал на Урал, всё писал: «вот-вот дадут квартиру», а

потом началась война, на фронт его не взяли, имел броню. Он писал всё реже, сообщал, что живёт в общежитии для холостых, никак не получит комнаты, а зимой вдруг прислав письмо, что женился, спрашивал, отдаст ли она ему дочку. Дочку она ему не отдала и на письмо не ответила, но до суда дело не дошло, он ежемесячно высылает ей на ребенка двести рублей.

— Пусть хоть тысячу посылает, я ему никогда не прощу, а пусть а не посылает — я дочку сама прокормлю, зарабатываю ничего, — сказала молодая женщина.

Машина бежала по шоссе — мимо садов, мимо маленьких домиков с серыми обшитыми тёсом стенами, мимо заводиков. И заводов, и голубые пятна волжской воды то появлялись в просвете между деревьями, то исчезали за стенами домов, заборами, холмиками.

Александра Владимировна, приехав на завод и получив пропуск, прошла в главную контору: она хотела попросить прикомандировать к ней техника или лаборанта, чтобы подробней ознакомиться с расположением аппаратов и устройством вентиляции.

Кроме того, Александра Владимировна хотела попросить хоть на час чернорабочего: Кротовой трудно было переносить на руках двадцатилитровые бутылки-аспираторы.

Директор завода Мещеряков жил в одном доме с Шапошниковыми, и Александра Владимировна иногда видела, как он утром садился в автомобиль, размашисто захлопывал дверку и всё махал рукой, посылал воздушные поцелуи жене, стоявшей у окна.

Она хотела поговорить с Мещеряковым шутивным тоном, сказать ему: «Вы уж пойдите мне навстречу, помогите, соседюшка, закончить обследование и сделать предложения об улучшении вентиляции».

Но разговор не состоялся. Александра Владимировна слышала через полуприкрытую дверь директорского кабинета, как Мещеряков сказал секретарше:

— Принять я её сегодня не могу. И вообще передайте ей: теперь не время для разговоров о вредности и здоровье, теперь люди не только здоровьем, а жизнью жертвуют на фронте.

Александра Владимировна подошла к директорской двери, и если б кто-либо из близких, знавших её характер, увидел её плотно сжатые губы и злую морщину, лёгшую от переноса, он бы подумал, что Мещерякову сейчас придётся пережить несколько неприятных минут. Но Александра Владимировна не вошла в директорский кабинет, а, постояв мгновение, быстро, не дождавшись появления секретарши, ушла в цех.

В большом жарком цехе рабочие сперва насмешливо наблюдали, как женщины устанавливали стеклянные баллоны-аспираторы, набирали пробы воздуха через шланги в разных местах цеха, зажимали винтовыми зажимами резиновые трубки, выпускали воду из Зегеровских пипеток то у того места, где стоял аппаратчик, то у главного вентиля, то над баками с пахучим полуфабрикатом. Худой небритый рабочий в синем халате, прорванном на локтях, сказал, протяжно, по-украински выговаривая:

— Що дурни робять, воду миряють... Молодой мастер, а может быть и химик, с дерзкими, недобрими глазами, сказал Кротовой:

— Вот налетят немцы, они нам вентиляцию без вас наладят.

А старик с маленькими красными щёчками в синих жилках, поглядывая на молодую, статную Кротову, произнёс несколько слов, которых Александра Владимировна не расслышала, но слова, видимо, были крепкие — Кротова покраснела, обиженно отвернулась.

В обеденный перерыв Александра Владимировна села на ящик у двери — она устала, тяжёлый воздух расслаблял. К ней подошёл паренёк-ремесленник и спросил:

— Тётьенька, а чего вы это делаете? — и указал пальцем на стеклянные аспираторы.

Она стала объяснять ему устройство аспиратора, рассказала о газах, вредящих здоровью рабочих, о дегазации, о вентиляции.

К ним подошли рабочие послушать, и тот украинец, который грубо пошутил насчёт дурней, меряющих воду, глядя, как Александра Владимировна сворачивает махорочную папиросу, сказал: — А ну, может, мой корешок крепче, — и протянул ей красный мешочек,

завязанный тесёмкой.

Разговор пошёл общий. Сперва поговорили о вредности работы на разных производствах. У рабочих-химиков было горькое чувство гордости — их работа считалась самой вредной, вредней, чем у забойщиков в шахте и у горновых и сталеваров на металлургических заводах.

Потом заговорили о войне. С горечью, тревогой, волнением рабочие говорили о разорении врагом больших заводов, шахт, сахарной промышленности, железных дорог, донецкого паровозостроения.

Старик, вогнавший Кротову в краску, подошёл к Александре Владимировне и сказал:

— Мамаша, может, вы завтра у нас работать будете, вам надо талончики в столовую взять.

— Спасибо, сынок, — ответила она, — завтра мы со своей едой приедем.

Она рассмеялась, назвав старика сынком, и он, поняв это, сказал:

— А что ж, я, может, месяц, как женился. Разговор вдруг стал такой дружеский, живой, хороший, словно в этом цехе она провела не несколько часов, а долгие дни жизни.

Когда кончился обеденный перерыв, рабочие подвели шланг, чтобы Кротовой не пришлось носить воду вёдрами из дальнего конца цеха, помогли перенести аппаратуру и установить её в тех местах, где подозревалась загазованность воздуха.

Несколько раз Александра Владимировна вспоминала слова Мещерякова и чувствовала, как кровь прилиwała к щекам, — ей хотелось пойти в контору и отчитать его, но она сдерживала себя.

«Раньше кончу работу, сделаю предложения, — думала она, — а потом уж намну ему бока, демагогу».

Многие директора и главные инженеры знали напористость и резкость Шапошниковой и закаялись отмахиваться от ее предложений по охране труда. Опытный глаз и обоняние Александры Владимировны — она часто говорила, что нос — важнейший прибор химика, — сразу же определили неблагоприятные санитарные условия. И действительно, индикаторные бумажки тотчас же меняли окраску, поглотительные растворы мутнели — видимо, в воздухе цеха содержалось много вредных примесей. Она почувствовала, как маслянистый, тяжёлый воздух расслабляюще действовал на неё, раздражал ноздри, вызывал перхоту и кашель.

В обратный путь ехали уже с другой машиной; по дороге испортился мотор; водитель долго копался в нём, потом подошёл к кабине, задумчиво, медленно обтирая руки ветошью, и объявил:

— Дальше не поедет, буду буксир из гаража вызывать, заклинил поршня.

— Девушка довезла, а мужчина не смог до города довезти, — сказала Кротова. — Я еще хотела в магазин поспеть сегодня.

— На попутной за десятку довезут, — посоветовал водитель.

— С аппаратурой что делать, вот вопрос, — задумалась Александра Владимировна и затем решительно проговорила. — Вот что, тут недалеко до Сталгрэса, я схожу и возьму у них машину, а вы, товарищ Кротова, постерегите аппаратуру.

— Не дадут вам со Сталгрэса машину, — сказал водитель, — там мне шофёры говорили» сам Спиридонов лично наряды подписывает, у него не выпросите, у жмота.

— У него как раз я и выпрошу, — сказала Александра Владимировна, — хотите пари заключим. Но водитель почему-то обиделся:

— Зачем мне ваше пари, подумаешь, — и, подмигнув, предложил Кротовой: Оставайтесь, заночуем под брезентом, как на курорте, холодно не будет, а карточку завтра отоварим.

Шапошникова пошла по обочине шоссе. Вечернее солнце освещало дома и деревья, на подъёме ослепительно вспыхивали смотровые стёкла пронесившихся к городу грузовиков, на восточных уклонах шоссе было холодным, синевато-пепельным, а там, где его освещало солнце, оно казалось голубоватым, всё в светлых завитках пыли, поднятой проезжающими машинами. Она увидела высокие строения Сталгрэса. Здание конторы и многоэтажные

жилые дома розовели в вечернем свете, пар и дым светились над цехами. Вдоль шоссе, мимо домиков, садилов, огородов, к Сталгрэсу шли рабочие в спецовках, девушки в шароварах, одни в сапогах, другие в туфельках на каблучках, все с кошёлками, сумками видимо смена..

А вечер был тихий, ясный, и листва на деревьях светилась в лучах заходящего солнца.

И, как всегда при взгляде на тихую прелесть природы, Александра Владимировна вспомнила о покойном сыне.

Сын Дмитрий гимназистом ушёл на колчаковский фронт, потом учился в Свердловском университете. В начале тридцатых годов он стал управляющим крупного треста.

За несколько лет до войны жизнь Дмитрия вступила в тяжёлый период. У него началась сердечная болезнь, случился приступ грудной жабы. В эту пору у него на работе произошли крупные неприятности. Дмитрий волновался, отказался от отпуска, несмотря на требования врачей, не поехал лечиться. Однажды утром его нашли мёртвым в служебном кабинете — он умер от разрыва сердца.

Вскоре после этого жена его, Ида Семёновна, уехала вместе с сыном из Москвы к брату, работавшему на одной из крупных северных строек.

Для здоровья Серёжи жизнь на севере оказалась вредна — он за короткий срок дважды болел воспалением лёгких, начал температуить; врач категорически советовал переехать на юг. И Александра Владимировна уговорила Иду Семёновну отпустить в Сталинград двенадцатилетнего Серёжу...

Александра Владимировна шла торопливо, голова слегка кружилась. Она знала, что головокружение это не только от мелькавших машин и пятен света, что от старости, от переутомления, оттого, что весь день она дышала тяжёлым воздухом, от постоянного нервного напряжения; вот и ноги стали у нег отекать к вечеру, обувь становится тесной, видимо, сердце не справлялось с нагрузкой.

Зять встретился ей в проходной, он шёл, окружённый людьми, размахивая пачкой бумаг; казалось, он отмахивался этой пачкой от упорно наседавшего на него военного с интендантскими петлицами.

— Ничего не выйдет, — говорил Степан Фёдорович, — пожгу трансформаторы, оставлю город без света, если подключу вас. Ясно?

— Степан Фёдорович, — негромко окликнула его Александра Владимировна.

Спиридонов резко остановился, услышав знакомый голос, и удивлённо развёл руками.

— Дома случилось что-нибудь? — быстро спросил он и отвёл Александру Владимировну в сторону.

— Нет, все здоровы. Толю вчера вечером проводили. — И она рассказала об аварии с машиной.

— Ох, и хозяин Мещеряков, ни одной машины в порядке у него нет, — с удовольствием сказал Степан Фёдорович, — сейчас мы это дело наладим. — Он поглядел на Александру Владимировну и шёпотом проговорил — Вы такая бледная, ах ты, ей богу.

— Голова кружится.

— Ну конечно, с утра не ели, день на ногах провели — безобразие, — сердито выговаривал он, и Александра Владимировна заметила, что здесь, где он был хозяином, Степан Фёдорович, обычно робевший перед ней, говорит с новой для него снисходительно-заботливой интонацией. — Я вас так не пушу, — сказал он и, прищурившись, на мгновение задумался. — Вот что, аппаратуру с лаборанткой мы сейчас отправим, а вы отдохнёте у меня в кабинете. Через час мне ехать в обком, я вас прямо домой на легковой отвезу. И покушать обязательно нужно. Она не успела ответить, как Степан Фёдорович крикнул — Сотников, скажи завгару, пусть полуторку отправит на шоссе, километр отсюда в сторону Красноармейска, там грузовик застрял, возьмет там аппаратуру, женщину и свезет в город Ясно! Быстро только. Ох, и Мещеряков, хозяин — Он окликнул пожилую женщину, невидимому уборщицу. — Ольга Петровна, проводите гражданку ко мне, скажите Анне Ивановне, пусть кабинет откроет, а я тут людей отпущу, минут через

пятнадцать приду.

В кабинете Степана Федоровича Александра Владимировна села в кресло и оглядела стены в больших листах синей кальки, диваны и кресла под крахмальными, несмятыми чехлами (видимо, на них никто не садился), запыленный графин на тарелке с жёлтыми пятнами, из которого, видимо, не часто пили воду, криво повешенную картину, изображавшую митинг при пуске электростанции, — и на картину, должно быть, редко кто глядел. На письменном столе лежали бумаги, чертежа куски кабеля, фарфоровый изолятор, горка угля на газете, набор чертёжных карандашей, вольтметр, логарифмическая линейка, стояли телефоны со стёртыми до белого металла цифрами на дисках, пепельница, полная окурков, — за столом этим работали день и ночь, без сна.

Александра Владимировна подумала, что, может быть, она первый человек, пришедший сюда отдохнуть, до неё в этом кабинете никто никогда, в течение десяти лет, не отдыхал, в нём только работали.

И правда, едва вошёл Степан Федорович, как в дверь постучались и молодой человек в синей тужурке, положив на стол длинную рапортничку, сказал:

— Это за ночную смену, — и вышел. И тотчас вошёл старик в круглых очках с чёрными нарукавниками, передал Степану Фёдоровичу папку.

— Заявка от Тракторного, — и тоже вышел. Позвонил телефон, Степан Фёдорович взял трубку:

— Как же, узнаю... сказал не дам, значит, не дам. Почему?

Потому что «Красный Октябрь» важнее, знаешь сам, что он выпускает. Ну? Дальше что? Ну знаешь, что — Он, видимо, хотел выругаться, глаза у него стали узкие, злые, Александра Владимировна никогда не видела у него такого выражения. Быстро оглянувшись на тещу, он облизнул губы и проговорил в трубку — Начальством ты меня не страшай, я сам у начальства буду сегодня. Меня просишь и на меня же пишешь... Сказал не дам!

Вошла секретарша, женщина лет тридцати, с очень красивыми сердитыми глазами.

Она наклонилась к уху Степана Фёдоровича и негромко сказала что-то. Александра Владимировна разглядывала её тёмные волосы, красивые тёмные брови, большую мужскую ладонь со следами чернил.

— Конечно, сюда пусть несёт, — сказал Степан Фёдорович, и секретарша, подойдя к двери, позвала:

— Надя, сюда несите.

Стуча каблуками, девушка в белом халате внесла поднос, прикрытый полотенцем.

Степан Фёдорович открыл ящик письменного стола и вынул половину белого батона, завернутого в газету, пододвинул Александре Владимировне.

— Хотите, — сказал он и похлопал рукой по ящику, — могу угостить кое-чем покрепче, только Марусе не говорите, вы ведь знаете, съест, — и сразу стал похож на домашнего, обычного Степана.

Александра Владимировна пригубила водки и, улыбнувшись, сказала:

— Дамы у вас тут интересные, а девушка просто прелесть, и в ящике не одни чертежи. А я-то думала, вы здесь работаете круглосуточно.

— Изредка и работать приходится, — сказал он. — Ох, девицы, девицы. Ведь Вера, представляете, что задумала.. Я вам расскажу, когда поедем.

«Как-то странно здесь звучат семейные разговоры», — подумала Александра Владимировна.

Степан Фёдорович посмотрел на часы.

— Вы меня немного подождите, через полчаса поедем, мне нужно на станцию пойти, а вы отдохните пока.

— Можно с вами пойти? Я ведь никогда не была здесь.

— Что вы, мне ведь на второй и на третий этаж, лучше отдохните, — но видно было, что он очень обрадовался. Ему хотелось показать ей станцию.

Они шли в сумерках по двору, и Степан Фёдорович объяснял:

— Вот масляные трансформаторы... котельная, градирни... здесь мы КП строим, подземное, на всякий случай, как говорится...

Он поглядел на небо и сказал:

— Жутковато, вдруг налетят... Ведь такое оборудование, такие турбины!

Они вошли в ярко освещённый зал, и то скрытое сверхнапряжение, которое ощущается на больших электрических станциях, коснулось их и незаметно, нежно, но крепко оплело своим очарованием. Нигде — ни в доменных цехах, ни в мартенах, ни в горячем прокате — не возникает такого волнующего ощущения... В металлургии огромность совершаемой человеком работы выражается открыто и прямо: в жаре жидкого чугуна, в грохоте, в огромных, слепящих глаз, глыбах металла... Здесь же всё было иное — яркий, ровный свет электрических ламп, чисто подметённый пол, белый мрамор распределительных щитов, размеренные, неторопливые движения и внимательные спокойные глаза рабочих, неподвижность стальных и чугунных кожухов, мудрая кривизна турбин и штурвалов. В негромком, густом и низком жужжании, в едва заметной дрожи света, меди, стали, в тёплом сдержанном ветре ощущалось не явное, прямое, как в металлургии, а тайное сверхнапряжение силы, бесшумная сверхскорость турбинных лопаток, тугая упругость пара, рождавшего энергию, более высокую и благородную, чем простое тепло.

И как-то по-особенному волновало тусклое сверкание бесшумных динамо, обманывавших своей кажущейся неподвижностью...

Александра Владимировна вдохнула тёплый ветерок, отделявшийся от маховика; маховик казался неподвижным, так бесшумно и легко вращался он, но спицы его словно были затканы серенькой паутинкой, сливались, мерцали, и это выдавало напористость движения. Воздух был тёплый, с едва заметной горьковатой примесью озона, с чесночинкой, так пахнет воздух в поле после грозы, и Александра Владимировна мысленно сравнила его с масляным воздухом химических заводов, с угарным жаром кузниц, с пыльным туманом мельниц, с сухой духотой фабрик и швейных мастерских...

И опять совершенно по-новому увидела она человека, которого, казалось, так хорошо и подробно узнала за долгие годы его супружества с Марусей.

Не только движения его и улыбка, и выражение лица, и голос стали здесь иными, но и внутренне он был совершенно иным. Когда она слышала его разговор с цеховыми инженерами и рабочими, наблюдала его лицо и их лица, она видела, что Степана Фёдоровича объединяет с ними нечто важное и большое, без чего ни он, ни они не могли бы существовать. Когда он шёл по пролётам, говорил с монтерами и машинистами, склонялся над штурвалами и приборами, слушал призадумавшись звук моторов, в его лице было одно и то же выражение сосредоточенности и мягкой тревога. То было выражение, породить которое могла лишь любовь, и казалось в эти минуты ни для Степана Фёдоровича, ни для тех, что шли с ним и говорили с ним, не было обычных тревог и волнений, обыденных мыслей и домашних радостей и огорчений — для них было лишь одно высокое, дивное дело. Мощь советской индустрии жила и торжествовала в этих цехах. Замедлив шаги, Степан Фёдорович сказал:

— Вот наша святая святых, — и они прошли к главному щиту.

На высоком мраморе — среди рубильников, реостатов, переключателей, среди жирной меди и полированной пластмассы — пестрели голубые и красные желуди сигнальных лампочек.

Неподалёку от щита рабочие устанавливали высокий, в полтора человеческого роста, толстостенный стальной футляр с узкой смотровой щелью.

— В этой штуке при бомбёжке будет стоять дежурный на главном щите, сказал Спиридонов. — Надёжная броня, как на линкоре.

— Человек в футляре, — проговорила Александра Владимировна. — Смысл совсем не чеховский у этих слов.

Степан Фёдорович подошёл к щиту. Огни голубых и красных сигнальных лампочек падали на его лицо и пиджак.

— Включаю город! — сказал он и коснулся рукой массивной ручки. — Включаю «Баррикады»... включаю Тракторный... включаю Красноармейск...

Голос его дрогнул от волнения, лицо в странном пёстром свете было взволнованным, счастливым... Рабочие молча и серьёзно смотрели на него.

...В машине Степан Фёдорович наклонился к уху Александры Владимировны и шопотом, чтобы не слышал водитель, сказал:

— Вы помните уборщицу, которая вас провожала ко мне в кабинет?

— Ольга Петровна, кажется?

— Вот-вот, вдова она, Савельева её фамилия. У неё на квартире жил парнишка, работал у меня в слесарной мастерской, потом пошёл в лётную школу, и оказывается, он тут лежит в госпитале, прислал ей письмо, что дочка Спиридонова, наша Вера, работает в этом госпитале, и будто всё у них решено. Объяснились. Представляете, какое дело? И узнаю-то не от Веры, а от своего секретаря Анны Ивановны. А ей уборщица Савельева сказала. Представляете?

— Ну и что ж, — сказала Александра Владимировна. — Очень хорошо, лишь бы честный и хороший парень.

— Да не время, боже мой, да и девчонка... Вот станете прабабушкой, тогда не скажете: «Очень хорошо!»

Она плохо видела в полутьме его лицо, но голос его был обычный, долгие годы знакомый ей, и, вероятно, выражение лица было таким же обычным, знакомым.

— А насчёт фляжки договорились, Марусе ни слова, ладно? — смеющимся шёпотом сказал он.

Материнская, грустная нежность к Степану охватила её.

— И вы, Степан, станете дедом, — тихо сказала Александра Владимировна и погладила его по плечу.

Степан Фёдорович заехал по делу в Тракторозаводский районный комитет партии и узнал неожиданную новость — давно знакомый ему Иван Павлович Пряхин был выдвинут на работу в обком партии.

Пряхин когда-то работал в партийной организации Сталинградского тракторного, потом поехал на учёбу в Москву, вернулся в Сталинград незадолго до начала войны, снова стал работать в райкоме, был одно время партторгом ЦК на Тракторном заводе.

Степан Фёдорович знал Пряхина давно, но встречался с ним мало и сам удивился, почему новость эта, не имевшая к нему прямого отношения, взволновала его.

Он зашёл в комнату к Пряхину, который в этот момент надевал плащ, собираясь уходить, и громко сказал:

— Приветствую, товарищ Пряхин, поздравляю с переходом на работу в областной комитет.

Пряхин, большой, неторопливый, широколобый, медленно посмотрел на Степана Фёдоровича и проговорил:

— Что ж, товарищ Спиридонов, мне ведь обком поручает работать по оборонной промышленности, будем встречаться по-прежнему, наверно, чаще даже.

Они вместе вышли на улицу.

— Давайте подвезу, я сейчас через город еду к себе на Сталгрэс, — сказал Спиридонов.

— Нет, я пойду пешком, — сказал Пряхин.

— Пешком? — удивился Спиридонов. — Это вам часа три ходу.

Пряхин посмотрел на Спиридонова и смущённо усмехнулся, промолчал. Спиридонов посмотрел на Пряхина, усмехнулся и тоже промолчал. Он понял, что неразговорчивому, суровому человеку Пряхину захотелось вот в этот военный день пройти по улицам родного города, пройти мимо завода, который при нём строили, пройти мимо садов, которые при нём сажали, мимо школы, в строительстве которой он принимал участие, мимо новых домов, которые при нём заселялись.

Как-то по-новому увидев этого человека, растроганный Степан Фёдорович подумал:

«Вот он, мой партийный товарищ!»

Пряхин, поняв догадку Степана Фёдоровича, пожал ему руку, молчаливо поблагодарив за сдержанность, за то, что Спиридонов не стал объяснять «Ага, волнение охватило, хочется вам посмотреть те места, где вся ваша жизнь прошла, где всю свою жизнь проработали».

Ведь бывает такая плохая манера у некоторых людей без спросу залезть в чужую душу и громогласно объяснять всё, что видно в чужой душе. Должно быть, поэтому Пряхин и пожал так крепко руку Степану Фёдоровичу, что тот не проявил этой плохой манеры.

Спиридонов стоял у дверей райкома, поджидая отлучившегося водителя машины, поглядывал вслед идущему по дороге Пряхину.

«Теперь он моим начальством в обкоме будет!» — подумал Спиридонов с усмешкой, но усмешка не получилась он был растроган. Ему вспомнились встречи с Пряхиным. Вспомнилось, как открывали в заводском посёлке школу — десятилетку для детей рабочих и служащих. Пряхин, озабоченный, сердитый, нарушающий своим сварливым голосом торжественность обстановки, выговаривал прорабу за то, что тот скверно отциклевал паркет в некоторых школьных комнатах. Вспомнилось, как когда-то, задолго ещё до войны, во время пожара в жилом посёлке, увидя сквозь сизый дым шагающего Пряхина, Спиридонов подумал с облегчением «Ну вот, райком здесь, сразу на душе легче». Вспомнилось ему, как не спал он три ночи перед пуском нового цеха и как в самое неожиданное время появлялся в цехе Пряхин — и казалось, ни с кем он особенно не говорил, никого особенно не расспрашивал, а когда обращался к Степану Фёдоровичу, вопрос его был всегда именно тем вопросом, который особенно тревожил в эту минуту Спиридонова. И ведь вся тонкость в том и была, что Спиридонов ни разу не удивился этому, ни разу не подумал, что партийный работник Пряхин мог говорить с ним не о самом важном, что волновало, наполняло сердце чувством радости и тревоги в часы пуска нового цеха. И теперь, когда в грозные сталинградские дни послали Пряхина на оборонные промышленные предприятия, Спиридонов ощутил такое же чувство, как во время пожара. «Ну вот, и райком здесь, на душе верней, спокойней».

И все эти случайные воспоминания, внезапные, мимолётно возникшие мысли объединились вокруг большого и важного, самого главного и значительного. Партия посылала на трудную работу знакомого Спиридонову человека, партийного товарища, большевика! И те великие связи, которые определяли жизнь страны, с какой-то особой силой вдруг ощутил в душе своей Степан Фёдорович, с той особой силой, с которой всегда ощущается самое главное, сокровенное в дни тяжелых испытаний.

Партия организовывала батальоны, полки, дивизии! Партия организовывала военно-промышленную мощь страны! Партия напутствовала сыновей своих словами правды, суровой, как сама жизнь. Сколько веры в победу в этих суровых словах правды.

Приехав на Сталгрэс, Степан Фёдорович погрузился в каждодневные свои дела и волнения, но чувства и мысли, возникшие по поводу случайной, минутной встречи, не исчезли, не растворились в шумном потоке. Он ощущал всю силу тех связей, которые годами, десятилетиями росли, ширились, укреплялись партией в каждодневном труде Сталинграда. И он чувствовал, верил, что связи эти выдержат, не порвутся в ту страшную пору, когда война рушит стены домов, гнёт железные балки и дробит камень.

Вечером Женя замаскировала окна, соединяя платка, старые одеяла и кофты шпильками и булавками.

Воздух в комнате сразу сделался душным, лбы и виски сидевших за столом покрылись маленькими каплями пота, казалось, что желтая соль в солонке стала мокрой, вспотела от жары, но зато в комнате с замаскированными окнами не было видно томящее душу ночное, прифронтовое небо.

— Ну, товарищи девицы и дамы, — сказала, отдуваясь, Софья Осиповна, — что нового во славному во городе Сталинграде?

Но девицы и дамы не отвечали, так как были голодны и, дуя на пальцы, вынимали из кастрюли горячие картошки.

Только Степан Федорович, пообедавшим и ужинавший в литерной обкомовской столовой, не стал есть картошку.

— С будущей недели ночевать буду на работе, есть решение обкома, — сказал он. Степан Фёдорович покашлял и добавил неторопливо — А Пряхин то, знаете, в обкоме работает теперь.

Но никто не обратил внимания на эти слова.

Мария Николаевна, ездившая днём на завод на общегородской субботник работников народного просвещения, стала рассказывать, какое приподнятое у рабочих настроение.

Мария Николаевна считалась самым учёным человеком в семье. Уже девочкой школьницей она удивляла всех своей работоспособностью, умением заполнять день работой. Она одновременно закончила два вуза — педагогический и заочный философский факультет. До войны областное книгоиздательство напечатало написанную ею брошюру «Женщина и социалистическое хозяйство». Степан Фёдорович переплёл один экземпляр в жёлтую кожу, с вытесненным серебром заглавием, и эта книга, предмет семейной гордости, всегда лежала на его столе. Слово жены было для него решающим в спорах о людях, в оценках знакомых и друзей.

— Переступишь порог цеха — и сразу же забываешь обо всех тревогах и сомнениях, — сказала Мария Николаевна, беря картошку, но, взволновавшись, вновь положила её — Кет, невозможно нас победить, такой мы самоотверженный, такой трудолюбивый народ. Вот только в цехах этих по настоящему поймёшь, как народ борется с врагом. Нужно всем нам оставить свои дела и переключиться, пойти работать на оборонные заводы, в колхозы. А Толя-то наш уехал!

— Пожилым теперь лучше, теперь молодежь переживает, — сказала Вера.

— Не молодежь, а молодежь, — поправила Мария Николаевна.

Она всегда поправляла ударения в речи Веры.

— Ох, и запылится твой жакет, надо его почистить, — сказал Степан Фёдорович.

— Это заводская, святая пыль, — проговорила Мария Николаевна.

— Да ты, Маруся, ешь, — сказал Степан Федорович, тревожась, чтобы жена, любившая возвышенные разговоры, не увлеклась и не пренебрегла своей долей жареной осетрины, принесенной им из столовой.

Александра Владимировна сказала:

— Всё это так, но бедный Толя, как он волновался.

— Что же делать — война, — сказала Мария Николаевна, — родина требует великих жертв.

Евгения Николаевна, прищурившись, поглядела на старшую сестру.

— Ох, ох, дорогая моя, всё это хорошо, когда однажды поработаешь на субботнике, а вот каждый день по утрам в зимнем мраке пробираться под страхом бомбежки к заводу, а затем в том же мраке после дня работы бежать домой... Добавь к этому, кстати, брынзу и камсу.

— Почему ты так авторитетно рассуждаешь, словно сама двадцать лет на заводе работаешь? А, главное, ты органически не можешь понять, что работа в огромном коллективе — источник постоянной моральной зарядки. Рабочие шутят, уверенно настроены, а когда из цеха, вы бы все посмотрели, выкатили оружие и командир пожал старому мастеру руку и тот его обнял и сказал: «Дай тебе бог живым вернуться с войны», — такой подъём меня охватил патриотический, что я не шесть, а, кажется, сто шесть часов проработала бы.

— О господи, — сказала Женя со вздохом, — да разве я собираюсь спорить с тобой по существу, всё, что ты говоришь, верно, благородно, и я всей душой понимаю это. Но ты о людях говоришь, словно их не бабы рожали, а редактора газет. Есть там на заводе все это, знаю, но зачем говорить таким тоном и невольно кажется выдумкой. Все люди у тебя, как на плакате, а мне вот не хочется рисовать плакаты. Маруся прервала её:

— Нет, нет, тебе именно и следует рисовать плакаты, а не заниматься таинственной

живописью, которую никто не понимает. Пей, Женя, чай, пока он пылкий.

Женя рассердилась:

— Не говори «чай пылкий», я это уж где-то читала. Горячий, а не пылкий!

Ее раздражала Марусина манера употреблять в разговоре народные слова «по грибочки», «прошла задами», «подмочь» и вместе с ними слова вроде, «сенсительный», «абсентеизм», «комплекс неполноценности».

— Да-а, — протяжно сказала Вера, — сегодня привезли раненых, они рассказывали жуткие дела.

— Вера, не повторяй слухов! Нет, я не такой была в твои годы, — сказала высоким от волнения голосом Мария Николаевна.

— А ну вас, мама! Раненые ведь рассказывают! Я-то тут при чём? И при чём тут мои годы? — проговорила Вера.

Мария Николаевна посмотрела на дочь и ничего не ответила.

В последнее время споры с Марией Николаевной происходили все чаще, обычно их начинал Серёжа, иногда Вера принималась ей возражать, говорила: «Ах, мама, ты не знаешь, а споришь!» Это было непривычно Марии Николаевне, волновало и огорчало её.

В это время в комнату поспешно вошёл Серёжа.

— Наконец, а я-то волнуюсь ужасно, — радостно сказала Александра Владимировна — Где ты был?

— Бабуля, готовьте мне вещевой мешок, я послезавтра ухожу с рабочим батальоном на рытьё окопов — громко, задыхаясь, объявил Сережа, вынул из ученического билета бумажку и положил её на стол, подобно игроку, выбрасывающему перед опешившими партнёрами козырного туза.

Степан Фёдорович развернул бумажку и, как человек опытный и знающий «бумажное дело», внимательно, начав от штампа с номером и числом, стал рассматривать её.

Серёжа, снисходительно улыбаясь, уверенный в полновесной ценности документа, сверху вниз глядел на сощуренные глаза и наморщенный лоб Степана Фёдоровича.

Маруся и Женя в это время забыли о ссоре и понимающе переглянулись, тайком наблюдая за матерью.

Серёжа был главной привязанностью Александры Владимировны — его глаза, тревожный, по-взрослому сильный и по-детски непосредственный прямой ум, его застенчивость, соединённую со страстностью, детскую доверчивость, соединённую со скептицизмом, доброту и вспыльчивость — всё это боготворила в нём Александра Владимировна. Как-то она сказала Софье Осиповне:

— Знаешь, Соня, вот мы подошли к старости, покидаем жизнь, не мирный сад, а жизнь в огне, война бушует, но я, старуха, по-прежнему так же страстно верю в силу революции, верю в победу над фашизмом, верю в силу тех, кто держит знамя народного счастья и свободы. И мне кажется, что Сережа из этой породы. А он ведь, он дитя поколения. Вот за это я как-то особенно люблю его.

Но дело в том, что любовь Александры Владимировны к внуку была прежде всего безотчётной, не рассуждающей и, следовательно, простой и настоящей любовью.

Эту любовь знали все близкие её, она трогала их, но и сердила; она вызывала бережное и в то же время ревнивое чувство, как это часто бывает в больших семьях. Иногда дочери говорили с тревогой:

— Если с Сережей что-нибудь приключится, мама не переживёт.

Иногда говорили с сердцем:

— О господи, нельзя всё-таки так дрожать над этим мальчишкой!

Порой осуждали с насмешкой:

— Когда мама старается быть одинаковой и к Людмилиному Толе и к Серёже, у неё ничего не получается.

Степан Фёдорович передал бумажку Серёже и небрежно сказал:

— Филимонов подписал, ничего, я завтра поговорю с Петровым, и мы тебя устроим на

Сталгрэс.

— Зачем? — спросил Серёжа. — Я ведь сам пошёл, меня не брали, нам сказали, что дадут не только лопаты, но и винтовки и переведут здоровых в строй.

— Так ты что это, сам, что ли, записался? — спросил Степан Фёдорович.

— Ну конечно.

— Да ты с ума сошёл, — сердито сказала Мария Николаевна. — Да ты подумал о бабушке, да ты знаешь, что она не переживёт, если, не дай бог, случится что-нибудь с тобой?

— Ведь у тебя паспорта ещё нет. Да вы видели дурака? — сказала Софья Осиповна.

— А Толя?

— Ну и что Толя? Толя на три года старше тебя. Толя взрослый человек. Толя призван родиной исполнять свой гражданский долг. Вот и Вера да разве я ей слово сказала? Придёт время, кончишь десятый класс, тебя призовут, никто слова тебе не скажет. Я поражаюсь, как записали его. Надрали бы уши...

— Там был один меньше меня ростом, — перебил Серёжа. Степан Фёдорович подмигнул Жене.

— Видали мужчину?

— Мама, а ты что молчишь? — спросила Женя.

Серёжа посмотрел на Александру Владимировну и негромко окликнул её:

— А, бабка?

Он один говорил с ней насмешливо и просто и часто с какой то смешной, трогательной снисходительностью спорил с ней. Даже старшая его тётка Людмила редко спорила с Александрой Владимировной, несмотря на властность характера и искреннюю уверенность в своей всегдашней правоте во всех семейных делах.

Александра Владимировна быстро вскинула голову, точно за столом сидели её судьи, и произнесла:

— Делай, Серёжа, так, как ты... я.. — она запнулась, поднялась быстро из-за стола и пошла из комнаты.

На мгновение стало тихо, и растроганная Вера, чьё сердце в этот день открылось для доброго сочувствия, сердито нахмурилась, чтобы сдержать слезы.

Ночью улицы города наполнились шумом. Слышались гудки, пыхтение автомобильных моторов, громкие окрики.

Шум этот был не только велик, но и тревожен. Все проснулись, лежали молча, прислушиваясь и стараясь понять, что происходит.

Вопрос, волновавший сердца разбуженных ночным шумом людей, был в ту грозную пору один: не прорвались ли где-нибудь немцы, не ухудшилось ли внезапно положение, не ухляют ли наши и не пришло ли время среди ночи одеться, торопливо схватить узел с вещами и уйти из дому. А иногда леденящая тревога сжимала сердце: «А что, собственно, за шум, что за невнятные голоса, а вдруг воздушный десант?»

Женя, спавшая в одной комнате с матерью, Софьей Осиповной и Верой, приподнялась на локте и негромко сказала:

— Вот так в Ельце с нашей бригадой художников было: проснулись — а на окраине немцы! И никто нас не предупредил.

— Мрачная ассоциация, — сказала Софья Осиповна. Они слышали, как Маруся, оставившая дверь открытой, чтобы в случае бомбёжки легче было всех разбудить, сказали:

— Степан, что за скифское спокойствие, ты спишь, ведь надо узнать!

— Да не сплю я, тише, слушай! — шёпотом сказал Степан Фёдорович.

Под самым окном зарокотала машина, потом вдруг мотор заглох, и чей то голос, столь явственно слышный, точно он раздавался в комнате, произнес:

— Заводи, заснул, что ли? — и добавил несколько слов, которые заставили женщин на мгновение потупить, но не оставили никаких сомнений в том, что произносил эти слова раздосадованный русский человек.

— Звук благодатный, — сказала Софья Осиповна. И все вдруг облегчённо заговорили.

— Это все Женя со своим Ельцом, — слабым голосом сказала Маруся. — У меня и сейчас ещё боль в сердце и под лопаткой...

Степан Фёдорович, смущённый тем, как он только что взволнованно шептался с женой, многословно и громко стал объяснять!

— Да откуда? Нелепо же, ерунда ведь! От Калача до нас сплошная железобетонная оборона. Да и в случае чего, мне бы немедленно позвонили. Что ж вы думали, так это делается? Ой, бабы вы бабы, одно слово — бабы!

— Да, конечно, хорошо, и все пустяки, но я подумала: вот так именно это бывает, — тихо сказала Александра Владимировна.

— Да, мамочка, именно так, — отозвалась Женя. Степан Фёдорович накинул на плечи плащ и, пройдя по комнате, сдёрнул маскировку и распахнул окно.

— Открывается первая рама, и в комнату шум ворвался, — сказала Софья Осиповна и, прислушавшись к пестрому гулу машин и голосов, заключила. — И благовест ближнего храма, и голос народа, и шум колеса.

— Не шум колеса, а стук колеса, — поправила Мария Николаевна.

— Нехай будет стук, — сказала Софья Осиповна и всех рассмешила этими словами.

— Много легковых, «эмки», есть «зисы-101», — говорил Степан Фёдорович, вглядываясь в улицу, освещённую неясным светом луны.

— Наверно, подкрепления на фронт идут, — сказала Мария Николаевна

— Нет, пожалуй, наоборот, не похоже, что к фронту, — ответил Степан Фёдорович Он вдруг предостерегающе поднял палец и сказал — А ну, тише!

На углу стоял регулировщик, и к нему то и дело обращались проезжавшие. Говорили они негромко, и слов разобрать было нельзя. На все вопросы регулировщик отвечал взмахом флажка, указывая маршрут легковым машинам и грузовикам, на которых громоздились столы, ящики, табуретки и складные кровати. На грузовиках сонно покачивались в такт движению закутанные в шинели и плащ-палатки люди. Возле регулировщика остановился «зис 101», и разговор вдруг стал явственно слышен Степану Фёдоровичу.

— Где комендант? — спросил густой медленный голос.

— Вам коменданта города?

— На что мне твоего коменданта города, мне нужно знать, где разместился комендант штаба фронта?

Степан Фёдорович не стал дольше слушать. Он прикрыл окно и, выйдя на середину комнаты, объявил:

— Ну, товарищи, Сталинград стал фронтовым городом, к нам пришёл штаб Юго-Западного фронта.

— От войны нельзя уйти, она идёт за нами, — сказала Софья Осиповна. Давайте спать! В шесть утра я должна быть в госпитале.

Но едва она сказала эти слова, как послышался звонок.

— Я открою, — сказал Степан Фёдорович и, надев свой коверкотовый плащ, пошел к двери. Плащ этот ночью обычно лежал на спинке кровати, чтобы находиться под рукой на случай бомбежки. На спинке кровати лежали новый костюм и плащ Спиридонова, а возле шкафа стоял в боевой готовности чемодан с Марусиной шубой и платьями.

Вскоре Степан Фёдорович вернулся и смеющимся шёпотом сказал:

— Женя, вас там кавалер спрашивает, красавец мужчина, я его пока в передней оставил.

— Меня? — удивилась Евгения Николаевна — Не понимаю, какая чепуха! — Но по всему чувствовалось, что она взволнована и смущена.

— Джахши, — весело сказала Вера. — Вот вам и тётя Женя.

— Выйдите, Степан, я оденусь, — быстро сказала Евгения Николаевна и легко, по-девичьи вскочила, задёрнула маскировку и зажгла свет.

Надеть платье и туфли заняло несколько секунд, но движения ее сразу же стали медленны, когда она, прищурив глаза, подкрашивала карандашиком губы.

— Да ты с ума сошла, — сердито сказала ей Александра Владимировна. Красишься среди ночи, ведь человек ждет.

— Да притом еще не мытое, заспанное лицо и спутанные, как у ведьмы, волосы, — добавила Мария Николаевна.

— Вы не беспокойтесь, — сказала Софья Осиповна. — Женичка отлично знает, что она ведьма молодая и красивая.

Ей, седой и толстой пятидесятивосьмилетней девушке, может быть, ни разу в жизни не приходилось вот так, сдерживая сердцебиение, прихорашиваться, готовясь к неожиданной встрече.

Эта мужеподобная женщина, обладавшая воловьей работоспособностью, объездившая полсвета с географическими экспедициями, любившая в разговоре грубое слово, читавшая математиков, поэтов и философов, казалось, должна была к красивой Жене относиться с неодобрительной насмешкой, а ни с нежным восхищением и смешной, трогательной завистью.

Женя всё с тем же недоумевающим, сердитым выражением лица пошла к двери.

— Не узнаете? — спросили из-за двери.

— И да, и нет, — ответила Женя

— Новиков, — назвался пришелец.

Идя к двери, она была почти уверена, что именно он и пришёл, но ответила так потому, что не знала, нужно ли ей сердиться на бесцеремонность ночного вторжения.

И вдруг, точно со стороны, она увидела всю поэзию этой ночной встречи увидела себя, сонную, только что покинувшую тепло домашней, материнской постели, и стоящего у двери человека, пришедшего из грозной военной тьмы, несущего с собой запах пыли, степной свежести, бензина, кожи.

— Простите меня, глупо являться среди ночи, — сказал он и склонил голову. Она сказала:

— Вот теперь я вас узнала, товарищ Новиков. Очень рада. Он проговорил:

— Война привела в Сталинград. Вы извините, лучше я днём зайду.

— Куда же вы сейчас пойдёте, среди ночи? Оставайтесь у нас.

Он стал отнекиваться. Кончилось тем, что она стала сердиться не на то, что Новиков вторгся ночью в дом, а на то, что он не хочет в нём остаться. Тогда Новиков, обращаясь в тьму лестничной клетки, сказал негромко, тоном человека, привыкшего приказывать и знающего, что приказ его всегда услышат.

— Кореньков, принесите мой чемодан и постель. Женя сказала:

— Рада вас видеть живым и здоровым. Но я расспрашивать вас сейчас ни о чём не буду: вы устали, вам надо помыться, попить чаю, поесть. А утром поговорим подробно, расскажете мне о себе. Познакомлю вас с мамой, сестрой, племянницей.

Она вдруг взяла его за руку и, разглядывая его лицо, произнесла:

— А вы очень изменились, прежде всего брови посветлели.

— Это от пыли, — сказал он. — Очень пыльная дорога.

— От пыли и от солнца. И глаза от этого кажутся темней, Женя почувствовала, как большая рука его, которую она держала, чуть-чуть дрогнула в её руке, и, рассмеявшись, сказала:

— Ну вот, пока поручу вас нашим мужчинам, а завтра будете введены в женский мир.

Гостю устроили постель в комнате Серёжи. Серёжа провёл его в ванную, и Новиков спросил:

— О, неужели и душ действует?

— Пока действует, — ответил Серёжа, следя, как гость снимает портупею, револьвер, гимнастёрку с четырьмя малиновыми «шпалами», выкладывает из чемоданчика бритвенный прибор и мыльницу.

Высокий, плечистый, он казался человеком, рождённым для ношения военной формы и оружия.

Серёжа казался себе таким слабым и маленьким рядом с этим суровым сыном войны. А ведь завтра и он станет её сыном.

— Вы брат Евгении Николаевны? — спросил Новиков. Серёже казалось неловким называться Жениным племянником, она слишком молода, чтобы быть теткой взрослого парня, поступившего добровольцем в рабочий батальон. Новиков подумает, либо Женя пожилая, либо племянник совершенный молокосос.

— Вытирайтесь мохнатой простыней, — сказал Серёжа, точно не расслышав вопроса. Ему не понравилось, как Новиков разговаривал с водителем машины, сутулым красноармейцем лет сорока.

Серёжа, кипятивший на керосинке чай, сказал:

— Товарищу шофёру мы постелим здесь постель. Новиков возразил:

— Нет, он будет спать в машине, её нельзя оставлять без охраны.

Красноармеец усмехнулся:

— До Волги доехали, товарищ полковник, по воде машину не уведут.

Но Новиков сказал:

— Идите, Кореньков.

Чай Новиков пил в Серёжиной комнате. Степан Фёдорович, почёсывая грудь и позёвывая, сел напротив него и тоже стал пить чай; его взволновал ночной приход штаба.

Из-за двери послышался голос Жени:

— Ну как там у вас, всё в порядке? Новиков поспешно поднялся и, стоя, точно разговаривал с высоким начальником, ответил:

— Благодарю вас, Евгения Николаевна, и ещё раз простите.

Когда он говорил с Женей, глаза его приняли виноватое выражение, и это не шло к его властному лицу с широким лбом, прямым носом и плотно складывающимися губами.

— Ну, до завтра, спокойной ночи, — сказала Женя, и Серёжа заметил, что Новиков слушал стук удалявшихся каблучков.

Степан Фёдорович, прихлёбывая чай, угощал гостя и оглядывал его глазами человека, смыслящего в деле подбора кадров. Он прикидывал в уме, какая гражданская работа подошла бы Новикову. Такого в промкооперации, пожалуй, не встретишь. Ему бы подошло быть начальником какого-нибудь крупного строительства союзного значения.

— Значит, штаб фронта теперь в Сталинграде будет? — опросил Степан Фёдорович.

Новиков искоса посмотрел на него, и Степан Фёдорович заметил в глазах гостя неудовольствие.

— Э, военная тайна, — немного обиженно сказал Спиридонов и, не удержавшись, прихвостнул: — Мне такие вещи по должности известны, снабжаю энергией три завода-гиганта, а они снабжают фронты.

Но, как и всегда, хвостовство в основе своей имело слабость и неуверенность: военный смутил его своим спокойным, холодным взглядом. Видимо, полковник подумал так: «Если и сообщены тебе такие сведения, то вовсе не следует без нужды повторять их, да ещё в присутствии этого паренька, он-то никого не снабжает энергией».

Степан Фёдорович рассмеялся.

— Знаете, по правде говоря, как это мне было объявлено? И он рассказал о разговоре зисовского пассажира с регулировщиком.

Новиков пожал плечами. Сережа неожиданно спросил:

— А вы нашу Женю и до войны встречали? Новиков торопливо ответил:

— Да, в общем, да. Степан Фёдорович подмигнул:

— Военная тайна. — И подумал: «Э, полковник!» Новиков, разглядывая висевшую на стене картину, изображавшую старика в зелёных штанах и с зелёной бородкой,

опросил:

— Что ж, это старичок от старости позеленел? Серёжа ответил:

— Это Женя рисовала, она считает старого странника одной из лучших своих работ.

Степан Фёдорович решил, что у Евгении Николаевны с полковником давнишний

роман, а все эти церемонии, вскакивания и обращения на «вы» — чистая декорация. И это почему-то сердило его: «Уж больно она хороша для тебя, солдат», — думал он.

Новиков помолчал и негромко сказал:

— Знаете, странный у вас город. Разыскивал долго ночью вашу улицу, и оказалось, улицы названы по всем городам Советского Союза — и Севастопольская, и Курская, и Винницкая, и Черниговская, и Слуцкая, и Тульская, и Киевская, и Харьковская, и Московская, и Ржевская есть... — Он усмехнулся: — А я под многими городами этими в боях участвовал, в некоторых до войны служил. Да. И все они, выходит, здесь оказались...

Серёжа слушал — казалось, другой человек, не чужой, непонятный, вызвавший чувство недоброжелательства, сидит перед ним. И он подумал: «Нет, нет, я правильно решил — иду!»

— Да, улицы, эх, да улицы, советские наши города, — тяжело вздохнул Степан Фёдорович. — Ложитесь-ка спать, вы — с дороги.

Новиков был родом из Донбасса. Из всей семьи к началу войны в живых остался лишь старший брат Новикова — Иван, работавший на Смоляниновском руднике, недалеко от Сталине. Отец Новикова погиб во время пожара в подземной выработке, мать вскоре после этого умерла от воспаления лёгких.

Иван редко переписывался с братом — за время войны Новиков получил от него лишь два письма. Последнее письмо брат прислал в феврале на Юго-Западный фронт с далёкого рудника, куда попал в эвакуацию вместе с женой и дочерью. Иван жаловался на тяжесть жизни в эвакуации. Новиков послал ему из Воронежа денег и продовольственную посылку, но ответа от Ивана не было, и Новиков не знал, получил ли Он посланное, переменял ли снова адрес.

Последний раз виделись они перед войной. Новиков в 1940 году приехал погостить на неделю к брату. Странно было ему ходить по тем местам, где когда-то он жил мальчишкой. Но, видно, так сильна в человеке любовь к своей родной земле, к своей детской поре, поре материнской любви и ласки, что угрюмый и суровый рудничный посёлок казался ему милым, уютным, красивым и он не замечал ни колючего ветра, ни тошного едкого дыма, идущего от коксобензольного завода, ни мрачных, похожих на могильные курганы, терриконов... И суровое лицо Ивана, с ресницами, подчёркнутыми угольной пылью, и лица приятелей детской поры, пришедших выпить с ним водки, вспомнить давно прошедшее время, были ему такими родными, близкими, что он сам удивился, как это он столько лет прожил вдали от родного посёлка.

Новиков был из тех людей, которые те знают в жизни лёгких успехов и побед.

Он полагал, что это происходит от неумения легко завязывать дружбу, от тяжеловесной прямоты характера. Но он считал себя человеком отзывчивым, добродушным и доброжелательным, как раз не таким, каким представлялся людям.

И хотя обычно люди думают о себе не то, что они представляют собой на самом деле, но в этой оценке своих свойств Новиков был отчасти прав. Он казался людям более хмурым и сухим, чем был в действительности.

Таким казался он товарищам, когда, погоняв голубей, стал учиться в городском училище; таким казался он, когда поступил на работу в слесарную мастерскую, когда пошёл служить в Красную Армию, — так было на протяжении всей его жизни.

Он любил охоту, рыбную ловлю. Ему хотелось растить фруктовые деревья, ему нравились красиво обставленные комнаты, но в жизни его было столько работы и кочевий, что ой никогда не охотился, не занимался садоводством и ловлей рыбы и не жил в уютных, по-домашнему обставленных комнатах с картинами и коврами. А людям казалось, что он ничем этим не интересуется и думает только о работе, и, действительно, работал он много.

Он рано, двадцати трёх лет, женился и рано овдовел.

На войне ему выпало немало тяжёлого, и хотя всё время он служил в больших штабах, удалённых от передовой, он попадал то под жестокие бомбёжки, то в окружения, а однажды ему пришлось вести в атаку сводный отряд, состоявший из командиров штаба армии, — это

было в районе Мозыря в августе 1941 года.

Служебное продвижение Новикова шло хорошо, но блестящим его назвать было нельзя. За год войны он получил четвёртую, полковничью «шпалу», был награждён орденом Красной Звезды.

Его считали превосходным штабным работником: образованным, с широким кругозором, со спокойным, сильным и методическим мышлением, человеком, способным легко и быстро проанализировать сложную и запутанную обстановку.

Но сам он полагал, что штабная работа для него дело временное. Ему казалось, что все свойства его характера и душевного склада отвечают другому. Он считал себя боевым командиром, прирождённым танкистом, чьи способности полностью проявятся в прямой схватке с врагом, натурой, склонной не только к логике и анализу, но и к быстрым волевым ударам, к решениям, в которых аналитические способности и точная разработка деталей дружат со страстью и риском.

Его считали человеком рассудочным и даже холодным, а он чувствовал в себе совсем иную силу. Правда, он понимал, что люди не виноваты, расходясь с Новиковым в оценке Новикова.

В спорах он был спокоен и сдержан, в быту отличался большой аккуратностью, бывал недоволен, когда хоть немного нарушался заведённый им порядок, и соблюдал этот порядок. Во время бомбёжки он мог сделать картографу замечание, почему плохо отточен карандаш, либо сказать машинистке: «Я ведь просил вас не печатать на машинке, которая плохо выбивает букву «т»».

Чувство к Шапошниковой стало странной нелогичностью его жизни. В тот вечер, когда он познакомился с ней на концерте в Военной академии, он был необычайно взбудоражен и взволнован этим случайным знакомством. Он ревновал её, узнав, что она замужем. Он радовался, узнав, что она рассталась с мужем. Увидев её случайно в окне вагона, он сел в поезд и ехал три с половиной часа на юг, когда ему нужно было ехать на север, но так и не сказал того, ради чего решил сесть в поезд.

В первый час войны он думал о ней, хотя ему, в сущности, нечего было помнить, как нечего было забывать.

Лишь теперь, в комнате, где ему была приготовлена постель, Новиков удивился тому, что произошло. Ночью, не имея на то никакого права, он пришёл к Евгении Николаевне, всполошил всех её родных. Возможно, он поставил её в неловкое положение, нет, наверное, даже в глупейшее и ложное положение. Как она объяснит всё это матери, родным? Но вот она объяснила им, сердясь, пожимая плечами, и тогда все они начинают смеяться над ним: «Что за нелепый человек в два часа ночи стал ломиться в дверь... Чего он хочет? Пьян он, что ли? Ворвался, стал бриться, попил чаю и завалился спать». Ему почудились за стеной насмешливые голоса. «Ох-ох-ох», — проговорил он. Нужно оставить на столе записку, извиниться и тихо выйти на улицу, разбудить водителя! «заводи, заводи...»

И едва он решил это, как совершенно внезапная мысль осветила всё по-новому. Она улыбалась ему, она своими милыми руками устроила ему постель, утром он вновь увидит её. И, наверное, приди он сюда через день-два, она сказала бы: «Ах, как жалко, что вы сразу не заехали к нам, а теперь комната уже занята». Но что он предложит ей и вправе ли он даже мечтать о личном счастье в такое время? Нет, не вправе! Он знал это, конечно, знал, а где-то в глубине жило другое знание, более мудрое, утверждавшее, что все волнения его сердца законны, имеют оправдание и смысл.

Он вынул из портфеля тетрадь в клеёночной обложке и, сидя на постели, стал перелистывать её. Усталость, соединённая с непроходившим волнением, не звала сон, а гнала сон.

Он просматривал свои короткие, отрывочные записи, точно эти записи, следы военных событий и душевных тревог, могли успокоить волнение сердца.

Новиков глядел на полустёртую карандашную запись:

«22 июня 1941 года. Ночь. Шоссе Брест-Кобрин».

Он посмотрел на часы — было четыре часа утра. Те, ставшие привычными волнения и боль души, с которыми он свыкся в этот год и при которых продолжал есть, спать, бриться, дышать, как-то странно соединились с радостным волнением, заставившим сегодня быстро биться его сердце. Нелепой казалась ему мысль о сне, когда он вошёл в эту комнату, такой же нелепой она казалась на рассвете 22 июня в прошлом году.

Он стал вспоминать свой разговор со Степаном Фёдоровичем и Серёжей. Оба они ему не понравились, особенно Спиридонов. Он вновь представил себе тот миг, когда позвонил у двери, стоял в передней и вдруг услышал быстрые, легкие, милые шаги.

И всё же он заснул.

Всегда с немеркнувшей ясностью вспоминалась Новикову первая ночь войны она застала его на Буге во время поездки с инспекторскими поручениями штаба округа. Попутно он собирал данные у командиров частей, участвовавших в финской войне — ему хотелось написать работу о прорыве линии Маннергейма.

Спокойно поглядывал он на западный берег Буга, на плешины песка, на луга, на сады и домики, на темневшие вдаль сосны и лиственные рощи; он слушал, как немецкие самолёты, словно сонные мухи, ноют в безоблачном небе немецкого губернаторства.

Когда он видел за Бугом на горизонте дымки, он говорил: «немцы кашу варят», словно ничего, кроме каши, немцы не могли сварить. Он читал газеты, обсуждал военные события в Европе, и ему казалось, что ураган, бушевавший в Норвегии, Бельгии, Голландии и Франции, уходит всё дальше и дальше, перекочёвывает из Белграда в Афины, из Афин на остров Крит, с Крита уйдет в Африку и где-то там, в африканских песках, заглохнет. Но все же душой он и тогда уже понимал, что эта тишина — не просто тишина мирного летнего дня, а ужасная, томящая, душная тишина перед назревавшей бурей. И в своей памяти Новиков нащупывал острые, неизгладимые воспоминания, спавшие постоянными спутниками его лишь оттого, что пришёл день 22 июня, день войны, день, оборвавший мирную пору. Так об ушедшем из жизни человеке близкие его вспоминают все подробности: и мелькнувшую улыбку, и случайное движение, и вздох, и слово — и всё это кажется не случайным, не мелочью, а глубоким и полным значения признаком надвигавшейся беды.

Как-то, за неделю до начала войны, Новиков переходил широкую мощённую булыжником улицу Бреста; ему встретился немецкий военный, очевидно, сотрудник комиссии по репатриации. Новиков вспомнил его нарядную фуражку с окованным металлом козырьком, и эсэсовский мундир цвета стали, и перевязь на руке с чёрным знаком свастики в белом круге, и худое, надменное лицо, и портфель светлокремовой кожи, и чёрное зеркало сапог, на которое не решалась садиться уличная пыль. Он шёл странной походкой, печатая шаг, мимо одноэтажных домиков.

Новиков, перейдя улицу, подошёл к киоску с сельтерской водой, и пока пожилая еврейка наливала ему стакан фруктового напитка, он подумал и много раз потом вспоминал эту мысль: «Шут!» И тотчас себя поправил: «Сумасшедший!» И вновь себя исправил! «Бандит!»

И он помнил — в ту минуту у него появилось томящее чувство злобы и раздражения.

Новиков помнил, что крестьянин, проезжавший в это время по улице, и женщина, поившая его водой, оба с каким-то одинаковым напряжённым выражением следили за нацистским военным чиновником. Может быть, они уже предчувствовали? что вещал этот одинокий вестник зла среди широкой пыльной улицы пограничного советского города.

За три дня до начала войны Новиков обедал с начальником одной погранзаставы. Было необычайно жарко, и марлевые занавески на открытых окнах не шевелились. И вдруг в тишине из-за реки раздался утробный низкий орудийный выстрел, и начальник погранзаставы сердито сказал:

— Соседушка заклятый голос пробует!

Потом уже в Воронеже, весной 1942 года, Новиков случайно узнал, что спустя пять дней после их совместного обеда этот начальник заставы задержал немцев на шестнадцать часов силой одного лишь пулемётного огня и погиб вместе с женой и двенадцатилетним

сыном.

Немцы после вторжения в Грецию проводили воздушно-десантные операции на Крите. Вспоминался ему доклад об этом, слышанный им в штабе. Во многих вопросах после доклада чувствовалась тревога! «Расскажите подробнее о потерях германской армии». «Скажите, заметно ли ослабление германской армии?» Одна записка спрашивала прямо — «Товарищ докладчик, успеем ли мы получить от немцев оборудование, если в ближайшее время нарушится торговый договор?»

Он помнил, как ночью после этого доклада сердце его на миг сжалось и ему подумалось: если Россия избегнет военной грозы — это будет чудо, да ведь чудес не бывает! Это оттяжка на год, на два!

Последняя ночь мира, первая ночь войны!

В эту ночь Новикову нужно было встретиться с командиром бригады тяжёлых танков. Новиков находился в танковом полку, дежурный никак не мог соединить его со штабом бригады: связи не было.

Они вдвоём ругали бестолковость телефонистов, недоумевали — обычно телефоны работали отлично.

Новиков поехал на полевой аэродром: у лётчиков имелась связь с высшим штабом, и он решил воспользоваться их проводом. Но и у лётчиков ни прямой, ни окольной связи не было — произошёл множественный порыв на линии. Эти непонятные порывы проводов в тихий летний вечер стали понятны лишь через несколько часов, немцы уже вели войну...

Командир истребительного полка пригласил Новикова в городской театр смотреть постановку «Платов Кречет». Ехали лётчики с жёнами, некоторые с гостившими отцами и матерями, в автобусе имелись свободные места. Но Новиков отказался, он решил поехать в бригаду.

Ночь была лунная, теплая, пустынное шоссе качалось белым среди темных приземистых лип. Когда Новиков сел в машину, из ярко освещённого, широко открытого окна раздался голос дежурного:

— Товарищ подполковник, связь есть!

Слышно было плохо, но Новикову удалось поговорить — командир бригады уехал на техническую базу, куда ушли танки для осмотра и смены моторов, и вернётся лишь на следующий день вечером, Новиков решил ночевать у лётчиков. Он попросил устроить ему ночлег, и дежурный улыбнулся:

«Места хватит!» — штаб стоял в большом помещицьем доме.

Дежурный провёл его в огромную комнату, освещённую яркой трёхсотсвечевой лампочкой. У отделанной резной панелью стены стояла железная кровать, табурет и тумбочка.

Не вязались с роскошью отделанных дубом стен и лепного потолка эта узенькая солдатская кровать и фанерная казарменная тумбочка. Он обратил внимание, что в хрустальной люстре не было ламп и рядом с люстрой спускался шнур с патроном.

Новиков пошёл поужинать в столовую — просторный, высокий зал. В столовой было пусто, и лишь за крайним столиком два политработника ели сметану. Ужин оказался очень обильным, но Новиков, который не был равнодушен к соблазнам кухни, едва съел половину того, что принесла ему официантка, девушка с окающей нижегородской речью. Котлеты с жареной картошкой она принесла в эмалированной миске, а налистник со сметаной — в фарфоровой тарелке с золочёным ободком, с изображением пастушки в розовом платье, окружённой белыми овечками. Квас ему подали в голубом бокале, а чай в новенькой алюминиевой кружке, обжигавшей губы.

— Что это у вас пусто в столовой? — опросил он у официантки.

— А у нас тут многие семейные; у всех жёны и ребята, — сказала девушка. Одни сами готовят, другие домой берут.

Она подняла палец и с милой улыбкой чистого и наивного существа вдруг сказала:

— Некоторые девушки-официантки говорят: «Нам это не нравится — молодые семью и

детей имеют», а я считаю: хорошо! И нам тут прямо, как дома, у отца с мамой.

Она произнесла эту фразу запальчиво, горячо, видимо желая сочувствия своим мыслям, может быть, она вела об этом спор с подружкой на кухне. Потом она снова подошла к Новикову и испуганно сказала:

— Что ж вы ничего не кушали, не вкусно у нас? — и, наклонясь, доверительно прибавила: — Вы к нам, товарищ, подполковник, надолго? Завтра, смотрите, не уезжайте, у нас в воскресенье обед будет, ой! Мороженое, и на первое щи кислые, из Слуцка сегодня бочку кислой капусты привезли. А то лётчики обижались, что щей давно нет.

Она дышала ему в щёку, и глаза её блестели. Не будь в них доверчивого, ребячьего выражения, Новикова бы не растрогал доверительный шепот волжской девушки — он бы его принял за заигрывание.

Спать не хотелось, и он прошёл в сад.

Широкие каменные ступени казались ему при лунном свете мраморно-белыми. Тишина стояла совершенная, необычайная какая-то. Деревья словно погрузились в прозрачный пруд — таким неподвижным был светлый воздух.

Странный, смешанный свет луны и зари самого долгого дня года стоял в небе. На востоке угадывалось мутное светлое пятно, а запад едва розовел. Небо было беловатое, мутное, синевой.

Каждый лист на ветвях был резко очерчен, казался вырубленным из чёрного камня, а вся громада клёнов и лип представлялась плоским чёрным узором на светлом небе. Красота мира переступила в эту ночь свой высший предел, и люди уже не могли не замечать её и не думать о ней. Это торжество красоты наступает, когда не только праздный человек останавливается, поражённый открывшейся ему картиной, но и отработавший смену рабочий, путник со сбитыми ногами вдруг, забывая усталость, медленным взором охватывают небо и землю.

В такие минуты человек не ощущает по отдельности света, простора, шороха, тишины, тепла, сладких запахов, касания травы и листьев — всех сотен, а может быть, тысяч и миллионов частей, слагающих красоту мифа.

Такая красота — истинная красота и лишь об одном говорит человеку: жизнь благо.

И Новиков всё ходил по саду, останавливался, оглядывался, присаживался, вновь ходил, ни о чём не думая, ничего не вспоминая, охваченный бессознательной печалью о том, что красота этого мира живёт, не делясь своей долговечностью с людьми.

Придя в комнату, он разделся и в носках подошёл к лампочке, стал вывинчивать её из патрона — лампочка нагрелась, жгла пальцы — и он взял со стола газету, чтобы обернуть ею лампу.

К нему вернулись обычные мысли о завтрашнем дне, об отчете, который он почти закончил и вскоре повезет в штаб округа, о том, что следует сменить перед отъездом аккумулятор у машины и что удобнее всего сделать это на рембазе танкового корпуса.

Уже в темноте он снова подошёл к окну и мельком, рассеянно поглядел на сад, на небо — им уже владели обычные житейские мысли. Он не раз вспоминал потом именно об этом уже безразличном, сонном и рассеянном настроении, с которым оглядел тихий, ночной сад, — последний взгляд на мирное время.

Он проснулся с точным сознанием происшедшего несчастья, но совершенно не представляя себе, в чем оно.

Он увидел паркет в алебастровой крошке и сверкавшие оранжевыми отблесками хрустальные подвески люстры.

Он увидел грязно красное небо в черных клочьях дыма.

Он услышал женский плач, вопль ворон и галок, грохот, колебавший стены, и одновременно он услышал слабый, ноющий звук в небе, и хотя этот ноющий звук был самым мелодичным и тихим из всех звуков, наполняющих воздух, именно он заставил Новикова инстинктивно содрогнуться, вскочить с кровати.

И все это он увидел и услышал в течение одной лишь доли секунды. Он кинулся, как был, в нижнем белье к двери и вдруг сам себе сказал: «спокойствие!» — вернулся и стал одеваться.

Он заставил себя застегнуть все пуговицы на гимнастёрке, поправил ремень, одёрнул кобуру и размеренным шагом пошел вниз.

Впоследствии ему приходилось часто встречать в газетах выражение «внезапное нападение», но представляли ли себе люди, не видевшие первых минут войны, всю силу этих слов?

По коридору бежали одетые и полуодетые люди.

Все спрашивали, но никто не отвечал на вопросы.

— Загорелись бензобаки?

— Авиабомба?

— Манёвры?

— Диверсанты?

На ступенях стоячи лётчики.

Один из них, в гимнастёрке без пояса, сказал, указывая в сторону города.

— Товарищи, смотрите!

Над вокзалами и железнодорожной насыпью вздувались, пузырились, рвались к небу кровяно-чёрные пожары, плоско над землёй вспыхивали взрывы, и в светлом, смертном воздухе мелькали, кружились чёрные комарики-самолёты.

— Это провокация! — крикнул кто-то.

И чей-то негромкий, но всеми услышанный голос, уже не спрашивающий, а уверенно вещая суровую правду, внятно произнёс:

— Товарищи, Германия напала на Советский Союз, все на аэродром!

С какой-то особой остротой и точностью запомнил Новиков ту минуту, когда, кинувшись следом за всеми к аэродрому, он остановился среди сада, по которому гулял несколько часов назад. Был миг тишины, и могло показаться, что ничего не произошло. Земля, трава, скамейки, плетёный столик под деревьями, на котором лежала картонная шахматная доска и рассыпанное, не собранное после игры домино...

Именно в этот миг тишины, когда стена листвы закрыла от него пламя и дым, он ощутил режущее, почти невыносимое для души человека чувство исторической перемены.

И это пришедшее изменение было неотвратимым, и хотя лишь один крошечный миллиметр отделял ещё жизнь Новикова от привычного берега, не было уже силы, способной уничтожить этот зазор, он рос, ширился, превращался в метры, километры. Жизнь и время, которые Новиков ещё физически ощущал, как своё настоящее время и свою настоящую жизнь, в нём, внутри его сознания, превращались в прошлое, в историю, в то, о чём станут говорить». «О, так жили и думали люди до войны». А новое внезапно, из смутно угадываемого будущего, превратилось в настоящее, в его новую жизнь и в его новое время. В этот миг он подумал об Евгении Николаевне, и ему показалось — мысли о ней будут сопутствовать ему в том, новом, что пришло...

Желая сократить путь к аэродрому, он перелез через забор и бежал меж ровного строя молодых ёлок. Возле маленького домика — вероятно там жил бывший садовник помещика — стояли поляки, мужчины и женщины, и когда он пробежал мимо них, женский голос жадно, с придыханием спросил:

— Кто то, Стасю?

И звонкий детский голос ответил:

— То москаль, русский, мамо, — и прибавил объясняюще: — жовнеж [Солдат]

Он бежал и, задыхаясь от бега, повторял застрявшее в его потрясённом сознании слово:

— Русский солдат, русский, русский солдат...

И в этом слове было для него какое-то горькое и гордое, радостное и новое звучание.

Едва подбежал он к аэродрому, как от вершины ближайшего леса оторвались самолёты — один, два, тройка и ещё тройка... Что-то хлестнуло, ёкнуло, и земля задымилась, вскипела,

как вскипает вода, он невольно зажмурился — пулемётная очередь пронеслась в нескольких шагах от него, и тотчас его оглушило рёвом мотора, и он успел увидеть кресты на крыльях, свастику на хвосте самолёта и голову пилота в лётном шлеме, мельком оглядывающего содеянное. И тотчас вновь стал нарастать гул, рев идущего на бреющем полёте второю штурмовика.. И за ним третьего.

На аэродроме пылали три самолёта, и люди бежали, падали, вскакивали и вновь бежали...

Лётчик, бледный юноша с выражением решительной и мстительной злобы, влезал в кабину истребителя, махнув мотористу рукой: «от винта», повёл подрагивающий самолёт на взлётную дорожку; и едва самолёт, приглаживая струёй воздуха седую от росы траву, разбежался, подпрыгнул, стал взбираться по небу, завертелся винт еще одного истребителя, и он, ободряя себя рёвом мотора, подпрыгнул, точно пробуя силу мускулистых ног, побежал, оторвался от земли и потянул вверх. То были первые воздушные солдаты, заслонившие своим телом тело народа...

... На первый советский самолёт навалились четыре «мессершмитта». Присвистывая и подывая, они шли за ним, выпуская короткие пулемётные очереди. «Миг» с простреленными плоскостями, задымившись, кашляя, «выжимал скорость, стремясь оторваться от противника. Он взмыл над лесом, потом внезапно исчез и так же внезапно появился вновь, потянул обратно к аэродрому, а за ним полз чёрный траурный дым.

В это мгновение гибнущий человек и гибнущий самолёт слились, стали едины, и все, что чувствовал там, в высоте, юноша-пилот, передавали крылья его самолета. Самолет метался, дрожал, охваченный судорогой, той, что передавали ему охваченные судорогой пальцы лётчика, терял надежду и вновь боролся, уже не имея надежды. Солнце летнего рассвета освещало его, и всё, что испытывало сознание юноши — ненависть, страдание, жажду победить смерть, и все, что испытывали его сердце, его глаза, — всё передал стоявшим внизу гибнущий самолет. И то, чего страстно хотели люди на земле, вдруг свершилось. Вторая машина, о штоторой все забыли, стремительно зашла в хвост «мессершмитту», добивавшему советский истребитель. Удар был внезапен — жёлтый огонь смешался с желтизной окраски, и немецкая машина, секунду назад казавшаяся неотвратимо мощным, стремительным демоном, расщепилась, рассыпалась и грудой повалилась на вершины деревьев. Одновременно, развернув в утреннем небе чёрный, гофрированный дым, рухнул растерзанный советский истребитель. Три «мессершмитта» ушли на запад, а оставшийся в воздухе советский самолёт сделал круг и, карабкаясь по невидимым воздушным ступеням, ушёл в сторону города.

Голубое небо стало пусто, и только два чёрных столба дыма, наливаясь, густея, подрагивая, поднимались над лесом.

А через несколько минут на аэродром тяжело, устало опустился самолёт, из него вылез человек и хрипло крикнул:

— Товарищ командир полка, во славу Советской Родины — двоих сбил!

И в глазах его Новиков увидел всё счастье, всю ярость, всю страсть и весь разум того, что происходило в небе, того, что лётчики никогда не могут рассказать словами, но что вдруг, не успев ещё погаснуть, мелькнёт в их расширенных ярких глазах в миг приземления.

В полдень Новиков в штабе полка слышал по радио речь Молотова. Он подошёл к командиру полка, вдруг обнял его, и они поцеловались.

«Наше дело правое, победа будет за нами!»

Днём Новиков был в штабе стрелковой дивизии...

В Брест уже нельзя было проехать, говорили, что в город ворвались немецкие танки и что форты, стоявшие западнее города, обойдены ими.

Бесперывный тяжёлый грохот крепостной артиллерии потрясал маленький домик, в котором размещался штаб дивизии.

Как по-разному вели себя люди! Одни становились каменно-спокойными, у других голоса срывались, дрожали руки.

Начальник штаба, пожилой, сухощавый полковник с пятнами седины — казалось, она внезапно выступила в его волосах — знал Новикова по разбору прошлогодних манёвров. Когда Новиков вошёл, он, видимо вспомнив прошлогоднюю встречу, швырнул глухонемую телефонную трубку и сказал:

— А-а, похоже, «красные» и «синие»! В полчаса батальон списан! Нету! Весь! — и, ударив кулаком по столу, крикнул: — Бандиты!

Новиков сказал ему, указывая на окно:

— В ста метрах от вас какая-то диверсантская сволочь вон из этих кустов пустила две пули по моей машине, надо бы послать красноармейцев.

Начальник штаба пренебрежительно отмахнулся рукой:

— Всех не переловишь!

Подмаргивая глазом, точно выгоняя из него соринку, мешавшую правильно и спокойно смотреть, он заговорил:

— Только началось, комдив кинулся в полки... А я здесь. Мне звонит командир полка, голос спокойный «Веду бой с пехотой и танками, отразил артогнём две атаки» Второй докладывает: «Немецкий танковая колонна раздавила пограничную заставу, поток танков движется по шоссе. Веду огонь!» Начальник штаба ткнул пальцем в карту:

— Вдоль нашего крайне-левого прошли танки. А пограничники не оглядываются, дерутся до последнего. А тут жёны, дети, ясли, каким маршрутом их эвакуировать? Так их посадили в грузовики и увезли, а куда — может быть, под эти самые танки, что мимо нас прошли. А боеприпасы? Оттягивать, подвозить? Задача! — Он умник какой-то подвернулся, посоветовал «Не поддавайтесь на провокацию!» А? Дурак!

— А здесь что? — спросил Новиков, указывая на карте участок, прилегающий к шоссе.

— Тут-то батальон и погиб, и комдив здесь погиб!.. Золотой мужик! крикнул начальник штаба. Он потёр ладонями лицо, точно умывался, и указал на стоящие в углу бамбуковые удилица, бредень, подсак: — Сегодня в шесть часов утра с ним собирались... Линь, говорит, здесь в прошлое воскресенье хорошо клевал. А? Золотой мужик, нету, как не жил на свете! А зам по строевой из Кисловодска едет, с первого я должен был ехать. Уже литер выписал. А?

— Какие вы даёте приказания полкам? — спросил Новиков.

— Единственно возможные. Помогаю выполнять долг: командир полка говорит: «веду огонь» Веди! Люди окапываются. Окапывайся.. Все хотят одного: отбить! остановить! — И его внимательные, умные глаза спокойно и прямо поглядели на Новикова.

Небо, казалось, уже далеко на восток было захвачено немцами. Всё вокруг содрогалось от дальних и ближних взрывов. Земля вдруг начинала дрожать, словно в смертной икоте, солнце тонуло в дымной пелене. Со всех сторон доносилось хлопанье скорострельных пушек и уже ставший знакомым хрип крупнокалиберных пулемётов. В этом хаосе движения и звуков как-то особенно болезненно и щемяще угадывался общий смысл смертоносной работы немецких лётчиков. Одни спешили, не обращая внимания на происходящее под ними, на восток, видимо, заранее и точно зная свою злодейскую задачу, другие по разбойничьи рыскали над пограничными участками, третьи деловито уходили за Буг на свои аэродромы.

Липа командиров выглядели в этот день по-новому — побледневшие, осунувшиеся, с большими серьёзными глазами, то уже были лица не просто сослуживцев, а братьев. В этот день Новиков не видел ни одной улыбки, не слышал ни одного веселого, легкого слова. Никогда, пожалуй, как в этот день, не заглядывал он так глубоко в истинные и скрытые глубины человеческого характера, открытые лишь в самые грозные и тяжёлые минуты жизни. Сколько увидел он в эти часы людей неколебимой воли, суровой сосредоточенности. Вдруг открылась чудная сила души у молчаливых, тихих, незаметных, у тех, что считались иногда второстепенными работниками, малоспособными. Вдруг пустота открылась в глазах некоторых из тех, кто так шумно, энергично и самоуверенно вёл себя вчера: они оказались подавленными, растерянными.

Минутами представлялось, что всё происходящее — мираж, вот дунет ветер, вернётся

тихая вчерашняя ночь, вечер, вернутся все эти дни, недели, месяцы. То, наоборот, казалось, что сад, залитый луной, ужин в полупустой столовой, милая девушка-подавальщица и всё бывшее неделю, месяц назад — всё это снилось, а истинная, подлинная действительность — вот этот грохот, дым, огонь.

Под вечер он был в стрелковом батальоне, а затем в расположенном рядом артиллерийском полку. К этому времени он сделал выводы из того, что видел. Ему казалось, что главной бедой первых часов войны было отсутствие связи. Если бы связь была безукоризненна, считал он, всё бы пошло иначе. Он решил при докладе привести в пример стрелковую дивизию, которую посетил днём: начальник штаба поддерживал связь с полками, и полки дрались хорошо, дивизия сохранила боеспособность, а полк, потерявший в самом начале связь со штабом, был смят и уничтожен. И он действительно потом привёл этот пример, но, конечно, полк не имел связи с дивизией оттого, что был смят, а вовсе не потому был смят, что не имел связи. Обобщения, возникшие из немногих отрывочных наблюдений, мало помогают пониманию сути огромных и сложных явлений.

Простая истина первых часов войны была в том, что с пользой для Советской России и с ущербом для врага выполняли свой долг те, кто имел силу, мужество, веру и спокойствие драться с сильнейшим врагом, нашёл эту силу в своей собственной душе, в своём чувстве долга, в опыте, знаниях, воле и разуме, в своей верности и любви к Родине, народу, свободе.

Через час Новиков побывал в тяжёлом гаубичном полку. Командир полка был в отпуске, командовал полком заместитель по строевой части молодой майор Самсонов. Длинное, худое лицо его было бледно.

— Какова обстановка? — спросил Новиков. Майор только махнул рукой:

— Сами видите.

— Какое вы приняли решение?

— Да, собственно, что ж, — сказал майор, — они стали наводить переправу, у реки скалилось много войск, я открыл огонь, веду огонь орудиями всего полка, и, словно оправдываясь в неразумном поступке, добавил: — Хорошо получается, я смотрел в стереотрубу, такие фонтаны, столько их наворотили — мы ведь вышли на первое место в округе по стрельбе.

— А дальнейшее, — строго спросил Новиков, — ведь вам поручены техника, люди?

— Что ж, буду стрелять, пока могу, — сказал майор.

— Снарядов много?

— Хватит, — сказал Самсонов и добавил: — Радист мой поймал: Финляндия, Румыния, Италия — все на нас, а я вот стреляю, не хочу отступать!

Новиков прошёл на огневые позиции ближней батареи. Орудия ревели, лица людей были суровы и напряжены, но возле орудий не было суеты. Полк всей страшной и стройной мощью своей обрушился на наведённую немцами переправу, крушил танки и мотопехоту, скопившиеся на подходе к реке.

Те же слова, что произнёс бледный длиннолицый майор, Новиков услышал и от красноармейца-заряжающего; повернув к нему потное загорелое лицо, красноармеец сказал с угрюмым спокойствием.

— Вот расстреляем все снаряды, а там видно будет, — словно это именно он, обдумав положение, решил не оттягиваться в тыл, выдвинуться вперёд и вести огонь по немцам до последнего снаряда.

Странно, но именно тут, в этом обречённом полку, Новиков единственный раз за весь день почувствовал себя спокойно. Началась битва: русский огонь встретил немцев.

Артиллеристы работали с молчаливым спокойствием.

— Вот и началось, товарищ подполковник, — сказал Новикову плечистый наводчик орудия, словно он и вчера ожидал того, что началось сегодня.

— Ну как с непривычки? — спросил Новиков. Наводчик усмехнулся:

— Разве к ней привыкнешь? Что в первый день, что через год. Самолёт у него отвратительный.

Новиков, покидая артиллеристов, невольно подумал, что никогда уже не увидит никого из них — полк был обречён.

А зимой на Северном Донце, под Протопоповкой, он встретил своего знакомого начальника армейского штаба артиллерии, и тот рассказал ему, что полк Самсонова с боями шёл до Березины и почти не понёс потерь. 22 июня на Буге Самсонов так и не дал немцам переправиться, уничтожил массу немецкой техники и живой силы. Самсонов погиб лишь на Днепре осенью.

Да, у войны была своя логика.

Многое пришлось ему видеть в этот день. И хоть немало горького и печального пережил он, этот самый тяжёлый день в истории народа наполнил сердце его гордостью и верой. И над всеми впечатлениями дня воцарилось одно спокойные и суровые глаза красноармейцев-артиллеристов, в них жил титанический дух народной силы и терпения. В ушах его остался рёв советской артиллерии, далёкий тяжёлый гул крепостных орудий брестских фортов — там, в огромных бетонных дотах люди вели свой рыцарский бой и тогда, когда лавина немецкого нашествия уже подкатывала к Днепру.

К вечеру, после долгого петляния по просёлочным дорогам, Новиков выехал на шоссе. И только тут он понял по-настоящему огромность происшедшего народного бедствия.

Он видел тысячи людей, идущих на восток. По дорогам шли грузовики, полные женщин, мужчин, детей, часто полуодетых, все они одинаково оглядывались и смотрели на небо. Мчались цистерны, крытые грузовики и легковые машины. А по полю, вдоль обочин, шли сотни людей, некоторые, обессилив, садились на землю, вновь вставали и шли дальше. Вскоре глаза Новикова перестали различать выражение молодых и старых лиц женщин и мужчин, толкавших колясочки и тележки, несущих узлы и чемоданы... В памяти оставались лишь отдельные необычайные картины. Седобородый старик, державший на руках ребёнка, сидел, опустив ноги в кювет, с кротким бессилием следил за движением машин. Длинной цепочкой вдоль обочины шли слепые, связанные друг с другом полотенцами, за своим поводырём, пожилой женщиной в круглых очках с растрепавшимися седыми волосами. Идущие парами мальчики и девочки в матросках, с красными галстуками, — видимо, летний пионерский лагерь.

Когда водитель остановил машину, чтобы залить бензин в бак. Новиков за несколько минут остановки услышал много рассказов: и о том, что Слуцк занят воздушным десантом, и о том, какую исступлённую и лживую речь произнёс на рассвете Гитлер, и нелепые слухи о том, что Москва разрушена воздушной бомбардировкой на рассвете 22 июня.

И всё же этот уход советских людей из пограничной полосы нельзя было назвать паническим. Паника — сестра безумия, а в жестокий день 22 июня 1941 года самым разумным для всех этих тысяч мирных советских людей было именно это: взять на руки детей и уходить на восток из прилегавших к границе мест, куда через считанные часы врывались немецкие танки.

Новиков заехал в штаб танковой части, в которой служил до осени 1940 года, — штаб стоял неподалёку от Кобрин.

— Неужели вы только что оттуда? — спрашивали его знакомые. — Могут ли вырваться на шоссе немцы?

В Кобрине его уже не поражали толпы людей с узлами, плачущие женщины, потерявшие в суматохе детей, измученные глаза старух. В Кобрине его поражали чистенькие домики под красной черепицей, гардины на окнах, газоны, цветники, и он понял, что начал смотреть на мир глазами войны...

Чем дальше уходила в тыл Машина, тем туманней становились его воспоминания о новых впечатлениях, события и лица сливались, и он не помнил, где ночевал в где едва не сгорел во время ночной бомбёжки, где он видел в часовне зарезанных диверсантами во время сна двух красноармейцев — в Кобрине или в Березе Картузской.

Но вот отчетливо запомнилась ему ночёвка в маленьком городишке, недалеко от Минска. Он приехал туда ночью. Городок был забит машинами. Новиков устал и, отпустив

водителя, заснул в машине посреди шумной, гудящей площади. Он проснулся ночью и увидел, что машина его стоит одна среди широкой и совершенно пустынной площади, а вокруг бесшумно пылают дома, пылает весь онемевший, охваченный огнём городок.

За эти дни он так устал и так привык к оглушающему грохоту войны, что его не разбудила ночная бомбёжка. Он проснулся от тишины.

В те дни в мозгу его просто и прочно сложился один образ. Он видел сотни пожаров в красном, дымном огне горели многоэтажные здания белорусской столицы, горели школы и заводы, белым, лёгким огнём пылали деревенские избы под соломенной крышей, сараи и овины, в голубом и никем тумане горели сосновые леса, горела земля, покрытая сухой еловой иглой.

И все эти пожары слились в его мозгу в один пожар.

Родная страна представлялась ему огромным домом, и все было безмерно близко и дорого в этом доме: и деревенские комнатки, мазанные крейдой, и городские, с цветными абажурами, и тихие читальни, и светлые залы, и красные уголки в военных казармах...

Всё дорогое и близкое ему пылало Русская земля была в огне. Русское небо заволокло дымом. И казалось, никогда он не любил так нежно, так страстно, всей кровью своей, всеми силами души и сердца эту землю и леса, это небо, эти тысячи тысяч милых и родных ему человеческих лиц.

Утром Евгения Николаевна познакомила Новикова со своей матерью, сестрой и племянницей.

Степан Фёдорович уехал в шесть часов утра, а Софья Осиповна ещё до света ушла в госпиталь.

Знакомство состоялось просто, и Новикову очень понравились женщины, сидевшие за столом: и смуглая, седеющая Маруся, и её румяная дочь, сердито и весело смотревшая на него круглыми ясными глазами, а особенно Александра Владимировна — Женя была похожа на неё. Он глядел на белый широкий лоб Жени, на её серьёзные, внимательные глаза, на розовые губы, на небрежно, по утреннему, уложенные косы и вдруг впервые в жизни понял по особенному, по-новому обычное, сотни раз произносимое слово «жена». И, как никогда, он почувствовал своё одиночество, понял, что ей одной он должен рассказать то, что пережил, о чём думал в этот тяжёлый год, и что искал он её, и думал о ней, и вспоминал её в трудные минуты потому, что хотел этой, разбивающей одиночество близости. У него всё время было одновременно приятное и неловкое чувство, словно он посватался, — и ему устроили смотрины, пристально приглядываются к человеку, собиравшемуся войти в семью.

— Семейю война не могла разрушить и расшатать, — сказал он Александре Владимировне. Та вздохнула:

— Расшатать, может быть, и не смогла, а убить семью, и не одну, война может.

На стене комнаты висели картины, и Мария Николаевна, заметив, что Новиков поглядывает на них, скачала:

— Вон эта, возле зеркала, с розовой землёй, рассвет в сгоревшей деревне творчество Евгении Николаевны. Вам нравится?

Он смутился:

— Тут трудно разобраться не специалисту.

— Ночью, говорят, вы судили смелей, — сказала Евгения Николаевна.

Новиков понял, что Серёжа уже доложил кому надо о зелёном старике.

А Маруся сказала:

— Чтобы любоваться Репиным и Суриковым, не надо быть специалистом. Лучше бы рисовала плакаты для цехов, красных уголков, госпиталей; я ей всё время твержу об этом.

— А мне нравятся Женины картины, — сказала Александра Владимировна, — хотя я, старуха, вероятно, меньше вашего во всём этом понимаю.

Новиков попросил разрешения вернуться вечером, но не приехал ни вечером, ни на следующий день.

Штаб Юго-Западного фронта в летние месяцы 1942 года находился в непрерывном

бессонном возбуждении, пришедшем на смену относительно спокойной воронежской зиме 1941 года. Войска фронта в боях, нанося потери противнику и неся потери, отходили на восток.

Штаб Юго-Западного фронта начал войну в Тернополе. Бои за Львов, Ровно, Новоград-Волынская танковая битва, Житомир, Коростень, бои в окрестностях Киева, в Святошине, в Голосеевском лесу, на Ирпене, в Броварах, Пирятине, Борисове, Прилуках, Полтаве и жестокие октябрьские бои под Штеповкой, сдача Харькова — все эти города, местности, события стали навсегда памятны сотням тысяч людей, прошедшим от Тернополя до Сталинграда.

С ноября 1941 года штаб фронта стоял в Воронеже. Среди командиров и сотрудников штаба немало было киевлян, харьковчан, днепротетровцев. И войска, стоя в курских и воронежских снегах, в Ельце, в Ливнах, под Щиграми, хранили в душе своей память об оставленных ими украинских сёлах, реках, городах, тоску по покинутым близким, женам, ребятам, матерям, память о родных домах, полях и садах...

Зимой наступление немецких армий было приостановлено на всех фронтах. Первым из зимних успехов Красной Армии было освобождение Ростова войсками Ремизова, Харитонова и Лопатина. Вскоре после этого войсками Мерецкова был освобождён Тихвин. В середине декабря мир узнал о грандиозном разгроме немцев на Западном фронте и провале немецкого наступления на Москву. Сотни населённых пунктов и десятки городов были отбиты у немцев войсками Жукова, Лелюшенко, Говорова, Болдина, Рокоссовского, Голикова. Войсками Масленникова и Юшкевича были освобождены Клин и Калинин. В Крыму немцы были выбиты из Керчи и Феодосии. Совинформбюро сообщало о разгроме танковой армии Гудериана северо-восточнее Тулы и об освобождении Калуги. В конце января войска Северо-Западного и Калининского фронтов под командованием Ерёмченко и Пуркаева прорвали немецкую оборону и заняли Холм, Торопец, Селлжарово, Оленино, Старую Торопу.

Да и у Юго-Западного фронта были немалые успехи. Дивизии Костенко осуществили удачный прорыв на Северном Донце и заняли важный узел железных дорог — Лозовую. Всю зиму шли тяжёлые бои за опорные пункты — на северном крыле фронта в районе Ельца, в центре у Щигров, на юге под Чугуевом и Балаклеей. Немцев выкуривали из жилья на мороз, выбивали из деревень, истребляли в снежных полях.

В конце зимы на фронт начали прибывать резервы, и в тысячах сердец радостно, тревожно, робко и уверенно просыпалась надежда на скорое свидание с Украиной.

Началось Харьковское наступление. Войска армии Городнянского форсировали Северный Донец, устремились на Протопоповку, Чепель, Лозовую, в ворота между Изюмом, Барвенковым, Балаклеей.

Но немцы, хотя и с потерей темпа, всё же перешли в наступление. Гитлер, воспользовавшись отсутствием второго фронта, начал осуществлять задуманный им прорыв на Восток. Уверенный в том, что второй фронт не будет открыт, он сконцентрировал на Востоке более 70 процентов своих сил. Пала Керчь, захлопнулись ворота, распахнутые наступавшими на Харьков войсками маршала Тимошенко. Пал Севастополь. И вновь в пыли, в дыму, в пламени отступали войска и штабы. И новые названия местностей, городов вошли в память людей, присоединились к прошлогодним: Валуйки, Купянск, Россошь, Миллерово. И к той, прошлогодней боли о потерянной Украине добавилась новая, режущая — штаб Юго-Западного фронта пришёл на Волгу, в Сталинград, за спиной его были степи Казахстана.

Ещё квартиры размещали сотрудников отделов штаба, а в оперативном отделе уже звонили телефоны, карты лежали на столах, стучали пишущие машинки.

В оперативном отделе работа шла так, словно штаб стоял уже месяцы в Сталинграде. Люди, бледные от бессонницы, равнодушно и поспешно проходили по улицам, зная лишь то, что было неизменной реальностью их жизни, как бы и где бы ни располагался штаб: в лесу, где с сосновых брёвен блиндажного наката капала на стол янтарная смола; в деревенской ли

избе, где гуси робко, ища хозяйку, входили вслед за делегатами связи из сеней; в домике районного городка, где на окнах стоят фикусы и воздух пахнет нафталином и пшеничной сдобой. Всюду и везде реальность жизни штабных тружеников была одна: десяток телефонных номеров, связные лётчики и мотоциклисты, узел связи, аппарат Бодо, пункт сбора донесений, радиопередатчик, а на столе — исчерченная красным и синим карандашом карта войны.

Работа «операторов» в эти летние месяцы 1942 года была напряжённей, чем когда бы то ни было. Обстановка менялась с часу на час. В избе, где два дня назад заседал Военный Совет армии, где степенный розоволицый секретарь Военного Совета, сидя за крытым красным сукном столом, записывал по пунктам в протокол решения командования, — в этой самой избе, спустя сорок часов, командир батальона кричал в телефонную трубку: «Товарищ первый, противник просачивается через меня», и разведчики в полосатых маскировочных комбинезонах, прислушиваясь к пулёмётным очередям, медлительно доедали консервы и торопливо перезаряжали диски автоматов.

Новикову часто приходилось докладывать начальнику штаба. Иногда его вызывали на заседания Военного Совета, и картина отступления, известная большинству частично и по догадкам, была ясна ему во всей полноте. Он хорошо знал разведывательную карту советско-германского фронта, перед глазами его стояли тяжёлые утюги немецких армейских группировок. Зловеще звучали фамилии гитлеровских генералов и фельдмаршалов, возглавлявших армейские группы: Буш, Лееб, Рундштедт, Клюгге, Бок, Лист. Эти чуждые слуху немецкие имена связывались с близкими, дорогими ему названиями городов: Ленинград, Москва, Сталинград, Ростов...

Дивизий «литерных», ударных фронтов Бока и Листа перешли в наступление

Фронт армии Юго-Западного направления был расколот, и к Дону устремились две германские подвижные армии — 4-я танковая и 6-я пехотная, все расширяя прорыв в пыли, в дыму и в огне степного сражения возникла фамилия командующего 6-й германской пехотной армией генерал-полковника Паулюса.

На карте мелькали черные номера германских танковых дивизий девятой, одиннадцатой, третьей, двадцать третьей, двадцать второй, двадцать четвёртой Девятая и одиннадцатая дивизии оперировали на Минском и Смоленском направлениях летом прошлого года и, видимо, перед сталинградским наступлением были переброшены на юг из-под Вязьмы.

Иногда казалось, что продолжается летнее наступление начала войны те же номера немецких дивизий, что возникали на картах в прошлом году. Но эти немецкие дивизии после прошлогодних боев сохранили лишь номера и названия, состав их был полностью новый, пришедший из резерва, взамен выбывших, убитых.

А в воздухе действовал четвёртый флот «африканца» Рихтгоффена массированные налёты и разбойничий террор «мессершмиттов» на дорогах, преследование колонн, легковых машин, отдельных пешеходов и всадников.

И всё движение огромных масс войск, кровавые бои, перемещение штабов, аэродромов, технических и материальных баз, прорывы немецких подвижных соединений, пожар, пылающий от Белгорода и Оскола до подступов к Дону, весь путь Юго-Западного фронта через курские, воронежские, донские земли к сталинградским степям — вся эта грозная картина, во всех своих подробностях, по числам календаря, ложилась на карту, которую вёл Новиков.

В его уме шло напряженное сравнение событий прошлого лета с событиями нынешнего. Тогда он смутно, больше чувством, чем умом, угадывал в грохоте первого дня войны, в движении немецких самолетов план немецкого штаба. Зимние размышления, казалось ему, помогли понять этот план. Разглядывая на картах путь прошлогоднего немецкого наступления, Новиков видел, что немцы летом 1941 года избегали операций с открытым флангом. Южную армейскую группу Рундштедта прикрывал слева Бок, шедший с главными силами к Москве, левое плечо Бока всё время защищал шедший к северу на

Ленинград Лееб, а левый фланг Лееба был прикрыт балтийской водой.

Нынешним летом немцы явно изменили характер своих действий, они рвались на юго-восток, хотя над их левым флангом нависла с севера вся громада Советской России. В чём была разгадка этого?

Новиков не знал и не мог понять, почему наступали лишь южные фронты? Слабость? Сила? Авантюра?

Новиков не мог ответить на этот вопрос, тут нужно было знать то, чего не прочтёшь на оперативной карте.

Он ещё не осознал, что при вклинении на юго-востоке пассивность противника на московском направлении, в центре и на севере является вынужденной, что немцы уже не в силах одновременно наступать по всему фронту и что левый фланг их обнажен «не от хорошей жизни». Он ещё не мог знать того, что и это единственно возможное теперь для немцев наступление не будет иметь нужных резервов — они будут окованы грозной активностью советских армий в центре и на северо-западе — и что даже в самые напряжённые дни сталинградского сражения немецкое командование не решится перебрасывать на юг дивизии из-под Москвы и Ленинграда.

Новиков мечтал о том, чтобы уйти со штабной работы. Он считал, что сумел бы, командуя частью, с наибольшей пользой применить свой опыт, накопленный за год напряжённых размышлений, тщательного разбора военных операций, в осуществлении которых он принимал участие.

Он подал начальнику штаба докладную записку и своему начальнику отдела рапорт с просьбой освободить его от работы в штабе. Рапорт был отклонён, а о судьбе докладной он не знал — его не вызывали.

Читал ли докладную Новикова командующий?

Это волновало Новикова — в докладную вложил он, казалось ему, столько силы души и ума! У него имелся свой план построения и эшелонирования обороны полка, дивизии, корпуса...

Степь открывала широту манёвра для наступающих, она позволяла молниеносные концентрации ударных войск прорыва; пока шли перегруппировки, пока стягивались по рокадным дорогам резервы, противник прорывался, выходил на оперативный простор, захватывал важные узлы, перерезал коммуникации. Укрепрайоны, как бы сильны они ни были, при широком маневре превращались в острова среди широкого разлива. Противотанковые рвы не имели в степи значения. Подвижность обороны! Манёвр!

Новиков разрабатывал в деталях примерные планы обороны степных районов. Он учитывал десятки особенностей, связанных с ведением войны в широкой степи, при разветвлённых, хорошо проходимых в сухие летние месяцы просёлочных дорогах. В его сложных планах учитывались скорости разных видов моторизованного оружия и наземного транспорта, скорости истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, коэффициенты, соотношения скоростей с соответствующими видами оружия противника. Он разрабатывал планы быстрейших перебросок войск, молниеносных концентраций, дающих возможность не только остановить прорвавшегося противника, но и организовывать фланговые контрудары, прорывы в тех местах, где меньше всего мог их ожидать противник. Возможности маневра и подвижность обороны даже в период отступления, думал он, не исчерпывались быстрыми концентрациями живой силы и оружия на направлениях немецких прорывов. Возможности манёвра и подвижной степной обороны были шире. Манёвр позволял не только создавать заслоны, мешающие противнику прорываться, и осуществлять операции на окружения, захватывать советскую технику и живую силу. Маневр, подвижность обороны позволяли советским войскам и в период отступления прорываться в тылы наступающего противника — рвать его коммуникации, окружать его.

Вот о наиболее полном и широком использовании всех возможностей подвижной степной обороны думал Новиков.

Иногда казалось ему, выводы его были особенно ясны, особенно важны, и сердце его

вздрагивало от счастливого волнения.

В ту тяжёлую пору десятки командиров, подобно Новикову, измышляли свои планы ведения боевых операций.

Новиков ещё не знал о тех подвижных полках, которые были подготовлены в тылу Могучие истребительные противотанковые полки, обладавшие высшей подвижностью, сверхподвижностью, готовились вступить в сражение на дальних подступах к Сталинграду. Новейшие, модернизированные противотанковые пушки, обладавшие могучей пробивной силой, были сведены в дивизионы и полки «иптап». Грузовики, развивавшие большую скорость, способны были стремительно перебрасывать эти полки по широкому простору степной войны. Эти противотанковые полки могли наносить сокрушающие удары то разгаданным направлениям прорыва немецких танков. Эти летучие полки способны были на немецкий танковый манёвр отвечать смелым и стремительным манёвром.

Новиков не знал, да и не мог знать, что манёвренная оборона, развития которой жаждал он, лишь будет предшествовать невиданной жёсткой обороне пехоты на ближних подступах к Сталинграду, на волжском обрыве, на сталинградских улицах и заводах. И уж, конечно, не мог знать Новиков о том, что именно оборона Сталинграда в свою очередь будет лишь предшествовать могучему наступательному удару.

Новиков составил себе ясные и прочные практические представления о многих вещах, которые до войны были знакомы ему лишь теоретически. Ночные действия пехоты и танков, взаимодействие пехоты, артиллерии, танков и авиации, кавалерийские рейды, планирование операций. Он знал сильные стороны и слабости тяжёлых и лёгких пушек, тяжёлых и лёгких миномётов, оценивал разнообразные качества «яков», «лагов», «илов», тяжёлых, лёгких, пикирующих бомбардировщиков. Больше всего он интересовался танками; ему казалось, он знает всё, что можно знать о всех мыслимых вариантах их боевых действиях днём, ночью, в лесу, в степи, в населённых пунктах, при прорывах обороны, в засадах, при массированных атаках...

Главным увлечением его была сверхподвижная, активная танковая, артиллерийская и воздушная огневая оборона. Но Новиков знал и помнил замечательные примеры обороны Севастополя и Ленинграда, где не часами и не днями, а неделями и месяцами огромные немецкие силы уничтожались в борьбе за клочок земли, за отдельную высоту, за каждый дог, за каждый окоп.

В его сознании шла постоянная работа, он не связал ещё, но испытывал потребность осмыслить, связать, свести к единству ту массу событий, которые происходили на огромном протяжении советско-германского фронта. Эти события совершались и на степных, и на лесисто-болотистых театрах, на малой земле Хакко и Ханко, и на огромных просторах донских степей. Тут были и тысячекилометровые прорывы по равнинным и степным землям, и позиционная борьба на болотах, в лесах, в карельских скалах, где за год продвижение исчислялось сотнями, а иногда десятками метров.

В эти летние дни 1942 года Новиков сосредоточил все силы своего ума на решении вопросов, связанных с активной подвижной обороной. Это иногда тормозило процесс осмысливания военных событий, который совершался в его сознании. Война не могла в своей огромной многосложности переплетённых связей и зависимостей уложиться в частные решения, рождённые ценным, но всё же ограниченным частным опытом.

Но живой ум Новикова всё напряжённей и глубже обращался ко всей огромной совокупности совершавшихся событий, к великому потоку действительности источнику познания и мышления, главному контролёру формул и теорий.

Новиков торопливо шёл по улице. Он, не спрашивая, видел, где расположены отделы штаба: в окнах он узнавал знакомые лица, у подъездов и парадных дверей знакомых часовых.

В коридоре ему встретился комендант штаба подполковник Усов. Краснолицый, с небольшими, узкими глазами и сильным голосом. Усов не был тонкой натурой, да и должность коменданта штаба не располагала к чувствительности. Опечаленное,

расстроенное выражение казалось необычным для его неизменно спокойного лица. Взволнованным голосом он стал рассказывать Новикову:

— Летал, товарищ полковник, на «У-2» за Волгу, на Эльтон, там часть моего хозяйства стоит... солончак, степь, хлеб не растёт, верблюды. Я уже подумал: если там стоять придётся... куда размещать штаб артиллерии, инженерную часть, разведчиков, политуправление, второй эшелон — я даже не знаю. — Он сокрушенно вздохнул. — Вот только дынь там много, я их столько взял, что «кукурузник» еле поднялся, вечером пришлю вам парочку. Как сахарные...

В отделе Новикова встретили так, словно он год проблуждал в окружении. Оказалось, дважды в течение ночи его опрашивал заместитель начальника штаба, а под утро звонил секретарь Военного Совета батальонный комиссар Чепрак.

Он прошёл через просторную комнату, где уже были расставлены знакомые ему столы, пишущие машинки, телефонные аппараты.

Полногрудая, с крашеными волосами, Ангелина Тарасовна, считавшаяся лучшей машинисткой штаба фронта, отложив махорочную папиросу, спросила:

— Не правда ли, чудный город, товарищ полковник? Чем-то напоминает Новороссийск Желтолицый, страдавший нервной экземой майор, картограф, поздоровавшись, сказал:

— Спал сегодня по-тыловому, на пружинном матрасе. Младшие лейтенанты-чертёжники и завитые девушки-бодистки быстро поднялись и звонким хором оказали:

— Здравствуйте, товарищ полковник! А любимец Новикова — кудрявый, всегда улыбающийся Гусаров, — зная расположение к себе начальника, спросил.

— Товарищ полковник, я ночь дежурил, вы не разрешите мне после обеда в баню сходить помыться?

Он попросился в баню, зная, что начальники отпускают. В баню охотнее, чем повидаться с родными или в кино, либо выспаться после дежурства.

Новиков внимательно оглядел комнату, где стоял его стол, его телефон, запёртый железный ящик с бумагами.

Лысый лейтенант, топограф Бобров, в мирное время учитель географии, принёс новые листы карты и сказал:

— Вот бы, товарищ полковник, во время наступления так часто менять листы

— Пошлите посыльного в разведотдел, а ко мне никого не пускайте, — сказал Новиков, разворачивая на столе карты.

— Тут подполковник Даренский два раза вас по телефону спрашивал.

— После двух пусть зайдёт ко мне Новиков начал работать.

Стрелковые части, поддержанные артиллерией и танками, Заслонили дальние подступы к Сталинграду, и на время приостановили движение противника к Дону. Но в последние дни начали поступать тревожные донесения. Армейские разведотделы сообщали о крупном сосредоточении немецких танков, моторизованных и пехотных дивизий.

Чрезвычайно усложнились вопросы снабжения. Степные железные дороги находились под воздействием авиации, в последние дни немецкие самолёты начали минировать Волгу.

Новиков обсуждал эти тревожные сведения с начальником отдела генералом Быковым.

Быков, со всегдашней недоверчивостью оперативщика к разведчикам, сказал:

— Откуда понакопали они эти новые номера немецких дивизий, где они их выискали? Разведчики любят пофантазировать.

— Но ведь не только разведчики, — сообщают и командиры дивизии, и командармы о сильном давлении и новых частях противника

— Командиры частей тоже не прочь преувеличить силы противника, а о своих скромно помолчать, — сказал Быков — У них одна мысль: просить у командующего резервы.

Фронт был растянут на сотни километров, и плотность боевых порядков была слишком невелика для того, чтобы сдерживать подвижные войска противника, который мог быстро сосредоточить в любом месте большие силы Новиков понимал это, но в глубине души

надеялся, что фронт стабилизируется. Он верил, надеялся — и боялся верить и надеяться. Ведь на подходе к фронту войск больше не было.

Вскоре начали поступать тревожные сведения, стало очевидно, что противник решительно атакует.

Удар немецких дивизий прорвал линию обороны.

Немцы бросили в прорыв танки. Новиков читал донесения, сличал их, наносил на карту новые данные. Ночные и вечерние сообщения не утешали.

Немецкий прорыв с юга расширялся, намечалось движение на северо-восток. На карте обозначались новые немецкие клещи, нескольким дивизиям угрожало окружение.

Как хорошо знал Новиков эти загнутые синие клыки, быстро растущие на карте! Он видел их на Днепре, на Северном Донце, и вот они вновь возникли здесь.

Но сегодня тоска и беспокойство по-новому овладели им.

На мгновенье чувство бешенства охватило его, он сжал кулак, хотелось крикнуть, ударить изо всей силы по синим клыкам, ощерившимся на извилистую голубую и нежную линию Дона.

«Что это за счастье, — вдруг подумал он, — если увидел я Евгению Николаевну лишь потому, что армия отступила до Волги. Нету радости в такой встрече».

Он курил папиросу за папиросой, писал, читал, задумывался, снова склонялся над картой. Кто-то негромко постучался.

— Да, — крикнул сердито Новиков и, поглядев на часы, потом на открывшуюся дверь, сказал: — А, Даренский, заходите.

Худощавый подполковник, со смуглым худым лицом и зачёсанными назад волосами, быстро подошёл к Новикову и пожал ему руку.

— Садитесь, Виталий Алексеевич, — сказал Новиков, — здравствуйте в новой хате.

Подполковник сел в кресло у окна, закурил предложенную Новиковым папиросу, затаился; казалось, он удобно и надолго устроился в кресле, но, сделав ещё одну затяжку, он вдруг поднялся, зашагал по комнате, поскрипывая ладными сапожками, потом внезапно остановился, сел на подоконник.

— Как дела? — спросил Новиков.

— Дела? Фронтовые вы лучше меня знаете, а мои личные — никак.

— Всё же?

— Отчислен в резерв. Своими глазами видел распоряжение Быкова. И, представляете, настолько безнадёжно отчислен, что сам начальник кадров мне сказал: «Вы страдаете язвой желудка, я вас пошлю на полтора месяца полечиться». «Да не хочу я лечиться, я хочу работать!» Посоветуйте, товарищ полковник, что делать? — Говорил он быстро, негромко, но слова произносил чётко, отдельно — Как пришли сюда, знаете, предаюсь воспоминаниям, представляется всё первый день войны, — вдруг сказал он.

— Ну? — сказал Новиков. — И мне вспомнилось недавно.

— Обстановка сходная. Новиков покачал головой:

— Нет, не сходная.

— Не знаю, а я смотрю и вспоминаю: дороги забиты . потоки машин... Начальство нервничает, все спрашивают, как проехать, где меньше бомбят. И вдруг навстречу, с востока на запад, полк с артиллерией, по всем законам, как на манёврах, впереди разведка, боевое охранение, люди идут чётко, в ногу. Останавливаю машину: «Чей полк?» Лейтенант отвечает: «Командир полка майор Берёзкин. Полк движется на сближение с противником». Вот это да! Тысячи тянутся на восток, а Берёзкин наступает. Как на них смотрели женщины! Самого Берёзкина я не видел, он вперёд проехал. Вот я думаю: почему я этого Берёзкина никак забыть не могу? Всё хочется встретить его, руку пожать. А почему же со мной так получилось, что я в резерве? Нехорошо, нехорошо ведь, товарищ полковник?

С месяц назад Даренский не поладил с начальником отдела Быковым. Как-то перед началом наступления советских войск на одном из участков фронта он высказал и обосновал мнение, что несколько южнее места предполагаемого прорыва противник концентрирует

силы и готовит удар.

Начальник отдела назвал его доклад чепухой. Даренский вспылел. Быков, как выражаются, «поставил его по команде смирно», но Даренский продолжал утверждать своё. Быков обругал его и тут же дал приказ о его увольнении во фронтовой резерв.

— Вы знаете, я работников строго сужу, — сказал Новиков, — но определёнno: если б мне дали командную должность, я бы взял вас к себе в начальники штаба. У вас нюх, интуиция хорошая, а это важно, когда глядишь на карту. Правда, вот насчёт женского пола у вас слабость, но кто без слабостей.

Даренский быстро оглядел его живыми, весело блеснувшими глазами и усмехнулся, сверкнув золотым зубом.

— Одна беда, не дают вам дивизии.

Новиков подошёл к окну, сел рядом с Даренским и сказал:

— Вот что, я сегодня с Быковым обязательно поговорю. Даренский сказал:

— Спасибо большое.

— Ну, это вы бросьте — «спасибо». Когда Даренский выходил из комнаты, Новиков вдруг спросил его:

— Виталий Алексеевич, вам новая живопись нравится? Даренский оторопело посмотрел на него, потом рассмеялся и сказал:

— Новая живопись? Отнюдь нет.

— Но ведь как ни говори — новая.

— Ну и что же, — пожал плечами Даренский. — Вот о Рембрандте никто не скажет: старое, новое. О нём скажут: вечное. Разрешите итти?

— Да, пожалуйста, — протяжно сказал Новиков и наклонился над картой.

А через несколько минут вошла старшая машинистка Ангелина Тарасовна и, вытирая заплаканные глаза, спросила:

— Это верно, товарищ полковник, что Даренского отчислили?

Новиков резко сказал:

— Занимайтесь, пожалуйста, своими служебными делами. В пять часов Новиков докладывал обстановку генерал-майору Быкову.

— Что там у вас? — спросил Быков и сердито посмотрел на стоявшую перед ним чернильницу. Он невольно раздражался, когда видел Новикова, словно тот, принося ежедневно тяжёлые известия, именно и был виновником всех перипетий отступлений.

Летнее солнце ярко освещало долины, реки и степи на карте, белые руки генерала.

Новиков размеренным голосом называл населённые пункты, начальник отдела отмечал их на своей карте карандашом, кивая головой, повторял:

— Так, так...

Новиков кончил перечисление, и генеральская рука, державшая карандаш, пропутешествовав с севера на юг, до устья Дона, остановилась.

Быков поднял голову и спросил:

— У вас всё?

— Всё, — ответил Новиков.

Быков составлял доклад о событиях, уже происшедших в начале месяца, и Новиков видел, что он встревожен обстоятельствами отчётной работы больше, чем событиями сегодняшней живой и грозной действительности.

Он стал объяснять Новикову движение армий, напирая на слова «ось» и «темп» Всё это касалось прошедшего времени.

— Видите, — говорил он, водя тупой стороной карандаша по карте, — ось движения тридцать восьмой проходит по совершенно точной прямой — темп отхода двадцать первой всё замедляется.

И он, взяв линейку, стал прикладывать её к карте.

Новиков сказал:

— Разрешите, товарищ генерал Беда в том, что с такой осью да с такими темпами мы и

на Дону не удержимся, а на подходе к нам никого нет.

Быков потёр резиночкой солнечное пятно, переползавшее на красную ось движения одного из соединений, и сказал слова, которые Новиков часто слышал от него!

— Это не наше дело, над нами тоже есть начальство, резервами располагает Ставка, а не фронт.

После этого Быков посмотрел внимательно на ногти своей левой руки и недовольным голосом сказал:

— Сегодня генерал-лейтенант докладывает маршалу, вы, товарищ полковник, находитесь неотлучно в отделе: вас вызовут. А сейчас можете быть свободны.

Новиков понял недовольство Быкова. Начальник отдела относился к нему холодно. Когда стоял вопрос о выдвигении Новикова на старшую должность первого заместителя, Быков сказал: «Да, собственно, работник хороший, в этом ошибочного нет ничего, но, знаете, всё-таки он неуживчивый, с самомнением, не сумеет организовать в работе людей».

Когда Новикова хотели представить к Красному Знамени, Быков сказал «Хватит с него и Звёздочки», и он, действительно, получил Красную Звезду. Но когда Новикова зимой хотели забрать в штаб направления, Быков всполошился, стал хлопотать, писал объяснительную записку о том, что без Новикова он никак не может обойтись, и так же категорически отказался поддержать Новикова, когда тот подал рапорт о своём желании перейти на строевую должность.

Когда кого-либо из сотрудников отдела спрашивали, где получить те или другие сложные сведения либо кто может осветить запутанный вопрос, сотрудник убеждённо говорил: «Лучше прямо к Новикову идите, а то Быков вас ещё в приёмной поманежит часика полтора, он либо заседает, либо доклад принимает, либо отдыхает, а потом скажет: «Спросите Новикова, я ему это дело поручал».

Комендант из уважения, а не по рангу давал Новикову на каждом новом положении хорошую квартиру; начальник АХО, человек без иллюзий, выдавал ему лучший габардин на костюм и лучшие папиросы, и даже официантки в столовой подавали ему обед вне очереди и говорили:

— У полковника минуты свободной нет, ему ждать нельзя! Секретарь Военного Совета батальонный комиссар Чепрак рассказывал однажды Новикову, как заместитель командующего, просматривая список вызванных на важное совещание, сказал!

— Быков есть Быков. Вызовите полковника Новикова.

И, видимо, Быков знал о таких вещах и не любил, когда Новикова вызывали на совещания. В последнее время он обижался и сердился на Новикова — тот подал начальнику штаба докладную записку, в которой излагал свои мысли и предложения, критически разбирая важную операцию. Быков знал от адъютанта, что докладная записка заинтересовала командующего. Его обижало, что Новиков подал записку, минуя своего непосредственного начальника, и даже не посоветовался с ним.

Он считал себя опытным и ценным работником, знатоком всех уставных положений, правил и норм, организатором сложной, многоэтажной документации все делай архивы находились у него в идеальном порядке, дисциплина среди сотрудников была на большой высоте. Он считал, что вести войну легче и проще, чем преподавать правила войны.

Иногда он задавал странные вопросы:

— То есть как это не было боеприпасов?

— Да ведь склад был взорван, а на ДОП не подвезли, — отвечали ему.

— Не знаю, не знаю, это никуда не годится, они обязаны были иметь полтора боекомплекта, — говорил он и пожимал плечами.

Новиков, глядя на хмурое лицо Быкова, подумал, что в личных делах начальник отдела умеет проявлять гибкость и изобретательность, умело поддерживает свой авторитет; здесь-то он быстро применяется к обстоятельствам, умеет отпихнуть кого следует, умеет показать товар лицом, то, что называется ударить так, чтобы зазвенело, хотя такое поведение ни в каких правилах, уставах и нормах не обозначено.

Новиков, присмотревшись, заключил, что и знания Быкова сомнительны.

Новиков сказал:

— Афанасий Георгиевич, разрешите поговорить по одному вопросу.

Он назвал Быкова по имени и отчеству, намекая этим, что служебный разговор кончился и он просит разговора по личному поводу Быков, поняв это, указал ему на стул:

— Пожалуйста, слушаю вас.

— Афанасий Георгиевич, я о Даренском, — сказал Новиков.

— То есть? — спросил Быков и поднял брови — О чём, собственно?

По недоуменному выражению его лица Новиков понял, что разговор обречён на неудачу, и рассердился.

— Да вы знаете о чём он работник ценный, зачем ему мотаться в резерве, мог бы дело делать. Быков покачал головой:

— Мне он не нужен, думаю, и вы без него обойдётесь.

— Но ведь по существу в том споре он прав оказался.

— Тут дело не в существе, вернее, не в этом существе.

— В этом и существе. У него замечательное умение по небольшому количеству данных быстро разгадать обстановку, намерения противника

— Мне в отделе гадалки не нужны, пусть идёт в развед-отдел.

Новиков вздохнул.

— Право же странно, человек создан, можно сказать, природой для штабной работы, а вы его не хотите использовать. А я танкист, не штабной работник, подаю рапорт — вы меня не отпускаете...

Быков закричал, вынул карманные золотые часы, удивленно наморщил лоб и приложил часы к уху.

«Обедать собрался», — подумал Новиков.

— Вот, у меня всё, — сказал Быков. — Можете быть свободны.

Тяжёлый путь штаба и войск Юго-Западного фронта от Валук до Сталинграда свершился.

Некоторые части, понесшие особо большие потери людьми и техникой, были выведены из боёв и отведены в тыл, к Волге.

Красноармейцы спускались по обрыву, садились на песок, поблёскивающий крупинками кварца и перламутровой крошкой речных ракушек. Морщась, ступали люди по колючим глыбам песчаника, оползавшего к воде. Дыхание воды касалось их воспалённых век. Люди медленно разувались. Сбитые, натёртые ноги у некоторых солдат, прошедших от Донца до Волги, от Чугуева и Балаклеи до Сталинграда и Райгорода, мучительно болели, даже ветер причинял им боль. Бойцы осторожно разматывали портянки, словно бинт перевязки.

Люди, блаженно кряхтя, смывали наждачную, острую и сухую пыль, выросшую на теле. Вымытое бельё и гимнастёрки сохли на берегу, прижатые жёлтыми камнями, чтобы их не снесло в воду весёлым волжским ветром.

Помывшись, солдаты садились на бережку, под высокий обрыв и смотрели на угрюмую, песчаную заволжскую степь. Глаза, были ли то глаза пожилого ездового или глаза лихого, молодого наводчика пушки, наполнялись печалью. Если историки будущего захотят понять дни перелома, пусть приедут на этот берег и на миг представят себе солдата, сидевшего под волжским обрывом, постараются представить, о чём он думал.

Людмила Николаевна, старшая дочь Александры Владимировны Шапошниковой, не причисляла себя к молодому поколению, и посторонний человек, послушав её разговоры с матерью о сестрах Марусе и Жене, вероятно, подумал бы, что разговаривают две подруги или сестры, а не мать с дочерью.

Людмила Николаевна была в отца: плечистая, тяжеловесная, с широко расставленными светлоголубыми глазами, светловолосая, несколько эгоистичная, но одновременно и чувствительная, она соединяла в себе упрямство и практический разум с беспечной

щедростью, житейскую безалаберность с трудолюбием.

Людмила вышла замуж восемнадцати лет, но с первым мужем прожила недолго они разошлись вскоре после того, как родился Толя. С Виктором Павловичем Штрумом она познакомилась, учась на физико-математическом факультете, вышла за него замуж за год до окончания университета. Она окончила химическое отделение и готовилась защищать кандидатскую работу. Однако семейная жизнь постепенно затянула её, и она оставила работу. Она винила в этом семью, тяжесть забот и бытовое неустройство. Но, пожалуй, причина была обратная — Людмила Николаевна оставила свои занятия в университетской лаборатории как раз в ту пору, когда научные успехи мужа совпали с семейным материальным благополучием.

Они получили в новом доме на Калужской улице просторную квартиру, а в «Отдыхе» дачу с большим участком земли. Именно в эту пору Людмила Николаевна оставила работу, её увлекло хозяйство. Она путешествовала по магазинам, покупала посуду и мебель, а весной начинала работу в саду сажала мичуринские яблони, разводила розы, затевала выгонку тюльпанов, растила ананасные помидоры.

О начале войны она узнала на улице, на углу Охотного ряда и Театральной площади. Она стояла в толпе, слушавшей речь Молотова у репродуктора, она видела слезы на глазах у женщин и чувствовала, как слезы бегут по её щекам.

Первую бомбёжку Москвы, случившуюся вечером 22 июля, ровно через месяц после начала войны, Людмила Николаевна провела на крыше дома вместе с сыном. Она потушила в эту ночь зажигательную бомбу — и в розовом рассвете стояла рядом с сыном на плоской крыше дома, приспособленной под соларий, вся в чердачной пыли, бледная, потрясённая, но упрямая и гордая. На востоке, в безоблачном летнем небе всходило солнце, а с запада стеной поднимался чёрный, тяжёлый и обильный дым. то горели толевый завод в Дорогомилове и склады у Белорусского вокзала Людмила Николаевна без страха смотрела на зловещий пожар, лишь мысль о стоящем рядом Толе наполняла её тревогой, и она обняла сына за плечи, прижала его к себе.

Она постоянно дежурила на чердаке и стала буквально живым укором для тех, кто уходил ночевать к родственникам и знакомым, жившим недалеко от метро, чтобы избежать дежурства на крыше.

Её друзьями в эти летние месяцы были управдомы, пожарники и не боявшиеся смерти школьники, ребята ремесленники. Во второй половине августа Людмила Николаевна вместе с сыном и дочерью уехала в Казань. Когда муж посоветовал ей перед отъездом взять с собой наиболее ценные вещи, она, оглядев купленный в комиссионном магазине старинный фарфоровый сервиз, сказала:

— Зачем мне все это барахло! Я только удивляюсь, к чему я столько времени тратила на всё это.

Муж поглядел на нее, потом на посуду, стоящую в буфете, вспомнил, сколько волнений было при покупке всех этих тарелок, чашечек, вазочек, рассмеялся и сказал:

— Ну и чудесно, раз тебе всё это не нужно, то мне и подавно.

В Казани Людмилу Николаевну с детьми поселили недалеко от университета в маленькой двухкомнатной квартирке. Через месяц приехал Штрум, но не застал жены. Она уехала в Лаишевский район работать в татарском колхозе. Муж написал ей, просил вернуться, напоминал о всех её болезнях — миокардите, неправильном обмене, головокружениях.

Вернулась она в октябре, загоревшая, исхудавшая. Видимо, работа в колхозе помогла её здоровью больше, чем советы знаменитых профессоров, диеты и поездки в Кисловодск.

Она решила поступить на службу, и муж взялся устроить её в Институте неорганической химии, но Людмила Николаевна сказала ему:

— Пойду работать без скидок, на завод, цеховым химиком. Так она и сделала. По-видимому, и в колхозе она работала без скидок — в конце декабря к дому подъехали сани, и старик татарин с помощью мальчика снёс в сени два мешка пшеницы, причитавшиеся

Людмиле Николаевне за её колхозные трудовни. Зима была тяжёлой. В начале зимы Толю мобилизовали, и он уехал в Куйбышев, в военную школу. Людмила Николаевна заболела воспалением лёгких, её продуло в цехе, и она больше месяца пролежала в постели, а после выздоровления уже не вернулась в цех. Она занялась организацией артели вязальщиц, снабжавшей выписывавшихся из госпиталей раненых шерстяными фуфайками, варежками и носками. Комиссар одного из госпиталей определил её в женский актив при госпитале. Людмила Николаевна читала раненым книги, газеты, и так как большинство эвакуированных из Москвы учёных было ей хорошо знакомо, она устраивала для выздоравливающих лекции академиков и профессоров по различным научным вопросам.

Но она часто вспоминала свою бурную деятельность в московской команде ПВО и говорила мужу:

— Ох, если б не заботы о тебе и Наде, дня бы тут не прожила, уехала бы снова в Москву.

Казанская квартира Штрумов была обычным эвакуационным обиталищем. В первой комнате стояли сложенные горой у стены чемоданы, туфли и ботинки выстроились в ряд под кроватью, как бы знак того, что живут здесь странники. Из-под скатерти виднелись сосновые, плохо оструганные ножки стола. Ущелье между кроватью и столом было забито пачками книг... В комнате Виктора Павловича у окна стоял большой письменный стол, пустой, как взлётная дорожка для тяжёлого бомбардировщика, — Штрум не любил безделушек на рабочем столе.

Людмила Николаевна написала родным, что если придётся им эвакуироваться из Сталинграда, пусть едут все «скопом» к ней. Она заранее наметила, где расставить раскладушки. Лишь один угол она оставила свободным. Ей казалось, что сын однажды ночью вернётся с фронта и она поставит в этот угол хранящуюся в сарае Толину кровать. В её чемодане лежали Толино нижнее бельё, коробка любимых Толей шпрот. В этом же чемодане хранились перевязанные ленточкой письма Толи. Первой в связке лежала страничка детской тетради, на которой еле умещались четыре слова «Здравствуй мама приезжай скорей».

Ночью Людмила Николаевна часто просыпалась и лежала охваченная мыслями о детях, страстным желанием быть с сыном рядом, прикрыть его от опасности своим телом, копать для него день и ночь глубокие окопы в камне, в глине, но она знала — это невозможно.

В довоенную пору муж сердился, что она освобождала сына от домашних поручений, позволяла ежедневно ходить в кино.

— Я не так воспитывался, я не знал тепличных условий, — говорил он, искренне забывая, что и его в детстве мать баловала и оберегала не меньше, чем Людмила баловала Толю.

Хотя в сердитые минуты Людмила Николаевна говорила, что Толя не любит отчима, она видела, что это не так.

Интерес Толи к точным наукам определился резко и сразу; он не любил беллетристики, был равнодушен к театру. Как-то незадолго до начала войны Штрум застал Толю танцующим перед зеркалом. В шляпе, галстук и пиджаке отчима он танцевал и снисходительно кому-то улыбался, милостиво кланялся.

Мало я его знаю, — сказал Людмиле Виктор Павлович.

Надя, худая, высокая, сутулая девочка, была очень привязана к отцу. Когда-то она, девяти лет, зашла с матерью и отцом в магазин. Людмила Николаевна выбрала плюш для портьер и попросила Виктора Павловича сосчитать, сколько ей нужно взять метров. Штрум стал множить длину на ширину и на число портьер и тотчас же запутался. Продащица, снисходительно улыбнувшись, в несколько секунд произвела расчёт и сказала ужасно смутившейся за отца Наде:

— Твой папа, видно, плохой математик.

С тех пор Надя в глубине души подозревала, что отцу не легко даётся его математическая работа, и однажды, глядя на листы рукописи, исписанные сверху донизу

значками и формулами, часто перечёркнутыми и исправленными, с состраданием сказала «Бедный наш папа».

Людмила Николаевна иногда видела, как Надя заходила к отцу в кабинет и на цыпочках подкрадывалась к его креслу, легонько прикрывала ему глаза ладонями, он сидел несколько мгновений неподвижно, потом обнимал дочь и целовал её. По вечерам, когда бывали гости, Виктор Павлович внезапно оглядывался на наблюдавшие за таим два больших внимательных и грустных глаза. Читала Надя много я очень быстро, но невнимательно. Иногда она становилась странно рассеянна, задумывалась, отвечала невпопад; однажды, идя в школу, она надела носки разного цвета и после этого случая домашняя работница говорила: «Наша Надя — немного малохольная».

Когда Людмила спрашивала Над: «Кем ты хочешь быть?», она отвечала, «Не знаю. Никем».

С братом она была очень не сходна, и в детстве они постоянно ссорились. Надя знала, что Толю легко дразнить, и всячески терзала его; он, сердясь, таскал её за косы, она после этого ходила злая, надутая, но мужественно, сквозь слезы, продолжала дразнить его то «любимчиком», то странным, приводившим его в бешенство прозвищем «поросятник».

Но незадолго до войны Людмила Николаевна заметила: наступил мир между детьми. Она как то рассказала знакомым, двум пожилым женщинам, об этом изменении, и обе в один голос сказали: «Возраст» — и многозначительно, грустно улыбнулись.

Как-то Надя, возвращаясь из распределителя, встретила у дверей почтальона, принёсшего треугольное письмецо, адресованное Людмиле Николаевне. Толя писал, что наконец-то сбылось его желание, он окончил военную школу и едет, по-видимому, в сторону того города, где живёт бабушка.

Людмила Николаевна не спала полночи, лежала, держа письмо в руке, зажигала свечу, медленно перечитывала слово за словом, будто в коротких торопливых строчках можно было разгадать судьбу сына.

Профессора Штрума вызвали из Казани в Москву. Одновременно получил вызов живший в казанской эвакуации знакомый Штрума академик Постоев.

Виктор Павлович, прочитав телеграмму, взволновался: не совсем было ясно, по какому поводу и кто именно приглашает его, но он решил, что речь идёт о его плане работ, до сих пор не получившем утверждения.

План был обширный, и разработка некоторых названных в нём отвлечённых проблем требовала больших средств.

Утром Штрум встретился со своим другом и советчиком Петром Лаврентьевичем Соколовым, показал ему телеграмму. Они сидели в маленьком кабинете рядом с учебной университетской аудиторией и обсуждали все «за» и «против» в разработанном зимой плане.

Пётр Лаврентьевич был моложе Штрума на восемь лет. Незадолго перед войной он получил докторскую степень, первые же его работы вызвали интерес в Советском Союзе и за границей.

В одном французском журнале была помещена его фотография и небольшая биографическая статья. Автора статьи удивляло, что молодой волжский кочегар окончил колледж, затем столичную высшую школу и занимается теоретическими обоснованиями одной из самых сложных областей физики.

Небольшого роста, белокурый, лобастый, с большой, массивной головой и с широкими плечами, Соколов внешне казался полной противоположностью узкоплечему, темноволосому Штруму.

— А планы вряд ли утвердят полностью, — сказал Соколов, — вы ведь помните разговор с Иваном Дмитриевичем Суховым. Да и мыслимо ли теперь изыскивать сорт стали, пригодный для нашей аппаратуры, когда металлургия качественных сталей с таким напряжением выполняет оборонные заказы. Всё это требует опытных плавок, а в печах варят сталь для танков и орудий. Кто же нам утвердит такую работу, кто будет вести плавки ради нескольких сотен килограммов металла!

— Я это прекрасно понимаю, — сказал Штрум, — но ведь Иван Дмитриевич уже два месяца назад покинул директорское кресло. А насчет нужной нам стали, вы правы, конечно, но это ведь общие рассуждения. Да и, кроме того, ведь главный наш шеф академик Чепыжин одобрил общее направление работ. Ведь я читал вам его письмо. Вы, Петр Лаврентьевич, часто пренебрегаете конкретными обстоятельствами.

— Нет уж, простите, Виктор Павлович, не я, а вы ими пренебрегаете, сказал Соколов — уже конкретней не скажешь: война!

Оба были взволнованы и спорили о том, что следует говорить Штруму, если план работы будет оспариваться в Москве.

— Я не собираюсь вас учить, Виктор Павлович, — говорил Соколов, — но в Москве много дверей, а вы не знаете, в какую именно надо постучать.

— Уж ваша опытность известна, — сказал Штрум, — вы до сих пор ухитрились не получить лимита и прикреплены к худшему в Казани распределителю научных работников.

Они всегда обвиняли друг друга в житейской непрактичности, когда хотели сказать приятное.

Соколов подумал, что дирекции института следовало позаботиться о лимите для него — сам он из гордости никогда не будет об этом просить. Но он, конечно, не сказал об этом и пренебрежительно качнул головой:

— Вы ведь знаете, насколько такие вещи для меня безразличны.

Разговор перешёл на то, как будет вестись работа в отсутствие Штрума.

Днём сотрудник хозяйственной части горсовета, рябой мужчина в синем галифе, удивлённо и недоверчиво оглядев Штрума, вручил ему пропуск и билет на завтрашний скорый поезд. Штрум, сутулый, худой, с такой взъерошенной шевелюрой, словно он не занимался сложными вопросами физики, писал музыку для цыганских романсов, совсем не походил на профессора. Штрум сунул билет в карман и, не спросив, когда идёт поезд, стал прощаться с сотрудниками.

Он обещал передать общий привет и отдельные приветы старшей лаборантке Анне Степановне, оставшейся в Москве с частью институтского оборудования; выслушал женские восклицания, «ах, Виктор Павлович, как я вам завидую послезавтра вы будете в Москве», и под общий шум: «счастливого пути, ни пуха ни пера, возвращайтесь скорей» — отправился домой обедать.

По дороге домой Штрум всё думал о неутверждённом плане, вспоминал свою зимнюю встречу с директором Иваном Дмитриевичем Суховым, приехавшим в декабре из Куйбышева в Казань.

Сухов при этой встрече был необычайно любезен, тряс Штруму обе руки, расспрашивал о здоровье, о родных, о бытовых условиях. Но тон у него был такой, словно он приехал не из Куйбышева, а из окопов переднего края и разговаривает со слабым и робким гражданским лицом.

К плану работ, предложенному Штрумом, он отнёсся отрицательно.

Ивана Дмитриевича обычно мало интересовала суть дела, но его горячо занимали многие побочные обстоятельства. Он обладал тем узким и практическим жизненным опытом, который помогал угадывать, что ближайшие его начальники, от которых зависят успехи и положение Сухова, считают важным и нужным. Ему случалось обрушиваться сегодня на то, к чему вчера относился он с терпимостью и даже с горячей симпатией.

Когда люди начинали невпопад, совершенно не зная ситуации и положения, кипятиться и спорить, они ему казались наивными и совершенно непонимающими что к чему.

Он в разговорах подчёркивал, что в его отношении к делам и к людям нет ничего личного, для него важен лишь интерес общий. Но он никогда не задумывался над одной странностью — он всегда гармонично соединял свои взгляды и их изменение с успехами своей частной жизни.

Из Казани Сухов поехал обратно в Куйбышев, а затем в Москву. Там он прожил полтора месяца и сообщил телеграммой, что скоро приедет в Казань.

Но в Казань он не приехал — Сухова вызвали в Центральный Комитет, жестоко раскритиковали методы его работы, сняли с должности и послали преподавать в Барнаульский институт сельскохозяйственного машиностроения. Временно Сухова замещал молодой кандидат наук Пименов, когда-то работавший у Штрума аспирантом. Вот о предстоящей в Москве встрече с ним и думал Штрум, шагая по казанской улице.

Людмила Николаевна встретила мужа в передней и, снимая щёткой с его плеча казанскую пыль, стала расспрашивать о тех обстоятельствах поездки, которые всегда интересуют жён, стоящих на страже величия своих мужей.

Она спросила, кто прислал телеграмму, обещана ли машина для поездки на вокзал, в какой вагон даны билеты, — мягкий, международный или в жёсткий плацкартный. Усмехнувшись, она сказала, что профессору Подкопаеву, с чьей женой она была в плохих отношениях, телеграммы не прислали. Потом она, сердито махнув рукой, добавила: «Всё это такие пустяки, а в голове молот день и ночь стучит. — Толя, Толя, Толя...»

Надя вернулась домой поздно, она была в гостях у своей подруги Аллы Постоевой.

Штрум слышал по звуку легких и осторожных шагов, что в комнату вошла дочь, и подумал «Какая она худенькая, села на скрипучий диван — и пружина не скрипнула».

Не поворачивая головы, он сказал:

— Добрый вечер, дочка, — и продолжал быстро писать. Она не ответила.

Прошло довольно много времени в молчании, и Штрум, снова не поворачиваясь, спросил:

— Ну, как там Постоев, пакует чемодан?

И опять Надя не ответила ему. Штрум постучал пальцем по столу, словно призывал кого то к тишине. Ему хотелось закончить до отъезда одно математическое рассуждение, так как он знал, что незаконченное и непроверенное, оно будет его тревожить в дороге, — в Москве же вряд ли будет время сосредоточиться. Казалось, он совсем забыл о дочери, но вдруг повернулся к ней и сказал:

— Ты чего сопишь, сопуха?

Она, глядя на него сердитыми глазами, быстро проговорила:

— Не хочется мне что-то на полевые работы ехать на август. Алка Постоева никуда не едет, а мама без меня меня женила, была в школе и записала и даже меня не спросила. Приеду к сентябрю — и сразу занятия, а девочки говорят, кормят-то в колхозе не очень, а работы столько, что и купаться в речке редко успевали.

— Ладно, ладно, иди спать, ничего нет страшного, — сказал Штрум.

— Конечно, страшного ничего, — сказала Надя и пожала сперва одним плечом, потом вторым, — но ты-то, небось, сам не поедешь. — И насмешливым голосом добавила — Ох, уж этот мне сознательный папа, сам то он в Москву едет.

Она поднялась и, уже стоя в дверях, сказала:

— Да, Ольга Яковлевна рассказывала, она возила вечером подарки раненым на вокзал, и вдруг в одном санитарном поезде оказался Максимов; он был два раза ранен и теперь едет в Свердловск, выйдет из госпиталя — И снова займёт кафедру в МГУ.

— Какой Максимов? Обществовед? — спросил Штрум.

— Да нет же, боже мой, наш дачный сосед, биохимик, ну вот что чай у нас пил на даче перед самой войной, понял? — сказала Надя.

Штрум взволновался.

— Может быть, поезд ещё на станции? Мы немедленно поедem с мамой.

— Нет, ушёл, — сказала Надя — Постоева зашла к нему в вагон — уже звонок был. Он и рассказать ничего не успел.

А поздно ночью перед сном Штрум поссорился с женой.

Показывая на худые, загорелые руки спящей Нади, он сказал, что напрасно Людмила настаивает на Надиной поездке в колхоз, пусть лучше перед трудной зимой отдохнёт.

Людмила Николаевна ответила, что в Надином возрасте все девочки худые, и она была худей Нади, и что есть тысячи семей, где школьники летом работают на производстве, а в

деревнях участвуют в тяжёлых работах.

Виктор Павлович сказал:

— Я говорю о том, что девочка худеет, а ты начинаешь мне рассказывать бог весть о чём. Ты посмотри, какие у неё ключицы, и губы бледные, малокровные. Настаиваешь ты по каким-то для меня совершенно непонятым соображениям. Приятней тебе, что ли, когда тяжело приходится обоим детям? Мне это непонятно.

Людмила Николаевна посмотрела на него ставшими молодыми и светлыми от горя глазами и сказала холодно:

— Голина судьба тебя мало волнует.

— Не надо, не надо, прости, — сказал Штрум. Они часто спорили, а иногда и ссорились, но ссоры их не были продолжительны.

Виктор Павлович не задумывался о своих отношениях с женой. Их отношения вступили в ту полосу, когда долгие привычка друг к другу как бы стирает значительность и важность этих отношений, якобы тускнеющих в повседневности. Их отношения вступили в ту полосу, когда лишь жизненные потрясения вдруг делают понятным, что долгие и повседневная близость и привычка, собственно, и являются тем значительным и в истинном, высоком смысле поэтичным, что связывает двух людей, рядом идущих от молодости до седых волос. И Виктор Павлович никогда не замечал того, над чем обычно посмеивались его домашние. Приходя домой, он первым делом спрашивал у детей:

— Мама дома?.. Как, нет дома?.. Где она?.. Скоро придёт?

Когда же Людмила Николаевна опаздывала, он бросал работу, охал, бродил по квартире, собирался искать её, снова спрашивал:

— Куда же она пошла, какой дорогой, как себя чувствовала уходя, и зачем ходить в те часы, когда столько машин и троллейбусов.

Но как только Людмила Николаевна приходила домой, Штрум сразу же успокаивался, садился за стол работать и на все её вопросы рассеянно говорил:

— А? Что? Не мешай мне, пожалуйста, я работаю. Всё это умела очень смешно показывать на кухне Толе и домашней работнице Варе Надя, у которой, как у большинства .склонных к задумчивости и молчаливых людей, бывали минуты особенной, всех заражающей весёлости. Толя хохотал, а Варя вскрикивала: «Ой, не могу, ну точно, точно Виктор Павлович».

Виктор Павлович знал ещё одно неизменное чувство. Оно освещало внутренний мир его. Где-то в глубине души постоянно ощущал он спокойный, грустный свет, сопутствовавший ему всю жизнь, — любовь матери.

Виктор Павлович был единственным сыном Анны Семёновны Штрум: она овдовела, когда сыну было пять лет.

Окончив университет, она жила в Киеве, работала в клинике у известного профессора, специалиста по глазным болезням.

В Киеве Анна Семёновна одно время встречалась с Ольгой Игнатьевной Бибиковой, вдовой капитана дальнего плавания. Капитан навёз Ольге Игнатьевне множество подарков из дальних стран: коллекции бабочек, ракушек, точёные из кости и высеченные из камня фигурки. Анна Семёновна, вероятно, не знала, что для её сына эти вечерние хождения к Ольге Игнатьевне значат больше, чем занятия в школе и с учительницами языков и музыки.

Особенно привлекала Витю коллекция мелких ракушек, собранных на побережье Японского моря: золотистых и оранжевых — закаты маленького солнца; голубоватых, зелёных, молочно-розовых — рассвет на маленьком море. Их формы были необычайны — тонкие шпаги, кружевные шапочки, лепестки вишнёвого цвета, известковые звёздочки и снежинки. А рядом стоял застекленный ящик с тропическими бабочками, ещё более яркими — клубы фиолетового дыма, языки красного пламени застыли на их огромных резных крыльях. Мальчику казалось тогда, что ракушки подобны бабочкам, они летают под водой, среди водорослей, при свете то зелёного, то Голубого подводного солнца.

Он увлёкся гербариями, коллекциями насекомых, ящики его стола и карманы всегда

были полны образцами минералов и металлов.

Кроме коллекций, у Ольги Игнатьевны имелись два больших аквариума. Среди подводных рожиц и лесов паслись рыбки, по красоте своей равные бабочкам и океанским раковинам! сиреневые, перламутровые, с кружевными плавниками гурами, макроподы — с лукавыми кошачьими мордочками, в красных, зелёных и оранжевых полосах; стеклянные окуни — сквозь прозрачные, слюдяные тельца их просвечивались тёмные пищеводы и скелетики, пучеглазые телескопы, розовые вуалехвосты — живые картофелины, заворачивающиеся в длинные, тончайшие, как папиросный дым, хвосты.

Мальчик вырослел, менялся внешне, менялась его одежда. И вместе с его внешностью, толщиной костей, голосом, одеждой менялся его внутренний мир, привязанности, менялась любовь к природе.

К пятнадцати годам он увлёкся астрономией, добывал увеличительные стёкла из них он комбинировал небесную трубу.

В нем постоянно шла борьба между жадной жизненной практики и интересом к абстракции, к чистой теории. По-видимому, в ту пору он бессознательно старался примирить эти два мира — интерес к астрономии был связан с мечтами об устройстве обсерватории в горах, открытие новых звёзд связывалось в его мечтах с опасными и трудными путешествиями. Противоречие между жадной жизненного действия и абстрактным складом его ума сидело в нём где-то очень глубоко, с годами лишь он нащупал, понял это.

В детстве было жадное любование предметами, он раскалывал молотком камни, гладил гладкие грани кристаллов, изумлялся, ощущая тяжесть ртути и свинца. недостаточно было наблюдать рыбку в аквариуме, и он, засучив рукав, ловил её, осторожно держал её, не вынимая из воды. Ему хотелось уловить чудный, яркий мир предметов в сети осязания, зрения, обоняния.

А в семнадцать лет он волновался, читая книги по математической физике, где на страницу текста приходилось десять-пятнадцать бледных связующих слов: «и следовательно», «и далее», «таким образом» — и где весь пафос и мощь мышления выражались дифференциальными уравнениями и преобразованиями, необходимыми и в то же время неожиданными.

В эту пору у Штрума завязалась дружба со школьным товарищем Петей Лебедевым, увлекавшимся математикой и физикой, он был на полтора года старше Штрума. Они вместе читали книги по физике, мечтали совместно произвести открытия в области строения вещества. Но Лебедев, выдержав приёмные испытания в университет, ушёл с комсомольским отрядом на фронт и вскоре был убит в бою где-то под Дарницей. Судьба Лебедева потрясла Штрума: он неотступно думал о своём друге, который предпочёл путь солдата революции работе учёного.

Спустя год Штрум поступил на физико-математический факультет Московского университета. Его увлекли работы, посвящённые ядерным и электронным энергетическим законам.

Поэзия самой глубокой тайны природы была велика. На тёмном экране вспыхивали фиолетовые огоньки-звёздочки; невидимые частицы, проносясь, оставляли после себя туманные кометные хвосты сгустившегося пара, стройная стрелка тончайшего электрометра вздрагивала, отмечая потрясение, которое вызывали невидимые дьяволы, наделённые безумной скоростью и силой. Великие силы бурлили под поверхностью материи. Эти вспышки на тёмном экране, показания масс-спектрографа, разгадывающего заряд атомного ядра, потемнение фотографической пластинки — всё это были первые разведчики гигантских сил, ворочающихся во сне, ворчащих и вновь засыпающих, притихающих... Страстно хотелось пробудить эти силы, заставить их взречь, выйти из тьмы берлоги.

Обратимый переход через грань, отделяющую и связывающую вещество с квантами энергии, в рамках одного математического преобразования! Сказочная по сложности и по грубой простоте принципа опытная аппаратура — мост между высоким каменистым берегом обычных представлений и ощущений и скрытой в глухом тумане областью ядерных

сил.

Но удивительно, но странно! Именно в этом глухонемом царстве квантов и протонов была высокая материальная сущность мира.

Учась в университете, Штрум вдруг объявил матери, что научные занятия его не удовлетворяют, и поступил рабочим на Бутырский химический завод, в самый тяжёлый краскотёрочный цех. Зимой он учился и работал, а летом не поехал на каникулы, продолжая работать на заводе.

Казалось, он совершенно и весь изменится. Но чувство, которое испытывал в детстве Штрум, наблюдая и преследуя возникавших, подобно чуду, в густой, зелёной воде рыбёшек, вновь и вновь приходило каждый раз, когда среди противоречивых рассуждений, среди неточных опытов, толкающих иногда к верным выводам, среди тончайших опытов, ставивших иногда исследователя в тупик перед стеной нелепости, он вдруг ощущал догадку, подобную сверкнувшему и схваченному рукой чуду.

Ныне материя не осязалась, не была видима, но реальность бытия её, реальность атомов, нейтронов, протонов была не менее яркой, чем реальность бытия земли и океанов.

Казалось, он достиг того, о чём мечтал в юности. И всё же его не оставляла душевная неудовлетворённость. Минутами ему представлялось, что главный поток жизни идёт мимо него, и ему хотелось слить воедино, соединить свою кабинетную работу с тем огромным делом, которое творилось на заводах, в шахтах, на стройках страны, создать тот мост, который соединил бы разрабатываемую им физическую теорию с благородным и тяжёлым трудом, что творят миллионы рабочих... Он вспоминал друга далёких детских лет в красноармейском шлеме, с винтовкой за плечом — и воспоминание это обжигало его, будоражило.

Большую роль в жизни Штрума сыграл его учитель Дмитрий Петрович Чепыжин.

Учёный с мировым именем, один из выдающихся русских физиков, широкоплечий, большерукий, широколобый, он напоминал пожилого кузнеца-молотобойца.

Пятидесяти лет он с помощью двух своих сыновей — студентов срубил бревенчатый загородный дом, сам обтёсывал тяжёлые брёвна, сам выкопал колодец возле дома, построил баню, проложил дорогу в лесу.

Он любил рассказывать об одном деревенском старике — Фоме неверующем, который всё сомневался в его плотничьих способностях. Однажды этот старик будто бы хлопнул его по плечу, признав в нём своего брата, умелого труженика, и, перейдя на «ты», лукаво сказал:

— Слышь, Петрович, приходи ко мне — сарай мне поставишь, рассчитаемся с тобой без обиды

Жить в летние месяцы в этом загородном доме Чепыжин не любил и обычно вместе со своей женой Надеждой Фёдоровной отправлялся в далёкие двухмесячные путешествия. Они побывали в дальневосточной тайге и на Тянь-Шаньских высотах возле Нарына, и на берегу Телецкого озера возле Ойрот-Туры, и на Байкале, и спускались на вёсельной лодке до Астрахани по Москве-реке, Оке и Волге, исходили Брянские леса от Карачева до Новгород Северского, и Мещерские леса за Рязанью. Обычай этот завели они со студенческих времён и сохранили неизменно и в ту пору, когда людям, кажется, уж более подходит отдыхать в санаториях и на дачах, а не шагать лесными и горными дорогами с зелёными мешками за плечами. Во время этих путешествий Дмитрий Петрович вёл подробный дневник.

В этом дневнике был специальный раздел — «лирический», посвящённый красоте природы, закатам и восходам солнца, летним грозам в горах, ночным лесным бурям, звёздным и лунным ночам. Но описания эти Дмитрий Петрович читал только жене. Охоты и рыбной ловли Чепыжин не любил.

Когда осенью, вернувшись из путешествия, он председательствовал на заседаниях в Институте физики либо сидел в президиуме на сессии Академии наук, странно выглядело его лицо среди лиц седовласых коллег и седеющих учеников, побывавших летом в Барвихе, в Узком либо на своих подмосковных, лужских и сестрорецких дачах. Темноволосый, почти без седины, он сидел, насупив суровые брови, подпирая большую голову жилистым,

коричневым кулаком, поглаживая ладонью другой руки свой широкий подбородок и худые щёки с вьевшимся в них загаром. Такой жестокий загар метит обычно лицо, шею, затылок людей тяжёлой жизни, тяжёлого труда: рабочих на торфоразработках, солдат, землекопов. Это загар людей, редко спящих под крышей, загар не только от солнца, но и ночной загар, рождённый палящим ночным ветром, заморозками, предрассветным холодным туманом. В сравнении с Чепыжиным болезненные старики с мягкими седыми волосами, с молочно-розовой кожей, прочерченной синими жилками, казались старыми голубоглазыми барашками и ангелочками рядом с широколобым бурым медведем.

Штрум помнил свои юношеские разговоры с покойным Лебедевым о Чепыжине.

Лебедев мечтал встретиться с Чепыжиным. Ему хотелось работать под его руководством и в то же время спорить с ним о философских выводах физической науки.

Но Лебедеву не пришлось учиться физике у Чепыжина, не пришлось с ним поспорить.

Удивляло людей, знавших Дмитрия Петровича, не то, что он любил бродить по лесам, работать топором и лопатой, что он писал стихи и увлекался живописью. Удивляло и восхищало то, что при широчайшем круге жизненных интересов, при множестве своих увлечений Дмитрий Петрович был человеком, одержимым одной страстью. Люди, хорошо знавшие его — жена, близкие друзья, — понимали, что все его увлечения имели единую основу. Эта единая основа состояла в том, что любовь к русским лесам и полям, и собирание картин Левитана и Саврасова, и дружба со стариками крестьянами, приезжавшими к нему в гости в Москву, и огромные усилия, положенные им в своё время на организацию московских рабфаков, и интерес к старинным народным песням, и постоянный интерес к работе новых отраслей промышленности, и страстная любовь к Пушкину и Толстому, и даже трогательная, смешившая некоторых, забота о живших в его доме обитателях родных лесов и полей — еже, синицах, снегирях, — всё, всё это было единой основой, на которой единственно и могло существовать казавшееся надземным здание его науки.

Весь мир человеческой абстрактной мысли, поднявшейся на огромную высоту, откуда, казалось, не только нельзя было различить моря и континенты, но и самый шар земли, весь этот мир прочно, корнями ушёл в родную землю, от неё питался живыми соками и, вероятно, без неё не мог бы жить.

В таких людях живёт простое и сильное чувство, пришедшее в самые ранние годы отрочества. Это чувство, сознание единой жизненной цели, чувство, сознание, с которым человек проходит через жизнь до седых волос, до последнего дня. Это то чувство, что описал Некрасов в своих стихах «На Волге», вспоминая о мальчишке, увидевшем бурлаков, «...какие клятвы я давал...»; это чувство, которое потрясло на Воробьёвых горах подростков — Герцена и Огарёва.

Но некоторым людям главное чувство цели кажется наивным пережитком, случайно и ненужно сохранившимся. Ощущения и мысли, связанные с каждодневной мелочной суетой, заполняют их духовный мир; такие люди не склонны к душевным преобразованиям, которые, подобно математическим, сокращают случайные величины, усложняющие, но не определяющие сущность явлений, они не склонны сокращать, отбрасывать, пренебрегать тем, чем можно и должно пренебречь. Многие люди подчинены поверхностной пестроте жизни. Они не ощущают единства в этой пестроте. Эти люди лишь в роковой час судьбы, лишь под самый конец жизни вдруг ощущают незначительность быстро вянущей, изменчивой и случайной суеты, вновь видят то самое простое и самое важное, что им представлялось наивным либо недостижимым. Это то, что люди называют: «подойдя к концу жизни, он вдруг понял», «оглянувшись назад, увидел и тогда понял...» Такие люди часто пожидают малые, но сытные успехи. Но такие люди никогда не могут выиграть большую битву с жизнью, как не может победить полководец, не имеющий плана, не воодушевлённый любовью к народу, не имеющий благородной и простой цели в войне, которую он ведёт, — его боевая суета может отбить у врага город, опрокинуть полк, дивизию, но не ведёт к стратегической победе. Часто позднее понимание различия важного и пустого уже не служит руководством к жизненному действию. Оно приходит в пору, когда человек подводит итог

своих случайных жизненных обстоятельств и действий и произносит горькие, но не имеющие значения для дальнейшего его существования слова: «О, если б я снова начал жизнь».

Есть натуры и характеры, для которых это простое, юношески ясное, лежащее в глубине души и сознания чувство и представление о смысле и цели жизни является руководством к действию, определяет поступки, решения, планы, всю жизнь человека. Такие натуры и характеры сравнительно часто оставляют по себе след в человеческом обществе, их труд, их мысль направлены на творчество и борьбу, а не на мелкие дела, не на молекулярные движения, подчинённые сегодня только интересам сегодняшнего, а завтра, когда исчезнут сегодняшние интересы, — интересам завтрашнего дня.

Простое чувство: «я хочу, чтобы людям труда жилось свободно, счастливо, богато, чтобы общество было устроено свободно и справедливо» — лежало в основе многих замечательных жизней революционных борцов и мыслителей

Число примеров можно расширить, охватить ими деятелей точной науки, путешественников, садоводов, строителей, оросителей пустынь. Этим ясным, юношески чистым чувством и знанием великой цели наделены многие и многие советские люди, строители нового мира — рабочие, колхозники, инженеры, учёные, учителя, врачи... Они сохраняют его до седых волос.

Штрум навсегда запомнил первую лекцию Чепыжина, его густой, чуть чуть сипловатый голос, то учительски снисходительный и неторопливый, то вдруг быстрый и страстный; голос, точно принадлежащий политическому агитатору, а не профессору, излагающему физическую теорию студентам университета Формулы, которые он писал на доске, тоже не были бесстрастными выражениями новой механики невидимого мира сверхэнергий и сверхскоростей, а казались призывами и лозунгами — мел скрипел и сыпался, иногда он постреливал, когда рука профессора, привыкшая не только к перу и тонким кварцевым и платиновым приборам, но и к топору и лопате, с размаху, как гвоздь, вбивала точку либо выводила лебединую шею интеграла. Эти формулы напоминали фразы, полные человеческого содержания, фразы, говорящие о сомнении, вере, любви. И Чепыжин подчёркивал это чувство, расставляя точно в листовке либо в страстном личном письме знаки вопроса, многоточия, победные восклицательные знаки. Больно стало, когда после лекции дежурный начал стирать с доски все эти радикалы, интегралы, дифференциалы, тригонометрические обозначения, греческие альфы, дельты, эpsilonны, кси, объединённые умом и волей человека в боевую дружину. Казалось, эту доску надо сохранить, как сохраняют ценные рукописи.

И хоть много лет прошло с тех пор, и самого Штрума уже слушали студенты, и он сам писал мелом на чёрной доске, чувство, которое он испытывал, слушая первую лекцию своего учителя, неизменно жило в нём.

Каждый раз, входя в кабинет к Чепыжину, Штрум волновался; а вернувшись из института, по-ребячьи хвастливо докладывал домашним либо друзьям: «Сегодня гуляли с Чепыжиным, дошли до Шаболовской радиостанции», «Чепыжин пригласил нас с Людмилой на встречу Нового года», «Дмитрий Петрович считает, что моя лаборатория работает в правильном направлении...»

Штруму запомнился один разговор с Крымовым по поводу Чепыжина. Это было за несколько лет до войны. Крымов приехал на дачу после многодневной, напряжённой работы.

Людмила уговорила его снять суконную гимнастёрку, надеть пижаму Виктора Павловича Крымов сидел в тени цветущей липы с блаженным выражением лица, которое всегда приходит к людям, приехавшим за город и после долгих часов, проведённых в жарких, прокуренных комнатах, вдруг испытавшим простое и полное физическое счастье от того, что в мире есть душистый, свежий воздух, холодная колодезная вода, шум ветра в ветвях сосен.

Штруму запомнилось это выражение счастья на утомлённом лице Крымова, казалось, ничто не могло заставить его выйти из состояния покоя. И должно быть, именно поэтому

поразила Штрума внезапная перемена, происшедшая с Крымовым, едва разговор о прелестях клубники с сахарным песком и холодным молоком перешёл на «городские» темы.

Штрум сказал о том, что накануне видел Чепыжина и тот рассказывал ему о задачах новой лаборатории, организованной в Институте физики.

— Да, грандиозный учёный, — сказал Крымов, — но там, где он отходит от своих работ по физике и пытается философствовать, он, случается, противоречит самому себе как физику, не разбирается в марксистской диалектике.

Людмила Николаевна сразу вспыхнула и набросилась на Крымова.

— Да как вы можете в таком тоне говорить о Чепыжине? А Крымов, словно не он только что благодушествовал под цветущей липой, нахмурился и сказал:

— Уважаемый товарищ Люда, в подобном случае разговор у революционного марксиста один — будь то отец родной, Чепыжин либо сам Ньютон.

Штрум знал, что Крымов прав, ведь не раз ещё покойный Лебедев говорил о том же.

Но и его рассердил резкий тон Крымова.

— Знаете, Николай Григорьевич, — сказал он, — в своей правоте вам следует всё же задуматься, почему такие люди, столь несовершенные в теории познания, так сильны в самом познании.

Крымов сердито посмотрел на него и проговорил:

— Это не довод в философском споре. Вы отлично понимаете, что история науки знает примеры, когда учёные в своих лабораториях являются стихийными проповедниками диалектического материализма, его последователями, его сыновьями, они беспомощны и бессильны при малейшем отступлении от него... Но едва эти же люди начинают вырабатывать свою доморощенную философию, они этой кустарной философией не могут объяснить явлений жизни, сами того не понимая, борются против своих собственных замечательных научных достижений. Я непримирим потому, что люди, подобные вашему Чепыжину, их замечательные труды дороги мне, не меньше, чем вам.

Проходили годы, а связи Чепыжина со своими учениками, переходившими к самостоятельной научной работе, не ослабевали. Это была рабочая, живая, свободная, демократическая связь, объединявшая учителя с учениками крепче, сильнее, чем любые другие скрепы и связи, придуманные и созданные человеком.

В день отъезда в Москву утро выдалось прохладное и ясное.

Виктор Павлович, поглядывая в раскрытое окно, слушал последние наставления Людмилы.

Людмила Николаевна втолковывала мужу, в каком порядке разложены вещи в чемодане, куда положены пакетики яичного порошка, перетрум, стрептоцид, старые газеты на завёртку папирос из самосада, какие продукты следует есть в первую очередь, какие оставить под конец путешествия, просила привезти обратно пустые баночки и бутылки — в казанской эвакуации добыть все это представляло много хлопот.

— Так не забудь же, — говорила она, — список вещей, которые необходимо привезти с дачи и из квартиры, в твоём бумажнике, рядом с паспортом.

Прощаясь, она обняла мужа и сказала:

— Не переутомляйся, дай мне слово, что в случае воздушной тревоги обязательно будешь спускаться в подвал Виктор Павлович сказал:

— Помню свою первую самостоятельную поездку поездом, во время гражданской войны. Мама положила деньги в специальный мешочек и пришила его с внутренней стороны рубахи. Тогда главными опасностями были сypняк и бандиты...

Но когда автомобиль отъехал от дома, Штрум забыл о волнении, охватившем его при прощании. Утреннее солнце красило городские деревья, поблескивающую, увлажнённую росой мостовую, запylённые стёкла, лупящуюся штукатурку и кирпич стен.

Постоев, полный, высокий, бородатый, уже ждал у ворот, возвышаясь на голову среди своего семейства: жены, дочери Аллочка и худого, бледнолицего сына студента.

Сидя в автомобиле. Постоев, привалившись к Виктору Павловичу, сказал, косясь на

оттопыренные уши седого шофёра:

— Вы говорите, реэвакуироваться некоторые осмотрительные люди уже вывезли семьи из Казани в Свердловск либо в Новосибирск.

Шофер повернулся к ним вполоборота и сказал:

— Вчера, говорят, немецкий разведчик летал.

— Ну и что ж, и наши разведчики над Берлином летают, — сказал Постоев.

Даже яркое утреннее солнце было бессильно скрасить суровый вид военного вокзала: дети, спящие на узлах и ящиках, старики, медленно жующие хлеб, женщины, одуревшие от усталости, от детского крика, призывники с большими мешками за плечами, бледнолицые раненые и едущие на переформирование красноармейцы...

В мирные времена среди едущих в поездах не только деловые люди и командированные: едут весёлые курортники, студенты-отпускники и практиканты, едут разговорчивые, умные старухи поглядеть вышедших в большие люди сыновей, едут дети оказать почёт старикам, а главное, много народу едет домой, на побывку в родные места.

Но в пору войны сурово и печально выглядели люди в поездах и на вокзалах.

Виктор Павлович пробирался следом за носильщиком по станционному залу. Вдруг послышался крик: оказалось, в суতোлке у колхозницы украли документы и деньги. Мальчик в штанишках, сшитых из плащ-палатки, жался к ней, ища защиты и утешения и стараясь утешить, а мать, держа на руках грудного ребёнка, кричала отчаянным голосом — что было ей делать без билета, без денег, без справки из колхоза?

Когда Штрум проходил мимо, женщина, взглянув на него, на мгновение замолкла; страдающие, напряжённые глаза ее встретились с его глазами, может быть, ей показалось, что этот человек хочет помочь ей, выдаст документы, билет.

Тяжело подошёл к платформе разгорячённый паровоз, поплыли запыхлённые вагоны. Проводник, недоверчивый к пассажирам, сающимся на промежуточных станциях, стал разглядывать билеты. «Свои» пассажиры, офицеры, едущие из госпиталей, и командированные в Москву инженеры уральских, заводов, выскакивали на перрон, спрашивали: «Где базар — далеко?.. Кипяток где?.. Сводку слушали, что в сводке?.. Почём тут яблоки?..» — и бежали к зданию вокзала.

Постоев и Штрум вошли в вагон, и ощущение спокойствия коснулось их, едва они увидели ковровую дорожку, пыльные зеркальные стёкла, голубоватые чехлы на диванах. Шум вокзала не был слышен, но чувство покоя и удобства смешалось с тревогой и грустью: всё в вагоне напоминало о мирном времени, а всё вокруг дышало пронзительной бедой и горем. Поезд стоял недолго, вскоре грохотнуло, негромко — подцепили к составу паровоз, к вагонам побежали офицеры и уральские инженеры, одни держа на весу чайники и кружки, другие, прижимая к пруди помидоры, огурцы, газетинки с лепёшками и рыбой.

Пришло Томительное мгновение, когда все едущие ждут рывка паровоза, и даже те, кто покидает дом и близких, жаждают движения, словно оно приблизит их к дому, а не оторвёт от него. В коридоре какая-то женщина, сразу потеряв интерес к Казани, озабоченно сказала.

— Проводники обещают, что в Муроме мы будем днём, там, говорят, лук дешёвый! Мужской голос произнёс:

— Сводку читал? Этак немцы и к Сталинграду подойдут, я ведь все те места знаю.

Постоев надел пижаму, прикрыл лысину тубетейкой, полил одеколона из гранёного флакона с никелированной крышечкой на руки, расчесал гребнем седую плотную бороду, помахал клетчатой платочком на щёки и, прислонившись к спинке дивана, сказал:

— Ну-с, как будто едем.

Штруму хотелось скорей избавиться от тягостного чувства тревоги, и он, чтобы развлечься, то глядел в окно, то наблюдал за румяным жизнелюбом Постоевым. У Постоева было больше ученых заслуг, чем у его молодого коллеги. Его манеры, раскатистый голос, снисходительные шутки, рассказы о великих ученых, которых он называл по имени и отчеству, всегда импонировали людям. По роду работы ему часто, чаще, чем другим, приходилось встречать крупных деятелей, руководивших хозяйством страны, наркомов,

директоров знаменитых заводов. Его имя знали тысячи инженеров, его знаменитый учебник был принят во многих вузах. На конференциях и на широких заседаниях Штруму были приятны дружеские чувства Постоева, и он охотно сидел с ним рядом либо гулял с ним в перерывах. И когда он ловил себя на этом, он сердился на себя за мелкое тщеславие, но так как на себя долго сердиться трудно, то он ни с того ни с сего начинал сердиться на Постоева.

— Вы помните ту женщину с детьми на вокзале! — вдруг спросил Штрум.

— Жалко её, так и стоит перед глазами, — сказал Постоев, снимая с полки чемодан, и тоном серьёзности и искренности, которым говорит человек, понявший душевное состояние собеседника, добавил — Да, тяжело, тяжело, дорогой мой Нахмурившись, он проговорил» — Как вы относитесь к тому, чтобы закусить! Вот жареная курица

— Отношусь вполне одобрительно, — ответил Штрум. Поезд подошёл к мосту через Волгу, захрохотал, как телега, выехавшая с проселка на булыжную мостовую.

Внизу лежала Волга, рябая от ветра, в песчаных отмелях: непонятно было, в какую сторону она течёт. Сверху река казалась некрасивой, серой, мутной. На холмиках и в лощинах стояли длинноствольные зенитные пушки, среди окопчиков шли два красноармейца с котелками, не оборачиваясь в сторону поезда.

— По теории вероятности, немецкому лётчику угодить бомбой в наш мост с летящего на большой высоте и на большой скорости самолёта да ещё при порывистом, переменном ветре — безнадёжное дело. Поэтому безопасней всего во время бомбёжки на стратегических мостах, — сказал Постоев. — Но вот как бы нам не попасть под бомбёжку в Москве; откровенно говоря, не хочется даже думать об этом. — Постоев поглядел на реку, задумался и проговорил: — Немцы приближаются к Дону, идут к Сталинграду. Неужели они вот так будут смотреть на Волгу, как мы с вами на неё смотрим? Кровь леденеет...

В купе у соседей баян заиграл «Из-за острова на стрежень. ..» Видимо, там тоже после переезда через мост говорили о Волге.

Поговорив о детях и казанских событиях. Постоев сказал:

— Я обычно наблюдал своих спутников в дороге и заметил: от Казани до Муромы говорят о домашних, казанских делах. В Муроме происходит перелом, и уже разговор идёт о том, что будет в Москве, а не о том, что осталось в Казани. Человек в поездке, как тело, движущееся в пространстве, сперва испытывает притяжение одной системы, потом переходит в сферу притяжения другой. Вы сможете это на мне проверить. Похоже, что я сейчас усну, а когда проснусь, буду, наверное, говорить о московских делах.

И он действительно уснул. Штрума удивило, что спал он, как ребёнок, совершенно беззвучно — казалось, что человек такого богатырского телосложения должен мощно храпеть во сне.

Штрум смотрел в окно, и волнение всё больше охватывало его. Это была первая поездка Штрума после того, как он в сентябре 1941 года уехал из Москвы. И событие, такое ординарное в мирное время, потрясало: он ехал в Москву!

И оттого, что в поезде как-то поблёкли казанские житейские волнения и тревоги, оттого, что вдруг разрядилось постоянное рабочее напряжение мысли, не оставлявшее его ни дома, ни на улице, Штрум не успокоился, как обычно это случалось в долгой и удобной дороге. Другие чувства и другие мысли, те, что вытеснялись в каждодневной работе, в семейных и житейских заботах, поднялись в нём.

И он даже растерялся — такими сильными и властными оказались эти недодуманные мысли и недочувствованные чувства. Каким застала его война, ждал ли он её? Он думал об академике Чепыжине, вспомнил о профессоре Максимове, о котором вечером рассказывала Надя, с ним были связаны воспоминания последних мирных недель.

Вот прошёл год, самый длинный год в его жизни, он снова едет в Москву! Но ведь на сердце по-прежнему тревожно, и по-прежнему мрачные сводки, и война уже подходит к Дону.

Потом Штрум думал о матери. Ведь всегда, когда он говорил себе, что мать погибла, то говорил это так, не из души, а так... Он закрыл глаза и старался представить себе её лицо.

Странно, но лица самых близких людей труднее представить себе, чем лица отдалённых знакомых. Поезд идёт в Москву. Он едет в Москву! И с внезапной радостной уверенностью Штрум подумал, что мать жива, что они непременно увидятся.

Анна Семёновна жила до войны в зелёном, тихом городке на Украине. Она работала в поликлинике, принимала больных глазами болезнями. В письмах сыну она писала о родственниках, о своих больных, писала о прочитанных книгах... Под окном у неё росла старая груша, и Анна Семёновна сообщала сыну все обстоятельства жизни дерева — о сломанных зимой ветвях, о появившихся почках, листьях. Осенью она писала ему: «Увижу ли снова мою старую подругу в цвету листья желтеют и опадают».

В марте 1941 года она писала: стало не по времени тепло, прилетели аисты, множество их всегда жило в этих краях. В день их прилёта резко испортилась погода, и на ночлег они, точно чуя недоброе, сбились все вместе, в парке на окраине города. В ночь началась метель, и аисты десятками гибли, многие, полумёртвые, обезумевшие, шагаясь, выходили на шоссе, видимо, ища помощи у людей. Модочница рассказывает, что вдоль шоссе лежат окоченевшие птицы.

Письмо матери было странным, полным тревоги. В том же письме мать писала, что хочет летом обязательно приехать, ей всё кажется, что война неминуема, каждый раз она со страхом включает радио «Я лежу ночью в постели, смотрю в темноту и думаю, думаю...»

Вскоре она написала ему, что пришло настоящее тепло. Письмо было спокойное, шутливое.

Штрум ждал мать к себе на дачу в начале июля, но война помешала её приезду. Последняя открытка, полученная им, была послана Анной Семёновной 30 июня. В этой открытке мать писала лишь несколько строк, видимо, намекала на воздушную бомбардировку: «По несколько раз в день сильно волнуюсь. Но что будет со всеми, то будет и со мной». В приписке, сделанной дрожащими буквами, она просила передать привет Людмиле и Толе, спрашивала о Наде, просила поцеловать «её милые, грустные глаза» И снова мысли Штрума возвращались к тому времени, когда втайне вызревала война, и ему хотелось соединить, связать огромные события мировой истории со своей жизнью, со своими волнениями, привязанностями, болью.

Тогда, в предвоенные дни, уже было очевидно, что победа над десятью западноевропейскими государствами далась Гитлеру почти даром, сила его войск не была растрочена. Огромные сухопутные армии концентрировались на востоке Европы. Рождались версии всё новых политических и военных комбинаций. В эфире передавались слова Гитлера о том, что судьба Германии и мира ныне решается на тысячу лет.

В семейном кругу, в домах отдыха, в учреждениях люди говорили о политике и войне. Пришла грозная пора, когда мировые события слились с личной судьбой людей, ворвались в жизнь, и даже такие вопросы, как летняя поездка на морское побережье, покупка мебели либо зимнего пальто, решались в зависимости от военных сводок и опубликованных в газетах речей и договоров. Люди часто ссорились, переоценивали сложившиеся отношения. Особенно много споров происходило по поводу силы Германии и отношения к этой силе.

В ту пору вернулся из научной командировки Максимов — профессор-биохимик. Он побывал в Чехословакии, Австрии. Штрум относился к нему без особой симпатии. Румяный и седой Максимов с округлыми движениями, тихой речью казался робким, безвольным, прекраснотдушным. «С его улыбкой можно чай пить внакладку, — говорил Штрум, — две улыбки на стакан».

Максимов делал доклад на небольшом собрании профессуры. Он почти ничего не оказал о научной стороне своей поездки, больше говорил о впечатлениях, о беседах с учёными, описывал жизнь в городах, оккупированных немцами.

Когда он заговорил о положении науки в Чехословакии, голос его задрожал, и он вдруг крикнул:

— Это нельзя рассказать, это надо видеть! Люди боятся своей собственной тени, товарищей по работе, профессора боятся студентов. Мысли, душевная жизнь, семейные и

дружеские узы — всё под контролем фашизма. Мой товарищ, с которым я когда-то учился, — мы вместе за одним столом отработывали восемнадцать синтезов по органической химии, нас связывает тридцать лет дружбы, — умолял меня ни о чем не расспрашивать его. Его охватывал ужас при одном предположении о том, что я буду ссылаться на его рассказы, и гестапо разгадает, о ком идёт речь, если я даже и не буду называть ни фамилии его, ни города, ни университета. В науке царствует фашизм. Его теории ужасны, а завтра они станут практикой. Да, они уже стали практикой. Ведь там серьёзно говорят о селекции, о стерилизации, мне один врач рассказывал об убийстве душевнобольных и туберкулёзных. Это полное помрачение душ и умов. Слова «свобода», «совесть», «сострадание» преследуются, их запрещено говорить детям, писать в частных письмах. Таковы фашисты. Будь они прокляты!

Последние слова он прокричал и, взмахнув рукой, ударил с силой кулаком по столу, ударил так, как может ударить взбешенный волжский матрос, а не тихоголосый профессор с седой головой и приятной улыбкой.

Выступление его произвело большое впечатление.

Штрум сказал:

— Вы, Иван Иванович, обязаны, это ваш долг, записать все ваши впечатления и опубликовать их...

Кто-то тихо сказал тоном, каким говорят взрослые с детьми:

— Всё это не ново, и такие воспоминания вряд ли сейчас следует печатать, в наших интересах укреплять политику мира, а не расшатывать её.

В воскресенье 15 июня 1941 года Штрум с семьёй поехал на дачу.

После обеда Штрум с Надей и Толей сидели на скамейке в саду.

Надя, прислушавшись к скрипу калитки, радостно крикнула:

— Кто-то пришёл! А, Максимов!

Максимов видел, что Штрум рад ему, но с тревогой спросил:

— Не помешал ли я? Может быть, вы собирались отдохнуть?

Затем он пытался выяснить, не нарушил ли его приход прогулки, не собирался ли Штрум в гости.

Наконец, Максимов сказал:

— Помните ваше пожелание, высказанное после моего сообщения? Мне хочется посоветоваться с вами, почему бы действительно не написать?

Но в это время в сад сошла Людмила Николаевна, и Иван Иванович стал длинно здороваться, снова извинялся за вторжение и отказывался пить чай, боясь утруждать хозяйку.

После чая Людмила Николаевна повела Ивана Ивановича смотреть на яблоньку, приносящую ежегодно до пятисот яблок, она ездила за этим деревцем в Юхнов, к одному старику мичуринцу.

Разговор, видимо, увлёк их обоих. Так и не состоялась беседа о фашизме. Иван Иванович обещал прийти в следующее воскресенье.

— Вот, ребята, — сказал Виктор Павлович детям, когда Максимов ушёл, — куда этому доброму и деликатному дяде деваться теперь, в «штурм унд дранг периоде»?

Но в следующее воскресенье Виктор Павлович в поднявшемся вихре уже не помнил о Максимове.

Через месяц после начала войны кто-то из знакомых сказал ему, что Иван Иванович в свои пятьдесят четыре года оставил кафедру и записался в дивизию московского ополчения, ушёл рядовым на фронт.

Забудутся ли те июньские и июльские дни? Бумажный пепел носился над улицами: то сжигались старые архивы наркоматов и трестов. Вечернее небо было загадочно и тихо, томительно шли ночные часы в ожидании утреннего света... И первая шестичасовая, утренняя сводка всегда была полна тяжёлых сообщений.

Теперь, спустя год, в вагоне, везущем его в Москву, Штрум вспоминал навсегда

вошедшие в память слова первой сводки Главного командования Красной Армии.

«С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Чёрного моря.»

А 23 июня в сводке сообщалось о боях от Балтийского до Чёрного моря — на Шауляйском, Каунасском, Гродненско-Волковском, Кобринском, Владимир-Волынском, Бродском направлениях.

А потом каждый день в сводке появлялось новое направление, и дома, и на улице, и в институте люди говорили:

«Сегодня опять новое направление». Штрум, сопоставляя, мучительно думал: «Как понять, что бои идут в районе Вильно — восточнее ли, западнее ли Вильно?» Он вглядывался в карту, в газетную страницу...

В сводке сообщалось, что за три дня советская авиация потеряла 374 самолёта, а противник потерял 381 самолёт... И он снова вчитывался в эти цифры, пытался выжать из них разгадку грядущего хода войны.

В Финском заливе потоплена подводная лодка... ага! Пленный лётчик заявил: «Война надоела, за что дерёмся, не знаем...» Немецкий солдат добровольно сдался в плен и написал листовку с призывом свергнуть режим Гитлера... Пленные немецкие солдаты заявили: «Перед самым боем нам дают водку...»

Лихорадочная радость охватывала его, казалось, ещё день, ещё два — и движение немцев замедлится, остановится, их отбросят...

26 июня в сводке вдруг появилось новое — Минское направление. На этом направлении просочились танки противника. А 28 июня сообщалось, что на Луцком направлении развернулись крупные танковые бои, в которых участвуют с обеих сторон до 4 000 танков. А 29-го Штрум прочёл, что противник пытается прорваться на Новоград-Волынском и Шепетовском направлениях, прочёл о боях на Двинском направлении. Прошёл слух, что Минск занят и немцы идут по Минской автостраде на Смоленск.

Штрум затосковал. Он уже не подсчитывал сбитые за день самолёты и уничтоженные танки, не объяснял своим домашним и сотрудникам, что немцев остановят на старой границе, не подсчитывал количество горючего, потребляемого немецкими танками за день, и не делил на эту цифру предполагаемые запасы бензина и нефти, бывшие у немцев.

Он напряжённо ждал вот-вот появится в сводке Смоленское направление, а за ним Вяземское. Он смотрел на лица жены, детей, своих товарищей по работе, на лица незнакомых людей на улице и думал: «Что же с нами всеми будет!»

Вечером в среду 2 июля Виктор Павлович с женой поехали на дачу — Людмила Николаевна решила привезти в город нужные вещи.

Они молча сидели в саду, воздух был прохладен, в сумерках светлели цветы. Казалось, не две недели, а вечность лежала между тем мирным воскресеньем и этим вечером Штрум сказал жене:

— Странно, но я то и дело думаю о своем масс-спектрометре и об исследованиях позитронов. Почему и для чего это? Ведь дико.. Инерция? Или я одержим манией?

Она ничего не ответила, и они снова молча смотрели в темноту.

— Ты о чем думаешь! — спросил Штрум.

— Я думаю всё об одном, — сказала она, — о Толе, его скоро призовут.

Он нашёл в темноте руку жены и пожал её. Ночью ему приснилось, что он вошел в какую то комнату, заваленную подушками, сброшенными на пол простынями, подошел к креслу, ещё, казалось, хранившему тепло сидевшего в нём недавно человека. Комната была пустой, видимо, жильцы внезапно ушли из нее среди ночи. Он долго смотрел на полусвесившийся с кресла платок — и вдруг понял, что в этом кресле спала его мать. Сейчас оно стояло пустым, в пустой комнате...

Рано утром Виктор Павлович спустился на первый этаж, снял маскировку, открыл окно и включил репродуктор. Среди негромкого потрескивания он услышал торжественный,

настойчивый и медленный голос диктора:

— Говорят все радиостанции Советского Союза Штрум, понимая, что сейчас произойдет нечто чрезвычайное, бросился к лестнице.

— Людмила, Людмила! — звал он, поспешно поднимаясь по ступеням и отмахиваясь от яркого утреннего солнца.

Но в это время опять послышался голос диктора, и Штрум быстро спустился вниз. Он вошёл в комнату и вдруг услышал медленный голос и с первого слова узнал его. говорил Сталин.

— Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!

Голос звучал ровно, негромко, но то не был спокойный голос И именно в негромкой, ровной и сдержанной неторопливости его сказывалось высшее волнение, владевшее мужественным и сильным человеком.

— К вам обращаюсь я, друзья мои! — сказал Сталин. И вдруг стало тихо, и такое напряжение было в этой тишине, какого, вероятно, никогда не знала Россия за всю историю свою. Ясно было слышно, как Сталин наливал воду в стакан.

Сталин начал говорить.

— Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, — продолжается, — сказал он. — Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперёд, бросая на фронт новые силы.

— Гитлеровским войскам удалось захватить, — говорил Сталин, — Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины... — И Сталин медленно, негромко перечислял все тяжкие потери первых десяти дней войны, как бы соединил вместе, обвёл чертой те цветные стрелки, кружочки, крестики, которые Штрум расставлял на карте после утренних и вечерних оперативных сводок, которые он рассматривал ночью, вскакивая с постели.

— Над нашей Родиной нависла серьёзная опасность... — сказал Сталин и вдруг спросил: — Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками...

Штрум сам сотни раз задавал себе этот вопрос, себе и близким своим. Он никогда не верил в силу фашизма. Но эти страшные десять дней, эти круглосуточно идущие на запад эшелоны с войсками и орудиями, эти огромные силы, брошенные на врага, и, несмотря на это, потеря Литвы и многих областей, районов, сотен городов и сёл Неужели немцы сильней, неужели непобедимы?

И Сталин прямо задал этот вопрос:

— Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты?

На мгновение у Штрума захватило дыхание, он ещё ближе придвинулся к репродуктору. Что скажет сейчас Сталин, как ответит на этот вопрос? И именно в этот миг Сталин сказал.

— Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало.

«Конечно, нет!» — сказал Сталин, выразив в этих словах всю силу своей душевной убеждённости.

Эти просто произнесенные слова помогали взглянуть в будущее сквозь густую пыль, поднятую миллионами сапог вторгшихся в Советский Союз фашистских солдат И в этой убежденности было не только понимание закона войны, не только презрение к авантюристу, вздумавшему преградить пути человеческой истории, — в этой убежденности была вера в силу народной воли к свободе, в ту боевую и трудовую силу, которая и определяла будущее мира.

Штрум оглянулся, испытывая желание разделить с кем-нибудь свое чувство, и увидел,

что он не один. В дверях стояла Людмила Николаевна, а с улицы к открытому окну подошли несколько человек сторож Семён, водитель Василий Николаевич, два молодых парня — рабочие военного завода с противогазами на боку — и отец этих парней, сурового вида седой человек, председатель поселкового совета, и красно армеец с зеленым мешком за плечами, видимо спешивший к утреннему поезду, и пожилая колхозница с молочным бидоном в руке.

И у них у всех — и у сурового, седого человека, и у Людмилы, и у старухи колхозницы, и у широколобых молодых рабочих, и у красноносого старика Семёна, и у рослого светлоглазого красавца красноармейца — было одно и то же напряжённое и сосредоточенное выражение лица.

Сталин сказал:

— Дело идёт, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными, или впасть в порабощение.

Он заговорил о том, какие задачи стоят перед армией, перед лётчиками, перед рабочими и колхозниками, перед интеллигенцией. Он призывал бороться с паникерами и дезертирами.

Он обратился с призывом уводить скот, вывозить паровозы, вагоны, горючее, хлеб из угрожаемых районов и уничтожать, сжигать всё, что не удастся вывезти.

И то, что он говорил, было жизненно необходимо и для старухи крестьянки, проводившей вчера на фронт сына, и для тех, кто слушал его в колхозе за Днепром, под приближающийся грохот немецкой артиллерии, и для жены профессора, стоявшей у входа на дачную террасу, и для красноармейцев, высаживающихся из эшелона на вокзале в Смоленске, и для молодых матерей в родильном доме, и для маршалов Ворошилова, Тимошенко, Будённого, командовавших войсками на северо-западе, западе и юге, и для старика сторожа Семёна.

Сталин сказал:

— Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск...

И он назвал эту войну всенародной Отечественной войной... Теперь, через год, сидя у окна в скором поезде, Штрум вспоминал это утро. За этот год Штруму пришлось испытать многое — и тоску, и тревогу, и душевную боль. Но после сталинской речи он уже ни разу не переживал душевного смятения, силу которого познал в первые десять дней войны.

Они приехали в Москву перед вечером. Город в этот час был полон печальной и тревожной прелести Москва не боролась с приходом тьмы, не зажигала в окнах огней, не освещала фонарями свои площади и улицы Город плавно переходил от сумерек ко тьме, так отходят к ночи долины и горы. Уж никто в пору мира не увидит, если не видел этого в те летние вечера, каким было вечернее небо над затемнённой Москвой, как спокойно и уверенно ложился сумрак на стены домов и становились невидимы тротуары и асфальт площадей. Мирно блестела при луне вода у обтесанных камней Кремлёвской набережной, совершенно так же, как блестит при луне поросшая камышом робкая сельская речушка Бульвары, городские сады и скверы казались ночью дремучими без тропинок и дорог. Ни один даже слабый луч городского света не нарушал неторопливую работу вечера. А в пепельно-синем небе тихо белели аэростаты, и минутами казалось, что это серебристые ночные облака

— Какое странное небо, — сказал: Штрум, шагая по платформе Казанского вокзала.

— Да, небо странное, — сказал: Постоев, — но более странно будет, если за нами пришлют как обещали, машину.

Публика расходилась быстро и молча, это пришёл в Москву поезд военной поры — на перрон не вышли встречающие, а среди приехавших не видно было детей и женщин. В большинстве из вагонов выходили военные в плащах и шинелях, с заплечными зелёными

мешками Торопливо и молча шагали они, поглядывая на небо

В гостинице «Москва» Постоев попросил у дежурной комнату не выше четвёртого этажа

— Теперь все хотят не выше четвёртого, — улыбаясь, проговорила дежурная, все не любят бомбёжки.

Постоев шутливо сказал:

— Что вы, я-то как раз люблю бомбёжки. В коридоре встретилось им много военных, несколько красивых женщин. Все оглядывали седого богатыря Постоева.

Из полуприкрытых дверей слышались громкие голоса, иногда звуки баяна. Седые официанты носили подносы с незатейливой едой: сорок второго года каша и картофель; скромность еды подчеркивалась блеском массивных никелированных судков.

— Ох, — сказал, отдуваясь, Постоев, — а ведь, знаете, в воздухе гостиницы всегда содержится какой-то микроб студенческого легкомыслия, чёрт знает, что в голову лезет.

Ночью, несмотря на усталость, они долго не могли уснуть, но разговаривать не хотелось — оба читали. Постоев вставал, ходил по комнате, принимал лекарства.

— Вы не спите? — спросил: он тихо — Что-то мне на сердце тяжело, ведь я в Москве родился, на Воронцовом поле, в Москве вся моя жизнь, всё близкое и дорогое. И отец и мать на Ваганьковском похоронены, и я бы хотел с ними рядом я ведь старик... а гитлеровцы всё прут, проклятые.

Утром Штрум раздумал ехать вместе с Постоевым в комитет, решил пешком пройти к себе домой и оттуда в институт.

— К двум часам я буду в комитете, позвоните мне, а сейчас поеду в наркоматы, — сказал: Постоев.

Он был оживлен, с веселыми глазами, радовался предстоящим деловым встречам, казалось, не он ночью говорил о войне и смерти, о старости.

Штрум пошёл на телеграф — отправить телеграмму Людмиле Николаевне. Он шел по улице Горького, мимо забитых досками и заложённых мешками витрин, по просторному пустынному тротуару.

Отправив телеграмму, он снова спустился к Охотному ряду, решив пешком пройти через Каменный мост, по Якиманке, к Калужской площади.

По Красной площади проходила красноармейская часть.

И мгновенное чувство заставило Штрума связать воедино громаду Красной площади, Ленинский мавзолей, величественную стену и башни Кремля, и ту прошлогоднюю осень, когда он, казалось, навеки прощался с Москвой, стоя на площадке вагона, и это сегодняшнее небо, и лица солдат, утомлённые и строгие.

Часы на башне пробили десять.

Он шёл по улицам, и каждая мелочь, каждая новая подробность волновали его. Он смотрел на окна с наклеенными синими бумажными полосами, на разрушенный бомбёжкой дом, обнесённый деревянным забором, на баррикады из сосновых бревен и мешков с землёй, с щелями для орудий и пулеметов, смотрел на высокие, блестящие стёклами новые дома, на старые дома с облупившейся местами штукатуркой, на надписи, подчёркнутые яркой белой стрелой — «бомбоубежище»

Он смотрел на поредевшую толпу прифронтовой Москвы — много военных, много женщин в сапогах и гимнастёрках, смотрел на полупустые трамвайные вагоны, на быстрые военные грузовики с красноармейцами, на легковые машины в зеленых, черных пятнах и запятых — у некоторых стёкла были пробиты пулями.

Он смотрел на молчаливых женщин в очередях, на детей, играющих в сквериках и во дворах, и ему казалось — все знают, что он лишь вчера приехал из Казани и не провёл вместе с ними жестокую холодную московскую зиму...

Пока он возился с замком, приоткрылась дверь соседней квартиры, выглянуло оживлённое лицо молодой женщины, смеющийся и одновременно строгий голос спросил:

— Вы кто?

— Я? Хозяин, должно быть, — ответил Штрум.

Он вошел в переднюю и вдохнул затхлый, душный воздух.

Всё в квартире осталось таким, как в день отъезда. Только кусок хлеба, оставленный на обеденном столе, порос пушистой бело-зелёной плесенью, а рояль стал серым, седым от пыли, и книжные полки поседели, запылились. Надины белые летние туфельки выглядывали из-под кровати, в углу лежали Толины гимнастические гири.

Да, всё вызывало грусть: и то, что оставалось неизменным, и то, что изменилось.

Штрум открыл буфет, и в тёмном углу нащупал бутылку вина, взял со стола стакан, отыскал пробочник. Он обтёр платком пыль с бутылки и стакана, выпил вина, закурил папиросу.

Он редко пил, и вино сильно на него подействовало, комната показалась светлой и нарядной, сразу перестала чувствоваться пыльная духота воздуха.

Он сел за рояль и осторожно, раздумывая, попробовал клавиатуру, прислушался к звуку...

Кружилась голова, и ему было одновременно весело и грустно от возвращения в свой дом — необычайное чувство возвращения и заброшенности, чувство семьи и одиночества, связанности и свободы.

Все было прежним, привычным, знакомым, и всё было новым, непривычным, незнакомым. И он себе самому казался другим, не таким, каким он знал и понимал себя.

Штрум подумал: «Слышит ли соседка музыку?» Кто она? Такая, молодая женщина с весёлыми глазами, выглянувшая из двери квартиры профессора Меньшова? Ведь Меньшовы эвакуировались ещё в июле 1941 года.

Но когда Штрум перестал играть, он почувствовал беспокойство — тишина угнетала его. Он забеспокоился, обошёл все комнаты, вышел на кухню, стал собираться.

На улице он встретил управдома, поговорил с ним о прошедшей холодной зиме, о лопнувших трубах отопления, об оплате жировок, о пустующих квартирах и спросил:

— Кстати, кто это у Меньшовых живёт? Ведь они все в Омске?

Управдом ответил ему:

— Вы не беспокойтесь, это их знакомая из Омска по делам приехала в Москву, я её на две недели временно прописал, на днях она уедет. — И внезапно, повернув к Штруму своё морщинистое лицо, плутовски подмигнул и сказал: — А ведь красавица, ей-богу, а, Виктор Павлович? — Потом он рассмеялся: — Жаль, Людмила Николаевна не приехала. Мы тут часто с дворниками вспоминаем, как вместе с ней зажигалки тушили.

Штрум шёл в сторону института и вдруг подумал: «Эх, перевезу-ка я чемодан домой, поживу дома».

Но едва он подошёл к институту, едва увидел знакомый газон, скамейку, тополя, липы во дворе, окна своего кабинета и своей лаборатории, он забыл обо всём.

Он знал, что институт не пострадал от бомб.

Всё хозяйство «главного» второго этажа, где находилась лаборатория Штрума, оставалось на попечении старшего лаборанта Анны Степановны.

Это была пожилая женщина, единственный старший лаборант, не имевший специального образования. Незадолго до войны, при рассмотрении штатов, встал вопрос о замене её работником с высшим образованием. Но и Штрум и Соколов возражали против замены — и Анну Степановну оставили.

Сторож сказал: Штруму, что Анна Степановна держит ключи от комнат второго этажа при себе, но дверь в лабораторию оказалась не запертой.

Летнее солнце освещало лабораторный зал. Стёкла в огромных, широких окнах сверкали, и вся лаборатория сияла никелем, стеклом, медью; не сразу замечалось отсутствие наиболее ценной аппаратуры, вывезенной прошлой осенью в Казань и Свердловск. Штрум стоял у двери, прислонившись к стене, и разглядывал оконные стёкла без единой пылинки, начищенный паркет, благородный нежный металл аппаратуры, дышавший здоровьем и опрятностью. Он увидел на стене вычерченную контрольную кривую годовой температуры,

ни разу не упавшую в зимние месяцы ниже 10 С.

Он увидел свой вакуум-насос под колоколом и измерительную аппаратуру, боявшуюся влажности, в стеклянном шкафу, со свеженасыпанным гранулированным хлористым кальцием. Увидел, что электромотор на массивной станине смонтирован именно там, где Штрум собирался его установить перед войной.

Он услышал негромкие, быстрые шаги и оглянулся.

— Виктор Павлович! — крикнула бежавшая к нему женщина.

Штрум посмотрел на Анну Степановну, и его поразило, как изменилась она! И тут же он подумал — как неизменно осталось всё то, что доверили ей хранить.

Волнуясь, Штрум зажёл спичку, стал раскуривать непотухшую папиросу. Она сильно поседела, ранее полное, розовое лицо её осунулось, и цвет кожи у неё стал серый, а большой, ясный лоб её был накрест пересечен двумя морщинами.

Без слов понятно было то, что сделала Анна Степановна в эту зиму, какие же слова мог сказать он ей — поблагодарить от имени института, профессуры или даже от имени президента академии?

Он молча поцеловал ей руку.

Она обняла его и поцеловала в губы.

Потом они об руку ходили по залу, говорили, смеялись, а в дверях стоял старик сторож и, глядя на них, улыбался.

Они прошли в кабинет Штрума.

— Как вам удалось перенести станину с первого этажа, ведь для этого нужно по крайней мере шесть-восемь сильных мужчин? — спросил: он.

— Это-то проще всего, — сказала: Анна Степановна, — у нас в сквере артиллерийская батарея зимой стояла, зенитчики мне помогли. Вот шесть тонн угля на салазках перевезти через двор — это, действительно, трудно было.

Потом старик Александр Матвеевич, институтский ночной сторож, принёс чайник кипятку, а Анна Степановна вынула из сумки маленький бумажный пакетик со слипшимися в ком красными карамельками, нарезала на газетном листе квадратными тонкими ломтиками хлеб, и эти втроём в кабинете Штрума пили чай из мерных химических стаканов и беседовали.

Анна Степановна угощала Штрума и говорила:

— Виктор Павлович, вы не стесняйтесь, кушайте конфеты. Как раз утром по энеровским карточкам отоварили сахарный талон.

А старик Александр Матвеевич, собрав своими прокуреными, тёмными и в то же время бескровными, бледными пальцами хлебные крошки с газетного листа, медленно, вдумчиво сжевал их и скачал!

— Да-а, знаешь, Виктор Павлович, старому человеку в эту зиму трудно пришлось, хорошо ещё — бойцы поддержали. — Потом, спохватившись, что Штрум может принять за намёк этот разговор о трудностях и постесняется кушать хлеб и конфеты, он добавил:

— Теперь-то ничего, легче, и мне в этом месяце по служащей карточке сахар дадут.

Штрум, наблюдая, как Анна Степановна и Александр Матвеевич бережно брали в руки хлебные квадратики, какие у них при этом были тихие движения и как серьёзно и важно жевали они, по одному этому понимал, какую трудную зиму пережили они в Москве.

Попив чаю, Штрум с Анной Степановной вновь обходили лаборатории и кабинеты и разговаривали о работе.

Анна Степановна стала рассуждать о плане работ, который она читала зимой, когда директором ещё был Сухов.

— О, Сухов, Сухов, мы с Петром Лаврентьевичем перед моим отъездом в Казани вспоминали, как Сухов приезжал беседовать по поводу плана, — оказал Штрум.

Анна Степановна стала рассказывать о зимних встречах с Суховым.

— Зимой я в комитет пришла, просить угля. Как он меня сердечно, мило встретил! Было, конечно, очень приятно, но в нём какое-то чувствовалось административное уныние, я

даже подумала — плохо наше дело. А весной я столкнулась с ним у входа в главный корпус, подошла и сразу вижу — уж не тот, зимний, взор скользит, движения плавные, холодок, но, представьте, я обрадовалась, подумала — дела выправляются.

— Нет, у самого Ивана Дмитриевича дела уже не выправятся, — сказал: Штрум — А телефон у нас, кстати, работает?

— Конечно, работает.

— Ну, господи благослови, — и Штрум стал набирать номер телефона. Он всё откладывал разговор с вызвавшим его начальством, хотя ещё в поезде несколько раз открывал записную книжку и глядел на цифры телефонного номера. И сейчас, когда в трубке загудело, он снова заволновался, и ему захотелось, чтобы трубку сняла секретарша и сказала: «Пименов уехал, вернётся через три дня».

Но в эту минуту он услышал голос Пименова.

Анна Степановна сразу поняла это по серьёзному и напряжённому лицу Штрума.

Пименов обрадовался, стал расспрашивать, как ехал Штрум и удобно ли ему в гостинице, оказал, что сам бы приехал к Штруму, но не хочет нарушить его первое свидание с лабораторией. И, наконец, произнёс те слова, которые Штрум с волнением ждал и не надеялся услышать.

— Средства для работы академией отпущены полностью, — сказал: Пименов, это отнесится ко всем нашим институтам, в частности и к вашей лаборатории, Виктор Павлович... Ваши темы одобрены... Ваш научный план одобрил также академик Чепыжин. Кстати, мы ждём его приезда из Свердловска. Вот только по одному вопросу возникло сомнение — удастся ли вам добиться нужных вам сортов металла для экспериментальной аппаратуры.

Окончив разговор, Штрум подошёл к Анне Степановне и, взяв её за руки, сказал:

— Москва, великая Москва. И она, смеясь, сказала ему:

— Вот как мы вас встретили.

Летом 1942 года Москва жила особенной жизнью.

Мценск на юге от Москвы, Вязьма на западе, а Ржев на северо-западе были в руках у немцев. Курская, Орловская, Смоленская области лежали в тылу центральной группы войск генерал-фельдмаршала Клюгге. Четыре пехотные и две танковые немецкие армии со всеми тылами, обозами, службами находились на расстоянии пятидневного пешего марша от Красной площади. Кремля, от Института Ленина, от Большого и Художественного театров, от автозавода имени Сталина, от московских школ, родильных домов, от Разгуляя, Черёмушек, Садовников, памятников Пушкину и Тимирязеву...

Но получилось так: чем глубже вклинивались немецкие армии на юго-востоке, тем дальше уходила война от Москвы, тем тише, неподвижной становился фронт под Москвой.

Многие дни и недели над Москвой не появлялись немецкие бомбардировщики, жители перестали обращать внимание на гудящие в небе истребители, привыкли к ним настолько, что при короткой тишине в небесах поглядывали вверх: отчего исчез привычный шум...

В трамваях и метро было свободно. На Театральной площади и у Ильинских ворот люди не толкали друг друга даже в самые горячие часы. Девушки — бойцы ПВО — по вечерам деловито и привычно запускали в небо серебристые аэростаты воздушного заграждения на Тверском, Никитском и Гоголевском бульварах и на Чистых прудах.

Но, хотя осенью 1941 года эвакуировались сотни московских учреждений, предприятий, вузов, школ, Москва не опустела. В ней остались те, чьи заводы и учреждения не эвакуировались, остались рабочие, ополченцы, дружинники ПВО, бойцы рабочих истребительных батальонов.

Сильные, самоотверженные рабочие люди, защитники Москвы продолжали работу.

Сила Москвы оказалась неисчерпаемой, вновь задымили заводские трубы, ожили заводские цехи. Рабочая сила москвичей словно удвоилась, её хватило на то, чтобы пустить новые корни на суровой земле новостроек, и на то, чтобы из мощных корней, оставшихся на московской земле, вновь поднялась и зашумела заводская жизнь.

И Москва, дымившая зимой железными трубами, выставленными в отдушины и форточки, Москва баррикад и дневных воздушных налётов, Москва, чьё свинцовое небо освещалось пожарами и зарницами бомбовых взрывов, Москва, хоронившая по ночам трупы убитых во время налётов женщин и детей, — эта Москва летом вдруг стала нарядной, красивой, и на Тверском бульваре, под самый комендантский час, на скамейках сидели парочки, и цветущие липы после тёплого дождя пахли так славно, так сладко, как никогда, кажется, не пахли в мирное время.

На третий день после приезда в Москву Штрум сложил вещи в чемодан и ушёл из гостиницы, где имелась в ванной горячая вода и где каждый день желающие могли получить вино и водку.

Дома он раскрыл окна и пошёл на кухню, чтобы развести водой высохшие в чернильнице чернила, — из крана лениво потекла рыжая жидкость, и он долго ждал, пока струя очистится.

После этого он сел писать открытку жене, потом принялся за письмо Соколову — подробно описывал свои разговоры с Пименовым. По-видимому, через неделю-полторы все довольно многочисленные формальности, связанные с утверждением плана работ, будут закончены.

Штрум надписал адрес на конверте и задумался. Странное чувство возникло у него. В Москве он собирался горячо спорить, доказывать, как важны работы, задуманные им, а оказалось, что спорить не пришлось, все его предложения были приняты.

Он запечатал конверт и стал ходить по комнатам. «Хорошо дома, — подумал он, — правильно, что перебрался сюда». Вскоре он уже сидел за письменным столом и работал.

Время от времени он поднимал голову и прислушивался — какая тишина! И неожиданно Штрум понял — он не тишину слушал, а ждал, не раздастся ли звонок, мало ли что, вдруг соседка, живущая у Меньшова, позвонит, и он скажет: «Посидите со мной, очень уж грустно одному».

А когда работа увлекла его и он, забыв о недавних своих мыслях, быстро писал, склонившись над столом, постучалась соседка и спросила, не сможет ли он одолжить ей две спички, зажечь газ одну на вечер, вторую на утро.

— Одолжить две спички не смогу, но безвозвратно дам вам коробок... Да вы зайдите, зачем стоять в коридоре, — проговорил он.

— Какой вы добрый, — смеясь, сказала: соседка, — спички теперь — дефицит, — и вошла в комнату. Она подняла с пола смятый мужской воротничок, положила его на край стола и проговорила:

— Сколько пыли, какой беспорядок. Когда она нагибалась и мельком, снизу вверх посмотрела на Штрума, лицо её было особенно миловидным.

— Боже мой, у вас рояль, — сказала: она, — вы умеете играть? — Она задавала шуточные вопросы, ей хотелось посмеяться над ним. — Играете, но немного, наверно, чижики? — спросила она.

Он развел руками.

Штрум был неловок и робок с женщинами.

И сейчас ему, как многим застенчивым людям, казалось, что он холодный, житейски опытный, а женщине с ясными глазами в голову не приходит, что она нравится соседу, владельцу спичек, что он смотрит на её тонкие пальцы и на её загорелые ноги в сандалетах на красных каблучках, на её плечи, маленькие ноздри, грудь, волосы.

Он всё не решался спросить, как её имя.

Потом она попросила его поиграть на рояле, и он играл. Сперва вещи, которые ей должны были быть известны: вальс Шопена, мазурку Венявского, затем засопел, затряс головой, заиграл Скрябина, искоса поглядывая на неё. Она слушала внимательно, хмуря брови.

— Где вы учились играть? — спросила она, когда он закрыл крышку рояля, обтёр платком виски и ладони.

Он не ответил на вопрос своей новой знакомой и сам спросил: ее:

— Как вас зовут?

— Нина, — сказала: она, — а вы Виктор, — и указала на лежавшую на столике большую фотографию с надписью: «Виктору Павловичу Штруму — аспиранты Института механики и физики».

— А отчество? — спросил: он.

— Просто Нина, без отчества.

Штрум предложил ей выпить чаю и поужинать с ним. Нина согласилась и посмеивалась, глядя, как неумело хозяйничает Штрум.

— Кто же так хлеб режет? — спрашивала она. — Давайте уж я. Да к чему открывать консервы, и так всего хватает на столе... Пойдите, пойдите, надо стряхнуть пыль со скатерти.

Какая-то особая трогательная прелесть была в милом хозяйничанье этой молодой женщины в большой, пустой квартире.

За ужином Нина рассказала: ему, что она живёт с мужем в Омске, он работает в Райпотребсоюзе. Она приехала в Москву с партией белья для госпиталей из омского швейкомбината, её тут задержали с оформлением и сдачей, через несколько дней она поедет в Калинин, — материалы, которые полагались Омску, по ошибке заслали в Калинин.

— А после этого придётся домой ехать, — сказала: Нина.

— Почему же «придётся»? — спросил: Штрум.

— Почему? — переспросила она и вздохнула: — Вот потому.

Штрум предложил ей выпить вина.

Нина выпила полстакана мадеры, той, которую Людмила Николаевна велела привезти в Казань, и над верхней губой у неё заблестели капельки пота, она стала обмахивать платочком шею и щёки.

— Вы не боитесь, что окно открыто? — спросил: Штрум. — Почему всё же вы сказали: «придётся ехать домой», ведь обычно говорят: «придётся уехать из дому». — Она засмеялась и легонько покачала головой. — Что это за цепочка? спросил: он.

— Это медальон, тут фотография моей покойной мамы. — Она сняла цепочку с шеи, протянула ему: — Хотите посмотреть?

Он посмотрел на маленькую пожелтевшую фотографию пожилой женщины, с головой, по-деревенски повязанной белым платочком, и бережно вернул гостье медальон.

Потом она прошлась по комнате и сказала:

— Боже мой, какая огромная площадь, заблудиться можно.

— Я бы хотел, чтобы вы заблудились здесь, — проговорил он и смутился от своих слишком смело сказанных слов. Но она, видимо, не поняла его.

— Знаете что, — сказала: она, — давайте я вам помогу пыль в комнате вытереть, посуду убрать.

— Что вы, что вы! — испуганно сказал: Штрум.

— А что же тут такого? — удивлённо спросила она.

Она вытерла клеёнку, стала перемывать стаканы и рассказывать.

А Штрум стоял у окна и слушал её.

Какая странная женщина, как не походила она на всех знакомых ему женщин. И как красива! Как это она, не колеблясь, с поразившей Штрума режущей по душе откровенностью, рассказывала о себе, рассказала: о своей покойной матери, о том, какой у неё недобрый муж и как он — виноват перед ней.

В ее словах необъяснимо соединялись ребячество и житейская опытность.

Она рассказала: ему, что её любил один «замечательный парень», техник по монтажу, она работала тогда наладчицей в цехе, и теперь сама не понимает, почему не вышла за него замуж, а незадолго до войны пошла за красивого соседа по квартире, уполномоченного Омского райпищепромсоюза, он сейчас на броне («прижался к броне», — сказала: она).

Нина посмотрела на ручные часики:

— Ну, пора. Спасибо за угощение.
— Вам спасибо, я даже не знаю, как благодарить вас.
— Война, все друг другу помогать должны, — сказала: она.
— Нет, не только за это спасибо. А за чудесный, замечательный вечер. И за ваше доверие ко мне. Поверьте, я очень взволнован тем, что вы так рассказали о себе, — говорил он, приложив руку к груди.

— Вы — странный, — сказала: она и с любопытством посмотрела на него.
— О, я, к сожалению, не странный, — сказал: он, — я самый обыкновенный человек. Необыкновенная вы. Разрешите, я провожу вас? — и он почтительно склонился перед ней.

Она несколько мгновений смотрела ему прямо в глаза, и ресницы её на этот раз не моргали, а глаза стали пристальными, удивлёнными и широкими...

— Какой вы — сказала: она и вздохнула, словно собираясь плакать.

Да, мог ли он подумать, что эта молодая красивая женщина так много пережила. «Но как доверчива и чиста она», — подумал он.

Утром, проходя мимо старухи лифтерши, сидевшей в дачном плетёном кресле, Штрум спросил:

— Как дела, Александра Петровна?

— Дела у всех одни, — ответила она. — Дочка болеет; хотела детей в деревню к сыну отправить, а в четверг письмо от невестки — забрали его в армию. Куда теперь их отправить, у той в деревне у самой двое, девочка постарше и мальчишка совсем мелкий.

В этот день в комитете Штрум узнал о приезде Чепыжина. Секретарша Пименова, шестидесятилетняя, полнотелая старая дева, смотревшая на мужчин, независимо от того, были ли они седыми профессорами или студентами первого курса, осуждающими глазами, сказала: Штруму:

— Виктор Павлович, академик Чепыжин просил вас ждать его — он будет здесь к шести часам вечера.

Она посмотрела на Штрума и строго произнесла:

— Ждать вам надо обязательно, так как он завтра уезжает в Свердловск. После этого она, усмехнувшись, негромко добавила: — И ждать вам придётся долго, так как убеждена, что Дмитрий Петрович опоздает.

Этим она хотела сказать, что и знаменитый академик не лишён слабостей, которые присущи ветреному трудновоспитуемому полу.

Но она, действительно, оказалась права — Чепыжин приехал в начале восьмого, когда кабинеты и комнаты уже опустели и вахтер сурово оглядывал нервно шагавшего по коридору Штрума, а оставшийся на ночное дежурство секретарь пристраивал к письменному столу кресло своего начальника, готовясь без лишней маяты скоротать ночь.

В тот момент, когда Штрум услышал шаги Чепыжина и затем, оглянувшись, увидел в глубине коридора знакомую плотную фигуру, он испытал чувство радости и волнения.

Чепыжин, заметив Штрума, протянул руку и, быстро идя ему навстречу, громко произнес:

— Виктор Павлович, вот мы и встретились. В Москве! Вопросы его были неожиданные, быстрые...

— Как в эвакуации живёте? Трудновато! Обо мне вспоминаете? Как вы тут с Пименовым договорились? Бомбёжек боитесь? Людмила Николаевна этим летом в колхозе не работала?

Слушая ответы Штрума, он слегка склонял голову набок, и под его седыми широкими бровями блестели внимательные, одновременно весёлые и серьёзные глаза.

— План ваш читал, — сказал: он, — действуете вы, мне кажется, в правильном направлении. — Задумавшись, он проговорил негромко: — Сыновья мои в армии, Ванюша ранен был. Ваш то ведь тоже в армии? Бросим-ка мы с вами науки и пойдём на фронт добровольцами? А? — Он вдруг оглядел комнату и сказал: — Душно, пыльно, накурено. Знаете что? Мы до моего дома пешком пройдем. Недалеко. Километра четыре. А там вас

автомобиль подвезёт домой. Согласны?

— Конечно, согласен, — ответил Штрум.

В тихом вечернем сумраке загорелое, обветренное лицо Чепыжина казалось коричнево-тёмным, а светлые большие глаза глядели зорко и пристально Верно, такими были это лицо и глаза, когда Чепыжин по лесной, теряющейся во тьме тропинке спешил во время своих походов к месту ночёвки.

Когда они переходили Трубную площадь, он остановился и внимательно, медленно осмотрел пепельно-голубое вечернее небо. Удивительным был этот долгий, внимательный, хмурый взгляд. Вот оно — небо детских мечтаний, располагавшее к грустному созерцанию, к бездумной печали. Но нет! Небо вселенская лаборатория, где прилагался труд его разума, небо, на которое он смотрел глазами крестьянина, оглядывающего поле, где немало пролито им пота.

Эти первые замерцавшие звёзды, быть может, порождали в его мозгу мысли о протонных взрывах, о фазах и циклах развития, о сверхплотной материи, о космических ливнях и ураганах варитронов, о различных космогонических теориях, о собственной его теории, о приборах, регистрирующих невидимые потоки звёздной энергии...

А быть может, совсем другие мысли возникали в мозгу Чепыжина, когда долгим, хмурым взглядом смотрел он на первые звёзды, мерцавшие в небе.

Быть может, вспомнился ему ночной костёр, потрескивание сучьев, закоптелый котелок, в котором тихонечко вздыхает распаренное пшено, резная чёрная листва над головой?

Или вспомнил он, как ребёнком сидел в тихий вечерний час на коленях у матери я, чувствуя тепло материнского дыхания, тепло материнских ладоней, гладивших его по голове, смотрел, смотрел, дивясь и зевая, на звёзды.

А среди редких звёзд и хрупких оловянных облачков поднялись аэростаты воздушного заграждения, мелькали широкие лучи прожекторов Война, война вторглась в города и на поля русских хлебопашцев, война шла в русском небе...

Они медленно шли и молчали. Штруму хотелось спрашивать, но он не задавал вопросов ни о войне, ни о работах Чепыжина, ни об успехах профессора Степанова, который недавно приезжал к Чепыжину советоваться, ни о том, как Чепыжин относится к работе Штрума, ни о том важном разговоре, который имел Чепыжин в Москве и о котором сегодня днём намекнул Штруму Пименов.

Он понимал, что был ещё один какой-то вопрос, разговор, касавшийся одновременно и войны, и работы, и тоски, жившей в сердце.

Чепыжин вдруг посмотрел на Штрума и сказал:

— Фашизм! А? Что с немцами стало? Когда узнаёшь о средневековом озверении немецких фашистов, оторопь берёт, леденеешь. Выжигают деревни, строят лагеря смерти, организуют массовые убийства военнопленных, невиданные с первобытных времён расправы над мирными людьми! Кажется, всё хорошее исчезло. Кажется, нет там ни честных, ни благородных, ни добрых. А? Возможно ли это? Ведь мы знаем их. И их удивительную науку, и литературу, и музыку, и философию! А их рабочее движение? Откуда столько набралось злодеев? Вот, говорят, переродились, вернее, выродились. Говорят, Гитлер, гитлеризм сделал их такими.

Штрум сказал:

— Да, приходит такая мысль. И Магомет пошёл к горе, и гора пошла к Магомету. Но ведь гитлеризм возник не на пустом месте. Чудовищный шовинизм, «Deutschland, über alles»[«Германия, Германия превыше всего!»] — это не Гитлер первым придумал. Я недавно перечитывав письма Гейне, «Лютеция», — сто лет назад писано об отвратительном, фальшивом немецком национализме, оружии, воюющем, об его идиотской неприязни к соседним и чужеземным народам. А через столетие Ницше стал проповедывать сверхчеловека, белокурого зверя, которому все дозволено. А в четырнадцатом году цвет немецкой науки приветствовал кайзера, войну, вторжение в Бельгию; Оствальд, да что там

Оствальд, там были люди и побольше. И теперь, в пору империализма, Гитлер, идя к власти, знал, что предлагает товар, который не залежится — у него родня и среди промышленников, и в прусском дворянстве, и в офицерстве, и в мещанстве Потребитель нашелся! Кто марширует в полках СС? Кто всю Европу превратил в огромный концлагерь? Кто загнал в душегубки сотни тысяч людей? Фашизм в родстве со всей прошлой германской реакцией, но он особый ее вид, он ужасней всего, что было.

Чепыжин отмахнулся рукой:

— Фашизм силён, но есть предел его власти. Это надо понять. Не беспредельна власть фашизма над людьми! В основном, в общем Гитлер изменил не соотношение, а лишь положение частей в германской жизненной квашне. Весь осадок в народной жизни, неизбежный при капитализме, мусор, дрянь всякая, всё, что таилось и скрывалось, всё это фашизм поднял на поверхность, всё это полезло вверх, в глаза, а доброе, разумное, народное — хлеб жизни — стало уходить вглубь, сделалось невидимым, но продолжает жить, продолжает существовать. Многих, конечно, фашизм душевно исковеркал, испакостил, но народ остаётся Народ останется.

Он оживлённо поглядел на Штрума, взял его за руку и продолжал говорить:

— Вот представьте себе, в каком-нибудь городке имеются люди, известные своей честностью, человечностью, любовью к народу, учёностью, добротой. И уж они были известны каждому старику и ребёнку. Они окрашивали жизнь города, наполняли её — они учили в школах, в университетах, они писали книги, писали в рабочих газетах, в научных журналах, они трудились и боролись за свободу труда. Ясно, их видели с утра до позднего вечера. Они появлялись всюду: на заводах, в лекционных залах, их видели на улицах, в школах, на площадях. Но когда приходила ночь, на улицы выходили другие люди, о них мало кто знал в городе, их жизнь и дела были грязны и тайны, они боялись света, ходили крадучись, во тьме, в тени построек. Но пришло время — и грубая, тёмная сила Гитлера ворвалась в жизнь Людей, освещавших жизнь, стали бросать в лагеря, в тюрьмы. Иные погибали в борьбе, иные затаились. Их уже не видели днём на улицах, на заводах, в школах, на рабочих митингах. Запылали написанные ими книги. Конечно, были в такие, которые изменили, пошли за Гитлером, перекрасившись в коричневый цвет. А те, что таились ночью, вышли на свет, зашумели, заполняли собой и своими ужасными делами мир. И показалось — разум, наука, человечность, честь умерли, исчезли, уничтожились, показалось — народ переродился, стал народом бесчестия и злодейства. Но это, видите, не так! Понимаете, не так! Сила народного разума, народной морали, народного добра в главном, в основном, в целом будет вечно жить, что бы ни делал фашизм для её уничтожения.

И, не дожидаясь ответа, он продолжал:

— И так же отдельные люди. Ведь в человеке намешано всякой всячины, многое в нём под спудом, скрытое, неверное, примитивное, грубое. Часто человек, живущий в нормальных общественных условиях, сам не знает погребов и подвалов своего духа. Но случилась социальная катастрофа, и полезла из подвала всякая нечисть, зашуршала, забегала по чистым светлым комнатам!

Штрум проговорил:

— Дмитрий Петрович, вы говорите — в человеке намешано всякой всячины. Вы сами, своим существованием на этом свете опровергаете эти самые свои слова, всё в вас чисто, ясно, и нет у вас никаких подвалов и погребов. Да, о присутствующих не говорят, но чтобы с вами поспорить, не нужно тревожить память Джордано Бруно и Чернышевского, достаточно оглядеться вокруг, на наших людей. Нет, таким способом нельзя объяснить того, что произошло в Германии! Вы говорите, кучка злодеев во главе с Гитлером ворвалась в немецкую жизнь. Но ведь в истории Германии в решающий час сколько уже раз правила реакция — то Фридрих, то Вильгельм-Фридрих, то Вильгельм.

Значит, тут дело не только в кучке злодеев с Гитлером во главе, тут дело в тех специфических особенностях юнкерства, пруссачества, в особенностях германского империализма, которые выдвигают этих злодеев и обер-злодеев.

Один мой близко знакомый человек, коммунист, он теперь комиссаром на фронте, Крымов, привёл мне как-то слова Маркса о роли реакционных сил в германской истории, я их запомнил — «С нашими пастырями во главе, мы всегда находились в обществе свободы только в одном случае — в день её погребения». И вот реакция в эпоху империализма породила сверхчудовище — Гитлера, и вот тринадцать миллионов немцев сказали ему на выборах: «Да!»

— Сегодня это так. Гитлер победил в Германии. Я понимаю вашу мысль! сказал: Чепыжин. — Но бесспорно и то, что народная мораль, народное добро неистребимы, сильнее, чем Гитлер и его топор. Фашизм будет убит, а человек останется человеком. Всюду — и не только в оккупированной фашистами Европе, но и в самой Германии» Народная мораль! Её мера в свободном, полезном, творческом труде, её существо в утверждении своего равенства в труде, чести, свободе, основанное на уверенности в праве на свободный труд, на равенство, на свободу всех трудовых людей, живущих на земле. Народная мораль проста: святость моего права — в святости права других трудовых людей, живущих на земле. А фашизм, а Гитлер с особой яростью и грубостью — наоборот: моё право во всеобщем бесправии людей и народов, в бесправии всего мира.

— Дмитрий Петрович, да, да, да, вы правы, человек остаётся человеком, фашизм будет убит, без понимания этого, без веры в это жить нельзя. Я верю в прекрасную народную силу вместе с вами, вы один из тех, кто научил меня верить в неё, И я так же, как и вы, знаю, что источник этой силы прежде всего в людях труда, в передовых, прогрессивных, гуманных людях, воспитанных на идеях Маркса, Энгельса, Бебеля, Розы Люксембург, Либкнехта, Тельмана. Но где же, где она, эта сила, в сегодняшней жизни Германии, в практике жизни? — спросил: Штрум. — В практике жизни, когда полчища немцев выжигают нашу страну, деревни, города, поля? Вот о чём душа болит!

— Виктор Павлович, — с укором сказал: Чепыжин, — практика жизни и научная теория никогда не должны расходиться и существовать порознь. Вся история нашей физической науки может быть в общем принципе сведена к движению от внешнего кольца электронов до сферы ядерных протонов и нейтронов. За миллион лет от физики камня к химии и снова к физике, но уже не каменной, а ядерной, за миллион лет Путь в ничтожную долю миллимикрона. И вот может показаться, что для науки нет мира полного труда, горя, крови, рабства, насилия, а есть лишь деяния абстрактного разума, проникающего от внешнего кольца электронов к ядру, а весь горький мир бытия, как дым, приходит и уходит, не оставляя по себе ни следа, ни памяти. Вот если учёному так покажется, то грош цена ему, всей его науке, всей его работе. Наука стоит на пороге открытия гигантских источников энергии. Ими должен владеть народ, иначе истребительная сила, созданная современной наукой, попав в руки фашизма, обратит мир в развалины. Как же можно понимать сегодняшнюю действительность, не вглядываясь вперёд, не стараясь прочесть завтрашнего дня. Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ и немецкое государство остаются... Надо в эти слова вдуматься, это слова Главнокомандующего той армии, которая воюет под лозунгом «Смерть немецким оккупантам!» Но война есть война! И именно поэтому надо понимать, что не правы люди, видящие во временном торжестве фашистского злодейства приход вечного царства гитлеровской тьмы и уж, конечно, вечную гибель германского народа.

Он обвел рукой вокруг головы широкий круг и медленно, торжественно сказал:

— Энергия вечна, что бы ни делали для её уничтожения Энергия солнца, излучённая в пространство, проходит через пустыни мглы, оживает в листе тополя, в живом соке берёзы, она затаилась во внутримолекулярном напряжении кристаллов, в каменном угле Она замешивает опару жизни. И вот такова же духовная энергия народа. И она переходит в скрытое состояние, но уничтожить её нельзя Из скрытого состояния она вновь и вновь собирается в массивные сгустки, излучающие свет и тепло, осмысливает человеческую жизнь. И знаете что? Ведь неистребимость этой силы видна в том, что сами вожди фашистского злодейства и насилия всегда убеждают народы, что они будто бы поборники

общественного добра и справедливости. Главные преступления свои они творят втайне, на опыте знают, что зло рождает не только зло, что оно может не только подавить добро, но и вызвать его. Они бессильны утвердить главную идею фашистского аморализма, утверждающую свою личную, свою расовую, свою государственную свободу путём кровавой войны, путём отрицания личной, расовой, народной свободы других. Они способны временно затемнить, обмануть, опьянить, но они не способны переделать, убедить народную душу.

Штрум, усмехнувшись, сказал:

— Что же, Дмитрий Петрович, без тьмы немислимо ощущение света? Вечность борющегося добра мыслима лишь в вечности зла? Так ли я понял вашу мысль?

Штруму припомнился довоенный разговор с Крымовым, и он оказал:

— Но, Дмитрий Петрович, снова я возражаю вам, возражаю, если позволите, с другого конца — общественные отношения требуют такого же научного исследования, как и мир природы. В законы термодинамики нельзя ведь вводить субъективные ощущения и субъективные представления. Ведь в физике вы всегда проводник великих принципов причинности, объективных закономерностей. А приняв вашу сегодняшнюю схему, невольно станешь не оптимистом, а пессимистом. Эта ваша схема с квашнёй ведь отрицает, по существу, прогресс, движение вперед! Я понимаю, конечно вам кажется, что она ограничивает возможность фашизма менять общественную структуру, калечить человека. А вот схема ваша всё же не верна, ведь её принцип чисто механический, мне кажется, совершенно не применим к объяснению общественных явлений. Приложите эту схему не к фашизму, который сгинет, а к прогрессивным явлениям, к освободительным революциям, и вы увидите, что она сулит застой: ведь по такой схеме и революционная борьба рабочего класса не может изменить общество, не может поднять человека на высшую ступень: лишь изменится положение частей в квашне. Но ведь это не так! Вот за советские годы и страна, и хозяйство, и общество, и люди стали иными. Как ни поворачивай, а уж обратно не повернёшь! А по вашему рассуждению общество — что-то вроде клавиатуры: один играет на этой клавиатуре одну музыку, другой играет другую музыку, а клавиатура остаётся неизменной. Я понимаю ваше благородство, ясное, сильное, и я разделяю ваш оптимизм, вашу веру в человека, в победу над фашизмом. Но в общественной жизни нет возврата к прошлому, это не клавиатура, на которой можно играть много раз одну и ту же песенку. Наша сила в одном — мы преобразуем общество и идём вперед! И дело не только в том, чтобы после победы над фашизмом механически вернуть прежнее, дофашистское положение общественных частей в немецком обществе. Дело в том, чтобы изменить германское общество, глубочайше, органически оздоровить почву, которая рождала войны, жестокости, наконец, родила кошмары гитлеризма.

— Ох, однако, и накинулись вы на меня, — сказал: Чепыжин: — но не я ли учил вас спорить, вот и научил!

— Дмитрий Петрович, — сказал: Штрум, — вы мне простите эту горячность. Но ведь вы знаете лучше меня, что физики вас любят не только за то, что вы авторитет, но и за то, что вы никого не стремитесь подавить авторитетом, что не в начётничестве, а в живом, горячем споре радость совместной работы с вами. Когда я увидел вас, я был бесконечно рад — прежде всего оттого, что люблю вас, я обрадовался оттого, что могу поговорить с вами о самом важном. Но я знал заранее, что не с каменными скрижалями вы придёте ко мне! Я знал заранее, что мы с вами едины в главном, но я знал, что буду спорить с вами, что ни с кем, как с вами, учителем моим, нельзя так горячо и сердито спорить.

— Ладно, ладно, поспорили и ещё поспорим, — проговорил Чепыжин, — то, что вы говорили, — серьёзно, а о серьёзном надо всерьёз подумать.

Чепыжин взял его под руку, и они, оба взволнованные, зашагали быстрым, широким шагом.

Комиссар противотанковой бригады Николай Григорьевич Крымов не спал несколько ночей подряд. Выйдя из боя, бригада получила приказ передвинуться вдоль фронта на

участок, где вновь прорвались подвижные войска противника.

Едва бригада успела занять отведённый участок обороны, как танковая колонна немцев обрушилась на её позиции.

Вон длился четыре часа, после чего немецкие танки изменили направление движения.

Бригада, получив приказ об отходе в район восточной излучины Дона, была внезапно атакована на марше новой немецкой танковой частью и приняла бой в невыгодных условиях.

В этом бою бригада понесла большие потери, и командующий армией приказал ей переправиться через Дон, выйти из района боёв, отремонтировать машины, привести в порядок технику и быть готовой вновь занять оборону на танкоопасном направлении.

Командующий предупредил, что отдых будет предельно коротким, не более двух суток, но даже и половина этого срока не успела пройти, как командир бригады получил новый приказ — немедленно выступать: танковые войска противника прорвались по просёлочным дорогам и устремились на северо-восток.

Это были раскалённые дни начала второй декаднейки июля 1942 года, пожалуй, самые тяжёлые дни в эту тяжёлую пору Отечественной войны.

Ординарец начальника штаба бригады вошёл в просторный и светлый дом председателя станичного совета, где остановился комиссар. Крымов спал на широкой постели, прикрыв лицо от яркого солнца газетой.

Ординарец, собираясь будить Крымова, нерешительно глядел на мерно колышавшийся от дыхания комиссара газетный лист и машинально читал строки из сообщения Совинформбюро: «После ожесточённых боёв в районе Кантемировка...»

Пожилая женщина, хозяйка дома, сказала: вполголоса.

— Да не буди ты его, только-только заснул. Ординарец сокрушённо покачал головой и жалобным шёпотом, жалея Крымова, произнёс:

— Товарищ комиссар, а товарищ комиссар, вас в штаб просят.

Ординарцу казалось, что комиссар начнёт кряхтеть, отмахиваться, и будить его придётся долго. Но едва ординарец коснулся плеча спящего, Крымов быстро приподнялся, откинул в сторону газету, посмотрел вокруг воспалёнными, налитыми кровью глазами и стал натягивать сапоги

В штабе Крымов узнал о приказе вновь переправиться через Дон и занять оборону. Командир бригады уже уехал к артиллеристам, стоявшим в соседней станице, и сообщил по телефону, что вместе с ними двинется к переправе, а оттуда поедет в штаб армии уточнить обстановку и получить боевую задачу. Миномётный дивизион старшего лейтенанта Саркисяна получил маршрут Движения и через три часа должен был выступить. Следом за ним собирался и штаб.

«— Да, вот и не удалось нам, товарищ комиссар, отдышаться по-настоящему на восточной стороне Дона, — сказал: начальник штаба и, поглядев на воспалённые глаза Крымова, добавил: — Может быть, отдохнёте часик, мы с подполковником поспали немного, а вы до утра в подразделениях были.

— Нет, не придётся, — сказал: Крымов. — Я поеду вперёд, ориентируюсь в обстановке. Дайте-ка мне маршрут, там уже встретимся.

Через час, проверив готовность подразделений к маршу, он сказал: ординарцу:

— Водитель пусть заедет на квартиру, возьмёт вещи и подгонит машину к штабу.

Начальник штаба с грустью заметил:

— Эх, а я-то думал вечером для всех нас баньку устроить, а после баньки чарочку выпить. Видно, не может немец без нашей бригады и сутки обойтись!

Крымов посмотрел на полное, добродушное лицо начальника штаба.

— А вы, майор, за эти дни нисколько не похудели.

— Много для немцев чести заставить меня похудеть. Крымов улыбнулся.

— Действительно, где уж им. Пожалуй, даже наоборот, прибавили немного.

— Никак нет. У меня стабилизация наступила в тридцать шестом году. Начальник штаба пододвинул Крымову лежавшую на столе карту. — Вы посмотрите, где наш рубеж

намечен, — сказал: он, — это почти на девяносто километров восточней того места, где мы позавчера бой давали. Сильно прут! Я вот худеть не худею, а мысль меня день и ночь гложет:

Где же их остановят, где наши резервы? Измоталась бригада — и люди, и техника.

В это время вошёл ординарец и доложил, что машина готова.

— Вечером увидимся, я тоже начну через часок хозяйство собирать, — сказал: начальник штаба. Он проводил Крымова до машины, держа в руке лист карты; когда Крымов уселся рядом с шофёром, начальник штаба стал объяснять: — Только я советую, на главную переправу не езжайте, долбит её немец день и ночь. Вот тут, по понтонной, безопасней, по-моему, сюда езжайте. Я этим маршрутом и штабное хозяйство поведу.

— Поехали, — сказал: Крымов.

Воздух, небо, дома, окружённые деревьями, — всё в этой, стоящей в стороне от главных путей войны станице выглядело мирным и спокойным. Но когда Крымов выехал с просёлка, картина тихого, ясного дня стала меркнуть в пыли и шуме большой военной дороги.

Крымов закурил и протянул портсигар шоферу Тот, про должая глядеть на дорогу, взял правой рукой папиросу так, как делал это сотни раз, днём, ночью, по ту и по эту сторону Днепра, Донца и Дона.

Крымов, рассеянно глядя на знакомую, всегда одну и ту же и на Украине, и под Орлом, и за Донцом, примелькавшуюся ему фронтную дорогу, уже не мешавшую сосредоточиться, размышлял о вновь предстоящих боях, гадал, какую задачу получит бригада от командарма.

Всё ближе к Дону подъезжали они.

— Зря мы днём поехали, товарищ комиссар, лучше бы ночью, — проговорил водитель — Налетят «мессера», а кругом степь, никуда не денешься, а легковые они особенно любят, им Гитлер премию за легковые даёт.

— Воина не ждёт, товарищ Семёнов, — сказал: Крымов. Водитель открыл дверцу, придерживая её рукой, оглянулся и произнёс:

— Всё! Спустил задний скат, вот вам и не ждёт, — и стал притормаживать, выкруливать машину в сторону от дороги, к пыльным деревьям.

— Ничего, — утешил его Крымов. — Лучше здесь, хуже, если на переправе.

Семёнов поглядел на вырытую кем-то неглубокую щель и улыбнулся.

— И верно — удачно остановились.

Деревца, у которых они остановились, были ещё молоды, а листья на них стали совершенно белыми от пыли, седыми. Очевидно, многое пришлось им повидать за последнее время — они стояли вблизи развилки дороги.

Колонны машин, конные обозы тянулись на восток Раненые шли в запыленных бинтах, некоторые в гимнастёрках без пояса, ремни у них были перекинuty через шею и поддерживали забинтованные руки. Одни шли, опираясь на палочку, другие несли в руке кружечку или пустую консервную баночку. На этой дороге не нужны были личные вещи, даже самые ценные и дорогие; человек нуждался в хлебе, кружке воды, табаке и спичках, а всё остальное, будь то даже новые хромовые сапоги, не годилось.

Раненые шли, лишь изредка поглядывая по сторонам, где бы, не сворачивая далеко с дороги, черпнуть кружечкой воды. Шагали они молча, не разговаривая друг с другом, не окликая тех, кто их обгонял, ни тех, кого они обгоняли...

В стороне от дороги велись оборонные работы. Под большим степным небом женщины в белых платочках копали окопы. Они то и дело поглядывали вверх: «не летит ли паразит».

Солдаты, уходившие с запада на восток, смотрели на противотанковые рвы, на проволоку, на огневые точки, окопы, блиндажи — и шли мимо.

На восток шли штабы, их легко было отличить: в грузовиках среди столов, пёстрых матрацев и чёрных футляров пишущих машинок сидели озиравшие небо, припудренные пылью писаря и грустные девочки в пилотках, державшие в руках папки с документами и керосиновые лампы.

Ехали моторизованные походные мастерские, рембазы, военоторговские полуторки с обмундированием и обеденной посудой, тяжёлые машины батальонов аэродромного обслуживания: рации, движки, трёхтонные грузовики с авиационными бомбами в тесовых футлярах, бензозаправщики; тягач тащил гружёный на прицеп подбитый истребитель, крылья самолёта подрагивали — казалось, то чёрный деловитый жук волочит полумёртвую стрекозу.

На восток шла артиллерия. Красноармейцы сидели на пушках, обнимая на ухабах пыльные, зелёные стволы. Тягачи тащили автоплатформы с металлическими бочками. Высоко в небе прошли на запад советские скоростные бомбардировщики должно быть, на бомбёжку немецких аэродромов.

Казалось, эта степь уже никогда не узнает покоя...

«Но ведь придёт день, — подумал Крымов, — и пыль, поднятая войной, вновь ляжет на землю, вновь настанет тишина, погаснут пожары, осядет пепел, рассеется дым, и весь мир войны, в дыму, в пламени, в грохоте, в слезах, станет прошлым — историей...»

Минувшей зимой, в избе, где-то за Корочей, его ординарец Рогов, погибший впоследствии при бомбёжке, сказал: с удивлением:

— Товарищ комиссар, посмотрите, стены обклеены чем — газеты мирного времени! Крымов ему ответил:

— Ну что же, Рогов, а потом хозяин обклеит стены сегодняшними газетами, мы приедем после войны, и вы скажете:

«Комиссар, посмотрите, — сводки Информбюро, газеты военного времени...»

Рогов с сомнением покачал головой, и правда — для него мир не пришёл. И всё же все это станет прошлым, и люди будут вспоминать, писатели станут описывать великую войну.

Семёнов уложил под пыльное сидение домкрат, ключ, чёрную, в красных заплатах камеру и прислушался к раскатистому грохоту, шедшему не от неба к земле, а от охваченной грозой земли в безоблачное небо.

Семёнов, Сожалея, Посмотрел на тихие, Поседевшие деревья — он уже успел привыкнуть к месту, где за долгие двадцать минут ничего худого с ним не случилось.

— Переправу долбаёт, — сказал: он, — подождать — спокойней бы проехали. И, не дожидаясь ответа комиссара, за ранее ему известного, включил мотор.

Все напряжённой становилось вокруг.

— Горят на переправе машины, товарищ комиссар, — сказал: Семёнов и, указывая пальцем, ста! считать немецкие самолёты. — Вот они один, два, три!

Блеснула вода, освещённая солнцем, и сверкание её было, как недобрый, серый блеск ножа Прошедшие через пере праву машины, буксуя, въезжали на песчаный восточный берег. Люди подталкивали их руками, плечами, грудью, вкладывая в эту работу все своё желание жить. Шофёры, переключив скорость, с остановившимися, напряженными глазами, вытянув шеи, прислушивались к звуку мотора, возьмет или не возьмёт, ведь застрять на выезде — значило вновь отдать только что выигранный у судьбы шанс.

Сапёры с тёмными лицами подкладывали под колёса выезжающих машин доски и зелёные ветки, и когда грузовик, взяв песчаный подъем, выходил на дорогу, хмурые лица сапёров светлели, точно им самим предстояло на этом грузовике уехать от переправы.

Грузовики, выехав на дорогу, набирали скорость. Пассажиры, те, что половчей, цеплялись за борта и, болтая ногам, подтягивались, переваливали в кузов, другие бежали, тяжело вихляя сапогами по песку, и кричали «Давай, давай!» — точно в самом деле водитель собирался ради них тормозить, а они его уговаривали не делать этого.

Потом уже, добежав до остановившейся далеко за пере правой машины, они, задыхаясь, лезли на свои места в кузове, смеялись, оглядываясь на реку, рассыпая табак, сворачивали цыгарки и говорили:

— Ну, теперь всё, поехали...

А спустя недолгое время радостное возбуждение исчезало, потому что на левом, вожденном берегу реки была та же степь, те же сумрачные лица, светлело голубоватое

крыло разбитого самолёта среди пыльного ковыля, стояли разбитые машины.

Крымов остановил машину и, неловко шаркая длинными ногами, побрёл к переправе. Он шёл медленно, спотыкаясь: грубые, крепкие, как шпагат, стебли степной травы цеплялись за ноги. Он шёл не ускоряя шага, не глядя вверх и по сторонам, все смотрел на серые от пыли носки своих сапог.

Тараторила зенитная пушка, высоко в небе подвывал немецкий мотор. Вдруг в воздухе заскрипело, завывало, невысказанно пронзительно, невысказанно громко — это «юнкерс-87» включил пищуху, перешёл в пике. Ухнула земля, огромный колун ударил по сырому полону, ударил раз, и два, и три.

А Крымов всё шёл и смотрел на серую землю под ногами.

Жёлтая медленная пыль и чёрный быстрый дым закрыли толпу, грузовики, подводы на правом берегу, и по ставшему вдруг пустым мосту согнувшись пробежал человек без пилотки.

Когда Крымов подошёл к мосту, щупленький юноша лейтенант, комендант переправы, с красной перевязью на рукаве, держа в руке пистолет, бежал к машинам и кричал:

— Вот видишь это, кто без моего приказа выедет на мост! Все назад!

Судя по голосу, кричал он так не первый день.

Водители, не отряхивая песка и пыли, вылезали из щелей, садились в кабины, торопливо заводили моторы, и машины, стоя на месте с заведёнными моторами, дрожали.

Водители оглядывались на коменданта, который мог и в самом деле пристрелить, поглядывали, не летят ли обратно немцы, и едва комендант отворачивался, тихонько нажимали, продвигались к мосту — деревянные кладки через реку гипнотизировали, притягивали их.

Когда какая-нибудь машина выезжала на полметра вперёд, то и соседняя тотчас рывком подавала вперёд. И за второй третья, за третьей четвёртая, за четвёртой пятая... Это напоминало игру: захоти первый подать назад, он не смог бы — задние подпирали впритирку.

— Пока не подадите назад, ни одного не пущу, — в бешенстве крикнул комендант и в знак святости своих слов поднял вверх пистолет.

Крымов взошёл на мост, нога после песка зашагала по доскам легко и свободно, сырая свежесть реки коснулась его лица.

Крымов медленно шёл по мосту, и спешившие навстречу пехотинцы, глядя на него, сдерживали шаг, оправляли гимнастёрки и отдавали ему честь. Отдача приветствия по форме в такие минуты значила не мало. Крымов хорошо понимал это. Он видел, как на такой же переправе два дня назад генерал, открыв дверцу легковой машины, крикнул в толпу, шагавшую по мосту:

— Куда вы? Посторонитесь! Дайте проехать! И пожилой крестьянин, положив руку на крыло машины, сказал: необычайно добродушно, лишь с лёгкой укоризной, как крестьянин говорит крестьянину:

— Куда, куда, сами ведь видите, туда, куда и вы — жить-то всем хочется.

И в этом простодушии крестьянина-беженца было нечто такое, что заставило генерала молча и поспешно захлопнуть дверцу.

Здесь на переправе Крымов сразу же ощутил свою силу, силу человека, который медленно шёл по мосту на запад, навстречу уходившим на восток.

Крымов подошёл к коменданту переправы. Лицо лейтенанта выражало ту крайнюю усталость, когда измучившийся человек знает: осталось лишь доводить дело до конца, а отдохнуть не придётся.

Он посмотрел на Крымова с недобрый выражением, уже готовый ответить отказом на все его просьбы, заранее зная, о чём поведёт речь батальонный комиссар: как бы пропустить машину без очереди, то ли в ней раненый полковник, то ли нужно доставить в тыл необычайно важный документ, то ли сам командующий фронтом генерал-полковник ждёт батальонного комиссара, часа не может без него обойтись.

— Мне туда, — сказал: Крымов и указал рукой на запад, — как бы проехать?

Лейтенант вложил пистолет в кобуру и сказал:

— Туда — это я сейчас сделаю, пропустим. Через минуту два регулировщика, махая флажками, стали расчищать проход для машины, водители грузовиков, выглядывая из кабин, передавали друг другу:

— Поддай немного назад, тогда я подам назад, надо пропустить, на передовую командир спешит.

Крымов, глядя на быстро, вмиг расшитую пробку, подумал, что жажда наступления живёт в отступающей армии;

сейчас это проявилось в мелочи, в том, как охотно и легко охрипший, осатаневший от грохота, крика, усталости мальчик-комендант, регулировщики и шофёры устраивали проход для одинокой легковушки, пробирающейся к фронту.

Крымов вышел на мост и, замахав рукой, протяжно позвал:

— Семёнов, давай сюда!

В это время послышался крик: «воздух!» — и тотчас несколько голосов поддержало:

— Летят, летят, обратно идут! Прямо на переправу! Крымов, не оглядываясь, злобно кричал:

— Давай сюда!

Но вот за машиной поднялось облачко пыли, очевидно, Семёнов, в душе ругая своего комиссара, включил мотор и ехал к мосту.

— Давай скорей! — крикнул Крымов и топнул ногой. На плоских понтонах, упёршись грудью в настил моста, стояли два красноармейца. Их службу на понтонах считали тяжёлой даже сапёры и регулировщики, обслуживающие переправу, им доставалось больше огня и осколков, чем тем, кто работал на берегу. Да и нельзя было уберечься от этих осколков посреди реки в тонкобортных понтонах.

Когда Крымов нетерпеливо звал водителя, один понтонёр сказал: второму:

— Легкари!

Этим словом они, видимо, обозначали не только едущих на легковых машинах, но и тех, что хотели легко отделаться от войны и долго жить на свете.

Второй спокойно, без осуждения, подтвердил:

— Легкарик, торопится жить.

Крымов слышал этот разговор и понял его. Когда машина въехала на мост, он не стал вскакивать на ходу, а загородил дорогу, поднял руку — машину занесло, она стала боком.

И вдруг над Доном послышался злой бабий голос. На беженской подводе стояла молодая плечистая крестьянка и, размахивая кулаком, гневно кричала:

— Эх, вы... это же журавли летят!

И засевшие в щелях люди увидели, как на переправу высоко в синем небе плавно, клином, летели птицы: одна из них медленно замахала крыльями, за ней вторая, третья, затем снова они перешли на парящий полет.

— Не в своё время журавли перебазировались, или война их потревожила? сказал: Крымову комендант переправы, с детским любопытством глядя на небо.

Крымов, идя рядом с машиной, пробирался среди подвод и грузовиков, а на дороге, в степи, в камышах, смеялись смущенные люди. Они смеялись друг над другом, над женщиной, ругавшей их с подводы, над потревоженными войной журавлями.

Когда Крымов сел в машину и отъехал на километр-полтора от реки, Семёнов тронул его за рукав и показал пальцем вверх: в воздухе появилось несколько чёрных точек, но то не были журавли, на переправу шла эскадрилья пикирующих бомбардировщиков.

Уже вечерело. В это лето степные закаты были особенно торжественны и пышны. Пыль, поднятая миллионами ног, колес, гусениц, пыль, поднятая бомбовыми разрывами, стояла над степью, тонкою взвесью поднялась в высокие, кристально ясные слои воздуха, где уж дышал холод мирового простора.

Вечерние лучи света, дробясь об эту тончайшую пыль, доходили до земли множеством

красок. Степь огромна. И как небо и море окрашиваются в часы заката, так жёсткая, сухая степная земля, днём сизая и жёлто-серая, вечером, подобно небу и морю, способна менять цвета. Таково удивительное свойство степной земли, сближающее её с морем. Вечером степь то розовеет, то становится синей, то фиолетово-черной.

Чудные запахи идут от неё, пахучие эфирные масла, включённые в соки трав, цветов и кустарников, выкипяченные летним солнцем, прилипают облаком к остывающей вечером земле, не смешиваясь, медленными струями ползут в воздухе.

И над тёплой землёй то запахнет полынью, то едва начавшим просыхать сеном, то в котловине вдруг ударит тяжёлым запахом мёда. А дальше в степи из глубокой балки пахнет сыростью молодого многотравья, то сухой, пыльной, прокаленной солнцем соломой, то вдруг запахнет уж не травой, не дымом, не полынью, не арбузом, не горьким листом дикой степной вишни, а самой плотью земли, таинственное дыхание, включающее в себя и лёгкость земного праха, и тяжесть неподвижных, окаменевших во тьме пластов, и режущий холод глубоких подземных ключей и рек.

Вечерами степь не только окрашивается, не только пахнет, она и пост. Звуки степи не доходят каждый в отдельности до слуха человека, их и не нужно слушать порознь. Они, едва коснувшись уха, доходят до самого сердца, наполняют его не только покоем и миром, но и печалью и тревогой.

Усталый, нерешительный скрип кузнечиков, точно спрашивающих, стоит ли шуметь в сумерках, переключка серых степных куропаток перед приходом тьмы, дальний скрип колеса, примирённый шёпот отходящей к СЗУ травы, колеблемой прохладным ветром, возня сусликов и мышей, скрип жесткокрылых жуков. И рядом с этими примирёнными звуками отходящей на покой жизни — другие: полный разбойничьего волнения крик совушек, угрюмое гудение ночных бражников, шорох желтопузых полозов, шорох охоты и охотников, выходящих из нор, дыр, балок, трещин в сухой земле. А над степью встает вечернее небо, земля ли отражается в нем или небо отражается в земле, либо и земля и небо, как два огромных зеркала, обогащают друг друга чудом борьбы света и тьмы.

В небе, сами собой, в страшной высоте, в равнодушной астрономической тишине, без грохота взрывов, без дыма, вспыхивают один за другим пожары. Вот занялся край спокойного, высокого, пепельно-серого облака, а через минуту оно все пылает, как многоэтажный, блестящий стеклами, кирпично-красный дом, а вслед за ним огонь охватывает всё новые облака. Огромные и малые, кучевые и плоские, как серые плиты сланца, они вспыхивают, наваливаются друг на друга, рушатся.

Велика сила природы. Мокрая земля, поросшая худым осинником, покрытая щепой недавних порубок, болото, всё заросшее режущей пальцы яркой осокой, пригородные лески и полянки, иссечённые дорогами и тропинками, полыевшие от сотен прошедших по ним ног, речушка, теряющаяся среди кочковатого болотца, солнце, вдруг глянувшее из облаков на сжатое, мокрое поле, туманные снеговые горы, к которым не дойти ни за день, ни за пять, — всё это говорит человеку о его радости, дружбе, одиночестве, о его судьбе, счастье и печали.

Чтобы сократить путь, Крымов свернул с накатанного большака и ехал по едва намеченному, поросшему травой просёлку. Этот просёлок, тянувшийся с севера на юг, пересекал те дороги, что шли к Дону с запада.

Стебли сизого и приземистого ковыля и серебристо-стальной полыни били по бортам машины, сбивая с неё пыль и сами выколачивая из себя облачка пылицы. Тихий просёлок, избранный Крымовым для ускорения пути, минуя небольшую лоцину, вновь сливался с большой дорогой. К этой дороге сходились большаки, грейдеры, просёлки, ведущие от городов и станиц. По этой дороге двигались те, кто шёл из под Чугуева, Балаклеи, из Валуек и Россоши.

Семёнов уверенно проговорил:

— Ну, тут не пробиться, — и затормозил.

— Давайте, давайте вперёд. Нам ведь только пересечь дорогу, — сказал: Крымов.

Степью тянулись пёстрые длинные стада утомлённых, мотающих тяжёлыми головами, спотыкающихся коров и слитых в одно живое, серое, текучее и плотное пятно овец.

Скрипели конные колхозные обозы, медленно ползли подводы беженцев с будками, крытыми цветными украинскими ряднами, фанерой либо сорванной с домов, крашенной в зелёный, красный цвет кровельной жстью. Дальше врассыпную, с выражением спокойной, привычной усталости на лицах шли пешеходы: с мешочками, узлами, зелёными деревянными чемоданами.

Из под разноцветных навесов будок видны были белые, соломенно-золотистые, чёрные детские головы, лица стариков и женщин. Все — и старики, и женщины, и девушки, и дети — были спокойны и молчаливы. В их ушах стоял скрип, скрежет, гудение, и они не могли отделиться от общего потока, отдохнуть, выкупаться, развести костёр. Они растворялись в огромности медленного движения среди серо жёлтых облаков пыли, по сизой, горячей степи. Люди привычно ощущали движущуюся впереди телегу, тяжёлое дыхание волов, напор шедших сзади, но и самих себя они ощущали частью великого народного целого, медленно и тяжело движущегося с запада на восток.

Передние пылили, пыль садилась на задних, и задние говорили и думали: «Вот передние пылят да пылят!» А передние думали и говорили. «Задние всё напирают да напирают».

Боль ждала сердце Крымова.

Сила фашизма хотела подчинить жизнь человека правилам, своей бездушной, бессмысленно-жестоким однообразием подобным тем, что управляют мертвой, неживой природой, напластованием осадков на морском дне, разрушением горных массивов водой и тепловыми колебаниями. Эти силы хотели поработить разум, душу, труд, волю, поступки минерализованного ими человека, хотели, чтобы покорная жестокость раба, лишённого свободы и счастья, уподоблялась жестокости кирпича, рушащегося с крыши на голову ребенка.

Крымову показалось: он охватил сердцем всю огромную картину. Тысячи людей, стариков, женщин, непримиримо ненавидя силу фашистского зла, уходили на восток под широкой бронзой и медью лучей заходящего солнца.

Они пересекли дорогу и поехали дальше, всё круче забирая на запад.

Машина въехала на невысокий холм, откуда открывался широкий обзор.

— Товарищ комиссар, смотрите, от главной мостовой переправы машины к фронту идут, должно быть, наша бригада подтягивается! — воскликнул Семенов.

— Нет, это не наша бригада, — ответил Крымов и велел Семёнову остановиться. Они вышли из машины.

Заходящее солнце на миг выглянуло из за синих и темно красных туч, громоздившихся на западе, лучи, расширяясь, шли от неба к потемневшей вечерней земле.

По равнине от мостовой переправы с востока на запад мчался стремительный поток машин.

Длинноствольные пушки, казалось, стлались по земле, буксируемые мощными трёхосными грузовиками. Следом неслись грузовики с белыми снарядами ящиками, машины, вооружённые счетверёнными зенитными пулемётами.

А над переправой клубилась стена пыли — от Сталинграда на запад шли войска.

— Резервы к фронту идут, товарищ комиссар, — проговорил Семёнов — Вся степь с востока, как в дыму.

Вскоре сумерки сгустились, земля покрылась черно-серой холодной золой. И только на западе, упрямо нарушая мрак, вспыхивали длинные белые зарницы артиллерийских залпов да высоко в небе появились редкие звёзды, белые-белые, словно вырезанные из свежей молодой бересты.

Ночью бригада заняла рубеж обороны.

Крымов встретился с командиром бригады подполковником Гореликом. Горелик, потирая руки и поёживаясь от ночной сырости, рассказал: Крымову, почему бригаду вновь

подняли, не дав ей отдохнуть и привести себя в порядок.

По приказу Ставки на дальние подступы к Сталинграду выдвигались из резерва две армии, усиленные танками, тяжёлой артиллерией, вновь сформированными иптаповскими полками.

Бригаде было приказано прикрыть в танкоопасном направлении движущиеся к фронту стрелковые части.

— Как из-под земли поднялись, — рассказывал командир бригады. — Я ехал не той дорогой, что вы, а от Калача. Машины местами в восемь рядов идут, пехота прямо степью движется. Много молодых ребят. Вооружение новое — автоматы, очень много противотанковых ружей, полнокровные части идут. В одном месте танковую бригаду встретили... — Он задумался на мгновение и спросил: — А вы так и не успели выспаться?

— Нет, не успел.

— Ничего, ничего, мне замкомандующего сказал: «Скоро вашу бригаду выведем на переформирование в Сталинград». Вот тогда мы с вами выспимся... А артиллеристы в штабе армии смеются, дразнят меня! «Теперь уж вы со своей бригадой устарели, теперь иптап последнее слово».

— Значит, новый фронт. Сталинградский? — спросил: Крымов.

— Новый, новый, в чём же дело, повоюем на Сталинградском, — ответил Горелик.

До самого рассвета слышен был шум машин, далёкий гул танковых моторов: то растекались вдоль фронта вышедшие из резерва части — новая, горячая сила, оживляя застывшую ночную степь, приливала к обороне донских подступов.

Под утро штаб бригады имел уже связь с дивизией, занявшей ночью позиции в степи, а через дивизию со штабом армии.

Крымова вызвал по телефону член Военного Совета армии.

Дежурный по штабу передал трубку Крымову и сказал:

— Бригадный комиссар просил подождать у телефона, не класть трубку — его срочно вызвали по другому аппарату.

Крымов долго держал трубку у уха. Он любил слушать эту шумевшую по бесконечному полевому проводу бессонную фронтовую жизнь. Переключались телефонистки, шумели начальники. Кто-то говорил: «Вперед, вперёд давай, слышишь, первый велел пока не дойдёшь до места, никаких отдыхов не устраивать» Чей-то голос, видимо фронтового новичка, наивно конспирируя, спрашивал: «Как там, коробочки пришли? Водички и ошурцов вам хватит?» Бас докладывал: «Занял рубеж, свой участок обороны принял по акту». Четвёртый чётко произнёс: «Товарищ Утвенко, разрешите доложить, орудия заняли огневые позиции». Пятый грозно спрашивал: «Где вы там замешкались, спите, что ли? Приказ понятен? Дошло по фитилю? Тогда выполняйте немедленно». Сиплый голос спрашивал! «Любочка, Любочка, что ж вы мне обещали штаб снабжения горючим, а не даете, нельзя обманывать. Как же не вы обещали, я хоть вас в лицо не знаю, а по голосу среди тысячи узнаю». Командир лётчик говорил «Штаб воздушной, штаб воздушной — бомбы двухсотки прибыли... бомбардировщики прошли надо мной, примите заявку на штурмовку в шесть ноль-ноль». «Карта перед вами? Вам ясно, где противник? Уточните разведданные», — быстро, скороговоркой произнёс пехотинец...

Начальник штаба Костюков, поглядев на улыбающееся лицо Крымова, спросил:

— Вы чему, товарищ комиссар, улыбаетесь? Крымов, прикрывая ладонью трубку, сказал:

— Разговор про бомбы, танки, уточняют, где противник, и вдруг по линии плач грудного ребёнка слышен — видно, проснулся где-то в избе, где телефон стоит, и заливается, кушать хочет.

— Природа и люди, — сказал: дежурный телефонист. Вскоре вызвали Крымова. Разговор был недолгий. Крымов кратко ответил на вопросы:

— Боеприпасами и горючим бригада обеспечена, противник на участке обороны не появлялся.

Член Военного Совета спросил, какие нужды у командования бригады. Крымов сказал: об изношенности автопокрышек, машины по дороге на огневые несколько раз из-за этого останавливались в пути. Бригадный комиссар велел снарядить полуторку в Сталинград на тыловую базу — он отдаст по телефону распоряжение.

— У меня всё, — сказал: он.

Положив трубку, Крымов проговорил, обращаясь к начальнику штаба.

— Вот мы утром говорили с вами, где резервы, послушаешь, как шумят сейчас по линии, и видно: новый фронт рождается.

— Да, пришла сила, — сказал: Костюков.

Когда взошло солнце, командир бригады и Крымов поехали смотреть огневые позиции.

Стволы орудий, замаскированные пыльными прядями ковыля, сосредоточенно смотрели на запад. Лица людей казались нахмуренными в свете молодого солнца, а степь блистала росой, благоухала свежестью, чистотой и прохладой. Ни пылинки не было в ясном воздухе. Небо от края до края наполнилось той спокойной и чистой голубизной, которая бывает лишь ранним летним утром. Редкие облачка розовели, отогретые утренним солнцем.

Пока командир бригады разговаривал с командирами батареи, Крымов подошёл к красноармейцам артиллеристам.

Завидя его, красноармейцы вытянулись, глаза их улыбались, глядя на комиссара.

— Вольно, вольно, — проговорил Крымов и опёрся локтем о ствол пушки. Красноармейцы окружили его.

— Ну как, Селидов, ночью не пришлось спать? — спросил: Крымов наводчика. Опять мы с вами на переднем крае.

— Да, товарищ комиссар, — ответил Селидов, — всю ночь шумела степь: много наших войск подошло. А мы ждали, вот-вот немец ударит. Покуривали, да, по правде, под утро из табачка выбились.

— Ночь спокойно прошла, и на рассвете не появлялся, — сказал: Крымов, — а утро-то какое!

— Воевать, товарищ комиссар, утрецом пораньше лучше всего. Он бьёт, а ты видишь, откуда он бьёт, — сказал: молодой артиллерист.

— Это верно, — подтвердил Селидов, — особенно на рассвете. Темненько, а всё видать, особенно если трассирующими бьёт.

— Дадим ему? — спросил: Крымов.

— Наши бойцы, товарищ комиссар, от орудий никуда. Три дня назад, когда бой был, немецкие автоматчики за стволы хватают, уж наша пехота ушла, а мы огонь ведём.

— Да что толку, — сказал: молодой, — всё отходим, он нас так за Волгу загонит.

— Тяжело свою землю сдавать! — проговорил Крымов — Но вот новый фронт, Сталинградский, образовался. Много замечательной техники, танки, артиллерийские истребительные полки. Сила огромная! Сомнений ни у кого не должно быть — остановим, завернём его! И не только остановим, назад погоним! Беспощадно погоним! Хватит нам отступать. Шутка, что ли, — за плечами у нас Сталинград!

Красноармейцы слушали молча, глядя, как небольшая пёстрая птичка кружит над стволом крайнего орудия.

Вот-вот, казалось, сядет на согретую утренним солнцем орудийную сталь. Но вдруг, испугавшись, она полетела в сторону.

— Не любит она артиллерии, — сказал: наводчик Селидов. — К миномётчикам полетела, к старшему лейтенанту Саркисьяну.

— Гляди, гляди! — крикнул кто-то.

Во всю ширь неба шли на запад эскадрильи советских пикирующих бомбардировщиков.

А спустя час померкло утреннее солнце, красноармейцы с потными запыханными лицами подтаскивали снаряды, заряжали орудия, наводили их жерла на мчащиеся в клубах пыли немецкие танки. И где-то высоко-высоко в голубом небе, куда не доходила поднятая

танками пыль, перекатывался грохот наземного сражения.

10 июля 1942 года по приказу Верховного Главнокомандующего 62-я армия была включена в состав действующих на юго-востоке советско-германского фронта соединений и получила задание выдвинуться на запад от Сталинграда и занять оборону в большой излучине Дона, чтобы преградить движение наступавшим на восток немецким войскам

Одновременно Верховное Главнокомандование Красной Армии выдвинуло из своего резерва ещё одно крупное соединение, сомкнув его с левым флангом 62-й армии. Таким образом, создавалась новая линия обороны на путях прорывавшихся к Дону немецких дивизий

Первые выстрелы, прозвучавшие 17 июля, ознаменовали начало оборонительного сражения на дальних подступах к Сталинграду

В течение нескольких дней или незначительные столкновения между высланными далеко вперёд разведывательными пехотными и танковыми подразделениями и немецкими авангардами. В стычках обычно участвовали усиленные роты и батальоны. В этих малых, но ожесточенных боях новые, вышедшие из резерва части испытывали силу своего оружия, примеривались к силе врага. Одновременно шли круглосуточные работы по укреплению рубежей, занятых основными силами.

20 июля немецкие войска перешли в наступление.

Крупные силы немецких танковых и пехотных соединений имели своей задачей выйти к Дону, с ходу форсировать его и, преодолев пространство между Доном и Волгой, которое немецкие штабные офицеры называли «горлышко бутылки», к 25 июля ворваться в Сталинград.

Такова была задача, поставленная Гитлером перед перешедшими в наступление немецкими войсками.

Однако вскоре немецкое командование поняло, что «вакуум» существует не на подступах к Дону, а в представлении тех, кто ставил задачу с ходу захватить Сталинград и определял сроки её выполнения.

Решительные меры Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии, усилившей советскую оборону крупными резервами и мощной техникой, тотчас же сказались

Бои стали ожесточенными, шли день и ночь Советская противотанковая оборона была мощной и подвижной Советская штурмовая и бомбардировочная авиация безостановочно наносила удары по наступающим немецким войскам. Пехотные подразделения, вооруженные противотанковыми ружьями, дрались с чрезвычайным упорством

Советская оборона была активна, мощные и внезапные контратаки на отдельных участках мешали сосредоточению немецких сил.

Немецкие танки и мотопехота, прорвавшись в районе Верхнебузиновки, были задержаны сильным контрударом.

Эти более трех недель длившиеся бои не смогли всё же остановить немцев, сконцентрировавших на дальних подступах к Сталинграду всю ударную силу своих танковых и пехотных войск. Но значение этих боев было велико — темп немецкого наступления чрезвычайно замедлился. В боях было перемолото много немецкой живой силы и техники. Немецкий план — захватить Сталинград с ходу провалился.

А в это время Верховное Главнокомандование Красной Армии выдвинуло новые, отлично обученные, резервные дивизии. В это время заканчивалось строительство обороны на ближних подступах к Сталинграду.

Война застала Крымова в тяжёлые дни его жизни. Зимой Евгения Николаевна уехала от него. Она жила то у матери, то у старшей сестры Людмилы, то у подруги в Ленинграде. Она в письмах сообщала ему о своих планах, о своей работе, о встречах со знакомыми. Письма были спокойные и дружеские, словно она уехала погостить и скоро вернётся домой.

Однажды она попросила его выслать две тысячи рублей, и он с радостью послал ей эти деньги. Но его огорчило, когда спустя месяц она вернула долг телеграфным переводом.

Крымову было бы легче, если б она, порвав с ним, прекратила переписку. Эти изредка, раз в полтора два месяца, приходившие письма мучили его, он ждал их, а получив, испытывал боль! дружеским, спокойный тон их не доставлял ему радости. Когда она писала Крымову о театре, его не интересовали её рассуждения о спектакле, декорациях и актерах — ему хотелось вычитать, угадать, кто был её спутником, кто сидел с ней рядом, кто провожал ее из театра домой... Но об этом она никогда не писала ему.

Работа не приносила Крымову удовлетворения, хотя он работал усердно и служба занимала у него весь день до поздней ночи. Он руководил отделом в социально-экономическом издательстве и много читал, редактировал, заседал.

С уходом Жени все реже приходили знакомые в его ставшие неудобными, пропахшие табаком комнаты. Некоторые люди, связанные раньше с Крымовым общностью работы и приходившие делиться своими новостями и волнениями, искавшие у него совета либо поддержки, после того как Крымов перешёл в издательство, все реже навещали его, реже звонили по телефону. В воскресные дни он поглядывал на телефон и всё ждал, не позвонит ли кто-нибудь. Но случаясь, что весь день телефон ни разу не звонил, а если он, обрадованный звонку, снимал трубку, оказывалось, что это говорил по делу сослуживец или переводчик книги утомительно многословно рассказывал о своей рукописи.

Крымов написал младшему брату Семёну на Урал, чтобы тот с женой и дочерью переезжала в Москву; он им уступит одну из своих комнат. Семен был инженер-металлург и несколько лет после окончания института служил в Москве. Семен никак не мог получить в Москве комнату, жил то в Покровском-Стрешневе, то в Вешняках, то в Лосинке, и ему приходилось вставать в половине шестого утра, чтобы попасть на завод.

Летом, когда многие москвичи переезжали на дачи, Семён снимал на три месяца комнату в городе, и Люся, жена его, наслаждалась прелестями удобной городской квартиры — электричеством, газом, ванной. Они отдыхали в эти месяцы от дымных печей, замерзавших в январе колодцев, снежных сугробов, по которым приходилось пробираться к станции в предзвездной темноте.

— Семен из той знати, — шутя говорил Крымов, — которая зимой живет на даче, а летом в городе.

Семён с женой иногда приходили в гости к Крымову, и по лицам их было видно, что жизнь, которой живёт Николай Григорьевич, кажется им необычайно значительной и интересной.

Крымов спрашивал:

— Как же вы живете, расскажите.

Люся, смущённо улыбаясь и опуская глаза, говорила:

— Ну что вы, мы живём совсем неинтересно. А Семён добавлял:

— Что рассказывать — работа моя в цехе инженерская, обыкновенная. Я слышал, ты куда то ездил на съезд тихоокеанских профсоюзов?

В 1936 году, когда Люся должна была родить, Семён решил уехать из Москвы в Челябинск. Он часто писал Николаю Григорьевичу, и в письмах этих по-прежнему чувствовалась любовь и преклонение перед старшим братом. О своей работе он почти не писал, но когда Крымов предложил ему переехать в Москву, Семён ответил, что не может, да и не хочет: он ведь теперь заместитель главного инженера на огромном заводе. Он просил Николая хоть на несколько дней приехать повидаться, посмотреть племянницу «Условия для твоего отдыха есть, писал он, — у нас дом-коттедж, стоит в сосновом лесу; возле дома Люся развела славный садик».

Письма об успехах брата порадовали Крымова, но он понял, что Семён не вернётся в Москву, а ему уже представлялась семейная коммуна — он, вернувшись с работы, возит четырёхлетнюю племянницу на плечах, а по воскресеньям с утра отправляется с ней в Зоологический сад.

Через несколько дней после начала войны Крымов подал заявление в Центральный Комитет партии — просил отправить его на фронт. Крымова зачислили в кадры, послали в

Политуправление Юго-Западного фронта.

В день, когда он запер на ключ свою квартиру и с зелёным мешком за плечами и маленьким чемоданчиком в руке поехал трамваем на Киевский вокзал, он почувствовал душевный покой и уверенность. Ему подумалось, что он запер в доме своё одиночество, освободился от него, и чем ближе поезд подходил к фронту, тем спокойней и уверенней он чувствовал себя.

Из окна вагона он увидел Брянск — товарный, разрушенный налётами немецких бомбардировщиков, истерзанный металл и истерзанный камень были смешаны с истерзанной землёй. На путях стояли ажурные черно-красные скелеты товарных вагонов. Над пустым перроном гулко раздавались слова радиорупора, Москва опровергала измышления германского агентства Трансоцеан.

Поезд шёл мимо станций, хорошо известных Крымову по временам гражданской войны, — Терещенковская, хутор Михайловский, Кролевец, Конотоп...

Казалось, луга, и дубовые рощи, и сосновые леса, и могучие пшеничные поля, и гречиха, и высокие тополи, и белые хаты, в сумерках похожие на смертельно-бледные лица, — всё на земле и на небе было охвачено тревогой и печалью.

В Бахмаче поезд попал под жестокую бомбёжку, два вагона были разбиты. Паровозы гудели, их железные голоса были полны живого отчаяния.

На одном перегоне поезд дважды останавливался: летал на бреющем полете двухмоторный «мессершмитт-110», стрелял из пушки и крупнокалиберного пулемёта. Пассажиры бежали в поле, потом, озираясь, возвращались в вагоны.

Днепр переезжали перед рассветом. Казалось, поезд страшится гулкого звука, разносившегося над тёмной рекой с белыми отмелями.

В Москве Крымов предполагал, что бои идут где-то в районе Житомира, там, где в 1920 году он был ранен в бою с белополяками. Оказалось, что немцы — под самым Киевом, недалеко от Святошино, что, пытаясь прорваться на Демиевку, они вели бой с воздушно-десантной бригадой Родимцева. В штабе Юго-Западного фронта он узнал о нависших с тыла танках Гудериана, шедших с северо-востока от Рославля к Гомелю, о группе Клейста, распространявшейся с юга по левому берегу Днепра.

Начальник Политуправления, дивизионный комиссар, оказался человеком спокойным, методичным, с медленной, негромкой речью. Крымову понравилось, что дивизионный комиссар откровенно говорил о тяжести положения на фронте, сохраняя при этом начальническую уверенность и деловое спокойствие.

Крымова проинструктировали и приказали выехать для чтения докладов в одну из правофланговых армий. Правофланговая дивизия этой армии стояла на белорусской земле, среди лесов и болот.

На участке фронта, занятом этой армией, царило затишье. Многие стратеги из армейского политотдела были настроены чрезвычайно уверенно и благодушно.

— Выдохся окончательно. У них нет самолётов, нет бензина, нет танков, нет снарядов. Видите, уже две недели ни одного самолёта в воздухе.

Потом Крымов не раз встречал людей необычайно оптимистичных, оптимистичных до глупости. Он знал, что именно эти «оптимисты», попадая в тяжёлое положение, начинают паниковать и растерянно бормочут: «Ах, кто бы мог думать».

Многие красноармейцы в одной из стрелковых дивизий были черниговцами и, по случайному совпадению, они оказались вблизи своих родных сёл, занятых немцами. Немцы, очевидно, узнали об этом через пленных. По ночам, лёжа в окопах, в тихих дубравах, в высокой конопле и в кукурузе, глядя на звезды, бойцы слушали передававшийся громкоговорительной установкой громовой бабий голос, коварный и властный:

«И-в-а н! Иды до д-о-м-у! Иван! Иды до дому!» Казалось, железный женский голос шёл с самого неба, и тотчас следом за ним раздавалась деловитая чёткая речь с нерусским выговором — «братьям-черниговцам» предлагали расходиться по домам, иначе через день-два им суждено быть сожжёнными огнёмётами, растерзанными гусеницами танков...

И снова слышался электромагнитный бабий голос: «Иван! Иван! Иды до дому!» Потом рупоры передавали угрюмое урчание моторов — красноармейцы, посмеиваясь, говорили, что у немцев имелась специальная деревянная трещотка, имитировавшая гудение танков.

Через две недели Крымов попутной машиной возвращался из тихой армии в штаб фронта.

Водитель остановил машину у въезда в город, и Крымов пошёл пешком. Он прошёл мимо глубокого и длинного оврага с глинистыми осыпями и остановился, невольно радуясь тишине и прелести раннего утра. Жёлтые листья устилали землю, раннее солнце освещало осеннюю листву. Воздух в это утро был необычайно лёгкий. Крик птиц, казалось, только рябил глубокую и ясную поверхность прозрачной тишины. Солнце осветило глинистые склоны оврага. Сумрак и свет, тишина и крик птиц, тепло солнца и прохлада воздуха создавали удивительное ощущение — вот, казалось, поднимутся по откосу тихой поступью добрые Старики из детской сказки.

Крымов свернул с дороги и потел меж деревьев. Он увидел пожилую женщину в темносинем пальто, с белым, сшитым из холста мешком за плечами, поднимавшуюся в гору.

Она вскрикнула, увидев Крымова.

— Что это вы? — спросил: он.

Она провела ладонью по глазам и, устало улыбнувшись, сказала:

— О господи, мне показалось — немец. Крымов спросил: дорогу к Крещатику, и женщина сказала: ему:

— Вы неправильно пошли, вам надо было от оврага, Бабьего Яра, влево, а вы пошли к Подолу, вернитесь к оврагу и идите мимо еврейского кладбища, по улице Мельника, потом по Львовской...

Прошли недолгие дни, войска покидали столицу Украины. Медленно двигались во всю ширину Крещатика пехота, обозы, кавалерия, пушки..

Машины и орудия были замаскированы ветвями берёзы, клёна, осины, орешника, и миллионы осенние листьяв трепетали в воздухе, напоминая об оставленных полях и лесах...

И вся пестрота и разнообразие оружия, знаков различия, военной формы, всё различие лиц и возраста идущих было стёрто одним общим выражением тяжкой печали: оно было в глазах солдат, в склонённых головах командиров, в знамёнах, одетых в зелёные чехлы, в медленном шаге лошадей, в приглушённом рокотании моторов, в тархтении колёс...

Ужасен был плач женщин, безмолвный вопрос в глазах стариков, отчаяние на лицах сотен людей.

А войска, покидавшие Киев, шли окованные молчанием.

Едва Крымов перебрался на левый берег, как немцы произвели массированный налёт на Бровары. Им удалось подавить советскую противовоздушную оборону. Десятью самолётов в течение двух часов сбрасывали бомбы на сосновую рощу. В эти часы Крымов понял всё грозное значение слов «господство в воздухе».

Немецкие танковые войска Гудериана, продвигаясь с севера, от Рославля, на Гомель и Чернигов, выходили по левобережью Днепра в тыл Киеву — они стремились встретиться с южной группой Клейста, прорвавшейся у Днепропетровска.

Через неделю стали смыкаться клещи окружения, и Крымов оказался за линией фронта.

Крымов однажды видел, как десятки фашистских танков вырвались на равнину, по которой шли киевские беженцы с жёнами и детьми. На головном танке сидел немецкий офицер и размахивал букетом оранжевых осенних листьев. Часть танков на большой скорости врезалась в толпу идущих по дороге женщин и детей.

В десяти метрах от Крымова медленно прошёл немецкий танк, похожий на разъяренного охотой зверя с окровавленной пастью. То было господство на земле.

Днём и ночью шёл Крымов на восток. Он слышал в пути о гибели генерал-полковника Кирпоноса, он читал немецкие листовки о падении Москвы и Ленинграда, он видел стальную верность, измену, отчаяние и непоколебимую веру.

Он вёл на восток двести человек красноармейцев и командиров, встретившихся ему в

дороге. Это был пестрый отряд. В его составе были красноармейцы, моряки Днепровской флотилии, сельские милиционеры, работники райкомов партии, несколько пожилых киевских рабочих, лётчики, потерявшие самолёты, спешенные кавалеристы.

Иногда Крымову казалось, что путь отряда виделся ему во сне — столько необычайного произошло за эти дни. Ему вспоминались ночные костры в лесу, переправы вплавь под холодным ливнем через мутные осенние реки, долгий голод, короткие привалы в деревнях, откуда они выбивали немецкие отряды; вспоминалась старуха, сжёгшая в осеннюю ночь свой дом, когда в нём спали пьяные полицаи, один из них был её зятем. И особо вспоминалось ему то чувство духовной общности, которое установилось между людьми. Люди словно собрали, раскрыли своё прошедшее от самых далёких детских лет, и судьба каждого казалась очевидной, простой: характеры, моральная сущность, вся немощь и вся сила человека проявлялись в поступках и словах с предельной ясностью.

Порой Крымов в душе недоумевал, не понимая, откуда он и его товарищи берут силы, чтобы выносить длящиеся десятки дней голод, лишения.

Как тяжела оказалась земля! Огромного труда стоило вытащить сапог из грязи, поднять ногу, сделать шаг, вновь поднять. И всё, всё было тяжелым в эти дни осеннего ненастья 1941 года. День и ночь моросил холодный, тяжелый, как ртуть, дождь. Пилотка, пропитавшись этим ртутным холодным дождем, казалась тяжелей металлической каски, шинель набрякла, тянула к земле, гимнастёрка, рваная рубаха облепляли тело, делались тесны, мешали дышать. Все было тяжёлым в дни осенних дождей!

Сучья, собранные для костра, казались каменными, и густой, мокрый дым, смешавшийся с таким же густым, серым туманом, тяжело ложился на землю «

День и ночь люди ощущали тяжесть в ноющих плечах, ощущали отвратительную, холодную грязь, проникающую в рваные сапоги. Люди засыпали на мокрой земле, под тяжёлыми от дождя шершавыми лапами орешника. На рассвете они просыпались под дождём, неотдохнувшие, источенные холодом и сыростью.

Но вся тяжесть мокрой земли была легка по сравнению с той, что легла на душу. В районах сосредоточения гитлеровских войск беспрерывно двигались по дорогам автомобильные колонны, артиллерия, груженная на грузовики пехота, почти в каждом селе размещались немецкие части, днём и ночью перекликались часовые. В этих районах отряд двигался лишь ночью.

Они шли по своей земле, хоронясь в лесах, торопливо пересекая железнодорожное полотно, минуя звенящую асфальтовую дорогу. Мимо них в дождевом тумане проносились чёрные немецкие машины, тянулась моторизованная артиллерия, железными голосами гарпий сигналили танки. Иногда из крытых брезентом грузовиков ветер приносил дикие для русского слуха обрывки немецких песен, звуки гармошки. Они видели лихорадочно яркие фары и слышали покорное, трудовое дыхание паровозов, тащивших на восток воинские эшелоны. Они видели мирный огонь, горевший в окнах домов, приветливый дым, шедший из труб, и хоронились в безлюдье лесных оврагов.

Да, это было трудное время. Самым дорогим в эту страшную пору была вера в правоту народного дела, вера в будущее. И потому так страшны, так тяжелы были враждебные слухи, серые, неясные, как осенний туман.

Каким-то необычайным, странным образом рядом с изнеможением, с опасностью в Крымове жило совсем другое — горячее, сильное и уверенное чувство. Это чувство революционной страсти, революционной веры, сознание своей ответственности за людей, шагавших рядом с ним, за их жизнь и душевную силу, сознание ответственности за всё, что происходило на холодной, осенней земле.

Наверно, не было в мире ответственности тяжелей, чем эта, но именно это сознание ответственности придавало Крымову силы.

Десятки, сотни раз на день Крымов слышал обращение!

— Товарищ комиссар!

Он ощущал в этом обращении какое-то особое, сердечное тепло. Те, кто шёл с ним

рядом, знали о приказе Гитлера истреблять комиссаров и политработников. И в этом, полном доверия и любви, обращении «товарищ комиссар» к человеку, объявленному немецкими фашистами вне закона, было много хорошего, настоящего, чистого.

Крымов как-то естественно и просто стал играть ведущую роль в жизни отряда.

— Товарищ комиссар, — говорил майор авиации Светильников, — какой будет маршрут движения на завтрашний день?

— Товарищ комиссар, укажите, в каком направлении разведку выслать!

Крымов раскрывал карту, выцветшую и пожелтевшую от солнца и дождя, трёпанную ветром, стертую от тысяч прикосновений красноармейских и командирских рук. Крымов знал, что это завтрашнее движение может многое определить в судьбе двухсот людей. И Светильников, начальник штаба отряда, знал это: его желто-карие глаза, обычно весёлые и лукавые, становились серьёзными, а рыжие брови хмуро сходились.

Чтобы выбрать направление, нужно было не только смотреть на карту и помнить рассказы разведчиков, здесь всё имело значение: след подвод и автомобилей на развилке дороги, и случайное слово повстречавшегося в лесу старика, и высота кустарника, росшего на склоне холма, и легла ли несжатая пшеница или стоит густой стеной.

— Товарищ комиссар, немцы! — слегка задыхаясь, произносил длиннолицый, не знавший страха смерти, начальник разведки отряда Сизов. — До роты, в пешем строю, вот за тем лесочком, направлением на севере запад движутся.

И Сизов, видевший смерть чаще всех в отряде, старался заглянуть в глаза комиссару, прочесть в них приказ «Ударить по немцам». Он знал, что Крымов всегда стремился напасть на противника, едва к тому была возможность.

В жестоких, коротких боях вдруг преображались люди. Казалось, эти бои не утомляли, не выматывали до конца людей, а придавали им новую силу, они распрямлялись.

— Товарищ комиссар, какое будет у нас завтра питание? — спрашивал завхоз отряда Скоропад. Он знал, что Крымов, в зависимости от многих обстоятельств, каждый раз по-разному отвечает на этот вопрос, то прикажет выдать одной лишь сырой, пахнущей керосином горелой пшеницы, то вдруг, предвидя особо трудный переход, скажет. «Дайте гусятины и по баночке мясных консервов на четверых».

— Товарищ комиссар, как быть с тяжело ранеными, их на сегодня восемь человек! — спрашивал бескровными губами, всегда охрипший, страдающий астматическим бронхитом военный врач Петров и, жадно ожидая ответа, смотрел воспалёнными глазами на Крымона. Он знал, что Крымов не соглашался оставлять раненых в селах даже у самых надёжных, верных людей, но каждый раз, слыша ответ Крымова, радовался, и бледные щеки его розовели.

Дело тут было не в том, что Крымов знал карту лучше начальника штаба, лучше кадровых военных руководил боями с немцами. Дело было не в том, что Крымов понимал в вопросах снабжения больше мудрого Скоропада или определял судьбу раненых лучше, чем военный врач Петров. Люди, ждавшие слова Крымова, знали себе цену, цену своим военным знаниям, своему боевому и жизненному опыту. Они знали, что Крымов мог ошибиться, мог и не знать того, о чём его спрашивали. Но было в жизни нечто самое простое и необходимое, и все понимали и чувствовали, что в борьбе за самое дорогое и необходимое человеку, в сохранении его в страшную пору, когда человек мог потерять не только жизнь, но и совесть и честь, — комиссар Крымов не ошибался.

В эти дни Крымов привык отвечать на самые неожиданные вопросы. То ночью, во время лесного марша, вдруг опросит его спешенный механик-водитель танка, в прошлом тракторист «Товарищ комиссар, а как вы считаете, на звёздах тоже есть чернозём?» То вдруг разгорится у костра жаркий спор — будут ли при коммунизме выдавать бесплатно хлеб и сапоги и, слегка запыхавшись, делегированный спорщиками красноармеец подходил к Крымову и говорил: «Товарищ комиссар, вы не спите? Тут ребята кое в чем запутались, просят вас объяснить». То, случалось, хмурый и молчаливый сидящий человек выкладывал Крымову свою душу, рассказывая о жене, детях, о том, в чем он чувствует себя правым

перед близкими и дальними людьми, и о том, в чём виноват он перед ними.

Бывало Крымову приходилось судить людей за тяжкие преступления, — так однажды двое участников отряда решили остаться в «зятях»: один притворился больным, а второй прострелил себе «мякоть» на ноге. Приходилось судить в сёлах изменников и предателей. Короток был суд. А бывали даже и в этом тяжёлом пути комические случаи, над которыми дружно смеялись все, даже раненые и больные как-то красноармеец на ночёвке положил, не согласовав с хозяйкой, в шапку пяток яиц, а затем по рассеянности уселся на эту шапку; старуха бабка пронзительно выговаривала бойцу и тут же помогала ему с помощью тряпки и горячей воды вновь принять воинский вид.

Крымов замечал, что люди любили рассказывать ему смешные случаи: пусть и комиссар на минутку посмеется, развеселится. У Крымова создалось ощущение, что в эти осенние дни в его жизни как бы соединились все тяжелые этапы работы русского революционера-большевика. Ему казалось, что он вновь держит великий экзамен, как некогда в условиях подполья, в пору гражданской войны. Ветром революционной молодости пахнуло ему в лицо, и ветер революционной молодости был так прекрасен, что Крымов не терял бодрости и веры в самые трудные, мучительные дни. Люди чувствовали его силу.

Так же, как шли передовые рабочие за революционными бойцами в тёмные времена царизма, шли, невзирая на тюрьмы и каторгу, невзирая на казачьи плети, на виселицы и расстрелы, так и теперь шли по полям и лесам сотни людей, воспитанных революцией, шли вместе со своим комиссаром, преодолевая муки, голод и опасность смерти.

Эти идущие на восток люди были в большинстве молоды, — учили грамоту по советским букварям, их учили в семилетках и десятилетках советские учителя, они работали до войны на советских фабриках, в колхозах и совхозах, они читали советские книги, они отдыхали в советских домах отдыха; молодые, их было большинство, не видели ни разу в жизни частных владельцев земель и фабрик, не могли даже представить себе, что можно покупать хлеб в частной булочной, лечиться в частной больнице, работать у станка, который принадлежит частному дельцу, пахать помещичью землю.

Крымов ясно ощущал, что для молодёжи собственнические, дореволюционные представления кажутся дикими, невысказанными. И вот молодые красноармейцы шли по земле, захваченной немецкими оккупантами, и эти оккупанты собирались установить на советской земле те дореволюционные, невысказанные, невообразимые порядки...

Крымов с первых дней войны понял, что немецкие фашисты в своём надменном ослеплении относятся к великому народу, живущему на советской земле, не только с невероятной жестокостью, но и с презрением, с насмешкой, свысока.

Сознание деревенских старух и стариков, девушек-школьниц, сельских мальчишек было потрясено этим наглым, колонизаторским, надменным отношением. Люди, которые жили и воспитывались в вере в интернациональное равенство трудящихся, вдруг ощутили на себе наглое высокомерие и презрение завоевателей.

Потребность в ясной, в негибкой душевной уверенности, желание побороть всякие сомнения было так велико, что люди часто в короткие, драгоценные часы отдыха предпочитали беседу сну.

Однажды их окружил в лесу немецкий пехотный полк, и положение казалось безвыходным. «Надо рассыпаться и пробираться поодиночке, — говорили Крымову даже самые смелые люди, — иначе нас истребят».

Крымов собрал отряд на лесной поляне, влез на поваленную сосну и сказал:

— Сила наша в том, чтобы быть вместе: главная цель немцев — разъединить нас. Мы не оторванная частица, забытая в лесу в тылу фашистов. Двести миллионов сердец с нами, двести миллионов наших братьев и сестёр за нас. Мы пробьёмся, товарищи! — Он вынул партийный билет, поднял его над головой Товарищи, — крикнул он, — клянусь вам, мы пробьёмся!

И они пробились и снова пошли на восток.

Так шли они — опухшие, оборванные, больные кровавой дизентерией, но с оружием в

руках, с гранатами, волоча за собой четыре станковых пулемета.

В звёздную осеннюю ночь они с боем перешли линию фронта. Когда Крымов поглядел на своё шатающееся от слабости, но грозное войско, чувство гордости и счастья овладело им. Сотни вёрст шли эти люди с ним, он любил их с такой нежностью, какую не выразить на языке человека. В их терпении, в их мужестве, в их вере, в их способности смеяться посиневшими губами была его сила и его вера в коммунизм.

Они перешли линию фронта на Десне северней Брянска, недалеко от большого поселка Жуковки. Крымов простился с товарищами, их тут же зачислили в полки.

Из штаба дивизии он на лошади поехал на лесной хуторок, где находился командующий армией.

Здесь Крымов узнал о том, что произошло за дни его блужданий.

Фронт был прорван, немцы устремились вперёд, но перед ними вырос новый. Брянский фронт, новые армии, новые дивизии, а за дивизиями Брянского фронта поднимались и росли всё новые полки, новые армии; то поднималась, росла оборона Советского Союза, построенная на глубину сотен верст.

Крымова вызвал член Военного Совета армии бригадный комиссар Шляпин, полный, медленный в движениях мужчина огромного роста. Он принял Крымова в деревянном сарае, где стояли маленький столик и два стула, а у стены было сложено сено.

Шляпин взбил сено, усадил Крымова и сам, кряхтя, лёг рядом. Оказалось, он в июле был в окружении и с боями, вместе с генералом Болдиным, взломав немецкий фронт, прорвался к войскам генерала Конева.

От неторопливой речи Шляпина, от его насмешливого и доброго взгляда, от милой улыбки веяло спокойной и простой силой. Повар в белом фартуке принёс им две тарелки щей и горячий ржаной хлеб. Уловив взволнованный взгляд Крымова, Шляпин, улыбнувшись, сказал:

— Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.

Казалось, что запах сена и горячего хлеба связан с этим огромным неторопливым человеком.

Вскоре вошёл в сарай командующий армией генерал-майор Петров, маленький, рыжий, начавший лысеть человек, с Золотой Звездой на потёртом генеральском кителе.

— Ничего, ничего, — сказал: он, — не вставайте, лучше я к вам присосежусь, устал, только из дивизии приехал...

Его выпуклые голубые глаза смотрели остро, пронзительно, разговор был отрывистый, быстрый.

Едва он вошёл, как в спокойный, пахнувший сеном полумрак сарая ворвалось напряжение войны: то и дело входили порученцы, дважды приносил донесения немолодой майор, молчавший телефон вдруг ожил. Петров сказал: Крымову:

— А ведь я вас знаю, товарищ Крымов, и вы меня, может быть, помните.

— Не припомню, товарищ командующий армией, — сказал: Крымов.

— А вы не помните, товарищ батальонный комиссар, командира кавалерийского взвода, которого вы в партию принимали, когда приезжали в 10-й кавполк из Реввоенсовета фронта, в двадцатом году?

— Не помню, — сказал: Крымов и, посмотрев на зеленые генеральские звезды Петрова, добавил: — Бежит время. Шляпин рассмеялся!

— Да, батальонный комиссар, с временем на перегонки трудно бегать.

— Танков у них мало? — спросил: Петров.

— Танков у них много, — сказал: Крымов. — Мне рассказывали два дня назад крестьяне, что в район Глухова приходят эшелоны с танками, всего до пятисот штук.

Петров сказал, что в двух местах части его армии форсировали Десну, заняли восемь деревень и вышли на Рославльское шоссе. Говорил Петров быстро, рублеными, короткими словами.

— Суворов, — сказал: Шляпин, насмешливо улыбаясь в сторону Петрова. Видимо, они

дружно жили, и им хорошо работалось вместе.

Под утро за Крымовым прислали машину из штаба фронта. Крымов уехал, сохраняя в душе тепло этого блаженного дня.

Серые рваные облака шли низко над землёй, и куски синего неба казались холодными, недобрými, как зимняя вода.

Штаб фронта стоял в лесу между Брянском и Карачевом. Все отделы штаба находились в просторных, обшитых свежими, сырыми досками блиндажах.

Командующий жил на лесной полянке в маленьком домике со стенами, увитыми виноградом.

Рослый румяный майор встретил Крымова на крыльце.

— Я знаю о вас, только вам придётся обождать, командующий всю ночь работал, лёг спать с час назад. Вот на той скамеечке обождите.

Вскоре к умывальнику, висевшему на дереве, подошли два плотных, ширококостных и упитанных человека. Оба были лысы, оба в подтяжках, оба в белоснежных рубахах, оба в синих галифе, но один был в сапогах, а у второго, обутого в чупаки, носки обтягивали толстые икры.

Они, фыркая и урча, тёрли широкие затылки и шеи мохнатыми полотенцами. Потом ординарцы протянули им гимнастёрки и жёлтые ремни, и оказалось, что один из них генерал-майор, второй — дивизионный комиссар. Дивизионный комиссар быстрыми шагами пошёл к дому.

Генерал-майор посмотрел на Крымова.

Адъютант, стоявший на террасе, сказал:

— Это тот батальонный комиссар с Юго-Западного фронта, по вызову командующего, товарищ генерал, о котором Петров сообщил.

— А, киевский окруженец, — сказал генерал и, присаживаясь на скамейку, добавил: — Садись, садись, видимо, не весело тебе было, похудел очень, словно видел Крымова и до окружения.

Генерал сразу перешёл к вопросу, который, видимо, интересовал его и волновал в эти минуты больше всех вопросов в мире.

— Ну что, — спросил: он, — Гудериана встречал? Танки его видел?

Он усмехнулся, точно стесняясь своего нетерпеливого интереса.

Крымов стал подробно рассказывать.

В это время, слегка запыхавшись, к ним подошёл подполковник в очках и доложил:

— Товарищ генерал-майор, противник перешёл в наступление, танки прорвались со стороны Кром к Орлу, а на правом крыле сорок минут назад армия Петрова завязала бой с крупными танковыми силами.

Генерал выругался тоскливым солдатским словом и грузно поднялся, пошёл, не оглянувшись на Крымова.

В Политуправлении фронта Крымову выдали шинель и снабдили талончиками в столовую, но не стали ни о чём спрашивать — грозные события заслонили интерес ко всему тому, что видел и пережил Крымов.

Столовая находилась на лесной поляне. Под открытым небом стояли длинные столы и скамьи на чурбаках, врытых в землю. Тёмные рваные облака стремительно неслись по небу, казалось, их истерзали колючие вершины сосен. Дружный стук ложек смешивался с угрюмым голосом леса.

В воздухе послышалось гудение, заглушившее и шум леса и стук ложек: высоко в небе, среди облаков и над облаками, плыли к Брянску немецкие двухмоторные бомбардировщики.

Несколько человек вскочили, побежали под деревья, и Крымов, забыв, что он уже не командир отряда, зычно, властно крикнул:

— Не бегать!

Через некоторое время земля стала дрожать от взрывов. Ночью Крымов увидел обстановку, нанесённую на оперативную карту. Передовые отряды немецких танковых

частей стремились прорваться в сторону Волхова и Белёва. На правом фланге немцы, оставляя левее себя Орджоникидзеград и Брянск, прорывались на северо-восток, к Жиздре, Козельску, Сухиничам.

Молодой штабной командир, показавший Крымову карту, был рассудительный и спокойный человек. Он сказал, что армия Крейзера начала отход, ведя упорные бои, что армия Петрова попала под самый тяжёлый удар, по обстановке, полученной днём, видно, что одновременно немцы начали наступать на Западном фронте от Вязьмы, стремясь к Можайску.

Было ясно у октябрьского немецкого наступления одна цель — Москва. Это слово возникло в тысячах голов и сердец.

Штаб был объят тревогой. Крымов видел, как связисты снимают шестовку, красноармейцы наваливают на грузовик табуреты, столы, услышал отрывистые разговоры:

— Ты с каким отделом? Кто старший на машине?.. Запишите маршрут, говорят, тяжёлая лесная дорога.

На рассвете Крымов на одной из грузовых машин штаба Брянского фронта выехал в сторону Белева. И снова Крымов увидел дорогу отступления, широкую, как русское поле, и снова — среди серых солдатских шинелей замелькали бабьи платки, худые детские ноги, седые головы стариков.

Он видел в эти тяжелые месяцы белорусов на границе Полесья, украинцев на Черниговщине, Киевщине и в Сумской области, а ныне видел он орловских и тульских русских людей, идущих от немцев по осенним дорогам с узлами и деревянными чемоданами.

В белорусском лесу запомнились ему тихий блеск лесных озёр, улыбки нешумливых детей, застенчивая нежность матерей и отцов, выраженная тревожным и долгим взором, обращённым к сидящим детям.

В поэтическом облике белорусских деревень словно отражались двенадцать месяцев года, несущие метели и оттепели, зной песчаной равнины, гудение мошкары и пение птиц, дым лесных пожаров и шелест осенних листьев. За двадцать пять лет в жизнь белорусов вошла новая сила — и Крымов видел в сёлах, в лесах, в городах тех белорусских большевиков — солдат, комиссаров, мастеров, рабочих, инженеров, учителей, агрономов, колхозных бригадиров, которые повели за собой лесное партизанское войско народной свободы.

Спустя недолгое время Крымов шёл по сёлам Украины.

Ночи были полны гудением немецких бомбовозов, дымным светом ночных пожаров, гулом бомбовых разрывов. Днём люди шли мимо садов, мимо огородов, где жирно белела капуста, зрели пудовые тыквы, красные помидоры казались живыми и теплыми, а в палисадниках у белых стен хат под самую соломенную крышу поднимались шапки георгинов и подсолнухов. Мир радовался богатству, возвращенному руками советского человека, но он сам, человек, создатель земного изобилия, был в эту пору чужд богатству и покою мира.

В одном из сёл видел Крымов проводы старика, служившего сорок лет назад в морской артиллерии и решившего бросить семью, богатый фруктовый сад и уйти с винтовкой в лес. Он видел неутешных, но верящих в то, что солнце всегда будет светить над землёй, видел, как плачущая старуха, провожая мужа партизана, говорила о гибели мира, о последнем дне жизни и лепила вареники, пекла коржики с маком так хлопотливо, словно покой по-прежнему стоял на земле.

Он видел людей сильных, трудолюбивых и талантливых, знающих великую цену жизни на богатой земле, готовых кровью, упорством отстоять добытое в мирном труде.

И здесь он видел будущих командиров партизанского народного войска: городских и сельских коммунистов, председателей колхозов, трактористов, колхозных конюхов, сельских учителей...

В октябре он проезжал по холодным полям Тульской области, по земле, то звенящей от мороза, то потной, среди обнажённых берёз, среди приземистых деревенских домов,

построенных из красного кирпича.

И чудная красота края, в котором он родился и вырос, с каждым шагом вновь открывалась ему — в холмистых сжатых полях, гроздьях рябины над замшелым срубом колодца, в дымно-красной огромной луне, с тяжёлым усилием поднимавшей своё холодное, каменное тело над ночным голым полем. Здесь всё было величаво и огромно: земля и небо, вмещавшее в себя весь холодный свинец осени, и идущая от горизонта к горизонту ещё более тёмная, чем чернозём, дорога. Много раз видел Крымов деревенскую русскую осень, и рождала она в нём чувство грусти и покоя, воспринималась через знакомые с детских лет стихи. «Скучная картина, тучи без конца... чахлая рябина...» То были спокойные чувства людей, спящих в тёплом, обжитом доме, глядящих в окна на знакомые с детства садовые деревца. И вдруг он увидел всё по-иному. Не скучной, не бедной показалась ему осенняя земля; не грязь, не лужи, не мокрые крыши и покосившиеся заборы увидел он.

Грозная красота, дивное величие было в пустом осеннем просторе. Огромность земель чувствовалась во всём своём нерушимом единстве. Пронзительный осенний ветер брал разгон на десятки тысяч вёрст, он бежал над тульскими полями, над московской землёй и пермскими лесами, над Уральским хребтом и Барабинской степью, над тайгой и тундрой и над угрюмой Колымой. Крымов, казалось ему, всем существом ощутил единство десятков миллионов своих братьев, друзей, сестёр, поднятых на борьбу за народную свободу. Фронт был всюду — и куда бы ни прорывался враг, его встречали живой плотиной выходившие из резерва полки Красной Армии Новые, пришедшие с Урала танки выходили из засад, новые артиллерийские полки встречали врага своим огнём. И те, что отступали по шоссе и проселочным дорогам, прорывались из окружения, пробирались на восток, — не расплылись, не исчезали для войны и труда, а опять становились в строй боевых и трудовых армий, вновь живой плотиной преграждали путь орде захватчиков и поработителей.

Из Белёва Крымов выехал на том же грузовике.

Старший по машине — младший лейтенант — уступал ему место в кабине, но Крымов отказался от чести, полез в кузов. В кузове сидели штабные командиры, сотрудники Политуправления, красноармейцы. Ночевали они в деревне под Одоевом.

Старуха, хозяйка холодной и просторной избы, встретила ночёвщиков весело, радушно.

Она рассказала, что в начале войны её дочь, фабричная московская работница, привезла её в деревню к сыну, а сама уехала в Москву.

Сноха не захотела жить со свекровью, сын поселил мать в эту избу приносит понемногу то пшеница, то картофеля.

Младший сын её, Ваня, рабочий Тульского завода, пошёл на фронт добровольцем, воюет под Смоленском.

Крымов спросил: её.

— Что ж, вы так и живёте одна? Она ответила.

— И что ж, сижу в темноте, песни пою или сама себе сказки рассказываю.

Красноармейцы сварили чугунок картошки, поели, старуха стала у двери и сказала:

— Теперь вам песни петь буду.

И запела грубым, сильным голосом, голосом не старухи, а старика. Потом она сказала:

— Ох и здорова я была — конь! — И, помолчав, сообщила! — А позавчера Ваня мой приходил во сне ко мне. Сел на стол и в окно смотрит. Я «Ваня, Ваня», а он всё молчит, молчит и в окно смотрит.

Она предложила ночёвщикам все без остатка свои запасы:

дрова, горсть соли к картошке, а Крымов знал, как бабы в деревнях теперь скупы на соль; отдала подушку, тюфяк, набитый соломой, отдала своё одеяло.

Затем она поставила на стол лампочку без стекла, принесла пузырёк, где хранился у неё, видимо, заветный запас керосина, и вылила его в лампу.

Всё это она сделала с весёлой щедростью, добрая хозяйка жизни и великой земли, и ушла за перегородку на холодную половину своего дома, как мать, одарив всех любовью, теплом, пищей, светом.

Ночью Крымов лежал на соломе. Вот так же в белорусской деревне, на границе Черниговщины, он лежал в хате, и из темноты вышла высокая, худая старуха с взлохмаченными седыми волосами, заботливо поправила сползшее с него одеяло и стала крестить его...

Он вспомнил, как сентябрьской ночью на Украине раненный в грудь боец чуваш приполз в село. Две пожилые женщины втащили его в хату, где ночевал Крымов. Бинты, перевязанные вокруг груди раненого, пропитались кровью, набухли, набрякли, а затем ссохлись и стянули его, как железными обручами.

Раненый стал хрипеть, задыхаться. Женщины разрезали бинты, посадили раненого — сидя он легче дышал.

Так просидели они с ним до утра — раненый бредил, выкрикивал по-чувашски, и две крестьянки всю ночь поддерживали его руками, голосили, плакали: «Дытына ты моя ридна, сердце ты мое!»

Крымов закрыл глаза — и вдруг вспомнил детство, умершую мать. Он подумал о тяжёлом одиночестве, в котором жил после ухода жены, и подивился тому, что теперь, в пору грозы и сиротства — в лесах, в полях, он ни разу не ощутил себя одиноким.

Редко в жизни он ощущал с такой простой силой самое сердце идеи советского единства, как в эти месяцы. Он подумал, что фашисты решили разбить советское единство расовой рознью — глубине моря противопоставили мутный, зловонный поток расизма. В его душе жило сверлящее его день и ночь воспоминание о забрызганной кровью, волочащей ключья женской одежды тупой лобовой части немецкого танка. Ведь штурвал этого танка был в руках простого солдата, механика-водителя, ведь никто не приказывал ему, никто не стоял над ним в тот миг, когда он направил свой танк, на опушке леса под Прилуками, на беззащитных женщин и детей!

Жизнь Крымова сложилась в мире коммунистических представлений, да, собственно, в них и была его жизнь. Долгие годы дружбы и работы соединили его с коммунистами многих национальностей Европы, Америки, Азии.

Какой путь! Какой труд! Какая дружба!

Когда-то они встречались в Москве на Сапожковской площади, против Александровского сада и Кремлёвской стены. Добродушная старческая улыбка и милые морщины кареглазого Катаяма, Коларов, Торез, Тельман...

И ясно вспомнилось — однажды, выйдя из гостиницы «Люкс», шагали по Тверской, взявшись под руки, итальянцы, англичане, немцы, французы, индусы, болгары и пели русскую песню. Погода была октябрьская, сумрак, туман, холодный дождь, готовый обратиться в мокрый, серый снежок. Прохожие шли, подняв воротники, дребезжали пролётки извозчиков.

А они шли широкой цепью мимо неярких фонарей, окружённых туманным сиянием, я так странно выглядели чёрные с синевой глаза индуса у белой церквушки в Охотном ряду.

Кто из них помнит эту песню и кто жив из певших в тот вечер? Где они, кто из них участвует в битве с фашистами?

Все друзья-коммунисты знают, где Крымов, — он борется не только за себя, не только за русскую землю. Борьба идет за пролетарское дело во всём мире! Пусть друзья завидуют ему — он русский коммунист.

Но чем больше он узнавал о зверствах гитлеровских армий, тем напряжённей, тем с большей страстью искал он вокруг себя всё, что можно противопоставить националистическому бешенству, охватившему Германию. Мысленно сзывал он своих друзей, немецких коммунистов, смотрел им в глаза, расспрашивал их. Он видел и понимал, что мучившие его противоречия не выдуманы им, а бушуют в обезумевшем мире. И он, стиснув зубы, повторял про себя ленинские слова о том, что учение Маркса непобедимо потому, что оно верно.

По дороге в Тулу Крымов заехал в Ясную Поляну. В яснополянском доме царил предотъездная лихорадка со стен были сняты картины, со столов убраны скатерти, посуда,

книги. В прихожей стояли ящики, уже забитые, готовые к отправке.

Крымов был здесь уже однажды с экскурсией иностранных товарищей, в тихие, мирные времена. В ту пору работники музея старались создать в Ясной Поляне иллюзию жилого дома. Стол в столовой был накрыт, перед каждым прибором лежали ножи и вилки, на столах стояли свежие цветы. И всё же, когда, войдя в дом, Крымов надел на ноги матерчатые туфли и услышал постный голос экскурсовода, он почувствовал, что хозяин и хозяйка умерли, что это не жильё, а музей.

Но сейчас, вновь входя в этот дом, Крымов ощутил, что вьюга, распахнувшая все двери в России, выгоняющая людей из обжитых домов на черные осенние дороги, не щадящая ни мирной городской квартиры, ни деревенской избы, ни заброшенного лесного хуторка, не помиловала и дом Толстого, что и он готовится в путь, под дождём и снегом, вместе со всей страной, со всем народом. И яснополянский дом показался ему живым, страждущим, сущим среди сотен и тысяч живых, страждущих, сущих русских домов.

Он с поразительной ясностью представил себе — вот они, Лысые Горы, вот выезжает старый больной князь — и всё как бы слилось то, что происходит сейчас, сегодня, и то, что описано Толстым в книге с такой силой и правдой, что стало высшей реальностью прошедшей сто лет назад войны.

Наверное, Толстой волновался, страдал, описывая горькое отступление той далёкой войны, может быть, он даже заплакал, описывая смерть старого Болконского, которого лишь одна дочь смогла понять, когда бормотал он: «Душа болит».

Потом Крымов пошёл на могилу Толстого. Сырая, вязкая земля, сырой, недобрый воздух, шуршание под ногами осенних листьев. Странное, тяжёлое чувство! Одиночество, забытость этого засыпанного сухими кленовыми листьями холмика земли и живая, жгучая связь Толстого со всей сегодняшней жизнью. Он глядел на маленький холмик земли и с болью представлял себе, что через несколько дней к этой могиле подойдут немецкие офицеры, будут курить, громко разговаривать, смеяться...

Вдруг воздух наполнился воем, гудением, свистом — над могилой шли на бомбёжку Тулы «юнкерсы» в сопровождении «мессеров». А через минуту с севера послышался гул, десятки зенитных пушек били по немцам, и земля задрожала, колеблемая разрывами немецких бомб.

И Крымову подумалось, что дрожь земли передаётся мёртвому телу Толстого в могиле...

Вечером он попал в охваченную тревогой Тулу. С неба валил густой, мокрый снег, внезапно сменяемый холодным дождём. Улицы то белели, то вновь чернели от грязи и тёмных луж.

На окраине города, у красных кирпичных корпусов спиртового завода, красноармейцы и рабочие копали окопы и рвы, строили баррикады, устанавливали вдоль Орловского шоссе длинноствольные зенитные пушки, очевидно предполагая бить не по самолётам, а по танкам, которые могли прийти со стороны Ясной Поляны и Косой горы.

В этот день Крымов узнал, что генерал Петров и бригадный комиссар Шляпин убиты в рукопашном бою с немецкими автоматчиками.

Услышал он о том, что наступление немцев от Орла на Мценск и Чернь задержано мощным ударом танкового соединения полковника Катукова, выдвинутого по приказу Сталина из резерва.

Тёмным утром он пошёл к начальнику гарнизона разузнать, где находится штаб Юго-Западного фронта. Пожилой майор сказал: усталым голосом:

— Товарищ батальонный комиссар, кто вам в Туле скажет про Юго-Западный? Это вы только в Москве узнать сможете.

Крымов приехал в Москву ночью. Едва он вышел на площадь перед Курским вокзалом, как сверхнапряжение прошедших месяцев вдруг прошло — он был телесно измучен и снова одинок.

Он вышел на пустынную площадь, валил тяжёлый, мокрый снег. Крымов пошёл было в

сторону дома, но потом раздумал и вернулся в помещение вокзала. Здесь, в дыму махорки, среди негромких разговоров он почувствовал себя легче.

Утром Крымов зашел на квартиру к Штруму. Дворничиха сказала: ему, что Штрумы уехали в Казань.

— А сестра Людмилы Николаевны, не знаете, с ними или с матерью живёт? спросил: Крымов.

— Этого мы не знаем, — сказала: дворничиха. — У меня тоже сын на фронте не пишет он ничего

Не много раз за свои восемьсот лет переживала Москва такое тяжёлое время, как в октябрьские дни 1941 года. День и ночь уходили на восток эшелоны, день и ночь шли бои у Малоярославца и Можайска.

В Главном Политическом Управлении Крымова долго расспрашивали о положении под Тулой и обещали перебросить его на Юго-Западный фронт транспортным самолётом, который повезёт газеты и листовки. Ему предложили подождать несколько дней — самолёты летали не часто.

На третий день после приезда Крымов, выйдя на улицу, увидел толпы людей, идущих по пышному снегу к вокзалам.

Какой то человек, тяжело дыша, поставил на землю чемодан и, вытащив из кармана смятый номер «Правды», спросил: у Крымова

— Читали, товарищ военный, сводку? Первый раз с начала войны такая формулировка, — и он прочёл вслух: — «В течение ночи с 14 на 15 октября положение на Западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону...»

Он свернул дрожащими пальцами папиросу, затянулся и тотчас бросил её, подхватил чемодан и сказал:

— Иду пешком на Загорск...

На площади Маяковского Крымов встретил знакомого редактора, тот сказал: ему, что многие правительственные учреждения выехали из Москвы в Куйбышев, что на Каланчевской площади толпы людей ждут посадки в эшелоны, что метро остановлено и что час назад он видел человека, приехавшего с фронта, — бои идут на подступах к Москве.

Крымов ходил по городу. У него горело лицо, то и дело внезапное головокружение заставляло его прислоняться к стене, чтобы не упасть. Но он не понимал, что заболел.

Он позвонил по телефону знакомому полковнику, преподававшему в Военно-политической академии имени Ленина, — ему ответили, что он вместе со слушателями академии ушёл на фронт. Он позвонил в Главное Политическое Управление, спросил: начальника отдела, обещавшего устроить его на самолёт. Дежурный сказал: ему:

— Выбыл со всем отделом этим утром.

Когда Крымов спросил, не оставил ли начальник отдела распоряжения по его поводу, дежурный просил подождать и надолго ушёл. Крымов, слушая потрескивание в телефонной трубке, успел решить, что никаких распоряжении в предотъездной суете начальник отдела на его счет не оставлял, и он сейчас отправится в Московский Комитет партии или к начальнику гарнизона, попросится на Московский фронт — защищать город. Какие уж там самолёты. Но дежурный сообщил ему, что по поводу него есть распоряжение — явиться с вещами в наркомат.

Уже стемнело, когда Крымов пришёл в бюро пропусков Наркомата Оборонны. Ощущение жара сменилось сильным ознобом — он спросил: у дежурного, есть ли медпункт в наркомате, и тот взял за руку стучащего зубами Крымова и повёл по пустому тёмному коридору.

Сестра, посмотрев на него, покачала головой, и по тому, каким ледяным показалось ему стекло градусника, он понял, что у него сильный жар. Сестра сказала: в телефон:

— Пришлите машину, температура сорок и две десятых.

Он пролежал в госпитале около трёх недель. У него оказалось крупозное воспаление лёгких. Сиделки рассказывали ему, что первые дни он бредил и кричал. «Не увозите меня из Москвы... Где я?.. Я хочу в Москву...» — и вскакивал с койки, а его держали за руки, втолковывали ему, что он в Москве.

Крымов вышел из госпиталя в первых числах ноября.

За те дни, что он пролежал в госпитале, казалось, город преобразился. Черты грозной суровости определили новый облик военной Москвы. Не было суеты октябрьских дней, людей, волокущих тележки, санки с багажом в сторону вокзалов, не было толчеи в магазинах, набитых трамваев, тревожного гула голосов.

В этот час, когда беда нависла над советскими землями, когда откованное в Руре оружие бряцало и гремело в Подмосковье, когда чёрные крупковские танки ломали лбами осины и ёлочки в рощах под Малоярославцем, когда ракетчики освещали зимнее небо, нависшее над Кремлём, зловещими анилиновыми огнями, сработанными в Баден-Сода-Хе-мише Фабрик, когда картавые окрики боевых немецких команд глухо и покорно повторялись эхом на лесных полянках, а эфир был прошит жестокими, коротковолновыми приказами: «Folgen... freiweg... Richt, Feuer.. direct richt»[За мной... прямо... наводи огонь... Наводи прямой наводкой...], произносимыми на прусский, баварский, саксонский и братенбургский манер, — именно в этот час спокойная и суровая Москва была грозным военным вождём русских городов, сёл и земель.

По пустынным улицам, мимо заложённых мешками с песком витрин, проезжали грузовики с войсками и окрашенные в цвет снега танки и броневики, шагали красноармейские патрули. Улицы покрылись баррикадами, построенными из толстых рыжих сосновых брёвен и мешков с песком, противотанковые ежи, опутанные колючей проволокой, преграждали подъезды к заставам. На перекрёстках стояли военные регулировщики, милиционеры с винтовками. И всюду, куда ни шел Крымов, строилась оборона Москва готовилась принять бой.

Это был нахмуренный город солдат, город-ополченец, и Крымов подумал вот лицо Москвы, столицы Советского государства.

Вечером шестого ноября он слышал по радио речь Сталина.

В час, когда гитлеровские войска стояли у стен Москвы, Сталин уверенно и спокойно объявил о крахе гитлеровского плана молниеносной войны против советского народа, предсказал: гибель гитлеровского государства. Он сказал: о причинах отступления и временных неудачах Красной Армии, об отсутствии второго фронта, о временном преимуществе немцев в танках и авиации.

Сталин говорил о том, что Красная Армия ведёт справедливую и освободительную войну, назвал лидеров гитлеровской партии и гитлеровского командования людьми, потерявшими человеческий облик, павшими до уровня диких зверей. Под бурные рукоплескания и крики «ура» он говорил о решимости, вызревшей в сердцах самого великодушного народа в мире. «Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они её получают».

Седьмого ноября Крымов попал на Красную площадь — ему дали пропуск в Московском Комитете партии.

Туманным, мгlistым утром он шёл на Красную площадь и вспоминал парады прошлых лет, октябрьские и майские, веселые, возбуждённые лица людей, спешащих с детьми к трибунам у Кремлевской стены.

Он пришёл на трибуну и огляделся. Была ли в мире картина величественней и суровой этой? Спасская башня, одновременно тяжёлая и стройная, закрывала своей мощной узорной каменной грудью западную часть неба, купола Василия Блаженного были подёрнуты туманом, и казалось, небесный легкий туман, а не земля родили эти ни с чем несравнимые, всегда новые, всегда неожиданные, сколько бы ни смотрел на них глаз, формы — не то голуби, не то облака, не то мечта человека, обращенная в камень, не то камень, обращённые в живую мысль и мечту человека.

Ели вокруг мавзолея были неподвижны. В каменной печали их тяжелых ветвей едва едва проступала голубизна жизни, высоко над ними поднимался узор Кремлёвской стены, его чеканная резкость была смягчена белизной изморози. Снег то переставал, то валил мягкими хлопьями, и безжалостный камень Лобного места вдруг растворялся в снегу, и Минин и Пожарский уходили в мутную мглу.

А Красная площадь перед мавзолеем казалась Крымову широкой дышащей грудью России — выпуклая, живая грудь, над которой поднимался тёплый пар дыхания. И то широкое небо, что видел он в осенних Брянских лесах, русское небо, впитавшее в себя холод военного ненастья, в темных, идущих до самого солнца, до самых звёзд, тучах низко опустилось над Кремлём.

Но чем суровей, чем угрюмей была картина этого тёмного утра, тем всё же прекрасней и трогательней была она. И самое прекрасное — люди! В шинелях, чинно подпоясанных ремнями, в мятых шапках-ушанках, в больших кирзовых сапогах стояли в строю красноармейцы. Они собрались сюда не после долгой казарменной учёбы, а пришли из боевых частей, из боевого резерва, с огневых артиллерийских позиций.

То стояло войско народной Отечественной войны. Красноармейцы украдкой утирали лица от тающего снега, кто брезентовой потемневшей от влаги варежкой, кто платочком, кто ладонью.

На трибунах рядом с Крымовым толпились люди в кожанках и шинелях, женщины в платках и ватниках, военные с зелёными фронтовыми «шпалами» и «ромбами» в петлицах.

— Денёк сегодня не лётный, — сказала: стоявшая возле Крымова женщина, погода очень хорошая, — и стёрла платочком капли со лба.

Крымову было трудно стоять после болезни, и он присел на барьер...

Внутреннее чувство Крымова с силой и ясностью рождало одно воспоминание, особенно дорогое и близкое ему. В дни гражданской войны, голода шли на Театральную площадь нестройные шеренги людей в шинелях и в кожаных куртках, в солдатских фуражках, кепках — рабочие полки, уходящие на польский фронт, отцы, дяди, старшие братья тех, что сегодня стояли перед Ленинским мавзолеем И на наскоро сколоченном деревянном помосте — Ленин! Ленин, с открытой головой, подавшись вперёд, приветствовал и напутствовал их! И множество глаз, взволнованных, напряжённых, обращённых к нему...

По трибунам прошёл шелест голосов, все головы повернулись, все глаза смотрели в одну точку — Сталин медленно поднимался по ступеням мавзолея. Он прошел по трибуне мавзолея и остановился, подавшись немного вперёд.

Протяжно разнеслась над площадью воинская команда. Принимавший парад маршал Будённый стал объезжать войска и здороваться с ними. Окончив объезд войск, Будённый быстрой походкой поднялся на мавзолей. Все замерло в тишине. Сталин оглядел построенные перед ним полки, высокие башни Кремля, посмотрел на тёмное небо.

Сталин приблизился к микрофону, заговорил. Издали Крымов с трудом мог разглядеть его лицо — туман и утренняя мгла мешали смотреть. Но неторопливые слова Сталина отчетливо доходили до него.

— Бывали дни, когда наша страна находилась в ещё более тяжёлом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции, — и он заговорил о том времени, о тех годах, которые только что вспоминал Крымов, заговорил о трудностях, об интервентах, о голоде, о нехватке оружия...

Сталин вспоминал трудные годы революционной борьбы народа, он о них думал, глядя на стены Кремля, на тёмное зимнее небо, на громадную, многовековую Красную площадь. И когда он, немного наклонившись вперёд, произнёс «Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов», волнение перехватило дыхание Крымова.

А Сталин сравнивал положение народа, боровшегося за свою свободу в первую годовщину революции, с нынешним временем. Не повышая голоса, едва заметно наклоняя в такт словам голову, он сказал: о нынешней силе советского народа, которая решит

победоносный исход войны. Торжественно в тишине Красной площади прозвучали слова:

— Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так же, как двадцать три года назад.

Он смахнул ладонью с лица снег тем же жестом, каким делали это стоявшие на площади красноармейцы, и, оглядев всю ширь Красной площади, спросил:

— Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?

Крымов не первый раз слышал Сталина, но теперь, казалось ему, он особенно ясно понял, почему так просто, не применяя никаких ораторских приемов, говорит Сталин. «Его спокойствие, — подумал Крымов, — основано на том, что он убежден в разумности миллионов людей, с которыми он говорит, к которым он обращается».

— Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощённые народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая, — говорил Сталин, обращаясь к стоявшим на Красной площади.

Крымов гордился и радовался в эти минуты, что честно прошёл через испытания войны. Он был коммунистом, и он гордился своими товарищами-коммунистами.

В тяжёлые месяцы отступления эти боевые организаторы и духовные руководители вооружённого народа говорили: в этой войне надо знать не только тактику и уставы, в войне надо руководить душой человека... Мы участники справедливой, освободительной битвы...

Волнение людей на площади всё росло... Сталин заканчивал речь.

— Смерть немецким оккупантам! Он произнёс эти три слова быстрым, сильным, гневным и молодым голосом.

— Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость!

Под знаменем Ленина — вперёд к победе!

Так закончил свою речь Сталин в день, когда гитлеровские полчища стояли под Москвой.

Двенадцатого ноября 1941 года Крымов попал в штаб Юго-Западного фронта. Вскоре он был назначен комиссаром моторизованного полка и познал счастье победы — его полк участвовал в освобождении Ельца. Он видел, как над снежным полем ветер нёс вороха розовой, голубой, синей бумаги — документы разгромленного штаба дивизии генерала Сикст фон Армин. Он видел пленных с головами, обвязанными полотенцами и бабьими платками, с ногами, обвязанными мешками, с ватными одеялами, накинутыми на плечи. Он видел, как разбитые машины, чёрные крупновские пушки, мёртвые тела врагов в серых бумажных фуфайках, в худых шинелишках пятнали белый покров воронежских зимних полей.

Словно торжественный удар колокола, прошла от Карельского до Южного фронта весть о разгроме немцев под Москвой.

В ночь, когда Крымов узнал о победе под Москвой, его охватило чувство такого счастья, какого, казалось, он не испытывал никогда. Он вышел из землянки, где ночевал с командиром полка, жестокий мороз охолодил ему ноздри, прижёл скулы. Покрытая снегом холмистая долина светлела смутным, неземным светом под ясным, звездным небом. Мерцание звёзд создавало ощущение быстрого множественного движения, и ему казалось, что весть идёт от звезды к звезде и небо охвачено радостным волнением. Он снял шапку и стоял, не чувствуя мороза.

Вновь и вновь перечитывал он записанное радистом сообщение о том, как войска генералов Лелюшенко, Кузнецова, Рокоссовского, Говорова, Болдина, Голикова гонят от Москвы разбитые фланговые группировки немцев, бросающих технику и оружие.

Названия освобождённых подмосковных городов: Рогачёва. Клина, Яхромы,

Солнечногорска, Истры, Венёва, Сталиногорска, Михайлова, Епифани — звучали для него как-то по-весеннему радостно и молодо. Они точно воскресли, вновь родились, вырванные из-под чёрной пелены, прикрывшей их.

Сколько раз во время отступления думал он, мечтал о часе возмездия — и вот этот час, наконец, пришёл!

Он представлял себе хорошо знакомые ему подмосковные леса, разбитые немецкие блиндажи, захваченные тяжёлые пушки на высоких массивных колёсах, танки, броневики, семитонные грузовики, сваленные в кучи винтовки, чёрные автоматы, искорёженные пулемёты.

Крымов всегда подолгу разговаривал с красноармейцами, и в эти дни он проводил часы в беседах в миномётных и артиллерийских расчётах, в стрелковых отделениях. Он видел, что лишним было разъяснять людям все огромное значение московской победы — народ понимал её во всей глубине. Каждый красноармеец нёс в душе своей постоянную тревогу о судьбе Москвы; во время немецкого наступления на Москву боль и тревога эти росли, становились горше, острее. И в тот день, когда армия узнала о разгроме немцев под Москвой, вздох облегчения вырвался из миллионов грудей. Крымов в своей работе ясно ощутил всенародную глубину этого события.

Именно в эти дни к чувству ненависти к насильникам, окрашенному в трагические тона, к чувству всенародной беды прибавился новый оттенок — злой насмешки, презрения, народной издевки.

В эти дни немцев перестали называть «он», а во всех блиндажах, окопах, в танковых экипажах, в миномётных и орудийных расчётах стали именовать их насмешливо: «фриц», «карлуша», «ганс».

Именно в эти дни стали стихийно рождаться десятки и сотни облетевших все фронты, зашедших в глубокий тыл солдатских юмористических рассказов, сказок, анекдотов о глупости Гитлера, о чванливости и трусости его генералов.

Именно в эту пору особенно широко пошли клички немецких самолётов «горбач», «верблюд», «гитара», «костыль», «скрипун».

Именно в эту пору стали говорить «автомат у фрица дурак».

Появление этих блиндажных, эшелонных, аэродромных рассказов и кличек знаменовало окончательную кристаллизацию чувства душевного народного превосходства над противником.

В мае Крымов был назначен комиссаром противотанковой бригады.

Германская армия вновь начала наступать. Вновь воздух был полон гудения немецких бомбардировщиков, горели деревни, необрушенный хлеб стоял в полях, рушились элеваторы и железнодорожные мосты...

Не к Бугу, не к Днепру отходили теперь войска Советской Армии, за их спиной были Дон, Волга, а за Волгой — степи Казахстана.

В чём причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны? Они прежде всего в том, что германские войска к моменту начала войны были уже целиком отмотобилизованы, и 170 дивизий, придвинутые Гитлером к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было ещё отмотобилизоваться и придвинуться к границам. Причины отступления и в том, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении. Одна из причин неудач Красной Армии состояла ещё в отсутствии второго фронта в Европе против немецко-фашистских войск. Немцы, считая свой тыл на западе обеспеченным, имели возможность двинуть все свои войска и войска своих союзников против нашей страны. Наконец, причина неудач Красной Армии в первый период войны состояла в недостатке танков и отчасти авиации.

В первые месяцы войны, несмотря на то, что советская танковая промышленность работала очень хорошо и вырабатывала немало превосходных танков, лучших по качеству,

чем немецкие, немцы вырабатывали гораздо больше танков, ибо они имели в своём распоряжении не только свою танковую промышленность, но и промышленность Чехословакии, Бельгии, Голландии, Франции.

В сопоставлении стремительно наступавших немцев с отступавшими русскими не все понимали истину подлинно народной войны в искусственно вызревшей демонстративной и механической силе гитлеровских войск таилось бессилие, а кажущаяся слабость Советской Армии готовилась обратиться в силу.

Бои 1941 года, бои поры отступления, были самыми тяжёлыми и самыми трудными боями войны. В этих боях постепенно изменялось соотношение сил борющихся сторон в пользу Советской Армии.

В жестоких, тяжёлых боях отступления созревала грядущая победа.

Народный характер многогранен. Воинская доблесть тоже многогранна, имеет десятки, а может быть, сотни своих частных проявлений. Мир увидел людей, мужественно шедших вперёд, и значит на смерть, когда за спиной ещё были огромные русские пространства, людей, которые дрались с особенным ожесточением, потому что видели силу врага, превосходящую их силу; то были люди, чьи мёртвые тела не были преданы торжественному погребению, безвестные герои первого периода войны. Им Россия во многом обязана своим спасением.

Первый год войны показал, как богата Советская Россия такими людьми. Весь год шли сотни и тысячи боев, то быстротечных, то упорных, длившихся, не затихая ни днём, ни ночью, долгие месяцы.

Эти бои шли на безымённых высотах, на околицах малых деревень, в лесах, на поросших травой просёлках, на болотах, на нескошенных полях, на склонах балок, яров, у паромных переправ.

Эти бои шли у стен городов героев — Ленинграда, Одессы, Севастополя, у стен Москвы и Тулы, на берегах великих русских рек.

Партия, её Центральный Комитет, комиссары дивизий и полков, политруки рот и взводов, рядовые коммунисты организовывали боевую мощь, моральную силу Красной Армии. Партия вела в бой танковые корпуса и пехотные дивизии, большевики, Коммунистическая партия организовывали день ото дня великую оборону, ковали дисциплину, техническую выучку, боевое умение войск.

Эти бои окончательно разрушили главные основы гитлеровской стратегии молниеносной войны.

Стратегия блицкрига была построена на том, что пространства России от западных ее границ до Уральского хребта будут пройдены за восемь недель. Этот срок Гитлер исчислил, разделив протяжённость советской земли на средний дневной пробег немецких танков, моторизованной артиллерии и моторизованной пехоты. Расчёт этот был перечёркнут, он оказался ни к чёрту не годен. А ведь из этого расчета вытекали все остальные предпосылки гитлеровской стратегии уничтожение советской тяжелой промышленности, развал советского тыла, невозможность для командования Красной Армии мобилизовать резервы.

Но за год Россия отступила на тысячу километров. Тянулись на восток эшелоны, везущие станки, машины, котлы, моторы, балетные декорации, библиотеки, собрания редких рукописей, картины Репина и Рафаэля, микроскопы, рефлекторы астрономических обсерватории, миллионы подушек, одеял, домашние вещи, миллионы фотографий отцов и дедов, прабабок, спящих вечным сном на Украине, в Белоруссии, в Крыму, в Молдавии.

Но только ослеплённым пламенем и дымом военных пожаров людям могло казаться, что этот год был лишь годом страданий и отступления, годом разрухи. Централизованная мощь государства — Комитет Обороны организовал перемещение миллионов людей и огромных масс промышленного оборудования из западных районов на восток, где планирующий разум Советского государства создал мощную угольную и металлургическую промышленность Урала и Сибири.

Члены Центрального Комитета партии, руководители обкомов партии, работники

райкомов, низовые партийные организации, десятки тысяч коммунистов возглавили работу по созданию новых заводов, по закладке новых шахт и рудников, по строительству жилья для рабочих, эвакуированных на восток. Партия повела рабочие батальоны на трудный подвиг сквозь мрак сибирских ночей, под вой метелей, среди сугробов снега.

Этот год стал годом героической работы могучих оборонных предприятий, годом, в который среди снегов Сибири и Урала выросли сотни новых, дышащих пламенем заводов. На них в бессонном тяжком труде рабочие, мастера, инженеры множили военную мощь Советского государства. И одновременно энергия миллионов людей, работавших на посудных, картонажных, карандашных, мебельных, обувных, чулочных, кондитерских фабриках, в тысячах мастерских и артелей, была переключена на дело обороны эти тысячи и десятки тысяч малых предприятий стали солдатами так же, как стали солдатами тысячи тысяч крестьян, агрономов, учителей, счетоводов, не помышлявших год назад о военной службе. Эта огромная работа многим тогда казалась незаметной, ибо часто самое огромное кажется незаметным.

Гнев, боль, страдания народа обращались в сталь, во взрывчатку и броню, в орудийные стволы, в моторы бомбардировщиков.

Вера народа в правду, любовь народа к свободе обращались в оружие, в прочную связь солдат и командиров Красной Армии между собой.

За год произошел переворот в соотношении борющихся сил. Преимущества военной и материальной внезапности были утеряны Германией. Со всё нарастающим размахом работали в глубоком тылу советские танковые, авиационные и орудийные заводы; непрерывно идущая вверх кривая военного производства сулила победу советским рабочим и инженерам в битве за количество и качество военных моторов.

Этот год работы на оборону, эти оборонительные бои, эти вёрсты отступления явились той суровой школой, где народ и армия изживали ошибки, изживали робость, учились, где познавался враг.

Часто в течение этого года советские люди в минуты наивысшего напряжения сил думали о втором фронте, ожидали его открытия. Эти мысли основывались на естественном и казавшемся в ту пору логическим взгляде — ведь и камни не могли остаться равнодушными к великим жертвам и страданиям народа, отстаивавшего свою независимость и свободу на залитой кровью, горящей, истерзанной земле.

И пулемётчик, обвязанный окровавленным бинтом, на мгновение отрываясь от раскалённого пулемёта, оглядывая подползающего к нему политрука воспалёнными от бессонницы и пороховых газов глазами, спрашивал!

— Как там насчёт второго фронта? Ничего не слышно?

А газета «Нью Йорк таймс» публиковала в это время слова сенатора Гарри Трумэна: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывает будет Россия, то нам следует помогать Германии и, таким образом, пусть они убивают как можно больше». А ведь и камни, казалось, не могли остаться равнодушными в эту тяжёлую, страшную пору.

Если бы летом 1942 года американцы и англичане по-настоящему включились в борьбу и открыли второй фронт в Европе, война, вероятно, закончилась бы гораздо быстрее, и сотни тысяч, а может быть, миллионы жизней были сохранены.

Зимние победы Красной Армии создали предпосылки для быстрого разгрома немецко-фашистских войск при войне на два фронта.

Но люди, определяющие стратегию англо-американских вооружённых сил, во что бы то ни стало хотели, чтобы Советский Союз вышел из войны возможно больше ослабленный, обескровленный «Пусть убивают как можно больше...»

Борьба советского народа с немецко-фашистскими захватчиками продолжалась один на один.

В кампании 1942 года Гитлер, пользуясь отсутствием второго фронта, сконцентрировал на советско-германском фронте 179 немецких дивизий из общего количества 256, имевшихся

в ту пору у Германии. Кроме того, германское командование перебросило сюда 61 дивизию своих союзников. Всего против Красной Армии в кампании 1942 года выступило 240 дивизий, более 3 миллионов человек, то есть вдвое больше войск, чем было выставлено Германией, Австро-Венгрией и Турцией в войне против России в 1914 году. Гитлеровское командование сосредоточило главную массу этих войск между Орлом и Лозовой на 500 километровой участке фронта. В конце мая немцы начали наступать на Харьковском направлении. В конце июня немцы стали наступать на Курском направлении. 2 июля немецкие танки и пехота перешли в наступление на Белгородском и Волчанском направлениях. 3 июля пал Севастополь.

Гитлер предпринял это наступление, продолжая, как ему казалось, войну, начатую 22 июня 1941 года. Но это только казалось ему. Действительность изменилась, неизменной осталась лишь стратегия Гитлера.

Но фронт был вновь прорван. Вновь был занят Ростов, немцы прорвались на Кавказ. И некоторым людям, захваченным вихрем событий, находившимся в дымном и чадном чреве войны, казалось, что продолжается то, чем началась война, что идёт победоносный гитлеровский блицкриг. Но время не прошло даром. То, что казалось немецкой победой, не было победой.

После ухода Серёжи в доме Шапошниковых стало печально и тихо. Александра Владимировна много работала, обследовала предприятия, готовящие смесь для противотанковых бутылок. Возвращалась Александра Владимировна поздно, завод стоял далеко от центра города, автобусы туда не ходили, случалось подолгу дожидаться попутной машины, а несколько раз она шла пешком от завода до дома.

Однажды Александра Владимировна была настолько утомлена, что решила позвонить Софье Осиповне в госпиталь, и та послала за ней грузовую полуторку Александра Владимировна по дороге домой заехала в Бекетовку, в казармы, где находился Серёжа.

Но казарма оказалась пустой, накануне рабочие отряды ушли в степь. Когда она сказала: об этом дома, дочери тревожно поглядели на неё, но она была спокойна и, даже улыбаясь, рассказала, как водитель грузовика на её вопрос о Софье Осиповне ответил:

— Товарищ Левинтон — человек справедливый и хирург знаменитый, только характер тяжеленек.

Действительно, Софья Осиповна в последние дни стала нервна, приходила к Шапошниковым не часто, очень уж много было раненых. Их везли в Сталинград из-за Дона. На подступах к Дону день и ночь шло огромное сражение.

Как-то она сказала:

— Тяжело мне. Все почему-то думают, что я железная баба .

А однажды, придя из госпиталя, она расплакалась:

— Ах, какой мальчик умер час назад на операционном столе! Какие глаза, какая трогательная, милая улыбка

В последние недели всё чаще объявляли воздушные тревоги.

Днём самолёты летали очень высоко, оставляя в небе длинные пушистые спирали, и все уже знали, что летит разведчик — фотографирует заводы, порт, Волгу. А затем почти каждую ночь стали прилетать одиночные самолёты и сбрасывать бомбы — гул разрывов раздавался над замершим городом.

Степан Фёдорович с семьёй почти не виделся — электростанцию перевели на военное положение. После взрывов он звонил по телефону и спрашивал:

— Как у вас, все благополучно!

В конце июля и в первых числах августа в сводках Совинформбюро появились знакомые всем сталинградцам названия Цимтянская, Клетская, Котельниково-места, прилегающие к Сталинграду и слитые с ним.

Но ещё до того, как эти места были объявлены в сводках, из Котельниково, Клетской, из Зимовников стали прибывать беженцы — знакомые, родичи, земляки, в чьих ушах уже стоял грохот надвигавшейся немецкой лавины. А Софья Осиповна и Вера ежедневно видели

всё новых раненых. Эти люди два-три дня назад участвовали в боях за Доном, и их рассказы наполняли сердце тревогой, — война день и ночь, не ведая отдыха, приближалась к Волге.

Все семейные разговоры были связаны с войной если начинали говорить о работе Виктора Павловича, то тотчас вспоминали его мать, Анну Семеновну, её трагическую, одинокую судьбу; заговаривали о Людмиле — и сразу же разговор переходил на Толю, жив ли он. Горе подошло вплотную, вот-вот распахнёт двери дома.

И получилось так, что единственным поводом для шуток и смеха был разговор о приезде Новикова.

Как-то вечером Софья Осиповна устроила за чаепитием «генеральный разбор» Новикова.

Александра Владимировна сказала:

— Напряжённый он какой то, в его присутствии я чувствую себя неловко, не то, кажется, вот вот он обидится, не то он тебя обидит, я все думаю — хорошо нашему Серёже иметь такого начальника или плохо?

— Ах, женщины, женщины, — проговорила Софья Осиповна, точно сама не была женщиной и женские слабости её не касались, — в чём разгадка его успеха? Он герой своего времени. А женщины любят героев времени. Но шутка ли, исчез на целую неделю.

— Ты, тётенька Женя, не беспокойся, он не удрал, — сказала: Вера, обязательно вернётся, ты его приворожила.

— Конечно, конечно, — под общий смех прибавила Софья Осиповна, — он чемодан здесь оставил.

Женя, слушая эти разговоры, то начинала сердиться, то смеялась.

— Знаешь, Софья Осиповна, — сказала: она, — мне кажется, ты о Новикове говоришь больше всех, и уж во всяком случае больше меня.

Но и она не замечала, что слушала насмешки очень уж терпеливо, и это объяснялось не чем иным, как удовольствием, которое ей доставляли такие шуточные разговоры.

Она не обладала самонадеянностью, спокойной рассудительностью, обычно свойственной очень красивым женщинам, уверенным в своем всегдашнем успехе, не ведающим страха и счастья страстей. Она мало следила за своей внешностью, причёсывалась не так, как следовало ей причёсываться, могла надеть туфли на стоптанных каблуках, старое мешковатое пальто. Сестры считали, что это Крымов плохо повлиял на Женю. «Конь и трепетная лань», — смеялась когда то Людмила «Причём конь — это я», — сказала: Женя. Когда в неё влюблялись, а это случалось часто, она огорчалась и говорила! «Вот я ещё одного хорошего товарища потеряла».

Она испытывала перед своими «ухажёрами» какое то странное чувство вины, и сейчас она словно была виновата перед Новиковым. Сильный, суровый человек, весь поглощённый трудным, ответственным делом, — и вдруг в глазах его появляется выражение растерянности.

Последние дни ей вспоминалась совместная жизнь с Крымовым. Она всё жалела его, но не понимала, что жалость эта не вызывает в ней желания вернуться к нему, а наоборот, именно теперь она до конца ощутила непоправимость разрыва.

Когда Крымов приезжал к старшей сестре на дачу и гулял по дорожкам, Людмила для предосторожности шла с ним рядом, зная по опыту, что он обязательно вытопчет «копытами» флоксы и другие драгоценности подмосковной дачи.

Во время чаепития Крымов обычно впадал в разговорный пыл, и Людмила под общий смех стелила перед ним на вышитую скатерть салфеточку и убирала свои любимые чехонинские чашки.

Он находил папиросы слишком слабыми и курил крепкий табак, сворачивая огромные самокрутки. Когда он размахивав руками, искры сыпались из этих папирос, прожигали скатерть.

Крымов не любил музыку, был совершенно равнодушен к красивым и изящным предметам, но природу он чувствовал глубоко и хорошо рассказывал о ней. Крым,

Кавказское побережье он не любил и как-то в Мисхоре во время отпуска почти весь месяц пролежал в комнате на диване, опустив от солнца занавески, и, посыпая паркет серым пеплом, читал с утра до вечера. Но когда ветер поднял большую волну, Крымов пошёл к морю и, вернувшись поздно ночью, сказал: Евгении Николаевне:

— Хорошо, похоже на революцию.

В еде у него были странные вкусы. Однажды, когда у них должен был обедать товарищ, приехавший из Вены, Крымов сказал: Евгении Николаевне:

— Надо бы к обеду что-нибудь повкуснее.

— Что, например, ты посоветуй! — сказала: Женья

— Ну, я не знаю, но хорошо бы гороховый суп, а на второе печёнку с луком...

Крымов был сильным человеком, однажды она слушала его доклад в Октябрьскую годовщину на большом московском заводе, и когда его спокойный голос повышался и кулак, поднятый точно молот, опускался вниз, по огромному залу проходил ветерок волнения, а Женья чувствовала, что у неё холодеют кончики пальцев.

И всё же ей теперь до слез было жалко его. Весь день ей хотелось плакать, и вечером, после шуточного разговора, затеянного Софьей Осиповной, Женья пошла в ванную комнату и заперлась там, сказала: что будет мыть голову.

Но горячая вода остывала в кастрюле, а Женья сидела на краешке ванны и думала: «Какими чужими могут быть иногда близкие люди, как они ничего не могут понять, даже мама...»

Им всё кажется, что этот случайный Новиков её занимает, а она неотступно думала совсем, совсем о другом. Всё, что было связано с Крымовым, когда то казалось ей мудростью и романтикой. Его странности, его прошлое, друзья — всё восхищало её. Он в то время работал в журналах, освещающих международное рабочее движение, участвовал в съездах, много писал о революционном движении в Европе.

К ним иногда приезжали в гости иностранные товарищи, участники съездов. Все они пробовали с ней говорить по-русски и все коверкали русские слова.

С Крымовым иностранные друзья разговаривали горячо, подолгу, иногда беседы у них длились до двух-трех часов ночи. Когда разговор шёл на французском языке, знакомом Жене с детства, она внимательно вслушивалась, но эти оживлённые рассказы и споры её никогда не захватывали. Назывались люди, о которых она не знала, спорили о статьях, которых она не читала.

Как-то она сказала мужу:

— Знаешь, у меня такое ощущение. Словно я аккомпанирую людям, не имеющим музыкального слуха. Они отличают тона, а полтона и четверть тона не различают. Кажется, дело не только в языке, пожалуй, мы разные люди.

Он внезапно рассердился.

— При чём тут они, себя вини в этом. Круг твоих интересов ограничен. Может быть, у тебя именно и нет музыкального слуха.

Она хотела наговорить ему резкостей, но с внезапным смирением тихо сказала:

— У нас и с тобой не много общего.

Однажды к ним пришла большая компания, ватага, как говорил Крымов. Две полные и низкорослые круглолицые учёные женщины из Института мирового хозяйства, индус, которого прозвали Николаем Ивановичем, испанец, англичанин, немец, француз.

Настроение у всех было веселое, стали просить Николая Ивановича спеть. Голос его звучал странно — высокий, резкий, и тут же печальные, певучие звуки.

Этот человек в золотых очках, окончивший два университета, автор толстой книги, лежавшей на столе у Крымова, человек с вежливой и холодной улыбкой, привыкший выступать на европейских конгрессах, словно преобразился.

Женья, вслушиваясь в странные, непривычные звуки, искоса поглядывала на индуса — он сидел на диване в позе, которую запечатлели учебники географии, поджав под себя ноги.

Индус, видимо взволнованный, снял дрожащими тонкими, костяными пальцами очки,

стал протирать их белоснежным платком, и близорукие глаза его были полны влаги, стали грустными и милыми.

Решили, что каждый споёт на своём родном языке.

Запел Шарль, журналист, друг Барбюса, в неряшливом, помятом пиджаке, со спутанными волосами, падающими на лоб. Он пел тоненьким, дрожащим голосом песенку фабричных работниц. Его песенка с нарочито простыми, детски наивными словами трогала своей недоуменной грустью.

Потом запел Фриц Гаккен, просидевший полжизни в тюрьмах, профессор-экономист, высокий, с сухим длинным лицом. Он пел, положив на стол сжатые кулаки, известную по исполнению Эрнеста Буша песню «Wir sind die Moorsoldaten» [Мы болотные солдаты]. Песенка обречённых на смерть. И чем дольше он пел, тем угрюмей становилось выражение его лица. Он, видимо, считал, что поёт песню о себе самом, о своей судьбе.

Генри, красивый юноша, приехавший по приглашению ВЦСПС от союза торговых моряков, пел стоя, заложив руки в карманы. Казалось, он поёт весёлую, задорную песню, но слова звучали тревожно — моряк думал, что ждет его впереди, загадывал о тех, кого оставил на берегу.

Когда предложили спеть испанцу, он закашлялся, а потом встал руки по швам и запел «Интернационал».

Все поднялись и, стоя, запели, каждый на своём языке.

Женя была охвачена общим торжественным чувством. Она увидела, как по щекам Крымова сбежали две слезы.

Они простились с учёными женщинами, не пожелавшими идти в ресторан, пообедали в шашлычной и пошли гулять по Тверскому бульвару.

Крымов предложил пойти по Малой Никитской на новую территорию Зоосада.

Генри, не любивший бесцельных прогулок, — он совершал по плану экскурсии по примечательным местам в Москве, — с удовольствием поддержал Крымова. В Зоологическом саду среди посетителей им всем понравилась одна пара — человек лет сорока, с утомлённым, спокойным лицом, судя по тёмным большим рукам, заводской рабочий, вёл под руку старуху в коричневом деревенском жакете с белым парадным платочком на седой голове.

Видимо, старуха приехала из деревни гостить. Морщинистое лицо её казалось безжизненным, а глаза весело блестели» Глядя на лося, она сказала:

— Ох, гладкий шут, на таком пахать — трактор!

Она была полна интереса ко всему, оглядывалась, гордясь перед людьми сыном

Они некоторое время ходили следом за этой парой. Потом они направились к площадке молодняка, но набежала тень, и хлынул дождь. Англичанин снял пиджак, поднял его над Жениной головой. В канаве зашумела мутная вода и залила всем ноги. И от этих милых неудобств стало весело, легко, безопасно, как бывало лишь в детстве.

Стремительно взошло солнце, и серая вода в лужах заблестела, деревья, облитые дождём, вспыхнули зеленью. Среди травы на площадке молодняка росли ромашки, и на каждой из них блестели дрожащие капли воды.

— Парадиз, — сказал: немец.

Медвежонок, подтягивая тяжёлое тельце, полез на дерево, и блестящие капли воды упали с ветвей. А в траве затеялась игра — жилистые рыжие щенки динго с закрученными хвостами тормозили ставшего на задние лапы медвежонка, волчата, шевеля лопатками, как колёсами, теребили его, и он поворачивался к ним, ловчась отпустить оплеуху своей пухлой, детской лапой. С дерева свалился второй медвежонок, и все смешалось в весёлый, пёстрый, шерстяной ком, катящийся по траве. В это время из кустарника вышел лисёнок. Он, вытягивая мордочку, тревожно мёл хвостом и волновался: глаза блестели, а худые, облинявшие бока часто и высоки поднимались. Ему страстно хотелось принять участие в игре, он делал несколько крадущихся шагов, но, охваченный страхом, принимался брюшком к земле и замирал. Внезапно он подпрыгнул и кинулся в свалку со смешным, весёлым и

жалким писком. Жилистые щенки динго тотчас повалили его, и он лежал на боку, блестя глазком, подставив животик выражение наибольшего доверия со стороны зверя. Один из щенков Динго, видимо, слишком сильно хватил его зубами — лисёнок пронзительно крикнул, укоряя, зовя на помощь. Этот молящий крик его погубил, щенки динго стали рвать его за горло, и игра превратилась в убийство. Сторож, подбежав, выхватил лисёнка из свалки, понёс на ладони, и с ладони свешивалась мёртвая худая мордочка с открытым глазом и мёртвый худенький хвост. Рыжие щенки, совершившие убийство, Шли за сторожем, и закрученные хвосты их дрожали от несказанного волнения.

И вдруг чёрные глаза испанца налились бешенством, сжав кулаки, он закричал:

— Гитлерюгенд!

Тут заговорили все сразу. Женя слышала, как индус, чётко выговаривая по-немецки, с брезгливой усмешкой произнёс: «Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu» [«Старая, но вечно новая история» — стихи Г. Гейне].

А Крымов, перейдя на русский язык, заглушал всех!

— Бросьте, братцы, никакого рокового инстинкта не было и нет! Собственно, этот день был одним из самых приятных: трогательное пение, веселый обед, и запах лип, и короткий дождь, и милая пара — мать с сыном, — всё это вместе создало простое ощущение, выражаемое словом «хорошо». Но из всего дня Жене теперь особенно остро запомнилось — жалкий лисёнок и полные бешенства и страдания глаза испанца. А все люди, тогдашние знакомые Крымова, где они в эти дни, когда страшная битва идёт на русских полях и в русских степях? Кто из них жив, кто погиб в борьбе?

В последние месяцы в ее жизни с Крымовым хороших дней было немного.

Порой он каждый вечер уходил в гости к своим друзьям, возвращался поздно ночью. Порой ему не хотелось видиться со знакомыми, и он, приходя с работы, выключал телефон, либо говорил Жене: «Если позвонит Павел, скажи, что меня дома нет». Иногда становился он угрюм и неразговорчив, а иногда, наоборот, его охватывала весёлость, он много рассказывал, вспоминая прошлое, чудачил, смеялся.

Но дело было, конечно, не в том, что Крымов часто не бывал дома либо случалась у него пора дурного настроения.

Дело было в том, что Женя постепенно стала замечать: она не тяготилась одиночеством, когда Крымова не было дома; ей не становилось весело в те вечера, когда он был разговорчив, рассказывал и вспоминал прошлые годы. Возможно, что раздражение, возникшее в ней против мужа, она невольно переносила на его друзей.

Всё, что ей нравилось в нём, перестало нравиться, романтическое стало казаться неестественным. Конечно, его суждения о живописи, о её работе всегда, с первых дней их знакомства, казались ей пресными, сердили её. Как трудно ответить на самые простые вопросы. Почему она разлюбила его? Он ли изменился, она ли? Поняла ли она его как-то по-новому, — перестала ли понимать? «Привыкнув, разлюблю тотчас?» Нет, не то. Раньше она считала его всезнающим, а теперь говорила:

— Ах, ты ничего не понимаешь!

Жене совершенно безразличны были его жизненные успехи. Правда, она, конечно, замечала, что те, кто звонил ему часто и запросто, звонили всё реже, и когда он им звонил — секретари иногда отказывались его соединить. Ей это было безразлично, так же, как было безразлично, носит ли она наряды, сшитые у известных московских портних-художниц либо купленные по ордеру в Москвошвее. Ей как-то рассказали, что на одном ответственном совещании Крымов делал доклад, и его резко критиковали, говорили, что он «застыл», «не растёт». Но в конце концов дело было не в том: она его разлюбила, вот и всё, а от этого уж пошло всё остальное. Она старалась отогнать мысль, что раньше пришло «всё остальное», а потом именно за это «остальное» она его разлюбила. Его перевели на издательскую работу, и он бодрым голосом сказал ей:

— Ну, теперь больше свободного времени, займись по настоящему своей книгой, а то в этом водовороте совещаний не мог урвать минуты.

Видимо, и он тогда чувствовал, что отношения их изменились, и как-то сказал:

— Вот когда-нибудь приду к тебе в своей старой кожаной куртке, а муж твой, знаменитый академик или нарком, спросит: «Кто это там?», а ты вздохнёшь: «Пустое, ошибка молодости, скажите ему, что я сегодня занята».

Она и сейчас помнила, как грустны были его глаза, когда произносил он эту шутку.

И ей захотелось увидеть его и снова объяснить ему, что виновато во всем глупое её сердце, разлюбила она его «так вот, просто так», и что никогда, ни на одну секунду он не должен думать о ней плохо.

Видимо, всё это сильно волновало её, если даже теперь, в тяжёлые военные дни, она продолжала неотступно думать о Крымове.

Ночью, уже лёжа в постели, когда ей казалось, все уснули, она заплакала, охваченная жалостью к той невозвратно ушедшей жизни. Она плакала и глядела на свои руки, едва белевшие во мраке затемненной комнаты, руки, которые он целовал когда-то, и вся её жизнь казалась ей непонятной, как этот тревожный, душный мрак, царивший в комнате.

— Не плачь, Женечка, — тихо сказала: Александра Владимировна, — придёт твой рыцарь и высушит твои слезы.

— Ах, боже мой! — крикнула Женя, с отчаянием всплеснув руками, забыв о том, что она может разбудить спящих. — Ах, боже мой, да не о том, не о том, почему никто ничего не хочет понять, даже вы, мамочка, даже вы?

Мать тихо сказала: ей.

— Женя, Женя, поверь, не первый день я живу на свете, мне кажется, я понимаю тебя, быть может, лучше, чем ты сегодня сама себя понимаешь.

Вера удивила Евгению Николаевну тем, что, придя домой, отказалась от обеда и стала заводить патефон. Обычно она ещё в передней спрашивала:

— Скоро обед?

Евгения Николаевна видела, что Вера слушает музыку, сидя за столом, подперев скулы кулаками, следя за движением пластинки тем упорным и сосредоточенным взглядом, которым смотрят опечаленные люди на случайные предметы, в то время как мысль их занята другим. Евгения Николаевна сказала:

— Все придут с работы поздно, мой руки и садись обедать.

Вера молчала, глядя в упор на Евгению Николаевну. Выходя из комнаты, Евгения Николаевна оглянулась и заметила, что Вера слушает музыку, плотно закрыв уши ладонями.

— Ты что, задурила? — спросила она, вернувшись в комнату.

Вера сказала:

— Потрудитесь оставить меня в покое!

— Вера, перестань, не нужно — сказала: Евгения Николаевна.

— Да ты оставишь меня? Разрядилась, ждёт своего Новикова.

— Что с тобой, как тебе не стыдно! — сказала: Евгения Николаевна, удивившись выражению ненависти и страдания в глазах племянницы.

Вера почему-то невзлюбила Новикова, в его присутствии она либо молчала, либо задавала ему ядовитые вопросы.

— Вы много раз были ранены? — как-то спросила она и, получив ответ, который заранее предполагала, сделала удивленное лицо и протяжно воскликнула: — Да что вы говорите, как же это так, за всю войну ни разу?

Новиков не обращал на её колкости внимания, это ещё больше сердило девушку.

— Мне стыдно! — сказала: Вера — Мне стыдно? Это тебе должно быть стыдно, не смей меня стыдить! — Схватив со стола патефонную пластинку, она швырнула её на пол, быстро побежала к двери и, обернувшись, крикнула. — Я не приду домой, я уйду ночевать к Зине Мельниковой.

«Что это с ней происходит!?» — подумала Евгения Николаевна, поражённая злым и жалким выражением Вериного лица, её непонятной грубостью.

Утром Женя решила работать весь день и не выходить из дому. Но сейчас, после

происшествия с Верой, работать не хотелось.

Тяжёлый характер у Веры, и он у неё не по отцовской линии, как считает Маруся, а именно от самой Маруси. Глупо ведёт себя Маруся, подойдет к незаконченной картине и на смешливо, снисходительно скажет «тэк с» — да с таким видом, словно она боевой танкист, а Женя занимается детской игрой... Все уж давно знают, что не только хлеб и сапоги, но и картины нужны людям. — А вчера Маруся сказала: «Ты бы ещё села городские видики рисовать: вид на Волгу, скверики, дети с няньками, ты художествуешь, а мимо тебя будут итти войска, рабочие и усмехаться... « И глупо — ведь и это интересно. Конечно, интересно! Сталинград в дни войны — солнце, блеск Волги, канны с огромными листьями, дети, играющие в песке, белые здания, а через всё это, над этим, в этом война, война! Суровые, сумрачные лица, пароходы с маскировкой, тёмный дым над заводами, танки, идущие на фронт, зарево. И всё это слито, всё не только в противоположности, а в единстве — прелесть жизни и горесть жизни, надвигающийся мрак и торжествующий над ним бессмертный свет.

И Женя решила отложить работу, выйти на улицу, зрительно ощутить возникшую в воображении картину.

Когда она надела шляпу, послышался звонок, Женя открыла дверь и увидела Новикова.

— Это вы? — сказала: она и рассмеялась.

— Чему вы?

— Куда вы пропали?

— Война, — он развел руками

— А мы уже хотели устроить распродажу ваших вещей.

— Вы, кажется, собрались уходить?

— Да, мне обязательно нужно, хотите проводить меня?

— С удовольствием — сказал: он — Но, может быть, вы устали?

— Что вы, совершенно нет, — искренне сказал: он, хотя за трое суток спал не больше пяти часов. Широко улыбнувшись, он добавил: — А я сегодня от брата письмо получил.

На углу Новиков спросил:

— Вам в какую сторону нужно? Она оглянулась:

— Ни в какую, я решила отложить своё дело, оно не к спеху. Пойдёмте на набережную.

Они прошли мимо театра, к памятнику лётчику Хользунову, и гуляли по набережной, смотрели на реку, каждый раз возвращались к бронзовому лётчику, точно он ждал их.

Начало темнеть, а они продолжали ходить и разговаривать.

Новиков пришёл в то возбуждённое, восторженное состояние, в какое иногда впадают сдержанные люди. Слова Новикова были не тем, что называют откровенным разговором, они были ещё значительнее и важнее: слова молчаливого и сдержанного человека, поверившего, что его жизнь интересна другому.

— ...Говорят, что я по натуре штабист, а я ведь строевик-танкист! Считаю, опыт, знания есть, а вот какой-то тормоз — и с вами у меня так; говоря по правде, толком вам ничего сказать не могу...

— Поглядите, какое странное облако, — поспешно сказала: Женя, опасаясь, что Новиков начнет объясняться ей в любви.

Они уселись на широкий каменный барьер над Волгой. Шершавый камень был ещё горячим от недавнего солнца, и на луговом берегу кое-где поблёскивали в свете заката стекла, а с Волги и от ледяной молодой луны уже шла прохлада. На скамейке военный шептался с девушкой. Девушка смеялась, и по тому, как она смеялась, как медленно и неохотно отталкивала от себя кавалера, чувствовалось, что в эти минуты для неё не существовало ничего в мире, кроме этого вечера, лета, молодости, любви.

— Как хорошо и как тревожно, — сказала: Женя, вспоминая свои недавние размышления.

В павильоне, где помещалась военная столовая, широко открылась дверь, вышла женщина в белом халате с ведром в руке, и яркий свет быстро осветил тротуар и мостовую, и Жене показалось, что молодая женщина выплеснула ведро света, и этот свет, лёгкий,

шипучий, побежал по гладкому широкому асфальту. Следом вышла группа военных. Один из них, видимо пародируя кого-то, дурашливо запел:

— Бэлая ночь, дывная ночь...

Новиков молчал, и Женя с тоскливым беспокойством почувствовала: вот он соберёт решимость, откашляется, повернётся к ней, скажет потерянными голосом: «Я вас люблю», и она уже готовилась положить руку ему на плечо и проговорить увещевающе, грустно! «Не нужно, право же, не нужно об этом говорить».

Новиков сказал:

— Получил сегодня письмо от старшего брата. Работает в шахте, далеко за Уралом. Зарабатывает, пишет, много, да вот дочь у него всё болеет, не может к климату привыкнуть. Малярия, что ли?

Женя вздохнула, искоса, насторожённо поглядела на Новикова.

И он, действительно, покашлял, резко повернулся к ней и сказал:

— У меня сейчас острое положение сложилось, я подал рапорт и после этого поспорил с начальником. Он мне сказал: «Я вас не откомандирую и назначу заведывать архивом», а я ему ответил: «Я не подчинюсь такому приказанию».

Эти слова неожиданно обидели и рассердили Женю. Оказывается, его волновали служебные дела.

Она насмешливо прищурилась.

— Знаете, о чем я вдруг подумала? Прошли, должно быть, времена великой романтической любви. Такой любви, как у Тристана и Изольды. Вы читали? Вот он бросил для неё всё и дружбу великого короля, и собственное королевство, и ушел в лес, спал на ветвях и был счастлив. И она, королева, бросив королевство, была счастлива в лесу с ним. Верно ведь? И всякая литература прошлых веков прославляла тех, кто ради любви пренебрегал славой, да, боже мой, небесным и земным блаженством. А теперь всё это кажется смешным, непонятным, я уже не говорю о Тристане, да перечтите «Тамань» Лермонтова, и вы скажете «Как же так, ехал офицер по делу и, утерев бдительность, увлёкся, влюбился, стал кататься на лодке с контрабандисткой, так нельзя». Я думаю, либо люди потеряли способность любить, как когда-то, либо им новые страсти заменили те, прежние!

Она говорила быстро и горячо, словно заранее подготовила целую речь, и сама удивлялась, откуда у неё такая сердитая горячность. Но она уже, не останавливаясь, продолжала говорить:

— Да где там? Что вы! Ну вот вы, хотя бы, могли бы ради любимой женщины уйти на день со службы, рассердить этим своё генеральское начальство, да какое там — опоздать ради неё на два часа, на двадцать минут? Раньше царство бросали к её ногам!

— Тут не страх рассердить начальство, — сказал: он, — тут дело в долге.

— Да вы мне не объясняйте, я всё знаю чувство общественного долга выше всего, святее всего. Всё это верно — Она снисходительно посмотрела на него — И всё же скажу вам по секрету всё верно, но любить безумно, слепо, забывая обо всём, люди разучились, заменили эту любовь чем-то иным, новым, может быть, и хорошим, но уж слишком разумным.

— Нет, это неверно. Есть любовь, — сказал: Новиков.

— А, ну конечно, — сказала: она сердито, — любовь теперь перестала быть роком, вихрем. Ну, конечно, знаю, как... любовь хороша, конечно, — сказала: она, передразнивая чей-то учительский, рассудительный голос: — супружество, содружество, влюбляться же в неслужебные часы, правда? Что-то вроде оперного театра, — ведь никто из любителей пения и музыки не вздумает бросить службу и в рабочие часы пойти слушать музыку.

Новиков тревожно наморщил лоб и, сведя брови, смотрел на неё, потом вдруг улыбнулся доверчиво и сказал:

— Если б вы на меня сердились, что я все эти дни не приходил, вот хорошо бы!

— Что вы, как вы могли подумать — это ведь вообще. Я-то не гожусь для таких чувств.

— Я понимаю, понимаю, это вообще, — с поспешной покорностью сказал: он.

Она подняла голову, прислушалась к далёким заунывным гудкам, вдруг послышавшимся со стороны заводов и вокзала:

— Вот и началась проза жизни, пойдёте домой.

Подруга Веры Зина Мельникова жила в доме, в котором поселили Мостовского. Это был один из самых благоустроенных домов в городе.

Верины родные были недовольны её дружбой с Зиной. Но Вере было безразлично, что говорят домашние о её подруге. Ей нравилось, что Зина не гнушалась чёрной работой, мыла полы, стирала, могла сидеть недели на одном хлебе и чае, а на выгаданные деньги купить лайковые перчатки или чулки-паутинку.

И одновременно с расчётливостью в ней была широта, она могла подарить подруге любимую брошку либо устроить вечеринку с таким богатым угощением, что после ей недели две приходилось есть лишь картошку с постным маслом.

Вере нравилось, что Зина не обращается с ней, как с несмыслящей в жизни девочкой, а рассказывает о сложностях своих отношений с мужем и спрашивает у неё советов.

По складу своей души она была чужда всему, чем жила Зина. Но почему-то ясная и чистая простота Верининой натуры не мешала ей проявлять интерес к Зининым житейским и сердечным страстям. Зина была старше Веры всего на три года, но казалась всезнающей по сравнению с подругой. Она уже два года была замужем, побывала несколько раз в Москве, жила в Средней Азии, в Ростове. Ее муж теперь работал уполномоченным по заготовкам и часто ездил по области, уезжал по вызовам наркомата в Куйбышев.

Вера взбежала на третий этаж и позвонила.

Зина, оглядев её, вскрикнула:

— Верочка, у тебя такое расстроенное лицо, случилось что-нибудь?

— Я хочу у тебя ночевать, можно?

— Господи, что за вопрос, конечно. Муж ведь опять уехал в Куйбышев Ты есть хочешь?

— хочу.

Зина усадила подругу на диван.

Вера наблюдала, как подруга быстро и легко двигалась по комнате, накрывая на стол. Каждый раз, проходя мимо зеркального шкафа, она мельком поглядывала на себя в зеркало.

— А я всё полнею, — сказала: она, — можешь себе представить, все, буквально, во время войны похудели, а я одна несчастная.

— Зиночка, — сказала: Вера тихим голосом и расплакалась.

— Что, что? — испуганно спросила Зина.

Вера, перестав плакать, рассказала: о том, о чём не могла и не хотела рассказать дома.

Вечером начальник госпиталя передал ей список выздоровевших на выписку из госпиталя, она понесла список в канцелярию, нужно было подготовить документы и обмундирование — всех выписанных отправляли пароходом в Саратов, откуда обычно после комиссии их посылали в части. Утром, когда она уже кончила дежурство, ей снова попался этот перепечатанный на машинке список из двенадцати фамилий, и она вдруг увидела, что в нём была приписана от руки фамилия Викторова. Ей даже не удалось поговорить с ним наедине, она кинулась в палату, а он уже спускался по лестнице вместе со всеми к ожидавшему внизу госпитальному автобусу.

— Нехорошо, что тринадцатый он, — сказала: Зина.

— Он не тринадцатый, а впереди первого.

Зина подсела к ней, стала растирать ладонями Верины пальцы, точно отогревая их от мороза, и сказала: тоном опытного врача, решившего не скрывать правды от больного:

— Я по себе знаю, как это тяжело, и не жди, что будет легче.

— Меня всё время мучит: теперь никогда его не увижу! А мама мне на днях сказала: «Не могу тебя поздравить, узнала о твоём знакомом серенький, мало развитой паренёк», — ей нужно, чтобы вундеркинд какой-нибудь. Презираю их, этих вундеркиндов и красавцев полковников, и женщин презираю, которые идут за них по расчёту, из соображений.

— Любовь безрассудна и ни с чем не должна считаться, — сказала: Зина.

Вера протяжно произнесла.

— Он, Зиночка, неужели не увижу его? Зина задумалась, потом неожиданно сказала:

— Вот кого не могу понять, это твою Евгению Николаевну. Почему она так одевается? Ведь с её фигурой и лицом, да и волосы у неё чудные, она могла бы, ты понимаешь, как выглядеть!

— Она собирается, кажется, за полковника замуж, — поморщившись, проговорила Вера.

Но Зина не поняла Веру и, забыв свои недавние слова о безрассудстве влюблённых, сказала:

— Ну еще бы — полковник даст ей аттестат, и будет она где-нибудь в Челябинске стоять в очереди за молоком для ребенка.

— Ну и что ж, — проговорила Вера, — я бы хотела стоять в очереди за молоком для ребёнка.

Ее ожгло желание стать матерью, родить от Викторова ребёнка, с его глазами, медленной улыбкой, с такой же тонкой, худой шеей, и сберечь его в нужде, лишениях, как огонек среди ночи. Никогда в её голову не приходили подобные мысли, и чистая мысль эта стыдила, радовала, была одновременно горестна и сладка. Разве есть закон, запрещающий девушке быть счастливой и любить? Нет! Такого закона нет! Она ни о чём не жалеет и никогда не пожалеет, и поступила она так, как нужно было поступить. И Зина, словно почувствовав, о чём думала подруга, вдруг спросила:

— Ты ждёшь ребёнка?

— Не спрашивай меня об этом, — поспешно сказала: Вера.

— Нет, нет, я только на правах старшей просто хотела тебе сказать... это не шутка, сегодня летчик жив, завтра его нет, а ты вдруг с ребёнком на руках, ведь это ужасно!

Вера зажала уши руками и затрясла головой:

— Глупости, глупости, не хочу слушать! До полуночи они разговаривали, потом Зина постелила Вере на диване.

— Ложись, Верочка, надо тебе отдохнуть, — сказала: она.

Вскоре она потушила свет.

Утром, придя в госпиталь, Вера заглянула в палату Викторова — на его койке лежал черноглазый, смуглый человек с впалыми щеками, видимо армянин. Вере сделалось нестерпимо тоскливо, и она поспешно вышла в коридор и подошла к окну, где обычно встречалась с Викторовым. Ослепительно блестела на солнце чешуйчатая вода на Волге. «Пароход уж, наверное, прошёл Камышин...» Небо было спокойным, синим, река беспечной, яркие облачка казались такими белыми, лёгкими, безразличными ко всему на свете...

Ей вдруг вспомнились Женя и Новиков, показалось, что они живут такой же размеренной, спокойной и бесстрастной жизнью, чуждые ее горечи и смятению. Это чувство раздражения против Жени и Новикова не оставляло её до вечера. Она пришла домой и даже обрадовалась, увидев Женю и полковника. Вот они то ей и нужны. Они сидели за столом, видимо, полковник недавно пришел — он держал в руке фуражку.

Вера поглядела в упор на оживлённое лицо Евгении Николаевны. Пусть знает, что есть любовь, презирающая рассудок, расчёт, выгоды.

Она стала рассказывать какую-то довоенную историю, слышанную ею ночью от Зины, про молодую женщину-инженера, влюбившуюся в актёра, участника концертной бригады; она уехала с этим актером, оставив мужа, уехала, несмотря на то, что ей вскоре предстояло защитить диссертацию и стать кандидатом технических наук, несмотря на то, что пришлось пережить много тяжелого, так как муж был в отчаянии и со службы её не хотели отпускать.

Евгения Николаевна, выслушав эту историю, стала смеяться и сказала:

— Пошловато!

— Не пошловато, а настоящая любовь! — запальчиво сказала Вера

Женя, внезапно рассердившись, ударила ложечкой по краю стакана, и звенящий звук

стекла передал её волнение

— Бульварщина! Мелкая страстишка, а ты называешь это любовью. Чуть!

Она видела глаза Веры, упрямо и угрюмо глядевшие на неё, Верин по-ребячьи удивлённо раскрытый рот, какой бывает у совсем маленьких девочек.

— Не кори меня, тётенька. Тебе всё это не понять, — сказала Вера

— Не болтай вздор, — проговорила Женя холодно, Вера молча вышла из комнаты

Оставшись вдвоём, Женя и Новиков молчали. Потом Женя сказала:

— Вера думает, что я рассердилась только на неё, а в действительности я отчитала не только её, а и себя.. . Помните, тот наш разговор на набережной?

Новиков примирительно сказал:

— Зря, Евгения Николаевна, вы на нее рассердились — дитя ведь, по существу. — И вдруг не к месту добавил: — Знаете, должен доложить вам: убываю в Москву, в Главное управление кадров Красной Армии. Внезапно командирован.

— Когда вы едете!

— Самолетом, в ближайшие дни.

— Что ж это вы вдруг доложили мне об убытии?

— Робел, помня тот наш разговор. А после вашей проработки Веры решил сказать вам.

— Странно, — сказала: она, — а у меня, наоборот, поездка в Куйбышев откладывается.

Сейчас нет смысла ехать.

— Знаете, Евгения Николаевна, обстановка на фронте такая, что разумней и вам и всей вашей семье уехать отсюда... — сказал: он, ловя её взгляд. — Вы знаете, если я, вернувшись, застаю вас, то обрадуюсь. И всё же уезжайте, уезжайте! Брат Иван пишет — получил квартиру; поезжайте к нему, он с радостью примет вас. Он хороший человек — шахтер. И жена у него славная, простая. Ей-богу, езжайте!

— Мы, кажется, с вами скоро обменяемся ролями, — проговорила она, — вы станете проповедовать то, что я вам говорила на набережной, а я уж, видите, сегодня говорю то, за что ругала вас.

— По правде, я и до набережной, — сказал: он, — совершил кое-что по этой линии. Помните, когда я с вами проехал от Воронежа до Лисок? Ведь я должен был ехать на север, в Каширу, увидел ваше лицо в окне и поехал на юг, точнее на юго-восток, потом в Лисках до полуночи ждал обратного поезда.

Евгения Николаевна внимательно на него посмотрела и ничего не сказала.

Проснувшись, Михаил Сидорович Мостовской поднял маскировочную штору, раскрыл окно, вдохнул свежесть ясного прохладного утра. После этого он пошёл в ванную, побрился, с неудовольствием подумав, что борода у него совершенно седея, в мыльной пене не видно сбритого волоса.

— Сводку не слышали? Мой репродуктор испорчен, — спросил: он у Агриппины Петровны, принёсшей чай.

— Как же, хорошая сводка, — ответила Агриппина Петровна, — восемьдесят два танка уничтожили, два батальона пехоты, семь цистерн сожгли.

— А про Ростов ничего не передавали?

— Нет, вроде ничего.

Михаил Сидорович выпил чаю и сел за письменный стол работать.

Но вскоре в дверь вновь постучалась Агриппина Петровна.

— Михаил Сидорович, этот Гагаров пришёл, если заняты, он, говорит, вечером зайдёт.

Михаил Сидорович обрадовался приходу гостя, хотя его одновременно раздосадовал утренний визит в часы работы.

Гагаров, высокий старик с длинным, узким лицом, с длинными худыми руками и необычайно белыми тонкими пальцами, с длинными ногами, худоба которых угадывалась под болтавшимися брюками, входя в комнату, спросил:

— Конечно, сводку слышали? Ростов сдан, Новочеркасск сдан.

— Вот как, — сказал: Михаил Сидорович и провал ладонью по глазам, — а мне

Агриппина Петровна сообщила, что сводка хороша уничтожено восемьдесят два танка и два батальона пехоты, пленных взяли.

— О господи, вот уж дура старуха, — сказал: Гагаров и нервно, быстро подёрнул плечами — Я к вам пришёл искать утешения, как больной идет к врачу. Да, кроме того, у меня к вам и дело есть.

В это время воющий звук мотора заполнил воздух, покрыл все шумы города это самолет-истребитель делал в небе свечу.

Когда звук мотора затих, Мостовской сказал:

— Я не утешитель, но вот какая вещь: мой оптимизм как раз в том, что говорила бесхитростная Агриппина Петровна. Оптимизм сводки в том, что кажется незначительным. Ростов — печаль, горе, но не в этом решение войны. Мелкий шрифт сводок за нас каждый день, каждый час. Три тысячи километров фронт каждый час война, вот уже год. Вот чего не пишут даже мелким шрифтом... При движении фашисты теряют не только кровь! Продвинулись, сожгли тысячи тонн бензина, амортизировали на некий процент моторы, стерли резину на колёсах, да ещё тысячи прорешек... Для главного итога войны эти пустяковины важнее сенсаций.

Гагаров с сомнением покачал головой.

— Вы посмотрите, как они идут! Ясно ведь, по продуманному плану.

Михаил Сидорович махнул рукой.

— Чушь! План был, как вам известно, в шесть недель разбить Советскую Россию. Вот уже прошло пятьдесят шесть недель. Я спрашиваю вас: вы понимаете значение этого главного просчёта? Война должна была парализовать нашу промышленность, должна была вытоптать нашу пшеницу, да так, чтобы век не собрать урожая! Смотрите! Урал, Сибирь, весь наш Восток работает день и ночь. Колхозный хлеб для тыла и для фронта есть и будет. Где же, к черту, стройный план Гитлера, спрашиваю я вас? Вот в этом вторжении фашистской орды в глубины России? Вы думаете, они становятся сильнее с каждым днём злодейства? Ничуть. И в этом залог их краха. Вот и права Агриппина Петровна со своим здравым смыслом простой души... А вы глупости говорите.

Мостовской встречался с Гагаровым до революции в Нижнем Новгороде, где бывал наездами, занимался архивными изысканиями по истории края, изредка сотрудничал в либеральных газетах Война столкнула их в Сталинграде — Гагаров уж несколько лет не работал, жил на пенсии. В своё время он был известен остротой ума, и по сей день многие забытые старые люди вспоминали его острые мысли, хранили его письма.

Он обладал сильной, прямо-таки могучей памятью, знал историю России с таким количеством важных и мелких подробностей, какое, казалось, не могло вместиться в одну голову. Для Гагарова не составляло труда поимённо перечислить несколько десятков людей, присутствовавших при погребении Петра Первого, либо назвать день и час прибытия Чаадаева к тётушке в деревню, сказать, сколько лошадей было запряжено в его коляску и какой масти были эти лошади.

Когда с Гагаровым заговаривали о материальных невзгодах жизни, он, сучая, делал рукой отстраняющий жест. Зато он мог, не утомляясь, говорить о материях высоких.

— Михаил Сидорович, — сказал: Гагаров, — вы всё говорите фашисты, фашисты и ни разу не сказали немцы, точно вы разделяете строго. Теперь, мне думается, это одно.

— Нет, это далеко не одно Вы это отлично знаете, — ответил Мостовской. Посмотрите в прошлую войну: мы, большевики, отделяли вильгельмовский империализм, прусский национализм от германского революционного пролетариата.

— Помню, помню, как не помнить, — смеясь, проговорил Гагаров — Теперь не все склонны этим заниматься. — Он посмотрел на накупившегося Мостовского и поспешно добавил. — Послушайте, не надо нам ссориться.

— Отчего ж, — возразил Мостовской, — можно и поссориться.

— Нет, не надо, — возразил Гагаров — Помните, Гегель в философии истории сказал: о хитрости мирового разума — он всегда уходит за сцену, когда бушуют выпущенные им

страсти, он появляется на сцене, когда страсти, свершив свою службу, уходят, тогда только появляется разум, истинный хозяин истории. Старики должны быть с разумом истории, а не со страстями истории.

Михаила Сидоровича эти слова раздосадовали. Ноздри его мясистого носа зашевелились, он насупился и, перестав глядеть на собеседника, сказал: сварливо.

— Я хотя старше вас на пять лет, уважаемый объективист, не собираюсь, пока дышу, выходить из борьбы. Я могу ещё тридцать пять вёрст прошагать в строю, могу драться и штыком и прикладом...

— С вами не сговоришься. Рассуждаете вы, точно собираетесь стать партизаном, — посмеиваясь, проговорил Гагаров. — Помните, я вам рассказывал об одном моём знакомце — Иванникове?

— Помню, помню, — проговорил Мостовской.

— Вот Иванников просил вас передать Шапошниковой для мужа её дочери, профессора Штрума, этот конверт, он его пронёс через линию фронта.

И он протянул Мостовскому пакет, завёрнутый в грязную, в бурых пятнах, истрёпанную бумагу.

— Не лучше ли ему самому передать? У Шапошниковых, вероятно, будут к нему вопросы.

— Вопросы будут, — сказал: Гагаров, — но Дмитрий Иванович Иванников мне сказал, что бумаги попали к нему совершенно случайно. Ему передала их одна женщина на Украине, он не знает, как они попали к ней, не знает ни её адреса, ни фамилии. А Иванников не хочет к Шапошниковым ходить.

— Ну что ж, давайте, — пожав плечами, сказал: Мостовской.

— Большое спасибо, — сказал: Гагаров, глядя, как Мостовской кладёт пакет в карман. — Этот Иванников довольно странный человек, надо вам сказать. Учился в Лесном институте, потом на филологическом, много ходил пешком по приволжским губерниям, вот тогда мы и познакомились, он захаживал ко мне в Нижний. В сороковом году он обследовал горные лесничества на Западной Украине. Там его в горах и застала война. Жил с лесником, не слушал радио, не читал газет, вернулся из леса — а во Львове уже немцы. Вот тут его история поистине удивительная. Укрылся он в монастырском подвале, настоятель ему предложил разбирать лежавшие там старинные рукописи. А он без ведома монахов спрятал в этом подвале раненого полковника, двух красноармейцев, какую-то старуху еврейку с внучонком. На него донесли, но он успел вывести всех, кто скрывался, и сам ушёл в лес. Полковник решил пройти через линию фронта, Иванников пошёл с ним. Так они шли тысячу вёрст, а при переходе линии фронта полковника ранило, Иванников его на руках вынес.

Гагаров встал и сказал: торжественным тоном:

— На прощанье хочу сообщить важную, хоть и личную новость. Ведь я уезжаю, представляете себе, и уезжаю не как частное лицо...

— Аккредитованы в качестве посла?

— Вы не смейтесь. Событие удивительное! Вдруг получил официальный вызов в Куйбышев. Только подумайте! Предлагают мне консультировать капитальную работу о русских полководцах. Ведь вспомнили о моём существовании. Я по году писем не получал, а тут, знаете, до того дошло, что слышал, соседки разговаривают: «Кому это телеграмму... да опять Гагарову, кому же ещё». Михаил Сидорович, меня это, как мальчишку, тешит — до слез, говорю вам! Ведь какое одиночество и вдруг в такое время вспомнили, понадобился. Вот видите, нашлось место и для мнимой величины...

Мостовской проводил Гагарова до двери и вдруг спросил:

— А сколько лет этому вашему Иванникову?

— Я вижу, вас интересует, может ли старик стать партизаном?

— Меня многое интересует, — усмехнувшись, сказал: Мостовской.

Вечером, после работы, Михаил Сидорович захватил принесённый Гагаровым пакет и вышел на прогулку. Шагал он быстро и легко, без одышки, по-солдатски размахивая руками.

Пройдя свой обычный круг, он зашёл в городской сад и сел на скамейку, поглядывая на двух военных, сидевших неподалёку.

Их лица от ветра, дождя, солнца вобрали в себя густую краску, стали тёмными, цвета прокалённого в печи хлеба, а их гимнастёрки от ветра, дождя и солнца потеряли окраску, были белые, едва тронутые зеленью. Красноармейцев, видимо, занимал вид спокойно живущего города. Один из них снял сапог и, развернув портянку, с озабоченным вниманием рассматривал ногу. Второй сел на газон и, раскрыв зелёный мешок, вынул из него хлеб, сало, флягу.

Подошёл сторож с метлой и сокрушённо сказал:

— Что ж это вы, товарищ, а? Военный удивился.

— Не видишь, — сказал: он, — люди покушать хотят. Сторож покачал головой и пошёл по дорожке.

— Эх ты, мирный житель, — со вздохом сказал: красноармеец.

Второй, не надевая сапога, а поставив его на скамейку, опустил на траву и поучающе объяснил.

— Пока народ не пробомбят и не растряснут всё барахло, ничего не понимает. — И сразу же, меняя голос, он обратился к Михаилу Сидоровичу: — Папаша, садись, закуси с нами, выпей грамм пятьдесят.

Мостовской сел на скамейку рядом с сапогом, и красноармеец поднёс ему чарочку, кусок хлеба и сала.

— Кушай, батя, в тылу, наверно, отоцал, — сказал: он. Михаил Сидорович спросил, давно ли они с фронта.

— Вчера в это время ещё там были, а завтра снова там будем — на базу приехали за крышками.

— Ну как там? — спросил: Михаил Сидорович. Тот, что был без сапога, сказал:

— Бой идёт в степи, страшное дело! Ох, даёт он нам жизни! Но и наша артиллерия наворотила их. Противотанковые артиллерийские полки, «иптап» называются. Немецкие танки пойдут тучей, рванут вперёд, а «иптап» уж перед ними стоит! Огонь страшный от нашей пушки! Дорого немцу это дело обходится. Но и нам, скажу, не даром!

— Чудно тут, — сказал: тот, что был в сапогах, — тихо как, народ спокойный. Не плачут, не бегают.

— Непуганый совсем ещё житель, — пояснил второй. Он поглядел на двух босых мальчиков, они бесшумно подошли, в молчаливом размышлении глядя на хлеб и сало.

— Что, пацаны, пожевать захотели? Вот берите. Жара с утра, есть не охота... — сказал: красноармеец, как бы стыдясь своей щедрости.

Мостовской простился с бойцами и пошёл к Шапошниковым.

Дверь ему открыла Тамара Берёзкина, гостеприимно просившая обождать хозяев дома не было, а она пришла работать на швейной машине Александры Владимировны. Мостовской передал ей пакет для профессора Штрума и сказал, что ждать ему незачем, люди придут с работы усталые, не время принимать гостей.

Берёзкина стала объяснять, как удачно получается: почта ходит неверно, а завтра на рассвете в Москву улетает полковник Новиков. Мостовской впервые слышал эту фамилию, но Берёзкина говорила так, словно Мостовской знал Новикова с детских лет; полковник, возможно, остановится на квартире Штрума.

Она взяла конверт двумя пальцами и ужаснулась:

— Боже, какая грязная бумага, словно в погребке два года пролежала.

Она тут же в коридоре завернула конверт в толстую розовую бумагу, из которой вырезывались рождественские ёлочные цепи.

Виктор Павлович поехал к Постоеву в гостиницу «Москва». У Постоева в комнате собрались инженеры. Сам Постоев среди табачного дыма, в зелёной спецовке с большими оттопыренными карманами, походил на огромного прораба, окружённого техниками, десятниками и бригадирами. Мешали такому впечатлению его домашние туфли с меховой

опушкой.

Он был возбуждён, много спорил и очень понравился Виктору Павловичу никогда он не видел Леонида Сергеевича таким взволнованным и разговорчивым.

Низкорослый человек, с бледным скуластым лицом и курчавыми светлыми волосами, сидевший в кресле за столом, был большим начальством, по-видимому, членом коллегии наркомата, а быть может, даже заместителем народного комиссара. Его звали по имени и отчеству: Андрей Трофимович.

Подле Андрея Трофимовича сидели двое — оба худощавые, один с прямым коротким носом, другой длиннолицый с сединой в висках.

Того, что сидел справа, звали Чепченко — это был директор металлургического завода, переведённого во время войны на Урал с юга. Говорил он мягко, по-украински певуче, но эта мягкая певучесть не уменьшала, а даже, казалось, подчёркивала и усиливала необычайное упрямство украинского директора. Когда с ним спорили, на губах его появлялась виноватая улыбка, он точно говорил: «Я бы рад с вами согласиться, но уж извините, такая у меня натура, сам с ней ничего не могу поделать».

Второй, седоватый, которого звали Сверчков, с окающей речью, видимо коренной уралец, был директор знаменитого завода, об этом заводе писали в газетах в связи с приездами фронтовых делегаций артиллеристов и танкистов

Он, чувствовалось, был большим патриотом Урала, так как часто говорил:

— Мы на Урале уж так привыкли.

Он, видимо, иронически относился к Чепченко, и, когда украинец говорил, тонкая верхняя губа Сверчкова приподнималась и обнажались его жёлтые, обкуренные зубы, а светлые голубые глаза насмешливо щурились.

Рядом с Постоевым сидел маленький плотный человек в генеральском кителе, с медленным взглядом желтовато-серых глаз; его все называли генералом.

— А ну, что генерал скажет, — говорил кто-нибудь.

У окна сидел с независимым видом, раскачиваясь на стуле, опершись подбородком на спинку, совершенно лысый румяный молодой человек — его все звали «смежник», и Штрум так и не услышал ни разу его фамилии и имени-отчества. На груди у «смежника» было три ордена.

А на длинном диване сидели инженеры-«главинжи» и заводские энергетики, начальники экспериментальных цехов — все сосредоточенные, нахмуренные, с печатью бессменного и бессонного заводского труда.

Один, пожилой, был, видимо, практик из рабочих — голубоглазый, с весёлой, любопытствующей улыбкой, на его тёмном пиджаке блестели два ордена Ленина, рядом с ним сидел молодой человек в очках, напоминавший Штруму одного замученного экзаменами знакомого аспиранта.

Всё это были «тузы» советского качественного металла. В момент, когда Штрум вошёл в комнату, Андрей Трофимович громко проговорил:

— Кто сказал, что на твоём заводе бронеплиты нельзя выпускать, тебе ведь дали больше, чем всем, почему же твой завод не даёт того, что ты обещал Комитету Оборон?

Тот, кого упрекали, сказал:

— Но, Андрей Трофимович, вы помните...

Андрей Трофимович сердито перебил.

— «Но» я в программу не поставлю, из твоего «но» в немца не выстрелишь, мне «но» не надо — дали тебе металл, дали тебе кокс, дали и мясо, и махорку, и подсолнечное масло, а ты мне «но»...

Штрум, увидя незнакомых людей и услышав такой нешуточный разговор, попятился и хотел уйти, но Постоев задержал его.

Приход Штрума прервал разговор на несколько минут.

— Виктор Павлович, прошу, подождите, у нас уж к концу... Это профессор Штрум, — сказал: Постоев.

Штрум удивился тому, что присутствующие знали его. Ему казалось, что его знают лишь профессора, аспиранта да московские студенты старших курсов.

Постоев вполголоса стал объяснять Штруму: утром его просили в наркомат на заседание, он прихворнул — сердце защемило, и вот Андрей Трофимович, человек решительный, не желая терять времени, приехал к нему в гостиницу с участниками совещания. Теперь они разбирают последний вопрос — применение токов высокой частоты при обработке качественной стали.

Постоев сказал: заседавшим:

— Виктор Павлович разрабатывал ряд теоретических положений, важных для современной электротехники. Вот случаю угодно привести его в эту комнату как раз к решению вопросов, имеющих отношение к его работе.

Андрей Трофимович сказал:

— Присаживайтесь, мы из вас сейчас извлечём бесплатную консультацию.

А человек в очках, чьё лицо, казалось, напоминало знакомого Штруму аспиранта, сказал:

— Профессор Штрум не подозревает, сколько хлопот мне стоило достать копию его последней работы — специальный человек летал у меня самолётом в Свердловск.

— И пригодилась вам моя работа? — спросил Штрум.

— То есть как? — спросил инженер. Ему и в мысль не пришло, что Штрум задал вопрос, сомневаясь в полезности своей работы для практиков. — Конечно, я попотел над ней, — сказал: он и уж совсем стал похож на аспиранта, — но не зря, кое в чём я ошибся и понял, почему ошибся.

— Вот вы и сейчас, когда говорили о программе, ошибались, — сказал: без всякой шутливости генерал, совершенно жёлтыми глазами глядя на уральского инженера — Но я уж не знаю, в какую академию вам полететь, чтобы осознать свою ошибку.

И все занявшиеся было разговором с вновь пришедшим забыли о Штруме, словно он и не входил в комнату.

Говорили инженеры о металле, часто вставляя технические заводские слова, непонятные Штруму.

Инженер в очках увлёкся и с такими подробностями стал рассказывать о результатах своих исследований, что Андрей Трофимович молящим голосом сказал: ему:

— Побойтесь бога, вы нам тут целый годовой курс прочтёте, а у нас на всю повестку сорок минут осталось.

Вскоре спор о технических вопросах закончился, и разговор перешёл на практические дела — о программе, рабочей силе, об отношениях заводов с объединением и народным комиссариатом. И этот разговор показался Штруму особенно интересным.

Андрей Трофимович спорил очень резко, и Штрум заметил, что он часто произносил:

— Без объективности.. вы всё получили... тебе лично всё дали... тебе ГОКО всё дал... ты кокса получил больше всех... смотри, почёт дали, почёт и отнять можно...

Сперва казалось странным, что общность дела, тесно связавшая этих людей, была источником споров, резких реплик, недоброжелательности, а подчас жестоких слов и совсем недобрых насмешек.

Но в этом сердитом споре чувствовалась объединявшая людей страсть, влюблённость в дело, которое было для них всех главным в жизни.

Они были совершенно различны — одни из них жаждали новшеств, другие чуждались их; генерал гордился тем, что перевыполнил задание Государственного Комитета Оборона, работая на старинных дедовских печах, построенных мастерами-самоучками, Сверчков прочёл телеграмму, полученную им месяц назад: Москва одобряла смелые новшества — ему удалось на новых агрегатах, построенных с парадоксальной смелостью, добиться выдающегося успеха.

Генерал ссылался на мнение старых мастеров, а Чепченко — на свой личный опыт, «смежник» — на решение директивных органов. Одни были осторожны, другие дерзки,

смелы и говорили:

— Мне безразлично, что принято за границей, моё конструкторское бюро своим путём пошло и выше забралось по всем показателям.

Третьи казались основательными до медлительности, четвертые резки и быстры. Уралец всё задирает Андрея Трофимовича и, видимо, не искал его одобрения. «Смежник» после каждого слова оглядывался и говорил:

— Как полагает Андрей Трофимович? Когда он сказал, что добился успеха и перевыполнил программу, тонкогубый Сверчков проговорил:

— У меня был твой парторг, рассказывал, я знаю, рабочие у тебя зимой мёрзли в шалашах да в бараках. Ты не перегибай, ты-то, я вижу, ты то румяный, — и Сверчков ткнул своим длинным костяным пальцем в сторону «смежника».

Но «смежник» сказал: ему

— Я знаю, ты у себя построил молочную детскую кухню с белыми кафельными стенами и с мраморными столами, а в феврале чуть тебе голову не оторвали — не дал фронту металла.

— Неверно, — крикнул Сверчков, — в феврале мне голову отрывали, я ещё только стены клал в кухне, а в июне я получил благодарность ГОКО. Тогда кухня действовала.

Но больше всего занимал Штрума Андрей Трофимович

— Пожалуйста, рискуй, вместе будем отвечать! — несколько раз повторил он. — А ты попробуй, не бойся, чего бояться, — сказал: он одному директору, — ты с директивой считайся, но жизнь ведь тоже директива, директива сегодня одна, а завтра она устареет, вот от тебя и ждут сигнала, ты ведь сталь варишь — вот тебе главная директива! — Он вдруг оглянулся на Штрума и, усмехнувшись, спросил: — Как, товарищ Штрум, по-вашему, верно я говорю!

— Верно говорите, — сказал: Штрум Андрей Трофимович посмотрел на часы, сокрушённо покачал головой и обратился к Постоеву:

— Леонид Сергеевич, сформулируйте техническую сторону. Послушав Постоева, Штрум с восхищением подумал: «Ах, какой молодец, какой молодец», и ему показался законным и понятным уверенный, хозяйский жизненный стиль Постоева.

Он говорил легко, просто и в то же время обдуманно, видно было, что ему не стоило труда несколькими словами выразить сложную идею, резко и ясно подчеркнуть пользу богатой технической перспективы и бесплодность меры, приносящей шумный, но пустой, однодневный эффект. Потом заговорил Андрей Трофимович.

— Чего же тут сомневаться в реальности квартального плана, — сказал он, помните, в ноябре прошлого года, в самые, можно сказать, тяжёлые дни, когда немец подошёл к Москве, когда вся промышленность западных районов перестала давать продукцию, находилась на колёсах либо, сгруженная, лежала под снегом, многим из нас казалось, что все силы и средства можно вкладывать лишь в то, что завтра, через неделю может дать качественный прокат. А ГОКО предложил именно в эту пору строить новые мощности чёрной металлургии. А вот сегодня, когда введены в строй на Урале, в Сибири, в Казахстане десятки тысяч новых станков, когда производство качественного проката поднялось втрое, чем бы мы загрузили все эти блуминги, станки, прокатные станы, молоты, не будь у нас новых домен и новых мартенов? Вот как надо руководить! Сегодня думать о завтрашнем дне своего завода — это недостаточно. Надо думать о том, что будет через год — И, видимо, нарочно, чтобы собравшиеся здесь могли поверх забот сегодняшнего дня увидеть всю огромность сделанного ими, Андрей Трофимович сказал: — Да вы вспомните, вспомните октябрь, ноябрь, декабрь прошлого года! Ведь был период — выпускали меньше трёх процентов довоенного цветного проката, около пяти процентов шарикоподшипников. А сегодня?

Он встал, поднял руку. Лицо его потемнело от прилившей крови, и весь он стал вдруг похож на оратора массовика, выступающего на большом рабочем митинге, а не на председателя технического совещания.

— Вы только подумайте, что мы подняли из-под сибирских, уральских, поволжских снегов! Да ведь это дивизии станков, прессов, молотов, печей! Ведь это армии поднялись! Армии металлорежущих станков, мартены, электропечи, прокат на блуминге броневых листов, новые доменные встали — это же линкоры нашей металлургии! Один Урал пустил четыреста новых заводов! Знаете, как говорят: из-под снега цветы вышли, ожили, пробились. Понимаете, какое дело?

Штрум напряжённо слушал Андрея Трофимовича.

Все прочитанное им в журналах, книгах, стихах, все кадры хроникальных фильмов о великом строительстве соединялись в живом воспоминании, словно виденное и пережитое лично им.

Он рисовал себе картину — задымленные цехи, белые от жара, похожие на пламя вольтовой дуги, разверстые печи, серый, застывший броневой металл и рабочие в облаках дыма, среди бьющих молотов, среди треска и свиста длинных электрических искр. Ему казалось, в эти минуты он ощущал огромность металлической мощи, слившейся с огромностью советского пространства. Эта металлическая мощь осязалась в словах людей, говоривших о миллионах тонн стали и чугуна, о тысячах и десятках тысяч тонн качественного проката, о миллиардах киловатт-часов.

Но, видимо, Андрей Трофимович, хотя и говорил так поэтически о выбившихся из-под снега цветах, не был лёгким, склонным к мечтаниям человеком. Когда один из главных инженеров попросил его обосновать директиву, полученную заводом, он властно оборвал его и угрюмым голосом сказал:

— Обоснования уже были даны, теперь я приказываю! — И при этом приложил ладонь к столу, словно поставил большую государственную печать.

Когда заседание окончилось и все стали прощаться с Постоевым, худой инженер в очках подошёл к Штруму и спросил:

— Вы ничего не слышали о Николае Григорьевиче Крымове?

— О Крымове? — удивлённо спросил: Штрум и, сразу поняв, почему длинное, худое лицо инженера показалось ему знакомым, быстро спросил: — Вы родственник?

— Я Семён, младший брат его.

Они пожали друг другу руки.

— Я часто вспоминаю Николая Григорьевича, я его люблю, — сказал: Штрум и с горячностью добавил: — Ох, уж эта Женя самая, я на неё очень зол.

— А она здорова?

— Здорова, конечно, здорова, — сердито ответил Штрум, точно это было неприятно ему.

Они вместе вышли в коридор и некоторое время прохаживались, вспоминая Крымова и довоенную жизнь.

— А ведь мне о вас Женя говорила, — сказал: Штрум, — вы на Урале быстро выдвинулись, стали заместителем главного инженера.

Семён Крымов ответил:

— Теперь я главный инженер.

Штрум стал расспрашивать его, возможно ли на уральском заводе наладить опытную плавку и выпустить некоторое количество стали, нужной ему для специальной аппаратуры,

Крымов задумался и ответил:

— Сложно, очень сложно, но надо поразмыслить, — и, лукаво улыбнувшись, добавил: — Ведь не только наука помогает производству, бывает наоборот, производство помогает науке

Штрум пригласил Крымова к себе, но тот замотал головой:

— Что вы, где там, жена просила заехать к родным в Фили, у них телефона нет, и то, видно, не успею. Через час в наркомат, в половине двенадцатого назначен приём в ГОКО, а на рассвете снова вылетаю в Свердловск. Но телефон ваш на всякий случай запишу.

Они простились.

— Приезжайте на Урал, обязательно приезжайте, — сказал: Крымов.

Он во многом походил на старшего брата — длинные руки, шаркающая походка, сутулость, только ростом был меньше.

Штрум снова зашёл к Постоеву. Постоева очень утомило заседание, но он был доволен.

— Интересный народ, — сказал: он. — Вам повезло всех вместе увидеть, главные тузы, их вызвали в ГОКО.

Он сидел за столом, с салфеткой на коленях; официант убрал окурки и, раскрыв окна, накрывал на стол.

— Обедать будете? — спросил: Постоев. — Не отошали на домашних харчах?

— Спасибо, я обедал, — сказал: Штрум.

— Упрашивать не стану, не такое нынче время, — сказал: Постоев.

Официант усмехнулся и вышел из комнаты. Постоев стал рассказывать:

— По всему судя, многие москвичи как будто не отдают себе отчёта в серьёзности положения. В Казани, хотя она и на тысячу километров восточнее, настроение более нервное. Но там, где я вчера был, — он показал рукой в сторону потолка, — наверху, там охватывают ситуацию во всех связях, широкий общий взгляд на карту главных событий. И должен вам сказать, чувствуется по всему большое напряжение. Я прямо спросил: — «Как положение на Дону, тяжёлое?», а мне ответили: «Что Дон, возможен прорыв к Сталинграду и к Волге». — Он посмотрел на Штрума и отдельно произнёс: — Вы понимаете, Виктор Павлович, это уж не обывательские разговоры... — Потом он вдруг сказал: — Хороший народ наши инженеры, а? Замечательный народ!

— Да, — сказал: Штрум — А меня вчера спрашивали — какой способ реэвакуации я считаю более целесообразным — постепенное перетаскивание или одновременный переезд? Без точных сроков, но вот вопрос этот задавался, как вы это свяжете с тем, что сейчас говорили?

Они помолчали.

— По-видимому, разгадка в том, — проговорил Постоев, — что вы сегодня от инженеров моих слышали. Помните, что Сталин сказал: в ноябре прошлого года: современная война есть война моторов. Вот наверху и подсчитали, кто их больше сегодня производит — мы или немцы. Ведь силища у нас есть! Знаете, на одного токаря в дореволюционной промышленности — наших шесть, на одного инструментальщика — у нас двенадцать, у царя — один механик, а у нас — в девять раз больше. И так всюду!

— Леонид Сергеевич, — сказал: Штрум, — я никогда никому не завидовал. Никогда! А вот сегодня, слушая вас всех, я, кажется, всё бы отдал, чтобы работать там, где рабочие делают танковую сталь, где строят моторы.

Постоев полушутя ответил ему:

— Но-но-но, я вас знаю, вы одержимый, вас оторвёшь на месяц от электронной и квантовой премудрости, вы и захиреете, как дерево без солнца.

Штрум жил в Москве в хлопотах и напряжённых делах. Но, несмотря на занятость, он почти каждый вечер встречался с Ниной. Они гуляли по Калужской улице, заходили в Нескучный сад, однажды смотрели кинофильм «Леди Гамильтон». Во время этих прогулок большей частью говорила она, а он шёл рядом и слушал, изредка задавая вопросы. Штрум уже знал множество обстоятельств и подробностей её жизни — и о том, как она работала в швейкомбинате, и о том, как, выйдя замуж, уехала в Омск, и о старшей сестре, которая замужем за начальником цеха на одном из уральских заводов. Она рассказала ему о старшем брате, капитане, командире зенитного дивизиона, и о том, что она, Нина, и её сестра и брат сердиты на отца за то, что он женился после смерти матери.

Всё то, о чём простодушно и доверчиво рассказывала Нина, почему-то не было безразлично Штруму, он помнил имена Нининых подруг и родственников, спрашивал.

— Простите, я забыл, как зовут мужа Клавы? Но особенно волновали его рассказы о Нининой семейной жизни, муж её был плохим человеком. Штрум заподозрил в нём множество пороков, считал его грубым, пьяницей, себялюбцем, невеждой и карьеристом.

Иногда Нина заходила к Штруму и помогала ему готовить ужию. Его трогало и волновало, когда она спрашивала:

— Может быть, вы любите перец, я принесу, у меня есть. А однажды она сказала ему:

— Вы знаете, как хорошо, что мы с вами познакомились. И так жалко, что скоро уезжаю.

— Я к вам в гости непременно приеду, — сказал: он.

— Ну, это только говорится так.

— Нет, нет, совершенно серьёзно. Остановлюсь в гостинице.

— Куда там. Даже открытки мне не напишете.

Как-то он вернулся домой очень поздно, задержался на совещании, и, проходя мимо Нининой двери, с печалью подумал «Сегодня её не увижу, а мне уж скоро уезжать». На следующий день Штрум с утра поехал к Пименову, и тот весело оказал:

— Вот уже все формальности закончены. Вчера провели ваш план через грозную инстанцию товарища Зверева. Можете давать телеграмму домашним, предупредите о скором приезде.

В этот день Штрум условился встретиться с Постоевым, но позвонил ему по телефону и сказал, что приехать не сможет — возникло непредвиденное дело, и тотчас же поехал домой.

На лестничной площадке он увидел Нину, и сердце его забилось быстро и горячо, даже дышать стало трудно.

«Что это, почему это?» — опросил он себя, но, конечно, не было нужды отвечать на этот вопрос.

Он увидел, что и она обрадовалась ему, вскрикнула:

— Боже, как хорошо, что вы пришли сегодня раньше обычного, а я уж вам записку написала, — и она протянула ему сложенную треугольником записку.

Он развернул записку, прочёл её и спрятал в карман.

— Неужели вы сейчас в Калинин уезжаете? — спросил: Штрум. — А я думал, мы пойдём гулять. Нина сказала:

— Мне самой в Калинин не хочется, но надо. — Она по смотрела на огорчённое лицо Штрума и добавила: — Я во вторник утром непременно вернусь и до конца недели пробуду в Москве.

— Я поеду провожать вас на вокзал, — сказал: он.

— Ой нет, это неудобно. Ведь со мной поедет одна наша омская сотрудница.

— Тогда зайдемте ко мне на минутку, выпьем вина за ваше скорое возвращение.

Войдя в коридор, она сказала:

— Да, совершенно забыла! Вчера приходил какой-то военный и спрашивал вас, обещал сегодня зайти. Они выпили вина.

— У вас не кружится голова? — спросила Нина

— Кружится, не от вина, — ответил он и взял её за руку. В это время позвонили.

— Это, верно, тот военный, — сказала: Нина.

— Я с ним поговорю в передней, — решительно объявил Штрум.

Через несколько минут он ввёл в столовую высокого военного.

— Прошу вас, знакомьтесь, — проговорил Штрум и, как бы извиняясь перед Ниной, объяснил: — Это полковник Новиков, он на днях прилетел из Сталинграда, привёз привет от родных.

Новиков поклонился с той незрячей, безразличной вежливостью, которую выработать война у человека, в любое время — ночью и на рассвете — в силу обстоятельств вынужденного врываться в частную жизнь других людей. Его равнодушные глаза говорили, что ему нет дела до частной жизни Штрума, что его не интересует, кем профессору приходится эта красивая молодая женщина...

Но под незрячим и равнодушным выражением он скрывал лукавую мысль:

«Э, вот вы какие, мужи науки! Оказывается, и здесь водятся походные полевые жёны».

— Я привез вам свёрточек, — сказал: он, раскрывая сумку, — письма не дали, просили на словах передать сердечные приветы! Александра Владимировна, Мария Николаевна, Степан Фёдорович, Вера Степановна.

Он не назвал почему-то Евгении Николаевны.

Новиков, перечисляя имена, стал похож не на полковника, а на солдата, передававшего из землянки поклоны родным.

Виктор Павлович рассеянно положил пакет в раскрытый портфель, лежавший на столе.

— Спасибо, спасибо, как они все там поживают? — и, испугавшись, что Новиков станет пространно и долго рассказывать, продолжал задавать вопросы: Вы надолго сюда? Совсем в Москву или в командировку?

В этот момент Нина сказала:

— Ах, боже мой, я забыла, ко мне попугачица должна прийти, ведь мне к поезду пора.

Штрум пошёл проводить Нину, и Новиков слышит, что профессор следом за ней вышел на площадку

Штрум вернулся и, не зная, с чего начать разговор, опросил:

— Вы не упомянули о Жене, разве Евгения Николаевна не в Сталинграде?

Полковник явно смутился и ответил с внезапным «командирским» раскатом:

— Евгения Николаевна просила вас кланяться, я запомнил, не передал.

Именно в этот миг произошло между ними то, что происходит между двумя концами электрического провода, когда колючие, ершистые сердитые проволоки, наконец, соединившись, пропускают через себя ток, — зажигается лампочка, и всё, что в сумраке казалось угрюмым, чужим и враждебным, вдруг становится приветливым и милым.

Они быстро переглянулись и улыбнулись друг Другу.

— Вы оставайтесь, переночуйте, — сказал: Штрум Новиков поблагодарил! он уже оставил в НК0 другой адрес на тот случай, если его вызовут, поэтому ночевать у Штрума он не сможет.

— Каково положение под Сталинградом? — спросил: Штрум, Новиков ответил не сразу.

— Плохо, — негромко сказал он.

— Вы полагаете, остановим?

— Должны остановить! Значит, остановим.

— Почему должны?

— Если не остановим — погибнем.

— Это увесистый довод у в Москве, должен вам сказать, спокойно и уверенно настроены, даже говорят о эвакуации. Некоторые считают, что положение выправляется.

— Нет, это неверно.

— Что неверно?

— Положение не выправилось — немцы идут вперёд.

— А наши резервы, велики они, где они? Новиков ответил:

— Об этом не положено знать не только вам, но и мне, об этом знает Ставка.

— Да а, — протяжно сказал Штрум и стал закуривать. Потом он спросил, застал ли Новиков Толю во время Толиного двухдневного пребывания в Сталинграде, спросил: о Софье Осиповне, осведомился, как настроена Александра Владимировна.

И в этом разговоре — не столько в коротких ответах, сколько в улыбке или в серьёзном выражении глаз Новикова — Штрум почувствовал, что Новиков понимает людей, которых Виктор Павлович знал долгие годы и отношения которых изучил во многих подробностях.

Новиков, посмеиваясь, рассказывал, что Мария Николаевна воспитывает всех детей области, и Веру, и Степана Фёдоровича заодно, что Александра Владимировна за всех волнуется, но больше всего, видимо, за Серёжу и работает за двух молодых...А о Софье Осиповне он сказал:

— Она стихи читала мне, но характер, по правде говоря, такой, что и с нашим комендантом штаба справится.

Он не сказал: ничего о Жене, и Штрум не стал о ней спрашивать — и в этом их молчании словно установился неписанный договор.

Постепенно беседа снова пошла о войне, в ту пору война была морем, в которое вливались все реки и из которого рождались все реки.

Новиков заговорил об инициативных фронтовых и штабных командирах и внезапно стал ругать какого-то перестраховщика и бюрократа. По тому, как он менял интонацию голоса, передавая чьи-то слова об «оси движения» и «темпе движения», и по его жестам Штруму показалось, что Новиков имеет в виду Ивана Дмитриевича Сухова.

Чувство доброжелательства к Новикову, приход которого полчаса назад вызывал в нём неприязнь, растрогало Штрума.

Его по-новому заняла не новая для него мысль, что внешне резкие различия советских людей, наружность, профессия, сфера интересов, часто поверхностны и мешают определить единство. В самом деле, что, казалось бы, общего между ним, Штрумом, исследователем математических теорий физики, и фронтовым полковником, говорившим «Мне, как кадровому военному».

А оказалось, их любовь, их боль, многие их мысли — всё было общим, братским.

— Всё необычайно просто, — сказал: он, охваченный тем стремительным и кажущимся счастливым озарением, которое обычно содержит в себе больше заблуждения, чем истины. И он стал рассказывать Новикову о совещании у Постоева, излагать свой взгляд на дальнейший ход военных событий.

Когда Новиков собрался уходить, Штрум сказал: ему:

— Я провожу вас, мне нужно отправить телеграмму. Они простились на Калужской площади. Штрум зашёл на почту и послал телеграмму в Казань — в телеграмме он сообщал, что здоров, что дела его успешно завершаются и он, вероятно, сумеет выехать в конце будущей недели.

В субботний вечер Штрум собрался на дачу. Сидя в вагоне дачного поезда, Виктор Павлович думал о событиях прошедших дней. Как жалко, что уехал Чепыжин.

Этот приходивший вчера полковник Новиков очень милый человек. Виктор Павлович был доволен, что познакомится с ним. Но лучше, если б это знакомство состоялось на полчаса позже и не помешало бы проститься с Ниной... Но ничего. Вот она вернётся во вторник. И он вновь увидит это милое, молодое и красивое существо.

И так же много и упорно, как о Нине, он думал о жене. Он представил себе её одиночество, тревогу о сыне, вспоминал долгие годы, прожитые с ней.

Людмила расчёсывала утром волосы и говорила:

— Вот мы и стареем, Витя.

Сколько живых связей, сколько разделённого с ней успеха, тревог, огорчений, разочарований, труда.

Такими простыми всегда казались ему отношения людей, такими ясными и несложными. Он так уверенно объяснял Толе и Наде законы человеческих отношений, но вот он не может разобраться в своих чувствах. Логика мышления, ей он верил! Его лабораторная работа всегда была дружна с его кабинетной, книжной теорией, лишь изредка они сталкивались, недоуменно топтались, но это обычно кончалось примирением, они дружно двигались дальше, порознь бессильные: неутомимый ходок, мускулистая практика, несущая на плечах крылатую теорию с острыми глазами.

Но в личной жизни Штрума ныне всё смешалось.

Он вышел на дачную платформу и прошёл знакомой, сейчас пустынной дорогой.

Открыв калитку, Штрум вошёл в сад. Заходящее солнце отражалось в окнах застеклённой террасы.

Сад был полон колокольцев и флоксов — они пестрели среди высокой сорной травы, густо и жадно разросшейся там, где обычно не разрешала ей расти Людмила Николаевна, — на клубничных грядках, на клумбах, под окнами дома. Трава пятнала дорожки, пробивалась сквозь песок и утрамбованную землю, выглядывала из-под первой и второй ступенек

крыльца.

Забор покосился, доски во многих местах были сорваны, и малина с соседнего участка заглядывала через проломы. На полу террасы были видны следы костра, который разводили на листе кровельного железа. В комнатах первого этажа тоже, видимо, в зимнюю пору жили — на полу лежала солома, истерзанный ватник, старые изодранные портянки, смятая сумка от противогаза, жёлтые обрывки газет, несколько сморщенных картофелин. Дверцы шкафов были открыты.

Виктор Павлович поднялся на второй этаж: и там побывали посетители, двери комнат оказались распахнутыми.

Лишь его комната была заперта, уезжая, Людмила Николаевна завалила узенький коридор поломанными стульями, старыми вёдрами, а дверь замаскировала листами фанеры.

Он долго разбирал баррикаду, чтобы расчистить вход, шумел, грохотал и, наконец, открыл дверь ключом: вид нетронутой комнаты удивил его больше, чем разор, царивший вокруг; показалось, прошла всего неделя с того последнего предвоенного воскресенья.

На столе лежали рассыпанные шахматы. Высохшие цветы лежали вокруг вазы ровным кругом голубовато-серого праха, а шершавые стебли торчали пыльным веником из сухого синего стекла...

Сидя у стола в то далёкое, последнее предвоенное воскресенье, Штрум обдумывал перед сном тревожившую его тогда проблему. Проблема была решена и не волновала его, эту работу он написал и напечатал в Казани, и авторские экземпляры были подарены коллегам... А воспоминание об этом ушедшем мирном воскресенье стало тревожно, невыносимо печально...

Он снял пиджак, положил портфель на стол и спустился вниз. Деревянная лестница скрипела под ногами, обычно Людмила слышала этот скрип и опрашивала из своей комнаты: — Ты куда, Витя?

Но теперь никто не слышал его шагов — дом был пуст.

Вдруг зашумел дождь, в безветренном воздухе щедро и густо падали крупные капли воды, а заходившее солнце продолжало светить, и, проносясь сквозь полосу косых лучей, капли вспыхивали и вновь гасли. Туча была невелика, она шла над домом, и виден был дымный край дождя, плавно уходивший в сторону леса. Звук падающих капель ещё не успел утомить ухо и потому не сливался в монотонный шум, а гремел многоголосо, словно каждая капля была старательным, страстным музыкантом, которому суждено сыграть в жизни одну единственную ноту. И капли шуршали, падали на землю, дробясь меж шелковистых еловых игл, звонко ударяли по тугим листьям лопуха, глухо стучали о деревянные ступени крыльца, били в тысячи барабанов по берёзовым и липовым листьям, гремели железным бубном крыши...

Дождь прошил, и чудная тишина встала над землёй. Штрум вышел в сад влажный воздух был тёпел и чист, и каждый лист дерева, каждый лист клубники украсился водяной каплей, и каждая водяная капля, словно икринка, готовая выпустить малька, таила свет солнца, и ему казалось, что где-то в самой глубине его груди вызрела и заблестела такая же полновесная дождевая капля, живой, блестящий малек, и он стал ходить по саду, поражаясь и радуясь великому благу, которое выпало ему, — жить на земле человеком.

Солнце уже садилось, сумрак лег на деревья, а сверкающая капля в груди не хотела гаснуть вместе с дневным светом, всё разгоралась...

Он поднялся наверх, раскрыл портфель, стал искать в нём свечу, нащупал бумажный пакет и вспомнил, что этот пакет передал ему вчера Новиков Штрум забыл о нём, так пакет и пролежал нераскрытым в портфеле.

Штрум нашел свечу, завесил окно одеялом. При свете свечи в комнате стало особенно спокойно.

Он разделся и лёг в постель, раскрыл пакет, присланный из Сталинграда. На запачканном листе было написано твёрдым, чётким почерком «Виктору Павловичу Штруму» и адрес.

Он узнал почерк матери, отбросил одеяло и начал одеваться, точно его из темноты позвал спокойный, внятный голос.

Штрум сел за стол и перелистал письмо — это были записи, которые вела Анна Семёновна с первых дней войны до дня нависшей над ней неминуемой гибели за проволокой еврейского гетто, устроенного гитлеровцами. Это было её прощание с сыном...

Исчезло ощущение времени. Он даже не спросил: себя, как эта тетрадь попала в Сталинград, через линию фронта...

Он встал из-за стола, сбросил маскировку и раскрыл окно. Белое утреннее солнце стояло над ёлкой у забора, весь сад был в росе, казалось, что листья, цветы, трава густо осыпаны колючим толчёным стеклом. Деревья в саду то поочерёдно, то все залпом взрывались от птичьего крика.

Виктор Павлович подошел к зеркалу, висевшему на стене, — он думал, что увидит осунувшееся лицо с трясущимися губами, но лицо его было совершенно таким же, каким оно было вчера.

Он вслух сказал:

— Вот и всё.

Ему захотелось есть, и он отломил кусок хлеба, медленно, тяжело стал его жевать, сосредоточенно глядя на кручёную розовую нитку, дрожавшую над краем одеяла.

«Её точно раскачивает солнечный свет», — подумал он.

В понедельник ночью Штрум сидел в темноте на диване в своей московской квартире и смотрел в открытое, незатемненное окно. Внезапно завывли сирены, и небо осветилось светом прожекторов.

Вскоре сирены затихли, и стало слышно, как немногочисленные жильцы дома, неторопливо шаркая в темноте ногами, опускались по лестнице. С улицы доносился сердитый голос.

— Зачем стоять во дворе, гражданки, в бомбоубежище культурно, все приготовлено: и вода кипяченая, и койки, и скамьи.

Но, видимо, опытные жильцы не хотели душной ночью уходить в подвал, не убедившись, что действительно начался налёт.

Перекинулись дети, чей-то недовольный голос проговорил:

— Опять ложная тревога, спать людям не дают! Издали послышался грохот орудий зенитной обороны.

И вдруг явственно стал слышен негромкий, нудный звук авиационного мотора. Пронзительно загудели в небе ночные советские истребители. Во дворе зашумели сразу, где-то гулко ударило, снова началась зенитная стрельба. Но в промежутках между выстрелами уже не слышались голоса людей.

Жизнь втекла в бомбоубежище; в домах, во дворах не осталось людей, а наверху голубые метлы — прожектора — усердно и бесшумно мели ночное облачное небо.

«Вот и хорошо, я совсем один», — подумал Штрум.

Прошёл час, и Штрум всё сидел и глядел в окно, напряжённо наморщив брови, не меняя позы, как во сне, слушал грохот орудий, гул бомбёжки.

Наступила тишина, видимо налёт кончился, опять зашумели люди, выходящие из бомбоубежища, стало темно, погасли прожектора.

Вдруг послышался продолжительный и резкий телефонный звонок. Не зажигая света, Штрум подошёл к телефону — телефонистка предупредила, что будет говорить Челябинск. Он сперва подумал, что произошло недоразумение, и хотел повесить трубку. Но оказалось не так, говорил инженер Крымов, с которым он виделся у Постоева. Слышимость была отличная. Крымов сперва извинился, что потревожил Штрума ночью.

— Я не сплю, — оказал Штрум.

Дело было в том, что на заводе устанавливается совершенно новая контрольная электронная аппаратура, — возникли большие трудности с введением её в действие, это замедляет производственный процесс. Крымов просил Штрума прислать одного из своих

научных сотрудников — ведь лаборатория Штрума разрабатывала принципы, определяющие работу этой аппаратуры. На рассвете товарищ может вылететь заводским самолётом — правда, полёт предстоит тяжёлый, машина не пассажирская, будет завалена грузами. Уполномоченный завода предупреждён. Если Штрум согласится, то за товарищем, который полетит, заедут на автомобиле, нужно только предупредить представителя завода по телефону.

Штрум ответил, что все научные сотрудники его находятся в Казани, в Москве никого нет. Крымов стал просить Штрума послать телеграмму в Казань, дело срочное, сложное; проконсультировать его может лишь человек, хорошо знакомый с теорией вопроса.

Штрум на мгновение задумался.

— Алло, Виктор Павлович, вы слышите меня? — спросил: Крымов.

— Дайте мне телефон вашего представителя, — сказал: Штрум, — я сам полечу, вечером увидимся с вами.

Он позвонил представителю завода, сказал: ему свой адрес, предупредил, что возьмёт с собой в самолёт два чемодана, так как из Челябинска будет возвращаться не в Москву, а в Казань.

Они условились о встрече, машина заедет за Штрумом в пять часов утра.

Штрум подошёл к окну, посмотрел на часы — было без четверти четыре.

Во тьме мелькнул луч прожектора, и Штрум следил за ним — исчезнет ли он так же внезапно, как появился, среди чёрного мрака. Луч задрожал, метнулся вправо, влево и замер вертикальным голубым столбом между тьмой земли и тьмой неба.

Около трёх недель длилось сражение на западном берегу Дона. На первом этапе этих боёв немцы пытались вырваться к Дону и окружить дивизии, оборонявшиеся на фронте Клетская, Суворикино, Суворовская.

В случае успеха немецкое наступление должно было развиваться на восток от Дона непосредственно на Сталинград. Несмотря на превосходство сил, несмотря на отдельные вклинения в нашу оборону, противнику операция не удалась. Бой, завязавшийся 23 июля, приняли затяжной характер, в них втянулись большие силы немцев. Советские атаки парализовали продвижение немецких танков и мотопехоты.

Тогда немцы нанесли удар по Сталинграду с юго-запада.

Но и это наступление не имело успеха. Войска Красной Армии проявили железную стойкость.

Тогда немецкое командование решило нанести в направлении Сталинграда одновременные концентрические удары с севера и с юга.

В новом наступлении немцы создали двойное численное превосходство в живой силе и несколько большее в танках, артиллерии и миномётах. Это помогло им достичь тактического успеха.

Начав наступать 7 августа, войска Паулюса 9 августа широким фронтом вышли на правый берег Дона, окружая советские части. На западном Донском плацдарме создавалась чрезвычайно напряжённая обстановка.

Войска Красной Армии начали отход на восточный берег Дона.

В начале августа 1942 года противотанковая бригада, где служил Крымов, понеся в боях большие потери, была по приказу высшего командования снята с фронта и отправлена в Сталинград на переформирование.

5 августа штаб и основные подразделения бригады переправились через Дон в район станицы Качалинской и двинулись к указанному командованием месту сосредоточения — на северной окраине Сталинградского тракторного завода.

Крымов, проводив бригаду до переправы и простившись с комбригом, поехал в штаб правофланговой армии Сталинградского фронта — он должен был встретиться там с командиром миномётного дивизиона Саркисьяном и сопровождать дивизион на марше.

Тяжёлый миномётный дивизион задержался из-за того, что ночью немецкая бомба разбила бензоцистерну, и машины, готовые к отправке, остались без горючего. Саркисьян

должен был захватить в штаб за нарядом на бензин.

Желая сократить путь, Крымов поехал просёлком, но, зная по опыту, как трудно ориентироваться в степи, он то и дело останавливал машину и зорко всматривался, чтобы не запутаться в паутине степных дорог и дорожек. Немцы могли быть близко!

Это происходило именно в те дни, когда войска Сталинградского фронта по приказу командования отходили на восточный берег Дона; прорывавшиеся на флангах немецкие танки вышли в двух местах к переправам и пытались отрезать оставшиеся на западном Донском плацдарме дивизии.

По некоторым признакам Крымов понял, что штаб недалеко — вдоль дороги тянулась шестовка, проехал связной броневик, обгоняя его, промчался «зис-101» в жёлтых яблоках и запятых на мятых боках, а следом за ним зелёная «эмка» с простреленным боковым стеклом.

Крымов велел Семёнову ехать следом, и тот то въезжал в пыльное облако, поднятое передними машинами, то отставал немного. Они видели, как поднялся шлагбаум, пропуская машины. Крымов предъявил часовому удостоверение и, пока тот медленно переворачивал странички, спросил:

— Не здесь ли штаб армии?

Точно, штаб армии, — ответил часовой, возвращая удостоверение, и улыбнулся Крымову, зная, какое удовольствие испытывают люди, находя в суматохе войны то, что ищут.

Крымов оставил машину у шлагбаума, сделанного из осинового жерди, и, ступая по глубокому, греющему через сапог горячему песку, пошёл в деревню.

Он направился к столовой, зная, что в обеденный час здесь легче всего встретить нужных людей. Он уже давно заметил, что за год на войне чётко сложился штабной быт, схожий во многих армиях, в которых пришлось ему побывать.

Он шутя говорил, что штаб фронта живёт, как столица союзной республики, штаб армии имеет свой сложившийся областной уклад, штаб дивизии — районный, полка — сельский, а батальоны и роты живут по закону полевых станов, в бессонной лихорадке рабочей страды.

В столовой шли сборы в дорогу. Официантки укладывали в солому тарелки и чашки, а писарь АХО сложил в железный ящик талоны обеденных карточек и корешки продовольственных аттестатов.

В дверях столовой, помещавшейся в школе, стояли несколько штабных командиров и политработников, ожидавших сухого пайка. Парты, вынесенные из классов, занимали почти половину двора, за одной партией сидел рябой капитан и сворачивал папиросу. Напротив него стояла классная доска, и так как в Донской степи уж долго не было дождя, арифметические вычисления школьников были довольно ясно видны на доске. Собравшиеся у столовой командиры, не обращая внимания на вновь подошедшего, слушали рассказ молодого черноволосого политрука. Он, судя по всему, только что вернулся из поездки на передовую, ибо всё существо его, как всегда это бывает с людьми, вышедшими в безопасное место из-под огня, выражало сдержанное счастье. Он говорил возбуждённым, радостным голосом, противоречащим своим выражением печальным вещам, о которых шел разговор:

— Над боевыми порядками «мессера» на бредущем ходят, колёсами цепляют по голове. Есть подразделения — дерутся замечательно, например, в одной противотанковой батарее все расчёты погибли до последнего человека, и никто не ушёл, да что, когда прорыв...

— Факты героизма привезли? — строго спросил: батальонный комиссар, видимо заведовавший отделом информации.

— Конечно, — ответил политрук и похлопал рукой по полевой сумке. — Самого чуть не убило, когда лазил к командиру батарее. Хорошо, что застал вас. А мешок мой в машину никто не положил, забыли, конечно. И сухой паек на меня не выписали. Товарищи, эх!

— Ну, а вообще? — спросил: небритый в интендантской зелёной фуражке.

— Вообще? — политрук махнул рукой. Крымов облизнул губы и, зевнув от злого волнения, сказал:

— Вы, старший политрук, так рассказываете о гибели артиллерийских расчётов и об отступлении, словно вы турист с Марса, прилетели посмотреть и обратно на Марс улетите.

Политрук не вспыхнул, как ожидал Крымов, а заморгал глазами, покраснел и пробормотал:

— Да, собственно, я понимаю, я просто радовался, что наших политотдельцев застал, а не на попутных добираться... А мне, какое же мне веселье?

Крымов, ожидавший грубости и готовый произнести безжалостное, резкое слово, смутился и миролюбиво сказал:

— Я понимаю, что значит на попутных добираться...

Он знал законы армейской жизни, знал, что мелочные интересы военного быта часто искупаются жертвой жизни, жертвой, совершаемой людьми со спокойной простотой, теми людьми, которые, покидая пылающий город, волнуясь, вспоминают о брошенной пачке табаку либо о мыльнице, оставшейся на кухонном окне.

И всё же Крымову казалось, что естественное, привычное теперь стало невыносимо. Наступали решающие, роковые недели, быть может, дни.

Он видел — отступление для многих стало привычкой. У отступления появился свой быт, к отступлению приспособились армейские пошивочные мастерские, хлебопекарни, военторги, столовые.

Воздух вдруг наполнился гудением. Несколько голосов одновременно произнесли:

— Наши, наши «илы» на штурмовку идут! К Крымову бежал, размахивая руками, командир дивизиона тяжёлых миномётов, малорослый, с массивными плечами старший лейтенант Саркисян.

— Товарищ комиссар, товарищ комиссар! — кричал он, хотя уж находился рядом с Крымовым.

На лице Саркисяна было выражение радости, которую испытывают дети, потерявшиеся в толпе и вдруг увидевшие обрадованное и рассерженное лицо матери.

— Сердце мне предсказываю, — говорил он, улыбаясь всем своим тёмным широким лицом с толстыми чёрными бровями, — крутился всё время возле столовой!

Саркисян с утра приехал в штаб армии к начальнику отдела снабжения горючим, но тот неожиданно отказал ему в горючем.

— Часть выведена во фронтовой резерв, — сказал: он, — вы от нас получили заправку и в армейских списках больше не числитесь, обращайтесь в ОСГ фронта.

Саркисян воспроизводил свой разговор с майором, начальником ОСГ, округлял глаза, выражал на лице ужас, просьбу, гнев.

Но майор не внял просьбе...

— Тогда я посмотрел на него вот так, — сказал: Саркисян и показал, как он смотрел на начальника.

В этом страстном, долгом, молчаливом взоре была вся история претензий человека переднего края к человеку армейского тыла.

Они вместе пошли к начальнику ОСГ, и по дороге Саркисян рассказал: о своих злоключениях.

Когда бригада ушла, он с вечера занял оборону, хотя дивизион и находился далеко от линии фронта. И ему действительно пришлось ввязаться в бой — пехота оставила свои рубеж, и немецкий подвижной отряд натолкнулся на боевое охранение Саркисяна. Он легко отразил атаку, так как располагал двумя «БК» [Боекомплект] мин для стопятидесятиметровых минометов.

Немцы потеряли две танкетки, бронетранспортёр и отошли. Только к двум часам ночи стрелковая часть заняла рубеж, и, не оставаясь там Саркисян, к подходу пехоты рубеж был бы в руках противника.

Ночью немцы опять атаквали, и Саркисян помог пехоте отбить противника и попросил у командира полка сто пятьдесят литров бензина. Но командир, на горе, оказался прижимистым товарищем — дал Саркисяну семьдесят литров. На этом бензине Саркисян

со своими восемью машинами до брался до штаба армии, остановил дивизион в степи, в пяти километрах от восточной окраины станицы, занял оборону, а сам приехал в штаб хлопотать о горючем.

— Ну вот, пришли, — сказал: он, указывая на белый домик, перед которым стояла обшарпанная полуторка, и, прижав кулаки к груди, молящим голосом произнес: — Я робею, товарищ комиссар. Я его только раздражать буду. Лучше уж вы сами, я возле столовой подожду.

Он, видимо, действительно оробел, и Крымова рассмешили растерянные глаза Саркисяна, чьей специальностью была стрельба из тяжёлых минометов по немецким танкам и мотопехоте.

Начальник армейского ОСГ собирался в дорогу и наблюдал, как писарь обёртывал соломой керосиновую лампу, обвязывал бечёвкой розовые и желтые папки, набитые документами. На все доводы Крымова начальник отвечал вежливо но непоколебимо твердо.

— Не могу, товарищ комиссар, я понимаю ваше положение, поймите меня, имею строгий приказ, за каждую каплю отвечаю вот этой головой.

И похлопывал себя по лбу.

Крымов, поняв, что начальника ОСГ ему не уговорить, сказал:

— Хотя бы посоветуйте!

Начальник ОСГ обрадовался, чувствуя, что настойчивый посетитель его сейчас оставит в покое.

— Обратитесь к генералу, начальнику тыла. Он тут над всем хозяин. В тридцати километрах база армейского значения — ему только сказать нужно. Вот я вам покажу, как пройти, в конце улочки домик с голубыми ставнями, автоматчик стоит, сразу увидите.

Провожая Крымова, он сказал:

— Я бы с удовольствием выписал, но приказ есть приказ, даю только по квартальному лимиту, а вы у нас сняты, перешли на фронтное обеспечение, как вышедшие в резерв, а талонов у вас тоже нет.

— Резерв, резерв, дивизион на переднем крае держал ночью бой, — сказал: Крымов, которому показалось, что начальник ОСГ в последнюю минуту готов смягчиться и выпишет наряд.

Но начальник ОСГ, считая, что с посетителем покончено, сказал: писарю:

— И недели не прожили в человеческих условиях, а комендант на новом месте квартиры нам не даст, в блиндаже будем сидеть. Как последние люди во всём штабе.

— В блиндаже, товарищ майор, спокойней от бомбёжки, — утешая начальника, сказал: писарь.

Крымов пошёл к генералу. Автоматчик вызвал к дверям адъютанта, юношу в габардиновой гимнастёрке. Он выслушал Крымова, тряхнул русыми кудрями и сказал, что генерал сейчас отдыхает, всю ночь работал, лучше бы Крымову прийти, когда уже разместятся на новом положении.

— Видите сами, — сказал: он, — мы уже упаковываемся, остаётся только телефон, на случай, если командующий с ВПУ позвонит.

Крымов объяснил, что дело срочное — техника осталась без горючего, и адъютант, вздохнув, повел Крымова в дом.

Глядя, как вестовой сворачивает ковёр, снимает с окон занавески, а завитая девушка укладывает посуду в чемодан, Крымов снова вернулся к печальным мыслям.

Белые занавесочки, ковёр, серебряный подстаканник красная скатерть гостевали и в Тернополе, и в Коростышеве, и в Каневе на Днепре, чтобы вновь и вновь путешествовать в ящиках и чемоданах.

— Ковёр у вас хороший, — сказал Крымов и усмехнулся ему, насколько слова, сказанные им, не соответствовали его мыслям.

Адъютант показал на фанерную перегородку, за которой отдыхал начальник тыла.

Завитая девушка, единственная в комнате говорившая полным голосом, сказала

красноармейцу, паковавшему вещи:

— Не кладите самовар под низ, помнётся, чайник в ящик надо класть, сколько раз говорилось, генерал уже замечания делал.

Красноармеец посмотрел на неё тем особым, укоризненным и кротким взором, которым глядят пожилые крестьяне на городских красавиц, живущих нетрудной жизнью, и вздохнул.

— Коля, — сказала: девушка адъютанту, — насчёт парикмахера не забудь, генерал перед дорогой бриться хотел.

Крымов глядел на девушку, щёки её были румяны, плечи развиты, как у взрослой женщины, а круглые, по-апрельски синие глаза, маленький нос, пухлые губы казались совершенно детскими. Руки у неё были большие, трудовые, с красным маникюром на ногтях. Ей не шла щеголеватая суконная пилотка и завитые волосы, куда больше красил бы её ситцевый платочек, накинутый на светлые косы.

В комнату вошёл, попыхивая трубкой, новый посетитель, капитан.

— Ну как! — участливым шёпотом, точно справляясь о больном спросил он.

— Я вам сказал, товарищ корреспондент, не раньше чем в четырнадцать ноль-ноль, — ответил адъютант.

Вновь пришедший, внимательно и пристально вглядываясь в лицо Крымова, произнёс:

— Товарищ Крымов!

— Я.

— Смотрите, как будто вы, — отрывисто, скороговоркой произнёс он — Меня вы, конечно, не помните, моя фамилия Болохин, вы просто меня не знали никогда. Помните, как на высших курсах профдвижения вы прочли две лекции «Версальский мир и рабочий класс Германии»?

— В тридцать первом году, помню, конечно.

— Потом в Институте журналистики вы делали доклад, стойте минуточку не то о революционных силах в Китае, не то о движении в Индии.

— Верно, было, — смеясь от удовольствия, ответил Крымов.

Болохин подмигнул и приложил палец к губам:

— И, между нами говоря, вы тогда утверждали, что в Германии не будет фашизма, доказывали, как говорится, с цифрами в руках.

Он рассмеялся и посмотрел на Крымова большими серо-голубыми глазами. Движения у него были быстрые, резкие, и голос у него был резкий.

— Товарищ, вы бы потише, — сказал: адъютант.

— Выйдем во двор, — сказал: Болохин, — тут скамеечка есть. Позовете нас, товарищ лейтенант, когда генерал проснётся?

— Обязательно, — сказал: лейтенант, — только проснётся, позову. Вот скамеечка под деревом.

Болохин работал в военной печати, знал многое. Он рассказал, что часа три назад был в штабе соседней армии.

— Ну, как шестьдесят вторая? — спросил: Крымов.

— Отступает за Дон, — сказал: Болохин, — дрались замечательно, держали, но фронт уж очень широк. Ну и отходит, с той только разницей, что отступить не научились, неловко, с нервами.

— Вот, вот, это хорошо, что не научились, а здесь мы уж очень хорошо научились, спокойно, без нервов, — сердито сказал Крымов.

— Да, — сказал: Болохин, — а были в шестьдесят второй дни, когда стояли, а немцы, как волна о камень, разбивались.

Он некоторое время разглядывал Крымова, рассмеялся, пожал плечами, сказал:

— Странно, ей-богу, странно!

И Крымов понял, что Болохин вспомнил то время, когда совсем непохожий на сидевшего рядом с ним батальонного комиссара в запыханных сапогах и выцветшей пилотке

человек приезжал делать студентам доклады о классовой борьбе в Индии, и афиша об этих докладах висела у входа в Политехнический музей.

На крыльце появился адъютант.

— Проходите, товарищ батальонный комиссар, я доложил генералу.

Начальник тыла, немолодой широколицый человек, принял Крымова, готовясь бриться; подтяжки, точно врезанные в белое полотно сорочки, лежали на его широких плечах.

— Слушаю вас, батальонный комиссар, — сказал: он и стал рассматривать бумаги на столе.

Крымов начал докладывать своё дело, и, так как начальник тыла всё продолжал рассматривать бумаги, Крымов не знал, услышан ли его доклад, нужно ли закругляться или, наоборот, начинать сначала... Он в нерешительности замолчал, но начальник тыла сказал: ему.

— Ну, дальше что?

Так как генерал без френча казался человеком совсем домашнего вида, Крымов, глядя на его спину в подтяжках, забыл воинский порядок и сел на табурет. По-видимому, генерал, наклонившийся над столом, услышал это по скрипу табурета и, не дав досказать Крымову последних слов, перебил его вопросом:

— Давно в армии, батальонный комиссар?

Крымов, не сообразив, чем вызван вопрос генерала, подумал, что дело его идёт на лад.

— Я участник гражданской войны, товарищ генерал. В это время адъютант внёс зеркало. Генерал, наклонившись, стал рассматривать свой подбородок.

— Как там парикмахер? — спросил: он. — Или его тоже упаковали, паникёры?

— Мастер ждёт, товарищ генерал, — ответил адъютант, — и вода горячая есть.

— Так чего ж, пусть идёт.

Продолжая глядеть в зеркало, он загадочно, зло и шутливо сказал:

— Не видно, что вы в армии давно, я думал, вы из запаса: садитесь, а разрешения не просите. Невежливо!

Таким голосом произнесённые слова оставляют подчинённых в смятении — они не знают, последует ли за этим грозный окрик: «Встать, кругом марш!», либо же ничего плохого не последует.

Крымов поспешно встал и, стоя «каблуки вместе, носки врозь», ответил с тем упрямым, тяжёлым спокойствием, которое он знал в себе:

— Виноват, товарищ генерал, но принимать командира, у которого седая голова, вот так, повернувшись к нему спиной, тоже ведь невежливо.

Начальник тыла быстро поднял голову и пристально несколько мгновений смотрел на Крымова.

«Ну, пропал мой бензин», — подумал Крымов.

Генерал ударил кулаком по столу и раскатисто крикнул;

— Сомов!

Парикмахер, входивший со своими инструментами, попятился, увидя красное от прилившей крови лицо начальника тыла...

— Явился по вашему приказанию, — звонко произнёс адъютант и замер у двери — он тоже учуял бурю.

Начальник тыла, пристально глядя на Крымова, сказал: тем негромким голосом, которым отдают беспощадные приказания:

— Немедленно вызови Малинина и передай ему, пусть зальёт батальонному комиссару баки во всех машинах. Нет бензина — пусть из своих машин боевой части перельёт, а сам со своим бухгалтерским талмудом пешком идёт. Пока не выполнит, чтоб не смел уезжать на новое место. Живо, выполняй!

Его суженные светлосерые глаза заглянули в самую глубину глаз Крымова, и много в этом взгляде было ума, души и лукавой хитрости.

— Ладно, ладно, — усмехаясь, сказал: он, протягивая на прощание руку Сердитый на

сердитого попал...— И вдруг тихо, с тоской проговорил: — Всё отходим, отходим, батальонный комиссар.

Случается, что сперва долго не везёт человеку и даже самый малый пустяк не даётся ему, а затем наступает перелом: раз повезёт-то уж повезёт, и всё складывается само собой, словно судьба заранее подготавливает этому человеку удобные, быстрые и лёгкие решения всех его забот.

Вот и Крымов, едва выйдя от генерала, встретил бежавшего к нему навстречу посыльного от начальника ОСГ. А едва он вышел от начальника ОСГ, держа в руке подписанную и оформленную в несколько минут накладную, и задумался, где же ему искать Саркисяна, как увидел Саркисяна. Старший лейтенант бежал к нему навстречу и спрашивал, блестя выпуклыми карими глазами:

— Ну как, товарищ комиссар?

Крымов передал ему наряд. Бензин за эти дни стал для Саркисяна предметом мучения. Ему казалось, что учи он в своё время старательней математику, ему бы удалось решить неразрешимую задачу. Вместе со старшиной он исписал всю имевшуюся у него бумагу круглыми, большими цифрами, делил, множил, складывал килограммы, километры, бензобаки, вздыхая, утирая пот и морща лоб.

— Ну, теперь живём, — хохоча, повторял он, рассматривая накладную.

И самого Крымова на миг охватило «возбуждение отступления», чувство, которое он сразу же подмечал и не любил в других. Он знал лица людей, отходивших по приказу с линии огня, знал оживлённые глаза легко раненых, бредущих на законном основании из окопного пекла.

Он отлично понимал деловитую суету людей, собиравшихся уходить по восточной дороге, тяжёлое чувство в сердце вдруг сменялось ощущением безопасности.

Так от войны нельзя было уйти, она шла следом чёрной тенью, и чем быстрее уходили от неё, тем быстрее настигала она уходивших. Отступавшие вели за собой войну.

Отступавшие войска приходили в тихие сады, мирные поля и сёла, радовались тишине и покою, а через час или через сутки чёрная пыль, пламя и грохот войны врываются следом за ними, война была прикована к войскам тяжёлой цепью, и отступление не могло порвать эту цепь — чем длинней, тем крепче и туже становилась она.

Крымов поехал с Саркисяном на западную окраину деревни, к балке, где остановился дивизион. Машины рассредоточились, стояли под склоном балки, замаскированные ветвями деревьев. Люди, казалось, бездеятельны и угрюмы, не видно было обычной деловитости солдат, умело и уверенно создающих на новом месте свой простой быт — соломенную постель, обед, занимающихся стиркой, бритьём, просмотром оружия.

Крымов после недолгого разговора с миномётчиками понял, что люди подавлены и хмуры. При приближении комиссара они вставали медленно, неохотно. На шутки они отвечали невесёлыми вопросами либо угрюмо молчали, на серьёзный разговор пытались отвечать шуткой Внутренняя связь его. С людьми словно нарушилась. Крымов сразу ощутил это.

Один из миномётчиков. Генералов, человек, известный своей смелостью и весёлостью, спросил: у Крымова:

— Правда, товарищ комиссар, что вся бригада наша в Сталинграде отдыхать будет, а вы приехали с нашим дивизионом бой принимать? Так ребята сказывали, будто говорили вы: «Приказ об отходе для нас отмененный».

Вопрос этот рассердил Крымова невысказанным упрёком.

— Да, правильно, а вы, Генералов, видно, раздумали Советскую Родину защищать, словно недовольны? Генералов поправил ремень.

— Я ничего такого не говорю, товарищ комиссар, зачем мне такие слова пришивать, вам командир дивизиона скажет, мой расчет позавчера последним снялся, уже все уходили, а я огонь вел.

Молодой парень, подносчик мин, со злым и насмешливым лицом сказал:

— А что последним, первым — толк один. Вот всю Россию измерили...
— Вы откуда родом? — спросил: Крымов. И подносчик мин, видимо подумав, что комиссар будет его агитировать, сказал:
— Я омский, товарищ комиссар, до моей местности немец не дошёл ещё.
Из-за машины чей-то голос спросил:
— Правда, товарищ комиссар, говорят, он на Сибирь и на Урал стал летать, бомбит уж?
— А как насчёт горючего, товарищ комиссар? Тут уж пехота по большакам отходила.
Крымов заговорил сердито, резко, минометчики молча слушали. Когда он кончил, голос из-за машины печально сказал:
— Выходит, не немец наступает, а мы отступаем, обратно мы виноваты.
— Кто это там? — спросил: Крымов и пошёл к машине. Но там уже никого не было.
Крымов приказал Саркисьяну поехать зарядиться горючим всем дивизионом, так как не хватало тары.

Саркисьян рассчитывал, что вернется к вечеру, и Крымов решил ждать его в станице. Но сроки, назначенные Саркисьяну на поездку, были нарушены. Он долго провозился, пока армейская заправочная отпустила горючее, необходимое, чтобы добраться до склада. Затем он поехал не той дорогой, потом оказалось, что до склада не тридцать километров, как ему сказали, а сорок два.

Он приехал на склад засветло, но отпуск горючего производился только ночью. Склад был расположен недалеко от шоссе, и до темноты в воздухе находилась немецкая авиация.

Едва в районе склада появлялись машины, немец налетал, кидал мелкие бомбочки и «тыркал» из пулемёта.

Кладовщик сосчитал, что за один день немец налетал одиннадцать раз.

Начальник склада со своей командой весь день хоронился в блиндажике, и, если кто-нибудь выходил наружу, ему кричали:

— Ну как там?

— Летает, кружит, собака, одиночный, дежурный. Иногда наблюдатель кричал:

— Прямо на нас разворачивается, гад! Пикирует!

Раздавался удар бомбы — и все в блиндаже валились на землю, ругались, а затем кто-нибудь кричал наблюдателям.

— Лезь назад, чего там красуешься, обратно приманиваешь его. Заметит — как даст бронебойно зажигательным!

В этот день складским даже обеда не пришлось варить, чтобы не привлекать немца дымком, и сухой паек съели сухим.

Саркисьяна часовые остановили за километр от склада:

— Отсюда пешком, товарищ старший лейтенант, — машину днём не ведено пускать

Начальник склада, с будяками на одежде, посоветовал Саркисьяну получше заметить при свете дорогу, а едва стемнеет — гнать машины на заправку.

— Только предупредите водителей, чтоб свет и на секунду не зажигали, а то мы по фарам огонь открываем.

Начальник посоветовал приезжать к двадцати трём часам, не позже и не раньше.

— Он, собака, должно быть, ужинает в это время и не летает, — сказал: начальник склада, показав на пыльное голубое небо. — Перед двадцатью четырьмя ноль-ноль понасаживает ракет, как бабы горшков на заборе.

По всему было видно, что начальник склада серьёзно относился к авиации противника.

Крымов знал по опыту, что на войне условленные сроки встречи легко нарушаются, и велел Семёнову найти дом для ночлега.

Семёнов не отличался практической расторопностью. В деревнях он стеснялся просить у хозяек не то что молока, но и воды, спал в машине, скрючившись неудобнейшим образом, так как из застенчивости не шёл спать в хату. Единственный человек, которого он не боялся и не стеснялся, был суровый комиссар Крымов, с ним он постоянно спорил и ворчал на него,

Крымов шутливо говорил:

— Вот переведут меня, всегда будете ездить некормленным!

И в этих словах заключалась не только шутка, Крымов был по-настоящему привязан к Семёнову и с чувством отеческой нежности тревожился о его судьбе.

На этот раз Семёнов внезапно проявил необычайную расторопность — найденный им для ночлега дом был хорош — просторные комнаты, высокие потолки. В доме располагалась выехавшая перед вечером канцелярия начальника тыла.

Хозяева дома — старики и молодая, рослая, статная женщина, за которой неотступно вперевалку ковылял белоголовый, темноглазый мальчик, — с утра наблюдали за сборами канцелярии, стоя под навесом летней кухни.

После обеда ушли последние штабные учреждения, снялся и ушёл батальон охраны — станица опустела. Пришёл вечер. Снова плоская степь окрасилась влажными красками заката. Снова на небе шла бесшумная битва света и тьмы. И снова печалью и тревогой дышали вечерние запахи, приглушённые звуки обречённой на тьму земли.

Есть такие хмельные и горькие часы и дни, когда сёла остаются без власти, в тишине, в ожидании. Штаб поднялся, ушёл, опустели хаты, покинутые постояльцами.

Остались лишь аккуратно вырытые опытными руками узкие щели с краями, обложенными увядшей полынью, следы машин, гора очистков у школы, где была столовая, консервные банки за хатами, обрывки газет да поднятый шлагбаум открыта дорога, езжай кто хочет!

Чувство простора и сиротства приходит к людям. Дети рыщут, не забыли ли стоявшие целенькую банку консервов, недожжённую до конца свечу, проволоку, штык.

А молодая баба задумается, поглядит на опустевшую дорогу, и свекровь, неотступно наблюдая за ней, сердито вполголоса ругнётся.

— Ага, соскучилась!

Стало в станице без войска просторно, тихо, удобно, но так тревожно и грустно, словно не день, не два, а всю жизнь стояли здесь военные постояльцы.

И жители вспоминают про уехавших штабных командиров, кто каким был: один тихий, старательный, всё писал бумаги, второй самолётов боялся и в столовую раньше всех шёл, позже всех возвращался, третий простой, со стариками курил, четвёртый с молодыми бабами любил посмеяться, пятый гордый очень был, слова не скажет, но играл красиво на гитаре, пел очень хорошо.

Но проходил час, ветер застилал пылью след уехавших, и а тишине замершей станицы появлялся обычно путник или путница, шедшие с запада, и новая весть потрясала умы и сердца: дорога пустая, войск никого, а немец — вот он.

Семёнов сообщил шёпотом, что хозяева — люди неважные, но зато квартира у них очень хорошая. Старуха была самогонщицей. Соседка сказала, что до коллективизации занимались они не только хозяйством, но и торговлей, но это бог с ними, не год у них жить, а молодая... он лишь рукой махнул: хороша...

На впалых щеках Семёнова проступил румянец, ему, видимо, нравилась молодая рослая женщина, с высокой грудью и с бронзовыми сильными руками, с быстрыми и сильными ногами и с тем пристальным и ясным взором, от которого холодеет мужское сердце.

Семёнов и про неё узнал — она вдова. Была женой покойного сына хозяев. Сын поссорился с родителями, жил в другой станице — работал механиком в МТС. Молодая приехала на несколько дней — забрать кое-какие вещи — и собиралась обратно.

В доме уже испарился дух постояльцев, свежевывытый пол был посыпан для ликвидации блох пахучей полынью. Ярко и радостно пылавшая печь втянула в себя дух лёгкого табака, городской еды, хромовой кожи, да и старик перешиб этот дух крепким деревенским самосадом.

Возле печи стояла кадушка с тестом, прикрытая от сквозняков одеяльцем.

В комнате встал смешанный запах полыни, влажной про хлады вымытого пола, сухого

огня, сельского табака.

Старик надел очки и, оглядываясь на дверь, читал вполголоса немецкую листовку, подобранную в поле. Подле, касаясь подбородком стола, стоял белоголовый внук, сурово сдвинув брови, слушал.

— Дедушка, — спросил: он серьёзно и протяжно, — почему нас все освобождают: и румыны освобождают, и немцы вот эти освободить будут?

Старик сердито махнул рукой:

— Тихо! — и продолжал чтение.

Сложение букв в слова ему давалось с трудом, и он боялся остановиться, как боится остановиться лошадь, тянущая на обледеневшую гору подводу станешь на секунду — и уж не сдвинешь груза.

— Дедушка, а жиды кто! — спросил: суровый и внимательный четырёхлетний слушатель

Когда Крымов и Семёнов вошли в дом, старик отложил листовку на край стола, снял очки и, оглядев вошедших, строго спросил:

— Вы кем же были, почему не уехали?

У него к ним было такое отношение, словно они уж не являются фигурами материальными, действительными, а мнимыми, не имеющими веса. Он и говорил о них в прошедшем времени.

— Кем были, теми и остались, — усмехнулся Крымов, — а раз не уехали, значит, не ведено ехать.

— Чего спрашивать? Когда надо будет — поедут, — сказала: старуха Садитесь уж, покушайте.

— Нет, спасибо, — ответил Крымов — Вы кушайте, мы уж поели.

Молодая, войдя в комнату, окинула взором новых постояльцев, утёрла губы и засмеялась. Она прошла мимо Крымова, глянула ему в глаза, и он не понял, чем обожгло его, — теплом и запахом тела или пристальным взором.

— Соседку звала корову доить, — объяснила она Крымову чуть-чуть сипловатым голосом, — свекровь корову вдвоём с соседкой держит, а корова меня до тятёк не допустила, только своим даётся доить! — Она рассмеялась. — Бабу теперь легче, чем корову, уговорить!

Старуха поставила на стол огромную, как солнце, сковороду с яичницей, миску вареников с каймаком, зелёную бутылку с самогоном.

— Покушайте, товарищ начальник, чего там, — сказал: хозяин, пододвигая к столу табуретки.

Он вкладывал в слово «начальник» беспечную насмешку, и тонкая суть этой насмешки была такова: мне, мол, уж нет смысла и нужды разбираться, какой ты там начальник — большой или совсем малый, а по правде, уж никакой, и от твоего начальствования ничто уж не зависит, и нет мне никакой от тебя ни пользы, ни убытка... но, пожалуйста, я и сейчас могу тебя звать таким именем, ты ведь любишь его, привык к нему, пожалуйста, мне не жалко.

Крымов, как большинство людей, всегда возбуждённых избытком внутренней силы, пил не часто, для встряски, как он говорил. Увидев бутылку, он покачал головой.

— Не бураковый, сахарный, — сказал: старик, — первачок, горит не хуже спирта.

Старуха быстро и бесшумно расставила стаканчики, поставила тарелку с горой помидоров и огурцов, нарезала хлеб, бережливо отсыпала горстку соли, кинула ножик с тоненьким источенным лезвием, вилки — одна из них была с чёрной, жирной деревянной ручкой, другая посеребрённая.

Всё это проделала она за несколько секунд, с той быстротой и лёгкостью, которая кажется недостижимой, — стаканчики она не расставила, а словно разбросала, и каждый из них стал точно, как назначено, помидоры, вилки, нож всё это только сверкнуло и разбежалось по столу, вдруг замерло, остановилось.

Хозяева, быстро пробормотав «здоровье», выпили, молча, деловито закусили, тотчас старуха разлила по второму.

По всему в доме чувствовалась большая сноровка в закуском и питейном деле.

Напиток был действительно хорош, без сивушного запаха, ошеломительно крепкий и жгучий.

Старуха, прищурившись, оглядела Крымова и, словно поняв его душевную смуту, пододвинув ему вилку, сказала:

— Ты закуси, закуси, табаком не закусывают. А молодая смотрела на него то сердитыми девичьими, то добрыми бабьими, ласковыми глазами. Старик неожиданно сказал:

— В тридцатом году народ у нас две недели пил, всех свиней порезали, двое богачей с ума посходили, старик один — первый хозяин, восемь лошадей держал, четыре батрачки зимой и летом на него работали — выпил два литра, пошёл в степь, лёг в снег и заснул; утром его нашли, и бутылка лопнутая возле него, самогон в ней был, а мороз такой, что самогон даже замерз.

— Мой самогон не замёрзнет, он — как спирт, — сказала: старуха.

Хозяин слегка охмелел.

— Не о том речь, тебе непонятно, — и постучал пальцем по немецкой листовке.

Крымов взял листовку со стола, порвал её на куски и швырнул на пол.

Он пошёл к двери и, выходя в сени, сказал Семёнову:

— Не хочу я этого чёртова вина, пойду на дворе посижу.

— Я сейчас приду, товарищ комиссар, только докушаю, — поспешно ответил Семёнов.

— Он партийный, а? — подмигнув, спросил: старик у Семёнова, когда тот, встав из-за стола, надел пилотку.

— Да, — отвечал Семёнов — А ты, старик, был заклятый кулак и остался кулаком.

— А что вы мне можете сделать, товарищи?» — задорно спросил: хозяин, переходя на «вы».

— Кое-что можем, — сказал: Семёнов и пошёл на улицу.

— Это правильно, — ответил старик, глядя ему вслед. Выпитый спирт побуждал его высказываться о тайном, возникало желание пронзительно жестокого разговора вчистую. Старик не объяснял отступление случайными и проходящими невзгодами войны, он считал поражение свершившимся.

— Подумаешь, партийные, — говорил он жене. — Я им могу всё, как думаю, выложить Вот зайдут в дом — и скажу.

Он сам дивился, откуда у него в памяти чеканно и ясно возникали старые, давно забытые слова, и он умилялся, произнося их.

— Виноградники Удельного ведомства... тут земли генерал-адъютанта Салтыковского, а завод игристых вин принадлежал члену Государственной думы...

Выходило по его словам, в старое время жили спокойно, удобно, не знали нужды.

А от нынешней жизни, от всех этих тракторов да комбайнов, от Магнитогорсков и Днепростроев, от председателей да бригадиров, от учения на агрономов, докторов, учителей, инженеров добра нет. Работают, как полоумные, сколько знаменитых богатых хозяев пропало, сколько угнали в тридцатом году...

Слушая мужа, старуха даже раскраснелась, так душевно говорил он. Она хотела помочь ему, напоминала:

— Ты им ещё скажи, как Любка, военная, в огород ходила, горох оборвала, сливы в саду поела, разве ей слово скажешь? Начальник уснёт, она с адъютантом в дурака режется... Ещё скажи, как председатель уезжал, лучших лошадей забрал, четыре пуда колхозного мёда смылил... В магазин ситцу, соли, керосину пришлют, разве мы его видели, а председателя баба пройдёт в новом платье, прошумит только...

Старик и старуха особенно сердито говорили о тяжёлой колхозной работе, и молодая сказала:

— Вы-то что плачете? Те, кто работал, те не плачут. А вы разве работали? Вы вино

варили и продавали. От вас сын родной ушёл — не стал у вас жить. — И, с шумом отодвинув табурет, она подошла к окну и стала всматриваться в сумерки.

— Что же наш Саркисян не едет? — спросил: Крымов у подошедшего Семёнова. Давно ему время. Семёнов, нагнувшись к уху Крымова, сказал:

— Боец недавно шёл тут, говорит, впереди никого нет, товарищ комиссар, пусто, нам бы откатиться километров на двадцать.

— Нет, надо ждать Саркисяна, — ответил Крымов, — только у этих самогонщиков мы ночевать не будем. Вы пойдите посмотрите, вон там сарай — на сене постелите.

Семёнов хотел было что-то сказать, но, поглядев на угрюмое лицо Крымова, молча пошёл к калитке.

Стало темно. Пустынная, тихая улица была спокойна. Небо осветилось заревом дальнего пожара, и вся станица со своими садами, домами, амбарами, колодцами стояла в злом, колеблющемся свете.

Несмело завыли собаки, со стороны восточной окраины послышался детский плач, сердитый женский голос.

В небе зажужжало, заныло, ночные «хейнкели» торопились покружить над горячей землёй.

Крымов почувствовал, что кто то бесшумно подошёл, глядит на него. То была молодая. Должно быть, он, сам того не сознавая, не думая о ней, ждал её, и он не удивился, увидев её рядом с собой. Она села на ступеньку крыльца, обхватив колени руками.

Глаза её, освещённые далёким заревом, блестели, и вся она в мерцающем то мягком, то зловещем свете казалась прекрасной. Она, должно быть, чувствовала, чуяла не умом и даже не сердцем, а кожей, руками, шеей, что он смотрит на две гладкие, скользкие косы, сбежавшие вдоль шеи и свернувшиеся на коленях, на её голые выше локтя руки, на её освещённые огнём ноги. Она молчала, зная, что нет слов для выражения того, что возникает и завязывается между ними.

Этот высокий человек с нахмуренным лбом и спокойными тёмными глазами никак не походил на армейских ребят-шофёров.

В ней не было робости, застенчивой покорности. Она теперь боролась за жизнь грубо, как мужчина. Случалось, старики и мальчишки выполняли бабью работу — вскапывали огород, пасли скотину, стерегли младенцев, а ей приходилось делать главное, мужское дело.

Она и пахала, и в район ездила сдавать хлеб, и к военной власти ходила уговариваться о ремонте мельницы и помолы зерна. Она умела обвести вокруг пальца, а если кто-либо хотел её обмануть, то и она могла перехитрить, обмануть обманщика. И обман этот был не бабий, а мужской, одновременно дерзкий и тонкий, конторский обман.

А рассердившись, она ругалась не по-бабьи, пронзительной скороговоркой, а медленно, с выражением.

И в эти дни войны и отступления, в пыли и грохоте, при зареве ночных пожаров, под гудение «хейнкелей» и «юнкерсов», странно ей было вспоминать свою молодую, застенчивую и тихую пору.

Седеющий человек молча смотрел на неё, от него пахло вином, но глаза его были трудными, не блудили...

И ему рядом с ней стало легче на душе. Вот так бы сидел, рядом с красивой и молодой, долго-долго, и сегодня и завтра. Утром бы пошёл в сад, потом на луг, вечером при копилке сидел бы за столом и глядел, как её сильные, загорелые руки стелят постель, а красивые глаза глядят на него доверчиво, мило...

Женщина молча встала, пошла по светлому песку. В ней соединялись сила и миловидность.

Он смотрел ей вслед и знал, что она вернётся. И она действительно вернулась, сказала:

— Пойдёмте, чего одному сидеть. Вон в доме том подруга моя живёт, поёт она хорошо...

Он кликнул Семенова, велел не отходить от машины, проверить автомат.

— Немец близко? — спросила она. Он не ответил.

Крымов вошёл за ней в просторный дом, и на него пахло духотой надышанного воздуха и жаром протопленной летом печи.

У окна сидела молодая светловолосая женщина, быстрыми движениями сшивала мешок.

Когда Крымов, поздоровавшись, заговорил с ней, женщина наклонила голову и ладонью стряхнула невидимые крошки с колен. Потом она посмотрела на него, и в глазах её было выражение ясной девической чистоты, её не могут запылить и закоптить ни тяжесть труда, ни угрюмая тьма нужды.

— Она мужа из Красной Армии ждёт, не замай её, она, как монашка, у нас, засмеялась молодая.

На полу лежали уложенные вещи. Чернобородый широколобый человек, видимо отец женщины, сидевшей у окна, укладывал в мешок шубы, валенки.

— Когда едете? — спросила молодая, приведшая Крымова.

— На рассвете завтра, — ответил чернобородый и махнул рукой — Твой-то, небось, не едут?

— Да ну их, пауки, какие они мои. День у них прожила, не дождусь завтрава, чтобы уехать. И ребёнок такого у них наслушался за этот день, что за всю жизнь не слышал.

Чернобородый завязал мешок, распрямился, оглядел комнату.

— Ну, вроде всё, — и добавил: — На переправе, верно, придётся побросать имущество. Всё равно — решился. Пешком пойдём, не останемся под германом.

Пожилая женщина с заплаканными глазами накрыла на стол и сказала:

— Ну, что ж, садитесь. Поужинаем у себя дома в последний раз. Садитесь и вы с нами, товарищ военный.

Чернобородый был, видимо, пьян. От вина и духоты, стоявшей в протопленной комнате с завешенными окнами, со лба на глаза ему набегал пот, он его снимал то рукавом, то ладонью.

Ходил он тяжело, словно откованный грубыми, сильными руками деревенского кузнеца, и при каждом шаге его вздрагивал стоящий у стены шкаф и дребезжала посуда на столе.

Садясь за стол, он сказал: Крымову:

— Эх, ребята, не удержали вы Дона, наделали вы нам делов. Разорение всего народа!

А молодая, приведшая Крымова, всё смотрела на него, и он то и дело замечал её печальный и суровый спрашивающий взгляд.

— Спой нам, Анюта, — сказала она, обращаясь к подруге.

— Что ты, какое пение, — ответила та.

— Спой, Анюта, старинную песню, сердце болит, спой, легче будет! — сказал чернобородый.

— Правда, спойте, — попросил Крымов.

Анюта усмехнулась, вздохнула, поправила волосы, кофточку, положила руки на стол, посмотрела на завешенное окно и запела. Молодая стала негромко помогать ей, с серьёзным лицом, бережно, внимательно...

Заглушавший всех в разговоре чернобородый едва слышно подпевал, старательно, по школьному, кося глазами на звенящую голосом, запевавшую дочь.

Это пение, вероятно, единственное, могло выразить ту смуту, ту тоску, то тяжёлое чувство, что легло на душу людям, покидавшим родной дом.

А смута была велика, и тяжесть была велика. Была одна песня, Крымову казалось, что он слышал ее когда-то очень давно...

Звук её коснулся чего-то такого глубокого и сокровенного — он и не знал, что это сокровенное продолжало существовать в нём. Человек очень редко, лишь в немногие мгновения своего существования способен вдруг связать воедино всю свою жизнь, пору милого младенчества, годы труда, надежд, страстей и горя, борьбы, старости, — словно с

огромной высоты увидеть Волгу во всём её течении от сокровенных ручьёв Селигера до Каспийского солёного устья.

Крымов увидел, что слезы полились по щекам хозяина.

А молодая смотрела на него.

— Невесёлое наше веселье! — сказала она. Можно привести слова песни и подробно рассказать про певицу, про мелодию и слова и про выражение глаз слушателей — их печаль, тоску, вопрос, тревогу, но родится ли из такого описания песня, заставившая людей плакать? Зазвучит ли она? Нет, не родится песня и не зазвучит...

— Да, невесёлое у нас веселье, — несколько раз повторил Крымов.

Он вышел на улицу, подошёл к машине, прижавшейся к забору.

— Спице, Семёнов?

— Нет, не сплю, — ответил Семёнов, и его грустные глаза смотрели из темноты на Крымова по-детски обрадованные — Тихо уж очень, страшно, и пожар прогорел, совсем темно стало... Я вам в сарае сено постелил...

— Я пойду отдохну, — сказал: Крымов.

Крымов запомнил полутьму летнего рассвета, шорох, запах сена и то ли звёзды на побледневшем, утреннем небе, то ли глаза молодой на побледневшем лице.

Он говорил ей о своём горе, о том, как обидела его женщина, говорил ей, чего самому себе не говорил...

А она шептала быстро, страстно; она звала его к себе. В стороне от станицы Цимлянской у неё дом и сад — там вино, и сливки, и свежая рыба, и мёд, и она божилась только его любить, — всю жизнь проживет с ним, а захочет бросить, пусть бросит её.

Она ведь сама не понимает, что случилось с ней, гуляла с мужчинами, гуляла и забывала... Приворожил он её, что ли, — руки и ноги стынут, дышать трудно, никогда она не думала, что такое может быть.

Ее тёплое дыхание шло прямо в его сердце, и он сказал ей:

— Я солдат. Не надо мне сегодня счастья. Крымов вышел в сад. Нагибая голову, прошёл под низкими ветвями яблонь.

Со двора раздался голос Семёнова:

— Товарищ комиссар, наши машины едут, дивизион! И в той радости, какой был полон его голос, он высказал, как тревожна была для него эта ночь, когда он всматривался, прислушивался к ноющему гудению «хейнкелей» и к гулу советских ночных бомбардировщиков, глядел на немое зарево пожара...

К вечеру они проезжали через переправу Крымов оказал, облизывая губы, пересохшие от жары и пыли.

— В понтонах новые бойцы стоят, те два сапёра, может, убиты уже...

Семёнов не ответил, вертел баранку, а когда благополучно проскочили по мосту и отъехали от переправы, усмехнувшись, сказал:

— Ох, и казачка эта видная была, товарищ комиссар, я думал, вы на день останетесь...

Ночью, приведя дивизион в Сталинград, Крымов пошёл на квартиру к командиру бригады...

— Ну как, ждали меня, наловили волжских стерлядей, ухой угостите? спросил: Крымов.

Но командир бригады, любивший шутки и поддерживавший в разговорах с комиссаром насмешливый тон, на этот раз даже не улыбнулся.

— Читайте, товарищ комиссар, — сказал: он и вынул из планшета вдвое сложенный лист папиросной бумаги. То был приказ Сталина.

Крымов читал слова, обращённые к отступающей армии. Они звали к суровой борьбе, они говорили о смертельной опасности, они гласили, что дальнейшее отступление — это гибель и, значит, нет высшего преступления в мире, чем отступление: судьба страны и народа, судьба мира решаются в эти дни.

В этих словах были не только скорбь и гнев, в них была вера в победу...

— Вот, сказано слово, — проговорил Крымов и обеими руками взял со стола приказ, передал командиру бригады. Ему показалось, что тревожно и гулко ударил набатный колокол.

Лейтенант Ковалёв, командир стрелковой роты, получил письмо от своего дорожного спутника Анатолия Шапошникова.

Анатолий писал, что служит в артиллерийском дивизионе. Письмо было весёлое, бодрое. Анатолий сообщал, что на учебных стрельбах его батарея заняла первое место. Дальше Анатолий писал, что ест много дынь и арбузов и раза два ездил на рыбалку с командиром дивизиона, ловил рыбу. Ковалёв понял, что дивизион, в котором служит приятель, стоит в резерве и расположен где-то неподалёку от тех мест, где стоит его часть. Он тоже ездил на Волгу рыбачить и вволю ел арбузы и дыни на совхозных бахчах.

Ковалёв несколько раз начинал письмо Шапошникову, но все не получалось, как надо. Его сердила последняя строчка в письме Анатолия «Часть моя гвардейская, и, значит, привет тебе от гвардии лейтенанта Анатолия Шапошникова».

Ковалёв представлял себе, как Анатолий пишет в Сталин град бабушке, красавице тётке, двоюродному брату, двоюродной сестре и на каждом письме подписывается «Остаюсь с горячим приветом гвардии лейтенант Шапошников». И в письме к Ковалёву не удавалось выразить своего снисходительного и насмешливого, но добродушного и покровительственного отношения к Тольке, который, не понюхав пороха, вдруг взял да и стал гвардейцем. Это обстоятельство почему-то волновало Ковалёва.

Рота Ковалёва входила в состав батальона, которым командовал гвардии старший лейтенант Филяшкин. Батальон этот входил в состав полка, которым командовал боевой гвардии подполковник. Полк входил в состав дивизии, которой командовал знаменитый гвардии генерал майор. Дивизия была гвардейской, все служившие в ней люди были гвардейцами. Ковалёву казалось неправильным: человек, не видевший войны, с пересыльного пункта зачислялся в один из полков дивизии и тотчас становился гвардейцем. Ведь ветераны-фундаторы участвовали в боях за Киев летом 1941 года, когда немцы прорвались к окраине Киева Демиевке и Голосеевскому лесу; дивизия дралась всю зиму 1941/42 года на Юго-Западном фронте, южнее Курска, вела бои в снегах, в лютые морозы. Дивизия отступала в боях к Дону, дралась, теряла свою кровь, выходила на отдых и снова дралась, завоевывала своё гвардейское звание. А тут в тылу, за здорово живёшь, люди становятся гвардейцами.

Это ревнивое чувство часто испытывали друг к другу люди на войне. Такое чувство вызывается сознанием большой опытности, сознанием больших страданий, связью людей, бывших свидетелями и участниками первых часов и дней войны, ощущением того, что уж никто никогда не переживёт вновь. Но на войне, как нигде, с особой силой и ясностью действует простой жизненный закон: для дела важны не прошлые заслуги, для дела неважно, многими или немногими прошлыми подвигами может гордиться человек, лишь одно важно — кто сегодня с большим умением, силой, смелостью и умом справляется с тяжёлой работой войны.

Однако Ковалёв считал по-иному. Ковалёв был особенно строг и придирчив с новым пополнением, он не давал ни покоя, ни отдыха людям, пришедшим в дивизию из тыла. Его придирчивость стала знаменита. Он заставлял людей проделывать десятки и сотни приёмов, которым научился на фронте. Но именно в этой тяжёлой сложной учёбе и был главный смысл происходившего в резервных и запасных частях, — тысячи тысяч людей, пришедших из тыла, толково, быстро, жадно усваивали добытый в муках и тяжких боевых трудах опыт войны.

Кого только не было в этом пополнении: и впервые взявший в руки винтовку парнишка-слесарь, и снятые с брони тыловики, и молодые колхозники, и городские парни, окончившие десятилетку, и счётные работники, и эвакуированные из западных районов Советского Союза, и добровольцы, считавшие, что нет выше звания, чем звание бойца.

Был среди пополнения, пришедшего с пересыльного пункта, сорокапятилетний

колхозник с суровым лицом — Пётр Семёнович Вавилов.

В роте Ковалёва, расположенной в Заволжье, в скучной степи, недалеко от Николаевки, существовали, как и в каждом человеческом объединении, будь то деревня, будь то завод или малая мастерская, свои внутренние, со стороны мало заметные отношения, мораль, судившая людей, их поступки и характеры и все события жизни. Существовали общие любимцы, люди, сильные духом, прямые, верные, смелые. Таких было большинство, но наряду с ними имелись и осуждённые совестью ротного народа ловкачи и счастливицы. Таким был желтоглазый Усуров задира, обжора и грубиян. Таким был вредный старший сержант Додонов, любитель красноармейского приварка и табачку, сладкий с начальством и грубый с подчинёнными, кляузный мальчик. К балагуру и рассказчику Резчикову относились хорошо, опекали его, но в то же время посмеивались, уважали, но с усмешечкой, словом, так, как часто в народе относятся к своим деревенским и заводским поэтам, к домашним философам и рассказчикам. Были и такие, которых мало кто знал по имени, люди безликие, молчаливые даже в тех случаях, когда грешно не сказать слова. Таким был всегда попадавший в беду Мулярчук: если обследовали на вшивость, то единственным показательным по вшивости оказывался Мулярчук; если случалась проверка обмундирования, то обязательно плохая заправка, оборванные пуговицы и пилотка без звезды оказывались у Мулярчука. Был в роте десантник, участник двадцати атак, удалец Рысьев, ладно сложенный, поворотливый, сухопарый. О нём всегда говорилось с улыбкой гордости: «Наш Рысьев всех обвел». В пути, когда везли эшелон, Рысьев соскакивал с ведром на ходу поезда и бежал к кубу, первым брался за медный кран, стоял, упершись рукой в стену кубовой, чтобы не сбили набегавшие сзади. И когда он лёгким, мягким шагом нёсся впереди громыхающей вёдрами и котелками толпы, из ротной теплушки хохоча кричали: «Наш-то, наш опять ведёт, в голове!»

Смекалистый человек, поглядев мельком на роту Ковалёва, присмотревшись, пошагав с этой ротой, послушавши разговоров, похлебав из солдатского котла, понял бы, что в роте есть свой закон и люди живут по этому закону. Человек бы смекнул, что горластый и хитрый сумеет во-время снискать бедную, но необычайно важную выгоду: подехать на обозной подводе во время марша, получить увольнительную в нужную для жизни минуту. Но этот «смекалистый» человек ничего не понял, не понял главного закона, связывающего людей во взводах и ротах, закона, в котором часто можно найти разгадку победы и поражения, силы и бессилия армий.

Закон этот существовал естественно и просто, как биение сердца, и выражался постоянно. Нерушимо присуща нашим людям мера советской морали, убеждённости в человеческом праве на трудовое и национальное равенство. Её не уменьшили жестокости войны, раны, кровь, дым и пламя. В годы гитлеровского владычества фашистская «философия», как потаскуха, служившая дьяволу гитлеризма, бралась доказывать дозволенность рабства народов, убийств детей и стариков. Но в это время убеждённости в трудовом и человеческом равенстве народов, любовь к советской земле шагала в рядах красноармейцев, она витала над кострами ночных красноармейских привалов, звучала в речах комиссаров и коммунистов... В фронтовой грязи, в мокром, тающем снеге, в сугробах, в пыли, в тёмных, наполовину налитых водой окопах трудовое советское братство дышало, жило в стрелковых ротах, батальонах, полках. Вот этот-то закон и объединял красноармейцев, правил стрелковой ротой, и обыкновенные люди, объединённые этим законом, создавшие его и подчинявшиеся ему, иногда и не думая о нём, только в нём видели истинную меру человека, человеческих поступков и дел.

Вавилов всю свою жизнь работал. В нем наряду с чувством тяжести труда жило другое чувство — радость и волнение труда.

Выгребая против тугого течения быстрой реки, слыша веский глухой удар поваленного дубового ствола, от которого вздрагивает листва молодого подростка, оглядываясь на вспаханное поле, на высокие скирды хлеба, глядя на гору выброшенного из траншеи торфа, слушая звенящий треск лопнувшего под давлением вогнанного клина суковатого плечистого бревна, разглядывая десятки мощных ремённых корней вывороченного пня, меряя глазом

глубину ямы, длину канавы, прямую высоту возведённой стены, — всегда испытывал он одновременно спокойное и стыдливое чувство своей силы. Труд был одновременно и тяжестью и главной радостью его жизни. Этот постоянный труд щедро и каждодневно вознаграждал его тем, чем богаты учёные, полководцы, художники, реформаторы жизни, напряжением борьбы, удовлетворением победы.

В годы колхозной жизни ощущение своей личной силы, своего умения слилось с ощущением единства силы народа и величия той доброй цели, которую ставил себе всенародный труд. В дни общей колхозной пахоты, в дни жатвы и молотбы Вавилов чувствовал то новое, что было внесено в жизнь размахом колхозной работы. От края до края широкого поля трудились десятки и сотни людей. Гул автомобилей, рёв тракторов, мерное движение мощного комбайна, усилия трактористов, шофёров, бригадиров — всё сливалось в едином, направленном к одной цели, общем и разумном труде. Все эти десятки и сотни рук — девичьих, мужских, старушечьих, одни тёмные от загара, другие тёмные от машинного масла, вместе напряжённо и дружно преодолевали огромность работы, поднимали пласты земли, скашивали, обмолачивали колхозное поле. И всякий работающий чувствовал свою силу в живой, трудовой связи, объединявшей волю, умение, сноровку каждого отдельного колхозника во всенародной воле, сноровке труда.

Он видел и знал, чем могут гордиться советские крестьяне перед светом! тракторы и комбайны, и моторы для насоса, качавшего воду на свиноферму и в коровник, на опытное поле, и дизели, и движки, и гидростанция на речке. Он видел, что в деревне кое-кто покатыл на велосипеде, появились грузовики, росли МТС, где работали умелые механики, появились учёные полеводы, пасечники, мичуринские сады, появились птицефермы, колхозные конюшни, и хлевы с каменным полом, асфальт на многих дорогах. Казалось бы, ещё лет десять-пятнадцать, и трудовая, дружная и единая сила народа могла бы вспахать, засеять отборным, невиданным в мире зерном весь простор огромных земель. Но фашисты не стали ждать этой поры, пошли сразу

На первом политзанятии, происходившем на вольном воздухе, лысый, большелобый политрук Котлов спросил у Вавилова:

— Вы кто, товарищ? Тот ответил:

— Колхозный активист.

— Гвардии колхозный активист, — вполголоса подсказал: Резчиков.

Ответ Вавилова насмешил всех, особенно Рысьева. Надо было ответить. «Красноармеец третьей роты, такого-то полка, такой-то краснознамённой гвардейской дивизии».

Но Котлов не стал поправлять Вавилова, а сказал:

— Очень хорошо.

Оказалось, что на политчасе деревенский Вавилов забил многих. Он знал и про Румынию, и про Венгрию, помнил, в каком году была пущена Магнитка и кто командовал Севастопольской обороной в 1855 году, рассказал: о войне 1812 года, удивил всех, когда поправив бухгалтера Зайченкова, сказал: «Гинденбург не военный министр был, а фельдмаршал у Вильгельма».

Котлов отметил Вавилова, и когда случилась неясность и кто-то задал вопрос, политрук, усмехаясь, проговорил:

— Ну, а вы как бы ответили, товарищ Вавилов! Вечером толстоносый лукавый Резчиков развеселил всех — встал перед Вавиловым навтытяжку и скороговоркой произнёс:

— Разрешите обратиться, товарищ колхозный активист. Вам комиссар дивизии полковой комиссар Вавилов не родственником ли приходится?

— Нет, не родственник, должно быть, однофамилец, — ответил Вавилов.

На рассвете командир роты лейтенант Ковалёв, о котором было известно, что он сохнет по санинструктору Елене Гнатюк и потому плохо спит, поднял роту по тревоге, устроил учебную стрельбу. Но тут уж Вавилов ничем не отличился — не имел попаданий.

В первые дни занятий его подавили сложность и многообразие оружия винтовки,

автоматы, гранаты, ротные минометы, ручные и станковые пулемёты, противотанковые ружья. Он прошёл в соседние подразделения и осмотрел полковые и дивизионные пушки, зенитные пулемёты и противотанковые орудия, тяжелые полковые миномёты, противопехотные и противотанковые мины, издали оглядел рацию, гусеничные тягачи...

Это было огромное и богатое хозяйство одной лишь стрелковой дивизии, и Вавилов сказал: своему соседу по нарам Зайченкову:

— Я по старой армии помню — такого вооружения никогда в России не было. Это ж тысячи заводов нужны!

— А если бы царь купил его, всё равно никто бы им не овладел. Тогда мужик только и знал запречь лошадку, распречь лошадку. А теперь в армию идёт народ технический трактористы да мотористы, слесаря, шофёры... Вот Усуров наш: был шофером в Средней Азии, пришёл в армию — и сразу стал водителем на гусеничном тягаче.

— Чего же он с нами в пехоте? — спросил: Вавилов.

— Это уж частность, — ответил Зайченков, — он сменял разика два керосин на вино, и его комиссар полка в стрелковую роту перевёл.

Вавилов, усмехнувшись, сказал:

— Это частность порядочная.

Они уже выясняли, кто какого года, сколько у кого детей, и Зайченков, узнав, что Вавилов ездил в район в отделение банка по колхозным денежным делам, почувствовал к нему снисходительное дружелюбие старшего бухгалтера лесосклада к сельскому счётному работнику.

На первых занятиях он помогал Вавилову и даже выписал ему на бумажке названия частей автомата и гранаты.

В этих занятиях имелось нечто чрезвычайно важное и значительное — в них был огромный смысл, огромное значение, настолько важное, что люди даже не охватывали его. И командиры, и сотни старшин, сержантов и красноармейцев были людьми, прошедшими через долгие месяцы войны. Они испытали и поняли то, о чём нельзя прочесть в военном учебнике. Они знали бой не только опытом своего ума, но и опытом своих чувств, своих страстей.

В наставлениях и руководствах нельзя узнать того, что чувствует, думает, как ведёт себя человек, прижавшийся лицом ко дну окопа в то время, как в восьми вершках над его хрупкой, присыпанной землёй головой скрежещет гусеница вражеского танка и в ноздри входит смешанный с сухим земным прахом горячий и маслянистый угарный дух отработанных газов. В наставлениях нельзя прочесть, что выражают глаза людей во время внезапной ночной тревоги, когда слышны взрывы гранат, очереди автоматов и в ночное небо поднимаются немецкие сигнальные ракеты.

Этот опыт и эти знания бесконечно важны и касаются сотен и тысяч вещей это знание противника, его оружия, знание войны на рассвете, в тумане, днём, на закате, в лесу, на дороге, в степи, в деревне, на берегу реки, это знание звуков и шорохов войны и, что особенно значительно и важно, — познание себя, своей силы, своей стойкости, выносливости, опыта, хитрости.

Новое пополнение в полевых учениях, ночных тревогах, в жестокой и страшной обкатке танками предметно, объёмно впитывало и усваивало этот опыт.

Опыт войны становился доступен новому, идущему из тыла пополнению потому, что и командир дивизии и командиры рот учили не школьников, которым предстоит покинуть стены школы и вернуться в мирный дом, — они учили солдат, с которыми вместе предстояло драться, они учили одному — войне.

И эта наука происходила десятками, а может быть, сотнями способов. Она велась не только на учениях, в политбеседах, на стрельбах и в боевых перебежках. Она велась каждодневно и ежечасно, эту науку новое пополнение воспринимало в интонациях боевых команд, в походке, в жестах, в движениях, в выражении глаз командиров и обстрелянных боевых красноармейцев. Эта наука была в ночных рассказах Рысьева, в его насмешливых

словах: «Фриц, знаешь, как любит?» Эта наука была и в самоуверенных окриках Ковалева! «Беги, беги, вперёд, не падай, тут он тебя не достанет... Зачем ты ложишься, так от миномёта не спрячешься... Что ты выставился, логом беги, эта долинка миномётом простреливается... Где ты машину оставил, хочешь, чтобы тебя авиация раздолбала?»

Эта наука была и в балагурстве Резчикова, в его рассказах, как кто кого перехитрил, в его весёлом панибратстве с войной, в его чувстве насмешки и презрения к противнику, которое так важно солдату и которого ещё не было у солдат летом 1941 года.

И эта наука — чувство войны — была важной, значительной, полной смысла для умов и сердец; такой важной, такой значительной, что люда часто не отдавали себе в этом отчёта.

В час начала войны с фашистской Германией всюду — в больших и малых городах, на заводах, в деревнях, на реках и морях — люди поняли — пришло время великих и горьких трудов, потому что в народе немцев считали сильным воинственным народом, а Германию — сильной и богатой страной.

Война с французами не имела живых воспоминателей, она осталась в книгах, война с немцами жила не в книгах, а в живой памяти, в горьком опыте народа.

Весь народ сразу понял, что война с немцами будет великой войной, что принесет она большую кровь и большие слезы.

Когда летом 1911 года гитлеровцы напали на Россию, Вавилов сказал: жене:

— Гитлер хочет забрать советскую землю, он весь земляной шар для себя пахать хочет.

Вавилов называл землю не земным, а земляным шаром, потому что вся земля была для него огромным полем, которое народу надлежит вспахать и засеять в дружном, общем труде.

На советскую народную землю, на крестьян и рабочих пошёл войной Гитлер.

Дивизия, пока шло учение и пополнение, стояла за городом, и всё время приходилось копать землянки, прокладывать дороги, рубить лес, тесать брёвна.

Во время работы забывалась война, и Вавилов расспрашивал людей о довоенной мирной жизни «Ну как земля у вас, как родит пшеница? Как насчёт засухи? А просо вы сеете? Картошки хватает?» Много пришлось видеть ему народа, бежавшего от немцев, стариков, девушек, перегонявших скот на восток, трактористов, вывозивших имущество колхозов с Украины и Белоруссии. Попадались люди, бывшие под немцем и сумевшие уйти к своим через линию фронта, их он особенно выпытывал о том, как живут на оккупированной территории.

Он сразу понял нехитрый фашистский бандитский приём в деревне из машин ввозили немцы только молотилки, из товаров — камешки для зажигалок: на камешки Гитлер хотел обменять всю русскую землю, Вавилов понял, к чему приводил фашистский порядок — пятихатки, десятихатки, объединённые нагайкой гебитскомиссара. Дело было не в желании немцев вспахать весь «земляной» шар, дело было простое — обмолотить чужую пшеницу.

Вначале все подмечавший ротный народ посмеивался над Вавиловым.

— Гляди, — говорили красноармейцы, — наш колхозный активист опять мужика задержал, опрос снимает.

— Эй, Вавилов, — кричали ему, — тут бабы орловские, может, проведёшь среди них беседу?

Но вскоре увидели, что смеяться нечему Вавилов расспрашивал людей о самом главном и важном, от чего зависела жизнь.

В роте стали дружно оглядываться на Вавилова после двух случаев. Однажды, когда пришёл приказ передвинуться поближе к фронту, Усуров потребовал с погоревшей старухи литр самогона за то, что подготовит ей для жилья блиндаж и обошьёт его досками. «А не дашь, — сказал: он, — сам его срюю и доски попалю». Старуха самогона не имела и отдала Усурову после того, как он выполнил условленную работу, полушерстяную шаль.

К случаю этому отнеслись неодобрительно, и когда Усуров смеялся, показывая шаль, все хмурились и молчали. Тогда Вавилов подошёл к Усурову и сказал: негромко, голосом, который сразу заставляет примолкнуть и оглянуться каждого, кто слышит такой голос:

— Отдай, сволочь, женщине её вещь.

Все, кто слышал этот разговор, увидя, что Вавилов схватил одной рукой шаль, а другую, сжав в огромный кулак, поднёс к лицу Усурова, ожидали неминуемой драки. Скандальный нрав и сила Усурова были известны.

Но Усуров внезапно выпустил из рук шаль и сказал:

— Чего, ну тебя к чёрту, снеси ей, на, подумаешь! Вавилов бросил шаль на землю и сказал:

— Сам снесёшь, я, что ли, брал.

Старуха, ругавшая про себя Усурова идиолом проклятым, «прицем», жалевшая, что хороших сразу немецкая пуля достигает, а таким паразитам от войны никакого урона, даже растерялась, когда Усуров вернул ей шаль.

А расстроенный и смущённый Усуров произнёс перед товарищами, понимавшими его смущение, речь:

— Знаешь, как шофера в Средней Азии жили? Будь уверен — не терялись! Нужна мне её шаль — тоже защитник нашёлся! Я ведь не так взял, а за работу. Тоже цаца — платок старый! Три костюма имел, суконце такое, коверкот, будь здоров, в выходной наденешь галстук, плащ, полуботинки жёлтые — никто не скажет, что шофёром на трёхтонке; идёшь в кино, в ресторан, сразу шашлык, полкило водки, пиво. Жил, что надо. Нужен мне этот платок!

Второй случай, запомнившийся в роте, произошёл при бомбежке эшелона на большой узловой станции. Эшелон стоял на запасных путях, ждал отправки. Налетели самолёты перед вечером и бомбили сильно и жестоко, полутонными, даже тонными бомбами, видимо, хотели разбить элеватор. Бомбёжка началась внезапно, люди повалились на землю, кто где стоял, многие даже не успели выскочить из вагонов. Десятки людей были убиты и покалечены, занялись пожары, потом стали рваться снаряды в стоявшем поодаль эшелоне с боеприпасами. В дыму, в грохоте, среди воплей паровозных гудков смерть казалась неминуемой. Даже лихой Рысьев стал бледен, стушевался. Едва отливала на несколько секунд волна бомбёжки люди перебежали, переползали с места на место, искали ямок и углублений в недоброй, лоснящейся маслом чёрной земле. И всем запомнился в эти страшные минуты Вавилов. Он сидел на земле у вагона и кричал:

— Чего мечетесь, поспокойнее надо, лежи, где лежишь! А утрамбованная чёрная земля дрожала, трещала и рвалась, как гнилой ситец.

После бомбёжки Рысьев с восхищением сказал Вавилову:

— Ну и крепок ты, отец!

Политрук Котлов сразу отличил Вавилова. Он подолгу разговаривал с Вавиловым, расспрашивал, всё чаще давал ему поручения, вовлекал в беседы во время политзанятий, читок газет. Котлов был умен и увидел в Вавилове ту ясную, простую и душевную вдетую силу, на которую должно ему опираться в своей работе.

И незаметно для красноармейцев и более всего для самого Вавилова случилось так, что ко времени получения приказа о выходе из резерва на фронт именно он, Вавилов, и был тем человеком, вокруг которого сами собой завязались в роте внутренние духовные связи между людьми, связи, объединявшие молодых и пожилых, разбронированных и ветеранов — десантника Рысьева, бухгалтера Зайченкова и рябоватого крестьянина Мулярчука, узбека Усманова и ярославца Резчикова.

И как-то само собой получилось, что эту связь чувствовал и командир роты юный Ковалёв и старшина.

Рысьев, кадровый, служивший действительную до войны, десантник воздушно-десантной бригады, участник первых боёв на границе и жестоких битв на окраине Киева, почему то совершенно спокойно отнёсся к возникшему старшинству Вавилова.

И только Усуров, глядя на Вавилова, недовольно хмурился, а когда Вавилов заговаривал с ним, отвечал неохотно, а иногда и вовсе не отвечал.

В полках стало известно, что началась боевая подготовка резервных частей, и что сам маршал Ворошилов руководит боевыми учениями дивизий.

В этом известии было нечто, взволновавшее всех, от генералов до рядовых бойцов.

Ворошилов, руководивший шахтёрскими дивизиями, оборонявшими Царицын в годы гражданской войны, был послан на Волгу делать смотр народному войску.

Вскоре начались боевые учения, и тысячи людей, вышедших в поле со своим могучим, тяжёлым и лёгким оружием, увидели седую голову маршала.

После полевых тактических учений состоялось совещание, созванное маршалом. Потом в одном из классов сельской школы Ворошилов долго беседовал с командирами дивизий, полков и начальниками штабов, давал указания. Всех обрадовала хорошая оценка, данная маршалом боевой подготовке дивизии.

Все поняли — близился час боя.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

9 августа Сталин дал директиву командующим фронтами: «Оборона Сталинграда и разгром врага, идущего с запада и юга на Сталинград, имеет решающее значение для всего нашего Советского фронта. Верховное Главнокомандование обязывает вас не щадить сил и не останавливаться ни перед какими жертвами для того, чтобы отстоять Сталинград и разбить врага».

Верховный Главнокомандующий подчинил Сталинградский фронт генералу Ерёмченко. Членом Военного Совета Сталинградского фронта был назначен Хрущёв.

Приказ, полученный командованием Сталинградского фронта, находился в полном соответствии с внутренним состоянием решимости, возникшим у солдат и командиров Красной Армии, стоявших на волжском обрыве.

В те дни народ и армия воспринимали главным образом лишь трагическую сторону обороны на волжском обрыве. Среди дыма и пламени Донского и Волжского сражений люди ещё не видели тех решающих, глубоких перемен, что произошли в течение года. Верховное Главнокомандование знало об этих переменах, знало о неосознанном людьми, но уже реально существующем превосходстве советской силы над фашистским насилием. Близился час, когда это превосходство, завоеванное в течение года борьбы, труда и страданий, должно было стать очевидным для сознания советских народов и народов мира.

И именно в этом заключалось пока скрытое, но истинное существо происходивших событий.

Летом 1942 года Гитлер продолжал наступать, но он не понимал, что наступление, несмотря на успех, уже не имеет для него решающих выгод. Единственный шанс его на победу был в молниеносности войны, но расчёт на молниеносную войну был безумным расчётом, его перечеркнула Красная Армия.

Оборонительная битва на Сталинградской малой земле была особой битвой. Она завязывалась именно в тот час, когда производство советских орудийных стволов и военных моторов превысило немецкое, когда год великой работы рабочего класса, год великой войны перечеркнул преимущество гитлеровцев в вооружении и в военном опыте. Здесь во всей своей мощи родился советский манёвр, и здесь немцы с ужасом ощутили за спиной манящее пространство, по которому можно отступать, и стали бояться окружения — жестокой хвори солдатских, а также генеральских умов, сердец и ног. Сталинградский час был часом великого праздника победы, предсказанного Сталиным народу и армии.

В тяжёлую пору оборонительного Сталинградского сражения Верховный Главнокомандующий, принимая все меры к тому, чтобы усилить оборону Сталинграда, поручил своим помощникам разработку деталей, еще скрытого от взоров и сознания мира, великого сталинградского наступления.

И люди, готовившие мощный сталинградский удар, уже видели сквозь титанические трудности обороны те красные молнии, которые обрушатся на фланги немецкой группировки из района среднего течения Дона и из межозёрного дефиле на юге от

Сталинграда.

Наступила пора, когда резервы — скрытая энергия народа и армии — получили приказ Верховного Главнокомандования участвовать в оборонительном сражении и одновременно готовился к контрнаступлению.

Железная река разделилась на два русла — одно питало оборону, другое готовило наступление. В великой тайне ковалось наступление! Люди, готовившие его, прозревая будущее, видели тот день, тот час, когда соединится, сомкнётся вокруг армии Паулюса тугое кольцо, отлитое из нержавеющей стали артиллерийских дивизий, танковых корпусов, дивизионов и полков гвардейских миномётов, мощных, насыщенных огневой техникой пехотных и кавалерийских соединений.

Огромна была мощь накопленных Верховным Главнокомандованием резервных дивизий и армий, мощь моторов, артиллерийских стволов, потенциальная мощь авиационных бомбовых и штурмовых ударов.

Бескрайняя река гнева и горя великого народа не ушла в песок, не впиталась в землю, а волей партии и государства перевоплотилась в труд и потекла обратно с востока на запад, чтобы страшной тяжестью своей поколебать чаши весов, превысив мощью русского оружия силу врага.

Когда человек читает надуманные книги, когда слушает надуманную, сложную музыку и смотрит на пугающую своей загадочностью надуманную живопись, он с беспокойством и тоской представляет себе: это всё особенное, сложное, трудное и непонятное — и имена героев, и их чувства, и мысли, и речи, и звуки симфоний, и краски живописи. Всё это не такое, как у меня и тех, кто живет вокруг меня. Это иной, особенный мир — и человек, робя своей живой и естественной простоты, без волнения и радости читает эти книги, слушает музыку, смотрит картины. Надуманное искусство втиснуто между человеком и миром, как тяжёлый и непреодолимый, сложный узор, как шершавая чугунная решётка.

Но есть книги, читая которые человек радостно говорит себе: «Ведь и я так думал, чувствовал и чувствую, ведь и я это пережил».

Это искусство не отделяет человека от мира, это искусство соединяет человека с жизнью, с миром, с людьми. Оно не рассматривает жизнь человека через особенное, «затейливое», цветное стёклышко.

Человек, читая такие страницы, словно растворяет жизнь в себе, впускает огромность и сложность человеческого бытия в свою кровь, в свою мысль, в своё дыхание.

Но эта простота — высшая простота белого дневного света, рождённого из великой и трудной сложности цветных волн.

В этой ясной, спокойной и глубокой простоте есть истина подлинного искусства. Оно подобно ключевой воде, глядя на неё, человек видит дно глубокого ключа, травинки, камешки; но ключ не только прозрачность — он и зеркало, человек видит в нём себя и весь мир, в котором он трудится, борется, живет. Искусство объединяет в себе прозрачность стекла и мощь совершенного вселенского зеркала.

Это есть не только в искусстве — это есть на вершинах науки, в политике

И стратегия народной войны, Великой Отечественной войны была такова.

Командующий Сталинградским фронтом разместил штаб в глубоком и душном подземелье. Многим это казалось чудачеством. Генерал пренебрёг удобствами городских зданий и забрался в душную штольню, откуда командиры вылезали запыхавшись и долго шурились от яркого дневного света.

Этот зарывшийся в землю штаб странно противоречил прелести нарядного южного города, которую Сталинград сохранял наряду с чертами военной заботы и напряжённого оборонного труда. Днём у голубых киосков с газированной водой толпились мальчишки, в павильоне-столовой над Волгой торговали холодным пивом, и волжский ветер шевелил скатерти на столиках и белые фартуки подавальщиц. В кино шла картина «Светлый путь», и на улицах стояли рекламные фанерные щиты, изображавшие улыбающуюся девушку в нарядном платье. В зверинце школьники и красноармейцы смотрели на похудевшего во

время эвакуационных мытарств слона из Московского зоопарка. Книжные магазины торговали романами, где описывались работающие, смелые люди, чья мирная жизнь шла хорошо и разумно. А ночью над заводами, заслоняя звёзды, стлался тревожный, текучий, светящийся дым.

Город был полон людей, его распирало от приезжих, эвакуированных из Гомеля, Днепропетровска, Полтавы, Харькова, Ленинграда, вывезенных с Украины вузов, детских домов, госпиталей..

Фронтальной штаб жил своей особой, отдельной от города жизнью. Черные провода полевых телефонов цеплялись за подстриженные садовниками ветви деревьев, из покрытых засохшей грязью «эмок», с лучезобразными трещинами на стёклах, вылезали запылённые командиры и оглядывали улицы и дома тем особым, одновременно рассеянным и острым взглядом, каким несколько часов назад осматривали они высокий берег Дона, связные, нарушая все правила уличного движения и приводя в отчаяние милиционеров, пронеслись по улицам на мотоциклах, и за ними, как невидимый туман, тянулась тревога войны. Бойцы батальона охраны штаба бежали к кухням, стоявшим во дворах, громыхая котелками так же, как делали это в Брянском лесу и в сёлах Харьковщины.

Когда войска стоят в лесах, то кажется, они несут с собой машинное дыхание города в царство птиц, зверей, жуков, листьев, ягод, трав. Когда войска и штабы стоят в городах, то кажется, они вносят в город ощущение простора полей, лесов, степной вольной жизни. Приходит час, когда сосновые леса, от века знающие свой закон, и огромные, столетиями существующие города ломают свой строй и уклад, и война бушует среди пёстрых лесных полян, и площадей, и улиц старинных городов.

Город уже чуял близкое дыхание войны. Днём в заоблачной высоте летали разведчики, ночью гудели одиночки бомбардировщики. По вечерам на улицах не было света, окна завешивались темной бумагой, одеялами, платками, во дворах и скверах были открыты щели на случай бомбежки, в подъездах и на лестничных площадках установлены бочки с водой и ящики с волжским песком. Ночью прожекторы шарили среди облаков, и с запада слышалась далекая пушечная стрельба. Некоторые люди уже готовили чемоданы, шили рюкзаки. Жители окраинных деревянных домов рыли ямы и укладывали в них сундуки, швейные машины, обшитые рогожами, никелированные кровати. Некоторые сушили сухари, запасали муку. Одни готовились к немецким бомбежкам, беспокойно и плохо спали, мучились предчувствиями, другие считали зенитную оборону необычайно сильной и думали, что немецким самолётам никогда не прорваться к Сталинграду. Но всё же жизнь шла по-прежнему, по-городскому, скреплённая обручами общественных, трудовых и семейных отношений, привычек.

В тесной подземной приёмной командующего Сталинградским фронтом генерала Ерёменко собрались журналисты, представители московских газет, телеграфного агентства и радиокомитета. Журналисты явились в назначенный час, но адъютант сообщил, что придётся ждать Генерал-майор Рыжов, который должен был их информировать о положении на фронтах, был занят на заседании Военного Совета.

Разговор начался с шуток по поводу неурядицы между теми корреспондентами, которые ездили в части и бывали на передовой, и теми, что, не выезжая, сидели в штабах, давали по проводу информацию. Те, кто ездил в части, обычно запаздывали, застревали в пути, попадали в окружение, не имели связи, теряя общую ориентировку, зачастую писали не о том, что интересовало редакции. Те, кто сидел в штабах, передавали общую информацию всегда в срок и философски созерцали невзгоды и злоключения корреспондентов переднего края. Естественно, что те, кто действительно был свидетелем боёв, сидели на штабных.

Взял слово Збавский, корреспондент «Последних известий по радио».

Збавский начал рассказывать, как он встречался с командующим на Брянском фронте и как генерал не отпустил его, угощал обедом, оставил ночевать.

Но корреспонденты не захотели слушать Збавского. Капитан Болохин, корреспондент

«Красной звезды», резко изменил направление разговора. Этот капитан возил в чемодане с фронта на фронт книги любимых поэтов. Поэзия лежала вперемешку с военными картами, карандашами, газетными вырезками, бельём, носками, портянками.

Он был щепетилен до утомительности, радовался чужим успехам — вещь среди пишущих сравнительно редкая. Его уважали за то, что он работал не покладая рук, не зная отдыха. Товарищи привыкли, проснувшись ночью в деревенской избе, видеть его большую голову, освещённую коптилкой, склонённую над военной картой.

Разговор перешёл на главную тему. Завязался спор.

Один фотокорреспондент выражал свои мрачные мысли юмористически, говорил, что запас для себя надутую автомобильную камеру через несколько дней придётся вплавь добираться до восточного берега.

Но большинство спорящих считало, что Сталинград сдан не будет.

— Сталинград! — сказал корреспондент «Известий» и заговорил о том, что в городе построен первенец пятилетки, что оборона Царицына в двадцатом году одна из самых героических страниц нашей истории.

— Помните, ребята, — сказал Болохин, — Военный Совет в Филях, как он описан у Толстого?

— Конечно, помню, гениально, — поспешил ответить Збавский, не помнивший этих страниц.

— Помните, как говорили на Военном Совете в Филях:

«Неужели сдадим Москву, священную и древнюю столицу России?» А Кутузов ответил. «Правильно, верно, священная, но я ставлю вопрос военный» можно ли защищать населённый пункт Москву вот с таких то и таких-то позиций?» И сам ответил «Нет, нельзя». Понятно?

Он указал рукой на дверь — и все невольно подумали: может быть, в это время происходит заседание Военного Совета, такое же, как происходило осенью 1812 года в Филях.

Все находившиеся в приёмной поднялись, когда из кабинета командующего стали выходить генералы, участники заседания

Рыжов — небольшого роста седеющий человек, — судя по бронзово-красному загару, больше времени проводил под степным солнцем, чем в штабных кабинетах

— Простите, товарищи, задержал вас, — сказал он, — сами понимаете? вызвал командующий, Военный Совет.

Он пригласил журналистов в маленькую душную комнату, ярко освещённую электричеством Корреспонденты, шумно усаживаясь, стали вынимать из планшетов и полевых сумок бумагу и блокноты

Ударив большой ладонью по столу, генерал строго, коротко сказал:

— Давайте спрашивайте! Времени у меня мало. Ему стали задавать вопросы о положении на фронте. Короткими словами он обрисовал напряжённую фронтную обстановку Хаос атак и контратак, ударов и контрударов, в котором, казалось, так трудно было разобраться, вдруг упрощался, едва генерал быстрым движением обрисовывал на карте район немецкого наступления. То, что представлялось особо важным сторонним наблюдателям, оказывалось пустой, отвлекающей демонстрацией, а иногда то, что выглядело как успех немецкого командования, в действительности являлось неудачей, срывом его замысла.

Болохин ощутил, насколько ошибочны были его представления о начавшемся утром 22 июля крупном наступлении се-веро восточной и юго-западной немецких армий Ему казалось, что концентрические удары немцев, приведшие к окружению нескольких частей, входивших в 62-ю армию, представляют собой крупнейший успех немецкого командования. А в штабе совсем по-иному оценили результат этих почти двухнедельных ожесточённых боев на всех семидесяти тысячах квадратных километров Донского поля войны, позволивших немцам прорваться к Дону, — здесь считали, что немцы своей главной цели не

достигли и втянулись в затяжное сражение, которого не ждали и не хотели. Пятьсот немецких танков, сокрушительный удар которых должен был привести к достижению главной цели, растрачивали свою мощь в жестоких битвах на берегах Дона, и, хотя немцам удавалось, используя численное превосходство, прорывать советскую оборону, теснить, окружать некоторые советские полки и дивизии, успех их приводил лишь к частным тактическим результатам.

Произвольно построенная Болохиным схема кутузовского отношения к предстоящему Сталинградскому сражению рушилась.

В первые минуты разговора генерал ощутил невысказанный, тайный спор, завязавшийся между ним и Болохиным. В голосе его послышалось раздражение, на лбу появились длинные морщины, и лицо от этого стало недобрим.

Но когда корреспондент спросил о настроении войск, генерал улыбнулся и оживлённо заговорил о боях, шедших южнее Сталинграда

— Хорошо шестьдесят четвёртая дерётся! Вы знаете о бое на семьдесят четвертом километре, кое-кто из ваших побывал там. Образцово, зло дерутся. Вот, чем со мной разговаривать, поезжайте в армию, заезжайте в бригаду тяжёлых танков к полковнику Бубнову, о его танкистах романы писать, не то что статейки... А полковник Утвенко! Пехота, какие молодцы! Сто пятьдесят танков пустил немец — не дрогнули, стоят, шутка ли!

— Я был у Бубнова, — сказал один из корреспондентов, — замечательный народ, товарищ генерал, на смерть, как на праздник, идут.

Генерал, прищурившись, посмотрел на говорившего.

— Это вы бросьте, — сказал он, — на смерть, как на праздник... Кому особенно хочется умирать? — И, подумав несколько мгновений, тихо сам себе ответил: — Никому умирать не хочется, и вам не хочется, товарищ писатель, и мне, и красноармейцу не хочется — И уж сердито, совсем убеждённый в неправильности сказанных корреспондентом слов, тонким голосом повторил: — Нет, никому умирать не хочется. Немца бить — это другое дело. Война — это работа. Как в работе, так и на войне. Надо опыт жизненный иметь, рабочий опыт, жизнь чтобы намяла бока, подумать обо всём. А вы думаете, солдату только ура кричать и на смерть бежать, как на праздник? Воевать не просто Работа солдата сложная, тяжелая работа Настоящий солдат, когда долг велит, говорит: тяжело умирать, а надо!

Он поглядел Болохину в глаза и, точно заканчивая спор с ним, сказал:

— Вот, товарищ писатель, умирать мы не хотим, и смерть для нас не праздник, а Сталинград никогда не сдадим. Стыдно нам было бы перед всем народом.

И, опёршись ладонями на стол, привстал, искоса поглядев на ручные часы, и качнул головой.

Выходя из кабинета, Болохин шепотом сказал товарищам:

— По-видимому, сегодня история не хочет повторяться.

Збавский взял Болохина под руку.

— Кстати, слушай, Болохин, у тебя есть лишние талоны на бензин, дай мне, а получим лимит на следующий месяц, — честное слово, в тот же час отдам.

— Ладно, ладно, дам, — торопливо сказал Болохин.

Волнение охватило его. Понимание своей ошибки радовало, а не печалило корреспондента. Он ощутил, что вопрос, который представлялся ему ясным, не только военный, оперативный, тактический.

Чьи взгляды выражал генерал?

Не тех ли, что в побелевших от солёного пота гимнастерках выходили к берегу Волги и оглядывались, точно спрашивая себя: «Вот она, Волга. Неужто дальше отступать?»

Старик Павел Андреевич Андреев считался одним из лучших сталеваров на заводе. Инженеры советовались с ним и побаивались спорить. Он редко пользовался данными экспресс-лаборатории, делавшей при каждой плавке несколько подробных и точных анализов, лишь изредка заглядывал в листочек с основными определениями составных частей шихты. Да и заглядывал он в этот листочек из вежливости, чтобы не обидеть химика,

полного человека, страдавшего одышкой. Химик торопливо поднимался по крутым ступенькам в цеховую контору и говорил:

— Вот и анализ, надеюсь, я не опоздал?

Ему, должно быть, казалось, что Андреев волнуется, поспеет ли анализ к загрузке либо к выпуску плавки.

Химик окончил Институт стали, после работы он преподавал в техникуме и на вечерних курсах, а однажды в большом зале Дома культуры читал публичную лекцию «Химия в металлургии». Об этой лекции извещали афиши, вывешенные возле проходной, у входа в завод, продовольственный магазин, библиотеку и цеховую столовую. Павел Андреевич усмехнулся, глядя на эту афишу. Он бы не смог прочесть лекцию о термоэлектрических способах измерения температур, о газовых термометрах, экспресс методах спектрального и микрохимического анализа.

Павел Андреевич всю жизнь уважал образованных людей, гордился знакомством с учёными людьми и считал, что только учёные люди могут распутать сложные дела жизни.

Заводская библиотекарь относилась к самым почётным читателям и даже давала ему на дом книги, имеющиеся в библиотеке в одном экземпляре.

Однако она не заметила одного обстоятельства: среди прочитанных стариком рабочим книг не было ни одной по металлургии и сталеварению, ни одной популярной брошюры о химических, физико-химических процессах варки стали. Но это не означало неуважения старого Андреева к науке, объяснявшей его работу. Поэтам не нужны учебники поэзии. Они сами определяют рождение стиха и законы слова.

Андреев уважал науку варки стали и не шёл противоположным науке путём; собственно, он шёл в работе тем же путём, что и учёные инженеры. Он не был самоуверен и в работе никогда не «шаманил», что делали некоторые старые мастера. Физико-химическая экспертиза была как бы включена в хрусталик его глаза, в осязающие нервы его пальцев и ладоней, в его слух, память, хранившую опыт нескольких десятилетий работы.

Андреев искал в книгах объяснения того, что было ему непонятно. Когда невестка не поладила с Варварой Александровной, жизнь дома стала тяжела: женщины всё время ссорились. Павел Андреевич пробовал помирить их, но от этого произошёл ещё больший шум. Именно в эту пору он взял в библиотеке книгу Бебеля «Женщина и социализм», надеясь, что она поможет ему разобраться семейную путаницу — название выглядело подходящим. Но оказалось, книга написана была не по тому поводу.

На заводе работали молодые инженеры и мастера-сталевары, окончившие техникумы и специальные курсы. Они действовали не так, как Андреев: постоянно ходили в лаборатории, посылали пробы на анализы, то и дело глядели в утверждённую схему процесса, сверяли температуру, подачу газа, вечно носили с собой стандарты, инструкции, ездили на консультации. Дело у них шло не плохо, не хуже, чем у Андреева.

Среди них один человек особенно восхищал Андреева, сталевар четвёртой печи — Володя Коротеев. Это был широконосый, толстогубый парень лет двадцати пяти, с вьющимися волосами; когда он задумывался, толстые губы его надувались и во всю ширь лба, от виска к виску, образовывались три морщины.

У него работа шла без аварий и брака, он работал, словно шутил, — легко, весело, просто. Когда во время войны Андреев вновь вернулся в цех, Володя Коротеев был уже мастером, а на его печи в дневной смене работала сталевар-девушка, суровая, неразговорчивая Оля Ковалёва, и у неё работа шла не хуже, чем у стариков. Как-то в печь загрузили материал по новой рецептуре Ковалёва подошла к Андрееву и спросила, как вести плавку. Андреев долго молчал, прежде чем ответить, и сказал: — «Не знаю. Надо Коротеева спросить. Он парень учёный». Этот ответ восхитил всех в цехе. «Вот настоящий рабочий, говорили об Андрееве, — вот человек».

Он любил труд страстной и одновременно спокойной любовью. Для него весь труд человеческий был равнопочтенен, и он одинаково относился к сталеварам, электрикам, машинистам — рабочей знати завода — и к землекопам, подсобным рабочим в цехах и во

дворе, к тем, кто делал самую простую работу, ту, что мог делать всякий, имеющий две руки. Конечно, он посмеивался над людьми иной рабочей профессии, но насмешка эта была лишь добродушным выражением приязни, а не враждебности. Для него труд был мерилем людей и отношений с людьми.

Его отношение к людям было дружелюбно, его рабочий интернационализм был так же просто присущ ему, как любовь к труду и вера в то, что люди живут на земле, чтобы работать.

Когда во время войны он вернулся в горячий цех и секретарь партийной организации на одном из собраний упомянул о нём: «Вот рабочий, пожертвовавший и здоровьем и силами ради общего дела», Андрееву стало неловко. Ему казалось, что никакой жертвы он не принёс — наоборот, он чувствовал себя хорошо. Записываясь на работу, он уменьшил себе возраст на три года и всё боялся, как бы это не выяснилось.

— Я вроде воскрес из мёртвых, — сказал он своему приятелю Полякову.

Покойного Шапошникова, беседовавшего когда-то с ним на пароходе, он помнил несколько десятилетий и перенёс своё уважение на семью его: тот правильно предсказал ему, что владыкой мира станет труд.

Но вот началась война — шли фашисты, и цели их были смертельно враждебны тому, во что верил и чем жил старик Андреев, и, хотя дела их были подлыми, сила пока была у них.

Павел Андреевич ужинал на кухне перед тем, как уходить в ночную смену. Ел он молча, не глядя на жену, стоявшую возле стола и ожидавшую, пока он попросит добавки — обычно перед уходом на завод он съедал две тарелки жареной картошки.

Когда-то Варвара Александровна считалась самой красивой девушкой в Сарепте, и все её подруги жалели, что она пошла замуж за Андреева. Он в ту пору работал старшим кочегаром на пароходе, а она была дочерью механика; считалось, что с её красотой она могла пойти и за капитана, и за владельца царицынского пристанского буфета, и за купца.

Прошло сорок лет — они оба состарились, и всё ещё ясно было видно, что Андреев — некрасивый, сутулый, с угрюмым лицом и жёсткими волосами — не пара высокой, ясноглазой и белолицей старухе со спокойными, величавыми движениями.

— Господи, — проговорила Варвара Александровна, вытирая полотенцем клеёнку — Наташка в детдоме дежурит, только утром придёт, ты в ночную смену уходишь, и я с Володей опять одна остаюсь, а если налетит — что мы вдвоем делать будем?

— Не налетит, — ответил Андреев, — а если налетит и я дома буду — что я ему сделаю, у меня зенитки нет. Варвара Александровна сказала:

— Вот ты всегда так. Нет уж, решила, уеду к Анюте, не могу я так.

Варвара Александровна боялась бомбёжек. Она наслушалась в очередях историй о воющих бомбах, падающих с небес на землю, о женщинах и детях, погребённых под развалинами домов. Ей рассказывали о домиках, поднятых силой взрыва и брошенных на десятки сажень от того места, где они стояли.

По ночам она не спала, всё ждала налёта.

Она сама не понимала, отчего так велик её страх. Ведь и другие женщины боялись, но все они ели, спали, многие, храбрясь, с задором говорили: «Э, будь что будет!» А Варвара Александровна не могла ни на минуту отделаться от давящей тяжести.

В бессонные ночи её мучила тоска о сыне Анатолии, пропавшем без вести в начале войны. И невыносимо было Варваре Александровне глядеть на невестку той, казалось, всё было ни по чьм. Она после работы ходила в кино, а дома так шумно ступала и хлопала дверями, что у Варвары Александровны внутри всё холодело: казалось, прилетел проклятый, кидает...

Никто, думалось ей, не любил так преданно свой дом, как она. Ни у кого из соседок не было такой чистоты в комнатах — ни соринки, ни таракана на кухне; ни у кого не было такого славного фруктового садика и богатого огорода. Она сама красила полы оранжевой краской и оклеивала обоями комнаты. Она копила деньги на красивую посуду, на мебель, на

картинки, висевшие на стенах, на занавески, на кружевные накидочки для подушек. И ныне на этот маленький трёхкомнатный домик — «картиночка», говорили соседи, — которым она так гордилась и который так любила, надвинулась испепеляющая гроза, и беспомощность и страх объяли её...

Терзания её были велики, и она поняла: дольше сердцу не выдержать, и приняла решение — забить мебель в ящики, закопать их в саду и в погребе, уехать за Волгу в Николаевку, где жила её младшая сестра. Через Волгу, считала она, немец не перелетит.

Но тут то произошёл спор с Павлом Андреевичем. Он не захотел ехать. За год до войны врачебная комиссия запретила ему работать в горячем цехе. Он перевелся в отдел технического контроля, однако и там работа оказалась тяжела для него, два раза у него были приступы сердечного удушья. Но в декабре сорок первого года он снова пошёл работать в цех.

Стсил о ему сказать слово, и директор отпустил бы его, дал бы грузовик, чтобы подвезти к переправе вещи. Но Павел Андреевич сказал, что из цеха не уйдёт.

Сперва Варвара Александровна отказалась ехать без мужа, потом на семейном совете все же решили, что она с невесткой и внуком поедет за Волгу, а он пока останется.

И в этот вечер она снова завела разговор об отъезде. Говорила она, обращаясь не к мужу, а попеременно то к внуку, черноглазому Володе, то к кошке, а большей частью к воображаемому собеседнику, очевидно человеку разумному, рассудительному и достойному доверия.

— Ну вот, посмотрите на него, пожалуйста, — говорила она, обращаясь к печке, возле которой, по-видимому, в этот момент стоял ее воображаемый собеседник, — остается один, кто же за всем присмотрит? Вещи все в саду и в погребе будут закопаны. Сами понимаете, теперь такое время, что в доме ничего держать нельзя. Человек старый, больной: хоть волос у него чёрный, но он полную инвалидность по второй группе имеет. Разве можно больному человеку оставаться на такой работе? Бомбить немцы что будут? Ясно, завод первым делом. Это разве место для инвалида? Да завод и с ним и без него станет.

Воображаемый собеседник ничего не отвечал, внук вышел во двор посмотреть, как светят прожекторы, муж по обычаю своему молчал. Варвара Александровна вздохнула и продолжала свои доводы:

— Вот некоторые женщины говорят: «Не отойдём от своих вещей, где имущество закопано, там и люди должны находиться». Разве это правильно? Вот смотрите шкаф зеркальный, комод, посуды сколько — и то не жалко, всё оставляем. Ведь вот-вот налетит, проклятый. Но если уж ты остаёшься, ты хоть присмотри за вещами. Вещи дело наживное, а оторвёт ногу или голову — новых не наживёшь. Но раз уж остаётся человек...

Андреев сказал:

— Твои рассуждения не поймёшь. То ли ты меня жалеешь, то ли хочешь, чтобы я дом стерёг.

Варвара Александровна жалобно проговорила:

— Я сама себя не пойму, растерялась я совсем,

Володя вошёл в кухню и сказал мечтательно:

— Может быть, сегодня налёт будет, уж очень много прожекторов. — Блестя весёлыми глазами, он спросил: — Дедушка, а кошка за Волгу поедет или с вами в Сталинграде останется?

Варвара Александровна даже поперхнулась от удовольствия и сказала тонко и певуче:

— Ну как же, ну как же, кошка хозяйство ему будет вести, вместе с ним в заводе будет работать, карточки отоваривать.

Андреев, рассердившись, сказал:

— А ну-ка молчи.

Варвара Александровна гневно крикнула длинной скуластой кошке, вскочившей на стол:

— Марш со стола, змея, я ещё здесь хозяйка! Андреев поглядел на настенные часы и,

усмехаясь, сказал:

— А Мишка Поляков в ополчение записался, в миномётную роту, думаю и я записаться.

Варвара Александровна сняла с гвоздика брезентовую куртку мужа и попробовала пуговицы, крепко ли пришиты.

— Только тебе за Поляковым, тоже воин, песок с него сыплется!

— Нет, отчего, Мишка парень ещё крепкий.

— Ну, ясное дело — Гитлер сразу побежит, когда Мишку Полякова увидит...

Она принялась высмеивать Полякова, зная, что мужу неприятно, когда ругают его старого друга, с которым он вместе воевал ещё в восемнадцатом году под Бекетовкой. Ее всегда раздражала непонятная ей дружба солидного, серьезного Павла, молчаливого, взвешивающего каждое слово, с балагуром Поляковым.

— И первая жена от него ушла ещё тридцать лет назад, когда он совсем молодой был. У него одно дело было: за девками гонять, — говорила она. — А вторая только потому держится, что дети и внуки при них... и плотник он куда, одно звание плотник. А Марья его, подумать только, нахальства набралась, говорит: «Моему Мише доктор не велел табаку курить и водки пить, а он пьёт только через вашего Павла Андреевича. Я, говорит, уж знаю, если в выходной к вам пойдёт, обязательно домой пьяный приходит». Господи, я ей прямо в глаза засмеялась: «Ваш Михаил Иванович знаменитый на этот счёт, его не то что в Рынке, в Сарепте знают».

В эти тревожные дни Варвара Александровна иногда удивлялась, откуда у неё берётся смелость спорить с мужем, он бывал дома очень сердит. Но теперь Павел Андреевич не сердился, а молчал. Он понимал, что вся руготня её идёт от беспокойства, от мыслей об отъезде, о расставании с мужем, домом.

В семье он бывал крут, нетерпим, а чужим людям умел прощать слабости. Какое-то равнодушие было у него к дому: купит она новую вещь — хорошо, разобьётся какой-нибудь дорогой предмет — ничего, словно не его это касается. Как-то давно попросила Варвара Александровна принести с завода несколько медных шурупов.

— Ты что, обалдела? — грубо сказал Павел Андреевич. И в тот же день она вдруг заметила, что из комода исчезли суконные лоскуты, которые она хранила для починки зимнего пальто. Когда она сказала о пропаже мужу, он объяснил:

— Это я взял, компрессор обтирать — И пояснил: — Беда с ветошью, нечем масло обтирать, а компрессор новый, нежный.

Долгие годы она помнила об этом случае. Да и в последнее время — такой же он. Зайдёт соседка, скажет: «Ваш не приносил с завода муки? Мой два кило получил. У них в цеху давали». Варвара Александровна спросит:

— Почему же ты не взял, вот на прошлой неделе масло давали подсолнечное, тоже не принёс. А он отмахнётся:

— Думал подойти, когда очереди не будет, а мне не хватило.

Ночью Варвара Александровна долго не спала, прислушивалась, потом встала с постели, бесшумно, босыми ногами ходила по комнатам, приподняв маскировку с окна, всматривалась в загадочное, светлое небо. Она подошла к спящему Володе и долго смотрела на его крутой смуглый лобик, полуоткрытые губы. Он был похож на деда: некрасивый, жестковолосый, коренастый. Она поправила на нём сползшие с живота на бёдра трусики, поцеловала его в тёплое худое плечико, перекрестила, снова легла.

Много передумала она за эти бессонные ночные часы.

Сколько лет она прожила с Павлом Андреевичем... Да что там годы считать жизнь с ним прожила! Не поймёшь, хорошо ли, плохо Варвара Александровна ни одному, самому близкому человеку никогда не говорила об этом, но в первые годы замужества она была несчастна. Не о том она мечтала девушкой... Подруги говорили: «Ты и за офицера пойдёшь, капитаншей будешь». И она мечтала жить в Саратове или Самаре, ездить в театр на извозчике, ходить с мужем на танцы в Благородное собрание. А вот взяла да и вышла за

Андреева — он говорил, что в Волге утопится, если она не пойдёт за него. Она всё смеялась и вдруг сказала ему:

— Я согласна, пойду за тебя, Павел. Сказала слово — и вот вся жизнь. Человек он хороший, но характер у него тяжёлый, странный. Такие молчаливые домоседы обычно бывают людьми хозяйственными, любят дома вникать во все мелочи, копят деньги, вещи. А он не такой.

Как-то он ей сказал:

— Вот бы, Варя, сесть в лодку и поехать до Каспия, а там ещё и ещё, в далёкие края. Так я ничего уж до смерти не увижу.

А её всегда жгло честолюбие, ей всегда хотелось гордиться перед людьми. И ей было чем гордиться. Ни у кого из соседей не было такой красивой обстановки, такой беседки в саду, таких фруктовых деревьев, таких цветов на окнах.

Она знала, каков её Андреев в работе, и готова была со всяким поспорить, что нет лучше и умней рабочего, чем он, на всех трёх заводах, нет ни в Донбассе, ни на Урале, ни в Москве.

Она гордилась его дружбой с Шапошниковыми и любила рассказывать соседкам, как хорошо и с каким уважением принимают они Андреева, и показывала письма с поздравлениями, которые Александра Владимировна присылает им на Новый год.

Как-то на Первое мая к ним приехал в гости директор и главный инженер. У ворот стояли две машины. Соседки, млея от любопытства, выглядывали из калиток, льнули к стёклам. У Варвары Александровны руки холодели от радости, гордость жгла её огнём. А Павел встретил гостей спокойно, словно не директор приехал, а старый плотник Поляков зашёл под выходной, после бани выпить стопочку белого.

Она была дочерью механика, прожила всю жизнь при большом заводе и знала, какое великое дело быть первым рабочим в огромном рабочем городе. О, теперь то она знала, что это почётней, чем владеть буфетом на пристани.

Так прожили они жизнь, но спроси её кто-нибудь, любила ли она его, любит ли, — Варвара Александровна пожалала бы плечами: она давно уже не думала об этом.

Потом ей стал мерещиться Анатолий, она видела его детские глаза, слышала тихий голос. И так почти каждую ночь — вспоминалось прошлое, мучила тоска о сыне, потом приходили злые мысли о невестке.

Наталья была женщиной шумной, обидчивой, своевольной.

Варвара Александровна считала, что Наталья женила на себе Анатолия хитростью, она ему не жена ни по уму, ни по красоте, ни по родне, которая занималась до революции мелкой торговлей. У Варвары Александровны имелась своя особенная логика, и по этой логике получалось, что дизентерией в 1934 году Анатолий болел из-за Натальи, и строгий выговор за прогул после праздника Первого мая, совпавшего с пасхой, он получил из-за Натальи. Когда Наталья ходила с мужем в кино или на стадион, свекровь сердилась, что невестка совсем забывает о ребёнке; когда Наталья шила сыну костюмчик, Варвара Александровна осуждала её: Анатолий ходит с продранными локтями и в нештопаном белье, а невестка думает лишь о мальчишке.

Но и Наталья не была женщиной кроткого нрава. В сражении с нею Варваре Александровне приходилось нелегко. Наталья тоже осуждала и винила свекровь чуть не за каждый поступок.

Наталья поступила на работу в детский дом, проводила там время с утра до вечера, часто после работы она заходила к знакомым. Варвара Александровна замечала всё и когда, придя домой, она отказывается ужинать, и какое на ней платье, и когда она сделала перманент, и как она бормочет во сне, и как она иногда с Володей разговаривает рассеянно, с виноватой нежностью. И по всем этим признакам Варвара Александровна обличала Наташу.

Павел Андреевич пробовал уговорить их, объяснял, что жить нужно по-справедливому и доброму как-то раз он вышел из себя, замахнулся кулаком, разбил розовое блюдо и чашку, из которой восемнадцать лет пил чай, грозил выгнать и грозил сам уйти. Но, видимо, ему

стало ясно, что он лишь себя изведёт, а делу не поможет — ни силой, ни добром.

Вначале Варвара Александровна говорила, что не его забота вмешиваться в бабьи свары, но когда он перестал вмешиваться, она то и дело корила его:

— Ты что ж, не видишь, что ли, ты что ж не скажешь ей!

— Уйди, — говорил он.

Вот с этой Наташей ей предстояло совершить тяжёлый путь. Но о будущем ей трудно было думать — таким безрадостным казалось оно.

Смена работа та восемнадцать часов. От грохота и гута содрогалась высокая железная коробка мартеновского цеха. Этот грохот шел из соседних цехов и с заводского двора. Его рождал прокат, где застывающие мерцающие сизые плиты и листы теряли немоту, присущую жидкой стали, гремели и звенели молодыми, вдруг обрётёнными голосами. Грохот рождали тяжкие пневматические молоты, сминавшие прыщущие искрами сочные, помидорно-красные слитки металла. Этот грохот рождался стальными чушками, падавшими на товарные платформы, выложенные рельсами, чтобы предохранить дерево от ещё горячего, неостывшего металла. И рядом с железным грохотом рождался гул моторов и вентиляторов, скрежет и звон цепей, волочивших сталь...

В цехе стоял сухой жар. В нём не было ни молекулы влаги, белая сухая метелица бесшумно мерцала в каменном ранжире печей, стоявших в высоком полусумраке цеха. Колочая пыль, поднятая внезапным, врывающимся с Волги сквозняком, ударяла в лицо рабочим. Сталь лилась в изложницы, и вдруг сумеречный воздух наполнялся облаком стремительных искр, в краткую секунду своей прекрасной и бесполезной жизни подобных то безумной белой мошкаре, то опадающим лепесткам цветущей вишни. Иногда искры садились на плечи и руки рабочих и, казалось, не гасли, а, наоборот, рождались на этих разгорячённых работой людях.

Некоторые рабочие, собираясь передохнуть, подкладывали под голову кепку, а ватник стлали на кирпичи либо на чушку металла: в этом железном цехе не было мягкого дерева и земли, а лишь сталь, чугун и камень.

Отдыхавших людей клонило ко сну от постоянного грохота. Потревожить, поднять их мог внезапный приход тишины. Тишина в этом цехе могла быть лишь тишиной смерти либо тревоги и бури. В грохоте жил покой завода.

Работавшие подошли к границе человеческой выносливости. Лица их потемнели, щёки ввалились, глаза воспалились. Состояние многих рабочих можно было, несмотря на всё это, назвать счастливым, потому что причиной и основой счастья является вдохновение борющихся за свободу, а в эти часы непрерывного ночного и дневного тяжёлого труда многие рабочие переживали чувство свободы и вдохновения борьбы.

В заводской конторе жгли архивы-отчёты о выработке прошлых лет, жгли планы. Подобно солдату, вступившему в свой смертный бой и не думающему ни о том, что ждёт его через год, ни о прошлых волнениях своей жизни, — огромный металлургический завод жил вдохновенной жизнью сегодняшнего дня.

Рабочим не надо было, как в глубоком уральском и сибирском тылу, осмысливать единство заводского труда с военной борьбой. Сталь, выплавленная сталеварами на «Красном Октябре», тут же рядом, на Тракторном и «Баррикадах», рождала броневые плиты танков, стволы пушек и тяжёлых миномётов. День и ночь уходили танки своим ходом на фронт, день и ночь пылили грузовики и тягачи, тянувшие к Дону орудия. Горячая кровная связь объединяла тех артиллеристов, башенных стрелков, которые огнём орудий, гусеницами тяжёлых танков, страстью сердца отбивали натиск прущего на Сталинград противника, с теми сотнями и тысячами рабочих, мужчин и женщин, стариков и молодых, которые в нескольких десятках километров от линии фронта трудились на великанах-заводах. Это было простое и ясное единство, единая, глубоко эшелонированная оборона.

Под утро в цех пришёл директор завода, полнотелый человек в синей длинной гимнастёрке, в мягких шевровых сапогах.

Рабочие, шутя, говорили, что директор бреется дважды в день, а сапоги начищает перед

каждой сменой, три раза в сутки. Но теперь, видимо, он сапог не чистил и не брился, его щеки поросли тёмной щетиной.

Директор знал, каким будет завод через пять лет, он знал, какого качества придёт сырьё, какие заказы придут осенью, а какие к весне. Он знал, как будет обстоять дело со снабжением электроэнергией, откуда придёт лом и что будут завозить в промтоварные и продовольственные распределители. Он ездил в Москву, Москва звонила ему по телефону, с ним совещался первый секретарь обкома. От него зависело хорошее и плохое: квартиры, денежные премии, продвижение по службе, выговоры, увольнение.

Заводские инженеры, главный бухгалтер, главный технолог, начальники огромных цехов говорили: «Обещаю попросить директора»; «Доложу вашу просьбу директору»; «Надеюсь, директор поможет», либо, наоборот, грозили директорским гневом: «Представлю директору на увольнение». Он прошёл по цеху и остановился возле Андреева. Их окружили сталевары, мастера, рабочие. И тот вопрос, который обычно задавал директор, приходя в цех, на этот раз строго задал рабочий:

— Как работа? Как дело?

— Положение тяжелей с каждым часом, — ответил директор.

Он сказал, что металл, обращённый в танки, уходя с заводского двора, через 14-16 часов уже воюет с немцами, что крупная воинская часть, получившая ответственное задание, потеряла технику во время авиационного налёта и от сверхплановой выдачи металла зависит многое — солдаты ждут. Сказал, что людей не хватает, некого просить и некого ставить на работу. Коммунисты, сотни лучших людей уходят в армию.

— Устали, товарищ? — спросил он, поглядев прямо в глаза Андрееву.

— Кто теперь отдыхает, — ответил Андреев и тут же спросил. — Остаться на вторую смену?

— Надо остаться, — ответил директор.

Он не приказывал, он в эту минуту был не только директором завода. Сила его была не в том, что он может дать премию, прославить, представить к награждению медалью либо, наоборот, взыскать, перевести на низший разряд, разве в такие дни всё это имело значение?

И он понимал это, оглядывая лица людей, стоявших возле него. Он знал, что на заводе работают не только идеальные, влюбленные в труд люди. Среди рабочих имелись люди, работавшие без души, по необходимости.

Он поглядел на стоявшего рядом старика.

Белое пламя освещало нахмуренный лоб Андреева, и лицо его поблескивало так же, как поблескивали покрытые копотью балки перекрытий.

Андреев словно нёс в себе главное правило жизни и работы. Нечто бесконечно более важное и сильное, чем личные интересы и тревоги, торжествовало в жизни в эти дни — главное естественно и просто брало верх в решающий час народной судьбы.

И директор завода знал это. Андреев сказал:

— Какой же может быть разговор, останемся, уж коли так, останемся.

Плечистая женщина в брезентовой куртке, с головой, повязанной красной замасленной косынкой, сверкнув белыми зубами, сказала:

— Ничего, сынок, раз надо, проработаем и две смены.

Смена осталась в цехе.

Люди работали в молчании, не было обычных приказаний, сердитых объяснений, которые толковое делали бестолковым.

Минутами Андрееву казалось, что рабочие молча говорят между собой. Он поворачивал голову в сторону узкоплечего парня в полосатой тельняшке, Слесарева. Слесарев оглядывался и бежал к воротам цеха, подгоняя вагонетки с порожними изложницами, а ведь именно об этом думал Андреев, глянув на Слесарева.

Лёгкость движений непонятно существовала рядом с изнурением и усталостью.

Все работавшие в цехе, не только кадровые, сознательные передовики, коммунисты и комсомольцы, но и озорные девушки с подбритыми бровями, в брезентовых штанах и

сапогах, поглядывавшие временами в круглые зеркальца; и угрюмые эвакуированные мужчины, не умевшие работать; и семейные женщины, часто бегавшие смотреть, не дают ли чего в распределителе, — все они теперь были охвачены бескорыстным вдохновением общего труда.

В обеденный перерыв к Андрееву подошёл человек с худым запялённым лицом, одетый в зелёную солдатскую гимнастёрку. Андреев рассеянно посмотрел на него, сразу не узнал. Это был секретарь заводского комитета.

— Павел Андреевич, зайдите сегодня в четыре часа в кабинет к директору.

— Это для чего? — сердито спросил Андреев, ему подумалось, что директор станет его уговаривать эвакуироваться. Секретарь несколько мгновений смотрел на него и сказал:

— Получено утром указание подготовить завод к взрыву, мне поручили подобрать людей, — и взволновался, полез в карман за кisetом.

— Нет, этому не бывать, — сказал Андреев.

Мостовской позвонил своему знакомому, работнику обкома Журавлёву, и просил помочь ему добраться до заводов.

— Вам хорошо бы на «Красный Октябрь», — сказал Журавлёв, — там ведь ленинградцы есть, эвакуированные с Обуховского завода, — земляки ваши.

Он позвонил по телефону секретарю заводского партийного комитета и в Тракторозаводский райком партии, предупредил о поездке Мостовского. Он послал Мостовскому свою машину, наказав шофёру ждать, сколько ни понадобится Михаилу Сидоровичу.

Но через полтора часа шофёр явился — Мостовской отпустил его, сказал, что после собрания пойдёт к знакомому рабочему, а домой доберётся сам.

Вечером в обком приехал вызванный на совещание инструктор Тракторозаводского райкома и успел подробно, пока ждали секретаря, рассказать, как прошла встреча с Мостовским.

— Это вы предложили правильно: встреча рабочих со старым революционным бойцом, — сказал он. — Замечательно всё прошло, многие даже плакали, когда он про Ленина сказал, про последнюю встречу свою с ним, когда Владимир Ильич уже болен был.

— Он и теоретически исключительно подкован, — сказал Журавлёв.

— Это верно, он очень просто говорил. Ремесленники-парнишки, и те рты пооткрывали, так ясно, понятно говорил. Я как раз на заводе был, когда он приехал, как раз ко второй смене партторги объявили, что желающие пусть пойдут в клуб для встречи. Все остались, никто почти домой не пошёл, только уж самые несознательные. И встреча очень хорошая получилась. Потом перешли в зал, он говорил недолго, с того и начал «вы устали после работы», но голос ясный, сильный. Как-то он необычайно говорил. — Инструктор подумал и добавил: — У всех, и я по себе чувствовал, вдруг как-то сердце забилося, и больно, и хорошо.

— А вопросы были?

— Вопросов много, ну, конечно, все про войну: почему отступаем, про второй фронт, про эвакуацию, про поддержку иностранных рабочих, конечно, кое-кто интересовался насчёт «получаловки», как рабочие говорят, и по продовольствию, но хорошо, замечательно слушали и старые кадры и молодёжь.

Инструктор, понизив голос, сказал:

— Правда, насчёт одного вопроса не совсем получилось. Он про эвакуацию говорил, что заводы никуда не уйдут, что работа не прервётся и не будет прерываться, приводил в пример «Красный путиловец» и Обуховский. Это когда о задачах рабочего класса говорил, а мы в этот день как раз проводила совещание закрытое о подготовке заводов к спецмероприятиям в связи с положением на фронте.

— Ну, это понятно, — сказал, улыбнувшись, Журавлёв, — он ведь на вашем совещании не был и не по тезисам говорил... Да, ещё хотел спросить, почему он машину отпустил?

— Вот как раз я хотел сказать вам. После доклада мы предложили отдохнуть у

директора в кабинете, диетпитание организовали, а он говорит, я хочу тут к знакомому рабочему пойти на квартиру, к Андрееву, и машину отпустил. Простился и пошёл, быстрый, ну не дашь больше пятидесяти лет по походке. Я в окно видел, его рабочие во дворе окружили, так он с ними к посёлку и пошёл...

Утром Варвара Александровна напил а чаем Володю, стала собираться в баню.

Она шла, предвкушая душевное успокоение. В тёплом спокойном банном полумраке приятно поговорить со знакомыми. В бане всегда хорошо и легко вспоминалось прошлое, грустно и приятно было, глядя на молоденьких, беленьких дочерей и внучек знакомых, вспоминать свою молодую пору Варваре Александровне казалось, что она забудет в бане хоть на полчаса про предстоящий отъезд, про все свои печали.

Но и в бане всё напоминало о войне, и сердечная тревога ни на минуту не утихала. Мылись военные девушки, в раздевалке висели их зелёные юбки, гимнастёрки с треугольниками на воротниках, стояли солдатские сапоги да ещё мылись две молодые, сытые женщины, приезжие, как поняла из их разговора Варвара Александровна. Никого знакомых в бане не оказалось

Баня, в которую Варвара Александровна ходила долгие годы, для военных девушек была случайной и неинтересной. Они вспоминали бани, где им приходилось мыться, — в Воронеже, в Лисках, в Балашове; а через несколько дней где-нибудь в Саратове или в Энгельсе будут вспоминать они сталинградскую баню. Хохотали они так громко, что голова заболела. А гражданские, не стесняясь, говорили о всяких неприличиях, обсуждали свои дела. Варвара Александровна подумала, что с этими женщинами не так помоешься, сколько наберешься всякой дряни.

— Эх, война спишет, — кричала одна и трясла завитой в перманент мокрой головой.

А вторая, поглядев на Варвару Александровну, с усмешкой спросила:

— Что ты, бабка, смотришь на меня щучьими глазами?

— Ох, я бы посмотрела так, чтобы звания от тебя не осталось, спекулянтка, — сказала Варвара Александровна. Она не стала мыть волосы, как предполагала, обвязала голову полотенцем, чтобы не замочить их, торопливо помылась, лишь бы скорей уйти.

Когда она пошла в сторону дома, объявили воздушную тревогу. Варвара Александровна проходила в это время мимо пустыря, где стояли зенитные пушки. Пушки страшно ударили, ушам стало больно, Варвара Александровна кинулась бежать, повалилась на землю в пыль. А так как после бани она была вся влажная, потная, — пыли налипло много, она пришла домой перепачканная.

Невестка, вернувшаяся с дежурства, стоя на крыльце, ела хлеб с огурцом.

— Что с вами, упали? — спросила она.

— Сил моих нет, — проговорила Варвара Александровна.

Но Наталья её не стала утешать, повернулась и пошла на кухню.

Наташе казалось, что дома никто её не понимает. Она ходила к знакомым и в кино, старалась забыть оттого, что была несчастна, а была несчастна оттого, что день и ночь тосковала по мужу. Она и курить стала, и бралась за тяжёлую работу, однажды почти двое суток подряд стирала, перестирала в детдоме двести восемьдесят штук детского белья, наволок и простынь — лишь бы развеять свое горе. Будь ей легко и хорошо, она не стала бы курить и ходить к знакомым. Но только новая её знакомая Клавдия, нянька в детском доме, понимала и жалела её.

А Варвара Александровна особенно корила невестку за дружбу с Клавдией. Да, не могли они со свекровью понять друг друга и не хотели понять, хотя обе любили Анатолия. Варвара Александровна ходила к гадалке и в церкви молилась. Но ни цыганка, ни бог не могли ей помочь распутать клубок, запутанный ещё в далекую, далёкую, древнюю пору. Мать, давшая сыну жизнь, и жена, давшая жизнь ребёнку этого сына, — обе имели право на первенство в доме. В этом совместном их праве было и несправие, и они поняли, а может быть, им казалось, что они поняли, простую и грубую истину чья сила возьмёт, того сила и будет.

Варвара Александровна, стоя в передней, очистилась от пыли, обтёрла туфли тряпкой и прошла в комнату. Спросила у внука:

— Дедушка не приходил?

Володя нечленораздельно замычал; сощутив глаза, он смотрел из открытого окна на небо, где жужжал невидимый в огромной высоте самолёт, выжимавший из себя белый пушистый след.

— Разведчик, — сказал он, — фотосъёмку делает. — Так объяснили ему зенитчики.

Она подумала «Господи, что спрашивать, пришёл бы — кепка бы на гвоздике висела; видно, остался с утренней сменой».

Ей представился горестный круг её нынешней жизни, и она пошла на огород поплакать среди весёлых красных помидоров, чтобы Наталья не видела её слез. Но когда она пришла на огород, то увидела, что место уже занято: на земле сидела невестка и плакала.

После обеда в дверь постучался какой-то странный старичок. Варвара Александровна сперва подумала, что это эвакуированный ищет квартиру. Но оказалось, старик пришёл к Павлу Андреевичу.

— Здравствуйте, матушка, — сказал он, — могу ли я видеть товарища Андреева?

«Какая я тебе матушка, — с раздражением подумала она подозрительно оглядывая старика, — я тебе, старому хрычу, в дочки гожусь».

Её внимательный глаз сразу же отличил преклонные годы Мостовского, её не обманули быстрые движения и сильный голос старика. Она пустила его в комнату и сердито подумала, что старик пришёл к Павлу Андреевичу по выпивательному делу.

Но спустя несколько минут, когда оставшийся ожидать мужа старик стал расспрашивать её про жизнь, про детей, она разговорилась. Этот пришелец, возбудивший вначале её подозрения, показался ей, спустя недолгий срок, человеком, которому она давно хотела рассказать о своих заботах. Перед тем, как войти в комнату, он долго вытирал ноги о половик в прихожей, потом спросил у неё разрешения закурить в комнате и сказал, что, если ей неприятен табачный дым, он может выйти покурить на крыльцо; потом он сказал «простите» и попросил у неё пепельницу, и она поставила на стол красивую пепельницу, служившую хранилищем пуговиц, напёрстков и крючков, а не жестяную крышечку, в которую сбрасывал табачный пепел и клал «бычки» Павел Андреевич.

Старик оглядел комнату и сказал:

— Как у вас хорошо, — подумал и добавил: — Чудесно. Одет он был просто, и сам с виду был простой носатый мужичок, но, присмотревшись, она поняла, что он не прост: не то бухгалтер или инженер с завода, не то доктор из заводской больницы. Так она и не понимала, кто он. Вдруг её осенило, что это не заводской, а городской знакомый мужа — родственник Шапошниковых.

— Вы Александру Владимировну знаете? — спросила она.

— Знаю, знаю, как же, — ответил он и быстро глянул, удивившись её догадливости.

Разговор с гостем снова разволновал Варвару Александровну. Рассказала она о муже: он неправильно ведёт себя, не думает, как спасти жизнь, дом и вещи, только ходит на завод. Рассказала о сыне. Все матери считают, что их дети наилучшие, она-то не из таких, видит недостатки своих детей. Вот у неё две дочери замужние, живут на Дальнем Востоке, она все их недостатки знает; но про Анатолия действительно ничего не скажешь, он и в детстве был спокойный, тихий, а когда был грудным, она с вечера покормит — и вот он спит до утра, ни разу не заплачет, не позовёт, а проснётся — тоже не плачет, лежит спокойно, глазки открытые — и смотрит.

Она стала рассказывать о невестке сразу же после того, как рассказала о младенчестве сына, словно между той порой, когда Анатолий лежал спелёнутый, и временем его женитьбы прошёл месяц или два.

Вероятно, в этом и была вечная особенность отношения матери к детям: в мыслях матери её бородатые сыны бытуют рядом с младенцами, и до самого конца жизни в сердце старухи матери воедино слиты, неразличимы — светловолосый младенец и морщинистый,

с седыми висками, сорокапятiletний сын.

Но вот уж невестку она представляла себе совсем по-иному, в ней она не видела ничего доброго и ничего хорошего.

Михаил Сидорович из рассказа Варвары Александровны узнал много для себя нового о женском коварстве, чего не вычитал он и у Шекспира. Его поразила сила страстей в этой маленькой, казавшейся ему тихой и дружной рабочей семье.

Не утешаться, а утешать пришлось Михаилу Сидоровичу в этом доме.

Андреев вошёл в комнату, поздоровался с гостем, сел за стол и заплакал. Варвара Александровна до того растерялась, увидев впервые в жизни слезы на глазах мужа, что выбежала на кухню: ей показалось — вот и пришёл последний час.

Мостовской остался ночевать у Андреевых. Полночи просидели за столом старики.

Утром, когда Мостовской приехал к себе домой, Агриппина Петровна передала ему записку от Крымова. Крымов писал, что часть его некоторое время простоит в Сталинграде, но он должен с утра снова уехать на фронт и как только вернётся в Сталинград, зайдет к Мостовскому. В конце записки было приписано: «Михаил Сидорович, вы даже не представляете себе, как хочется вас видеть».

В воскресенье утром пришло письмо, адресованное Серёже. Евгения Николаевна, вертя конверт в руке, смеясь, спросила:

— Вскрыть или не вскрыть? Почерк явно женский. Военная цензура просмотрела, очередь за домашней. Судя по всему, от Дульцинеи. Прочсть, мама?

Она раскрыла конверт и, вынув маленький листок бумаги, стала читать. Вдруг она вскрикнула.

— Ах, боже мой, умерла Ида Семёновна!

— От чего? — быстро спросила Мария Николаевна. Она боялась умереть от рака и всегда находила у себя признаки этой болезни. Когда она слышала о смерти женщины своих лет, она первым делом спрашивала, не от рака ли та умерла? Степан Фёдорович ей говорил: «У тебя их столько, раков этих, что хоть пивную открывай».

— От воспаления лёгких, — ответила Женя. — Как же быть, переслать письмо Серёже?

Иду Семёновну, мать Серёжи, не любили в семье Шапошниковых. Она редко виделась с Александрой Владимировной и с сестрами покойного мужа.

Ещё живя с мужем, она охотно отсылала Серёжу к бабушке на долгие сроки; до поступления в школу он иногда гостил у Александры Владимировны по четыре-пять месяцев.

Покинув Москву, Ида Семёновна сперва жила у брата, потом работала в Казахстане, потом на Урале, а Серёжа поселился у бабушки. Письма сыну Ида Семёновна писала не часто.

Скрытный и молчаливый, он никогда не говорил о матери и на вопросы бабушки односложно отвечал:

— Ничего, спасибо, мама пишет, что она здорова, читает лекции и работает в клубе.

Но когда однажды в его присутствии тетя Маруся сказала, что Ида Семёновна в своё время мало уделяла внимания сыну и слишком часто ездила на курорты, он вскрикнул каким-то странным, высоким голосом; нельзя было разобрать, какое слово он произнёс, и выбежал из комнаты, хлопнув изо всех сил дверью.

Александра Владимировна долго молча читала коротенькое письмо, его написала медицинская сестра в больнице, и задумчиво сказала»

— Последние дни она всё вспоминала Серёжу — Потом медленно вложила письмо в конверт и проговорила: — Мне кажется, не нужно письмо сейчас передавать Серёже.

— Ни в коем случае, — сказала Маруся. — Ни в коем случае, это бессмысленно и жестоко. — Она спросила: -А ты как думаешь, Женя?

— Не знаю, не знаю, — сказала Женя.

— Сколько же ей было лет? — спросила Маруся.

— Столько, сколько тебе, — ответила Женя, глядя на сестру сердитыми глазами.

Спиридонова вызвали в обком, к Пряхину, который теперь ведал вопросами, связанными с жизнью и работой оборонных предприятий города. Причин для вызова могло быть много. Мог быть разговор в связи с общим положением: вопросы обороны и воздушной защиты станции, новые задания, выдвинутые новой обстановкой...

Но мог предстоять другой разговор, разнос — может быть, случай с аварией турбины либо случай, когда хлебозавод на два часа остался без энергии и сорвал своевременную выпечку хлеба, а может быть, жалоба судоверфи, которой Степан Фёдорович отказал дать добавочный ток от подстанции, а может быть, неготовность аварийного кабеля либо спор по поводу рекламации на недоброкачественное топливо.

Степану. Фёдоровичу шли на ум объяснения и оправдания: многие квалифицированные рабочие сейчас в ополчении, износ оборудования, на линии мало монтеров, на заводских подстанциях плохо поставлено дело. Он ведь просил энергетиков Тракторного, «Баррикад», «Красного Октября» дать ему план, договориться и не создавать перегрузки в одни часы и недогрузки в другие, но они пальцем не ударили, наваливаются все вместе, а виноват он. Шутка ли накормить энергией таких три гиганта. Они вдруг, в один час, втроём могут сожрать больше киловатт, чем пять городов.

Но Степан Фёдорович знал, что в обкоме не любят ссылок на объективные причины, скажут: «Что ж, попросим войну подождать, пока Спиридонов свои дела устроит?»

Степан Фёдорович хотел заехать домой, время позволяло, а он скучал по родным, если не видел их день-два, тревожился об их делах и здоровье. Но дома в рабочее время, вероятно, никого не застанешь, и Степан Фёдорович велел водителю ехать прямо в обком

Возле здания обкома стояли часовые-ополченцы в пиджаках, перетянутых поясами, с винтовками на брезентовых ремнях. Они напоминали петроградских красногвардейцев, рабочих-бойцов времени первой обороны Царицына. Особенно один, с большими седеющими усами, словно сошёл с картины.

Степана Фёдоровича взволновал вид вооружённых рабочих. Отец его погиб в Красной гвардии, защищая революцию, да и он мальчишкой стоял с берданкой на посту возле здания уездного ревкома.

Часовой у входа оказался знакомым, он до последнего времени работал помощником монтера на Сталгрэсе в машинном зале.

— А, здорово, рабочий класс, — сказал Степан Фёдорович и хотел пройти в дверь. Но помощник монтера спросил,

— Вам куда?

— К Пряхину, — ответил Степан Фёдорович. — Загордился, не узнаёшь бывшее начальство?

Но лицо парня осталось серьёзно. Преграждая Спиридонову дорогу, он сказал:

— Предъявите документы.

Он долго всматривался в партийный билет, дважды пере водил глаза с фотографии на живую личность Степана Фёдоровича.

— Э, друг, ты совсем забюрократился, — сказал Степан Фёдорович, начиная сердиться.

— Можете проходить, — ответил часовой с тем же серьёзным каменным лицом, и лишь в глубине его глаз мелькнул озорной огонёк

Степан Фёдорович, поднимаясь по лестнице, несколько раз насмешливо и сердито повторил про себя: «В войну играть затеяли».

Помощник секретаря, глубокомысленно молчаливый Барулин, носивший обычно галстук и кофейного цвета пиджак, был одет в защитного цвета галифе и гимнастёрку, с ремнём через плечо, на боку у него висел наган в кобуре; сотрудники обкома, входившие в приёмную, тоже надели гимнастёрки. Почти у всех появились планшеты и полевые сумки.

В коридорах и приёмной было много военных. Поскрипывая ладными блестящими сапогами и снимая кожаную коричневую перчатку с руки, прошёл через приёмную в кабинет сухощавый, статный полковник-командир дивизии внутренних войск. Все военные в приёмной встали, вытянулись. И Барулин тоже встал, хотя он не был военным. Полковник

узнал Степана Фёдоровича, улыбнулся ему, и Степан Фёдорович встал и поздоровался почти по-военному. Они познакомились в обкомовском доме отдыха, и воспоминание об этом знакомстве, совсем не военном, было связано с весёлыми и приятными днями — прогулками в пижамах, купаньем, рыбной ловлей.

Полковник в своём безукоризненно сшитом кителе и лайковых перчатках походил на потомственного кадрового офицера, но как-то на ночной рыбалке в доме отдыха он, приятно «окая», рассказывал Спиридонову о своей жизни: он был сыном вологодского плотника и в молодости работал по отцовской линии, ходил с плотницкой артелью.

В приёмную вошёл председатель городского совета Осоавиахима, жёлчный человек, постоянно обиженный тем, что к нему и его работе областные работники относятся без должного почтения и интереса; сегодня, казалось, даже обычная сутулость его как будто исчезла, голос, движения стали уверенны и деловиты. Два пария несли за ним плакаты: «Устройство гранаты», «Винтовка», «Ручной пулемёт».

— Журавлёв уже утвердил, — сказал осоавиахимовец, показывая плакаты Барулину.

— Тогда их прямо в типографию, — ответил Барулин. — Я сейчас дам команду директору типографии.

— Только срочно, для полков ополчения, пока в поле не вышли, — сказал осоавиахимовец, — а то в прошлом году я месяц бился, пока напечатали сто плакатов, учебники печатали.

— Не задержит типография, — сказал Барулин, — вне всяких очередей, по законам военного времени.

Председатель Осоавиахима, сворачивая плакаты, пошёл со своей свитой, оглядел рассеянным взором Степана Фёдоровича: «Знаешь, брат, хоть я тебя помню, но не до тебя мне сейчас».

А телефоны звонили непрерывно.

То к Сталинграду подошла война! Звонили из Политуправления штаба фронта, звонил начальник зенитной обороны города, звонил начальник штаба бригад, работавших по подготовке укреплений, звонил командир ополченского полка, звонили из управления госпиталей, из управления снабжения горючим, звонил военный корреспондент газеты «Известиям, звонили директора, приятели Степана Фёдоровича, один про изводил тяжёлые минометы, второй — бутылки с горючей жидкостью, звонил начальник военизированной пожарной охраны завода. Да, вот здесь, в этой давно знакомой приёмной, Степан Фёдорович ощутил по-настоящему, что война подходила к Волге.

Сейчас приёмная в обкоме напоминала заводскую контору. Такой шум бывал всегда у дверей Спиридоновского кабинета: волновались снабженцы, цеховые начальники, мастера, звонили из котельной, шумел представитель треста, толкался всегда чем-то недовольный шофёр директорской легковушки. То и дело входили возбуждённые люди: пар падает, напряжение упало, скандалит раздосадованный абонент, машинист зазевался, контролёр просмотрел — и всё это с утра до ночи, с шумом, звоном внутренних и городских телефонов.

Спиридонов знал примеры другого стиля в работе. В Москве его несколько раз принимал нарком. Его удивляла и восхищала после отрывочных разговоров в учрежденческих комнатах, перебиваемых телефонными звонками и шёпотом сотрудниц о последних событиях в буфете, спокойная обстановка наркомовской приёмной и кабинета.

Нарком долго расспрашивал, разговаривал с ним подробно и неторопливо, словно у него не было важнее забот, чем обстоятельства работы Сталгрэса. Спокойной и немногочисленной обычно была приёмная секретаря обкома. А он ведь отвечал перед партией и государством за десятки сталинградских предприятий, за урожаи, за речной транспорт... Но в этот день Степан Фёдорович видел, как вихрь войны ворвался в строгие, спокойные комнаты. События войны толпой входили в двери обкома. В тех районах, где прошлой весной по мирному плану осваивались новые земли, закладывались электростанции, стрились школы, мельницы, где составлялись сводки ремонта тракторов и сводки пахоты, где с размеренной точностью готовились для обкома данные о ходе сева, — сегодня рушились

дома и мосты, горел заскирдованный хлеб, ревел, метался скот, исполосованный очередями «мессершмиттов».

Тут, в эти минуты, Степан Фёдорович всем существом чувствовал, что волновавшие и мучившие его события войны становятся событиями сегодняшней судьбы его семьи, жены, дочери, близких товарищей, улиц и домов его города, его турбин и моторов. Они, эти события, уже не в сводках, не в газетных статьях, не в рассказах приехавших оттуда, они сегодня — жизнь и смерть.

К нему подошёл работник облисполкома Филиппов. Он, как и все, надел военную гимнастерку, на боку у него был револьвер.

Филиппов полтора года сердился на Степана Фёдоровича за то, что тот отказался дать ток для одного опекаемого Филипповым строительства. При встречах они обычно едва здоровались, а на пленумах Филиппов неодобрительно отзывался о руководстве Сталгрэса: «Все крохоборством занимаются». Степан Фёдорович говорил среди товарищей:

— Да, имею я в лице Филиппова постоянную поддержку, чуть через него не получил строгача.

Сейчас Филиппов, подойдя к нему, сказал:

— А, Стёпа, здорово, как живёшь? — и стал трясти ему руку. И они оба взволновались и растрогались, поняв, как мала была их пустая вражда перед лицом великой беды. Какие пустяки мешали иногда людям!

Филиппов кивнул в сторону двери и спросил:

— Скоро тебе? А то пошли в буфет, пиво Жилкин хорошее привёз, и осетрина хорошая.

— С удовольствием, — сказал Степан Фёдорович, — я раньше назначенного часа приехал.

Они зашли в буфет для сотрудников обкома.

— Да, брат, — сказал Филиппов, — такое дело, сегодня в сводке немцы заняли Верхне-Курмоярскую, моя родная станица, там родился, там в комсомол вступил и вот, понимаешь... Ты родом не сталинградец, кажется, ярославский?

— Сегодня мы все сталинградские, — сказал Степан Фёдорович.

— Это правильно, — согласился Филиппов и повторил понравившиеся ему слова: — Да, сегодня мы все сталинградские. Сводка плохая сегодня.

Какими близкими казались Степану Фёдоровичу люди. Вокруг — товарищи его, все свои, свой круг. Через буфет прошёл заведующий военным отделом, лысый пятидесятилетний человек. Филиппов сказал ему:

— Михайлов, пивка?

В мирное время Михайлов не был отягощён работой. О нём бессонные люди, кряхтевшие от напряжения во время выполнения производственных, посевных и уборочных планов, с усмешкой говорили:

— Да, Михайлов первым идёт обедать. Но сегодня Михайлов сказал:

— Какое там, вторую ночь не сплю, только что из Карповки, через сорок минут на заводы еду, в два часа ночи докладывать буду.

Степан Фёдорович сказал:

— Вот и Михайлову аврал пришёл.

— Майором стал, две шпалы нацепил, — сказал Филиппов — Вчера только присвсил и звание.

Как Степану Фёдоровичу были близки все люди вокруг, близки с достоинствами и с недостатками, — близки, понятны, дороги! Он всегда был сердечным и компанейским человеком, любил и помнил всех своих прежних товарищей и земляков — и парнишек слесарей, и рабфаковцев, и студентов-практикантов, всегда осуждал зазнаек-карьеристов, гнушавшихся встреч с друзьями и сверстниками прошедшей скромной поры и искавших высоких знакомств.

И сейчас он чувствовал нежность ко всему миру своему и к вышедшим в большие

люди, и к тем, чья жизнь сложилась скромно...

А рядом возникло другое чувство — надвинувшейся чужой, враждебной силы, ненавидевшей тяжёлой ненавистью весь мир, который он так любил, — и заводы, и города, и друзей его, и сверстников, и родных, и старуху буфетчицу, заботливо подносившую ему в эту минуту розовую бумажную салфетку.

Но у него не было слов и не было времени рассказать об этих чувствах Филиппову.

— Эх, Филиппов, Филиппов, — сказал он, — давай пойдём, время.

Они вернулись в приёмную, и Спиридонов спросил у Барулина?

— Как там моя очередь к Пряхину, будто подходит?

— Придётся подождать, товарищ Спиридонов, перед вами Марк Семёнович пройдёт.

— Почему так? — спросил Степан Фёдорович.

— Я тут не при чем, товарищ Спиридонов.

Голос у Барулина был безразличный, и назвал он Степана Фёдоровича не по имени-отчеству, как обычно, а по фамилии.

Спиридонов знал тонкую способность Барулина отличать самых важных посетителей от просто важных, просто важных от обычных, а обычных делить на срочно нужных, нужных но не срочно, и могущих посидеть. Соответственно этому, Барулин одного провожал прямо в кабинет, о втором доклады вал сразу, третьего просил подождать, и уж с ожидающими был разный разговор: одного спросит о школьных отметках детей, другого — о делах, третьему улыбнётся и подмигнет, четвёртую ни о чём не спросит, углубившись в бумаги, а пятому скажет с укоризной?

— Здесь, товарищ, курить не следует.

Степан Фёдорович понял, что из важных он попал сегодня в обыкновенные, но он не рассердился, а, наоборот, подумал «Хороший Барулин парень, и ведь день и ночь, день и ночь!»

Когда Степан Фёдорович вошел в комнату Пряхина, то с первых же секунд почувствовал, что Пряхин остался таким же, каким и был.

Вся внешность его, и кивок головы, и одновременно рек сеянный и внимательный взгляд, брошенный на Спиридонова и то, как он положил карандаш на чернильный прибор, готовясь слушать, — всё было неизменно. Его голос и движения выражали уверенность и спокойствие.

Он часто напоминал людям о государстве, и когда директора заводов или директора совхозов жаловались ему на трудности, на сложность выполнения к сроку программы, он говорил.

— Государству нужен металл, государство не спросит, легко или трудно.

Людям, глядящим на его сутулящиеся большие плечи, широкий упрямый лоб, внимательные, умные глаза, казалось — так вот оно и говорит его устами, наше государство. Десятки людей, начальники и директора, чувствовали его руку, порой она была жестка и тяжела, а крепка она была неизменно.

Он знал не только работу, которую делали люди, но знал и жизнь этих людей и бывало во время заседания, где речь шла о планах, цифрах, тоннах, процентах, усмехаясь, спрашивал: «Ну как, снова ездил рыбу ловить?» или «Что, всё еще с женой ссоришься?»

Когда Спиридонов входил в кабинет, ему на мгновение подумалось, что Пряхин, расстроенный и взволнованный, подойдет к нему, обнимет за плечи и скажет?

— Да, брат ты мой, пришло тяжёлое время... А помнишь, как было, когда я в райкоме...

Но Пряхин был по-обычному деловит и суров, и оказалось, это не огорчило, а утешило и успокоило о Спиридонова: государство по-прежнему было спокойно, уверенно и совершенно не склонно к лирическим слабостям.

На стенах кабинета, где обычно висели таблицы, диаграммы выпуска тракторов и стали, ныне была повешена большая карта войны. На этой карте обширное пространство Сталинградской области не напоминало о пшенице, садах, огородах, мельницах — все оно было иссечено линиями дальних и ближних оборонительных обводов, противотанковых

рвов, бетонных и дерево-земляных оборонительных сооружений.

На длинном, накрытом красным сукном столе, где обычно размещались слитки стали, банки с пшеницей, титанические огурцы и помидоры, выращенные на огородах Ахтубинской поймы, ныне лежали рубашки гранат, запалы, ударники, сапёрная лопатка, автомат, щипцы, нужные при тушении зажигательных бомб, все это была новая продукция местной промышленности.

Степан Фёдорович коротко рассказал о работе станции. Он сказал, что если продолжать пользоваться низкокачественным топливом, придется месяца через три остановить часть хозяйства на ремонт. Он говорил вещи совершенно справедливые с инженерской точки зрения.

Он знал, как восхищали Пряхина турбины Сталгрэса; приезжая на станцию, он подолгу осматривал машинный зал, расспрашивал машинистов и старших монтеров, любовался особо сложными и совершенными агрегатами. Однажды, стоя перед мраморными досками щитов, среди красных и голубых огоньков, откуда устремлялись молниеносные реки электричества в город, к Тракторному, «Баррикадам», «Красному Октябрю», судоверфи, он сказал Степану Федоровичу:

— Шапку снять тянет Величавое дело!

Степан Фёдорович сказал, что запасы высококачественного топлива находятся в Светлом Яре и он берётся, если будет разрешение, перебросить его на Сталгрэс своими средствами. Это топливо предназначалось для Котельникова и Зимовников, но теперь... Ему казалось, что Пряхин поддержит эту мысль. Но Пряхин, слушая его, отрицательно покачал головой.

— Хозяйственный человек Спиридонов собрался из сложившейся военной обстановки извлечь выгоду для станции. У государства своя линия, у Спиридонова — своя.

Он сказал эти слова с осуждением и мгновение молча смотрел на край стола.

Спиридонов понял, что сейчас он узнает, для чего его вызвали, — новая будет задача.

— Так, — сказал Пряхин — Наркомат представил известный вам план демонтажа Сталгрэса. Городской комитет обороны просил меня поставить вас в известность вот о чём котлы и турбины практически невозможно демонтировать. Работать вы будете до последней возможности, но нужно параллельно подготовить к взрыву турбины, котельную, масляный трансформатор. Понятно?

Степан Фёдорович почувствовал тоску. Мысли об эвакуации он считал непатриотическими, и разговоры о том, что семья должна уехать из Сталинграда, он вёл на службе лишь с самыми близкими людьми, вполголоса, чтобы не распространять тревожных слухов. У него имелся в сейфе утверждённый план эвакуации Сталгрэса, но этот документ казался ему «теоретическим». Когда инженеры заводили с ним разговор об эвакуации, он сердито говорил:

— Бросьте наводить панику, занимайтесь своим делом.

Всю свою жизнь он был оптимистом. Когда началась война, он не верил, что отступление будет длительным: вот-вот остановят, казалось ему.

Последнее время ему представлялось, что в Сталинграде дело сложится лучше, чем в Ленинграде, где немцы кольцом окружили город; здесь, он считал, их остановят на ближних обводах. Конечно, налёты будут, будет даже обстрел из дальнобойных орудий. После разговоров с военными и беженцами его охватывали сомнения, но он раздражался, когда в семье начинались тревожные разговоры. Но сейчас речь шла не об эвакуации, не о боях на подступах к городу — надо было подготовить к взрыву Сталгрэс! Это говорили ему в Сталинградском обкоме!

И, потрясённый, он спросил:

— Иван Павлович, неужто так плохо?

Их глаза встретились, и Степану Фёдоровичу показалось, что лицо, которое он всегда видел спокойным и уверенным, вдруг исказилось волнением и мукой.

Пряхин взял с чернильного прибора карандаш и сделал пометку на листке настольного

календаря.

— Вот что, товарищ Спиридонов, — сказал он, — для нас с вами взрывать дело новое, мы двадцать пять лет стрсил и, а не взрывали. Сегодня по такому же делу был дан инструктаж заводам. Вы сюда на своей машине приехали?

— На своей.

— Поезжайте на Тракторный, там будет совещание по этому вопросу, и захватите двух военных товарищей — саперов и, пожалуй, Михайлова захватите.

— Трёх не смогу, рессоры не держат, — ответил Степан Фёдорович и подумал, что сейчас из обкома позвонит на службу жене; она уже несколько дней просила у него машину, чтобы поехать на Тракторный, в детский дом. Он подвезет её и по дороге поговорит с ней о серьёзности обстановки.

— Ладно, Михайлов на обкомовской поедет, — сказал Пряхин приподнимаясь. Помните, что работать вы должны так, как никогда не работали, а этот вот разговор и это дело есть государственная тайна, и к вашей текущей работе оно никакого отношения не имеет.

Мгновение Степан Фёдорович колебался, ему хотелось спросить об эвакуации семей.

Оба встали.

— Вот видите, товарищ Спиридонов, вы в райкоме со мной прощаться вздумали, а мы продолжаем с вами встречаться, — тихо сказал Пряхин и грустно улыбнулся.

Потом обычным голосом он произнёс:

— Есть вопросы?

— Нет, как будто всё понятно, — ответил Спиридонов.

— Подготовьте получше свой подземный командный пункт, бомбить вас крепко будут, в этом сомневаться не приходится, — сказал ему вслед Пряхин.

Когда машина остановилась у подъезда детского дома, Степан Фёдорович сказал жене:

— Вот и подбросил тебя, часика через два, после заседания, заеду, — и, оглянувшись на своих спутников, понизив голос, добавил: — Нужно поговорить об исключительно важном деле.

Мария Николаевна вышла из машины раскрасневшаяся, с весёлыми глазами, ее развлекла быстрая езда, а ехавшие с мужем на заседание военные все шутили, и их шутки смешили её.

Но когда она подошла к двери и услышала гул детских голосов, лицо её стало озабоченно и серьёзно.

В работе заведующей детским домом Токаревой имелись упущения и неполадки. Дом был большой и, как говорили в гороно, «тяжёлый» — пёстрый возрастной состав ребят, пестротой отличался и национальный состав: некоторые дети плохо знали русский язык — две девочки казашки знали лишь несколько русских слов, еврейский мальчик из сельской артели говорил по-еврейски и по-украински, девочка-полька из Кобринина совсем не знала по-русски. Многие дети попали в дом во время войны, потеряв родителей, пережив ужасы бомбёжек; они были очень нервны, а одного ребёнка врач признал психически ненормальным. Токаревой предлагали отправить его в психиатрическую лечебницу, но она отказалась.

В гороно поступали жалобы или, как говорилось, «конкретные сигналы» по поводу того, что персонал не всегда справляется со своей работой, замечены были нарушения трудовой дисциплины.

Когда Мария Николаевна, уже уложив бумаги в портфель, выходила из своего кабинета, чтобы сесть в машину, её в коридоре нагнал заместитель заведующей гороно и передал ей только что полученное им письмо? заявление двух сотрудников детдома о недостойном поведении одной из нянек и о том, что заведующая Елизавета Савельевна Токарева, вопреки сигналам общественности, отказалась уволить её. Эта нянька, Соколова, однажды была нетрезвой и в этом состоянии пела и плакала, а дважды в её комнате ночевал водитель автомашины, приехавший к ней на трёхтонном грузовике.

Во всех этих делах предстояло разобраться Марии Николаевне, и она заранее вздыхала и хмурилась, готовя себя к тяжёлому, неприятному не только для Токаревой, но и для неё самой разговору.

Она вошла в просторную комнату, украшенную рисунками детей, и попросила дежурную няню позвать Токареву. Дежурная, девушка лет двадцати, поспешно пошла к двери, и Мария Николаевна, оглядев её, неодобрительно покачала головой, ей не понравилась причёска девушки с чёлкой на лбу.

Она медленно прошла вдоль стены, разглядывая детские рисунки. На одном был изображён воздушный бой: чёрные немецкие самолёты сыпались с неба, охваченные чёрным дымом и чёрным пламенем, среди них плыли огромные советские машины на красных крыльях и красных фюзеляжах выделялись нарисованные особо густой красной краской пятиконечные звезды. Лица советских лётчиков тоже были прочерчены красным карандашом.

На другом рисунке происходило сухопутное сражение: огромные красные пушки, изрыгая красное пламя, выбрасывали красные снаряды; среди взрывов, поднимавшихся иногда выше летевших в небе самолётов, гибли фашистские солдаты, в небе парили головы, руки, каски и большое количество немецких сапог. На третьем рисунке шли в атаку великаны красноармейцы, в могучих руках они держали наганы, размерами превышавшие чёрные немецкие пушечки.

Отдельно в раме висела большая картина, писанная акварельными красками: молодые партизаны в лесу. Художник, очевидно, из группы старших детей, бесспорно обладал дарованием. Пушистые берёзки, освещённые солнцем, нарисованы были превосходно. У девушек-партизанок, шедших по лесу, были стройные фигуры, загорелые колени, икры были тщательно и любовно выписаны, чувствовалось, что живописец уже хорошо знал свой предмет. Мария Николаевна подумала о дочери? ведь и она становится взрослой, и на неё парни смотрят вот такими глазами, как этот молодой художник. Парни-партизаны были румяные, ладные, с голубыми глазами. И у девушек были миндалевидные глаза, чистые и прозрачные, как небо над их головой. У одной девушки волосы волнами падали по плечам, у другой сложенные косы лежали вокруг лба, у третьей был веночек из белых цветов. Хотя картина понравилась Марусе, она заметила в ней один недостаток: у некоторых юношей и у девушек были уж очень схожи лица, нарисованные в профиль, с одним и тем же поворотом; очевидно, художник пририсовывал пленившее его лицо с прекрасными, устремлёнными ввысь глазами то к девичьему, то к юношескому телу, а затем уж украшал его косами или кудрями. Но всё же, несмотря на этот серьёзный недостаток, картина волновала и восхищала — в ней очень хорошо было выражено идеальное и чистое, благородное и ясное чувство.

Глядя на этот рисунок, Мария Николаевна вспомнила свои споры с Женей; конечно, она, а не Женя, права в этих спорах. Женя ведь рисует то, что нужно и интересно ей, а здесь нарисовано то, что нужно и важно всем.

Вошла заведующая Елизавета Савельевна — толстая, седая женщина с сердитым лицом. Она много лет была работницей на хлебозаводе, потом выдвинулась как общественница, работала в райкоме. Ей предложили работать заместителем директора на том заводе, где она когда-то была хлебомесом. Дело у неё не пошло, она не умела проявлять директорскую власть. Через месяц её сняли и назначили заведовать детским домом, и, хотя она перед этим окончила специальные курсы и работа эта ей нравилась, кое-что у неё и здесь не клеилось. Постоянно к ней приезжали инспектора, однажды ей вынесли выговор, а с месяц назад её вызывали в райком ко второму секретарю.

Мария Николаевна пожала руку Токаревой и сказала, что приехала по кляузным делам.

Они прошли по недавно вымытому прохладному коридору, пахнущему приятной сыростью.

Из за закрытой двери слышалось хоровое пение. Токарева, искоса поглядев на Марию Николаевну, объяснила:

— Это самая младшая группа, грамоте их учить рано, мы их пением занимаем.

Мария Николаевна приоткрыла дверь и увидела стоявших полукругом девочек.

В другой комнате сидел за столом курносый краснощёкий мальчик лет пяти и рисовал в тетрадке цветным карандашом. Он хмуро посмотрел на Токареву и отвернулся от неё, продолжая рисовать, сердито выпятив губы.

— Почему он тут один? — спросила Мария Николаевна.

— Озорничал, — ответила Токарева и громко, серьёзно добавила — Это Валентин Кузин. Он нарисовал себе чернильным карандашом на голом животе свастику.

— Какой ужас, — сказала Мария Николаевна. И, выйдя в коридор, рассмеялась.

У Токаревой, видимо, была слабость к занавесочкам и накидочкам. Они белели в её комнате и на окне, и на столе, и на кровати, и возле рукомошника. Над кроватью веером были повешены семейные фотографии — пожилые женщины в платочках, мужчины в чёрных рубашках с светлыми пуговицами. Тут же висели групповые снимки видимо, курсы партактива, стахановцы хлебозавода.

Сев за стол, Мария Николаевна раскрыла портфель, вынула пачку бумаг. Первый вопрос касался помощницы кладовщика Сухоноговой. Одна из воспитательниц случайно проходила мимо дома Сухоноговой и увидела, что мальчишка этой Сухоноговой щеголяет в детдомовских ботинках.

— Почему вы до сих пор не приняли мер? — спросила Мария Николаевна — Ведь заявление об этом давно сделано.

Токарева, не глядя на Марию Николаевну, ответила:

— Я расследовала подробно и к ней на дом ходила. Это не кража, действительно её мальчишка развалил сапоги и в конце зимы не мог в школу ходить, то коньки, то лыжи. Она сдала сапоги в починку, а ботинки взяла на два дня только, она эти ботинки обратно сдала, без износу, когда из ремонта сапоги вернули. А она говорит — то коньки, то лыжи, не заставишь дома сидеть. Ну и развалил сапоги. А ордеров в это время у меня не было. И ведь война и мужа с первых дней в армию взяли.

Мария Николаевна отлично понимала доводы Токаревой.

— Ох, — сказала она, — милый друг, я не спору, что Сухоногова нуждается, но ведь это не повод, чтобы заимообразно брать ботинки из кладовой. Вы говорите война, да, вот именно война: теперь, как никогда, свята каждая государственная копейка, каждый кусок угля, каждый гвоздь... — Она на мгновение запнулась и тотчас, рассердившись сама на себя, продолжала: Подумайте, какие страдания переносит народ, какие реки крови льются в борьбе за советскую землю. Неужели вы не понимаете: нет места для рассусоливания в эти дни. Да я родную дочь покарала бы суровейшим образом, соверши она малейший проступок. Сделайте из нашей беседы соответствующий вывод, не тяните волынку.

— Я сделаю, конечно, сделаю, — сказала со вздохом Токарева и вдруг спросила — А как же насчёт эвакуации? Вопрос этот не понравился Марии Николаевне.

— Об этом, — сказала она, — вас известят.

— А дети сами говорят, — извиняющимся тоном проговорила Токарева — Ведь пережили сколько, одних бойцы подобрали, на машинах привезли, других беженцы подхватили, третьи сами кое-как приплелись. Ночью, когда самолёты летают, они лучше взрослых различают, какие немецкие, какие наши.

— Да, кстати, — сказала Мария Николаевна, — как Слава Берёзкин, которого я к вам определила? Мать просила узнать о нём.

— Не очень хорошо, он последние дни простужен. Вы сами с ним поговорите, пройдёте в стационар.

— Попозже, когда кончим дела.

Мария Николаевна стала расспрашивать о чрезвычайных происшествиях в детском доме; их оказалось немного.

Один паренёк подрался с товарищем во время игры в футбол — наставил ему синяков. Второй, хорошо успевавший в занятиях, был встречен воспитательницей на толкучке, где он выпрашивал деньги на кино. Когда его стали расспрашивать, оказалось, что он деньги не

тратил на кино, а копил их на чёрный день.

— А если детский дом разбомбят немцы, куда я тогда денусь? — сказал он.

Елизавета Савельевна к событиям такого рода относилась спокойно.

— Дети хорошие, — сказала она решительно. — В проступках раскаиваются, если пристыдить и объяснить. Подавляющее большинство честные, славные. Советские дети! Тут, между прочим, наций у меня с войны целый интернационал, раньше были только русские, а теперь стали прибывать с Украины и Белоруссии, и цыгане, и молдаване, и кто только хотите; и я даже сама удивилась, как дружно живут, никакого различия между собой не делают. А если иногда и подерутся, то на то они и ребята. На футболе это и не с детьми случается. Даже сплочение у них какое-то получилось: и русские, и украинцы, и армяне, и белорусы, а хор один...

— Это чудесно, — убеждённо сказала Мария Николаевна и вдруг взволновалась, — просто замечательно то, что вы рассказываете...

Она знала в себе это счастливое волнение — оно приходило каждый раз, когда жизнь сливалась с её представлением об идеале, с её верой. Слезы выступали у неё на глазах, дыхание становилось быстрым и горячим. Большого счастья она, казалось ей, не знала. Ни в семье, ни в своей любви к дочери и мужу она не испытывала большего счастья, чем в такие минуты. Поэтому она сердилась и оскорблялась, когда Женя, ничего не понимая, рассуждала о сухости её характера.

Она ехала в детский дом, предвидя неприятные, тяжёлые разговоры, ей было нелегко требовать чьего-то увольнения, выносить выговоры. Этого требовал долг, необходимость, целесообразность. Она потому и бывала в таких случаях так непреклонна, казалась прокурорски суровой и сухой, что усилием воли подавляла в самой себе нелюбовь к суровости...

Но она совершенно не предполагала, отправляясь в эту неприятную ей инспекторскую поездку, что несколько раз радостное чувство охватит ей: и при взгляде на работу мальчика художника, и от рассказа заведующей о детях...

Деловой разговор подходил к концу. Марии Николаевне стало очевидно, что греха семейственности, который в Токаревой подозревали, совершенно не было. Наоборот, Токарева недавно уволила сестру-хозяйку, родственницу одного работника райсовета. Эта сестра хозяйка велела готовить для себя особый обед, используя диетические продукты, которые берегли для больных детей.

Елизавета Савельевна сделала ей предупреждение, но та решила, что заведующая сердится, почему и ей не готовят такого улучшенного обеда, и велела готовить обед на двоих. Токарева уволила её.

Заканчивая деловую часть разговора, Мария Николаевна перебирала в уме всё то положительное, что она видела: чистоту помещений и постельного белья, любовное отношение к детям, высокую калорийность пищи, превышавшую среднюю калорийность по другим детским домам города...

«Надо ей подыскать заместителя покрепче, снимать не нужно», — думала она, делая пометки в общей тетрадке и представляя свой разговор с заведующим облоно.

— Да, кто это у вас нарисовал партизан? Художественно одарённый ребенок, сказала она — Эту картину следует показать товарищам, в Куйбышев в Наркомпрос послать.

Токарева покраснела, точно похвала эта относилась к ней самой. Она так и говорила обычно: «У меня снова неприятность случилась А у меня сегодня весёлый случай был...» и относилась «я», «меня», «со мной» к хорошим или, наоборот, дурным поступкам, болезням и выздоровлениям детей.

— Этот рисунок сделала одна девочка, — сказала она, — Шура Бушуева.

— Эвакуированная?

— Нет, она местная, камышинская. Просто так, из головы. А те, из фронтовой полосы, тоже рисуют, но я их рисунки не велела вывешивать: очень уж тяжёлое всё убитые да пожары; поверите, просто невозможно смотреть.

Они прошли по коридору и вышли на внутренний двор. Мария Николаевна зажмурилась от яркого солнца и прикрыла на мгновение уши руками — такой звенящий и разноголосый весёлый шум стоял в воздухе. Двенадцатилетние футболисты в майках, с отчаянными лицами, поднимая облака пыли, гоняли мяч. Вихрастый вратарь в синих лыжных штанах, пригнувшись, упёршись ладонями в колени, следил за движением мяча, и не только лицо, полуоткрытый рот, глаза его, но и руки, плечи, ноги, шея выражали, что в эти минуты в мире нет ничего более важного, чем игра в мяч, чем счастье быть весёлым, поворотливым мальчиком.

Ребята поменьше, вооружённые деревянными ружьями и фанерными мечами, бежали вдоль забора, а навстречу им мерным строем шёл отряд в треуголках, сделанных из газетной бумаги.

Девочка, быстро и легко перебирая ногами, прыгала через верёвочку, которую крутили две её подруги, а ожидавшие очереди жадно следили за прыгающей и беззвучно шевелили губами, отсчитывая, сколько раз ей удалось прыгнуть.

— За них-то и идёт война, — сказала Мария Николаевна.

— Наши дети, я думаю, самые лучшие в мире, — убежденно проговорила Токарева. — Тут у меня есть мальчики, героями были, вот этот, видите, в воротах стоит, футболист — Котов Семён, он в военной части разведчиком был, немцы его поймали, били, ни слова не сказал, все рвётся опять на фронт... Или вот эти, посмотрите.

По двору шли две девочки в синих платьицах, одна светлая, другая загорелая, с живыми, тёмными глазами, держа в руках матерчатую куклу, склонив к кукле голову, девочка слушала, что говорила подруга. Та говорила быстро, решительно, и, хотя слов её разобрать нельзя было, казалось, она сердилась.

— Вот с утра и до вечера не различаются, их в один день привезли из приёмника, — сказала Токарева. — Светленькая — сирота, еврейка из Польши, у неё всех родных Гитлер вырезал, а эта, что куклу держит, немцев колонистов дочка.

Они вошли во флигель, где находились мастерские и стационар Токарева показала Марии Николаевне мастерскую, большую полутёмную комнату с той прохладной сыростью воздуха, которая бывает так приятна душным летним днём в старинных зданиях с толстыми каменными стенами. В мастерской было пусто, только у крайнего стола мальчик лет тринадцати глядел в полую латунную трубку и сердито оглянулся на вошедших.

— Зинюк, — спросила Токарева, — что же ты один остался, а футбол?

— А я не хочу, у меня пращи багато, на що мени гулянки, — ответил он и снова заглянул в трубку.

— Моя академия, — сказала Токарева, — вот Зинюк, всё просится на завод работать, тут у меня и конструкторы, и механики, и самолёты строят, и стихи пишут, и картины рисуют... — И совершенно некстати тихо закончила: — Жуткое дело...

Пройдя через мастерскую, они вышли в коридор.

— Вот сюда, здесь стационар, — сказала Токарева. — Тут, кроме Берёзкина, лежит мальчик-украинец, которого мы немым считали, молчит и молчит, что ни спросишь, молчит. Мы решили, он немой, а одна наша нянька, верней уборщица, взяла его к себе, подход у неё есть, он вдруг и стал говорить.

В маленькой комнатке пятна солнечного света ползли по стене, тёплой белизной своей выделяясь на шершавой побелке, на столике в пузатой банке стояли степные летние цветы, а пятно развёрнутого стеклом спектра дрожало на скатёрке, воздушной чистотой красок затмевая зелень трав, желтизну и синеву цветов, выросших на пыльной степной земле.

— Ты узнаёшь меня, детка? — спросила Мария Николаевна, подходя к кровати Славы Берёзкина. Он походил на мать лицом и цветом глаз.

И выражение его грустных глаз напоминало ее глаза.

Мальчик внимательно поглядел и сказал:

— Здравствуйте, тётя, я вас узнал.

Мария Николаевна не умела разговаривать с маленькими, никак не находила нужного

тона — то с шестилетними говорила, как с трёхлетними, то, наоборот, уж слишком серьёзно. Дети иногда сами поправляли её, объясняли: «Мы уж не маленькие», либо начинали зевать и переспрашивать, когда она с маленькими говорила, как со взрослыми, произносила непонятные слова. Сейчас, в присутствии Токаревой, после тяжёлых разговоров, ей хотелось быть особенно сердечной, чтобы заведующая не считала её чёрствым человеком. Улыбаясь, она спросила:

— Ну, как тут, ласточки к вам не залетают в окошко? Мальчик покачал головой и спросил:

— От папы нет писем?

Мария Николаевна, поняв свой неверный тон, поспешно ответила:

— Нет, пока еще нет, никто не знает его адреса, а мама очень скучает по тебе, она просила тебе кланяться.

— Спасибо, а Люба что? — он подумал и добавил: — Мне тут хорошо, пусть мама не беспокоится.

— У тебя есть товарищи?

Он кивнул и, не ожидая утешения от взрослых, а сам желая их успокоить, сказал:

— Я не серьёзно болен, сестра обещала через два дня меня выписать.

Он не просил взять его из детского дома, так как знал, что матери тяжело живётся; не просил мать приехать к нему, так как знал, что она работает и не может потерять целый день на такую поездку; он не спросил, прислала ли ему мать в подарок сладенького, так как знал, что у неё нет ничего сладенького.

— Что же передать маме? — спросила Маруся.

— Скажите, что мне хорошо, — сурово сказал он. Маруся, прощаясь с ним, погладила его по мягким волосам, по худому теплому затылку.

— Тётя! — вдруг вскрикнул он. — Пусть мама возьмёт меня домой! — и его глаза наполнились слезами. — Тетя, скажите, я буду ей во всем помогать, и кушать буду совсем, совсем немножко, и в очередь ходить.

— Даю тебе честное слово, деточка, при первой возможности мама возьмет тебя, поверь мне, — волнуясь, сказала она.

Токарева позвала ее за перегородку, подвела к стоявшей у окна кровати, черноглазая молодая женщина в белом халате кормила с ложечки стриженного под машинку мальчика. Когда она подносила ложечку ко рту мальчика, ее смуглая красивая рука обнажалась выше локтя.

— Это и есть Гриша Серпокрыл, — сказала Токарева.

Маруся посмотрела на мальчика, он был некрасив, с большими мясистыми ушами, с шишковатым черепом, с синевато-серыми губами. Он с усилием, покорно заглатывал кашу, комок судорожно перекатывался у него в горле. Болезненно не естественным казалось несоответствие между его серой, бледной кожей и блестящими, горячими глазами. Такие лихорадочные глаза бывают у раненых.

У отца Гриши Серпокрыла на глазу было бельмо, и поэтому его не взяли на войну. Как-то в начале войны заезжий командир хотел переночевать у них, оглядел хату, покачал головой и сказал «Ну нет, пойду поищу попросторней», но для Гриши эта хата была лучше всех дворцов и храмов земли. В этой хате его, большеухого, застенчивого, любили. Прихрамывающая мать подходила, припадая на короткую ногу, к печке и прикрывала его кожухом, отец утирал ему нос своей шершавой ладонью. В год войны, на пасху, мать испекла ему в консервной баночке куличик и дала крашенку, а отец перед майским праздником привёз ему из райцентра жёлтый ремешок с белой пряжкой.

Он знал, что над хромотой матери посмеиваются деревенские ребята, и поэтому чувство к ней было особенно сильно. На Первое мая отец и мать нарядились, пошли в гости и его взяли с собой; он шёл, гордясь ими и собой, своим новым ремешком. Отец казался ему важным, сильным, мать нарядной и красивой. Он сказал:

— Ой, маму, ой, тату, яки вы гарни, яки чепурни, — и вдруг увидел, как переглянулись

отец с матерью, как мило и смущенно учыбнулись ему. Кто знал в мире, как неистово нежно любил он их. Он видел их после воздушного налёта они лежали, прикрытые обгоревшим рядом, острый нос отца, белая серёжка в ухе матери, прядь её реденьких светлых волос — и навсегда в его мозгу соединились мать и отец, то лежащие рядом, мёртвые, то мило и смущённо переглянувшиеся, когда он восхитился отцом в новых сапогах и в новом пиджаке, мать в коричневом накрахмаленном платье с белым платочком, с ниточкой намиста...

Он не мог никому высказать свою боль, да и сам он не мог понять её, но она была нестерпима; эти мёртвые тела и эти смущённые, милые лица в день прошлогоднего майского праздника, связанные в его маленьком сердце одним узлом. В мозгу его помутилось. Ему начало казаться — именно оттого и жжёт боль, что он двигается, произносит слова, жуёт, глотает, и он замер, скованный помутившим его ум страданием. Он бы, наверно, и умер так, молча, отказываясь от еды, убитый ужасом, который стали ему внушать свет, беготня и разговоры детей, крик птиц, ветер. Воспитательницы и педагоги, когда его привезли в детский дом, ничего не могли с ним поделать: не помогали ни книжки, ни картинки, ни рисовая каша с абрикосовым джемом, ни щегол в клетке. Докторша велела взять его в лечебницу, где его бы начали искусственно питать.

Вечером, накануне отправки в лечебницу, в изолятор зашла няня, ей надо было помыть пол, она долго молча смотрела на мальчика — и вдруг опустилась на колени и, прижав его стриженую голову к груди, запричитала по-деревенски...

— Дитяtko моё, никто тебя не жалеет, никому ты не нужен.

И он закричал, забился...

Она на руках отнесла его в свою комнатку, посадила на койку и полночи просидела возле него, он говорил с ней и поел хлеба с чаем.

Мария Николаевна спросила:

— Как ты, Гриша? Привыкаешь понемногу? Он не ответил, перестал есть, и пристальный, неподвижный взор его терпеливо уставился на белую стену.

Няня отложила ложку и погладила его по голове, точно успокаивая:

— Потерпи, потерпи, сейчас эта тётка уйдёт... И действительно, Мария Николаевна, поняв их напряжённое ожидание, торопливо сказала Токаревой:

— Пойдёмте, не будем мешать.

Они снова прошли по двору, и Мария Николаевна, волнуясь, проговорила:

— Вот, поглядев на таких ребят, начинаешь осознавать весь ужас войны.

Зайдя в кабинет Токаревой, она, желая успокоиться и избавиться от тоски, которую только что испытала, строго сказала:

— Итак, давайте суммировать: дисциплина и ещё раз дисциплина. Вы сами видите: война. Никакой расхлябанности, время тяжёлое!

— Я знаю, — сказала Токарева, — но трудно работать мне, не справляюсь. Не охватываю, и знаний у меня мало. Может, лучше мне обратно хлеб пойти печь, я так иногда думаю, по правде вам скажу.

— Нет, это неверно, состояние дома мне кажется хорошим. Вот эта нянюшка, что кормила Серпокрыла, меня это глубоко тронуло. Я буду докладывать, прямо скажу, о положительных, здоровых элементах, о здоровой атмосфере, а эта все недостатки вы ведь исправите...

Ей хотелось сказать Токаревой на прощание особенно хорошие, ободряющие слова. Но её немного раздражало выражение лица Токаревой, полуоткрытый рот, точно готовый зевнуть Мария Николаевна стала собирать документы в портфель и вынула бумагу, которую дал ей заместитель заведующего перед отъездом. Покачав головой, она сказала:

— Да, вот видите, никак мы не закончим о ваших кадрах. Соколову эту самую нужно всё-таки освободить: в нетрезвом виде пела песни, кто-то к ней тут ходит по ночам. Куда же вы смотрели? Коллектив крепкий, здоровый, надо же вам понять самые элементарные вещи...

Токарева сказала:

— Правильно, но это ведь та самая, вы её видели, она Серпокрыла этого кормит, он только ее признаёт.

— Эта самая? — переспросила Мария Николаевна, не поняв, о ком идёт разговор — Эта самая? Ну и что ж? Я ведь...

Но внезапно поглядев на Токареву, она на полуслове замолчала.

Токарева быстро шагнула к Марии Николаевне и положила ей руку на плечо:

— Не волнуйтесь, это ничего, — тихо сказала она и погладила старшего инспектора по руке.

Иван Павлович Пряхин утром августовского дня 1942 года вошёл к себе в кабинет и прошёлся несколько раз от окна к двери. Он распахнул окно — и кабинет сразу наполнился шумом. То не был обычный уличный шум, очевидно, мимо проходила воинская часть: хрипел мотор, слышался топот многих ног, грохот колёс, ржание лошадей, сердитые голоса ездовых, лязганье танков, и время от времени пронзительный вой истребителя, делавшего в высоте свечу, покрывал всю пестроту земных звуков.

Пряхин, постояв несколько времени у окна, отошёл и остановился перед несгораемым шкафом в углу кабинета. Он вынул из шкафа пачку бумаг и сел к столу, нажал звонок, и тотчас же вошёл его помощник.

— Ну, как доехали? — спросил Пряхин.

— Хорошо, Иван Павлович, как переправился через Волгу, поехал правой дорогой, можно сказать, благополучно, только разок въехал в кювет, уже возле самого места, диффером машина села, без фар ведь.

— Жилкин обеспечил всё?

— Да. И место, я скажу, замечательное — вдали от железной дороги. Жилкин говорит, немец даже ни разу не летал.

— Народ собирается на совещание?

— Начали, собираются.

В это время в дверь кабинета послышался стук, и голос за дверью произнёс:

— Открывай, хозяин, открывай, солдат пришёл. Пряхин прислушался, стараясь припомнить по голосу, кто это так уверенно ведёт себя. А дверь уже открылась, и в комнату вошёл седеющий генерал, с лицом, бронзовым от загара. Это был представитель командования фронта генерал Рыжов. Он поздоровался с Пряхиным, сел в кресло и стал оглядывать кабинет, взял со стола чернильницу и, взвесив её на руке, покачал с уважением головой и осторожно поставил на место.

— Товарищ генерал, через четверть часа начнётся совещание партийных работников и директоров предприятий, мы просим вас сказать товарищам несколько слов о положении на фронте.

Генерал посмотрел на часы.

— Это можно, но весёлого мало.

— Есть ухудшения за ночь?

— У Трёхостровской противник форсировал Дон. Донесли, будто отдельные автоматчики просочились и будто их уже уничтожили. Но, думаю, не уничтожили. А с юга он крепко нажал. Полагаю, кое о чём отдельные товарищи привирают в донесениях; я их понимаю: и немцев боятся, и начальства боятся.

— То есть обвод прорвали?

— Да какой там у вас в этом месте обвод!

— Оборону стрсил и с первых месяцев войны, весь город, вся область стрсил а, вынули четверть миллиона кубометров грунта. Оборона, думается, хороша, но вот войска не сумели полностью ею воспользоваться.

— Мы держим противника в степи исключительно огнём и живой силой, — сказал генерал. — Одно хорошо: склады боеприпасов сохранили. Огнём артиллерии, вот чем мы его держим. Счастье, что боеприпасы есть. — И он снова взял чернильницу со стола, взвешивая её на руках. — Ну и махина. Оптическая вещь. Хрусталь?

— Хрусталь. Кажется, с Урала.

Генерал, наклонившись к Пряхину, мечтательно произнёс:

— Урал, осень... Охота там богатая — гуси, лебеди. А наше солдатское дело — в крови да в пыли. Эх, нам бы две дивизии пехотных, полнокровных!

— Я понимаю, но надо начать вывозить заводы, пока не поздно: «Баррикады» за сутки полк артиллерийский выпускают. Тракторный — сотни танков в месяц. Это гиганты наши. Успеем?

Генерал пожал плечами:

— Если ко мне приходит командир дивизии и говорит: «Рубеж оборонять буду, но разрешите оттянуть мой командный пункт подальше от переднего края», значит, этот человек не верит в успех, а все командиры дивизий сразу кумекают: «Ну, ясно, отходим», а от дивизий это переходит в полки, в батальоны, в роты и все уже душой чувствуют: отходить будем. Так вот и здесь. Хочешь стоять, так ты стой. Пусть ни одна машина в тыл не идёт. Не оглядывайся, иначе не устоишь. За самовольную переправу через Волгу на левый берег — расстрел!

Пряхин быстро и громко произнёс:

— Видите, там вы при неудаче рискуете потерять рубеж, высоту, сотню машин, а здесь мы имеем промышленность союзного значения. Это не обычный рубеж обороны.

— Это... — и генерал встал, — это... Россию мы обороняем на волжском рубеже, а не промышленность союзного значения!

Пряхин некоторое время молчал, а затем ответил:

— Для нас, большевиков, пока мы живы, нет последних рубежей. Последний наш рубеж, когда сердце перестаёт биться. Как ни тяжело, но считаться с положением мы обязаны. Враг перешёл Дон.

— Я об этом официального заявления не делал, сведения проверяются. — И тут же генерал наклонился к Пряхину, спросил: — Семью вывезли из Сталинграда?

— Обком готовится отправить за Волгу многие семьи, в том числе и мою.

— Очень правильно. Это не для них. Солдаты не выносят, тяжело, а дети, женщины, куда уж. На Урал! Туда он не долетит, сукин сын... Вот если допустим его до Волги, он и на Урал станет летать.

Дверь приоткрылась, и секретарь сказал:

— Директора и начальники цехов, вызванные на совещание.

И руководители хозяйственной жизни города, начальники цехов и директора заводов, партторги стали входить в кабинет, рассаживаться на стульях, диванах, креслах. Здороваясь с Пряхиным, некоторые говорили: «Спустил в цеха указания Комитета Обороны», «Вашу команду выполнил».

Пряхин поглядел на вошедшего последним директора электростанции Спиридонова и сказал ему:

— Товарищ Спиридонов, после заседания останьтесь, мне нужно вам несколько слов .сказать по частному поводу.

Спиридонов быстро, по-военному ответил:

— Есть, остаться после совещания.

Кто-то с добродушной насмешливостью проговорил:

— Наш-то, Спиридонов, — по гвардейски отвечает. Когда затих шум отодвигаемых кресел и стульев и все расселись, Пряхин сказал:

— Как будто все? Давайте начнём. Что ж, товарищи, Сталинград становится фронтовым городом. Давайте сегодня проверим, как каждый из нас подготовил свой участок работы, своих людей к новым условиям, к военным условиям. Какова готовность наших людей, наших предприятий, наших цехов? Что проделано нами по линии перехода к работе в новых условиях, по линии эвакуации наших предприятий? Здесь сейчас присутствует представитель командования генерал Рыжов. Обком просил его рассказать о положении на фронте. Прошу вас, товарищ генерал.

Рыжов усмехнулся.

— Фронт — вот он, сел на попутную полуторку — и поехал, познакомился — Он отыскал глазами своего адъютанта, стоявшего у двери, и сказал:

— Дайте мне карту, не рабочую, а ту, что корреспондентам показывали.

— Она за Волгой, разрешите слетать за ней на «У-2».

— Куда уж вам летать, вас «кукурузник» не подымет.

— Я летаю, как бог, товарищ генерал, — поддерживая шуточный тон начальника, ответил адъютант.

Но генерал нетерпеливо и раздражённо махнул в его сторону рукой.

— Пойдёмте, товарищи, вон к этой карте на стене, она для нас тоже годится.

И, как учитель географии, окружённый учениками, водя то пальцем, то карандашом по карте, он начал рассказывать.

Генерал говорил о тяжёлом положении на фронте не общими словами, а совсем особым, точным языком военного человека.

Он говорил обо всём этом не «вообще», а конкретно, потому что грозное и тяжёлое положение на заводах, в городе, на Волге было соединено и связано именно со Сталинградским фронтом.

Положение на фронте! Генерал говорил с той откровенной резкостью, которую определяла и которой требовала война. Перед жестокой действительностью могла жить одна лишь правда, такая же жестокая, как и действительность.

— Что ж, вы народ крепкий, я вас не собираюсь ни пугать, ни утешать. Правда ещё никому вреда не принесла. Положение примерно такое Северная группировка противника выходит на правый берег реки Дон; вот по этому рубежу. Это шестая армия, у неё в составе три армейских корпуса, двенадцать пехотных дивизий и танковые соединения. Тут и семьдесят девятая, и сотая, и двести девяносто пятая, мои старые знакомые... Это пехотные. Кроме того, в шестой армии две танковые дивизии и две мотодивизии. Командует этим всем делом генерал-полковник Паулюс. Успехов у него на сегодняшний день больше, чем у нас, — это вы сами понимаете. Это с севера и с запада. Теперь — с юго-запада группировка рвётся от Котельникова. Это уж не пехотная, а танковая армия, ну, её поддерживает четвёртый армейский корпус и румыны, тоже, по-видимому, до корпуса. У этой группировки, видимо, главная цель — вырваться к Красноармейску, к Сарепте. Вот они тянут сюда, на этот рубеж. По этой вот речушке Аксай удар наносят по линии железной дороги от Плодовитое. И цель у противника простая — сосредоточиться на этих рубежах, подготовиться и ударить: эти с севера и запада, а те, что от Котельникова, — с юга и юго-запада, ударять прямо на Сталинград. Будто бы Гитлер объявил, что двадцать пятого августа он в Сталинграде будет.

— А сколько у нас сил против всей этой махины? — спросил чей-то голос.

Генерал рассмеялся.

— Это вам знать не полагается. Силы есть, боеприпасов хватит. Сталинград не сдадим. — И вдруг, повернувшись к адъютанту, произнёс сдавленным голосом: Кто смел за Волгу мои вещи отправить? Чтобы нитки к вечеру за Волгой не было? Чтобы всё до последней нитки в Сталинграде было. Ясно? Невзирая на лица, беспощадно расправляюсь!

Адъютант вытянулся перед генералом. Стоявшие подле люди пытливо всматривались в лицо генерала. В это время торопливо подошёл к столу Барулин и громким, слышным всем шёпотом произнёс:

— Вас зовут к телефону.

Пряхин торопливо поднялся, проговорил:

— Товарищ генерал, Москва вызывает, давайте вместе пойдём.

Генерал пошёл следом за Пряхиным к маленькой двери.

Едва обитая чёрной клеёнкой дверь закрылась за ними, в кабинете поднялся вначале сдержанный, а затем всё более живой шум. Несколько человек подошли к карте и стали пристально рассматривать её, точно ища след, оставленный на ней пальцем генерала. Они

покачивали головами и переговаривались между собой: «Да, силёнки у немца много», «Удержат ли наши левый берег Дона, и вечная беда немцы, оказывается, на высоком берегу, а наши на луговом», «Вот и на Волге так будет», «А я уж слышал, что они имеют плацдарм на этом берегу Дона», «Если б так, тут знаете бы, что делалось», «Ох, как стал он эти немецкие дивизии перечислять, у меня прямо в сердце закололо», «Правду надо знать, не дети».

Инструктор райкома партии Марфин, маленький ростом, худой, со впалыми щеками и такими блестящими глазами, что казалось, у него высокая температура, быстро и оживлённо сказал:

— Ты, я вижу, Степан Фёдорович, в обком аккуратно приходишь, а в райкоме не любишь бывать, пряником не заманишь.

— Есть грех, товарищ Марфин. Да и дело какое тяжелое — Эвакуация. Тебе проще, товарищ Марфин: сложил учётные карточки, снял красную и зелёную материю со столов, уложил в грузовик — и поехал. А мне? Турбины со Сталгрэса на грузовике не вывезешь.

К ним подошли двое: начальник одного из главных цехов Тракторного завода и директор консервного завода.

— Вот он, главный воротила, миллионщик тракторный, массовый потребитель электроэнергии, — сказал Спиридонов.

— Что ж ты, Спиридонов, не прислал ко мне монтеров? Завод-то работает день и ночь. Заплачу им по высшему разряду.

Директор консервного завода сказал вполголоса:

— Вы, товарищ миллионщик, лучше бы платили не по разряду, а местами на катере, который на тот берег перевозит.

— Шутка глупая, но ты, я вижу, консервщик, об одном думаешь, как бы переплыть, — сказал Марфин, — заболел ты, видно.

Начальник цеха покачал головой и сказал:

— Днём и ночью у меня душа болит. Цех программу перевыполняет. А вывезем за Волгу — рассыпется коллектив. Поди собирай его, налаживай в степи. Рабочие из цеха не выходят, а я уж списки составляю. И спецмероприятия подготавливаю, страшно подумать! Хуже смерти об этой эвакуации говорить, думать не хочу. Вот и Спиридонов без отказа даёт электроэнергию. А то ведь всё были объективные причины.

Он вдруг повернулся к Спиридонову и сердито спросил:

— Но ведь заразная штука эта эвакуационная лихорадка? Верно, Спиридонов?

— Конечно. Вот начальник урюка и маринованных огурцов своё семейство вывез, а меня уж гложет мысль, сознаюсь откровенно. Ты как считаешь, Марфин, есть лекарство от этой эвакуационной заразной болезни?

— Есть, простое: только не пилюли, а хирургическое средство.

— Ох ты... консервный король, как Марфин на тебя поглядел. Берегись. Вмиг вылечит.

— Что ж, могу вылечить. Запаникует — шуток не будет.

Время не такое.

Но в этот момент все замолчали и оглянулись на двери:

В комнату вошли Пряхин и генерал.

Они уселись на свои места, и Пряхин, несколько раз прокашлявшись и выждав тишину, заговорил суровым голосом:

— Товарищи! В последние дни в связи с обострением положения на фронте у нас наметилась вреднейшая тенденция — слишком много готовимся к эвакуации, мало, недостаточно думаем о работе наших заводов на оборону. Мы словно молчаливо согласились на том, что уйдем за Волгу. — Он оглядел всех, помолчал, покашлял и продолжал: — Это грубейшая политическая ошибка, товарищи.

Он встал, оперся руками о стол и медленно, с особым значением, словно отпечатывая каждое слово самым крупным выпуклым шрифтом, произнес:

— С эвакуаторами, паникерами, шкурниками будем расправляться беспощадно.

Произнеся эти слова, он сел и уже обычным, несколько глуховатым голосом закончил: — Таково веление нашей Родины, нашего народа, товарищи, в самые грозные часы борьбы. Работа всех заводов, предприятий продолжается. Никаких разговоров о спецмероприятиях и эвакуации. Ясно? Всем ясно: Пустых городов не обороняют. Поэтому никаких разговоров вести по этой линии мы не должны. А раз не должны, то и не будем. Надо работать, работать. Нельзя терять ни минуты, потому что и минута дорога.

Он повернулся к Рыжову.

Генерал, отрицательно покачав головой, сказал:

— Теперь не время лекции читать. Я одно скажу: Ставка прямо указала командованию. Сталинград удержать любой ценой. Вот и всё. Вся моя лекция.

Несколько мгновений в комнате стояла тишина. Страшный, угрюмый и зловещий грохот нарушил её, окна распахнулись, в соседней комнате со звоном посыпались стёкла, бумаги, лежавшие на столе, подхваченные ветром, полетели на пол. Кто-то вскрикнул: «Бомбит!»

Пряхин властно произнёс:

— Товарищи, спокойствие, работа предприятий в Сталинграде продолжается без минуты перерыва!

А грохот, то стихая, то вновь усиливаясь, потрясал стены. Директор консервного завода, стоя в дверях, произнес:

— В Красноармейске склады боеприпасов взорвались? И тотчас пронзительно злым и властным голосом закричал генерал:

— Певцов, машину!

— Есть, товарищ генерал, — ответил адъютант и стремительно выбежал из кабинета.

Генерал поспешно пошел к двери, все расступились перед ним.

Когда последние посетители выходили из кабинета, Спиридонов, оглянувшись на Пряхина, пошёл следом за ними; видимо, теперь было не до разговора по частному вопросу. Но Пряхин окликнул его:

— Куда вы, товарищ Спиридонов, я ведь просил вас остаться. — Он улыбнулся, и на лице его появилось выражение лукавства и доброты. — Один товарищ с фронта, мой старинный знакомый, вчера спрашивал, не встречал ли я в Сталинграде семейство Шапошниковых. Оказалось, его особенно интересует сестра вашей жены.

— Кто же это? — спросил Спиридонов.

— Вы, может быть, знаете его фамилию — Крымов?

— Ну конечно, знаю, — сказал Степан Фёдорович и оглянулся на окно: не ударит ли ещё взрыв?

— Он у меня будет сегодня вечером. Он ничего такого не говорил, но мне думается, следовало бы ей с ним повидаться.

— Я обязательно передам, обязательно, — сказал Спиридонов.

Пряхин надел плащ военного покроя, фуражку и, не глядя на Спиридонова и, видимо, уже не думая о нём, пошёл скорым шагом к двери.

Вечером в большой комнате, в квартире Пряхина, Крымов и Пряхин, сидя за столом, пили чай. На столе, рядом с чашками, чайником, стояла бутылка вина, лежали газеты. В комнате был беспорядок — мягкая мебель сдвинута с места, дверцы книжных шкафов открыты, на полу валялись газеты, брошюры, возле буфета стояли детская колясочка и деревянная лошадь. В одном из кресел сидела румяная большая кукла с всклокоченной русой головой, перед ней стоял столик с игрушечным самоваром и чашками. К столику был прислонён автомат ППШ, на спинке кресла лежала солдатская шинель, а рядом — летнее пёстрое женское платье.

И странно на фоне этого предотъездного беспорядка выглядели два больших, рослых человека со спокойными движениями и мерными голосами. Пряхин, утирая пот со лба, рассказывал Крымову:

— Потеря очень тяжёлая — склады боеприпасов! Но я тебе о другом говорю. Ясно —

город явится ареной боя, на кой ляд тут детские дома, ясли. А? Ну вот дал обком команду их вывозить, а работа предприятий и учреждений Сталинграда продолжается без минуты перерыва! Вот и своих вывез — сам дома хозяин... — Он поглядел вокруг, потом в лицо Крымова и покачал головой: — Подумай, сколько лет не виделись.

Он оглядел комнату и проговорил:

— Жена у меня строгая насчёт чистоты, пылинку, окурок заметит, а сейчас, после отъезда — смотри! Нет, ты погляди! — И он показал рукой: — Разорение! Это ведь масштаб семьи, квартира! А ты подумай в масштабе города! А сталь наша — какие печи, есть такие мастера — в Академию наук можно избрать! Пушки! Немцев спроси, они скажут, как наша дивизионная артиллерия работает. Да, хотел я тебе сказать о Мостовском. Бедовый старик. Был я у него, уговаривал уехать. Слушать не хочет! Говорит. «Сталинград сдан не будет, мне ехать незачем, я свою эвакуацию закончил, ни на вершок не сдвинусь». А в случае чего, говорит, я в подполье пригожусь, у меня такой опыт конспиративной работы перед революцией накоплен, что я вас всех поучить могу. И такая в нём силища, что не я его уговорил, а он меня... Связал его кое с кем и адреса кое-какие ему дал. Ты подумай, старик какой!

Крымов кивнул головой:

— И я теперь жизнь вспоминаю. И Мостовского вспоминаю. Он ведь в нашем городишке одно время жил, в ссылке. Ну и встречался с молодёжью. Мальчишкой я был еще. Ушли мы с ним как-то за город, читал он мне вслух «Коммунистический манифест» — сидели на холмике, там беседка была, в летнее время в эту беседку влюблённые ходили. А тут осень, дождик мелкий, ветром брызги заносит в беседку, листья летят, ну и он мне читает. И охватил меня такой трепет, такое волнение... Обратно мы шли, темно стало. Он меня за руку взял и сказал: «Запомните эти слова: «Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир». А сам хлюпает рваными галошами по воде. И у меня слезы хлынули.

Пряхин встал, подошёл к стене и, показав на карту, сказал:

— И верно, завоевали. Посмотри, посмотри. Вот он — Сталинград Заводы видишь? Три богатыря! Красавцы, силачи! Сталгрэс, он в ноябре празднует десятилетие Центр города, рабочие посёлки — новые дома, асфальтированные площади, улицы. Вот пригородная полоса озеленения — сады!

— По этим садам немцы утром вели артминогонь, — сказал Крымов.

— Ведь к этому не по маслу и не по рельсам шли! Великие заводы! Стройку жилами вытаскивали. Работали привычные люди, колхозники-землекопы, и с ними рядом, рука об руку — комсомольцы-школяры, пареньки, девочки. А мороз для всех один. А ветер при сорокаградусном морозе сшибает с ног. Зайдёшь ночью в барак — духота, дым, у печей портянки сушатся. Сидит какой-нибудь, кашляет, ноги с нар свесил, и глаза в полутьме блестят. Трудно людям было. Как трудно!

Вот я тебе говорю? трудно. Это большое слово. Кажется, чего уж приятней сады фруктовые сажать? Пригласили мы старичка учёного. Зажётся он страшно. Шутка ли, на песке, на глине, вокруг города пыли и песчаных бурь — нежнейшие сады. Стали мы с ним проекты строить. Ну вот, приступили к работе. Съездил он на место работ — раз, и два, я три, и вижу, скис, трудностей действительно много. В суровых условиях труд шёл. Уехал! А в прошлом году весной пригласили этого профессора, посадили его в машину и повезли. А сады цветут белым и розовым цветом, из города тысячи людей ходили туда. Старик посмотрел и шапку снял, так без шапки и ходил. А ведь были овраги, пыль, бараки, проволока ржавая. Так. Очень хорошо. Старичок удивился Да что старичок — мир удивился! За это время Тракторный увеличил свою мощь до пятидесяти тысяч машин, три новых завода вошли в строй, заселили две тысячи двести новых домов рабочими семьями, сто пятьдесят двухэтажных школ построил и в области, осушили несколько тысяч гектаров болот, Ахтубинская пойма перегнала Нильскую дельту по плодородию. А как работали — ты

знаешь? Будущее у судьбы вырывали, строил и институты и библиотеки! Россию подняли! Мыслью, взором не охватить огромность нашей работы. Это через много лет во всём масштабе увидят и измерят — что большевики сделали, какой сдвиг совершили! И я вот думаю: что фашисты топчут, что жгут? Нашу кровь, наш пот солёный, громадный наш труд, наш подвиг беспримерный, подвиг рабочего и крестьянина, который на всё пошёл, чтобы поправить нищету. И на всё это Гитлер замахнулся. Такой войны не было на свете!

Вот, Николай, выдвинули меня на работу в обком, собрался я уходить из своего района, где долгие годы поработал. Вышел я как-то из райкома и пошёл пешком до города, долго шел, полдня, наверно. И вот, понимаешь ли, иду я час и другой, иду по нашей земле, по нашей жизни. Как-то собралось всё вместе — и заводы, и огромные, на километры цеха, и десятки, сотни новых домов, и новые улицы, и новые площади, и бульвары, и скверы, и сады, и асфальтированные дороги И я вот иду, иду и час и два, и вижу, чувствую всей душой, всем сердцем своим понимаю, — ведь партия, партия наша дышит, живёт во всём этом — и в этих садах, и в этих цехах, и в жарких этих заводских печах. Она начинала! Она была запевалой, она подняла миллионы людей, она всколыхнула старую Россию, она повела тракторы на поля, повела борьбу за коллективный крестьянский труд.

Вот, мыслимо ли, Николай, себе представить старую, дореволюционную русскую армию, миллионы малограмотных и неграмотных солдат, управляющих сложнейшими машинами, приборами, орудиями современной войны. Учителя и учительницы в сельских и городских семилетках и десятилетках подготовили наших танкистов, бомбардиров и наводчиков, башенных стрелков, механиков-водителей, наших радистов, пилотов, штурманов... Нет, Николай, то, что в нашей кузнице большевистской отковано, того металла, что большевики ковали, никто не разобьёт. Нет такой силы!

Крымов долго молчал, глядя на Пряхина, потом сказал:

— Знаешь, я сейчас подумал — до чего ты изменился! Помню тебя молодым парнем в шинельке, а теперь государственный человек. Вот ты сейчас рассказывал — стрсил, стрсил. И всё шёл в гору. А мне как рассказать? Был я работник международного рабочего движения, и всюду друзья мои и братья, рабочие-коммунисты. А сегодня фашистские банды немцев, румын, итальянцев подходят к Волге, к той Волге, где был я комиссаром двадцать два года назад. Вот ты говоришь — понастрсил заводов, сады сажал, вот у тебя семья, дети. А почему меня жена бросила? Нет, брат, я что-то не то говорю. Почему? Не знаешь? А ты изменился! Удивительно!

Пряхин сказал:

— Люди растут, меняются, чему же удивляться? А, знаешь, тебя я сразу узнал, вот вижу тебя таким же, каким знал. Вот такой ты был двадцать пять лет назад, когда на фронт ездил царскую армию взрывать.

— Ну что ж! Такой был, таким и остался. Времена меняются, а я нет. Ты скажи, это хорошо или плохо? Как это мне, приплюсовать нужно или, наоборот, вычесть?

— Всё ты на философию сводишь? И в этом ты не изменился.

— Ты не шути. Времена меняются, а люди? Человек ведь не патефон Верно?

— Большевик должен делать то, что нужно партии, а значит — народу. Раз он по партийному понял время, следовательно, линия его правильная.

— Это бесспорно. Теперь люди до конца проверяются. Я из окружения шел двести человек с собой вывел. А почему, как я их вёл? Верили? В душе чувствовал — революционная сграбь, и вера, и пыл революционный, а голова седая. Шли за мной! Ничего не знали в немецком тылу, а немцы в деревнях говорили? «Ленинград пал, Москва сдана, армии нет, фронта нет — все кончено». А я двести человек вёл на восток, опухших, оборванных, дизентерийных, но шли с гранатами, пулемётами, ни одного безоружного не было. За человеком, у которого патефон внутри заведён, в решающий час не пойдут. Да он и не повел бы. Ты не всякого пошлешь к немцу в тыл? Верно ведь?

— Это правильно.

Крымов встал и прошёлся по комнате.

— Вот то-то, что правильно, дорогой ты мой.

— Сядь, Николай. Послушай? Надо жизнь любить, всю — и землю, и леса, и Волгу, и людей наших, и сады наши. Жизнь просто любить надо. Ты ведь разрушитель старого, а вот строитель ли ты? Но, как говорится, давай перейдём с общего на частное. Собственная жизнь твоя разве построена? Сижу на работе и вдруг вспомню — вот приеду домой, подойду к детям, наклонюсь, поцелую хорошо ведь? А женщине, жене много нужно, и дети ей нужны! Нет! Меня бешенство охватывает? Вот к этому городу, где вся сила вложена, где каждый камень, каждое стёклышко нашей жизнью дышит, разбойники подошли? Лапать все станут руками? Не будет этого?

Дверь приоткрылась, в комнату вошёл Барулин. Он молча ждал, внимательно слушал, пока Пряхин закончит свою страстную речь, потом кашлянул и сказал?

— Иван Павлович, пора вам на Тракторный ехать!

— Ладно, еду, — оказал Пряхин и, посмотрев на часы, поднялся — Товарищ Крымов, ты посиди, не спеши, словом, послушай меня, отдохни. А захочешь уйти, можешь. Тут подежурят, пока я съезжу.

— Я тоже поеду. Как там машина моя, не пришла?

— Пришла, я только что внизу был, — сказал Барулин Пряхин, улыбаясь, подошёл к Крымову и сказал:

— Знаешь, я тебе искренне советую остаться, посиди!

— Что так, почему советуешь?

— Видишь ли, твою натуру я знаю — к Шапошниковым ты ни за что не пойдёшь, гордый! А ведь поговорить вам следует. Право же, следует — Он наклонился к уху Крымова и сказал? — Ты ведь любишь ее, чего уж там.

— Постой, постой, — сказал Крымов — Зачем мне тут сидеть?

— Она придёт сюда, поговорите, чего тебе. Я передал Шапошниковым, что ты здесь у меня будешь. Вот спорить готов, придёт.

— Что ты, зачем? Я не хочу её видеть.

— Врёшь

— Вру — хочу её видеть. Но это не нужно. Что она мне скажет, зачем придет — утешать меня? Не хочу, чтоб меня утешали.

Пряхин покачал головой.

— Я советую поговорить, встретиться. Должен воевать за своё счастье, если любишь.

— Нет, не хочу. Да и не время. Если жив останусь, может быть, и встретимся.

— Смотри, а я думал, помогу тебе личную жизнь наладить.

Крымов подошёл к Пряхину, положил ему руки на плечи и сказал:

— Спасибо, дорогой мой, от всей души спасибо, что ты не безразличен ко мне, — он улыбнулся и добавил негромко — Но знаешь, моё личное счастье уж, видно, не наладить, даже с помощью обкома.

— Что ж, тогда поехали, — проговорил Пряхин. Он позвал Барулина и сказал ему:

— Если тут придёт один молодой, красивый товарищ женского пола, будет спрашивать товарища Крымова, передайте, что просил извинить, по срочному делу вызван в свою часть.

— Нет, товарищ Барулин, не надо извиняться, скажите — уехал и ничего не просил передать.

— О, брат, тебя, видно, крепко припекло, — сказал Пряхин, идя к двери.

— Ой, крепко, — сказал Крымов и пошёл за ним следом.

Перед вечером, 20 августа, к Александре Владимировне? пришёл после работы старик Андреев. Александра Владимировна хотела угостить его витаминным чаем из шиповника, но он очень спешил, отказался даже сесть.

— Уезжать надо вам, — проговорил Андреев и рассказал Александре Владимировне, что утром на завод пришли ремонтировать танки и лейтенант, командир танка, сказал, что немцы перешли через Дон.

— А вы собираетесь ехать? — спросила Александра Владимировна.

— Нет, я не поеду.

— А семья?

— Семья послезавтра поедет.

— А если немцы придут и вы окажетесь отрезанным от семьи?

— Что ж делать, окажусь отрезанным. Вот и товарищ Мостовской остаётся, а он меня постарше, — отвечал Андреев и повторил: — А вы уезжайте, Александра Владимировна Я понял, дело не на шутку пошло.

После ухода Андреева Александра Владимировна стала вынимать из шкафов бельё, обувь, раскрыла сундук, в котором лежали пересыпанные нафталином зимние вещи. Потом она сложила вещи обратно в шкафы и принялась отбирать в чемодан письма, книги, фотографии. Она разволновалась и всё время завёртывала самокрутки из крупного зелёного самосада. Самосад горел в папиросах, как горят в печи сырые сосновые дрова — со стрельбой, искрами, шипением.

Когда Мария Николаевна вернулась с работы, вся комната была полна табачного дыма.

Александра Владимировна спросила её

— Нового ничего? Что в городе слышно? — и озабоченно сказала: — Я решила понемногу начать укладываться. Никак не могу найти письмо о смерти Иды Семёновны. Просто несчастье, Серёжа спросит с нас.

Мария Николаевна стала успокаивать мать.

— Да ничего особенного нет. Вас, вероятно, эти взрывы напугали. Степан был в обкоме — все остаются, работа идёт полным ходом. Отправляют только детские дома, больницы, ясли. Я послезавтра поеду в Камышин с тракторозаводским домом, договорюсь в райкоме о помещениях и через два дня вернусь машиной домой, тогда мы и обсудим, как и что, но, уверяю вас, нет никаких оснований так торопиться.

— Да помоги ты мне это письмо разыскать, куда оно делось, просто несчастье, — что я Серёже скажу?

Они стали перебирать бумаги, письма, открывать ящики столов.

— Не у Жени ли оно? Вот, кстати, она пришла.

Евгения Николаевна, войдя в комнату, вдохнула дымный воздух и, сделав страдальческое лицо, показала сестре, что дышать в комнате нечем, развела руками. Вслух делать замечание матери она боялась.

— Ты не брала письмо о смерти Иды Семёновны? — спросила Александра Владимировна.

— Брала, — ответила Женья.

— О господи, я весь дом перевернула, дай его мне.

— Я его отослала Серёже, — громко, сердясь на то, что по-ребячьи смутилась, ответила Женья.

— Почтой? Ведь оно может пропасть, — сказала Александра Владимировна — Как же ты могла, да и вообще ведь мы решили не посылать ему пока. Вот ему выпало в семнадцать лет одному пережить такой удар, да сидя в окопах, среди чужих...

— Я послала не почтой, а с оказией, ему передадут письмо прямо в руки, сказала Женья.

— То есть как это в руки? — крикнула Маруся. — Ведь мы, кажется, решили не сообщать ему... Это было наше общее решение! Что за анархизм такой, что за дурость!

— Я поступила так, как нужно, — сказала Женья. — Он на смерть пошёл, а мы с ним в бирюльки играем.

Маруся на миг почувствовала такую злость к Жене, что ей больно стало смотреть на неё от желания сказать сестре грубое и жестокое слово.

— Хватит, девочки, — сказала Александра Владимировна, — хватит, вы мне обе надоели: и партийная и беспартийная Маруся, так значит ты в городе и на заводе не слышала ничего тревожного?

— Нет, абсолютно Я ведь говорила вам, как все настроены.

— Странно. Приходил час назад Андреев. Какой-то военный чинил на заводе танк и

сказал: «Кто может, пусть скорей уезжает за Волгу. Немцы вчера переправились через Дон...»

— Не понимаю, это, по-видимому, глупости, в городе относительно спокойно, — повторила Мария Николаевна

— Нет, это, по-видимому, не глупости, — сказала Женя — Веры нет? Действительно, странно?

— Может быть, началась спешная эвакуация госпиталей? — спросила Александра Владимировна и тут же вспомнила: — Да, ведь у Веры сегодня дежурство.

Александра Владимировна вышла в кухню, там не горел свет и потому не было маскировки. Она раскрыла окно и долго прислушивалась. Со стороны вокзала, погромыхая, шли составы, в тёмном небе вспыхивали зарницы. Вернувшись в комнату, Александра Владимировна сказала:

— Стрельба ясно слышна, гораздо ясней, чем в прошлые ночи. Ох, Серёжа, Серёжа!

— Неразумная спешка, — сказала Маруся — Тем более, что послезавтра воскресенье, — добавила она таким тоном, словно по воскресеньям война отдыхала.

Поздно ночью приехал Степан Федорович.

— Дело плохо, — проговорил он и зажёл спичку, стал прикуривать, — надо вам срочно всем уезжать.

— Тогда предупредите Людмилу телеграммой, — сказала Александра Владимировна.

— Бросьте вы эти интеллигентские фанабери, — раздражённо сказал Степан Фёдорович.

— Степан, что с тобой? — удивлённо спросила Мария Николаевна.

В разговорах с мужем она часто обвиняла мать в интеллигентских фанабериях, но едва Степан Фёдорович повторил её же собственные слова, она обиделась за мать.

У Степана Фёдоровича даже выражение лица изменилось, стало простецким, растерянным.

— А ну вас, — сказал он — Немцы, оказывается, вот они. Эх, как вы одни поедете, пропадёте без меня в пути.

Он потребовал, чтобы домашние немедленно приступили к укладке вещей.

— Нужно уговорить Мостовского, он забастовал, решил остаться, надо ему объяснить положение и обязательно предупредить Берёзкину, — сказала Александра Владимировна — У вас ночной пропуск, вы и сходите. Спокойней, спокойней, Степан.

— Вы меня не учите, я ради вас ночью прискакал. Приехал на машине, не имеющей ночного пропуска, — сердито крикнул он. — Приехал не для того, чтобы вы меня учили.

— Не устраивайте истерик, — проговорила Александра Владимировна, поправляя рукава своего платья, и, словно Степана Фёдоровича не было в комнате, сердито прибавила: — Удивительная вещь, я всегда думала, что у пролетарского Степана железные нервы, а вот, пожалуйста... — Повернувшись к Степану Фёдоровичу, она грубо спросила: — Может быть, накапать вам в рюмочку валерианки?

Маруся тихо сказала сестре:

— Гляди-ка, мама, кажется, обозлилась всерьёз.

Дочери с детства знали приступы материнского гнева, когда все в доме затихали и ждали конца грозы.

Степан Фёдорович, сердито бормоча и отмахиваясь рукой, пошёл в комнату к жене.

Женя раздельно и громко сказала:

— Знаете, у кого я сегодня вечером была? У Николая Григорьевича Крымова.

Мать и сестра одновременно, с одинаковой интонацией спросили:

— У Николая Григорьевича? И что же? Женя рассмеялась и скороговоркой произнесла:

— Всё хорошо, всё замечательно. Не была принята.

Мать и Маруся молча переглянулись. В это время вернулся Степан Фёдорович и, подойдя к теще, сказал:

— Разрешите прикурить, — выпустил клуб дыма и благодушно прибавил: — Я, видно,

ударился в излишнюю спешку, но вы не сердитесь. Лучше ложитесь спать, а утром посмотрим. Меня с утра в обком вызвали: последнюю информацию получим, телеграмму Людмиле я дам, и с Тamarой поговорим, и с Мостовским. Вы что ж, думаете, я не понимаю.

Маруся сразу заподозрила причину такого быстрого перехода к благодушию. Она зашла к себе в комнату и открыла шкаф, и оказалось, действительно, Степан Фёдорович хлебнул довольно основательно из бутылки, водку он называл теперь «антибомбином».

Маруся вздохнула, раскрыла дверцы домашней аптечки и, бесшумно шевеля тонкими губами, стала отсчитывать в рюмку капли строфанта. Она теперь принимала лекарства тайно от родных — с тех пор, как шла война, ей казалось мещанской слабостью пить строфант и ландыш.

Из столовой донёлся голос Жени:

— Решено, я в дорогу надену лыжный костюм. — И тут же, без связи с только что сказанными словами. Женя проговорила: — Э, помирать так помирать!

Степан Фёдорович, посмеиваясь, произнёс, поглядев на Женю:

— Что вы, Женечка, с вашей неопикуемой красотой — и помирать? Никогда я вам этого не позволю.

Марусю раздражало, когда он начинал игриво разговаривать с Женей. Но на этот раз она не испытала привычного раздражения.

«Хорошие мои, родные мои», — подумала она, и слезы быстро потекли у неё из глаз. Мир был полон горя, близкие люди со всеми их слабостями стали ей дороги и милы, как никогда.

Во второй половине августа некоторые части сталинградского народного ополчения, состоявшие из служащих учреждений, заводских рабочих, грузчиков и матросов волжского пароходства, вышли из города и заняли оборону на ближних подступах к городу. Вскоре получила приказ привести свои части в готовность дивизия внутренних войск.

Эта мощная дивизия полнокровного состава не имела боевого опыта, но была хорошо обучена и вооружена и состояла из кадровых солдат и командиров.

В то время как сталинградские ополченские полки выходили на западные окраины города, к ним навстречу двигались теснимые немцами, обескровленные фронтовые части, главным образом принадлежавшие к двум стрелковым армиям — 62 и, отходившей с запада, и 64-й — с юга. Эти малочисленные, потрёпанные армейские части состояли из измученных долгими боями и тяжким отступлением людей. Отступающие дивизии оседали на левом берегу Дона вокруг Сталинграда, в укреплениях оборонительного обвода, построенных горожанами.

Части, отделенные друг от друга в степи пространством в несколько километров и растянутые в жиденькие цепочки, сейчас уплотнились вокруг Сталинграда, держа между собой локтевую связь.

Однако одновременно концентрировались, приближаясь к Сталинграду, и немецкие войска, и поэтому по-прежнему оставалось неизменным достигнутое немецким командованием численное и техническое превосходство в воздухе и на земле.

Серёжа Шапошников проходил в течение месяца военное обучение в одном из батальонов сталинградского народного ополчения, расположенном в Бекетовке. Во второй половине августа рота, в которую его зачислили, была поднята на рассвете и вышла из города, замыкая полковую колонну. К полудню колонна ополченцев подошла к степной балке западной заводского поселка Рынок. Блиндажи и окопы, в которых они разместились, находились в степной низменности, из неё город не был виден. Вдали виднелись серые домики и серые заборы деревни Окатовки, желтела малонаезженная просёлочная дорога, тянувшаяся к Волге.

После тридцати километров марша под жарким степным солнцем, среди пыльной и крепкой травы, которая, как проволока, жестоко цеплялась за ноги, изнеможение охватило непривычных к походной жизни ополченцев. Кажется, нет конца пути по горячей степи, когда каждый шаг тяжёл и человек загадывает, хватит ли сил у него дойти до очередного

телеграфного столба, а степной простор огромен, неизмерим тысячами таких столбов.

Но, наконец, полк пришел к месту, где надлежало ему стать в обороне. Люди с блаженным кряхтением залезали в вырытые много месяцев назад блиндажи, разувались и ложились на земляной пол в золотом, пыльном полусумраке, скрывающем их от солнца.

Серёжа Шапошников лежал у бревенчатой стены, закрыв глаза, полный сладостного чувства изнеможения и покоя. Мыслей не было, слишком остры и многочисленны оказались телесные ощущения. Ломило спину, жарко жгло ступни, кровь сильно била в виски, а щёки горели, нажжённые солнцем. Всё тело казалось тяжёлым, налитым и одновременно лёгким, почти невесомым — странная смесь противоположных ощущений, соединимых лишь в минуты высшей усталости. А из этого острого чувства изнеможения возникала гордость и мальчишеское уважение к самому себе за то, что не отстал, не попросился на повозку, не захромал, не пожаловался. На марше он шёл в конце колонны, рядом с пожилым ополченцем плотником Поляковым. Женщины, когда они проходили заводским районом через Скульптурный садик, качали головами и говорили:

— Они и не дойдут до фронту — дед да малый мальчик.

И верно, рядом с морщинистым, заросшим седой щетиной Поляковым худой, узкоплечий и остроносый Серёжа казался совершенным птенцом.

Но именно они двое шагали особенно терпеливо и упрямо. И дошли до места благополучней многих — без потёртости ног.

Поляков нашёл силу в упрямой кичливости старика, желающего доказать другим и себе, что он ещё молод. Мальчик эту силу и упорство нашёл в вечном стремлении неопытных и юных казаться зрелыми и сильными.

В блиндаже было спокойно и тихо, лишь тяжело дышали лежавшие на полу люди. Время от времени слышался шорох, видимо, сухая земля, осыпаясь, шуршала по доске.

Вдруг издали послышался хорошо знакомый бойцам голос командира роты Крякина. Раскаты его приближались.

— Опять народ точит, — с изумлением сказал лежавший у входа боец Градусов. — Шёл ведь с нами пехом, я думал, он хоть на полсутки свалится, отстанет.

Градусов плачущим голосом проговорил:

— Пусть хоть расстреливает, всё равно не встану!

— Встанешь, — злорадно сказал аспирант Ченцов, словно ему самому не придётся встать вместе с Градусовым.

Градусов сел и, оглядывая лежащих, проговорил:

— Ох, солнцем палимые мы.

Его пухлая шея и веснушчатые руки совершенно не поддавались загару, а лишь побагровели, словно ошпаренные. Большое потное веснушчатое лицо тоже было яркокрасно и выражало страдание

Рядом с блиндажом внятно проговорил Крякин:

— Надеть сапоги, строиться!

Поляков, который, казалось, спал, быстро привстал и принялся наворачивать портянку Ченцов и Градусов, охая от прикосновения заскорузлых портянок к растертым ступням, стали натягивать сапоги.

И Сергей — ему минуту назад казалось, что нет в мире силы, которая могла бы заставить его пошевелиться («умру от жажды, но не пойду искать воду»), тоже молча, быстро стал наворачивать портянки, натягивать на ноги сапоги.

Вскоре рота выстрел ась, и Крякин прошел перед строем, начал переключку. Это был скуластый человек небольшого роста, с широким ртом, увесистым носом и бронзовыми глазами. До войны он работал районным инспектором противопожарной охраны, и некоторым из ополченцев приходилось с ним встречаться на работе. В мирную пору помнили его человеком тихим, даже робким, услужливым, постоянно улыбающимся, ходил он в зеленой гимнастёрке, подпоясанной тонким ремнём, и в чёрных бродяках, заправленных в сапоги. Но вот его назначили командиром роты — и все его житейские взгляды, свойства

характера, до которых раньше мало кому было дела, вдруг стали необычайно важны для десятков молодых и пожилых людей. Видимо, он давно уж считал себя способным управлять людьми, но так как он был слаб и не уверен в себе, управлять людьми мог лишь жестокими, строгими средствами. Серёжа Шапошников слышал однажды, как Крякин говорил Брюшкову, командиру взвода:

— Разговаривать надо уметь. Я вот слышал, как ты бойцу сказал: «Почему у вас пуговица не пришита?» Хуже нет говорить — «почему». Он сразу же тебе скажет иголку потерял, нитки нет, я докладывал старшине, — заговорит тебя. А надо с ним вот — Он коротко, быстро и хрипло произнёс — Пришить пуговицу!

И действительно, казалось, он не слова произнёс, а толкнул человека кулаком в грудь.

И сейчас, хотя сам Крякин едва стоял на ногах, он заставил людей построиться, отчитывал за неправильное равнение, нечёткий голос при переключке и лишь после этого устремил проверку оружия и обнаружил, что у ополченца Илюшкина не оказалось штыка при винтовке.

Илюшкин, высокий угрюмый малый, нерешительно шагнул из рядов, и Крякин спросил его:

— Что я отвечу, если высшее командование меня спросит? «Командир третьей роты, где вверенный вам командованием штык от винтовки номер шестьсот двенадцать тысяч сто девяносто два?»

Илюшкин покосился на стоявших за его спиной ополченцев и молчал, ответить на вопрос командования было трудно. Крякин стал расспрашивать командира взвода и выяснил, что во время короткого отдыха комвзвод видел, как Илюшкин рубил штыком ветки, чтобы укрыться от солнца, да и сам Илюшкин вспомнил об этом, очевидно, при команде подъёма он забыл захватить штык.

Крякин велел ему вернуться к месту стоянки и разыскать штык. Илюшкин, медленно шагая, пошёл в сторону города, и Крякин негромко и веско крикнул ему вслед:

— Веселей, Илюшкин, веселей!

И всё время, пока он держал утомлённых людей на солнечном припеке, в глазах его было выражение суровой одухотворённости, ему казалось, что и он и они в эти минуты становятся лучше.

— Градусов, — сказал Крякин и, раскрыв оранжевый планшет, достал сложенный вчетверо лист бумаги, — снесите донесение в батальон, вот в ту балочку, четыреста пятьдесят метров отсюда.

Вернулся Градусов бодрым шагом и, забравшись в блиндаж, рассказал, что командир батальона, прочтя рапорт, сказал начальнику штаба: «Что этот Митрофан устраивает смотры среди открытой степи, авиацию хочет навлечь? Я ему напишу словцо — последнее предупреждение».

Вот это словцо в сером конвертике и принёс Градусов, шагая от батальонного командного пункта торопливой, бойкой походкой.

В первый день горожанам-ополченцам показалось, что в степи стоять невозможно не было ни воды, ни кухонь, ни застеклённых окон, ни улиц, ни тротуаров. Было много суеты, тайного уныния, шумных распоряжений. Казалось, что об ополченских частях никто не помнит, так они и останутся стоять в степи, всеми забытые. Но в первый же вечер из Окатовки пришли босые мальчишки и девушки в белых платочках, послышалось пение, смех, заиграла гармонь, среди ковыля забелела лужа тыквенных семечек. И сразу степь обжилась. Оказалось, что в балке, среди кустарников, есть богатый и чистый родник, появились вёдра, и откуда то даже прикатили бочку из-под бензина. На цепких колючках шиповника, на кривых шершавых лапах низкорослых степных груш и вишен, росших по крутому склону балки, затрепетала жёлтая бязь стиранных солдатских портянок и рубах. Откуда то стали появляться арбузы, помидоры, огурцы. Потянулся среди травы в сторону города чёрный телефонный провод. На вторую ночь пришли трёхтонные грузовики с завода, привезли новые, только что выпущенные из цехов миномёты, патроны, мины, пулемёты,

бутылки с горючей жидкостью, пришли полевые кухни, через час прибыли две артиллерийские батареи. В этом появлении в ночной степи оружия, сделанного на сталинградских заводах, хлеба, выпеченного хлебозаводом, было что-то непередаваемо трогательное и волнующее. Ополченцы-рабочие Тракторного завода, «Баррикад», «Октября» — щупали стволы пушек, и казалось, пушечная сталь, полная дружелюбия, передаёт привет от жены, соседей, товарищей, от цехов, улиц, садилов и огородов, от всей жизни, что осталась за плечами. А хлеб, прикрытый плащ-палатками, был тёплый, как живое тело.

Ночью политруки стали раздавать ополченцам «Сталинградскую правду».

Через два дня люди обжились в блиндажах, окопах, протоптали тропинки к роднику, определили, что в степи хорошо, что дурно. Стало минутами забываться, что враг подходит, казалось, так и будет идти жизнь в тихой степи, серой, седой и пыльной днём, синей в вечернюю пору. Но ночью мерцали в небе два зарева — одно от пожаров, второе над заводами, да сливался в ушах мерный рабочий грохот, доносившийся с Волги, и гул артиллерии и бомбовых ударов с Дона.

Серёжа из привычных, домашних условий попал в среду чужих людей, в обстановку чуждых ему отношений и подчас жестоких физических лишений.

Даже взрослые, житейски опытные люди, попадая в тяжёлый переплёт, замечают, как нарушаются многие их представления, как недостаточен их опыт жизни и знание людей в новых, особо суровых и необычных условиях. И Серёжа с первых же дней почувствовал, насколько непохожа жизнь на то, что он знал о ней из школьного и домашнего опыта, книг и собственных маленьких наблюдений. Однако удивительным оказалось не это, удивительным оказалось другое: постепенно, с течением времени, немного привыкнув к огромному вороху новых поразительных и неожиданных ощущений, познав усталость, наслушавшись многословной брани, то злой, то добродушной, познав всю простоту солдатских желаний и нравов, познав суровую власть сержанта и старшины, он ощутил, что его духовный мир не рухнул, не развалился, а продолжал существовать, устоял. Все, что дала ему школа, учителя, товарищи, всё полученное от жизни и от чтения книг — уважение к труду, правдивости, свободе, — всё это не рухнуло в буре войны, захватившей его семнадцатилетний ум и сердце. Странно было представить себе седую голову Мостовского, строгие глаза и белый воротничок бабушки здесь, среди дорожной пыли, криков команды и ночных солдатских разговоров. Но линия духовной жизни, которой он следовал, не поломалась, не согнулась, а, наоборот, напряжилась, сохранила свою прочную прямизну.

По мере приближения к фронту быстро менялись ополченские знаменитости и авторитеты. В первые бестолковые дни, когда ополченцев поселили в казармы, и занятия не были налажены, и день заполнялся составлением и проверкой списков, суетливыми разговорами и хлопотами об увольнительных записках, — развязный, житейски умелый и ловкий Градусов заслони́л собой всех.

С первого часа после записи в ополчение и прихода в казарму Градусов веско повторял:

— Я в роте долго болтаться не буду, откомандируюсь. И, действительно, со спокойным умением он стал добиваться откомандирования из роты; знакомые у него оказались всюду — и в ополченском штабе, и в штабе округа, и в хозяйственной, и в санитарной части. Вероятно, он бы и добился перевода в хозяйственную или санитарную часть, если бы не упорство командира роты Крякина — тот не отпускал его, дважды писал объяснительную записку комиссару полка. Командир полка, хотевший взять разбитного Градусова порученцем, махнул рукой и сказал:

— Ладно, пусть остаётся в роте.

Градусов возненавидел ротного до того, что уже не думал ни о войне, ни о семье, ни о будущем. Он мог часами говорить и думать о Крякине, и когда Крякин перед строем раскрывал планшет, некогда подаренный ему Градусовым, у Градусова мутнели глаза.

Градусов соединял в себе, казалось, несоединимые вещи. Он работал до последнего времени в областном жилищном строительном управлении и с гордостью рассказывал о своих успехах в работе, вспоминал о своих речах на заседаниях и общих собраниях и тут же

любил рассказывать о том, как доставал костюм бостоновый, железо кровельное, шубу жене, он хвастал, как умно и выгодно жена, ездившая к родным в Саратов, продала помидоры со своего огорода, купила кремни для зажигалок и мануфактуру и, вернувшись, с выгодой продала эти дефицитные промтовары. И слушая Градусова, люди с насмешкой говорили: «Вот как некоторые жили, не то что мы с тобой». А сам Градусов, не понимавший насмешки, подтверждал:

— Да, были, что красиво жили.

После, когда началось военное обучение, когда дело дошло до изучения пулемёта и миномёта, до политбесед и ополченцы вкусили от суровой военной дисциплины, Градусов стусевался, и на первое место в роте вышел аспирант Механико-строительного института Ченцов.

С этим темноглазым сухощавым человеком Сергей Шапошников сошёлся ближе, чем с другими. Он и по возрасту более подходил к Сергею, состоял в комсомоле и был кандидатом в члены партии.

Их объединила общая нелюбовь к Градусову, к его вечной поговорке «Всё убито, бобик сдох». Этими словами Градусов выражал свою внутреннюю свободу от обязательств морали.

Серёжа с Ченцовым подолгу разговаривали в вечерние часы Ченцов расспрашивал Сережу об учении и школе, иногда вдруг спрашивал:

— Как там, ждёт тебя в Сталинграде дивчина? Серёжа смущался, и Ченцов снисходительно говорил:

— Ну что ж, у тебя еще все впереди.

Он часто рассказывал о своей жизни.

В 1932 году он, окончив семилетку, мальчишкой сиротой приехал в Сталинград из далекой деревни, поступил разносчиком в главную контору Тракторного завода. Потом он перешел на работу в литейный цех, стал учиться в вечернем техникуме, на третьем курсе держал испытания в институт и поступил на заочный факультет. При сдаче дипломной работы он предложил рецептуру шихты с отечественными заменителями, его вызвали в Москву — утвердили аспирантом в научно-исследовательском институте.

Серёже нравилась его спокойная, хозяйская рассудительность и уверенность, его манера вникать во все ротные дела, прямо, не стесняясь, высказывать людям своё мнение о них. Он хорошо знал технические вопросы и помогал веско и немногословно минометчикам при подготовке данных для стрельбы. Он очень интересно рассказывал Сереже о работе, которую вел в исследовательском институте, рассказывал о своем детстве, о деревне, о том, как оробел, впервые попав в литейный цех завода.

У него была замечательная память, он помнил все вопросы, которые ему задавали три года назад профессора при выпускных экзаменах. Незадолго до войны он женился. О своей жене он сказал:

— Она в Челябинске сейчас, кончает педвуз, идёт первой отличницей по всем предметам. — Потом он рассмеялся и добавил: — Мы уж патефон купили, собрались учиться бальным и западным ганцам, а тут — война.

Рассказывал он хорошо, но каждый раз, когда он говорил о книгах, Серёже становилось неинтересно. О Короленко Ченцов сказал: «Это замечательный писатель-патриот, он боролся за нашу правду в царской России». Серёже стало неловко: читая «Слепого музыканта», он ни о чём таком не подумал, а просто пустил слезу.

Серёжу удивляло, что начитанный Ченцов, знавший хорошо русскую классическую литературу и многих иностранных писателей, не читал детских книг Гайдара, не слышал о Маугли, Томе Сойере и Геке Финне.

— А где ж я успел бы их читать, в программе их не было, а ты попробуй поработай на заводе и институт одновременно закончи, пятилетнюю программу за три года... И так спал четыре часа в сутки, — сказал Ченцов.

В казарме и на учениях он был молчалив, исполнительен и никогда не жаловался на усталость.

Он сразу же выделился на занятиях и на вопросы командиров отвечал чётко, быстро, ясно. Рабочие-ополченцы относились к нему хорошо, все с ним были по-простому, но однажды он доложил политруку, что писарь неправильно выдаёт увольнительные. После этого на него дулись, а портовой грузчик Галмгузов, командир расчёта, сказал ему насмешливым голосом:

— Живёт в тебе, товарищ Ченцов, административная жилка.

— Я в ополчение пошёл родину защищать, а не ерунду прикрывать, — ответил Ченцов.

— А мы что ж, не кровь проливать идём? — сказал Галигузов.

Незадолго до выхода в степь отношения между Сергеем и Ченцовым испортились. Резкость Сергея, мальчишеская, ошеломляющая прямота его суждений, странные и трудные вопросы, которые он задавал, раздражали и настораживали Ченцова.

Однажды Серёжа затеял разговор о командире роты, стал ругать его.

Ополченцы, слышавшие этот разговор, посмеивались, вечером один молодой рабочий сказал Сергею:

— Ты напрасно такие разговоры о комроте заводишь, за такие разговоры в штрафную роту могут отправить.

Ченцов сердито сказал:

— Надо действительно доложить политруку Шумило.

— Это было бы не по-товарищески, — сказал Сергей Ченцову.

Тот ответил:

— Ошибаешься, именно это по-товарищески, тебя следует продернуть во-время; ты парень довольно интеллигентный, а сознательности в тебе мало.

— А по-моему, это... — сердито и смущённо проговорил Сергей.

Ченцов пожал плечами и вдруг, выйдя из себя, — Серёжа его никогда не видел таким злым и раздражённым, — крикнул:

— Воображаешь ты из себя много, а по сути дела — сопляк!

А в те дни, когда ополчение, выйдя из Сталинграда, стало в степи, оказалось, что плотник Поляков — особо влиятельный человек среди ополченцев. Родные, вероятно, удивились бы, узнав, что Серёжа, по мнению Полякова, оказался совершенно невоспитанным парнем. Он с утра до вечера делал Сергею замечания...

— Что ж ты есть так садишься, пилотку хоть сними... Не за водой пошёл, а по воду, за водой пойдёшь — не вернёшься... Как ты хлеб кладёшь, разве хлеб так кладут?. Человек в блиндаж вошёл, а ты на него мусор метёшь.. Куда ты мослы кидаешь, собак тут нет.. Человек ест, а ты ему гимнастёрку прямо в лицо трусишь... Что за «ну» такое, запрёт меня, что ли.. Спрашивать надо не «кто последний», а «кто крайний» — тут последних нет...

Ему не приходило в голову, что Шапошников не знал правил поведения, известных всем мальчишкам голубятникам в заводском посёлке. Его простая, подчас грубоватая, но добрая философия жизни сводилась к тому, что рабочий человек достоин быть свободным, сытым и счастливым. Он хорошо говорил о пшеничном горячем хлебе, о щах со сметаной, о том, как хорошо летом выпить холодного пивца, а зимой с мороза прийти в чистую, вытопленную комнату и, садясь обедать, пропустить стаканчик белого: «Здравствуй, рюмочка, прощай, винцо».

Он любил свою работу — и так же вкусно, как об обеде с выпивкой, весело блестя маленькими глазами, лежащими среди коричневых морщин и морщинок, говорил об инструменте, о дубовом и кленовом товаре, о ясеневых и буковых досках. Он считал, что работает ради людского удобства и удовольствия, для того, чтобы людям было приятней и легче жить. Он любил жизнь, и, видимо, жизнь его любила, была щедра к нему, не таила от него свою прелесть. Он часто ходил в кино и театр, развёл перед домом сад, любил смотреть футбол, и его знали многие ополченцы как постоянного посетителя стадиона. У него имелась своя лодочка, и во время отпуска он на две недели уезжал ловить рыбу в заволжские камыши, наслаждался молчаливым азартом рыбной ловли и великим богатством волжской воды, золотистой, мягкой, как подсолнечное масло, в лунные ночи, прохладной и грустной в

туманном молчании рассвета, сверкающе шумной в яркие ветреные дни.. Он удил, спал, покуривал, варил уху, жарил рыбку на сковородке, пек её в листьях лопуха, прикладывался к бутылочке, пел. Возвращался он хмельной, пропахший рекой, дымом, и долго спустя вдруг находил в волосах то сухую рыбью чешуйку, то высыпал из кармана щепотку белого речного песку... Он курил особый душистый корешок и специально ездил за ним в станицу за пятьдесят километров, к знакомому старику. В молодые годы он многое повидал, служил в Красной Армии, участвовал в обороне Царицына, служил в пехоте, потом в артиллерии. Он показывал ополченцам заросшую травой, полусасыпанную песком канаву и божился, что это тот самый окоп, в котором он сидел двадцать два года назад и стрелял из пулемёта по красновской коннице.

Политрук Шумило решил устроить вечер воспоминаний старого участника царицынской обороны, собрал народ из других подразделений, но беседа не получилась. Поляков смутился, когда увидел десятки людей, пришедших его послушать, стал заикаться, совсем замолчал. Потом, вдруг оживившись и придя в отчаянную бодрость, он сел на землю, перешёл со слушателями на «ты», словно не доклад делал, а вёл беседу с приятелем в пивной, понёс совсем не то, что следует. С поистине поразительной памятью он стал рассказывать, радуясь улыбка слушателей, о том, как в ту пору кормили, многословно и подробно заговорил он о каком-то Бычкове, похитившем у него двадцать один год назад из мешка новые сапоги...

Пришлось Шумило самому сделать подробный доклад, хотя политруку роты в пору обороны Царицына было никак не больше двух лет.

После этого вечера ополченцы насмешливо и дружелюбно оглядывали Полякова, а комиссар полка в весёлую минуту спрашивал Шумило:

— Кого докладчиком, Полякова пустим?.. — и, подмигивая, добавлял: — Ох, бедовый старик...

После гражданской войны Поляков работал в Ростове и Екатеринославе, в Москве и в Баку. Много у него было воспоминаний. О женщинах он говорил очень вольно, но с каким-то всем нравившимся восхищением, испуганным удивлением.

— Эх, ребята, дурачки вы, — говорил он, — разве вы это дело по-настоящему понимаете, женскую силу понимать надо, я и сейчас, увижу девку красивую — так в ушах зашумит и сердце холодеет...

Знали его в городе многие. На пятый день стояния ополченцев в степи пришли из города две легковые машины: одна чёрная, нарядная, вторая зелёная, «эмка». Это приехали члены Комитета Обороны и полковник, начальник сталинградского гарнизона. Они прошли в штаб, и ополченцы, оглядывая их, говорили: — Гляди, а вон в очках, а этот... Все с пистолетами, с планшетами, один полковник без пистолета...

Вскоре приехавшие вышли из штабного блиндажа, стали осматривать окопы, землянки, блиндажи, беседовали с ополченцами. Полковник долго осматривал пулеметные гнёзда и примерялся, целился, даже попробовал пулемёт, дал очередь в воздух. Потом он перешёл к миномётчикам.

— Смирно! — закричал Крякин и отрапортовал. Сухощавый нарядный полковник махнул рукой? «вольно». Увидев — Полякова, он улыбнулся и подошел к нему.

— А, здравствуй, плотник, встретились. Поляков вытянулся, ответил:

— Здравствуйте, товарищ полковник. Затрепетавший комвзвода Брюшков с облегчением увидел, что сделано это было по всем правилам науки.

— Кем тут?

— Миномётчик заряжающий, товарищ полковник.

— Ну как, славянин, будешь воевать немца, не подведёшь кадровых?

— Лишь бы кормили, — весело ответил Поляков. — А где он, немец, близко?

Полковник рассмеялся и сказал?

— Ну, солдат, доставай свою железную банку. Поляков вынул из кармана круглую жестяную коробку и дал полковнику закурить корешка. Полковник снял перчатки, свернул

козью ножку, выпустил облако дыма. Адъютант полковника негромко спросил у ополченцев:

— А Шапошникова нет между вами?

— Он за продуктами пошёл, — ответил Ченцов.

— Тут письмо для него просили из города родные передать, — сказал адъютант и помахал конвертом, — в штаб сдать его?

— А вы дайте мне, мы с ним в одном блиндаже, — сказал Ченцов.

После отъезда начальства Поляков объяснял товарищам:

— Я его давно знаю. Ты не смотри, что перчатки да полковник. Я перед войной в его кабинете паркет клал, он вышел, посмотрел работу, потом. «Дай-ка я, поциклевать охота». Понимает вполне. Он, говорит, вологодский, отец его плотник, и дед был плотник, и сам он лет шесть, говорит, был по плотницкому делу, потом уж по академиям пошел.

— «Шевроле» у него игрушечка, чудесный мотор, мурлычет только, — задумчиво сказал Ченцов.

— Сколько я домов в Сталинграде строил, это жутко сказать, двадцать лет, вот и в штабе паркет мой, щитовой, буквый, циклёвочка, будь здоров. проговорил Поляков. Когда он говорил о домах, где стлал полы, паркет, ставил двери, окна, перегораживал жилые комнаты, говорил о том, как строил клубные залы, школы и больницы, — и ему и ополченцам казалось, что вот вышел в степь веселый и сварливый старик, хозяин, поставил тяжёлый миномёт дулом на запад, а за спиной всё его большое хозяйство, кому ж, как не ему, отбивать!

В штабах ополченских частей приезд полковника всех обрадовал и ободрил. Через день командующий Сталинградским фронтом приказал новой дивизии выйти на оборону города. Вечером над степью поднялись облака пыли, слышалось гудение машин: это полки дивизии выходили из города на назначенный им рубеж. По степным дорогам шли плотные колонны молодецкой пехоты, подразделения автоматчиков и сапёров, петеевцев, двигалась моторизованная артиллерия крупных калибров, дивизионы мощных тяжёлых миномётов, тяжёлые пулемёты, противотанковые орудия, шли, оседая под тяжестью грузов, трехтонные грузовики со снарядами и минами, погромыхивали полевые кухни, пылили крытые машины полевых радиостанции, санитарные фургоны.

Ополченцы, возбуждённые и весёлые, наблюдали, как растекаются по степи батальоны, роты, как связисты тянут провода, как занимают огневые позиции длинноствольные скорострельные пушки, обращённые жерлами на запад.

Всегда радостно видеть людям, готовящимся встретить врага, как рядом, бок о бок, держа с ними плотную, локтевую связь, становятся соседи и товарищи в надвигающемся бою.

Посыльный вызвал Градусова в штаб полка. Он вернулся перед вечером и молча, ни на кого не глядя, стал увязывать свой мешок. Ченцов, участливо усмехаясь, спросил:

— Что это у вас руки так дрожат? В парашютный десант? Градусов оглядел лица ополченцев хмельными, весёлыми глазами и ответил:

— Нашлись люди, не забыли. Получил вызов на строительство военного завода под Челябинском. Семью перевезу, всё одним махом устраивается.

— А-а-а, — сказал Ченцов, — а я-то не понимал, отчего руки дрожат, думал, от страха, оказывается, от радости.

Градусов кротко улыбнулся, не сердясь на насмешку, ища во всех сочувствия своей удаче.

— Подумать, — говорил он, разворачивая сложенную вчетверо папиросную бумажку, — жизнь человека от бумажки зависит! Всё! Вчера я мечтал писарем быть, а вот, пожалуйста, завтра на попутной доберусь до Камышина, оттуда на Саратов поездом, в Чкалов.. В Чкалове семья, беру жену, сынишку — ив Челябинск.. Прощай, товарищ Крякин, тебе меня не достать. — Он снова рассмеялся, оглядел лица ополченцев, помахал бумагой, вложил её в карман гимнастёрки и застегнул карман на пуговицу, а потом для верности пришил большой английской булавкой, провёл рукой по груди и сказал: — Так, порядок,

оформился, культурка.

— Да, семью повидать — это большое дело, — сказал Поляков. — Пустили бы, и я бы к старухе сбегал на часок...

Охваченный щедростью и жалостью к остающимся. Градусов раскрыл мешок и сказал — Разбирай, ребята, моё военное имущество, я в гражданку иду, — и стал вынимать вещи. — На, бери портянки, — протянул он Ченцову свёрнутые портянки, — новенькие, салфеточки прямо.

— Не надо мне ваших салфеточек, обойдусь. А Градусов, всё больше хмелея от собственной доброты, вынул завернутую в белую тряпочку бритву, сказал:

— Бери, Шапошников, будет обо мне память. Хоть и точил ты меня:

Серёжа молчал.

— Бери, бери, не стесняйся, — проговорил Градусов и, чтобы подбодрить Серёжу, добавил: — Не бойся, у меня дома английская осталась, а сюда я старенькую взял, все равно, думал, ребята смылят, не углядишь..

Серёжа мгновение колебался, не решаясь сказать обидную резкость человеку, делавшему ему подарок. Он даже хотел сказать, что бритва ему не нужна оттого, что он ещё не бреется, — признание не лёгкое в семнадцать лет, но сказал он совсем по иному:

— Не надо, вы теперь... я считаю, вы вроде дезертира.

— Да брось ты, — сердито перебил Поляков, — мало что... Каждый по-своему живёт, чего учишь. Давай, давай бритву, она нам на отделение будет, колхозная

И Поляков, забрав из рук Градусова чёрный бритвенный футляр, сунул его в карман.

— Что вы, ребята, надулись? — весело спросил он. — Подумаешь, делов-то, один ополченец в тыл уходит. Я вот ходил на дорогу, смотрел — дивизия на позиции выходит. Вот где сила! Идут, идут, идут... Конца не видно и начала не видать! Обмундировка, как на параде, сапожки у многих хромовые; ребята молодые, румяные, грудь колесом, богатыри? А вы надулись, что Градусов уходит.

— Вот это верно, папаша, — сказал Градусов.

— Куда тебе на ночь итти? — спросил Поляков, когда Градусов стал надевать на плечи мешок — Еще заблудишься в степи, часовые подстрелят. Заночуй уж с нами, и кухня скоро подъедет, зачем порцию терять, сегодня суп мясной, наваристый, утром пойдёшь.

Градусов мгновение смотрел ему в лицо сощуренными глазами, помотал головой. Он не сказал при этом ни слова, но все ясно поняли его плутовскую, осторожную мысль — «Нет уж, ребята, извините, останетесь с вами, а немцы возьмут да и подойдут, что тогда делать, ещё убьют, пропадёшь тут с вами и с вашим супом».

Градусов ушёл, и казалось, хоть некоторые ему и завидовали, все до единого и те, что завидовали, испытывали чувство превосходства над ним.

— Зачем ты, товарищ Поляков, подарок у него взял? — спросил Ченцов.

— А как же, — сказал Поляков, — пригодится, зачем ему, дураку, хорошую бритву.

— По-моему, напрасно, — сказал Сергей, — и руку ему напрасно подали, я не подал ему руки..

— Правильно сделал Шапошников, — сказал Ченцов, и Сергей дружелюбно поглядел ему в глаза, впервые со дня их ссоры.

Ченцов, почувствовав этот взгляд, спросил:

— Что ж тебе в письме написали? Ты, можно сказать, первый из всего ополчения письмо получил.

Сергей снова поглядел на Ченцова и ответил:

— Да, получил.

— А что у тебя с глазами?

— Болят, от пыли, наверно, — ответил Серёжа.

Тёмная степь, два зарева в небе, дымные пожары за Доном я пламя заводов над Волгой. Тихие звёзды и блудливые пришелицы — зелёные, красные, затмевающие небесный вечный свет немецкие ракеты Смутно, неясно гудят в небесной мути самолёты, чьи — не поймёшь...

Степь молчит, и к северу, где нет зари, земля и небо слились в угрюмой беспокойной тьме. Душно, ночь не принесла пролады и полна тревоги — ночь степной войны: пугают шорохи, но пугает и тишина, в ней нет покоя, страшен мрак на севере и ужасает неверный, далёкий свет всё надвигающегося зари...

Семнадцатилетний мальчик с худыми плечами стоит с винтовкой в боевом охранении в степи, ждёт, думает, думает, думает... Но не детский страх затерявшейся в мире пичужки испытывает он; впервые он ощутил себя сильным, и тёплое дыхание огромной суровой земли, которую он пришёл защищать, наполняло его любовью и жалостью; он казался самому себе решительным и суровым, нахмуренным, сильным среди малых и слабых, земля, которую он защищал, лежала во тьме израненная и притихшая.

Вдруг он вскинул винтовку, хрипло крикнул:

— Стой, стрелять буду! — и стал всматриваться в замершую, а затем зашуршавшую среди ковыля тень, присел на корточки и негромко позвал: — Трусик, трусик, зайка, иди сюда...

Ночью Ченцов закричал страшным голосом, переполошил десятки людей. Все повскакали, хватаясь за оружие. Оказалось, что к Ченцову на нары забрался желтобрюх и заполз к нему под гимнастёрку. Когда Ченцов повернулся во сне и придавил желтобрюха, тот стал биться, вырываться, вползал то под ворот, то в брюки.

— Как ледяная пружина, страшная сила, — говорил Ченцов, держа дрожащими пальцами зажжённую спичку, и, раздувая ноздри, с ужасом глядел в дальний угол, куда уползла змея.

— Погреться хотел, ночью холодно ему, голый, — зевая, сказал Поляков.

Оказалось, что желтобрюхи поселились во многих пустых блиндажах, а теперь, когда в блиндажи пришли люди, не собирались уходить.

Они шуршали за дощатой обшивкой, шумели, возились.

Городские их до судорог боялись, некоторые даже не хотели спать в блиндажах, хотя желтобрюхие полозья были безвредны, те же ужи Больше вредили крошечные полевые мыши. Они стремились пробраться к солдатским сухарям, прогрызали мешки, добивались до кусочков сахара, заложенных в белые торбочки Докторша объяснила, что мыши разносят печёночную болезнь: «туляремия», сказала она.

В годы войны этих мышей развелось великое множество, так как в местах боёв зерно часто оставалось необраным, и урожай на полях собирали мыши. На рассвете ополченцы видели, как желтобрюх устроил охоту на мышей» он долго таился неподвижно, мышь всё ближе металась возле него, хлопотала над ченцовским мешком Вдруг желтобрюх прынул, мышь пискнула ужасным голосом, собрав в этот писк весь ужас кончины, и желтобрюх, шурша, ушёл с ней за доски

— Он у нас будет, вроде кота, мышей ловить, вы его, ребята, не секите штыками, — сказал Поляков, — безвредная тварь, одна видимость, что гадина.

Желтобрюх сразу понял Полякова и поверил людям, он перестал таиться, ползал по блиндажу, приходил, уходил, а намаявшись, ложился отдыхать у стенки, за Поляковским сундуком.

Вечером, когда в земляной полутьме блиндажа вспыхнули пыльные столбы косоого солнечного света и зажелтел янтарь смолы, выступавшей из досок, ополченцы увидели необычайную вещь.

Сергей перечитывал в это время письмо, Поляков тихонько тронул его руку и шепнул.

— Гляди-ка.

Сергей поднял глаза и рассеянно огляделся. Он не утирал слез, так как знал, что в полутьме блиндажа никто не увидит его заплаканных глаз, в сотый раз напряжённо вчитывающихся в строки письма.

Каска, висевшая в углу, покачивалась и звенела. Густой, сжатый столб света освещал её. Сергей увидел, что каску раскачивает желтобрюх, он казался медным в свете солнца. Присмотревшись, Сергей увидел, что змея медленно, с тяжёлым усилием, выползала из

своей шкурки, и новая кожа на ней казалась потной, блестела, как молодой каштан. Не дыша, следили люди за работой змеи вот-вот, казалось, она закричит, пожалуется — очень уж тяжело и медленно вылезать из крепкого, мёртвого чехла. Этот тихий полусумрак, пронзённый светом, и это никем невиданное зрелище — змея, доверчиво, в присутствии людей, меняющая кожу, — всё это захватило солдат

Притихшие, сидели они, и казалось, в них вошёл вечерний пыльный, сухой свет, и всё кругом было задумчиво, молчало. И вот в эту тихую минуту отчаянно крикнул часовой:

— Старшина, немцы!

И тотчас послышались один за другим два глухих удара, и блиндаж ухнул, вздрогнул, наполнился серой пылью.

Это немецкая дальнобойная артиллерия начала пристрелку с левобережного донского плацдарма.

В пыльный, жаркий августовский вечер в просторной комнате станичной школы за большим конторским столом сидел командир немецкой гренадерской дивизии генерал Веллер, тонкогубый человек с длинным костистым лицом.

Он просматривал лежавшие на столе бумаги, делая пометки на оперативной карте и отбрасывая в угол стола прочитанные донесения.

Работал он с чувством человека, знающего, что главное дело им уже сделано и текущие доделки не могут ни повлиять на предстоящие события, ни изменять их ход.

Мысли генерала, утомленного разработкой подробностей предстоящей операции, то и дело обращались к общему ходу событий прошедших месяцев и складывались так, словно он уже подготавливал мемуары, конспектировал свои размышления для учебников военного дела.

Финальная картина драмы, разыгранной гренадерами, танкистами и мотопехотой на просторном театре степной войны, вскоре завершится на берегах Волги; и генерала не оставляло волнение при мыслях о последних днях невиданной в истории войн кампании. Он ощущал край русской земли, он видел за Волгой начало Азии. Будь генерал философом и психологом, он, вероятно, задумался бы над тем, что это ощущение, такое радостное для него, должно неминуемо породить в русских иное, грозное, мощное чувство.

Но он не был философом, он был пехотным генералом. Он хранил в душе некую сладостную мысль и сегодня дал ей волю. Удовлетворение он найдёт не в почестях, а в суровой солдатской простоте, с которой он подымает славу Германии. Он тешил себя соединением двух полюсов — власти и солдатского подчинения, военного успеха и смиренного выполнения приказов, диктаторских поступков и ефрейторской исполнительности. В этой игре всеисилия и покорности, в единстве власти и подчинения была душевная утеха, сладость и горечь его жизни.

В эти летние дни он переживал редко достигающееся человеку в такой всеобъемлющей полноте чувство успеха.

Веллер объезжал речные переправы и видел сожжённые советские грузовики, разбитые бомбами и снарядами орудия, сожженные и развороченные танки. Он видел разбитые советские самолёты. Во вчерашней сводке верховного командования германской армии сообщалось, что «в колоне Дона закончены окружение и разгром 62 Советской Армии».

Ночью 18 августа Веллер донёс штабу армии, что в северо-восточной петле большого колена Дона, несколько северо-западной Сталинграда, силой передовых подразделений он форсировал Дон на участке Трехостровская, Акимовский и закрепился на захваченном плацдарме.

Дальнейший план был прост. После сосредоточения танковых и скоростных соединений на этом левобережном плацдарме командование предполагало вырваться к Волге севернее Сталинграда, с ходу занять заводской район, отрезать переправу через Волгу. В месте предполагаемого прорыва расстояние от Дона до Волги составляло не больше 70 километров. Одновременно наносили мощный удар по Сталинграду с юга танковые дивизии армии Готта, наступавшие вдоль железной дороги от Плодовитое Действию наземных сил

должен был предшествовать удар воздушного флота генерала Рихтгоффена.

Правда, при взгляде на карту операция в целом иногда казалась парадоксальной ведь вся огромная Россия нависла с севера над немецкой армией, казалось, миллионы тонн земли, неисчислимы массы людей колоссальной тяжестью давили на левый фланг армии Паулюса.

Однажды на северном крыле, в дни наибольшего августовского успеха, русские неожиданно перешли Дон и смяли итальянскую дивизию, прикрывавшую необычайно растянувшийся левый фланг армии.

Но, невидимому, они расценили успех как совершенно случайный и не придали своей вылазке на западный берег значения. Они даже не подняли шума в своих газетах по поводу того, что захватили дивизионную артиллерию итальянцев и угнали с собой за Дон около двух тысяч пленных. Правда, Советы с непонятным упорством обороняют плацдармы на западном берегу Дона в районах Серафимовича и Клетской. Но и это ведь практически бессцельно: многие важные операции германской армии проводились с открытыми флангами. Единственное, что раздражало Веллера и на что жаловался сам командующий армией, — это вечная спешка, вечное понукание. К чему ставке торопить игроков, успешно доигрывающих решающую партию?

Веллер увидел, как мимо окна провели какого-то пленного, должно быть армянина или грузина, со светлым пятном от споротой комиссарской звезды на рукаве. Пленный был бос, необычайно грязен, зарос чёрной щетиной, он шёл, припадая на раненую, обвязанную тряпкой ногу. В выражении его лица, казалось Веллеру, не было ничего человеческого — тупое, одновременно измученное и равнодушное. И вдруг человек этот поднял голову, посмотрел в сторону генерала; краткое мгновение они смотрели друг на друга, и Веллер увидел не мольбу, не просьбу о пощаде, а яростную, тёмную, тяжёлую ненависть во взгляде оборванного пленного. Веллер посмотрел на стол, где лежала карта, обозначавшая движение германских дивизий.

Он думал, что разгадку войны нужно искать на этой карте, а не в яростных глазах пленного комиссара.

Так, вероятно, топор, привыкший легко раскалывать лишённое сучков полено, склонен переоценивать свою тяжесть и остроту своего лезвия и недооценивать силы сцепления в могучем древесном стволе. Но вот топор, глубоко ворвавшись в суковатый ствол, вдруг останавливается, намертво схваченный силами напружившегося дерева. И кажется, вся чёрная земля, испытывавшая лютые морозы, битая ливнями, жжённая пожарами, изведавшая страшные июльские грозы и радостное томление весны, передаёт свою силу этому взбешённому, могучему стволу, глубоко ушедшему в неё корнями.

Веллер прошёлся несколько раз по комнате, половица у двери каждый раз, когда он ступал на неё, поскрипывала.

Вошёл дежурный офицер и положил на стол несколько донесений.

— Эта доска скрипит, — сказал Веллер, — нужно постелить здесь ковёр.

Дежурный поспешно вышел, и доска у двери снова скрипнула.

— Was der Fuhrer hat gesagt ? [Что сказал фюрер?] — спросил Веллер у запыхавшегося молодого денщика, пришедшего через несколько минут с большим, свёрнутым трубой ковром.

Тот пылливо посмотрел на строгое лицо генерала. Бог весть как, но денщик понял, какого ответа хотел от него Веллер.

— Fuhrer hat gesagt: Stalingrad muss fallen! [Фюрер сказал: Сталинград должен пасть!] — уверенно ответил денщик.

Веллер рассмеялся, он прошёлся по мягкому ковру, и вновь половица под ногой упрямо и сердито скрипнула.

В этот же пыльный и жаркий вечер, сидя в своем штабном кабинете, командующий шестой германской пехотной армией генерал полковник Паулюс думал о предстоящем в ближайшие дни захвате Сталинграда.

Окна, выходившие на запад, были завешены тёмными, тяжёлыми шторами, и

близившееся к закату солнце лишь кое-где пронзало плотную ткань сверкающими точками.

Тяжело ступая, вошёл адъютант командующего Адам, высокий полковник со щеками упитанного мальчика, и доложил, что командующий воздушной эскадрой Рихтгоффен прибудет через сорок минут.

Переговоры генералов должны были касаться готовившейся совместной операции наземных и воздушных сил, грандиозный масштаб которой волновал Паулюса.

Паулюс считал, что в пятидесятидневной битве, которую он начал 28 июня, сосредоточив части 6-й армии между Белгородом и Харьковом, он достиг решающего успеха; подчинённые ему три армейских корпуса — 12 пехотных дивизий, две танковые и две моторизованные дивизии, пройдя просторы донских полей, вышли к Дону от Серафимовича до Нижней Чирской, стояли под Клетской, занимали Кременскую, стояли под Сиротинской, заняли Калач.

Командование группы армий полагало, что после того, как Паулюс захватил 57 тысяч пленных, 1000 танков и 750 орудий (такие фантастические преувеличенные цифры, к удивлению трофейного отдела штаба Паулюса, опубликовала ставка), сопротивление советских войск подорвано. И Паулюс знал, что именно ему обязана Германия этой победой.

Он знал — о предстоящем с нетерпеливым ожиданием думают сегодня в Берлине несколько человек, чьё мнение для Паулюса было особенно важно. Полузакрыв глаза, он представлял себе вот он, победитель, финишировавший в грандиозной восточной кампании, остановит машину перед подъездом, подыметя по ступеням, войдёт в вестибюль и в своём простом солдатском мундире, подчёркнуто простом, подчёркнуто солдатском, пройдёт мимо толпы штабных генералов, мимо высших чиновников, мимо наделённых властью людей.

Лишь одно раздражало его. Ему нужно еще пять дней, максимум пять дней, а ставка требует, чтобы он начал послезавтра.

Потом он подумал о Рихтгоффене. Этот самоуверенный генерал полагал, что наземные войска должны находиться в оперативном подчинении у авиации, его апломб был безграничен.

Очевидно, он развращён лёгким успехом: Белград, Африка. И эта манера носить фуражку и по-плебейски закуривать потухшую папиросу, а не отбрасывать её в сторону, и этот голос, и неумение выслушивать собеседника до конца, и страсть объяснять в тех случаях, когда самому следует послушать объяснения. Он кое-чем напоминает счастливчика Роммеля, чья популярность обратно пропорциональна знаниям, военной культуре и серьёзности. И, наконец, эта развязная манера, ставшая жизненным принципом, приписывать авиации успех, достигнутый тяжкими трудами пехоты.

Зепп Дитрих, Роммель и вот этот Рихтгоффен — выскочки, недоучки, герои дня, люди дешёвой политической карьеры, позёры, развращённые лёгким успехом, ещё не помышлявшие об армии тогда, когда Паулюс уже кончал академию.

Так в этот знойный и пыльный вечер раздумывал Паулюс, глядя на карту, где могучим массивом Россия нависала над левым флангом его армии.

Рихтгоффен приехал весь запыхлённый, под глазами, на висках и возле ноздрей у него осело много пыли, и озабоченное лицо генерала казалось всё в серых лишайных пятнах. По дороге ему встретилась танковая колонна, видимо продвигавшаяся к району сосредоточения. Машины двигались на большой скорости, лязг и скрежет заполняли воздух, пыль была столь густой и непроницаемой, что танки, казалось, вздымали не пыль, а самую землю, словно лемехи огромных плугов. Они плыли в клубящихся плотных, рыже-коричневых волнах, и только башни и дула орудий видны были над тяжёлым морем захлёстывающей их пыли. Танкисты, видимо, были утомлены и сидели, сутулясь, держась руками за края люков, угрюмо оглядываясь. Рихтгоффен приказал шофёру съехать с дороги и, не дожидаясь, пока пройдёт железная колонна, двигаться по целине. Приехав в штаб Паулюса, он, не помывшись, пошёл к командующему армией.

Паулюс, с худым, горбоносым лицом задумавшегося ястреба, вышел к нему навстречу. После первых слов о жаре, пыли, загруженности дорог и мочегонных свойствах русских

арбузов Паулюс протянул Рихтгоффену телеграмму Гитлера. Её деловое значение было не так уж велико, но Паулюс с внутренней, невидимой на лице улыбкой следил за тем, как генерал авиации, несколько подавшись телом вперёд, упёрся ладонями в стол и медленно переходил от строки к строке, очевидно, обдумывая не прямой смысл, а общее значение этой телеграммы. Минувя фельдмаршала, Гитлер обращался к командующему армией по вопросам, имевшим отношение к использованию резервов, находящихся в глубине и подчинявшихся командующему фронтовой группой. В телеграмме имелось одно слово, в котором улавливалось недовольство Готтом, командующим 4-й танковой армией, оперировавшей

Южной Паулюса: очевидно, Гитлер разделял взгляд командующего 6-й армией, что танковые дивизии двигались в темпах, не соответствующих плану, и несли чрезмерные потери из-за боязни Готта широко и смело применять манёвр. Наконец, имелось несколько строк, лично неприятных Рихтгоффену: шестой армии отдавалось предпочтение в предстоящих действиях, тем самым авиация как бы признавалась привязанной к наземному командованию, а не подчинялась командованию люфтваффе — рейхсмаршалу.

Прочтя телеграмму, Рихтгоффен бережно положил ее на середину стола и слегка развёл руками, давая этим жестом понять, что документы такого рода не подлежат обсуждению и критике, а должны без всяких комментариев быть приняты к выполнению.

— Фюрер находит время руководить движением отдельных дивизий, — проговорил Рихтгоффен, указывая на телеграмму, — а не только определять общий ход войны.

— Да, это изумительно, — сказал Паулюс, немало слышавший жалоб на то, что фюрер лишил инициативы всех армейских командующих, и что они не могут без разрешения фюрера сменить часового у входа в штаб пехотного батальона.

Они заговорили о форсировании Дона в районе Трёхостровской. Рихтгоффен похвалил действия артиллерии, тяжёлых миномётов и храбрость солдат 384-й дивизии, первыми вступивших на восточный берег Дона. Эта операция создала плацдарм для предстоящего удара танковой дивизии и двух мотодивизий непосредственно по Сталинграду, их сосредоточение должно было закончиться к рассвету, и их-то движение на север задержало в дороге Рихтгоффена.

— Это можно было бы сделать и два дня назад, но я не хотел заранее настораживать русских, — сказал Паулюс и улыбнулся. — Они ждут удара от Готта, с юга.

— Пусть ждут, — сказал Рихтгоффен.

— Пять дней для меня достаточно, — сказал Паулюс, — а вам?

— Моя подготовка сложнее, я буду просить неделю. В конце концов это ведь последний удар, — ответил Рихтгоффен. — Вейхс всё торопит, хочет выслужиться, продемонстрировать темп; рискуем мы, не он.

Он склонился над планом Сталинграда и, водя пальцем по аккуратным квадратам, показывал, каков порядок сожжения города, какова последовательность и интервал заходов разрушительных волн, каков будет характер бомбардировки жилых районов, переправ, пристани, заводов и как наилучшим образом воздействовать на то заветное место, северную окраину Сталинграда, где в заранее определённый час появятся тяжёлые танки и мотопехота. Этот час он просил определить с возможной точностью. Их беседа была обстоятельной, и они ни разу не повысили голоса.

Затем Рихтгоффен нестерпимо обстоятельно, казалось Паулюсу, говорил о сложностях организации предстоящего налёта, бессмысленно подробно объяснял методику звёздного удара с десятков равноотстоящих от цели аэродромов. Ведь действия сотен машин разных конструкций и скоростей должны синхронно совпадать в пространстве не только с действиями тяжёлых и медлительных танков, но и находиться всё время в напряжённой взаимосвязи между собой. Он говорил об этом, желая привести ещё один довод в том тайном споре, который шёл между ним и Паулюсом. Спор этот не проявлялся в открытом несогласии, но они оба ощущали исчезающее взаимное раздражение. Причиной этому, считал Паулюс, была глубокая и совершенно демагогическая уверенность Рихтгоффена в

том, что авиация прорубает военную дорогу Германии, а танки и пехота лишь закрепляют успех, достигнутый авиацией.

Генералы решали судьбу огромного города... Их тревожили возможные контрудары русских с земли и воздуха, мощь их зенитной обороны. Обоих волновало отношение к их действиям Берлина и оценка, которую получают наземные и воздушные силы при разборе операции в генеральном штабе.

— Вы со своим корпусом, — проговорил Паулюс, — великолепно поддерживали шестую армию, когда два года назад ею командовал покойный фон Рейхенау при бельгийском прорыве у Маастрихта. Надеюсь, что ваша поддержка шестой армии при моём сталинградском прорыве будет так же успешна.

Лицо его было торжественно, а в глазах мелькнула желчная усмешка.

Рихтгоффен, посмотрев на него, грубо ответил:

— Поддерживал? Не знаю кто кого. Скорей Рейхенау поддерживал меня. И я не знаю всё же, кто будет прорывать — вы или я.

Утром к Веллеру зашёл проститься возвращавшийся в Берлин сотрудник оперативного управления полковник Форстер, седой и грузный мужчина лет шестидесяти. Их связывало долгое знакомство, начавшееся в ту пору, когда лейтенант Веллер служил в штабе того полка, которым командовал подполковник Форстер.

Веллер вниманием и особой приветливостью хотел подчеркнуть, что уважает прошлое старшинство своего седого гостя. Он знал, что Форстер в течение нескольких лет отказывался от службы в армии и разделял взгляды опального начальника генерального штаба Людвиг Века и даже участвовал в составлении Веком меморандума о гибельности новой войны для Германии. В этом меморандуме Век особенно предостерегал от войны с Россией, пророчил неминуемое поражение. Лишь в сентябре 1939 года Форстер написал письмо, в котором просил командование использовать его офицерский опыт, и благодаря поддержке Браухича был призван из запаса.

— С каким впечатлением вы уезжаете? — спросил генерал — Вы знаете, как важно для меня ваше мнение.

Форстер повёл массивными плечами и, глядя холодными старческими голубыми глазами в глаза Веллеру, ответил:

— Моё впечатление таково, что мне следовало бы в этот день приехать к вам, а не уезжать от вас. Но то, что я видел, не оставляет никаких сомнений мы на пороге достижения стратегической цели. — Он взволновался, взъерошил ладонью седой гинденбургский ёжик над морщинистым лбом и, подойдя к Веллеру, торжественно сказал — Скажу вам просто, как сказал бы восемнадцать лет назад: «Ты молодец, Франц».

— Превосходные солдаты, — сказал растроганный Веллер.

— Не только солдаты, — проговорил Форстер и улыбнулся командиру дивизии. Он не испытывал по отношению к Веллеру тяжёлого и мучившего его постоянно раздражения, которое вызывали в нём преуспевающие молодые офицеры.

Когда-то, в решающие дни Германии, в 1933 году, они встретились на курорте. Они с брезгливостью рассказывали друг другу о лидерах новой партии о наркомании и обжорстве Геринга, о патологической натуре Гитлера, об его психопатической мстительности, истерии, соединённой с кровожадностью, о бешеном честолюбии, соединённом с трусостью, об его смехотворной «интуиции», о подозрительном происхождении его железного креста Форстер много говорил об обречённости любой попытки военного реванша, о безграмотности политических шарлатанов, понятия не имеющих о науке войны и пытающихся подменить демагогическим шумом и идиотской болтовнёй логику генеральских умов, умудрённых опытом проигранной войны. Они оба помнили эти беседы, но неписанный кодекс суровой жизни в империи запрещал даже близким друзьям вспоминать такие опасные и ошибочные разговоры прошлого.

И вот сейчас, в ста километрах от Волги, в канун невиданной миром победы, Веллер, пожимая на прощание руку Форстера, вдруг спросил:

— Вы помните наши далёкие разговоры в парке, там, на взморье?

— Седина и годы не всегда бывают правы, — медленно проговорил Форстер. — Я всегда буду сожалеть о том, что не сразу понял свою ошибку. Время умнее меня.

— Да, в этой войне в стратегию введён новый элемент, — проговорил Веллер. — Размышления генерального штаба о том, что ширина русского пространства, выгодная для нас на первом этапе, будет бита глубиной пространства, выгодной для русских, оказались неверны.

— Теперь это понятно всем.

— Если вы приедете через две недели, вы найдёте меня здесь, — сказал Веллер и указал пальцем на дом, помеченный крестиком на плане Сталинграда. Правда, Рихтгоффен объявил нашему командующему, что будет просить отсрочки не на пять, а на семь дней, он взял это на себя. — Он проводил Форстера до двери и спросил: — Вы мне говорили, что разыскиваете своего родственника, лейтенанта, удалось вам его повидать?

— Я разыскал его, — ответил Форстер, — лейтенант Бах, собственно, будущий родственник, жених моей дочери, но повидать его мне не удалось, он находится на плацдарме, на левом берегу Дона.

— О, значит молодому человеку повезло, — сказал Веллер, — он увидит Сталинград раньше меня.

Летом 1942 года, после падения Керчи, Севастополя, Ростова, угрюмая сдержанность берлинской прессы сменилась радостными фанфарами победы. Успехи грандиозного донского наступления заставили забыть статьи, трактовавшие о суровости русской зимы, об упорстве и силе советских войск, о мощи советской артиллерии, о фанатическом мужестве партизан, о непостижимом сопротивлении русских под Севастополем, Москвой и Ленинградом. Успехи вытеснили воспоминания об ужасных потерях, о миллионах крестов над солдатскими могилами, о поездах с обмороженными и ранеными, день и ночь шедшими с Восточного фронта, и о пугавшей лихорадочной поспешностью кампании зимней помощи. Успехи донского наступления приглушили мысли о неудаче блицкрига, о несгибаемой силе русских, о безумстве восточного похода, о невыполненном обещании фюрера к середине ноября 1941 года захватить Москву, Ленинград и победно закончить войну.

Утром в Берлине начиналась жизнь, полная деловой суеты и грохота.

Телеграф, радио и газеты сообщали о всё новых победах на Восточном фронте и в Африке, о полуразрушенном Лондоне, об успехах союзной Японии, о действиях подводного флота, парализовавшего военные попытки Америки. Общественная атмосфера была напряжена — ожидалось новые, ещё большие успехи, близость мира Поезда и пассажирские «юнкерсы» каждодневно доставляли в Берлин десятки высокопоставленных лиц — знаменитых промышленников, королей, наследных принцев, премьер министров, генералов. Из столиц Европы — Парижа, Амстердама, Брюсселя, Мадрида. Копенгагена и Праги, Вены, Бухареста, Лиссабона и Афин, Белграда и Будапешта — они ехали в Берлин. Берлинцы посмеивались, следя за лицами вольных и невольных «гостей» фюрера. Подъезжая на автомобилях к серому зданию Новой имперской канцелярии, охваченные трепетом школяров, они выдавали свои чувства нервно оглядывались, ёрзали, хмурились. Газеты непрерывно сообщали о дипломатических приёмах, завтраках, обедах, беседах в рейхсканцелярии, в полевой ставке, Зальцбурге, Берхтесгадене, о военных и торговых договорах и соглашениях. С приближением немецких войск к низовьям Волги и к Каспийскому морю в Берлине заговорили о бакинской нефти, о соединении с японцами, вспомнили о Субхас Чандра Босе, предполагаемом гаулейтере Индии.

Товарные поезда везли из славянских и романских стран рабочих, зерно, лес, гранит, мрамор, сардины, вино, руду, масло, металл...

Берлин торжествовал, гудел, и казалось, особенно пышно зеленели на улицах и в садах липы, каштаны, вился дикий виноград и плющ

Иллюзия общности судьбы якобы идущего к победе империалистического государства с судьбой малых людей в ту пору была сильна в фашистской Германии. Многим казалось

жизненной реальностью объявленная Гитлером истина: кровь, текущая в арийских жилах, объединяет всех немцев под знаменем славы, богатства и власти над миром. То была пора презрения к чужой крови и оправдания безмерных злодеяний и жестокостей власти. То была пора оправдания огромных потерь, сиротства, солдатских могил всенемецким, якобы народным, тотальным успехом. И всё же с приходом вечера начиналась вторая жизнь. Наступал мрак, время воздушного минотавра. Это были часы страха и слабости, часы разговоров шёпотом в кругу семьи и близких, часы одиноких мыслей, усталости, слез по убитым на Восточном фронте, время тоски, сетования на нужду и голод, время антигосударственных мыслей, сомнений, время смутных предчувствий.

Эти два ручья текли через жизнь немецкого народа, через жизнь каждого немца — служащего, рабочего, профессора, девушки, ученика начальной школы Необычайное раздвоение — и современникам трудно было тогда понять, к чему ведет оно...

В Новой имперской канцелярии начинался рабочий день. Несмотря на утренний час, солнце жарко нагрело серые стены и каменные плиты тротуара. Боясь опоздать, торопливо шли технические работники, машинистки, стенографистки, деловиды, архивариусы, женщины, обслуживающие «казино» — столовую и буфет, младшие сотрудники адъютантуры и приёмной, секретариатов рейхсминистров. Костистые нацистки шагали быстро, размахивая руками, не отставая от молодых людей в военной форме; сотрудниц рейхсканцелярии можно было отличить от обычных берлинок той поры: они не носили с собой кошёлочек для провизии, так как имелось указание не приносить на работу никаких объёмистых пакетов и сумок это роняло достоинство служащих высокого учреждения. Распоряжение было отдано якобы после того, как Геббельс столкнулся с сотрудницей библиотеки, нагруженной сумками, полными капустой, банками с маринованными бобами и огурцами, библиотекаря растерялась и уронила сумку, просыпала горох из бумажного пакета, и Геббельс, пренебрегая болью в ноге, присел на корточки, положив рядом с собой пачку бумаг, и стал собирать рассыпавшиеся горошины. Сотрудница поблагодарила его и обещала хранить горошины, собранные с пола хромым доктором, как воспоминание о его простоте и добро сердечности.

Сотрудники и сотрудницы, выходя в это жаркое утро из метро и трамваев и приближаясь к зданиям правительственного района со стороны Фридрихштрассе либо Шарлоттенбурга, сразу же по множеству признаков определяли, что в этот день Гитлер приехал в Берлин и посетит рейхсканцелярию. Дисциплинированные седовласые служащие шли со строгими лицами, как бы не желая глядеть на то, что по штату им не положено замечать. Но молодые подмигивали друг другу, проходя мимо добавочных полицейских и военных постов, оглядываясь на многочисленных людей в штатском, странно похожих друг на друга внимательным выражением жестких глаз проникающих, как рентгеновские лучи, сквозь кожу портфелей. Это зрелище развлекало молодых сотрудников: в последнее время Гитлер редко бывал в Берлине, большей частью он находился в Берхтесгадене либо на фронте — то есть в своей полевой ставке, расположенной в пятистах километрах от места боев.

Служебные пропуска у входа проверялись старшими сотрудниками бюро. За их спиной стояли чины личной охраны фюрера, медленным взором оглядывая проходящих.

Из-за полуоткрытых высоких застеклённых дверей кабинета, выходящих в сад, доносился запах свежеспелой зелени. Кабинет был огромен, и прогулка из одного его конца, от камина, где стояло обитое розовым шёлком кресло и письменный стол, до дверей приёмной занимала немало времени. Путь гулявшего вёл мимо массивного, величиной с пивную бочку, глобуса, мимо длинного мраморного стола, где были расположены карты, мимо стеклянных дверей, идущих на террасу и в сад. В саду негромко, сдержанно, точно боясь потратить силы, нужные. Для большого летнего дня, переговаривались в траве дрозды. Прохаживавшийся был одет в серый френч и бриджи На нём была надета белая рубашка с отложным воротником, с черным галстуком, стянутым тугим узлом На груди его были солдатский крест, знак ранения и почётный партийный значок с золотой полосой вокруг

знака гакенкройца. Вата, подложенная умелым портным, скрывала несоразмерную с почти женской шириной бёдер покатошь плеч. В его фигуре было нечто, обычно не совмещающееся в одном человеке, — он был одновременно худ и упитан, костистое лицо, впалые виски, длинная шея, узкий затылок принадлежали худому человеку, а зад и толстые ноги были словно взяты от другого, толстого, упитанного.

Костюм его, железный крест-символ солдатской отваги, значок ранения напоминание о перенесённом страдании, значок NSDAP со свастикой — расовой и государственной эмблемой Новой Германии — все это было известно по десяткам фотографий, рисунков, хроникальных кинофильмов, почтовых марок, значков, гипсовых, мраморных барельефов, по карикатурам Лоу и Кукрыниксов, по плакатам и листовкам.

И всё же человек, десятки и сотни раз видевший Гитлера на портретах, невольно заколебался бы, его ли он видит, взглянув в этот час на не нарисованное, а на живое, нездоровое лицо, с припухшими веками, с выпуклыми, воспалёнными глазами, с высоким узким и бледным лбом, большим мясистым носом с большими ноздрями.

В эту ночь фюрер спал мало и проснулся очень рано. Утренняя ванна не вернула ему бодрости. Может быть, утомлённый сонный взгляд и придавал ему то необычное, не встречающееся на портретах, выражение

В часы сна, когда он лежал в длинной ночной рубашке под одеялом, бормотал, всхрапывал, плямкал губами, скрежетал большими зубами, поджимал колени, переворачивался с боку на бок, то есть проделывал всё то, что проделывают во сне пятидесятилетние люди с расшатанной нервной системой, нарушенным обменом веществ и сердечными обмираниями, он, конечно, был больше похож на человека, чем в минуты бодрствования, — эти часы беспокойного, некрасивого сна, собственно, были часами его человекоподобия. Кривая человекоподобия падала по мере того, как, проснувшись, поёжившись от утреннего озноба, он спускал ноги на ковёр, шёл в ванную, потом надевал приготовленное слугой белье, бриджи, зачёсывал на покатый лоб справа налево тёмные волосы и проверял перед зеркалом, точно ли соответствует причёска и выражение подбитых мешками глаз принятому и узаконенному образцу, одинаково обязательному для фюрера Германии и для снимающих его фотографов.

Гитлер подошёл к двери, ведущей в сад, опёрся плечом о нагретую солнцем стену. Прикосновение горячего шершавого камня, видимо, было приятно ему, и он прижался к тёплой стене щекой и ляжкой, стараясь телом перенять от камня солнечное тепло, — обычное инстинктивное стремление холоднокровных существ.

Так стоял он, нежась на солнце, закрыв глаза, распустив мышцы лица в сонную и довольную улыбку, растроганный и взволнованный своей девичьей, как ему подумалось, позой.

Его серый френч и бриджи сливались по цвету со светлосерым камнем имперской канцелярии, и нечто непередаваемо страшное было в тихом покое некрасивого, слабого существа со впалым затылком и опустившимися плечами.

Послышались негромкие шаги, Гитлер резко повернулся.

Но подошедший — высокий, статный, с обозначившимся брюшком, румянолицый, с сочным, немного выпяченным ртом и маленьким подбородком — был другом, а не врагом.

Они прошли в кабинет, и рейхсфюрер СС, министр полиции Гиммлер шёл, склонив голову, точно стесняясь того, что он ростом выше рейхсканцлера.

Гитлер поднял белую, казавшуюся влажной ладонь и раздельно произнёс:

— Я не хочу объяснений... Я хочу от тебя одного слова: исполнено.

Он сел за стол и резким жестом пригласил Гиммлера сесть напротив себя. Тот, щурясь через толстые стёкла пенсне, заговорил спокойным и мягким голосом

Это был человек, знавший горький корень дружеских отношений на вершине государственного гранита. Он знал, что не способности, не ум, не знания привели его, служащего фирмы по производству искусственного азота и организатора птичьих ферм, к высоте власти.

Его страшная власть топора имела лишь один фундамент — страстное исполнение воли человека, которого он сейчас по-студенчески просто называл на «ты». Чем безмерней и бездумней была его послушная покорность в кабинете Гитлера, тем сильнее была его мощь за пределами этого кабинета... Эти отношения складывались не просто? вечного напряжения требовала гибкая, темпераментная покорность, которая боялась не только свободы мысли, но и подозрений в угодливости, сестре лицемерия и измены, эти отношения жаждали лишь одного: беспредельной рабской преданности.

Эта преданность могла и должна была проявляться в сложных и разнообразных формах, не только в солдатском послушании — порой ей следовало быть ворчливой или угрюмой, иногда ей выгодно было спорить, и она становилась груба, противоречила, упрячилась, упиралась... Гиммлер говорил с человеком, которого знал в далёкие, прошедшие годы, в тёмную пору жалкой, трусливой и подлой слабости. Каждую минуту этот человек должен был чувствовать какой-то частью своей души эту давнишнюю, идущую через годы связь, которая, казалось, главней и важней сегодняшнего часа. Но одновременно этот человек должен был чувствовать совершенно противоположное — комичность, полную незначительность этой прошлой связи сегодня. Она, в сущности, ничего не значила, она подчёркивала колоссальность их неравенства и никогда, ни при каких обстоятельствах не могла намекнуть на равенство. И в каждом разговоре с фюрером он обязан был выразить эти две противоположности. То был мир, где нереальной была действительность, где единственной реальностью были минутное настроение, каприз фюрера.

И сейчас Гиммлер сказал о том, что интерес фюрера заставляет Гиммлера спорить с ним. Он, Гиммлер, знает желание Гитлера, которое было бы ужасно, не будь оно рождено давно прошедшим, но неизгладимым личным страданием, благородной в своей безотчётности ненавистью, страстным инстинктом самосохранения расы, выразителем которого является фюрер. Гнев, не знающий различия между вооружённым врагом и новорожденным, слабой девушкой-подростком и беспомощной старухой, опасный и страшный гнев... Должно быть, только он, Гиммлер, один из всех близких фюрера знает, сколько воли нужно для борьбы с внешне беспомощными и слабыми, как опасна такая борьба. Это восстание против тысячелетий человеческой истории, это вызов гуманистическому предрассудку человечества. Чем внешне беспомощней и слабей жертвы, тем тяжелей и опасней борьба. Только он, Гиммлер, единственный из всех друзей фюрера знает мощь подготовленной акции, которая на языке расслабляющего предрассудка тысячелетий называется организованным массовым убийством. И пусть фюрер верит, что Гиммлер горд разделить с ним страшную тяжесть этого груза. Но пусть никто, даже самые преданные друзья, не знают всей горечи его труда. Пусть лишь он один увидит те глубины, которые раскрыл ему фюрер, он один различит в них истину нового созидания.

Он говорил быстро, убеждённым, взволнованным голосом и всё время чувствовал на себе тяжёлый взгляд Гитлера.

Министр хорошо знал, что в ту минуту, когда Гитлер, казалось, вовсе не слушает докладчика и думает о чём-то своем, он совершенно непонятным образом подмечал какую-нибудь неуловимую тонкость в сочетании мыслей, даже в интонации, и своей внезапной усмешкой заставлял вздрагивать.

Гиммлер прикоснулся рукой к лежавшим на столе бумагам.

Фюрер знает проекты, а он, Гиммлер, видел своими глазами, видел на пустынных землях Востока строгую простоту газовых камер среди сосновых лесов, подъезды и ступени, украшенные цветами... Печальная музыка расставания с жизнью и высокий огонь кремационных печей среди ночи. Не каждому дано понять поэзию перевозданного хаоса, смешавшего смерть и жизнь.

Это был сложный и трудный разговор. Гиммлер знал, что каждый такой разговор, затрагивает ли он будущее немецкого народа, ущербность французской живописи, либо совершенства подаренной ему фюрером молодой овчарки, или небывалое число яблок, снятое в саду фюрера с молодой яблони, либо разоблачение «тайного еврейства» Рузвельта,

всегда преследует одну и ту же главную и тайную цель — приблизить его к фюреру ближе тех других трёх-четырёх, которые вместе с ним делили призрачное доверие Гитлера.

Но движение к этой цели не было просто, и когда фюрер был раздражён Геббельсом или подозревал Геринга, с ним следовало спорить и не соглашаться с его недовольством. Разговор с Гитлером был всегда сложен и опасен, его подозрительность была беспредельна, настроения подвержены быстрым изменениям, выводы почти всегда алогичны.

И сейчас Гитлер внезапно, перебив его, сказал:

— Я хочу слышать: исполнено! Я хочу слышать: исполнено! Я не хочу, закончив войну, возвращаться к этому вопросу. Зачем мне ступени, украшенные цветами, и все эти михельские профессорские проекты. Мало, что ли, рвов в Польше, мало, что ли, бездельников в полках СС

Он привстал, собрал со стола бумаги и некоторое время, точно накапливая раздражение, продержав их в воздухе, с силой швырнул обратно на стол

— На кой чёрт мне ваши проекты и ваша дурацкая мистика с цветами и музыкой! Кто это сообщил тебе, что я мистик? Ничего этого я знать не желаю! Чего ты медлишь? У них танки? Пулемёты? Авиация? — Он тихо спросил: — Неужели ты не понимаешь? Неужели ты хочешь терзать меня, когда все силы мои собраны для войны? — Он встал из-за стола и подошёл к министру. — Сказать тебе, откуда в тебе это стремление к оттяжке и к тайне? — Он посмотрел на розовую, просвечивающую среди поредевших волос кожу на голове Гимmlера и брезгливо усмехнулся — Неужели ты не понимаешь этого? Ты лучше всех знаешь пульс народа, но неужели ты не понимаешь себя? Я-то понимаю, откуда это желание погрузить всё в тьму лесов и в мистику ночей. Ты боишься! И это от неверия в меня, в мою силу, в мой успех, в мою борьбу! Ты не верил, я прекрасно помню, и в двадцать пятом, и в двадцать девятом, и в тридцать третьем, и даже тогда, когда я сокрушил Францию. Трусливые души, когда ж вы поверите? Неужели, когда любой остолоп в Европе уже знает, что в мире есть одна лишь реальная сила, ты узнаешь об этом последним? Теперь, когда я поставил Россию на колени, когда она простоит коленопреклонённой пятьсот лет, ты всё ещё не веришь? Мне незачем скрывать свои решения. Сталинград будет взят через три дня. Ключ победы в моих руках. Я достаточно силён для этого. Пора тайн миновала. То, что я задумал, я сделаю, и никто в мире не посмеет помешать мне...

Он сжал ладонями виски, откинул со лба волосы и, оглянувшись, несколько раз повторил:

— Я вам покажу цветы, я вам покажу музыку!

В приёмном зале рейхсканцелярии ожидал прилетевший от Паулюса полковник Форстер.

Форстеру впервые в жизни предстояло видеть Гитлера с глазу на глаз, и свидание это радовало и страшило его.

Ещё вчера в такой же утренний час он пил кофе и смотрел в окно на старуху в рваном мужском пиджаке, гнавшую по улице серую овцу. Вчера в этот утренний час он шёл по пыльной, нелепо широкой улице казачьего поселения, именуемого станицей...

Вечером самолёт сел на аэродроме Темпельгоф, но Форстер не смог сразу попасть домой — пассажиров нескольких снизившихся «юнкерсов» охрана не подпустила к выходу из воздушного вокзала. Среди ожидавших были генералы, они рассердились и требовали объяснения. Служащие аэродрома разводили руками... В это время, нарушая все правила, по лётному полю пронёсся от севшего вдали самолёта блестящий чёрный автомобиль и следом за ним три открытые машины. Один из пассажиров сказал:

— Гимmlер, он при нас вылетел из Варшавы. И Форстер ощутил холодок страха перед силой, которая, казалось ему, была больше той, что в дыму и пыли, ломая сопротивление русских, рвалась к Волге. Он попал домой лишь поздно ночью.

Его встретили жена и дочь.

Форстер при радостных вскриках «ах, фати!» вынимал из чемодана привезённые подарки — маленькие сухие тыквы, именуемые в украинских деревнях «тара-куцьки»,

глиняные горшочки для молока, деревянные деревенские солонки и ложки, вышитые полотенца, бусы — набор экзотических предметов, к которым питала страсть Мария, учившаяся в художественной школе. Всё это тут же было присоединено к раритетам — тибетским вышивкам, пёстрым албанским туфлям, цветным малайским цыновкам.

— А письмо? — спросила Мария, когда отец вновь нагнулся над чемоданом.

— Письма нет, я не видел твоего студента.

— Разве Бах не в штабе? — спросила она.

— Нет, твой студент стал танкистом.

— Господи, представляю себе Петера на танке. Как же это, под конец войны?..

Именно в это время Форстера позвали к телефону. Негромкий голос предупредил, что за полковником утром заедут, просили подготовиться к докладу. Форстер понял, кому предстоит докладывать: с ним говорил старший сотрудник адъютантуры фюрера.

— Что с тобой? — спросила жена, заметив на раскрасневшемся после семейной встречи лице мужа иное, странное волнение.

Он молча обнял её.

— Большой день в моей жизни, — тихо сказал он.

Она подумала, что лучше бы большой день наступил не сегодня, но ничего не сказала.

Произошла странная вещь: дважды за сутки Форстеру пришлось столкнуться с человеком, которого он до этого дня ни разу близко не видел за все годы своей жизни. Подойдя к длинному, растянувшемуся на квартал двухэтажному зданию рейхсканцелярии, он обострившимся от волнения и любопытства взором отмечал подробности, о которых расскажет жене и дочери, — чёрную небольшую доску с золотым орлом у входа, сосчитал высокие ступени, измерил площадь розового ковра, покрывающего, как ему показалось, три четверти гектара, коснулся ладонью серой, под мрамор, стены, сравнил бронзовые бра с бесчисленными ветвями деревьев, оглядел замерших у внутренней арки неподвижных, литых из стали, часовых в светлых серо-голубых мундирах с чёрными обшлагами. За открытым окном, ведущим на улицу, послышалась короткая, словно приглушённые выстрелы, команда, звяканье оружия, чёткие негромкие приветствия.

Форстер увидел, как плавно остановился у подъезда огромный, блестящий лаком и стеклом автомобиль, тот самый, что нёсся накануне по бетонным плитам Темпельгофа, а две открытые машины, шедшие следом, почти не замедляя скорости, развернулись, и с привычной ловкостью на ходу из них выскочили чины охраны.

Через минуту мимо него под арку, ведущую к кабинету Гитлера, быстрым шагом прошёл, улыбаясь пухлым ртом, рейхсфюрер СС в высокой массивной фуражке, в развевающимся сером плаще.

Форстер ожидал вызова, сидя в кресле, ощущая непроходящее, всё нарастающее волнение. Минутами ему казалось, что у него вот-вот начнётся сердечный припадок с удушьем и тупой, тяжёлой болью под лопаткой. Его угнетали тишина и безразличное спокойствие секретарей — они были совершенно равнодушны к полковнику, прибывшему ночью из-под Сталинграда.

В таком ожидании прошло около часа.

Внезапно, по какому-то неуловимому движению в приёмной, Форстер понял, что Гитлер остался один в кабинете. Он вынул платок и тщательно обтёр ставшие влажными ладони. Казалось, с секунды на секунду его могут позвать. Но после этого прошло ещё двадцать минут тяжкого напряжения. Форстер хотел подготовиться к возможным вопросам, но навязчивая мысль мешала ему, он в тысячный раз в уме репетировал удар каблука о каблук, слова приветствия. «Точно шестнадцатилетний кадет перед первым парадом», — подумал он и провёл ладонью по волосам. Затем он подумал, не забыли ли о нём, он просидит так шесть часов, служащие начнут улыбаться, и кто-нибудь скажет ему:

— Пожалуй, вам нет смысла ждать, получена радиограмма, что фюрер прилетел в Берхтесгаден.

И ему захотелось позвонить домой, запретить домашним разглашать среди знакомых

новость.

Зажётся рубиновый глазок на мраморном пульте.

— Полковник Форстер, — произнёс чей-то тихий и словно укоризненный голос.

Форстер встал, вдруг задохнулся, хотел пойти медленным шагом, чтобы восстановить дыхание; он не видел человека, подводившего его к двери кабинета, он уже ничего не видел, кроме блестящей высокой дубовой двери.

— Быстрой, — шёпотом окликнул его тот же голос, но сейчас он был грубый, властный.

Дверь открылась, и, конечно, всё произошло не так, как рисовал себе Форстер.

Он думал сразу же после приветствия быстрым шагом подойти к письменному столу, а получилось, что он остановился у двери, а Гитлер сам шёл к нему из глубины кабинета, бесшумно ступая по толстому ковру. Сперва он казался необычайно похожим на тысячи объединённых однообразием изображений на картинах, фотографиях, почтовых марках, и Форстер на миг ощутил себя не зрителем, а персонажем фильма, попавшим на экран при дневном освещении, — из глубины кадра бесшумно наплывала на него знакомая фигура. Но чем ближе Гитлер подходил, тем меньше лицо его казалось похожим на миллионы изображений, оно было живым, бледным, с жёлтыми большими зубами. Форстер увидел его влажные голубоватые глаза, редкие ресницы и тёмные отёчные дуги под глазами.

Форстеру показалось, что большие малокровные губы фюрера усмехнулись, словно он понял нынешнее трепетное состояние старого полковника и вспомнил его прежние антигосударственные мысли.

— Фронтовой воздух, видимо, пошёл вам на пользу, — сказал Гитлер

Форстера поразила обыденность интонаций негромкого голоса; казалось, что из этого рта мог исходить лишь острый, как осколки бутылки, фанатичный, зловеющий призыв, гипнотизирующий двадцать тысяч участников митинга в Спорт-Паласе.

— Да, мой фюрер, я прекрасно себя чувствую, — ответил Форстер, и голос его задрожал от покорного волнения, а внутри словно эхо повторило: «Мой фюрер, мой фюрер, мой, мой».

Но, конечно, он сказал сущую неправду. В самолёте он себя плохо чувствовал и, боясь припадка, принял таблетку нитроглицерина. А дома он не спал до утра, мучимый одышкой и сердечными перебоями, десятки раз смотрел на часы, подходил к окну, вслушиваясь, не пришёл ли за ним автомобиль.

— Паулюс ночью просил у меня отсрочки на пять дней. А за час до этого мне доложили жалобу Рихтгоффена, он хочет начать, хотя его подготовка сложнее, а Паулюс настаивает на отсрочке. Я недоволен им.

Форстер вспомнил о том, что командующий воздушными силами обещал просить у Гитлера более длительный срок на подготовку операции, — очевидно, изменив слову, он пытался повредить Паулюсу. Но Форстер уж понимал, что говорить в этом кабинете правду ему не дано, да и есть ли такие смельчаки...

— Да, мой фюрер, подготовка пехоты куда проще, — сказал он.

— Пойдёмте к карте... — негромко произнес Гитлер. Он шёл впереди Форстера, опустив руки, сутуля спину, его голова была выстрижена по солдатской манере, и анемичная полоса бледной, голой кожи с пятнами после недавней стрижки шла от шеи к затылку и мясистым ушам. В этот миг естественное равенство установилось между ними — два человека молча шагали по одному ковру. Это чувство было противоположно тому, что испытал Форстер, когда на параде в честь победы над Францией увидел фюрера Германии. Он шагал тогда вот этой же быстрой походкой не властителя, а нервного обывателя, — и, отстав от него, шли десятки фельдмаршалов и генералов, в касках и нарядных фуражках, шли той нестройной, толкающейся толпой властительных людей, которым не обязателен железный порядок военного парада. Казалось, пропасть отделяет Гитлера от всех окружавших его, не метры, а километры. А тут-плечо его касалось плеча Форстера.

В центре очень длинного стола, стоявшего параллельно окнам, была разложена карта

Восточного фронта, вправо от нее лежала другая. Форстер по большому количеству синей и жёлтой краски понял, что это Средиземноморский театр Киренаика, Египет; он мельком заметил отмеченные карандашом Мерса-Матрух, Дерну, Тобрук. Этот стол, зеркальные высокие двери и окна, глобус, камин с массивной решёткой, это кресло видел он на фотографиях, в журналах, и сейчас он вновь узнавал всё это со странным чувством: то ли он видел это когда-то во сне, то ли сейчас ему снится, что видит он всё это наяву.

— Где вчера был штаб Паулюса? — спросил Гитлер, Форстер указал на карте пункт и сказал:

— Сегодня с утра штаб должен был переместиться в Голубинское, на берег Дона, мой фюрер. Гитлер оперся на стол руками.

— Полковник, я слушаю, — сказал он.

Форстер стал докладывать.

Волнение полковника не уменьшалось, а росло. Гитлер пристально и угрюмо смотрел на карту, нижняя губа его немного отвисла. Форстеру казалось, что все слова об обеспеченности темпов и коэффициентах ввода резервов, видимо, лишь раздражали фюрера своей ненужностью и мешали ему думать. Форстер почувствовал себя ребёнком, лепечущим перед рассеянным и озабоченным взрослым. Он в юности представлял себе истинных военных вождей внимательными к новостям войны, ищущими стратегических разгадок не только в докладах генералов, но и в простодушных рассказах солдат;

они, казалось ему, заглядывали в глаза молодым лейтенантам и подстерегали тайну успеха в размышлениях стариков-ветеранов и обозных солдат. Но, видимо, он в юности ошибался.

Форстер стал говорить тише, медленнее. Вовсе замолчать он не решился. Гитлер покашлял и, не поворачивая головы, спросил:

— Вам известно о том, что Сталин на Волге?

— Нет, таких данных нет, мой фюрер. Гитлер улыбнулся.

— Данных нет?

Вчера Форстеру казалось, что приказ взять Сталинград 25 августа родился из знания обстановки, точного расчёта, из проникновения в детали событий. Гитлер, казалось ему, учёл неистраченные моторесурсы танков, знал подвижность тылов, количественные и качественные преимущества воздушных сил, ясно представлял динамическую силу каждой пехотной дивизии, темп движения к фронту резервов, боеприпасов, характер коммуникаций. Ему казалось, что информация фюрера бесконечно широка и богата, что, произнося: «ЗтаНп-га! тизз ГаПеп!», он учёл и зависимость проходимости дорог в Донской степи от метеорологических условий, и потопленные английские транспарты, не дошедшие до Мурманска, и удар на Александрию, и события на Сингапуре.

Сейчас он понял, что слова «Stalingrad muss fallen!» родились из иных оснований, более веских, чем действительность боевых полей. Так он хотел!

Форстер со страхом подумал, что Гитлер перебьёт его, станет задавать вопросы. Он слышал о манере фюрера нетерпеливо и беспорядочно задавать вопросы, сбивая этим докладчика. При большой раздражительности фюрера это часто губило докладчиков, не знавших, каких ответов он ждёт от них. Но сейчас Гитлер молчал.

Форстер не понимал, что видел фюрера в те минуты, когда ничьё постороннее суждение его не интересовало; он в такие минуты не читал сводок и радиошифра: наступление армий не определяло хода его размышлений; единственно ход его мысли, казалось ему, определял движение событий и сроки свершений.

Инстинктивное чувство подсказывало Форстеру, что лучше говорить фюреру, с безразличным терпением слушавшему и молчавшему, как раз о той части проблемы, которая не находится в его, фюрера, воле и власти. Он заговорил о численности советских войск на юго-востоке, о русских резервах, обнаруженных последними данными воздушной и агентурной разведки, о ночном движении с севера к Саратову пехотных и танковых частей, о вероятном варианте обороны города, который примет Генштаб Красной Армии, об

опасности флангового контрудара с северо-запада: кое-какие едва уловимые признаки такого намерения у русских он заметил. Он нарочно, чтобы заинтересовать фюрера, преувеличил значение таких опасений, хотя сам совершенно не верил в них. Он радовался своему дипломатическому чутью, хотя говорил именно то, что особенно раздражало и сердило Гитлера.

Гитлер вдруг с любопытством посмотрел на него.

— Вы любите цветы, полковник?

Опешивший Форстер, никогда не испытывавший интереса к красотам флоры, не колеблясь, ответил:

— Да, мой фюрер, я очень люблю цветы.

— Я так и думал, — сказал Гитлер, — ведь и генерал-полковник Гальдер увлекается ботаникой.

Возможно, он думал о том, что старым военным придётся искать иных занятий. Вероятно, он намекал на отставку показавшегося ему недалёким Форстера...

— Вопрос о Сталинграде решён, я не стану менять срок, данный мною, сказал Гитлер, и в голосе его появилась скрипящая, жестяная нота, которую Форстер слышал при трансляциях его речей. — Мне не интересно, что решили русские, пусть узнают, что решил я.

Форстер понял, что Гитлер не станет слушать главной мысли о прорыве внутреннего оборонительного обвода с выходом к Волге, которая Форстеру казалась особо обоснованной, совершенной Гитлер раздражённым голосом сказал:

— Паулюс — способный генерал, но он не понимает, что значит для меня время, сутки, час... К сожалению, этого не понимают не только мои генералы. Он подошел к письменному столу и брезгливо отодвинул мизинцем лежащие на нём бумаги, потом постучал по этим бумагам карандашом, несколько раз повторил? Цветы, цветы, музыка среди сосновых лесов, мошенники.

Всё большее напряжение, мучительный страх охватывали Форстера — таким чуждым и непонятным был тот, кто, казалось, забыв о нем, быстрой походкой зашагал, то удаляясь, то стремительно приближаясь к нему. Вдруг ему показалось, что Гитлер, внезапно вспомнив о нём, крикнет, затопает ногами, Форстер стоял, опустив голову, шли секунды ужасной тишины.

Гитлер остановился и произнёс:

— Ваша дочь, я слышал, слаба здоровьем. Передайте ей привет. Какие у неё успехи в художественной школе? Я был бы счастлив заняться живописью, будь у меня возможность... Время... Время... Я улетаю сегодня на фронт... Я теперь тоже гость в Берлине.

И он, улыбаясь серыми губами, протянул Форстеру свою холодную и влажную руку, сожалея, что не может продолжать с ним беседу

Форстер дошел до угла, где ожидал его автомобиль. Он ощутил, казалось ему, силу фюрера, заставившую его трепетать «Передайте ей привет, передайте ей привет», — несколько раз повторил он. Садясь в машину, он почему-то вспомнил, что вчера днём самолёт, летевший к Варшаве над сосновым лесом и жёлтыми песчаными пустырями, вдруг резко изменил курс. Форстер успел заметить ниточные рельсы одноколейной железной дороги, шедшей между двумя стенами сосновых деревьев к площадке, где среди досок, кирпича, белой извести копошились сотни людей. Несколько сигнальных запретительных ракет заставили лётчика резко изменить курс. По-видимому, здесь шло секретное военное строительство. Штурман, наклонившись к уху Форстера с той фамильярностью, какую позволяют себе в воздухе лётчики в обращении к высокопоставленным пассажирам, сказал, указывая в окошко:

— Гиммлер в этом лесу строит храм для варшавских евреев, боится, что мы разгласим раньше срока радостный для них сюрприз.

Он почувствовал, что фюрер в своём стремлении к мировому господству утратил обычные житейские представления. В такой холодной высоте уже не было добра и зла,

ничего не значили страдания, не могло быть милосердия, упрёков совести...

Но эти напряжённые и непривычные мысли были трудны, и через несколько секунд Форстер отвлекся, стал смотреть на нарядных людей в машинах, на детей, стоящих с бидончиками в очереди, на толпу, выходящую из тьмы метро и идущую в тьму метро, на лица молодых и старых женщин, занятых заботами дня, несущих портфели, пакеты, сумки...

Нужно заранее решить, какие из своих ощущений и наблюдений следует рассказать в генеральном штабе, какие — знакомым, какие — близким друзьям. А ночью в спальне шёпотом он расскажет жене о своём страхе и о том, что Гитлер не похож на свои фотографии — сутул, сер, одутловат, с нездоровыми мешками под глазами.

Он мысленно повторял все свои ответы, каждую фразу своего доклада, и его поразила простая мысль: всё, что он говорил, — касалось ли это его самочувствия, пятидневной отсрочки, которую просил Паулюс, положения русских армии, любви его к цветам — всё, от первого до последнего слова, было ложью, комедианством. Он лгал и словами, и интонациями голоса, и выражением лица, он чувствовал, что какая-то огромная, непонятная сила заставляла его лгать. Почему? Он не мог понять этого.

Впоследствии Форстер вспомнил, как он, когда никто не думал об этом, предупреждал Гитлера о возможности контрудара. Он был искренне потрясён силой своего предвидения. Но он, конечно, забыл, искренне и невольно забыл, что сказал об этом, совершенно не веря в то, что говорит, а лишь рассчитывая заинтересовать фюрера в минуту, когда тому ничто в мире не казалось значительным, кроме того, что он сам задумывал и решал.

Захват Сталинграда для Гитлера означал не только достижение важных стратегических результатов? нарушение связи между севером и югом, нарушение связи между центральными областями России и Кавказом. Захват Сталинграда не только определял возможность широкого вторжения на северо-восток, в глубокий обход Москвы, и на юг, к достижению конечных целей геоэкспансии Третьей Империи.

Захват Сталинграда являлся задачей внешнеполитической — решение её могло определить важные изменения и позиция Японии и Турции.

Захват Сталинграда являлся задачей внутривнутриполитической — падение его укрепило бы позиции Гитлера внутри Германии, явилось бы реальным знаком окончательной победы, обещанной немецкому народу в июне 1941 года; падение Сталинграда явилось бы искуплением несостоявшегося блицкрига, который должен был закончиться, по обещанию фюрера, через восемь недель после начала вторжения в Россию, падение Сталинграда явилось бы оправданием поражений под Москвой, Ростовом, Тихвином и ужасных зимних жертв, потрясших немецкий народ. Падение Сталинграда укрепило бы власть Германии над её сателлитами, парализовало бы голоса неверия и критики.

И, наконец, падение Сталинграда было бы торжеством Гитлера над скептицизмом Браухичей, Гальдеров, Рундштедтов, над сомнениями Муссолини в умственном превосходстве партнёра, над тайной кичливостью Геринга это было бы осуществлением идеи фюрера о плане летней кампании 1942 года, которую он огласил Муссолини и своим фельдмаршалам в дни зальцбургской встречи.

Поэтому Гитлер раздражённо отвергал все разговоры об оттяжке и промедлениях — на карте стояла судьба войны, будущее Третьей Империи, престиж фюрера.

Но существо происходивших на фронте событий было бесконечно далеко от тех соображений, которые волновали Гитлера и которые он считал главными и существенными.

В жаркое августовское утро командир немецкой моторизованной роты лейтенант Петер Бах, загорелый худощавый молодой человек лет тридцати, лежал в траве на левом берегу Дона и смотрел на безоблачное небо. Он недавно выкупался после тяжёлого перехода и хлопотливой ночной переправы на левобережный плацдарм, надел свежее бельё, и чувство покоя охватило его. Он привык к неестественно резким и быстрым изменениям самочувствия на войне, когда человек, только что изнывавший от зноя, грохота моторов, мечтавший о глотке болотной воды, вдруг в течение нескольких минут словно переносится в совершенно иной мир прохлады, чистоты, наслаждается купанием, запахом цветов и

холодным молоком. Он привык и к другому — к внезапной смене покоя деревенского сада железным напряжением войны

И всё же, хоть Бах и привык к таким сменам, он блаженствовал и спокойно, без обычного раздражения думал о придирчивой инспекции командира батальона Прейфи и о сложных отношениях с эсэсовцем Ленардом, чья рота была недавно включена в состав полка. Сейчас всё это его не волновало, словно он вспоминал о прошлом, а не думал о том, что определяет жизнь сегодня и завтра. Он по опыту знал, что после занятия плацдарма проходит не меньше трёх-четырёх суток, пока закончится сосредоточение сил перед новым ударом, и предстоящий отдых казался блаженно долгим. Не хотелось думать о солдатах, о ненаписанном рапорте, о недостатке боеприпасов, о порванных покрышках ротных грузовиков и о том, что его, Баха, могут убить русские. Лейтенанту вспоминался недавний отпуск, но он не испытывал сожаления, что провёл время не так, как хотел, и что о новом отпуске нельзя было ни думать, ни мечтать.

Странное чувство презрения, жалости он испытывал к близким друзьям, даже к матери, когда был в отпуске. Его раздражал этот чрезмерный интерес к житейским тяготам, хотя он понимал, что людям в тылу жить нелегко и естественны разговоры о воздушных налётах, угле, сношенных ботинках, продовольственных талонах и карточках. Вскоре после приезда он пошёл с матерью на концерт. Он почти не слушал музыки, а разглядывал публику, сидевшую в зале. Было много стариков и старух, молодёжи не было, только тощий подросток с большими ушами и некрасивая девочка лет семнадцати. Уныние почувствовал он, глядя на морщинистые, старые шеи женщин, лоснящиеся пиджаки мужчин, — казалось, в зале стоит запах нафталина.

В антракте он здоровался со знакомыми. Тут был отец его школьного товарища, погибшего в концлагере, известный театральный критик, старик Эрнст. Его руки дрожали, глаза слезились, на морщинистой шее выступала синяя склеротическая жила. Он, видимо, сам занимался стряпнёй, чистил картошку, и пальцы его сделались коричневыми, как у старой крестьянки.

Он поговорил с Леной Бишоф — поседевшей, некрасивой. У неё выросла на подбородке бородавка с закрученным волоском, одета она была неряшливо, в помятое платье с нелепым бантом на поясе. Лена шёпотом рассказала, что она фиктивно разошлась с Арнольдом, так как дед его — голландский еврей, хотя он и сам забыл об этом; до начала восточной кампании Арнольд жил в Берлине, а в ноябре его отправили работать на восток, сперва в Познань, а затем повезли в Люблин, и с тех пор она не имеет от него писем, не знает даже, жив ли он, он ведь гипертоник, ему трудно переносить резкие изменения климата.

После концерта публика расходилась тихо, ни одного автомобиля не было у подъезда, старики и старухи, шаркая, торопливо шагали в темноте.

На следующий день к нему пришёл его студенческий друг, сухорукий Лунц. Когда-то они затевали журнал, рассчитанный на избранных читателей профессоров, писателей, художников. Лунц говорил утомительно многословно, но не спрашивал Баха о войне и России, словно не было ничего значительней, чем разговоры о том, что он прилично устроен, получает улучшенный паёк и талоны, которые даются избранным.

Бах завёл разговор на общие темы, и Лунц отвечал не охотно, шёпотом. Не то он потерял ко всему этому интерес, не то перестал доверять Баху. Какой-то тихий ужас чувствовался в людях, когда-то блестящих, интересных, сильных, а ныне покрывшихся пылью и паутиной, словно ненужные вещи в чулане. Будущего у них не было. Их мораль и щепетильная честность, старомодные знания никому не были нужны. Они остались на берегу. Он представил себе, что после войны, вернувшись, сам заживёт той жизнью, какой жили эти бывшие люди.

Он ежедневно встречался с Марией Форстер, и в доме Марии ощущался тот же скучный и серый воздух обиды, недовольства, брюзжания. Самого полковника, до поздней ночи работавшего в генеральном штабе, он не видел, но Бах думал, что, будь он сотрудником гестапо, выводы о тайных мыслях полковника ему нетрудно было бы сделать — в семье

Форстера постоянно посмеивались над армейскими порядками, над невежеством новых фельдмаршалов и командующих армиями, рассказывали анекдоты об их жёнах, и было совершенно ясно, что все эти истории домашние узнавали от старика Форстера.

Полковница, изучавшая в молодости литературу, говорила о том, что госпожа Роммель и госпожа Модель, видимо, на кончили гимназии и не умеют правильно говорить по-немецки, произносят ужасные жаргонные слова, хвастливы, грубы, невежественны, что их невозможно, невысказано выпускать на официальные приемы. Едят они, как жёны лавочников, растолстели, не занимаются спортом, разучились ходить пешком, дети их грубы, избалованы, учатся плохо, интересуются только алкоголем, порнографией, боксом. Но во всём ее гневе и презрении чувствовалось, что, пожелай жена фельдмаршала дружить с женой полковника, та с радостью простила бы ей и невежество, и толстые руки, и даже неверное произношение.

Мария тоже была недовольна. Она считала, что искусство в Германии захирело — актёры разучились играть, певцы — петь, в безграмотных пьесах и книгах смесь безвкусицы, нацистской кровожадности и сентиментальности, написаны они все об одном и том же и, беря новую книгу, она словно в сотый раз перечитывает то, что впервые прочла в 1933 Году. В школе живописи, где она одновременно учится и преподаёт, — смертельная скука, безграмотность, чванство. Наиболее талантливые люди не имеют возможности работать, и если немецкая физика потеряла гениального Эйнштейна, то в каждой области науки и искусства произошло в меньших размерах то же самое.

Лунц после того, как они однажды изрядно выпили, сказал ему:

— Знаешь, покорность, бездумность и приспособление — высшая гражданская доблесть берлинца. Мыслить вправе лишь один фюрер, но он-то как раз предпочитает интуицию мышлению. Свободная научная мысль, титаны немецкой философии — всё послано к чёрту. Мы отказались от общих категорий, мировой истины, морали и человечности. Вся философия, наука и искусство начинаются с империи, и всё кончается империей. Дерзким и свободным умам нет места в Германии, их стерилизуют, подобно Гауптману, либо они молчат, подобно Келлерману; видишь, самые могучие — Эйнштейн, Планк — поднялись, как птицы, и улетели, а подобные мне застряли в болоте, в камышах... — Потом он спохватился: — Только, пожалуйста, забудь, никому, даже матери, не передавай того, что я тебе сказал. Слышишь? Ты, видимо, не представляешь себе эту колоссальную, невидимую сеть, она улавливает всё — невесомые слова, мысли, настроения, сны, взгляды. Эту сеть сплели железные пальцы.

— Ты говоришь со мной, словно я вчера родился, — ответил ему тогда Бах.

Лунц много выпил в этот вечер и не мог удержаться от разговоров.

— Я работаю на заводе, — сказал он. — Над станками висят огромные плакаты: «Du bist nichts, dein Volk ist alles» [Ты — ничто, твой народ всё].

Я иногда задумываюсь над этим. Почему я — ничто? Разве я — это не народ? А ты? Наше время любит общие формулы, их кажущаяся глубокомысленность гипнотизирует. А вообще ведь это чушь. Народ! К этой категории у нас прибегают, чтобы сказать людям — народ необычайно мудр, но лишь рейхсканцлер знает, чего хочет народ: он хочет лишений, гестапо и завоевательной войны. Он подмигнул и сказал: — Ты знаешь, я уверен? ещё год-два, и мы с тобой тоже не выдержим марки, духовно приобщимся к национал-социализму и будем себя ругать, что сделали это слишком поздно. Дело здесь в биологическом законе отбора — выживают те виды и роды, которые умеют приспособляться. Ведь эволюции — это приспособление. А раз человек стоит на вершине лестницы, царь природы, то он, значит, самая приспособляющаяся скотина из всех скотов. Тот, кто не приспособляется, погибает и, значит, падает с лестницы развития, ведущей к божеству. Но все же мы можем не успеть: меня могут посадить, а тебя — убить русские.

Все эти разговоры вспоминались Баху. Странное чувство вызвали они в нём тогда. То были его мысли и его чувства, он не спорил с ними.

— Мы — последние могикане, — говорил он... Но одновременно он морщился и

раздражался, эти мысли смешивались с тревожным и унижительным чувством бессилия. Запах нафталина, взгляд озирающихся старческих глаз, вид поношенной старомодной одежды, бессильный шёпот с оглядыванием. ни двери и окна. И тут же — он замечал это и в Марии, и особенно в брюзжания её матери — самая элементарная зависть к тем, кто находится в фокусе событий, к тем, кто летает на конгрессы в Рим, Мадрид, гремит в «Фолькишер беобахтер», устраивает свои выставки, посещает виллу Геббельса, дрожит с теми, кто охотится с Герингом. Пожалуй, получи Форстер большое назначение — и от семейной фронды не останется следа.

Он уехал в армию с чувством тоски. Как он мечтал об отпуске, о доме, покое, о беседах с друзьями, а вечером чтении на диване, об исповеди всех своих сокровенных мыслей и чувств перед матерью! Он собирался рассказать ей о невообразимой жестокости войны, о каждочасной и полной зависимости от чужой грубой воли и приказов — чувство более мучительное, чем страх смерти.

И неожиданно оказалось, что он томился дома, не находил себе места, разговоры его раздражали. Он не мог себя заставить прочесть несколько страниц подряд, казалось, и от книг идёт запах нафталина

Он уехал, испытывая облегчение, хотя ехать на фронт совершенно не хотелось и мысль о сослуживцах и солдатах была ему неприятна.

Он прибыл в моторизованный полк 26 июня, за два дня до начала наступления. Теперь на тихом берегу Дона ему казалось, что, собственно, и прошло всего двое суток со дня его возвращения из отпуска. С начала наступления он потерял чувство протяжённости времени. Это был пёстрый, плотный ком, жаркая путаница хриплых криков, пыли, воя снарядов, огня и дыма, ночных и дневных маршей, тёплой водки и неразогретых консервов, отрывочных мыслей, крика гусей, звона стаканов, треска автоматов, мелькания женских белых платков, свиста «мессершмиттов» сопровождения, запаха бензина, тоски, пьяной удали и пьяного смеха, страха смерти, воплей сирен бронетранспортёров и грузовиков.

Рядом с войной, с огромным дымящимся степным солнцем существовали отрывочные картины: яблонька-кривулька, отягощённая яблоками, мрачное небо в ярких южных звёздах, блеск ручьёв, луна над синей ночной травой

В это утро он очнулся. Предстоял отдых перед последним прорывом к Волге. Сонный, спокойный, сохраняя на коже прохладу воды, он смотрел на яркозелёный камыш, на свои худые загорелые руки и вспоминал прошедший отпуск, охваченный потребностью связать два мира, далёкие и противоположные, отдалённые друг от друга огромной бездной пространства и всё же живущие рядом в тесной груди одного человека.

Он поднялся во весь рост и притопнул ногой. Казалось, он ударил сапогом по небу. Тысячи километров чужой земли лежали за его спиной. Долгие годы он считая себя ограбленным, духовно нищим, одним из последних могикан немецкой свободы мысли. Почему он так кичился своим духовным богатством, так ли богат он? В миг, когда из пыли и дыма вдруг возникло ощущение чужого неба и огромной побеждённой чужой земли, он всем телом ощутил мрачную силу дела, участником которого был. Он, казалось ему, кожей, всем телом почувствовал край пройденной им чужой земли. Быть может, именно сейчас он стал сильнее, чем в те дни, когда, оглядываясь на дверь, шёпотом высказывал свои мысли. Ясно ли ему до конца, с кем великие умы прошлого — с этой гремящей победной силой или с шепчущимися, со всеми этими пропахшими нафталином старухами и стариками? И не пахнет ли нафталином весь девятнадцатый век, верным сыном которого он считает себя в двадцатом? И не казался ли девятнадцатый век ужасным и циничным тем людям, которые познали очарование и поэзию восемнадцатого?

Бах оглянулся на шум приближающихся шагов. Дежурный телефонист поспешно подошёл к нему и сказал:

— Господин лейтенант, вас вызывает к телефону командир батальона.

Солдат посмотрел на реку и незаметно для офицера чуть слышно присвистнул. Так и не придётся выкупаться — он уже слышал от приятеля, батальонного телефониста, что отдых

на берегу Дона отменён: получен приказ готовиться к выступлению.

Этот день начался так же, как и все другие дни. Дворники гнали облака пыли от середины площади к тротуару. Прошли старухи и девочки в очередь за хлебом. Сонные повара в общественных, госпитальных и военных столовых с грохотом двигали кастрюли по остывшей плите, присаживаясь на корточки, раскапывали тёплую золу, надеясь найти уголёк для прикурки утренней папиросы. Мухи на стене, где проходил горячий дымоход, лениво взлетали и сдились на мешавших нежиться в тепле, рано проснувшихся поваров.

Девушка со спутанными волосами, придерживая рукой сорочку на груди, распахнула окно, хмурясь и улыбаясь, глядела на ясное утро. Рабочие шли с ночной смены, не чувствуя прохлады, находясь всё ещё во власти грохота железных цехов. Шофёры военных грузовых машин, ночевавших в городских дворах, просыпались, протяжно зевали, растирая замлевшие плечи и бока. Коты после ночных бесчинств смиренно мяукали под дверями, прося впустить их в комнаты. Старики-рыболовы с кошёлками и удочками шли к Волге. Няньки в госпиталях готовили раненых к перевязкам, выносили белые ведра.

Солнце поднялось выше. Женщина в синем халате наклеивала на стену «Сталинградскую правду». Возле жёлтых каменных львов у входа в городской театр встретились актеры. Они шумно смеялись, обращая на себя внимание прохожих. В кино прошла кассирша продавать билеты на фильм «Светлый путь». Прежде чем зайти в кассу, она поговорила с уборщицей и просила её взять у билетёрши бидончик, данный ей под пайковое постное масло.

И весь большой город, полный тревоги, объединивший в себе черты военного лагеря и черты мирной жизни, задышал, заработал.

Машинист на Сталгрэсе, неторопливо прожевав кусочек хлеба, склонил ухо к турбине, прислушиваясь к мерному гудению, — его худое лицо с прищуренными глазами было одновременно спокойно и напряжённо.

Девушка-сталевар с плотно сжатыми губами, нахмурившись, глядела через кобальтовые очки на белоснежную метелицу, бушевавшую в мартеновской печи, потом она отошла в сторону, провела рукой по лбу, увлажнённого капельками пота, вынула из нагрудного кармана своего брезентового комбинезона круглое зеркальце, погляделась в него, поправила прядку светлых волос, выбившихся из под красного, запачканного копотью платочка, рассмеялась, и вдруг суровое тёмное лицо её преобразилось, сверкнули ровные белые зубы, сверкнули молодые глаза...

Группа рабочих, человек десять, устанавливала тяжёлый бронеколпак на окраине завода «Красный Октябрь». Молодые и старые лица были чрезвычайно напряжены. Когда же массивная махина, подчиняясь дружному, слаженному усилию рабочих, стала на положенное ей место, один протяжный общий вздох одновременно вырвался у десяти людей, и на молодых и старых лицах появилось общее выражение удовлетворения и облегчения. И пожилой рабочий сказал соседу:

— Теперь закурить можно, дай-ка твоего, покрепче вроде. За Вишнёвой балкой у завода «Красный Октябрь» послышалась протяжная воинская команда: «Пулемету огневая позиция на краю оврага, на катках вперёд!» — и среди кустарников замелькали согнутые спины ополченцев, подтягивающих на боевую позицию учебный пулемёт; утреннее солнце пятнало их тёмные пиджаки и гимнастерки.

В районном комитете партии на углу Баррикадной и Клинской беседовали две женщины; молодая, розоволицая и светлоглазая, секретарь партколлектива маленькой типографии, негромко рассказывала седой и морщинистой женщине, члену бюро райкома

— Вот, Ольга Григорьевна, вы говорите, народ мобилизовать на оборонные работы. А наших типографов и не нужно мобилизовывать, сами мобилизовались. Я даже не знаю, когда спят... Кто в ночной смене — днём на окопах, кто в дневной — тот ночью... Со своими лопатами в типографию приходят, а одна работница, Савостьянова, муж у неё на фронте, та прямо на работу с мальчишкой своим приходит. Тут его кормит и с ним же на окопы ходит. Он, бедняжка, бомбежки боится, ни за что не хочет дома один оставаться и в детсад не хочет,

только с матерью

— На всех предприятиях люди про себя забывают в такое время, — сказала седая женщина. — Надо людям по возможности облегчить тяжесть, что на себя взяли. Вот Тихомиров, на номерном, организовал отоваривание карточек у входа в цеха, после работы, перед работой и в перерыв — быстро, без шума, без очередей, и людям большое облегчение.

На скамеечке у парадных дверей четырёхэтажного белого дома уселись две молодые, миловидные женщины. Одна из них, жена управдома, штопала детское платьице, другая — вязала носок. Одна из них любила рассказывать сплетни, другая была молчалива, но по тому, как она улыбалась, поднимая глаза на рассказчицу, чувствовалось, что ей интересно слушать.

— Я их всех через стёклышко вижу, — говорила жена управдома. — Все их штуки: кто что делает, кто с кем амурит, кто пользуется. Вот вам, пожалуйста, на втором этаже — Шапошниковы живут. О мамаше я ничего не скажу. Правда, она всегда домоуправление критикует, то не так, это не то. Я всё ж таки считаю её порядочной, только, конечно, полная предрассудков, старозаветная старуха. Ну, а дочки её, вы уж меня извините, это прямо невозможно! Младшую, Женю, даже муж бросил. Ну, она землю рыла, чтобы его вернуть. Это уж, извините, такая женщина... А гордость в ней какая! Так мне иногда хочется ей прямо в глаза сказать: ты думаешь, я не видела, как ты на этой скамеечке ночью с полковником сидишь. Я тут дежурю в подъезде по противоздушной обороне, так иногда такого наслушаешься, что уходишь в лестничную клетку, только бы не слушать. Ну, а напротив живут Мещеряковы — об своём удобстве думают. Я и не знаю, когда он работает. Только и знает, что паркет перестилает, то обои клеит, а продуктов, сахару, крупы, жиров...

Жена управдома, современница великих и грозных дней, вела свой ничтожный разговор, уверенная в том, что она знает истину, считая человека существом двоедушным, слабым и лживым.

Люди, подобные ей, хотят и могут видеть лишь пороки и слабости человеческие. Они слепы, и им непонятно, кто же совершил победу, перенеся поистине огромные страдания и совершив великие подвиги.

Но позже, спустя годы, когда люди оглядываются на великое, грозное время, когда уже отшумела жизнь кровавых лет мировых потрясений, когда они видят лишь мрачные курганы — памятники дел, которые по плечу богам, — им начинает казаться, что в ту пору жили одни лишь титаны, герои, великаны духа. Но нет истины и в этом благородном, но наивном взгляде на прошлое...

Немцы занесли топор над Сталинградом. То был топор, занесенный над человеческой верностью свободе, над мечтой о справедливости, над радостью труда, над верностью Родине и детям, над материнским чувством, над святостью жизни. И те люди, которых принято называть простыми, обыкновенными людьми, скромными тружениками, — девушка сталевар, машинист со Сталгрэса, рабочие ополченцы, служащие, врачи, студенты, партийные работники — ещё не знали о том, что через несколько часов многие из них с той же естественной простотой, с которой трудились они день ото дня, совершат дела, которые грядущие поколения назовут бессмертными.

Разве любовь к свободе, радость труда, верность Родине, материнское чувство даны одним лишь героям? И разве не в этом надежда людского рода поистине великое свершается обыкновенными простыми людьми.

По ту сторону фронта немецкие офицеры вскрыли пакеты с боевыми приказами «От винта?» — закричали мотористы на полевых аэродромах; танки заправились горючим, завывли моторы, башенные стрелки сели у орудий; моторизованная пехота, придерживая автоматы, садилась в бронетранспортёры, радисты в последний раз проверили аппаратуру. Фридрих Паулюс, как механик, запустивший сотни колес и колесиков, откинулся от стола и закурил сигару, ожидая, когда опустится на Сталинград тяжкий топор немецкой войны.

Первые самолёты появились около четырёх часов дня. С востока, из Заволжья, к городу на большой высоте шла шестёрка бомбардировщиков. Едва немецкие машины, пройдя над хутором Бурковским, стали приближаться к Волге, как послышался свист и тотчас же

загрохотали разрывы — дым и меловая пыль поднялись над поражёнными бомбами зданиями. Самолёты были ясно видны в прозрачном воздухе. Солнце светило, в его лучах сверкали тысячи оконных стёкол, и люди, подняв головы, наблюдали, как быстро уходили на запад немецкие самолёты. Чей-то молодой голос громко крикнул:

— Это шальные, отдельные прорвались, видите, даже тревоги не объявляют.

И тотчас с унылой силой завывли сирены, пароходные и заводские гудки. Этот вопль, вещающий беду и смерть, повис над городом, он словно передавал тоску, охватившую население. Это был голос всего города — не только людей, но всех зданий, машин, камня, столбов, травы и деревьев в парках, проводов, трамвайных рельсов — вопль живого и неодушевлённого, охваченного предчувствием разрушения. Железное ржавое горло одно могло породить этот звук, равно выражающий ужас птицы и тоску человеческого сердца.

А затем пришла тишина — последняя тишина Сталинграда.

Самолёты шли с востока, из Заволжья, с юга, со стороны Сарепты и Бекетовки, с запада, от Калача и Карповки, с севера, от Ерзовки и Рынка, — их чёрные тела легко двигались. Среди перистых облачков в голубом небе, и, словно сотни ядовитых насекомых, вырвавшихся из тайных гнёзд, они стремились к желанной жертве. Солнце в своём божественном неведении прикасалось лучами к крыльям тварей, и они поблескивали молочной белизной — и в этом сходстве крыльев «юнкер сов» с белыми мотыльками было нечто томящее, кошунственное.

Гудение моторов становилось всё сильнее, тягучей, гуще. Все звуки города сникли, сжались, и лишь густел, наливался, темнел гудящий звук, передающий в своём медлительном однообразии бешеную силу моторов. Небо покрылось искорками зенитных разрывов, седыми головками дымных одуванчиков, и среди них быстро скользили разъярённые летучие насекомые. Навстречу им с аэродромов волжского правобережья и левобережья поднимались стремительные советские истребители. Немцы шли в несколько этажей, заняв весь голубой объём летнего неба. Могучий огонь зенитной артиллерии, стремительные удары краснозвёздных истребителей смешали строй германской авиации. Подбитые бомбардировщики, разматывая длинные дымы, вспыхивая, валились, ломаясь в воздухе на куски. Над степью запестрели куполы немецких парашютов. Но немцы продолжали рваться к городу.

Встретившись над Сталинградом, самолёты, пришедшие с востока и с запада, с севера и юга, пошли на снижение, и казалось, они снижались оттого, что летнее небо провисло, осело от тяжести металла и взрывчатки, тянувшейся к земле. Так провисают небеса под тяжёлыми тучами, полными тёмным дождём.

И новый, третий звук возник над городом — сверлящий свист десятков и сотен фугасных бомб, оторвавшихся от плоскостей, визг тысяч и десятков тысяч зажигательных бомб, ринувшихся из разверстых кассет. Этот звук, длившийся три-четыре секунды, пронизал всё живое, и сердца сжались в тоске, сердца тех, кому суждено было умереть через миг с этой тоской, и сердца тех, кто остался в живых. Свист нарастал и накалялся. Все услышали его! И женщины, бежавшие по улице из растаявших очередей к своим домам, где их ждали дети. И те, кто успел укрыться в глубокие подвалы, отделённые от неба толстыми каменными перекрытиями. И те, кто упал на асфальт среди площадей и улиц. И те, кто прыгал в щели в садах и прижимал голову к сухой земле. И раненые, лежавшие в этот миг на операционных столах, и младенцы, требовавшие материнского молока. Бомбы достигли земли и врезались в город. Дома умирали так же, как умирают люди. Одни, худые, высокие, валились набок, убитые наповал, другие, приземистые, стояли, дрожа и шатаясь, с развороченной грудью, вдруг обнажив всегда скрытое: портреты на стенах, буфетики, ночные столики, двуспальные кровати, банки с пшеном, недочищенную картофелину на столе, покрытом измазанной чернилами клеёнкой.

Обнажились согнутые водопроводные трубы, железные балки в межэтажных перекрытиях, пряди проводов Красный кирпич, дымящийся пылью, громоздился на мостовых. Тысячи домов ослепли, и оконные стёкла замостили мелкой, блестящей чешуей

осколков тротуары. Под ударами взрывных волн массивные трамвайные провода со звоном и скрежетом падали на землю, зеркальные стекла витрин вытекали из рам, словно превращённые в жидкость. Трамвайные рельсы, горбясь, вылезали из асфальта. И по капризу взрывной волны нерушимо стоял фанерный голубой киоск, где торговали газированной водой, висела жестяная стрела-указатель «переходи здесь», блестела стёклами хрупкая будочка телефона-автомата. Всё, что от века недвижимо — камни и железо, — стремительно двигалось, и все, во что человек вложил идею и силы движения, — трамвай, автомобили, автобусы, паровозы — всё это остановилось.

Известковая и кирпичная пыль густо поднялась в воздухе, туман встал над городом, пополз вниз по Волге.

Стало разгораться пламя пожаров, вызванных десятками тысяч зажигательных бомб... В дыму, пыли, огне, среди грохота, потрясавшего небо, воду и землю, погибал огромный город. Ужасна была эта картина, и всё же ужаснее был меркнущий в смерти взгляд шестилетнего человека, задавленного железной балкой. Есть сила, которая может поднять из праха огромные города, но нет в мире силы, которая могла бы поднять лёгкие ресницы над глазами мертвого ребёнка.

Только те, кто находился на левом берегу Волги, в десяти — пятнадцати километрах от Сталинграда, в районе хутора Бурковского, Верхней Ахтубы, Ям, Тумака и Цыганской Зари, могли увидеть всю картину пожара в целом, измерить огромность несчастья, постигшего город Сотни бомбовых разрывов слились в однообразный гул, и чугунная тяжесть этого гула заставляла дрожать землю в Заволжье, стёкла деревянных домиков позванивали, и листва на дубах шевелилась. Известковый туман, вставший над городом, белой простыней покрыл высокие здания, Волгу, растянулся на десятки километров, пополз к Сталгрэсу, судоремонтному заводу, к Бекетовке и Красноармейску. Постепенно белизна тумана исчезла, смешиваясь с желто-серой дымной мглой пожаров.

Издали было ясно видно, как огонь, горевший над одним зданием, соединился с соседним огнем, как горели целые улицы и как под конец огонь горящих улиц слился в одну стену, живую и движущуюся. В отдельных местах над этой стеной, вставшей над правым берегом Волги, поднимались высокие, как башни, столбы, вздувались купола и огненные колокольни. Они сверкали красным червонным золотом, дымной медью, точно новый город пламени вырос над Сталинградом. Волга у берегов курилась. Чёрный копотный дымок и пламя скользили по воде — то горело вытекавшее на воду из разбитых цистерн горючее. А дым поднялся на много вёрст тучей. Туча эта разрослась и, размытая степными ветрами, стала расползаться по небу, и много недель спустя дым висел на ! десятками степных верст вокруг Сталинграда, и опухшее, бескровное солнце шло своим путём среди белой мглы.

В сумерках пламя горящего города увидели бабы, шедшие с юга в Райгород с мешками зерна, и паромщики на переправе в Светлом Яре. Отблески пожара заметили старики казахи, ехавшие к Эльтону на телегах; их верблюды, выпятив слюнявые губы и вытягивая грязные лебединые шеи, оглядывались на восток. С севера увидели свет рыбаки в Дубовке и Горной Пролейке. С запада наблюдали пожар выехавшие на берег Дона офицеры из штаба генерал-полковника Паулюса. Они курили и молча глядели на светлое пятно, кругло мерцавшее в тёмном небе.

Много людей увидело зарево в ночи.

Что вещало оно, чью гибель, чьё торжество?

А телеграф, океанский кабель и радио уже разносили весть о решающем ударе немцев по Сталинграду: в Лондоне, Вашингтоне, Токио и Анкаре политики не спали, и трудовые люди с белой, желтой, чёрной кожей напряжённо вчитывались в телеграммы, где на тысячах первых газетных полос появилось новое слово Сталинград.

Сила бедствия была огромна, и всё живое, как бывает это во время лесных и степных пожаров, землетрясении, горные обвалов и наводнений, стремилось покинуть гибнущий город.

Первыми покинули Сталинград птицы — врассыпную, низко прижимаясь к воде,

перелетали галки на левый берег Волги; обгоняя их, серыми, то упруго растягивающимися, то сжимающимися стайками летели воробьи.

Большие крысы, должно быть, годами не выходившие из тайных глубоких нор, почувствовав жар огня и колебания почвы, вылезали из подвалов продовольственных складов и пристанских хлебных амбаров, несколько мгновений растерянно метались, ослеплённые и оглушённые, и, гонимые инстинктом, волоча хвосты и жирные седые зады, ползли к воде, карабкались по доскам и канатам на баржи и полузатопленные пароходы, стоящие у берега Собаки с безумным, мутным взором выскакивали из дыма и пыли, скатывались с откоса и бросались в воду, плыли в сторону Красной Слободы и Тумака.

Но белые и сизые голуби, силой, ещё более могучей, чем инстинкт самосохранения, прикованные к своему жилью, кружились над горящими домами и, подхваченные током раскалённого воздуха, гибли в дыму и пламени.

Варвара Александровна Андреева с невесткой и внуком должны были уехать в воскресенье. Наташа упросила заведующую детским домом Токареву взять ее сына и свекровь на катер, предоставленный для эвакуации детей Вещи, зашитые в мешки и узлы, еще в пятницу отвезли на ручной тележке и сложили вместе с упакованным имуществом детского дома.

Утром Варвара Александровна пришла с внуком к условленному месту на пристань. После прощания с мужем, ушедшим с утра на завод, после расставания с домом и садом она чувствовала себя подавленной и разбитой. До часа отъезда десятки тревожных мыслей заполняли её голову о дровах, которые заперты на плохонький замок, о доме, который будет стоять без призора в то время, как муж уходит на завод, об огороде, где без присмотра будут созревать помидоры, о яблоньке, усыпанной недозревшими яблоками, — бери, кто хочет, о недоштопанном, недошитом, невыстиранном, невыглаженном, о недополученных по карточкам жирах и сахаре, о том, что брать с собой, чего не брать — ей вдруг все показалось необходимым и уют, и мясорубка, и вышитый коврик над кроватью, и старые, подшитые валенки...

Андреев проводил её и внука до угла, и она всё просила его смотреть, проверять, не забывать десятка мелких и важных вещей. Но в тот миг, когда она поглядела на широкую, сутулую спину мужа, в последний раз оглядела зелёную вершину яблони и серую крышу — все малые мысли и малые тревоги оставили ее. И с чувством, подобным испугу, она поняла, что нет для неё на свете дороже и ближе человека, чем старый её товарищ и спутник. Он оглянулся в последний раз и скрылся за углом.

На пристани она увидела сотни людей: заросших седой бородой стариков в зимних пальто, девушек, матерей с детьми на руках. Казалось, одни лишь глаза оставались на лицах молодых женщин, к поясам их модных пальто были подвешены чайники и фляжки; бледнолицыми и слабенькими были их ребятишки.

Увидела она пятнадцатилетних девушек-подростков, в синих лыжных шароварах, с ногами, обутыми в тяжёлые походные ботинки, на их худенькие плечи были надеты мешки с брезентовыми и верёвочными лямками. Увидела она старух, они сидели, опустив руки на колени, и смотрели, как маслянистая темная вода несет от пристани разбухшие арбузные корки, дохлую белоглазую рыбу, гнилые поленья, промасленные клочья бумаги.

Когда она, живя в своём доме, видела этих людей, расспрашивающих, где баня, пристань, карточное бюро, базар, её иногда охватывало раздражение против них, точно они несли с собой беду, заражали тревогой землю, по которой ступали. И женщины в очередях, да и она сама, сердито говорили. «Ох, «выковыренные», одно беспокойство, цены гонят». Удивительно, но именно они, эти горькие люди, утешили её казавшуюся неутешной боль. Все они покинули родные дома, оставили запасы дров и картошки, не остывшие тёплые печи, не сжатые поля, не снятые овощи в огородах.

Она поговорила со скуластой старухой из Харькова и подивилась, как схожи их судьбы: муж собеседницы был ценовым контролером, уехал осенью 1941 года с заводом в Башкирию, она поехала к родителям своей невестки, жены старшего сына, в Миллерово,

пожила там полгода, а теперь с невесткой и внуком едут к мужу, двое её сыновей ушли на фронт. И сидевшая рядом молодая женщина, жена командира, рассказала? она с двумя детьми и матерью мужа едет к сестре в Уфу. И старик еврей, зубной техник, рассказал, что он уже третий раз поднимается с места — сперва из Новоград-Волынского в Полтаву, из Полтавы в Россошь, там он похоронил жену, а теперь едет в Среднюю Азию с двумя внучками, мать их, его дочь, умерла от желтухи перед войной, а отца девочек, инженера на сахарном заводе, убило во время бомбёжки. И пока старик рассказывал, девочки держались руками за его пиджак и смотрели на него, как на богатыря, а вид у него был такой, что кажется, дунь на него — и он свалится.

Люди собрались на волжской пристани из городов и сёл, о которых она не слыхала, и уезжали в разные стороны — в Краснодарск, Белебей, Елабугу, в Уфу, Молотов, Барнаул, а судьба у всех была одинакова. Казалось, что Россия одна повсюду, как и судьба её людей. И это чувство общности судьбы народа и страны, в которой жил народ, впервые ощутилось Варварой Александровной с такой же простотой и силой, как судьба и жизнь семьи в только что покинутом ею доме.

А время все шло. От пристани отходили окрашенные зелёными и серыми пятнами пароходы с увядшими ветвями вокруг труб. «Словно на Троицу», подумала она Володя нашёл себе на пристани товарищей, она каждый раз теряла внука из виду, начинала звать его Синее небо тревожило, и она всматривалась в ясную синеву. Только мысль о муже отвлекала ее от растущего беспокойства

Здесь, на пристани, она всё думала, почему муж не хотел ехать с ней, решил остаться работать до последнего дня. Всё сильнее становился её страх и нетерпение, и одновременно все больше крепло ее умиленное уважение к своему старику. Ей хотелось хоть на минуту увидеть его. Но потом вновь захлёстывало ожидание беды. На небе появились кучевые облачка. Темная вода плескала и урчала, шумели колесные пароходы, медленно выгребая против течения. Во всем чудилась тревога.

Лишь около двенадцати дня из за тюков багажа выскочил возбужденный Володя и закричал:

— Идут, бабушка! Идут? И мама идёт!

Варвара Александровна, торопясь, собрала кошёлки, пошла следом за внуком. По крутому бульжному спуску к набережной спускался детский дом: дети шли парами, впереди рослые, у некоторых были надеты красные галстуки, у всех за плечами были мешочки и тючки, руководительницы кричали и размахивали руками, десятки торопливых детских ног стучали по бульжнику, точно копытца.

— Куда же нам? — заволновалась Варвара Александровна. — Ой, Володя, где же ты, а то ототрут нас при посадке и останемся.

Ей показалось, что заведующая — толстая, большегрудая женщина с сердитым лицом — откажется в последнюю минуту взять её, и она всё твердила:

— Ой, господи, да я в дороге ребятам помогу и всё, что нужно, пришью и залатаю.

Течение сносило катер, и он, точно усмехаясь нетерпению Варвары Александровны, промахивался, проскальзывал мимо пристани, механик снова включал машину, и катер долго-долго подбирался против течения к берегу. Так повторялось раза два, пока рассердившийся капитан, морщинистый, низкорослый старичок в выцветшей фуражке, не заругался через медную трубу матом и на матросов, и на механика, и на самый катер — после этого всё вдруг наладилось, и Варвара Александровна подумала: «Эй, старый, давно бы ты так».

Положили трап с веревочными перильцами, два матроса и милиционер с винтовкой начали посадку, застучали по палубе детские, обутые в сапоги и ботинки, ноги, зашуршали тапочки.

— А ты куда, бабка? — спросил милиционер, но заведующая с палубы крикнула:

— Эта бабушка с нами.

На носу было удобное местечко возле ящиков, но Варвара Александровна решила

устроиться на корме; к корме была подвязана лодочка, а неподалёку у борта висел спасательный круг.

— Бабушка, а может быть, мне с дедом остаться? — сказал Володя.

— Вот я тебя привяжу, как козла, — ответила она. — Пойди лучше машину посмотри, сейчас поедem.

Но отчалил катер не скоро...

Грузовик, который должен был перевезти на пристань больных ребят и посуду, бельё и продукты, запоздал, пришёл лишь в четвёртом часу. Водитель объяснил задержку тем, что лопнул коренной лист у рессоры.

Погрузив вещи на катер, водитель пожелал заведующей счастливого пути, помахал рукой своей знакомой, Клаве, стоявшей на борту катера.

— Пиши, Клава, — крикнул он ей. — Я до тебя в Саратов в гости приеду.

Она рассмеялась, сверкнула белыми зубами. Он не стал дожидаться отправления катера, завёл мотор и поехал в гору. На подъёме заглох мотор, и он минут пять возился, пока наладил карбюратор.

Водитель ехал вверх, слушая, как пыхтит мотор. Вдруг он услышал нарастающий вой бомбы, прижал голову к баранке, ощущая всем телом конец жизни, с тоской подумал: «хана!» и перестал существовать.

Катер был нагружен, суeta на берегу сменилась суетой на палубе. Возбуждённые отъездом дети не хотели уходить с палубы, и только самых маленьких да некоторых девочек усадили в каюты.

Мария Николаевна провожала ребят до Камышина, где у неё были дела в райкоме и районе.

Она присела в каюте возле больных — Славы Берёзкина и всегда молчавшего украинца Серпокрыла — и обмахивала платочком лицо.

— Ну, как будто едем, — сказала она подошедшей Токаревой, гордясь тем, что её хлопотами был получен катер. — Теперь бы до Камышина без приключений добратся.

— Без вас я бы не справилась, — сказала Токарева,

просто помираю, жарко так, может, на воде легче будет.

— Я только теперь сообразила, — задумчиво сказала Мария Николаевна, — что всё моё семейство могло бы с вами. Поехать. Какая досада! В Камышине пересели бы с вами на пароход и добрались до Казани.

— Пойдёмте наверх, — сказала Токарева, — сейчас будем отправляться, капитан обещал ровно в четыре. Хоть посмотрю в последний раз на Сталинград!

Когда женщины ушли, Слава Берёзкин потрогал своего всегда молчавшего товарища за плечо и сказал:

— Гляди.

Но немой украинец не повернул стриженной бугристой головы к квадратному окошечку, под которым плескалась вода.

Мокрый столб, поросший зелёной плесенью, стоявший под самым окном каюты, медленно поплыл назад, и тотчас стал наплывать второй, стали видны толстый настил пристани, ноги людей, стоявших у перил, потом и самые перила, коричневая рука матроса с синими жилами и с синим якорем, борт баржи в смоляных натёках, и вдруг открылся обрывистый берег, крутые улицы, а через минуту весь город с запыленной зеленью, каменными и дощатыми стенами высоких и малых домов медленно поплыл вниз. Из правого угла оконца появились глинистый осыпавшийся откос, зелено-желтые бензобаки, красные вагоны на железнодорожном пути и огромные, затянутые дымом заводские корпуса. Под окном шумно, вразнобой заплескалась волна, и весь пароходик стал дрожать и поскрипывать от шума мотора.

Впервые в жизни Слава Берёзкин ехал пароходом: страстное желание говорить и спрашивать охватило его. Ему хотелось знать, сколько узлов в час делает пароход, ему

представлялись огромные, с кошачью голову узлища, навязанные на толстой веревке, протянутой вдоль всего течения реки. Хотелось обсудить, имеется ли киль у парохода и может ли он выдержать морскую бурю. И одновременно совсем не детская тревога владела им: он всё надеялся и мечтал, что мать и сестра поедут с ним вместе, он всё собирался говорить об этом с заведующей и Марией Николаевной; сестра не займёт лишнего места, пусть спит на его кровати, он с удовольствием ляжет на полу, а мать будет стирать бельё и готовить... Она вкусно готовит и очень быстро. Папа всегда удивлялся, приходя с полковых занятий домой; едва он успевал почистить сапоги, помыться, сменить гимнастёрку, а обед был уже на столе. Притом ведь мама очень, очень честная, она не возьмёт ни кусочка масла, ни ложечки сахару, всё будет класть в детскую еду. Он обдумал все доводы, которые приведёт Токаревой. Он будет помогать матери чистить картошку, крутить мясорубку, и ему в ночь отъезда мечталось, что всё уже совершилось по его желанию — Люба спит на его кровати, он лежит на полу, входит мать — он чувствует тепло её рук и говорит ей: «Не надо, не плачь, папа жив, он вернётся». Но он уже знает, что это не так. Отец лежит среди поля, раскинув руки, и красная луна освещает его белое лицо... И потом мать, совсем седая, и Люба живут в эвакуации в Сибири, и Слава входит, стуча обмёрзшими, тяжёлыми сапогами, говорит: «Немцы разбиты, теперь я вернулся к вам навсегда», и начинает доставать из своего солдатского мешка печенье, жиры, банки варенья, несколькими ударами топора он валит сосну, Нарубает груды дров — в избе тепло, светло (он привёз с собой электричество), большая кадушка полна воды, в печи жарится дикий гусь, убитый Славой на берегу Енисея. «Мамочка, я не женюсь, я всю жизнь буду с тобой», — и он гладит мать по седым волосам и укутывает ей ноги своей шинелью...

А волна стучит в тонкий дощатый борт костяным пальцем, пароходик поскрипывает, серая, мутная вода, морщась, бежит мимо окна... Он один... Как найдёт его мать, где отец, где конец этой мутной реки?.. Руки сжали раму с такой силой, что ногти стали белыми, от них отлила кровь. Он искоса посмотрел на соседа — видит ли немой, что слезы ползут по Славиным щекам... Но сосед повернулся к стене, его голова и плечи вздрагивали, он тоже плакал.

Слава, подтягивая сопли, спросил:

— Чего ты плачешь?

И впервые он услышал заикающийся голос Серпокрыла:

— Убылы батьку.

— А мама? — спросил Слава, поражаясь, что немой отвечает на вопросы

— И маты убылы.

— А сестра у тебя есть?

— Ни.

— Ну так чего же ты плачешь? — спросил Слава, хотя понимал, что у «немого» было достаточно оснований, чтобы плакать.

— Боюсь, — глухо в подушку ответил Серпокрыл.

— Чего?

— Бою-юсь на свити жить.

— Ты не бойся, — сказал Слава, и чувство любви заполнило его сердце, знаешь, ты не бойся, теперь ты будешь со мной, я тебя никогда не оставлю.

Он торопливо, не завязывая шнурков, а засунув их под пятки, надел тапочки и деловито пошел к двери.

— Я сейчас скажу Клаве, чтобы тебе сухой паёк дали, там ситный, две конфеты и пятьдесят грамм сливочного масла. Вернувшись к Серпокрылу, он сказал:

— Вот. Возьми, — и вынул из кармана маленький красный бумажник, в котором лежал листочек с записанным крупными буквами довоенным адресом Славы.

На палубе одни смотрели на город и пристани, двое мальчиков — орловец Голиков и татарин Гизатулин — забросили в воду заранее налаженную бечёвку с кусочком жести и булавочным крючком — ловили щуку на блесну. Широкогрудый, черноволосый Зинюк,

страстно любивший машины, пробрался к механику и смотрел на дизель мотор.

Несколько детей стояли за спиной у курносого, рыжего мальчика, рисовавшего в тетрадку сталинградский берег.

Младшие девочки взяли за руки и с серьёзными, суровыми лицами, широко открывая рты, запели:

«Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход..»

Непередаваемо трогательным было это пение девочек. Пичужьи тоненькие голоса дрожали, а слова песни были мужественны и суровы... И кругом плескалась, блестела на солнце стремительная волжская вода.

Мария Николаевна с нежностью глядела на поющих девочек.

— Милые мои, хорошие, — сказала она, и слова эти относились к детдомовским детям, к дочери, мужу, матери, и к старухе Андреевой, вяжущей чулок на корме катера, и к людям на берегу, и к домам, и улицам, и деревьям родного города.

Не желая давать волю чувству, она нарочно, преодолевая душевную неловкость, сказала Токаревой:

— Все таки тянете с собой эту Соколову, посмотрите, как она на глазах у детей зубоскалит с матросом. И на Андрееву это дурно влияет, видите, и она к ним присоединилась.

С берега доносились крики, и одновременно Мария Николаевна различила сквозь шум машины и плеск воды низкий, монотонный гул, словно чёрной сеткой вдруг прикрывший реку.

Она увидела, как толпа на пристани кинулась к причалам, услышала пронзительный крик, и тотчас пыль заволокла берег и поползла в воду, а толпа вдруг отхлынула от пристани, рассыпалась по железнодорожным путям и по береговому откосу.

Из воды бесшумно, как во сне, вырос мутнозелёный стройный столб с кудрявой белой головой и, обдав катер брызгами, развалился и втек обратно в реку. И тотчас по всей поверхности воды, впереди и за кормой, стали взлетать, рушиться и рассыпаться в брызгах и пене высокие, точёные столбы воды — то рвались в Волге немецкие фугасные бомбы.

Несколько мгновений все молча смотрели на воду, на берег, на гудящее, почерневшее небо, потом над Волгой раздался крик.

— Мама?

Ужасен был этот призыв сирот к погибшим, убитым матерям Токарева схватила за руку Марию Николаевну и спросила:

— Что делать?

Ей казалось, что суровый, всегда деятельный и решительный старший инспектор, непримиримый к человеческим слабостям, поможет спасти детей.

Растерявшийся капитан поворачивал катер то к заводским пристаням, то к луговому берегу. Заглох мотор, и катер, поворачиваясь боком к течению, лениво и сонно пополз к речному вокзалу. Капитан сорвал с себя в отчаянии фуражку и хлопнул ею о палубу.

Мария Николаевна видела всё вокруг, но ни один звук почему-то не доходил до неё, словно внезапная глухота поразила её; она видела нянек, лица детей, лысую голову капитана, открытые рты кричащих что-то матросов, столбы воды, мечущиеся по Волге лодки, но все происходило в какой-то страшной тишине. Она не могла заставить себя посмотреть вверх — как будто чья-то железная рука легла на её затылок.

Из тридцатилетней, давней глубины всплыла забытая картина — девочкой она ехала с матерью по Волге, пароход сел на мель, и пассажиры лодкой добирались до берега, матрос подвёл её, маленькую, тоненькую, в большой соломенной шляпе, к борту, поднял и ласково сказал: «Не бойсь, не бойсь, вот и маменька твоя тут». И показалось — то не её поднял над бортом ласковый матрос, а Веру, и, забыв о себе, она по думала о судьбе дочери. И муж,

который, казалось, всегда нуждался в её опеке, вдруг представился ей сильным, решительным. О, если б он был здесь!. Но нет, нет, хорошо, что здесь нет Веры, матери, Степана, сестёр. Пусть, пусть, раз суждено. Но хоть миг посмотреть на них...

Потом она стояла на корме. Нянька Соколова грузила детей в лодку.

— Куда ты? — кричала Соколова матросу — Больные раньше, давай сюда немого, вот этого. Берёзкин, сюда иди, теперь девчонку эту.

Глаза ее блестели, она казалась уверенной, вдохновенно мужественной оттого, что ничто ей не страшно, оттого, что она кричит на матроса, оттого, что столько глаз с просьбой и доверием смотрят на неё, оттого что она сильна среди широкой Волги под вой бомбёжки.

Она помогла Марии Николаевне сесть в лодку и крикнула:

— Вот инспектор с вами» Не бойтесь!

Мария Николаевна очутилась в лодке, совсем близко от воды, дохнувшей немой глубиной и сыростью. Притихшие дети вцепились руками в борты, озирались, вглядывались в мутную воду. И вдруг Маруся ощутила уверенность, надежду.

Ей хотелось поцеловать борт лодки — здесь было спасение. Она совершенно ясно, как в прозрении, представила себе все: лодка пристанет к берегу, она спрячет детей в лозняке, они переждут бомбёжку и той же лодкой вернутся в город.

На дне лодки сидели два мальчика. Того, которого Соколова называла немым, обнимал за плечо Слава Берёзкин. Он почему-то был босиком и твердил:

— Не бойся, не бойся, я тебя не оставлю. Володя Андреев хотел прыгнуть за борт катера, мать удержала его:

— Что ты делаешь, окаянный!

Соколова сказала?

— Садись, Наташка, с сыном вместе.

Наташа посмотрела на белое, бумажное лицо свекрови, державшей в омертвевших руках вязание.

— Садитесь вы, будете ему, сироте, заместо матери, — сказала она.

И Варвара Александровна с судорожной силой обняла невестку.

— Наташа? — сдавленным голосом произнесла она и вложила в это слово столько любви, столько раскаяния, столько нежности, что Наташа оглянулась, словно оно было произнесено не губами свекрови, а вытолкнуто кровью, судорогой сердца.

Но матрос не пустил в лодку Варвару Александровну и Володю, мест не было.

— Отчаливай! — закричали матросы — Гребите к луговому, на Красную Слободу!

Лодка, черпая бортом, пошла наискось к левому берегу, а катер медленно понесло к страшным сталинградским пристаням.

Неожиданно застучал вновь налаженный мотор, несколько голосов радостно закричали, капитан поднял фуражку и, отряхнув её, надел на голову, дрожащими пальцами стал налаживать цыгарку. «Хоть затянусь разок», — пробормотал он. Над Волгой свистнуло железо, и толстый пузырчатый столб зелёной воды, поднявшись под самым носом лодки, вышедшей на середину реки, рухнул над ней. С катера видно было, как мягко на солнце, среди закипевшей белой воды, блеснуло черное просмолённое дно.

Александра Владимировна дописала предотъездное письмо Серёже, промакнув страницу, перечла её, сняла очки и тщательно протерла стекла платочком. С улицы слышались шум и крики.

Александра Владимировна вышла на балкон, увидела движение гудящей чёрной тучи немецких самолётов, шедшей к городу.

Она торопливо вернулась в комнаты, подошла к ванной, откуда доносились плеск воды и довольное кряхтение Софьи Осиповны, пришедшей полчаса назад после двухсуточного дежурства в госпитале. Постучав в дверь, она отдельно произнесла.

— Соня, немедленно одевайся, грандиозный налёт на город?

Софья Осиповна ответила:

— Может быть, не так страшно?

— Немедленно, ты знаешь, я не паникёрка.

Софья Осиповна, шумно всплескивая, стала вылезать из ванны, сердито приговаривая

— Лезешь, словно бегемот из бассейна...— и, вздыхая, прибавила: — А я собиралась завалиться спать до завтра, двое суток не спала!

Ей показалось, что Александра Владимировна ответила ей, но уже не слышала ответа — раздались первые разрывы бомб. Она распахнула дверь и крикнула:

— Беги вниз, я нагоню тебя, только ключи оставь?

Ухо уже не различало разрывов, один долгий, плотный звук заполнил пространство. Когда Софья Осиповна через не сколько минут вошла в комнату, пол был покрыт осколками стекла, кусками обвалившейся штукатурки, опрокинутая настольная лампа раскачивалась, как маятник, на шнуре.

Александра Владимировна стояла перед раскрытой дверью в зимнем пальто и берете. Она смотрела на книжные полки, пустые постели дочерей и внука, на столы, на Женины картины, висевшие на стенах.

Софья Осиповна, торопливо надевая шинель, невольно заметила этот долгий взгляд.

— Идём, идём, зачем ждала меня! — крикнула Софья Осиповна.

Александра Владимировна повернула к ней печальное, бледное лицо и, вдруг улыбнувшись, сказала»

— Табачок захватила? — И широко махнув с каким то лихим отчаянием рукой, сказала? — Эх, ладно, пошли?

Сильный, короткий удар потряс землю, и дом задрожал крупной живой дрожью, словно охваченный предсмертной икотой. Куски штукатурки посыпались на пол.

Они вышли на лестницу, и Александра Владимировна, закрывая за собой дверь, сказала:

— Я думала, что это только жильё, квартира, а теперь говорю: прощай, родной дом!

На площадке Софья Осиповна вдруг остановилась

— Дай ключ, я хочу забрать Марусин чемодан, Женичкины туфли и платье.

— Да ну их, вещи, плевать, — проговорила Александра Владимировна

Они спускались по пустой лестнице, и когда грохот затихал, становились слышны их медленные, шаркающие шаги. Софья Осиповна шла, держась за перила, поддерживая Александру Владимировну.

Они вышли из дома и в растерянности остановились. Двухэтажный дом напротив был разрушен часть фасадной стены вывалилась на середину мостовой, крышу снесло, и она прикрывала забор и деревца в палисаднике. Потолочные балки обрушились в нижние комнаты, оконные и дверные рамы были начисто высажены силой взрывной волны. Глыбы камня и битый кирпич покрыли улицу. В воздухе стояла белым туманом пыль и курился жёлтый, остро пахнущий дымок.

— Старухи, ложись, опять кидает! — отчаянно крикнул мужской голос, и тотчас ударило несколько разрывов. Но старые женщины шли молча, медленно и осторожно ступая среди камней, сухая извёстка поскрипывала под их ногами.

В бомбоубежище пол был завален узлами и чемоданами, и лишь небольшое число людей сидело на скамьях, остальные примостились на полу либо стояли, сбившись в кучу. Электричество погасло, и фитильки свечей и масляных светильников горели тусклыми, усталыми языками. А народ все прибывал; едва на несколько минут стихала бомбежка, в подвал вбегали запыхавшиеся, ищущие спасения жильцы. Это были те ужасные минуты, когда люди в множестве своём не видят силы, а лишь новую опасность, когда человек, затерянный в толпе, понимает, что вокруг него такие же беспомощные, как и он, люди, и в этой множественной слабости ещё острее чувствует свою слабость.

Темноглазая женщина, одетая в серую каракулевую шубу, вытирая платочком виски, проговорила:

— Такая толпа при входе, что мой муж не мог пробиться, а в это время десятки бомб. Ещё мгновение — и он был бы убит.

Муж женщины в шубе, потирая руки, точно с мороза, сказал:

— Самое главное, если пожар начнётся, тут Ходынка будет в полном смысле слова, все передадим друг друга, ни один человек не выйдет? Надо хоть выход расчистить.

Мещеряков, сосед Шапошниковых по дому, вдруг раскатисто произнес:

— Я сейчас наведу тут порядки. Наше бомбоубежище всю улицу не обслуживает Управдом? Василий Иванович!

Пришельцы — некоторые только что вбежали в подвал и ещё тяжело, быстро дышали, глядя на хозяев бомбоубежища, — стали подбирать вещи, озираться, куда бы незаметней отойти в сторону.

Какой-то пожилой человек в военной гимнастёрке произнёс:

— Верно, мы тут всё заняли, давайте, граждане, в сторонку уберемся.

На мгновение сделалось тихо, и, казалось, ещё более душным, тяжёлым стал воздух, еще тусклей светили дымные фитильки.

— Послушайте, — басом проговорила Софья Осиповна, — ведь это потоп, тут нет нашего и вашего. Бомбоубежище не по карточкам, а для всех...

Александра Владимировна, прищурившись, глядела на Мещерякова; вот этот самый человек, который месяц тому назад обвинял её в слюняйстве и малодушии, заявил, что во время войны не должно быть ни одной мысли о вредностях на работе, о здоровье. Мещеряков спросил:

— Чьи это вещи? Чей узел? Убрать!

Александра Владимировна быстро поднялась и тихим голосом, который бывает слышен среди самого громкого шума, столько в него вложено злой душевной силы, произнесла:

— Прекратите немедленно, иначе я сейчас позову красноармейцев и вас самого вышвырнут отсюда вон.

Женщина с блестящими в полутьме глазами, державшая в руках мальчика, закричала:

— Правильно, верно, нет такого закона у советской власти!

И вдруг весь подвал словно посветлел, осветился, загудел человеческими голосами, и они на время заглушили грохот немецкой бомбёжки.

— Собственный, что ли, его дом, дом советский... все здесь равны, все советские люди...

Александра Владимировна дёрнула за рукав женщину, державшую мальчика.

— Да успокойтесь вы, садитесь, вот местечко для вас... Мещеряков, отодвигаясь в сторону, стал оправдываться:

— Товарищи... да вы меня не поняли... никого я не собирался выгонять, я только, чтобы для общего блага проход расчистили...

И, желая стать незаметным, он присел на чей-то чемодан. Стоявший подле водопроводчик, служивший в домоуправлении, злобно сказал ему:

— Куда садишься, продавишь, чемодан-то фанерный. Мещеряков оглянулся на человека, ещё два дня назад чинившего у него в квартире кран в ванной и благодарившего за чаевые деньги.

— Послушайте, Максимов, надо повежливей.

— Встань, говорю! Мещеряков поспешно встал.

— Бог мой, — сказала Александра Владимировна сидевшей рядом с ней женщине, — зачем вы так судорожно прижимаете ребёнка, ведь ему дышать трудно, посадите его.

Женщина наклонила к ребёнку голову и стала целовать его; глаза на её ещё злом и возбуждённом лице стали полны печали и нежности.

Едва грохот бомбёжки возростал, приближался, все замолкали, старухи крестились...

Но когда хоть на минуту стихало грохотанье, возникали разговоры и иногда слышался смех, тот ни с чем несравнимый смех русского человека, могущего с чудесной простотой вдруг посмеяться в горький и страшный час своей судьбы.

— Гляди-ка на Макееву старуху, — говорила соседке широколицая женщина, сидевшая

на тюке — До войны всем во дворе уши прожужжала: «Зачем мне в восемьдесят лет на свете жить, хоть бы смерть скорее». А только бомбить начал, я смотрю, она впереди всех в подвал чешет, и я от неё отстала!

— Ой, — сказала соседка, — как ударили бомбы, я сомлела, бежать хочу, а ноги затряслись, а потом как кинусь и над головой фанерку держу, я как раз зелёный лук на ней крошила, от самолётов фанеркой прикрылась

— Да, пропало моё барахло, — сказала широколицая, — только я кушетку перебила, покрыла кретоном, все в минуту, как только сама успела выскочить.

— Да чего уж про барахло говорить, живые люди в огне горят. Что проклятый делает, паразит, каторжанин.

И хотя, казалось, никто не выходил из подвала и долгое время никто новый в убежище не входил, каким то удивительным образом становилось известным всё, что делалось в небе и на земле: где горит дом, с какой стороны налетают новые бомбардировщики, куда упал подбитый зенитчиками немецкий самолёт.

Военный, стоявший на верхних ступенях лестницы, у входа в подвал, крикнул:

— С Тракторного слышно пулемётную стрельбу! Второй военный спросил:

— Может, зенитные по самолетам бьют?

— Нет, наземный бой, — ответил первый и вновь прислушался. — Да вот, пожалуйста, ясно слышно, и миномёты, разрывы, артминогонь. Ясно! Слышишь?

Но новая волна немецких самолётов потопила все звуки грохотом разрывов.

— О господи, — промолвила женщина в шубе, — хоть бы какой-нибудь конец...

Военный сказал товарищу:

— Пошли, а то накроют нас в подвале, как мышей? Софья Осиповна, вдруг наклонившись к Александре Владимировне, поцеловала её в щёку, поднялась и, накинув на плечи шинель, сказала:

— Я тоже пойду, может быть, доберусь до своего госпиталя. Вот только сверну папироску.

— Иди, иди, Сонюшка, — сказала Александра Владимировна и, торопливо отстегнув под пальто брошку, стала прикалывать её к гимнастёрке Софьи Осиповны. — Пусть будет с тобой, — тихо произнесла она. — Помнишь, я тогда жила у Ани, она мне подарила две эмалевые фиалочки, как раз в ту весну, когда я замуж вышла..

И мелькнувшее воспоминание о далёкой весне, о юности было странно трогательно и мучительно печально в этом темном подвале.

Они молча обнялись и поцеловались, и прямой взгляд, которым они посмотрели друг другу в глаза, подтвердил, что близкие люди расстаются, быть может, надолго, а быть может — навсегда.

Софья Осиповна пошла к выходу.

Александра Владимировна, привстав с места, нахмутив брови, пристально глядела на широкие плечи Софьи Осиповны, пока она была видна в полумраке, ощутив с удивительной ясностью, что уж никогда в жизни не увидит своего друга.

Евгению Николаевну бомбёжка застала на набережной. Удар поразил землю, и ей показалось, что Хользунов, глядевший бронзовыми глазами в небо, вздрогнул и шагнул с гранитного пьедестала. Снова ударил гром от земли в небо, вселенная пошатнулась, и угловое здание, где находился знакомый галантерейный магазин, задымившись струями и облаками известковой пыли, поползло на мостовую. Тёплый и плотный удар воздуха толкнул ее в грудь. На разные голоса закричали люди на набережной, побежали... Двое военных легли на клумбу, и один из них закричал:

— Ложись, дура, убьёт...

Матери хватали детей из колясок и бежали, одни к реке, другие от реки... Странное спокойствие овладело Женей — она ясно видела всё вокруг рушащиеся дома, короткое, геометрически прямое пламя взрывов, чёрный и жёлтый дым, она слышала торжествующий визг стремящихся к земле бомб, видела толпу, заметавшуюся по пристаням, бросившуюся к

паромам и лодкам...

Но всё это воспринималось ею, словно глаза ее и сердце были погружены в воду и она наблюдала бушующий мир, глядя вверх со дна тихого и глубокого пруда.

Парень с полевой сумкой на плече, бежавший мимо неё через улицу, упал, и его зеленая фуражка покатилась к тем воротам, к которым он хотел добежать. Он лишь мелькнул перед глазами Жени, и тотчас она забыла о нём.

Она видела другого парня, бежавшего по улице с жёлтым чемоданом — движения его были мягкие, хищные, словно он бежал лапами, а не человеческими ногами. Она видела, как красноармейцы выносили из огня раненую женщину. Потом, вспоминая пережитое, она поняла, что время спуталось в ее мозгу — человека с полевой сумкой она видела не в первые часы, а на третий день бомбёжки. У неё было странное ощущение — будто чьё то слово перенесло её в пору величественных и мрачных потрясений прошедших веков.

Все видевшие в тот час высокую молодую женщину, идущую среди бегущих людей, считали её безумной — невысказанными были эта медлительная походка, задумчивое выражение спокойных глаз.

Случается, что душевно потрясённые люди, застигнутые страшной вестью, продолжают методично дохлёбывать щи либо медленно, сосредоточенно наводят глянец на сапоги, хитро сощурившись, дошивают прорешку, дописывают строчку.

Но не пламя горевших домов и пыль над ними, не удары обезумевшего молота, с размаху бившего по камню, железу и человеку, вдруг связали ее с истинным и ужасным смыслом происходившего. Она увидела лежавшую посреди бульвара старую, бедно одетую женщину с волосами, склеенными кровью, а рядом с ней на коленях стоял полнолицый человек в нарядном сером плаще и, поддерживая старуху, говорил: — Мама, мама, да что с вами, мама, скажите, мама, мама? Старуха погладила по щеке стоящего на коленях мужчину, и Женя, точно в мире не было ничего, кроме этой морщинистой руки, увидела все, что выражала она: и ласку матери, и просьбу младенчески беспомощного существа, и благодарность сыну за любовь, и слезы, и утешение сыну за то, что он, достигший силы, так слаб и беспомощен, и прощение ему в том, в чём он виноват, и расставание с жизнью, и желание дышать и видеть свет.

Женя, подняв руки к жестокому, рычащему небу, закричала:— Что вы делаете, злодеи, что вы делаете? Человеческое страдание! Вспомнят ли о нём грядущие века? Оно не останется, как останутся камни огромных домов и слава воинов; оно — слезы и шёпот, последние вздохи и хрипы умирающих, крик отчаяния и боли всё исчезнет вместе с дымом и пылью, которые ветер разносил над степью.

И только в эту минуту ощутила она страх. Она побежала к дому, пригибаясь при каждом взрыве, и ей казалось — вот выйдет Новиков и выведет ее из огня и дыма. И она искала его, спокойного и сильного, среди бегущих, хотя знала, что Новиков не может быть здесь. Но мысль о нем, именно о нём, именно в эти минуты и была, быть может, тем признанием, которого он ждал и хотел услышать от неё. Потом, вспоминая об этом, она удивлялась, почему даже мысли о Крымове не возникло у неё — ведь он был в Сталинграде в час пожара, ей казалось, что только о нём она думала эти дни и что мысли о нем будут волновать и тревожить её до конца жизни. А оказалось другое — после, думая о Крымове и о несостоявшемся свидании с ним, она испытывала к нему спокойное безразличие.

Она подошла к своему дому. Из вышибленных окон всех пяти этажей выбивались цветные и белые занавески, и она ещё издали заметила белую, обшитую синим шёлком занавеску, которую сама вышивала. В одном окне стояли цветочные горшки — пальмы и фуксии. Странная пустота была вокруг. Но здесь, возле родного дома, особенно страшен казался гул самолётов и грохот бомбёжки.

И Жене с постоянно присущей ей способностью художника сравнивать и выражать предметы через необычные, внутренние, а не внешние сходства, дом этот представился огромным пятиэтажным кораблём, выходящим из туманного и дымного порта в бушующее, ревущее море.

Она остановилась, озираясь, — как пробраться среди камней и опустившихся к земле проводов. Её окликнули со двора, указали дорогу, и она вошла в бомбоубежище. Сперва тьма была непроницаемой, тяжёлая духота зажала дыхание. Потом Женя различила вдали огоньки коптилок, бледные пятна человеческих лиц, полотно подушек, увидела блестящую влагой водопроводную трубу. Сидевшая на земле женщина сказала:

— Куда вы, наступите на ребёнка!

Когда с силой ухали взрывы и вдрагивали над головой пять тяжёлых этажей камня и железа, шелест проходил по подвалу, а затем вновь становилось тихо в душной тьме, словно порождённой этими сотнями молчаливых, склоненных голов.

В подвале звуки бомбёжки были слышны не так громко, но звуки эти казались особенно страшными, соединенные с тихой, бесшумной дрожью железобетонных сводов. Ухо различало просверливающий гул моторов, грохот разрывов, звенящие удары зенитных пушек... Когда зарождался сперва зловеще тихий, а затем тяжелевший вой бомбы, все задерживали дыхание, а головы пригибались в ожидании удара.. И в эти воюющие секунды, каждая из которых делилась на сотни бесконечно длинных, отличных одна от другой долей, не было ни дыхания, ни желаний, ни воспоминаний, а одно лишь эхо этого слепого, железного воя заполняло все тело. Тихонько ощупав пальцами темноту. Женя отыскала свободное место и села на землю. Казалось, и камень, нависший над головой, и водопроводные трубы, и глубина подземелья — всё таит опасность, угрозу, и минутами подвал казался не убежищем, а могилой. Ей хотелось разыскать мать, начать расталкивать людей, пробираться сквозь мрак, называть всем своё имя, нарушить своё одиночество среди людей, чьих имён она не знает, чьих лиц не видит, людей, которые не видят её лица..

Но минуты, каждая из которых казалась последней, медленно складывались в часы, и напряжение постепенно сменялось терпеливой тоской...

— Идём домой, идём домой, — монотонно повторял детский голос, — мама, пойдём домой Женщина сказала:

— Сидим и ждём конца, униженные и оскорбленные. Женя тронула её за плечо.

— Оскорбленные, но не униженные, а за оскорбление мы спросим ответа...

— Тише, тише, кажется, опять летят, — произнёс из-за спины мужской голос.

— О господи, — пожаловалась Женя, — как в мышеловке.

— Бросьте курить, и так люди задыхаются!

С внезапной надеждой Женя громко крикнула:

— Мама, мама, здесь ли ты? Сразу отозвались десятки голосов:

— Тише, тише... Разве можно кричать!

Словно подтверждая истинность нелепого опасения, что враг может услышать человеческий голос из подземелья, над головой возник тонкий, едва слышный звук, стремительно усиливающийся... И хриплый рёв, прижимая всех к земле, заполнил пространство. Земля хряснула, стены заколебались от удара шестидесятипудового молота, павшего с двухвёрстной высоты, посыпались камни, и со стоном ахнула шарахнувшаяся во мраке толпа.

Казалось, навеки тьма хоронит всех в подвале, но именно в этот миг зажгётся электрический свет, осветил ринувшихся к выходу людей. Стены и беленый потолок были целые, видимо, бомба не повредила здания, а разорвалась рядом. Свет зажгётся лишь на несколько мгновений, но в этом ярком, ясном свете самое страшное — чувство заброшенности и одиночества в подземелье — оставило людей, они уже не были оторванными, затерявшимися в огне песчинками. Чья то мысль, чьи то трудовые руки продолжали упрямо борьбу и работу, и этот свет в подвале с полузасыпанным выходом радостно потряс каждого человек, ощутившего живую связь, объединившую его с несметным числом советских людей. В этот миг они уж не были замершей в тоске толпой, они ощутили себя частью сильного, непобедимого народа...

Женя увидела мать, она сидела, сгорбленная, седая старуха, у стены подвала.

Женю захлестнуло радостью встречи. Она ощутила, как круг любви, дружбы в этот миг

стал широк, и ей хотелось закрыть своим телом не только своих близких, но всех людей в Сталинграде, казавшихся ей братьями. И, целуя руки, плечи, волосы матери, она говорила?

— А ведь это наш Степан Фёдорович, мамочка, я уверена, именно он дал свет со Сталгрэса... Как мне хочется, чтобы и Маруся, и Вера скорей узнали — дал свет в ужасную минуту, самую ужасную! Нас не согнут, мамочка, наших людей не могут согнуть!

Думала ли она, когда, охваченная страхом уничтожения, бежала по улице к дому, что именно в этот день ощутит она не один лишь ужас, но и любовь, и веру, и гордость.

Вера остановилась на лестнице между третьим и четвертым этажами.

Всё здание госпиталя вздрогнуло, стёкла звонко посыпались, где-то ухнула штукатурка. Вера закрыла лицо руками, сжалась — вот сейчас на неё посыплются стёкла, изрежут щёки, губы, изуродуют её лицо. Послышались один за другим несколько взрывов, они всё приближались — ясно, что через несколько секунд бомбы накроют госпиталь. Чей-то голос крикнул сверху:

— Дым откуда?

И сразу несколько голосов отозвалось:

— Дым, дым! Зажигательная попала... горим!..

Вера бросилась вниз. Казалось, что среди грохота сейчас рухнет лестница и крыша, что кричащие люди зовут её, что её ловят, хотят задержать.

А по лестнице вместе с ней спускались уборщицы, санитарки, заведующий клубом, две девушки из аптеки, десятки раненых из различных палат. С верхнего этажа раздавался властный голос комиссара госпиталя.

Двое раненых бросили костыли и скользили на животах по перилам, казалось, они затеяли игру или сошли с ума.

Хорошо знакомые лица были совершенно другими, она с трудом узнавала их, и ей казалось, что она не узнаёт эти побелевшие лица оттого, что у неё мутится в голове и темнеет в глазах.

Внизу она остановилась на мгновение. Все бежали вдоль стены, на которой была прибита стрела с надписью «бомбоубежище».

В это время грохот раздался совсем рядом. Вера сильно ударилась плечом о стену.

«Если спрятаться в убежище, — подумала она, — начальник отделения обязательно пошлёт наверх, на последний этаж, может быть, даже на крышу». И она не зашла в убежище, выбежала на улицу. То была улица, где находилась её школа, когда она училась не на Сталгрэсе, а в городе, в пятом, шестом, седьмом классе, улица, где она покупала ириски, пила «газировку» с сиропом, воевала с мальчишками, шепталась с подругами, бежала рысью, размахивая сумкой, боясь опоздать на первый урок, и шла особой походкой, подражая тете Жене.

Битый кирпич лежал на мостовой, дома, где жили ее подруги и знакомые, стояли без стекол. Она увидела горящую посреди улицы машину и обгоревшее тело военного — ноги на тротуаре, голова на мостовой.

Знакомая тихая улочка — то была ее маленькая жизнь, растоптанная и сожженная Вера бежала к бабушке, к маме и знала? не для того, чтобы помочь им, чтобы спасти их, а для того, чтобы прижаться к матери и кричать — «Мамочка, что это, за что это?» — и зарыдать так, как никогда она не рыдала.

Но Вера не дошла до своего дома. Остановившись, стояла она среди пыли и дыма. Никого не было рядом с ней, ни бабушки, ни матери, ни начальников её. Ей одной было решать.

Что заставило эту девочку повернуться и пойти назад к пылавшему госпиталю? Прозвучал ли в ушах её жалобный крик, раздавшийся из палаты, где лежали ожидавшие операции раненые? Охватила ли ее ребячья злость на свою трусость, на бегство, и не проснулись ли в ней такое же ребячье упрямство и желание победить эту трусость?

Или она вспомнила о дисциплине, о позоре дезертирства? Было ли то случайное, мгновенное движение? Или, наоборот, поступок, закономерный сложившийся в одну

равнодействующую все то добро, которое вкладывали в её душу? Она пошла назад по горящей улочке своей жизни.

Вере не показалось странным, что сердитая уборщица Титовна и близорукий доктор Бабад вынесли на носилках раненого, положили его на дворе и вновь ушли в горящее здание.

Спасением раненых были заняты многие люди: комиссар госпиталя и санитар Никифоров, обычно малоподвижный, угрюмый человек, и красивый, весёлый политрук из палаты выздоравливающих, и старшая медицинская сестра Людмила Саввишна, тратившая много денег на одеколон и пудру в тщетном, смешившем Веру стремлении сорочапятiletней женщины нравиться мужчинам; и разговорчивая и добрая докторша Юкова из терапевтического отделения, и молодой доцент, консультант Виктор Аркадьевич, которого сестры считали холодным, кичащимся своим мастерством гордецом и столичным франтом, и многие, многие санитары, врачи, фельдшеры, всегда казавшиеся Вере неинтересными, обыкновенными людьми. Все эти совершенно различные люди сейчас — Вера ясно поняла и увидела это — имели в себе нечто общее, важное, что связывало их.

Ее даже удивило, как она раньше не замечала этого общего, объединяющего и комиссара, и санитаря Никифорова, и доцента консультанта с перстнем на пальце.

Так же не удивило её отсутствие некоторых, кто, казалось раньше, обязательно должен быть здесь.

Те, кто в дыму, под вой и взрывы бомб спасали раненых, тоже не удивились, когда к ним присоединилась Вера. А они ведь знали худое о ней, она читала роман Дюма и, когда раненый позвал её, сказала. «Ох, отстаньте, честное слово, дайте хоть главу дочитать». Она однажды съела чужую порцию второго; она несколько раз уходила без разрешения, у неё был роман с лёгчиком, находившимся на излечении, она была девушкой довольно-таки вздорной, дерзкой и упрямой.

Людмила Саввишна, вытирая пот с грязного лица, сказала ей:

— А дежурный врач как в воду канул? Вера вошла в горящее здание, и ей на третьем этаже кричали:

— Выше не поднимайся, бесполезно, там уже никого нет живых!

Она пошла выше, по той самой лестнице, с которой в ужасе сбежала полчаса назад. Она прорвалась через горячий дым на четвёртый этаж. И это она сделала из желания доказать тем, кто не боялся смерти, что она тоже ничего не боится, мало того, она — ловчее, отчаяннее их всех. Но когда она ощупью, кашляя и жмурясь, вошла в комнату с разрушенным потолком, полную быстрого жгучего дыма, и худой, свалившийся с койки человек посмотрел ей в глаза и протянул к ней руки, белые среди белого дыма, она испытала такое сильное, потрясшее её чувство, что даже на миг удивилась, как сердце её могло вместить его.

В этой палате, где лежало трое смертников, двое ещё жили.

Она поняла по взгляду, встретившему её, что люди эти испытывали чувство более страшное, чем предсмертную муку. Им казалось, что они брошены, и они ненавидели и проклинали род людской, забывший того, кого нельзя предать и забыть беспомощного человека, младенчески слабого, смертельно раненого солдата.

Девушка поняла, что испытали эти люди, увидев её. И чувство материнства, то чувство, что согревает всю жизнь человека на земле, наполнило всё её существо.

Она потащила одного, и второй спросил её.

— Вернешься?

— Конечно, — сказала она. И она вернулась. Потом и её снесли вниз, и она слышала, как врач, мельком посмотревший ее, сказал:

— Жалко, молодое существо, щека, лоб, подбородок обожжены. Да боюсь, что правый глаз у неё повреждён. Надо её эвакуировать...

Когда бомбёжка на время утихла, Вера, лёжа в садике, видела своим уцелевшим глазом, как старый и привычный мир вновь заслони́л мир, открывшийся ей в огне. Люди, выйдя из убежища, стали шуметь, распоряжаться, и она то и дело слышала начальственный

покрикивающий басок, к которому привыкла за время работы в госпитале.

Всем, не только бывшим на левом берегу Волги, но и тем, кто находился в самом городе, казалось, что на заводах в эти часы происходило нечто ужасное, разгул разрушения.

И никому не приходило в голову, что все три завода — Тракторный, «Красный Октябрь» и «Баррикады» — продолжали работать, и нормальным ходом шел ремонт танков, выпуск пушек и тяжелых минометов.

Вое те, кто в эти часы направлял ход станков, сваривал автогеном, бил молотком заевшую деталь в поставленном в ремонт танке, управлял молотами и прессами, — всем им было трудно, но легче и лучше, чем ждущим в подвалах и бомбоубежищах свершения судьбы. В работе легче переносить опасность. Это хорошо знают чернорабочие войны — пехотинцы, саперы, минометчики, артиллеристы. Они знают это по опыту своей рабочей мирной жизни, где труд — смысл и радость бытия, утешение в лишениях и потерях.

Никогда Андреев не испытывал подобного чувства. Оно было несравнимо ни с тем, что он переживал, когда вернулся вновь на работу, ни с теми часами беспричинного счастья, которые выпадали ему в пору молодости.

Он переживал своё прощание с женой, вспоминал тот недоумевающий, робкий взгляд не старухи, а ребёнка, каким она в последний раз посмотрела на задернутые занавеской окна, на запертую дверь опустевшего дома и на лицо человека, с которым прожила сорок лет. Он вновь видел затылок и смуглую шею внука, шедшего к пристани рядом с Варварой Александровной, и слезы застилали ему глаза, в тумане исчезал дымный полусумрак цеха...

Тяжело перекачивали волны взрывов по гулким цехам, цементный пол и стальные перекрытия тряслись, от исступлённого рева зенитной артиллерии вздрагивали каменные чаши-печи, полные стали.

И рядом с горечью расставания, с мучительным для старого человека чувством гибели привычного строя жизни жило и пекло совсем иное хмельное чувство — чувство силы и свободы, быть может, пережитое два века назад каким-нибудь волжским стариком, бросившим дом и семью и пошедшим со Степаном Разиным добывать свободу.

И в утреннем тумане представлялся высокий пахучий камыш и бородатое бледное лицо человека, жадно глядевшего на блестящий, сводивший с ума волжский простор...

И хотелось крикнуть пронзительно, со всем горем, со всей силой и весельем мастерового человека: «Вот он, я!» — так, как уж не раз кричали над этой рекой, идя на смерть, мужики и мастера.

Он поглядел на высокую, закопчённую стеклянную крышу. Голубое летнее небо казалось через эти стёкла серым, дымным, словно и небо, и солнце, и вся вселенная закоптились в заводской работе. Он посмотрел на рабочих, своих товарищей, — то были последние часы последнего свидания перед разлукой. Здесь прошли годы его жизни, здесь щедро отдавал он работе свои силы, свою душу.

Он посмотрел на печи, на кран, осторожно и послушно скользивший над головами людей, на маленькую цеховую контору, оглядел весь кажущийся хаос огромного цеха, где не было хаоса, а царил разумный, рабочий порядок, такой же привычный и понятный ему, как порядок в доме под зелёной крышей, заведённый и покинутый Варварой Александровной.

Вернётся ли она в этот дом, где прожили они долгие годы? Суждено ли ему увидеть её, сына, внука? Суждено ли ему вновь прийти в этот цех?

Как всегда в момент катастрофы и высшего испытания душевных сил, многие повели себя неожиданно, не так, как вели себя в привычной жизни. Издавна принято рассказывать, что во время стихийного бедствия пробуждается слепой инстинкт самосохранения и человек ведёт себя не по-людски.

Действительно, и в Сталинграде можно было увидеть грубую толкотню и драки на переправе, можно было увидеть, как переправлялись на левый берег некоторые из тех, кому долг и обязанность велели остаться в Сталинграде. Некоторые люди, кичившиеся в обычное время перед другими своим воинственным видом, в этот день выглядели жалкими и растерянными.

Издавна все эти вещи принято рассказывать печальным шёпотом, как некую скверную, но неизбежную правду о человеке. Но эти ограниченные наблюдения над людьми — лишь видимость правды.

Среди дыма и грохота разрывов сталевары на «Красном Октябре» стояли у мартенов, на Тракторном без минуты перерыва работали горячие, сборочные и ремонтные цехи; на Сталгрэсе машинист котла не покинул поста, даже когда его осыпало с головы до ног кирпичной крошкой и стеклом и половина штурвала была вырвана осколком тяжёлой бомбы. Немало было в Сталинграде милиционеров и пожарных, ополченцев и красноармейцев, тушивших огонь, который нельзя было потушить, и гибнувших в огне. Можно рассказать о чудесной смелости детей, о чистой и спокойной мудрости стариков-рабочих. Можно рассказать о коммунистах и комсомольцах, о военных руководителях и командирах, сделавших всё, что было в их силах, для спасения горящего города и населения.

В такие часы рушатся ложные оценки, и именно в этом — то истинное и новое, что дают нам суровые испытания в понимании человека. Истинная мера человека, видим мы, должна быть совершенно чужда внешнего и случайного.

Пусть же сохранится и будет передана грядущему простодушная мера ценности и значимости человека, откованная в честной кузне трудовой советской демократии. Эта мера человека была проверена на улицах пылавшего Сталинграда.

В восьмом часу вечера к полевому немецкому аэродрому вблизи запыленной и чахлой дубовой рощицы стремительно подъехала штабная машина и резко затормозила у двухмоторного военного самолёта. В тот момент, когда автомобиль пересекал границу аэродрома, пилот включил мотор. Из автомобиля вышел командующий четвертым воздушным флотом Рихтгоффен, одетый в лётный комбинезон, и, придерживая фуражку, не отвечая на приветствия техников и мотористов, широким шагом подошёл к самолёту и стал взбираться по лесенке. Его крепкие пружинившие ляжки и широкая, мускулистая спина спортсмена обозначались при каждом энергичном движении. Заняв место стрелка радиста, он привычно, по пилотски, надел шлем с наушниками, рассеянно, как все готовящиеся к полету лётчики, оглядел людей, остающихся на земле, поёрзал, плотно примачиваясь на твердом низком сидении.

Моторы завывали, заревели, седая трава затрепетала, огромный шлейф белой пыли, словно раскалённый пар, вырвался из-под самолёта. Самолёт оторвался от земли и, набирая высоту, пошел на восток.

На высоте двух тысяч метров его нагнали, посвистывая моторами, «фокке-вульфы» и «мессершмитты» сопровождения.

Пилотам истребителей хотелось по-обычному позубоскалить на короткой волне, но они молчали, зная, что их разговор услышит генерал. Через тридцать минут машина шла над Сталинградом.

С высоты четырех с половиной тысяч метров видна была освещенная заходящим солнцем картина огромной катастрофы. Раскалённый воздух поднимал ввысь белый дым, очищенный от сажи; этот отбелённый высотой дым стлался в вышине волнистой пеленой, его трудно было отличить от лёгких облаков, ниже дышал, вздымался, кипел тяжёлый, вихрастый, то чёрный, то пепельный, то рыжий дымовой ком казалось, сам Гауризанкар [Одна из вершин Гималаев] медленно и тяжело поднимался из чрева земли, выпячивая миллионы пудов раскалённых, плотных пегих и рыжих руд. То и дело жаркое, медное пламя прорывалось из глубины колоссального котла, выстреливало на тысячи метров искрами, и, казалось, глазам представлялась космическая катастрофа.

Изредка становилась видна земля, метание мелких чёрных комариков, но плотный дым мгновенно поглощал этот вид. Волгу и степь затянуло мглистым туманом, и река и земля в тумане казались седыми, зимними.

Далеко на восток лежали плоские степи Казахстана. Гигантский пожар пылал почти у самой границы этих степей.

Пилот, насторожившись, слушал в телефон тяжёлое дыхание пассажира. Пассажир

отрывисто произнёс:

— ...Увидят на Марсе... Вельзевулова работа...

Фашистский генерал своим каменным, рабским сердцем в эти минуты чувствовал власть человека, который привёл его к этой страшной высоте, дал в руки факел, которым германская авиация зажгла костёр на последнем рубеже между Востоком и Западом, указал путь танкам и пехоте к Волге и огромным сталинградским заводам.

Эти минуты и часы казались высшим торжеством неумолимой «тотальной» идеи, идеи насилия моторов и тринитротолуола над женщинами и детьми Сталинграда. Эти минуты и эти часы, казалось фашистским лётчикам, пересекавшим страшную стену зенитного огня и парившим над сталинградским котлом дыма и пламени, знаменовали обещанное Гитлером торжество немецкого насилия над миром. Навечно поверженными казались им те, кто, задыхаясь в дыму, в подвалах, ямах, убежищах, среди раскалённых развалин обращённых в прах жилищ, с ужасом прислушивались к торжествующему и зловещему гудению бомбардировщиков, царивших над Сталинградом.

Но нет! В роковые часы гибели огромного города свершалось нечто поистине великое — в крови и в раскалённом каменном тумане рождалось не рабство России, не гибель её; среди горячего пепла и дыма неистребимо жила и упрямо пробивалась сила советского человека, его любви, верности свободе, и именно эта неистребимая сила торжествовала над ужасным, но тщетным насилием поработителей.

К 23 августа немецкое командование переправило на левый берег Дона в районе хутора Вертячий две танковые и одну моторизованную дивизии, а также несколько пехотных полков.

Эти заранее сосредоточенные на плацдарме войска были брошены в сторону Сталинграда как раз в те часы, когда немецкая авиация всей мощью своей обрушилась на жилые кварталы города.

Танковые войска немцев прорвав советскую оборону, стремительно двинулись к Волге по коридору, шириной примерно в восемь десятых километров. Прорыв был стремителен и развивался успешно немцы, минув оборонительные укрепления, шли прямо на восток к Сталинграду, истерзанному тысячами фугасных бомб, задыхавшемуся в дыму и огне.

Немецкая «панцерная» группа двигалась, не обращая внимания на встречные советские грузовые колонны и обозы, на пешеходов, убежавших при виде немцев в степь либо кидавшихся к волжскому обрыву. Во второй половине дня немецкие танки появились на северной окраине Сталинграда, в районе рабочего поселка Рынка и деревни Ерзовки, и вышли на берег Волги.

Таким образом, в 4 часа дня 23 августа 1942 года Сталинградский фронт был перерезан на две части узким коридором. В этот коридор немецкое командование тотчас же вслед за танками, пустило несколько пехотных дивизий. Опасность положения усугубилась тем, что немецкие войска оказались на западном берегу Волги, в полутора километрах от Сталинградского тракторного завода, в тот момент, когда главные силы 62 и армии еще вели напряженные бои на восточном берегу Дона.

Потрясенные сталинградским пожаром, советские люди на широкой наезженной дороге, идущей вдоль Волги от Сталинграда к Камышину, вдруг увидели немцев на марше впереди шли тяжёлые танки, за ними тянулись в пыли колонны мотопехоты

За движением колонны напряженно следили немецкие офицеры штаба танковой группы прорыва. Все радиogramмы шедшие с командирских машин, открытым текстом немедленно передавались генерал полковнику Паулюсу.

Напряжение царило во всех звеньях цепи. Все вещало успех. Вечером в Берлине знали уже, что Сталинград представляет собой море огня, что танки, не встречая сопротивления, вышли к Волге и ведут бой на Тракторном заводе. Еще одно усилие, еще нажим — и вопрос о Сталинграде, казалось немцам, был бы решён.

На огородах и изрытом ямами пустыре на северо-западной окраине Тракторного завода группы красноармейцев-минометчиков отведенной в тыл противотанковой бригады вели

учебные занятия.

Со стороны завода доносилось низкое и сдержанное гудение, подобное шуму осеннего леса, сквозь муть закопчённых окон время от времени легко пробивались огни, цехи наполнялись голубым трепетом электросварки.

Старший лейтенант Саркисян, командир дивизиона тяжёлых миномётов, медленно, по-хозяйски прохаживался среди миномётчиков, присматривался к движениям, прислушивался к словам и шел дальше. Его синевато-смуглое лицо было полно важности и удовольствия, целлулоидовый подворотничок франтовски выглядывал из-под ворота новой габардиновой гимнастёрки, жёсткие волосы чёрными кольцами выбивались из-под новой артиллерийской фуражки с чёрным околышком, на которую он, уйдя с переднего края, сменил свою фронттовую пилотку. Он был плотен, широк в плечах и очень мал ростом и, как все люди малого роста, старался качаться выше — отпустил шевелюру, стоящую дыбом, и в условиях тыла, если позволяла обстановка, летом носил фуражку с высоким верхом, а зимой кубанку.

Он прислушался к тому, как сутулый красноармеец-наводчик ответил младшему лейтенанту, командиру взвода, и темно-карие глаза его с ослепительными белками посмотрели косо и сердито.

— Неправильно, ерунда, — сказал он и пошёл дальше. Занятия шли лениво люди отвечали рассеянно, невпопад выкрикивали данные прицела, особенно неохотно окапывались и, едва отходил командир дивизиона, зевали и поглядывали, нельзя ли присесть и покурить.

После многосуточного лихорадочного напряжения командиры и солдаты испытывали ту сонную, томную разрядку, которая охватывает обычно выведенных из боя людей; не хотелось двигаться, вспоминать прошлое, думать о будущем. Но африканский темперамент юного старшего лейтенанта не терпел покоя, и когда Саркисян отходил, красноармейцы сердито поглядывали на его толстую шею и оттопыренные уши. Ведь в этот воскресный день отдыхали и занимались своими хозяйственными делами расчёты противотанковой артиллерии и рота петееровцев, и зенитчики, и боепитание, и штаб. Было известно, что командир и суровый комиссар дали бригаде полный отдых и не требовали проведения занятий. Но Саркисян с утра вывел свой дивизион на огороды, заставил рыть учебную оборону, перетаскать к месту занятий у глубокой балки тяжёлые миномёты и часть боеприпасов. Старший сержант Генералов, довольный, выпавшийся, помывшийся в бане, попивший жигулёвского пива, больше по движению губ, чем по звуку, угадывал негромкий разговор красноармейцев, добродушно покрикивал:

— Отставить матерки!

К Саркисяну подошли гулявшие под руку лейтенант Морозов с забинтованной рукой, только что освобождённый от дежурства по штабу бригады, и командир батареи зенитного полка, охранявшего завод. Они вместе учились в военном училище и неожиданно встретились на заводе.

— Ну, товарищ старший лейтенант, теперь мы надолго с фронтом простились, сказал Морозов. — Пришло сегодня из штаба округа отношение, здесь не оставят, уйдём на переформирование куда-то северней Саратова, и пункт указали, я только забыл какой.

Он рассмеялся, и Саркисян тоже рассмеялся и потянулся всем телом.

— Отпуск могут дать, — сказал Свистун, лейтенант-зенитчик, — особенно тебе, товарищ лейтенант, у тебя ведь незаживающее ранение.

— Свободно могут, отпуск не проблема, — ответил Морозов, — командование не против, я разведал.

— Мне-то уж не дадут, — сказал Свистун, — Сталинградский тракторный объект всесоюзного значения, — и вздохнул.

Саркисян подмигнул Морозову, посмотрел на краснощёкое лицо Свистуна,

— А зачем вам отпуск, тут тебе не жизнь, а курорт: Волга рядом, каждый день на пляж ходишь, купаешься, арбузы кушаешь. — Он насмешливо относился к Свистуну, служившему

в зенитном полку, охранявшему тыловой объект.

— Да ну их, эти кавуны, — сказал Свистун, — обрыдли.

— А девочки-зенитчицы, ты видал, у них какие? — спросил Морозов. — Полный комплект: дальномерщицы, прибористки, все почти десятилетку кончили, чистенькие, причёсанные, завитые, подворотнички беленькие; я пришёл на батарею и обмер прямо. Зачем тебе. Свистун, отпуск? Ты ещё в училище отличался.

Свистун посмеялся коротеньким смешком и со сдержанностью удачливого мужчины, не желающего хвастать, опустил глаза и сказал:

— Ну, это бросьте заливать!

Морозов повернулся к Саркисьяну, понизив голос, проговорил:

— Отдыхать, так отдыхать. Вот сдам дежурство и поедем в город. Товарищ старший лейтенант, зачем вы тут в глубоком тылу занятие затеяли? Все поехали. Подполковник с адъютантом рыбу ловят, комиссар письма пишет.

— Пиво должны в заводскую столовую привезти, — сказал Саркисьян. — Мне заведующая объяснила.

— Это толстая? — спросил Морозов.

— Хорошая женщина Мария Фоминишна, всегда предупредит, когда пиво, сказал заводской старожил Свистун. — Вы имейте в виду, тут бочковое лучше бутылочного, а ценой дешевле.

— Марусенька, — кивнул Саркисьян, и зубы, и белки его глаз засверкали — В восемнадцать ноль-ноль она освободится, гулять пойдем, а пока я принял решение занятия проводить.

— Она совсем пожилая, товарищ старший лейтенант, — сказал с укором Морозов, — ей не меньше как тридцать лет.

— Та ещё с добрым гаком, — добавил Свистун. Разговор этот происходил в три часа пополудни жаркого и спокойного воскресного дня, и могли ли предполагать участники этого разговора, что через час именно им, и никому иному, суждено будет первыми встретить удар немецкой танковой колонны, что тяжёлые миномёты Саркисьяна и длинноствольные зенитные пушки Свистуна возвестят начало великого сталинградского сражения.

Поговорив ещё немного, они разошлись, условившись встретиться через два часа в заводской столовой, попить пива и на машине поехать в город смотреть кино; машину давал Саркисьян, а горючее для поездки имелось у Свистуна.

— Проблему горючего здесь не трудно решить, — сказал Морозов, любивший ещё в училище употреблять учёные обороты.

Но Саркисьяну уже не пришлось встретиться с Морозовым и Свистуном. Вечером этого же дня убитый лейтенант Морозов лежал, полузасыпанный землёй, с разможжённой головой и развороченной грудью, а Свистун держал тридцатичасовой бой% часть могучих длинноствольных и скорострельных зенитных пушек била по немецким танкам, а остальные, раскаленные боем, среди пыли, дыма и пламени отражали налёты бомбардировщиков. В этом бою батарея потеряла связь со штабом, и командиру зенитного полка подполковнику Герману казалось, что скрытые в чёрном дыму пушки Свистуна давно уже погибли со всеми расчётами, он лишь по слуху, сквозь дым и земной туман, узнавал, что батарея Свистуна продолжает драться. В этом бою были убиты многие девушки — прибористки и дальномерщицы, о которых днём говорили лейтенанты, и самого Свистуна выволокли на плащ палатке с тяжёлой раной в живот и с обгоревшим лицом.

Но в ту минуту, когда старые друзья, Морозов и Свистун, обнявшись, пошли к заводу, посмеиваясь, вспоминали училищную старину, а Саркисьян продолжал с довольным и важным лицом прохаживаться между ведущими занятия миномётными расчётами, мир и тишина царили в небе и на земле.

Подносчики мин первыми заметили немецкие самолёты.

— Гляди, гляди? — закричал один — Как мураши! Все небо, и с Волги, и отовсюду

— На нас идут, ну, накрылись мы!

Завыли заводские сирены, но их пронзительный вой заглох в густом, заполнившем небо гуле моторов.

Красноармейцы, подняв головы, следили за движением черной тучи. Опытные глаза фронтовых солдат определили в хаосе движения, что главный удар немцы наносят по городу — Во, во разворачиваются, гады... Пошли вниз, пикирует, пикирует... Пускают, пускают?

И действительно, послышался безрадостный, ледяной свист — и глухие утробные взрывы слились в один мощный звук, от которого заходила земля.

Пронзительно крикнул живой молодой голос.

— Эй, смотри, смотри, часть сюда заворачивает, эти на нас идут?

Красноармейцы врассыпную побежали по щелям, ямам, овражкам, залегли, прикрывая головы, придерживая пилотки, точно в пилотках и было спасение от фугасных бомб. Зенитные пушки открыли огонь.

Загрели вразнобой падавшие между цехами бомбы.

Тотчас за первым заходом на заводы самолеты совершили второй, за вторым третий.

Саркисьян, так внезапно перешедший от тыловых мыслей о пиве и вечерней прогулке в город к суровой действительности войны несколько мгновений озирался по сторонам. Он в душе боялся бомбовозов и всегда терялся во время воздушных налетов, с тяжёлой сердечной тоской глядел на немецкие самолёты — где высмотрели себе жертву, куда прянут? Он говорил о немецких воздушных бомбежках «Это не война, это хулиганство».

Бой на земле? В таком бою он чувствовал себя сильным, злым, хитрым, в борьбе с наземным врагом не было отвратительного чувства обнаженной головы...

— По местам! — крикнул он, гася в сердитом крике тревогу сердца.

Немецкие эскадрильи, отбомбившись, ушли, а новые еще не подходили, лишь дым быстро сносило ветром к Волге. С юга слышался то нараставший то утихавший гул зенитной артиллерии, и все небо над городом было в облачках зенитных разрывов и в полупрозрачной дымке нарождавшихся по жаров — сотни разъяренных и ядовитых двухмоторных насекомых высокой, беспорядочной тучей кружились над Сталинградом. Их атаквали советские истребители. Красноармейцы вылезли из ям, пошли к миномётам, не отряхивая с себя земли, зная, что через несколько минут снова придётся кидаться к щелям. Все головы были повернуты к городу, все глаза были устремлены на небо Саркисьян, оттопырив губы и ещё больше округлив глаза, несколько раз тревожно оглянулся. К рычащему грохоту, стоящему в воздухе, казалось, примешивалось чуть слышное, хорошо знакомое ему железное, жёсткое мурлыканье.

— Ты не слышишь? — спросил он нахмуренного, но неизменно румяного сержанта Генералова

Генералов мотнул головой и, матеря авиацию противника, указал на небо:

— Вот летят, опять сюда, на заводы.

Но Саркисьян уже не глядел вверх, не слушал плотной и дружной вновь поднимавшейся пальбы зенитных орудий, оборонявших завод. Вытягивая шею, становясь на носки, он всматривался в противоположную городу сторону — на северном крае широкого оврага, шедшего к Волге, среди серых, пыльных лап густого кустарника, казалось ему, шевелился угрюмый и низкий лоб тяжёлого танка...

— Товарищ старшин лейтенант, хоронитесь, разворачиваются, — указывая на небо, предупредил его Генералов. Саркисьян нетерпеливо отмахнулся рукой.

— Послушай, дорогой, — сказал он, — беги к оврагу, посмотри, что за машины, — и толкнул легонько Генералова в спину — Только быстро, быстро слетай, как орёл!

Он приказал командирам взводов приготовиться к боевой стрельбе по краю оврага, а сам полез по лесенке-стремянке на крышу старенького, брошенного жильцами домика.

С этой поросшей зелёным мхом крыши хорошо были видны сараи, огороды, пустая дорога, многочисленные тропки, ведущие к оврагу, да и сам овраг и всё, что было по другую сторону его. Саркисьян видел, как танки, их было не меньше тридцати, показалось ему, шли

колонной по широкой жёлтой дороге в сторону завода.

Они были далеко, и он не мог различить ни их окраски, ни знаков, изображённых на них, — видимо, пыль густо лежала на броне, да и пыль, поднятая гусеницами при движении, набегала, подхваченная ветром, и закрывала машины.

Он видел, как Генералов то бегом, то скорым шагом приближался к оврагу. Конечно, то шли из Камышина наши танковые резервы? Ведь утром командир бригады, приехав в штаб фронта, рассказывал при Саркисьяне, что немцы стали на Дону и, видимо, не скоро соберутся с силой форсировать широкую водную преграду. И всё же он испытывал недоверие к выходившим к оврагу машинам.

Им владело то постоянное недоверчивое, напряжённое чувство человека переднего края, в чью кровь уже вошло всегда и всюду прислушиваться к шорохам ночных шагов и едва различимому шуму моторов, с живой любознательностью всматриваться в пылящий по просёлку грузовик, пытливо разглядывать контуры одиночного самолёта, низко летящего над железной дорогой, вдруг остановившись, затаив дыхание, смотреть на идущих по лем людей.

Со стороны деревушки Лотошинские Сады, куда накануне Саркисьян ходил есть виноград, поднималась пыль, а из садика у берега речушки Мокрая Мечетка, где располагались истребительный батальон и отряды заводскою народного ополчения, слышались частые, но неясные винтовочные выстрелы и несколько коротких пулемётных очередей. Видимо, заводские ополченцы открыли огонь. По ком это стреляли они?

Внезапно Саркисьян увидел среди кустарника и бурьяна на той стороне оврага сверкающий, прерывистый огонь пулемёта, до уха его дошла пунктирная скрежещущая очередь, и этот огонь и звуки сразу связались с Генераловым, тот замахал руками, исчез в овраге и через минуту, уже пригнувшись, бросаясь то вправо, то влево, припадая на миг и вновь вскакивая, бежал по тропинке. Он остановился на секунду и раскатистым голосом закричал:

— П-р р о тивник?

Его слова уж не были нужны, весь вид его, каждое движение говорило о том, что к Тракторному заводу подходили немецкие танки.

И тотчас Саркисьян, стоя на своей замшелой крыше, маленький и величественный, приветствуя свою суровую судьбу, хриплым, ликующим голосом заорал команду, не предусмотренную никаким уставом.

— Дивизион, по фашистским бл... огонь!

На этом окончилась короткая тыловая жизнь выведенного на отдых дивизиона он снова начал войну.

Пулемётный и винтовочный огонь ополченцев и внезапный залп тяжелых минометов остановили движение немцев, искавших перехода через овраг. Этим была проложена первая линия советской обороны на приволжском северном участке Сталинградского фронта..

Крымов писал брату письмо, задумываясь время от времени и переносясь мыслями на Урал, где он никогда не был. В его воображении рисовались картины, составленные из всего того, что он читал и слышал об Урале. В этих картинах наличествовали гранитные горные склоны, поросшие начинавшей желтеть берёзкой, тихие озёра, окружённые вековыми соснами, залитые светом цехи машиностроительных гигантов, асфальтированные улицы Свердловска, пещеры, где среди тёмных масс породы поблёскивали всеми цветами радуги самоцветы. Домик, в котором жил брат, представлялся ему расположенным в месте, где одновременно были и озёра, и горные пещеры, и асфальтированные улицы, и огромные заводские цехи.

Крымову представлялось, что место, где живёт брат, необычайно хорошее, тихое, спокойное.

— Товарищ комиссар, противник! — крикнул, вбежавший в комнату политрук. И сразу комнатка комиссара, которую ординарец старался обставить поуютней, и мысли о брате, об уральских лесах и озёрах исчезли, испарились, как испаряется лёгкая капля, упавшая на

раскалённый чугун!

Война бушевала в мире, и возвращение к войне было просто и естественно, как естественно утреннее пробуждение.

Через несколько минут Крымов был уже на пустыре, где завязался бой с немецкими танками.

Резким голосом он крикнул Саркисяну:

— Доложите, что происходит!

Саркисян, разгорячённый удачной стрельбой по немецким танкам, налитый красно-синим румянцем, ответил:

— Товарищ комиссар, веду огонь по прорвавшейся танковой группе противника. Подбил две тяжёлые машины!

Он подумал, что неплохо бы получить справку от адъютанта бригады о том, что танки подбиты его дивизионом. Ведь на Дону был случай, когда за подбитую Саркисяном самоходку благодарность получила артбатарея...

Но поглядев на лицо Крымова, он забыл сразу про свои житейские мысли, никогда, даже в самые трудные, боевые времена не видел он такого лица у комиссара.

Немцы вышли на берег Волги, на окраину Сталинграда, да не на окраину, они вторглись в сердце Сталинграда, — заводы были сердцем Сталинграда!

Над Волгой во всю ширь неба выли моторы немецких самолётов, их унылое и грозное гудение заполняло пространство, и ужасная связь возникла между ними и скрежещущими на земле танками. Эта связь врагов в воздухе с врагами на земле ширилась, множилась, крепла. Не было задачи важней, чем эта: остановить, задержать немцев, порвать их связь!

В эти минуты Крымова охватило состояние высшего напряжения всех душевных сил, состояние, подобное вдохновению. Дело было не только в решимости отдать свою жизнь, дело было в страстном, трудовом порыве вложить с наибольшим смыслом все свои силы в борьбу.

— Протяните провод вон к тому домику, — указал он помощнику начальника штаба, и тут же спросил Саркисяна: — Сообщите, сколько у вас боеприпасов?

Он выслушал Саркисяна и ответил:

— Очень хорошо. Расстояние до склада велико. Мы ведь не будем оттягиваться, значит, подтянем к огневым боеприпасы.

Красноармеец-заряжающий мельком поглядел на Крымова и сказал:

— Верно, товарищ комиссар, оттягиваться вроде некуда, — и махнул рукой в сторону Волги.

Быстрые взгляды, короткие слова, которыми Крымов обменивался с красноармейцами миномётчиками, подтверждали связь, общность между комиссаром и бойцами.

Он обратился к подбежавшему к нему адъютанту штаба бригады и сказал:

— Немедленно поднимите всех работников штаба, хозчасть на подноску мин, подносчики не справляются.

Он улыбнулся красноармейцу-миномётчику и сказал ему:

— На посту, Сазонов?

— Не хотелось мне оставаться на Дону, помните, товарищ комиссар?

— Помню, как же, — ответил Крымов. Красноармеец, слышавший разговор комиссара с заряжающим, ответил:

— Оттягиваться, товарищ комиссар, некуда, надо подтягиваться.

Красноармеец что-то ещё сказал Крымову, но тот не услышал. В хаосе звуков смешивались выстрелы, разрывы немецких снарядов и близкий грохот разрывов тяжёлых авиационных бомб.

Крымов приказал связному передать записку командиру зенитного полка. В этой записке он писал, что в непосредственной близости от завода появились немецкие танки и зенитчикам нужно немедленно ввязаться в наземный бой, установить связь с противотанковой бригадой. Но не успел связной добежать с запиской до штаба зенитного

полка, как могучие, быстрые удары зенитных пушек оповестили о том, что расчёты и командиры батарей заметили наземные цели, открыли огонь по танкам.

Десятки людей видели комиссара, быстро переходящего от одного миномётного расчёта к другому, десятки, сотни красноармейских глаз по-разному, мельком, медленно, возбуждённо, спокойно, задумчиво, заодно встречались с глазами Крымова.

Наводчик взглянет после удачного выстрела, подносчик, ещё не разогнув спины, посмотрит снизу вверх, утрёт пот, разогнётся, командир расчёта торопливо козырнёт и ответит на быстрый вопрос комиссара, старшина-связист оторвётся от телефонной трубки, протянет её комиссару.

Миномётчики вели бой с немецкими танками на окраине Тракторного завода. Они переживали близость смерти, страх и напряжение боя, их радовала меткость и скорость стрельбы, которую они вели, они следили за поведением немцев, начавших пристреливать из орудий их огневые позиции, следили за движением самолетов в сторону заводов; их тревожили ненадёжность неглубоких учебных щелей, неполадки в стрельбе; минометчики не заглядывали вперёд и не задумывались о далеком будущем — пролетел бы мимо немецкий снаряд, успеть бы упасть на землю при разрыве. Но было в этом внезапном бое что-то, отличавшее его от прошедших степных боёв. То не было чувство досады людей, жаждавших хотя бы короткого отдыха и вновь, не отдохнув, начавших воевать. Война не выпускала их, она настигла их снова здесь, на берегу Волги, у стен огромного завода. Враг настиг их на границе казахских степей, в низовьях Волги. И это наполнило их чувством тоски, тревоги и горя.

Крымов чувствовал силу, крепость связи между людьми, ответственными за первые минуты и часы Сталинградского боя. Все распоряжения, которые он отдавал, все слова его были направлены на установление не только боевого взаимодействия между расчётами, между огневиками и управленцами, между штабом и отдельными подразделениями, между бригадой, зенитчиками, ополченцами, штабом фронта, — но и того внутреннего душевного взаимодействия, внутренней душевной связи, которые важны и нужны в бою и без которых немислим счастливый исход боя. Он, комиссар Крымов, знал это на опыте боевых успехов и тяжёлых неудач в пору отступления.

Вскоре, проведённый по указанию Крымова, телефонный провод соединил штаб бригады со штабом зенитного полка, наладилась связь со штабом заводского ополчения, учебным танковым батальоном.

Телефонист то и дело передавал Крымову телефонную трубку, и спокойный, внятный голос комиссара слышали в миномётных, артиллерийских, танковых подразделениях.

— Товарищ комиссар! — говорил, вбегая в штаб бригады, командир пулемётного взвода Волков — У меня ленты на исходе, ведь в резерв уходили, не думали даже, что придётся в бой ввязываться.

— Пошлите людей в штаб полка ополчения, я договорился с командиром, дадут вам патронов.

Звонил телефон, и Крымов говорил в трубку:

— Окапывайтесь основательно, никаких временных укрытий, дело завязалось всерьёз, надолго.

Да, боевая связь между советскими людьми, которую немцы думали — нарушить и парализовать внезапным ударом с воздуха и с земли, не была нарушена, не ослабела.

Немецкие танкисты на своём пути к Сталинграду внушали ужас всем случайным встречным. Они были уверены, что на переправах и на заводе вблизи объётого пламенем города их внезапное вторжение вызовет ещё больший ужас и растерянность. Но их самих поразил внезапностью плотный, дружный и мощный огонь тяжёлого дивизиона. Когда после прямых попаданий загорелись две выведенные из строя машины, командованию группы прорыва стало ясно советские войска не были застигнуты врасплох, они уже знали о движении немецкой танковой группы, угадали место выхода танков к Тракторному заводу и северным переправам, заранее подготовив мощный огневой заслон.

Командующий немецкой танковой группой тотчас же радировал в высший штаб. Обдумав обстановку, он отдал приказ танкам и мотопехоте закрепиться, завязать огневой бой с советскими войсками.

Очевидно, что некоторые события в мирной жизни или на войне содержат в себе элементы случая, счастливого или несчастного. Но значение всякого события может быть правильно понято и оценено тогда, когда из него извлекают сущность, выражающую основную закономерность времени, а случайности, счастливые или несчастные, отводятся на второй план — они не в состоянии влиять на общий ход вещей, они не определяют главного значения происходящего.

Для немцев подходила пора, когда закон жизни и войны перестал складывать в победную, сокрушающую противника ударную силу миллионы усилий немецкого тыла и немецкой армии. Для немцев подходила пора, когда счастливые случайности уже не вели к успеху, а бесследно исчезали, подобно дыму, тающему в воздухе, когда несчастные случайности, как бы мелки они ни были, влекли за собой тяжелые и длительные последствия.

Труд советского народа и его армии, организующая воля Коммунистической партии подготавливали остановку чугунного, весящего миллионы тонн колеса войны, катившегося с запада на восток по советской земле.

Странно жил город после дней воздушных налётов. Станным выглядело все изменившееся и странным казалось оставшееся неизменным. Станными казались семьи, обедающие в подворотнях, сидящие на ящиках и узлах рядом с развалинами домов, и странно было видеть старуху у открытого окна уцелевшей комнаты с вязанием в руках, подле фикуса и дремлющего пышношерстного сибирского кота. Все качавшееся людям невероятным, невысказанным — всё это свершилось.

Изменение совершилось, исчезли пристани, остановились трамваи, не звонили телефоны, прекратилась работа многих советских учреждений.

Не стало сапожных и портняжных мастерских, не стало многих амбулаторий, аптек, школ, часовщиков, библиотек, замолчали радиорепродукторы, не стало театра и кино, не стало привычных магазинов, рынков, прачечных, бань, газированной воды, пивных.

В воздухе стоял запах гари, и горячий печной дух шёл от раскалённых стен, сгоревших домов, они ещё дышали жаром.

Всё ближе слышались орудийная стрельба и разрывы немецких снарядов, по ночам со стороны Тракторного доносились пулемётные очереди и сухой треск рвущихся малокалиберных мин. Стало непонятно, что законно в городе: безумная женщина, деловито раскидывающая кирпич и грохочущие листы кровельного железа, под которыми погребено тело ее погибшего ребёнка, чинная очередь у хлебной лавки, дворник, метущий улицу... Сталинградцы знали, что на северных окраинах засели немецкие войска. Город томился предчувствием всё новых стремительных неожиданностей, казалось невысказанным жить сегодня так, как вчера, а завтра так, как сегодня. Неподвижность стала невысказанной.

Единственно неизменной осталась жизнь штаба, ещё так недавно бывшая для города незаконной, кочевой, изменчивой. По-прежнему бежали к кухне, грохоча котелками, бойцы батальона охраны штаба. По-прежнему связные мчались на мотоциклетах по улицам, а фронтовые в грязи и пыли «эмки» с лучеобразными трещинами на стёклах и с вмятыми боками останавливались на площадях, возле регулировщиков с красными и жёлтыми флажками.

И с каждым днём среди развалин старого мирного Сталинграда рос новый город — Сталинград войны. Его строили саперы, связисты, пехотинцы, артиллеристы, ополченцы; оказалось, что кирпич — это строительный материал для баррикад, что улицы нужны не для движения, а для того, чтобы мешать движению, и их пересекали окопами, засеивали минами; оказалось, что в окнах домов нужно ставить не цветочные горшки, а станковые пулемёты, что подворотни созданы для пушек и танковых засад; оказалось, что закоулки меж домами созданы для снайперских гнёзд, для засад автоматчиков и гранатомётчиков.

Вечером на пятый день после пожара Мостовской встретил возле своего дома Софью Осиповну Левинтон.

В шинели с обгоревшей полкой, с измождённым бледным лицом, Софья Осиповна совсем не походила на ту весёлую, громкоголосую толстуху, с которой Мостовской сидел за обеденным столом в день рождения Александры Владимировны.

Мостовской не сразу узнал её. Насмешливые и острые глаза Софьи Осиповны, запомнившиеся Мостовскому, сейчас то рассеянно и тревожно оглядывали лицо собеседника, то следили за серым дымом, стелющимся среди развалин.

Женщина в пестром купальном халате, подпоясанная солдатским ремнём, и пожилой мужчина в белом плаще с заношенной солдатской пилоткой на голове прошли мимо ворот, толкая перед собой двухколёсную тележку, гружённую домашними вещами.

Люди с тележкой оглядели Мостовского и Софью Осиповну, разговаривавших возле ворот. В любом другом месте и в иное время эти двое с тележкой показались бы существами странными и необычными. Но, может быть, более странным казался в этот час старик Мостовской, спокойный, такой же внимательный ко всему окружающему, каким бывал он и во время разговора с пятилетней девочкой в скверике и на каторжном этапе в Восточной Сибири.

Сколько писалось людьми о запахах леса и лугов, увядших листьев, молодой травы и свежего сена, моря и речной воды, горячей пыли и живого тела.

Дым и запахи военных пожарниц!

Много различий в их кажущемся угрюмом и горестном однообразии. Дым пожара в сосновом лесу, легкий хвойный туман, голубой пеленой плывущий среди высоких медных стволов... Горький и сырой дым пожара в лиственном лесу, жмущийся к земле, холодный и тяжёлый. Чадное пламя созревшей пшеницы, тяжелое, медленное, жаркое, как горе народа, быстрый, широкий пожар в сухой августовской степи. Ревущий огонь заскирдованной соломы, жирный, округлый дым горящей нефти...

Тяжело и жарко дышал в этот вечер сожжённый Сталинград. Воздух был необычайно сух, от стен домов несло жаром, пресыщенный огонь вспыхивал то здесь, то там, лениво дожирая остатки всего того, что могло гореть. Внутри зданий курился дым, медленно, струйками выползал через пустые окна, поднимался в провалы крыш.

Раскалённые груды обрушившихся кирпичей и штукатурки, лежавшие в полутьме подвалов, рдели тёмным, мерцающим светом. Пятна вечернего солнца, ложившиеся на стены и просвечивавшие в проломах, красно-фиолетовые облака казались частью пожара и были неотделимы от огня, зажжённого человеком.

Запах раскалённой извёстки и камней, чад горелых перьев и залитого водой угля, запах горелой масляной краски, смешавшись вместе, тревожили душу.

Странная пустая тишина стояла над вечно шумным и говорливым городом, но небо, нависшее над ним, казалось почему-то не таким далёким и оторванным от земли, как в обычное мирное время Оно сблизилось с улицами, площадями, сблизилось с городом так, как сближается небо в вечерний час со степью, тайгой, полями, морем.

Михаил Сидорович очень обрадовался встрече с Софьей Осиповной.

— Удивительная вещь, — сказал он, — в моей комнате уцелел потолок и даже стёкла не выбиты, возможно единственные в Сталинграде, пойдёмте ко мне.

Дверь им открыла бледная, с заплаканными глазами старуха.

— Знакомьтесь с Агриппиной Петровной, заведующей моим хозяйством, — сказал Мостовской.

Они вошли в комнату, прибранную и подметённую, разительно противоположную хаосу, царившему вокруг.

— Прежде всего расскажите мне о наших общих друзьях, — сказал Мостовской, усаживая Софью Осиповну в кресло. — Я узнал от соседки по дому, Мельниковой, что в первый день бомбёжки погибла Мария Николаевна. Но что с остальными, как Александра Владимировна? Дом их разрушен, я подходил к нему, и никто не знает об их судьбе.

— Да, бедная Маруся погибла, — сказала Софья Осиповна. И она рассказала Мостовскому, что Женя увезла мать в Казань к Штрумам, что Вера, дочь погибшей Марии Николаевны, отказалась ехать с бабушкой, не хотела оставлять отца одного, поселилась с ним на Сталгрэсе; у неё лёгкий ожог лба и шеи; к счастью глазу её опасность не грозит.

— А сердитый юноша, Серёжа, кажется? — спросил Мостовской.

— Представьте, вчера совершенно случайно встретила его на Тракторном заводе, он шёл в строю, и я ему успела сказать лишь несколько слов о родных, а он мне сказал, что пять дней был в бою, он миномётчик, и сейчас их снова направили занимать оборону на окраине тракторозаводского посёлка.

Потом, сердито нахмутив брови, Софья Осиповна рассказала, что за эти дни сделала более трехсот операций и перевязок раненым военным и гражданским людям, что много пришлось ей оперировать детей.

Она сказала, что сравнительно мало ранений осколками бомб, больше всего переломов конечностей, повреждений черепа и грудной клетки обломками рухнувших зданий.

Госпиталь, в котором работала Софья Осиповна, ушёл из Сталинграда за Волгу и должен был вновь развернуться в Саратове, Софья Осиповна осталась на день в городе: ей нужно было закончить кое-какие дела, побывать в заводском районе, где находилась часть госпитального имущества, — его предстояло переправить на хутор Бурковский, в Заволжье.

Одним из сталинградских дел её было свидание с Мостовским. Александра Владимировна взяла с неё слово повидать Михаила Сидоровича и передать ему приглашение приехать в Казань.

— Спасибо, — сказал Мостовской, — но я не думаю об отъезде.

— Пора, я могу помочь вам доехать до Саратова на нашей госпитальной машине, — сказала Софья Осиповна.

— Мне предлагали товарищи из обкома, — ответил Мостовской, — но я пока не собираюсь ехать.

— Когда же? — спросила Софья Осиповна. — Зачем вам сидеть здесь, ведь всё гражданское население стремится уйти за Волгу.

Но по тому, как сердито и недовольно закашлял Михаил Сидорович, Софья Осиповна поняла, что он не склонен продолжать разговор об отъезде и о соображениях, по которым решил оставаться в Сталинграде.

Агриппина Петровна, слушавшая разговор, так громко и тяжело вздохнула при этих словах военной докторши, что оба собеседника оглянулись на неё.

Обращаясь к Софье Осиповне, она просительным голосом проговорила:

— Скажите, гражданка, нельзя мне с вами поехать? Мне как раз до Саратова, там у меня сестра. Вещей у меня самая малость — корзинка да узелок.

Софья Осиповна подумала и сказала:

— Что ж, пожалуй, посажу вас в один из наших грузовиков, только я с утра в заводской район поехать должна.

— Господи, переночуете у нас, выспитесь. Где вы такой дом найдёте целый, один на всю улицу. Народ в подвалах живет. Подвалы народом забиты.

-Заманчиво, — проговорила Софья Осиповна. — Моя главная мечта — выспаться. За четверо суток часов шесть поспала.

— Пожалуйста, — сказал Мостовской, — буду рад, устрою вас как можно удобней.

— Зачем его стеснять, — вмешалась Агриппина Петровна, — и вам будет неудобно, я вам свою комнату уступлю, у меня и выспитесь, а утром поедем.

— Вот на чём только поедем, — сказала Софья Осиповна, — наши машины за Волгой, до заводского района придётся на попутных добираться.

— Доберёмся, доберёмся, — говорила обрадованная Агриппина Петровна, — до заводов недалеко, нам бы до Саратова. Самое трудное — через Волгу переправиться!

— Да, товарищ Мостовской, — проговорила Софья Осиповна, — вот вам и двадцатый век, вот вам и человеческая культура. Невиданное зверство! Вот вам и Гаагские конвенции о

гуманных методах ведения войны, о защите гражданского населения. Всё к чёрту! — Софья Осиповна махнула рукой в сторону окна. Товарищ Мостовской, вы посмотрите на эти развалины. Какая уж тут вера в будущее, техника прогрессирует, но этика, мораль, гуманность — никак, это какой-то каменный век. Фашизм возродил первобытные зверства, прыжок в прошлое на пятьдесят тысяч лет...

— Ох, вот вы какая, — сказал Мостовской. — Отдохнете, поспите-ка, пока не началась ночная бомбёжка, может быть, это прибавит вам оптимизма.

Но и в эту ночь Софье Осиповне не пришлось выспаться. Когда начало темнеть и в туманном, дымном небе заныли моторы немецких ночных бомбардировщиков, послышался резкий стук в входную дверь.

Молодой красноармеец вошел в комнату и сказал:

— Товарищ Мостовской, я за вами приехал. От товарища Крымова. Вот письмо для вас. — Он протянул Мостовскому конверт и, пока тот читал письмо, спросил у Агриппины Петровны.

— Напиться не найдётся у вас, мамаша? Как я вас тут нашёл — даже не понимаю.

Мостовской прочёл письмо и обратился к Софье Осиповне:

— Понимаете, какая штука, меня зовут на завод, там сейчас секретарь обкома, а мне необходимо видеть его — Он, волнуясь, спросил красноармейца? Поедем сейчас? Можно?

— Конечно, пока совсем не стемнело, а то я не местный, час вертелся, пока вас нашел.

— Ну, а фронт как? — спросил Мостовской.

— Вроде потише. Товарища Крымова из бригады в политуправление фронта отзывают. — Водитель взял кружку у Агриппины Петровны, выпил воду, вытряхнул оставшиеся капли на пол и сказал. — Пойдёмте, а то я за машину беспокоюсь.

— Знаете что? — сказала Софья Осиповна — И я с вами поеду, а то как завтра добираться? Высплюсь я уж после войны.

— Тогда и меня берите, — плачущим голосом заговорила Агриппина Петровна, я одна в квартире не останусь. Я вам мешать не буду, а когда поедете на тот берег, и меня захватите. Разве я добыюсь сама переправы?

Михаил Сидорович спросил у водителя

— Как ваша фамилия, товарищ?

— Семёнов

— Сумеете троих захватить, товарищ Семёнов?

— Резина плоховата. Но как-нибудь довезём. Выехали они в сгустившихся сумерках, так как Агриппина Петровна замешкалась со сбором вещей и, задыхаясь от спешки, волнения, все объясняла Михаилу Сидоровичу, где оставляет она картошку, керосин, соль, воду, кастрюли, переносила в комнату Мостовского перину, подушки, узел с бельём, валенки, самовар.

Михаил Сидорович сел рядом с Семёновым, женщины — на заднем сиденье. По городу ехали они очень медленно — улицы были преграждены грудями камней. Догоравшие пожары, невидимые при дневном свете, светились в темноте подвижными пятнами, раскалённые камни в подвалах рдели угрюмым красным огнём. Эти огни среди безлюдных улиц в пустых выгоревших коробках домов производили тревожное и угнетающее впечатление.

Огромность бедствия, постигшего город, становилась ощутимой и реальной при движении по этим пустынным улицам, мимо сотен мёртвых домов. Казалось, кладбищенский покой должен стоять над сожжённым городом, но это не было так:

и на земле, и в небе чувствовалось молчаливое напряжение военной грозы. Над развалинами вспыхивали звёздочки разрывов зенитных снарядов, подвижным шатром шевелились лучи прожекторов, артиллерийские и бомбовые разрывы светились розовыми зарницами.

Сидевшие в автомобиле люди молчали. Даже Агриппина Петровна, всё время причитавшая и всхлипывавшая, примолкла.

Мостовской, приблизив лицо к стеклу, всматривался в тёмные контуры сожжённых строений.

— Вот, кажется, дом Шапошниковых, — сказал он, поворачиваясь к Софье Осиповне.

Но она не ответила, её тяжёлое тело грузно покачивалось при толчках автомобиля, голова опустилась на грудь. Софья Осиповна спала.

Вскоре автомобиль выехал на асфальтовое полотно, свободное от обломков, замелькали маленькие домики, окружённые деревьями, то и дело из темноты возникали фигуры красноармейцев, движущихся в сторону заводов. Семёнов свернул налево в одну из боковых улиц и объяснил Михаилу Сидоровичу.

— Вроде здесь свернуть надо. Угол срежем — и короче, и дорога удобней.

Они выехали на обширный пустырь, проехали через жиденькую рощицу, потом снова замелькали домики. Какой-то человек, отделившись от темноты, вышел на дорогу и замахал руками.

Семёнов, не сбавляя хода, проехал мимо него.

Михаил Сидорович сидел, полузакрыв глаза. Мысль о предстоящем свидании с Крымовым радовала его. Удивительная всё же будет эта встреча!

Потом Михаил Сидорович подумал о предстоящем разговоре с секретарём обкома: «Нужно по-деловому договориться о всех возможных деталях работы. Не исключено, что немцы захватят город, часть города». Его решение остаться в Сталинграде, в подполье, непоколебимо. О, он ещё поучит молодых великому искусству конспирации, умению сохранять спокойствие, умению добиваться цели в любых условиях, перед лицом любой опасности. Удивительно всё же, что испытания и лишения последних дней словно омолодили его — он давно уж не помнил себя таким внутренне уверенным, бодрым, здоровым.

Потом он задремал: мирное и быстрое мелькание теней перед глазами, мягкий ход автомобиля успокаивали. Внезапно он открыл глаза, точно чья-то рука сильно встряхнула его. Но автомобиль по-прежнему ехал по дороге. Семёнов, видимо взволнованный чем-то, негромко сказал:

— Не слишком ли влево я взял?

— Может быть, спросить? — сказала Агриппина Петровна. — Я хоть и здешняя, и то дороги не знаю.

Где-то рядом у придорожной канавы громко и чётко стал стрелять пулемёт.

Семёнов, оглянувшись на Михаила Сидоровича, пробормотал:

— Вроде заехали.

Женщины, сидевшие на заднем сиденье, зашевелились, Агриппина Петровна закричала:

— Куда ты, чёрт, завёз, на самую передовую?

— Да какая там передовая, — сварливо ответил ей Семёнов.

— Надо обратно повернуть, — сказала Софья Осиповна. — А то ещё завезёте нас к немцам.

— Не назад, вправо надо сворачивать. Я слишком круто влево взял, — сказал Семёнов, всматриваясь в темноту и притормаживая машину.

— Назад поворачивай! — властно сказала Софья Осиповна. — Баба ты, а не фронтовой водитель.

— Вы не командуйте, товарищ военврач, — сказал Семёнов, — я машину веду, а не вы.

— Да вы уже не вмешивайтесь, пусть шофёр сам решает, — сказал Мостовской.

Семёнов свернул в боковую улочку, и снова замелькали заборы, серые стены домов, невысокие дерева.

— Ну как? — спросила Софья Осиповна. Семёнов пожал плечами:

— Вроде так, но мостика не должно бы быть, или я запамятовал.

— Надо остановиться, — сказала Софья Осиповна. — Как только увидите кого-нибудь, затормозите и расспросите хорошенько.

Семёнов некоторое время вёл машину молча, потом с облегчением сказал:

— Правильно едем, узнаю район, свернём ещё разок вправо и к заводу выедем.

— Вот видите, беспокойная пассажирка, — наставительно сказал Мостовской.

Софья Осиповна сердито засопела и не ответила.

— Давайте, следовательно, так сделаем: сперва меня отвезут на завод, а потом уж вас к переправе, — предложил Мостовской. — Мне обязательно нужно секретаря обкома, а то он уедет с завода обратно в город.

Семёнов резко затормозил автомобиль.

— Что случилось? — вскрикнула Софья Осиповна.

— Сигналят остановиться, вон фонариком светят, — сказал Семёнов, указывая на людей, стоявших посреди дороги, один из них поднял красный карманный фонарь.

— Боже мой! — сказала Софья Осиповна.

Несколько человек с поблескивающими автоматами окружили машину, и один из них с расстёгнутым на груди кителем, направив на помертвевшего Семёнова оружие, негромко и властно сказал:

— Не, ruki werch! Sdawajsia!

Мгновение длилась ужасная, каменная тишина, та тишина, во время которой задержавшие дыхание люди осознали, что малые случайности, определившие эту поездку, вдруг превратились в непоправимый и ужасный рок, решивший всю их жизнь.

Вдруг заголосила Агриппина Петровна:

— Вы меня не трогайте, я в прислугах жила, я у него, вот у этого, за кусок хлеба в прислугах жила!

-Still, Schweinehunde! [Тихо, собачьи свиньи!], — крикнул немец и замахнулся автоматом.

Через десять минут после энергичного и грубого обыска задержанных отвезли на командный пункт немецкого пехотного батальона, чьим боевым охранением была задержана заблудившаяся в сталинградских пригородах машина.

Новиков в Москве остановился у товарища по академии, полковника Иванова, служившего в оперативном управлении Генерального штаба.

Иванова он видел редко: тот работал дни и ночи, случалось, что по три-четыре дня не приходил домой, спал в своём служебном кабинете.

Семья Иванова находилась в эвакуации в Шадринске, на Урале.

Когда Иванов приезжал с работы, Новиков первым делом спрашивал его: «Что слышно?», — а затем они вместе рассматривали карту, обсуждали невесёлые новости.

Когда Новиков узнал о массированном налёте немецкой авиации на Сталинград, погубившем многие тысячи мирных людей, и о прорыве к заводам немецких танков, им овладела мучительная тревога.

Он не спал всю ночь: то ему представлялись на берегу Волги чёрные немецкие гаубицы и самоходные орудия, ведущие огонь по пылающему городу, то он видел Евгению Николаевну, бегущую среди дыма и пламени. Ему хотелось броситься на Центральный аэродром и полететь на скоростном самолёте в Сталинград.

До рассвета Новиков не спал; он подходил к окну, шагал по комнате, подолгу стоял над картой, расстеленной на столе, пытался разгадать ход и судьбу начинающегося городского сражения.

Рано утром он позвонил по телефону Штруму. Он надеялся, что Штрум скажет: «Уж несколько дней, как Евгения Николаевна приехала со всей семьёй в Казань». Но телефон молчал, видимо, Штрум уехал.

В такие дни, как этот, особенно тяжело было бездеятельное ожидание, а Новиков не работал.

В Наркомате Обороны, в Удравлении командных кадров, куда он пришёл в день приезда в Москву, ему велели оставить номер своего телефона и ждать вызова. Время шло, а его не вызывали. Какое состоится решение, Новиков не представлял. Его фронтовой

начальник Быков, не объясняя причин, по которым Новиков должен был выехать в Москву, вручил ему засургученный пакет с личным делом.

Новиков почувствовал, что в одиночестве и бездеятельности этот бесконечно длинный день он не в состоянии провести, — надел новый китель, начистил сапоги и отправился в Наркомат Оборон.

Он долго прождал в прокуренном, многолюдном бюро пропусков, наслушался историй о превратностях майорских и подполковничьих судеб и, наконец, был вызван к окошечку, получил пропуск.

Принял его награждённый медалью «За боевые заслуги» капитан административной службы, тот, что в день приезда в Москву ставил штамп на командировочном предписании Новикову.

Капитан расспросил Новикова о том, как он устроился, и сочувственно сказал:

— Зря вы, однако, сегодня пришли, ничего для вас нет пока. По-моему, о вас ещё не докладывали начальнику Управления.

В комнату вошёл худощавый капитал и, поздоровавшись, подвинул флажок на школьной карте, висевшей меж окон.

Затем оба капитана обронили по словцу о положении под Сталинградом.

Капитан, сидевший за столом, посоветовал Новикову зайти к подполковнику Звездюхину, который будет докладывать его дело, подполковник может точнее сказать о сроках.

Капитан позвонил по телефону, подполковник оказался на месте, и капитан объяснил Новикову, как пройти к нему.

Подполковник Звездюхин, сутулый человек с бледным лицом, быстрым движением белых, длинных пальцев, перебрал картонки в картотеке и сказал: — Составление доклада, товарищ полковник, я ещё не закончил, потому что не прибыли запрошенные мною из штаба фронта бумаги, боевые характеристики. — Он посмотрел на карточку и добавил: — Тут у меня помечено — запрос послан тотчас же, на следующий день после вашего прибытия, следовательно, дней через пять документы будут получены... Тогда, не теряя часа, доложу начальнику. — А быть может, меня начальник сегодня примет? — спросил Новиков. — Вы не могли бы посодействовать мне в этом?

— С удовольствием, товарищ полковник, — ответил Звездюхин и усмехнулся: С удовольствием, если б это имело смысл, но ведь на основании словесных объяснений вопрос не может решиться, нужны документы, документы.

Слово «документы» он произнёс особо веско, сочно, оно сразу выделилось среди его монотонной и вялой речи.

Новиков понял, что ему не ускорить движения колос, простился со Звездюхиным, который обещал его вызвать, как только будут новости.

Когда Звездюхин поглядел на часы и подписал Новикову пропуск, тот почувствовал сожаление, — что так быстро закончил разговор. Будь это в какой-нибудь другой день, Новиков, вероятно, стал бы сердиться на Звездюхина, поспорил бы с ним, но сегодня ему таким тяжёлым казалось одиночество, что он был благодарен и Звездюхину, и часовому, проверявшему пропуск, и дежурному, выписывавшему пропуск, за одно то, что они нарушили его тревожное одиночество.

Выйдя на улицу, он снова позвонил по телефону-автомату Штруму, и опять никто не ответил. Несколько часов ходил Новиков по улицам. Со стороны можно было подумать, что он спешит по неотложному делу, никому бы не пришло в голову, что полковник гуляет. До этого дня он мало выходил на улицу, ему казалось стыдным гулять по Театральной площади, сидеть на бульваре; женщины, встретив его, подумают: «Вот какой огромный полковник по бульварам гуляет, а наши — то в это время на переднем крае оборону держат».

Когда Иванов спросил его, почему он не ходит в кино развлечься либо не съездит за город подышать свежим воздухом, Новиков ответил:

— Что ты, разве мыслимо во время войны на дачу ездить?

— Ох, а я мечтаю хоть один вечерок подышать прохладой, пивка на воздухе выпить, — сказал Иванов.

Новиков зашёл к Штруму на квартиру и спросил у сидевшей в подъезде старухи Швейцарии, дома ли жилец квартиры № 19.

— Нету, уехал, — ответила старуха и почему-то рассмеялась. — Дней десять как улетел.

После этого Новиков пошёл на почту и послал телеграмму в Сталинград на имя Александры Владимировны, но он чувствовал, что ответа на телеграмму не получит. Тут же на почте он написал открытку Штруму в Казань, просил сообщить, известно ли ему что-нибудь о судьбе сталинградских родных.

Он понимал, что в взволнованном тоне этой открытки невольно высказал ту сердечную тайну, которую Штрум, вероятно, заподозрил при первом их свидании.

Дел у него больше не было, возвращаться в пустую квартиру не хотелось, и он до вечера скорым шагом ходил по улицам, прошёл, вероятно, километров двадцать — от Калужской улицы до центра, потом к Краснопресненской заставе, вышел на Ленинградское шоссе к аэропорту, глядел на транспортные самолёты, поднимающиеся в воздух, наверное, некоторые из них шли в район Сталинграда... От Ленинградского шоссе он через Петровский парк пошёл к Савёловскому вокзалу, а оттуда вернулся по Каляевской в центр.

Он шёл не останавливаясь, быстрая ходьба немного успокаивала напряжённые нервы. Минутами ему вспоминалось чувство, пережитое им в начале войны; он понимал, что жизнь готовит ему тяжёлые испытания, и внутренне напрягался, чтобы пережить трудное время. И ощущение, испытанное им, когда он ночью под грохот бомбёжки в штабе авиационного полка заставлял себя медленно застегнуть пуговицы на гимнастёрке, затянуть поясной ремень, ощущение решительности и готовности пройти с поднятой головой через всё, что положит судьба, вновь пришло к нему.

Уже в темноте вернулся Новиков в пустую квартиру Иванова.

Ночью его разбудил телефонный звонок. Он снял трубку, готовый произнести фразу, которую уже не раз произносит «Полковник Иванов не ночует сегодня дома, звоните ему на работу». Но оказалось, что к телефону вызывают Новикова.

И с первых же слов этого разговора Новиков понял, что вопрос о его дальнейшей работе будет решаться не на том этаже, где подполковник Звездюхин рассматривал карточку с датами о посылке запросов... Новикова вызывали в Генштаб.

Впоследствии он не раз вспоминал этот минутный ночной разговор.

В Генштабе он узнал о счастливом и торжественном событии, происшедшем в его жизни. Его записка была доложена Верховному Главнокомандующему.

В течение двух дней с Новиковым беседовали ответственные работники Бронетанкового управления. На третий день, около полуночи, за Новиковым прислали автомобиль его вызвал начальник Бронетанковой управления Красной Армии генерал Федоренко.

Сидя в автомобиле, Новиков подумал неужели в эти определяющие всю его судьбу дни может постичь его личное горе, тяжкий сердечный удар, какое счастье было бы получить именно в эти знаменательные дни телеграмму из Сталинграда о том, что семья Шапошниковых спасена, что Евгения Николаевна жива. Но ответ на его телеграмму не пришёл, а из Казани тоже не было вестей.

Генерал разговаривал с ним около двух часов, и Новикову казалось, что они знакомы уйму времени, столько общего было в их взглядах и мыслях. Генерал, оказывается, знал не только о службе Новикова в бронетанковых войсках, он знал и о последних месяцах работы Новикова.

Минутами становилось странно, что этот добродушный, круглолицый пожилой человек и есть начальник грозного и могущественного рода войск, которому суждено сыграть такую важную роль в великой войне, и что имена Рыбалко, Катукова, Богданова он называет с такой интонацией, с какой заведующий школой называет имена преподавателей истории,

естествознания и родного языка.

Однако Новиков понимал, что этот разговор, который так легко и приятно ему было вести, затеян не зря, что не зря в разгар войны, среди ночи, начальник Управления бронетанковых войск Красной Армии проявляет к нему столько внимания и, слушая его, ни разу не посмотрев на часы. Но Новиков, понимая всё значение этого разговора для своей судьбы, не произнёс ни одной фразы, ни одного слова, которое могло бы в излишне выгодном свете представить его в глазах собеседника.

После разговора с генералом прошло восемь дней, и о Новикове словно забыли. Никто не звонил ему и не вызывал его. Ему уже казалось, что встреча произвела на генерала неблагоприятное впечатление. Ночью, проснувшись, он глядел на голубевшие в темном небе лучи прожекторов и вспоминал беседу с генералом, обдумывал какую-нибудь казавшуюся сейчас особенно «вредной» свою фразу, вроде «Нет, об этом я не думал, этого я не знаю, пытался понять, но не мог». Особо запомнился ему разговор о тактике массированного применения танков, генерал вдруг спросил:

— Как вы понимаете основу подготовки новых танковых формирований?

Новиков ответил:

— Мне кажется, в ближайшем будущем первоочередная задача — массированное применение танков — в активной обороне.

Генерал рассмеялся.

— Совершенно не так! Массированное применение танков — в наступлении! Вот стержень боевой подготовки танковых рот, батальонов, полков, бригад, корпусов, армий! Вот практические задачи завтрашнего дня.

И Новиков, волнуясь, вспоминал все подробности этого разговора, а лучи прожекторов, точно подтверждая его волнение, колыхались, вздрагивали, шевелились, бесшумно перебежали от одного края широкого неба до другого.

За эти дни Новиков послал ещё две телеграммы в Сталинград и телеграмму в Казань, но ответа не было. Его тревога всё росла.

На девятый день после разговора с генералом к дому подъехал автомобиль, из которого вышел худенький, узкоплечий лейтенант. Новиков, видевший в окно, как лейтенант вбежал в подъезд дома, вдруг понял, что сейчас узнает решение своей судьбы. Он, не дожидаясь звонка, пошёл открывать дверь — и, действительно, лейтенант в эту минуту позвонил, улыбнувшись, спросил:

— Ждали меня, товарищ полковник?

— Ждал, — ответил Новиков.

— Вас срочно вызывают в Генштаб. Я за вами на машине приехал.

В Генштабе ему дали прочесть приказ о том, что полковнику Новикову П. П. поручено приступить к формированию танкового корпуса в одном из районов Уральского военного округа.

На миг ему даже показалось, что речь идёт не о нём, настолько просто и кратко было выражено в приказе то, о чём он часто мечтал, то, к чему и относился, как к мечтанию, а не как к практической жизненной перспективе. Собственная фамилия показалась ему в этот миг какой-то чужой, не своей.

Он вновь перечёл приказ, и чувство благодарности и гордости охватило его. Через два дня он самолётом должен был вылететь по месту новой службы... И вместе с волнением он ощутил желание немедленно рассказать Евгении Николаевне об этом, чтобы она, именно она, первой поделила с ним эту новость, рассказать ей для того, чтобы она поняла его любовь к ней, неизменность его любви к ней, одинаково сильной и ровной в час гордости и успеха и в час испытаний и неудач.

Впоследствии, вспоминая этот день. Новиков подивился тому, как просто и быстро привык он к событию, казавшемуся ему недавно несбыточным.

Через два часа после получения приказа он вёл уже деловые переговоры в Бронетанковом управлении, созванивался с одним из заместителей генерала Хрулева,

улавливался о встрече с начальником танкового училища, и голова его была полна множеством деловых мыслей и соображений, а в блокноте появились десятки записей, пометок, вопросов телефонных номеров, телеграфных адресов, цифр. И десятки вопросов, ещё вчера бывшие для него вопросами теоретическими, общими, вдруг превратились в жгучую, важную, определяющую покой, жизнь и честь действительность, ту, что требовала всех без остатка сил разума и души.

Вопросы комплектования личного состава в батальонах, полках, бригадах, темпы поступления боевой техники, радиооборудования, средств связи, нормы горючего и финансирования, поступление обмундирования, продовольствия, методические указания, учебные планы, обеспеченность жильём, да и ещё десятки и сотни других — крупных и малых, сложных, простых, первостепенных и второстепенных — вопросов...

Теперь и он редко ночевал в квартире Иванова. Накануне отъезда из Москвы он до позднего вечера разговаривал в кабинете генерала, возглавлявшего технический отдел, с военными инженерами, знатоками танкового топлива и смазочных масел. К двенадцати ночи его должен был принять начальник Бронетанкового управления.

Во время разговора с инженерами о зольности солярки Новиков попросил у генерала разрешения позвонить по телефону и набрал номер телефона Иванова. Тот оказался дома и спросил:

— Что, брат, паришься?

Новиков сказал Иванову, что придет с ним проститься на рассвете, и спросил, заранее предполагая отрицательный ответ?

— Писем или телеграмм для меня нет?

— Постой, — сказал Иванов, — есть открытка.

— А кто подписал, посмотри...

Иванов помедлил, видимо, разбирая незнакомый почерк, и сказал:

— Не то Штурм, не то Штрот, вот так.

— Прочти мне открытку, пожалуйста, — быстро сказал Новиков.

— «Дорогой товарищ Новиков, вчера вернулся с Урала, куда был срочно вызван, — начал читать Иванов, покашлял и сказал» — Доложу тебе, почерк жуткий — Пишу вам печальные вести, из письма Александры Владимировны мы узнали, что в первый день бомбёжки погибла Мария Николаевна...» — Иванов запнулся, видимо не сразу разобрав еле дующие слова открытки, а Новикову показалось, что он колеблется, прежде чем прочесть о гибели Евгении Николаевны...

Сдержанность изменила Новикову в эти минуты. Он забыл о том, что говорит из служебного кабинета генерала танкиста, что четыре малознакомых человека, продолжая деловую беседу, невольно прислушиваются к телефонному разговору... Резким, внезапно дрогнувшим голосом он вскрикнул:

— Да читай же ты, ради бога!

Сидевшие в комнате внезапно примолкли, посмотрели на него.

— «Евгения Николаевна с матерью доехала до Куйбышева, задержится там, от неё вчера получена телеграмма», — прочёл Иванов, и примолкшие собеседники снова заговорили о своих делах — так ясно преобразилось лицо Новикова. Да и сам он заметил: в тот миг, когда он услышал о том, что Евгения Николаевна выехала в Куйбышев, стиснувший сердце обруч лопнул, и, казалось, без всякой связи мелькнула мысль: «Надо не забыть до отъезда поговорить о назначении Даренского».

Далее Штрот писал, что о судьбе Веры и Степана Фёдоровича ничего не известно, а Новиков, слушая медленное чтение, думал — «На корпусной штаб Даренского уж очень хлопотно определить, не поставит ли его на бригаду для начала — и тотчас же усмехнулся и вновь подумал: «О брат, проснулась в тебе административная душа...»

Он поблагодарил Иванова, шутливо сказавшего ему под конец: «Передача телефонограммы окончена, передал полковник Иванов».

— Принял Новиков, — проговорил он и, кладя трубку, уже был спокоен, уже привык к

минуту назад полученному известию, и ему уже казалось: «Да разве могло быть иначе»; но он понимал, что могло быть и иначе...

Новиков спросил у пожилого майора, сотрудника технического отдела, который должен был лететь вместе с ним к месту формирования танковых бригад:

— Мы каким маршрутом полетим, вы уж летали?

— На Киров, — ответил майор, — можно бы и на Куйбышев, да там случается, не заправляют, есть риск, что застрянем, недавно мне там пришлось больше суток на аэродроме просидеть.

— Понятно, — сказал Новиков, — рисковать не следует, надо на Киров. — И подумал: «Ох, и влетело бы мне, услышь она эти мои слова»,

В полночь Новикова должен был принять начальник Бронетанкового управления. Ожидая, Новиков поглядывал на дежурного секретаря, сидевшего за столом, уставленным телефонами, прислушивался к негромким разговорам в приёмной.

За эти дни Новиков как-то по особому начал ощущать события и людей, и когда он думал о делах прошедших, то и они как-то по-новому представлялись ему, по-новому связывались между собой.

Цепь событий, жестокие дни испытаний привели отступающие войска к Волге, а рядом война проложила другую дорогу идя по ней, рабочие и инженеры готовили день, в который советские танковые заводы выпустят танков больше, чем танковая промышленность противника.

Почти в каждом разговоре, в каждом телефонном звонке, в каждой инструкции и докладной записке он ощущал нечто отличное от того, что ощущал он в своей оперативной работе на фронте.

Военный инженер говорил по телефону с директором расположенного в тылу танкового завода Морщинистый, лысый генерал-майор звонил на полигон, уточнял с начальником организацию исследовательской работы; на заседаниях люди говорили о предстоящем росте программы сталелитейных заводов, о планировании производства, о предстоящих зимой выпусках командиров из Академии имени Дзержинского и об изменениях в программе танковых училищ в новом учебном году.

Сидевший сейчас рядом с Новиковым в приёмной инженерный генерал сказал своему соседу:

— Придётся второй жилой посёлок строить, к зиме негде будет людей селить, а когда в марте сорок третьего года пустим два сборочных цеха, этот посёлок должен будет превратиться в город.

И Новикову казалось, что он понимал, в чём было новое, волновавшее его ощущение. Весь этот год главной реальностью войны была для него линия фронта, её движение, изгибы, разрывы, и он воспринимал войну как бы линейно; реальностью, действительностью войны являлась узкая полоса фронтовой земли, узкая полоса времени, нужного для сосредоточения и выхода на передний край расположенных в этом фронтовом и прифронтовом пространстве резервов, единственной реальностью войны было соотношение сил на линии фронта в строго ограниченный отрезок времени.

Но вот здесь, в эти дни Новиков по-иному, по-новому ощутил войну — она оказалась объёмна! Её действительность определялась не десятками километров, не часами, днями и неделями Война планировалась в многотысячной глубине часов. Действительность войны угадывалась в том, что в уральском и сибирском тылу зрели, росли, кристаллизовались танковые корпуса, артиллерийские и авиационные дивизии. Реальностью войны был не только сегодняшний день, а и тот желанный час, который сверкнёт через полгода, может быть, через год. И этот скрытый в глубине пространства и во тьме времени час подготавливался десятками и сотнями путей, в десятках и сотнях мест; истинный ход войны угадывался не в одном лишь сегодняшнем боевом дне, определялся не одним лишь исходом вчерашнего боя... Конечно, Новиков и на фронте знал обо всём этом, но тогда знание это было каким то академическим, не касалось каждодневной, каждочасной практики боёв.

Это будущее, эти битвы 1943 года готовились в совершенствовании учебных программ военных школ и училищ, в разработке новых поточных способов производства, в сегодняшних спорах и догадках конструкторов, технологов, профессоров-теоретиков, в отметках, которые получали слушатели танковой, артиллерийской, воздушной академий, в расширении выемочных полей в карьерах и шахтах, в повышении съёма стали с квадратного метра пода мартеновских печей.

Что знал Новиков о боях 1943 года? Где, на каких рубежах произойдут они?

Будущее было скрыто пеленой фронтовой пыли и фронтового дыма, оно тонуло в скрежете и лязге битвы над Волгой.

Но Новиков понимал, что становится ныне одним из тех тысяч командиров, кому Верховное Главнокомандование поручает судьбу завтрашнего дня войны, её будущее.

Нынешний приём у командующего бронетанковыми войсками был совершенно отличен от первого — Новиков сразу же почувствовал это. Генерал был по-деловому краток и сух, сделал несколько довольно сердитых замечаний, недовольным голосом сказал «Я считал, что вы больше успели, набирайте темпы». Но именно в этом Новиков видел радостное и приятное для себя: командующий не относился к нему «вообще», Новиков уже вступил в семью танкистов.

Во время разговора вошёл адъютант и доложил, что приехал Дугин, командир прославленного танкового соединения.

— Через несколько минут приму его, — сказал начальник управления и удивлённо посмотрел на улыбнувшегося Новикова.

Новиков объяснил?

— Мой старый сослуживец, товарищ генерал.

— А, — ответил генерал, не проявив желания говорить о былой службе Новикова и Дугина, — давайте, давайте, что там у вас ещё, — и посмотрел на часы.

Под конец разговора Новиков попросил о назначении Даренского в корпус. Генерал задал ему несколько быстрых вопросов, именно те, которые следовало задать, и, на мгновение задумавшись, сказал:

— Пока отложим. Ставьте вопрос перед выходом из резерва. — Они вскоре коротко простились, и начальник управления на прощание не спросил Новикова, справится ли он и не робеет ли: поздно уж было об этом говорить — Новикову предстояло справиться и не робеть.

В приёмной он несколько минут говорил с Дугиным; оба они обрадовались друг другу.

Дугина Новиков помнил по службе мирного времени, тот — был великим знатоком грибного дела: любил собирать грибы и мастерски солил их. А ныне был он грозным командующим, героем, отразившим штурмовые колонны немцев, двигавшиеся на Москву. И Новикову странно было смотреть на худое бледное лицо Дугина, соединившего в себе милого товарища мирных времён и героя великой войны.

— Ну, как сапоги? — вполголоса спросил Новиков. Он слышал от одного товарища, что Дугин решил носить одну и ту же пару сапог, не сменяя её до дня победы.

— Ничего, пока без ремонта, — улыбнувшись, ответил Дугин — А ты уж слышал?

— Как же, слышал

В это время адъютант проговорил:

— Товарищ генерал, вас просит командующий

— Иду, иду, — сказал Дугин и спросил у Новикова: — Значит на корпус?

— На корпус, — ответил Новиков.

— Женат?

— Нет пока.

— Ну ничего, хорошо бы вместе служить. Ещё встретимся, повоюем. — И они простились.

В шесть часов утра Новиков приехал на Центральный аэродром. Когда автомобиль въезжал в ворота, Новиков приподнялся на сиденье, оглядел пепельную полосу

Ленинградского шоссе, утреннюю, тёмную зелень деревьев, оглянулся на оставшуюся за плечами Москву, припомнил в один миг, с каким смутным неуверенным чувством вышел из ворот аэровокзала три с половиной недели назад. Мог ли он думать, ожидая очереди у окошечка в бюро пропусков наркомата, объясняясь с подполковником Звездюхиным, что именно в эту пору заветное желание его сделаться строевым танковым командиром станет жизненной действительностью.

Машина въехала в ворота, в светлосером свете летнего рассвета белела статуя Ленина. В груди Новикова стало горячо, сердце сильно забилося.

Когда он с группой летевших вместе с ним военных подходил к самолёту, взошло солнце. Широкое бетонное взлётное поле, пыльная жёлтая трава, стёкла в кабинах самолётов, целлулоидовые планшеты у пилотов и штурманов, шедших к самолётам, — все вдруг вспыхнуло, улыбнулось в ярком солнечном свете.

Пилот зелёного «Дугласа» подошёл, шаркая сапогами, к Новикову и, лениво козырнув, сказал:

— Погода есть по всей трассе, товарищ полковник, можем лететь.

— Что ж, давайте лететь, — сказал Новиков и ощутил на себе тот любопытствующий, чуть-чуть напряжённый взгляд, которым всегда исподтишка оглядывают младшие командиры командармов, комкоров, комдивов. Новиков часто видел такой взгляд, знал его, но впервые этот взгляд был обращён к нему. Теперь, он понял это, многие люди станут запоминать и наружность его, и одежду, и шутку.

Да, что ни говори о скромности, но когда тебя первый раз в жизни усаживают в двухмоторный, могучий, специально тебя ожидающий самолёт, когда первый раз в жизни тебя оглядывают любопытствующие, когда бортмеханик, козырнув, говорит: «Товарищ полковник, вам тут солнышко в глаза будет, не пересядете ли вот на это местечко?» — то невольно приятный холодок пробежит по груди, защекочет где то между рёбер.

В самолёте Новиков принялся читать документацию, переданную ему в управлении. В воздухе он по-прежнему напористо и устремленно думал о том же, о чём думал на земле, в ночных канцеляриях и приёмных, в бессонных кабинетах, ярко освещённых сухим электрическим светом.

Несколько раз поглядывал он через окошечко на сверкающую нить реки, ищущей путь к Волге, на спокойную зелень дубовых и хвойных лесов, на бронзу и медь осенних берёзовых и осиновых рощ, на яркую зелень озими, зажжённую утренним солнцем, на клубящиеся облака и на серую, математически плавно скользящую по земле пепельную тень самолёта.

Он сложил бумаги в портфель и задумался. Почему то вспомнилось ему детство: кричащие женщины, бельё, сохнувшее на верёвках во дворах шахтёрского посёлка, ватага ребят, взбирающаяся на курящуюся серо-голубым сернистым дымком глеевую гору, вспомнилось то чувство, с которым он глядел с вершины этой горы на лежащий внизу шахтный копёр, на темнокрасный дым, подобно жерновам, крутящийся над кауперами доменных печей, на волнистую степь в тумане, пыли, заводском дыму. Вспомнилось то чувство восторга и зависти, которое испытал он, когда старший брат Иван пришёл после своей первой упряжки в шахте и мать вынесла на двор табурет, жестяную миску, ведро горячей воды и Ванька намыливал чёрную шею, а мать лила из кружки воду и лицо у неё было растроганное и печальное.

Ах, почему нет ни отца, ни матери, почему не могут они погордиться сыном, летящим сейчас на самолете принимать танковый корпус.

Он подумал, что, вероятно, сможет на денёк съездить к брату: ведь рудник его не так уж далеко от места формирования корпуса. Он приедет, а брат будет мыться во дворе, миска стоит на табурете, жена его уронит кружку, крикнет.

— Ваня, Ваня? Брат к тебе приехал!

Вспомнилось ему смуглое, худое, тронутое морщинами лицо Марии Николаевны. Почему он так равнодушно отнесся к её гибели? Узнав, что Евгения Николаевна жива, он

забыл о её погибшей сестре. А сейчас при воспоминаниях о ней появилась щемящая жалость, но тотчас вновь исчезла, исчезло воспоминание о Марии Николаевне, и мысль его побежала дальше, то опережая самолет, то возвращаясь к недавно и давно прошедшим временам.

Штрум вернулся из Челябинска в Казань в конце августа: он провёл на заводе не три дня, как предполагал, а около двух недель.

Эти челябинские дни прошли в напряжённом труде, и в другое время понадобилось бы не две недели, а два месяца, чтобы проделать такое множество работ, дать столько консультаций, проверить столько сложных схем, провести столько бесед с инженерами, руководителями лабораторий.

Штрум внутренне всё время удивлялся тому, что знания его оказались нужны десяткам практических работников и так просто и естественно приложимы к практической работе инженеров, техников и электриков, а также физиков и физико-химиков в заводских лабораториях. Вопрос, по которому вызвали Штрума, был решён на второй день после его приезда, но Семён Григорьевич Крымов уговорил его не уезжать, пока не будет проверена предложенная Штрумом схема.

Все эти дни он остро ощущал свою связь с огромным, великолепным, драгоценным заводом. Чувство это хорошо знакомо всем, кому пришлось работать в царстве угля и металла — в Донбассе, в Прокопьевске, на Урале.

Не только в цехах, не только на заводском дворе, откуда, погромыхивая, уходит на широкую колею рождённый металл, но всюду — в театре, в уютной, убранной коврами столовой главного инженера, в парикмахерской, в роще у тихого пруда, по которому плавают опавшие осенние листья, в магазинах, на улицах, в домиках-коттеджах, в инженерном посёлке, в длинных бараках — всё вокруг всегда и всюду дышит и живёт заводом.

Завод царит надо всем: он определяет улыбаются или хмурятся лица инженеров, он определяет труд, радость, горе, достаток, нужду рабочих, время обеда и отдыха, он определяет приливы и отливы людской толпы на улицах и расписание местных поездов, решения горсовета, к нему обращены, тянутся улицы, магазины, скверы, трамвайные и железнодорожные пути.. О нём думают, о нём говорят, идут к нему или от него.

Он всюду, везде и всегда — в мыслях, в сердцах, в памяти стариков, он будущее и судьба молодёжи, он — причина тревог, радости, надежд... Он дышит, он шумит; всюду его гром, запах, тепло; он в ушах, в глазах, в ноздрях, на коже.

И во все дни своего пребывания на уральском заводе Виктор Павлович остро ощущал и чувствовал, что его мысли, его знания — всё это принадлежало заводу, служило ему, имело смысл и ценность лишь оттого, что понадобилось заводу. И именно здесь, где он, забыв о том, что было содержанием его каждодневной жизни, все силы свои напряг для службы заводу, именно здесь Штрум просто и ясно почувствовал, насколько важна, душевно необходима эта возникшая у него связь с десятками трудовых людей.

Штрум предложил заводу упрощённую схему монтажа новой аппаратуры.

Когда заканчивалась сборка перед пуском и испытанием всей цепи приборов и аппаратов, Штрум провёл на заводе двое суток. Он отдыхал урывками на маленьком диванчике в цеховой конторе: напряжение металлургов и электриков, участвовавших в монтаже, захватило его.

В ночь перед опробованием собранных по новой схеме аппаратов Штрум вместе с директором завода и главным инженером обошёл цехи для последней проверки уже законченного монтажа.

— Вы, я вижу, совершенно спокойны, — сказал ему Крымов.

— Что вы, какое там спокоен, — ответил Штрум, — я чертовски волнуюсь, хотя расчёт и представляется мне бесспорным.

Он отказался поехать с Крымовым ночевать домой и остался до утра в цехе.

Вместе с парторгом цеха Кореньковым и длиннолицым, молодым монтером в синем комбинезоне Штрум забрался по железной лестнице на верхнюю галерею цеха, где был

смонтирован один из распределительных узлов цехового электрохозяйства.

Этот парторг Кореньков, казалось Штруму, никогда не уходил с завода. Проходил ли Штрум мимо красного уголка. Он видел в полуоткрытую дверь, как Кореньков читал вслух газету рабочим. Заходил ли Штрум в цех, он видел небольшую сутулую фигуру Коренькова, освещённую пламенем печей. Видел он парторга и в лаборатории и возле заводского магазина, когда там собиралась толпа и Кореньков, размахивая руками, объяснял что-то столпившимся у прилавка женщинам, устанавливал очередь. И, очевидно, Кореньков крепко вошел в жизнь завода, так как Штруму часто приходилось слышать: «А ты посоветуйся с Кореньковым .. ведь Кореньков предупреждал... помнишь, Кореньков сказал...» И в эту ночь Кореньков не уходил из цеха.

Сверху огромный цех выглядел как-то по-особому интересно: чеканно ясно выступали рёбра огромных огнедышащих вулканов-печей, разливочный ковш, полный металла, представлялся поверхностью солнца в клокочущих языках атомных взрывов, в яркой гриве подвижных протуберанцев и искр, солнцем, на которое человеческие глаза впервые смотрели не снизу, а сверху вниз. А люди с высоты не казались маленькими и затерянными в этой громаде цеха, они, уверенные хозяева, заправляли всем тяжёлым и могучим движением, огнём, рождавшим сталь.

После проверки, сборки схемы трансформаторного устройства, включений и переключений, оказавшихся правильными, Кореньков предложил Штруму спуститься вниз.

— А вы? — спросил Штрум.

— А я хочу посмотреть проводку на крыше, полезу вместе с монтером, сказал Кореньков и указал на железную лестницу, штопором ввинчивающуюся в крышу цеха.

— И я с вами полезу, — предложил Штрум.

С высокой крыши был виден не только завод, но и рабочий посёлок, окрестности.

В ночном мраке зарево над заводом было красно-розовым, а тысячи фонарей мерцали и, казалось, ветер то задувал электрический свет, то, наоборот, заставлял его разгораться.

Этот изменчивый свет касался воды в пруду, соснового леса, облаков, и вся природа была словно охвачена тем напряжением и тревогой, которые внесли люди в спокойное царство ночной воды, неба, деревьев.

Не только свет, но и пронзительные гудки паровозов, свист пара, грохот металла вторгались в ночную тишину природы.

И это острое ощущение связывалось с другим, противоположным, испытанным Штрумом в вечер приезда в Москву, когда, казалось ему, тихие сумерки, рождённые над равнинами, засыпающими лесами и сельскими водами, опускались над затемнёнными улицами и площадями мирового города.

Кореньков, блестя белыми зубами, сказал Штруму:

— Вы подождите здесь, а я помогу монтеру закрепить конец, контакт плохой.

Штрум держал на весу провод, а Кореньков размахивал рукой, издали объяснял ему:

— На меня, на меня!

И так как Штрум, не расслышав, стал тянуть провод к себе, Кореньков сердито закричал ему:

— Куда тянешь, куда ж ты тянешь? Ведь говорят: на меня, на меня давай!

Закончив работу, он вновь подполз к Штруму и, улынувшись, сказал:

— Шум сильный, вам не слышно было, что я кричал. Давайте, пошли вниз спускаться.

Штрум спросил Коренькова о возможности провести опытную плавку. Кореньков сказал, что сделать это нелегко, и стал спрашивать, для каких целей нужен новый сорт стали. Штрум коротко рассказал ему о своей работе, назвал технические условия, которым должна удовлетворять сталь, идущая для конструирования задуманного им аппарата.

Штрум прошёл в заводскую лабораторию, оттуда в цеховую контору. То был сравнительно тихий час перед сдачей смены.

Молодой сталевар, работу которого Штрум несколько раз наблюдал в цехе, сидел у стола, записывая что-то в толстую конторскую книгу, поглядывая на запачканный листок

бумаги.

Когда Штрум вошёл в контору, он отодвинул на край стола свои брезентовые рукавицы и продолжал писать.

Штрум уселся на деревянный диванчик.

Сталевар, кончив писать, начал свёртывать папиросу.

Штрум спросил:

— Как сегодня работали?

— Ничего, нормально, — ответил сталевар. В это время вошёл Кореньков.

— А, Громов, здорово, — сказал он сталевару, — покурить зашёл?

Он заглянул в книгу на запись, сделанную Громовым, и проговорил:

— Ох ты, Громов.

— Да, можно покурить, — сказал Громов, — танка два или три лишних на фронт пойдут.

— Вряд ли они лишние, — Кореньков рассмеялся. Завязался разговор. Громов стал рассказывать Штруму, как он впервые приехал на Урал.

— Я ведь не здешний, в Донбассе родился. Приехал сюда за год до войны. Мне показалось всё не так! Жалел, что приехал. Ужас прямо! Писал письма в Макеевку, в Енакиево — всё просил, чтобы меня обратно в Донбасс вызвали. И знаете, товарищ профессор, когда я Урал этот полюбил? Когда по-настоящему горя хлебнул тут. Приехал до войны ведь, условия сносные были, комнату мне предоставили, снабжение в общем не плохое. Словом, условия были. А я ни в какую — смотреть ни на что не могу. Тянет меня обратно в Донбасс — и только! А вот пережил ее всем своим семейством осень и зиму в сорок первом году, наголодался, наголодался и привык как-то к этим местам. Кореньков поглядел на Штрума и сказал:

— И я за зиму сорок первого года много пережил. Брата на фронте убили, мать с отцом на оккупированной территории остались. Жена заболела. А тут такая беда — кругом эвакуированных полно. Холод. С питанием плохо. А стройка день и ночь идёт, новые цехи ставят, оборудование с Украины привезли, на улице лежит. И люди в землянках. А меня мысли всё одолевают как мои старики в Орле, что с ними? То думаю, живы, увидимся, то вдруг как ножом по сердцу — куда? Их на свете нет, разве такие старики переживут такое, отцу в этом году семьдесят, а мать на два года моложе. Ещё я уезжал, время мирное, а она уж сердцем болела. И ноги у нее от сердца опухать стали. Вот какое дело. Горюешь, печалишься, а всё время на ходу, присесть некогда.

— Да, уж наш парторг и сам не отдыхает, но уж никому не даст схалтурить, сказал Громов.

Штрум слушал молча. В глазах его было выражение тоски и боли, выражение такое явное, такое видимое, что Кореньков вдруг сказал:

— Да что вам рассказывать, и вам, верно, пришлось пережить за этот год.

— Пришлось, товарищ Кореньков, — ответил Штрум, — да и приходится.

— Вот только у меня пока обошлось, — сказал Громов, — все родные мои тут, все живы, все здоровы. Кореньков проговорил:

— Вы мне обязательно, товарищ Штрум, свой адрес оставьте. Я вам писать буду насчёт этой опытной плавки. Дайте мне самые подробные технические условия. Мы проведём, директор и Крымов возражать не будут, думаю, наоборот. А я уж на себя это дело возьму. Так вы и запишите, как на технических совещаниях записывают: «Ответственный Кореньков».

— Вот какой вы, — сказал растроганный Штрум. — Я вам рассказал, думал, вы тут же забыли. Дел-то у вас миллион примерно.

— Да уж он забудет, — усмехнулся Громов и не то одобрительно, не то неодобрительно покачал головой.

В утреннюю смену были проведены испытания контрольной аппаратуры — они дали хорошие результаты. В 11 часов ночи испытания были вновь повторены, к этому времени

удалось устранить все замеченные при первом испытании небольшие дефекты. Через день аппаратура была введена в нормальную эксплуатацию.

Штрум остановился у главного инженера завода Семёна Григорьевича Крымова, но виделись они мало. Крымов приезжал домой глубокой ночью, а при встречах они больше всего говорили о деле. Писем с фронта от старшего брата Семён Григорьевич не получал и очень беспокоился о нем.

Ольге Сергеевне, жене инженера Крымова, худенькой, миловидной женщине с большими глазами и бледным лицом, Штрум доставлял много огорчений. Она старалась повкуснее его кормить, а он почти ничего не ел, был рассеян и неразговорчив, и она решила, что профессор — человек сухой, узкий, всецело поглощённый своей работой.

Однажды ночью, проходя мимо комнаты, в которой спал Штрум, она на мгновение задержала шаги, ей послышался негромкий плач. Ольга Сергеевна растерялась, решила разбудить мужа, пошла к себе в комнату, потом, поколебавшись, захотела проверить, не показалось ли ей это: уж очень не вязалось с ее представлением о Штруме всхлипывание, услышанное ею среди ночи. Она вновь подошла к комнате Штрума и прислушалась — всё было тихо. Ольга Сергеевна подумала, что, видно, ей это померещилось, и пошла к себе. Но ей не померещилось — была на свете сила ещё большая, чем сила завода.

Штрум вернулся в Казань в конце августа. Самолёт поднялся с аэродрома утром, и штурман сказал, усмехаясь: «Прощай, Челябинск», — и зашёл в кабину к пилоту, а в два часа дня штурман вышел из кабины пилота и вновь усмехнулся, сказал: «Вот и Казань», — и всё это произошло так быстро и просто, словно штурман, как уверенный фокусник, в один рукав вложил Челябинск, а из другого вынул Казань. Штрум из квадратного окошечка увидел город. Глаз одновременно охватил всю Казань: теснину многоэтажных, красных и жёлтых домов в центре, пестроту крыш, главные улицы и окраинные деревянные домики, людей, автомашины, огороды с пожелтевшей листвой, бегущих коз, вспугнутых рёвом моторов низко над землёй идущего самолёта, вокзал, серебряные жилки подъездных железнодорожных путей, путаную сеть грунтовых дорог, уходящих от города в плоские равнины и туманные леса... И оттого, что глаза видели город одновременно весь — пестроту его и ограниченность, — он показался скучным, разгаданным, и Штрум подумал «Странно, что в этом нагромождении камня и железа живут самые дорогие для меня существа на свете».

Они встретились с женой в передней. В полутьме лицо её казалось бледным и помолодевшим. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Печаль и радость этой встречи смешались, и одно лишь молчание, а не слова, могло выразить, что испытывали они.

Им нужно было видеть друг друга не ради счастья, не для того, чтобы утешить и не для того, чтобы утешаться И, глядя в это короткое мгновение на лицо жены, Штрум почувствовал всё, что должен чувствовать человек, который умеет любить, иногда может ошибиться и согрешить, может забыть обо всем ради сильного, горестного чувства, потрясшего его душу, и одновременно продолжать труд своей повседневной жизни.

Всё, что происходило в его жизни, касалось Людмилы — и горе, и успех, и забытый дома носовой платок, и неудачная реплика во время научной дискуссии, и отсутствие аппетита за обедом, и его размолвки с друзьями...

Вся жизнь его звучала как-то особо и значительно именно потому, что даже самые малые события её, коснувшись Людмилы, как бы теряя немоту, начинали звучать и значить.

Потом они вошли в комнату, и Людмила Николаевна стала рассказывать о сталинградских родных? Александра Владимировна и Женя приехали в Куйбышев, от Жени вчера было письмо, она задержится в Куйбышеве, а мать поедет пароходом в Казань, возможно, через два-три дня приедет. Вера осталась с отцом в Сталинграде, и с ними нет никакой связи, письма туда не идут. Потом она сказала:

— Толя пишет довольно регулярно, вчера получила письмо от двадцать первого августа, находится там же, ест арбузы, здоров, скачет... А Надя сегодня или завтра должна

вернуться из колхоза, видишь, я оказалась права, она очень довольна, окрепла, хорошо работала. Да, вот ещё Женя пишет, от Серёжи ни слова, как в воду канул...

Штрум спросил?

— Соколова ты давно видела?

— Позавчера заходил, он был поражён, узнав, что ты в Челябинске.

— Неприятности?

— Нет, всё, говорит, хорошо. Просто соскучился по тебе. Постоев заходил на днях, смеялся над твоей приверженностью к дому, рассказывал, что ты в Москве не хотел и дня прожить в гостинице, как же ты питался — всё время всухомятку?

Он пожал плечами

— Вот видишь, не погиб.

— Ты расскажи мне о Челябинске, как там, интересно тебе было?

Штрум стал рассказывать. И за всё время разговора ни он, ни она не заговорили о Марии Николаевне и Анне Семёновне, но думали о них, о чём бы ни шёл разговор, и каждый знал и чувствовал это.

И только поздно ночью, когда Штрум, вернувшись из института, подошёл к жене, она сказала:

— Витенька, нету Маруси... и твое письмо об Анне Семёновне я получила.

Он ответил ей:

— Да, надежды нет у меня больше. И почти одновременно узнал о Марусе.

— Знаешь мой характер, я всё крепилась, не хотела распускаться, а вчера перебирала вещи, нашла в чемодане деревянную коробочку, которую Маруся мне подарила, когда я в четвёртый класс перешла, а ей лет девять было. В ту пору мы все выжиганием увлекались, она выжгла листья кленовые и надпись: «Люде от Маши». И меня как ножом полоснуло по сердцу, ревела всю ночь.

Тяжесть, неотступно давившая на сердце Штрума, стала, казалось, ещё больше после возвращения в Казань. Мысль о матери возникала постоянно, вне всякой связи с тем, что он делал в это время.

Садясь в самолёт, летевший в Челябинск, он подумал: «Ее уже нет, нет, вот лечу на восток, я буду дальше от того места, где она лежит». Возвращаясь из Челябинска и подлетая к Казани, он подумал: «А она уже никогда не узнает о том, что мы в Казани». Когда он увидел жену, то и в эту минуту радости и волнения возникла мысль: «Людмилу я видел в последний раз, когда считал, что после войны увижусь с матерью».

Мысль о матери, словно прочная, корневая нить, выросла, включилась во все большие и малые события его жизни. Вероятно, так было и раньше, но раньше эта корневая нить, питавшая с детских лет его душу, была прозрачна, эластична, податлива, и он не замечал её, а теперь он видел и ощущал её постоянно, днём и ночью.

Теперь, когда не он впитывал в себя то, что давала ему материнская любовь, а отдавал ей это в тоске и смятении, когда его душа уже не всасывала соль и влагу жизни, а отдавала их солью и влагой слез, он испытывал постоянную, непроходившую боль.

Когда он перечитывал последнее письмо матери, когда между спокойными, сдержанными строками этого письма он угадывал ужас обречённых уничтожению беспомощных людей, согнанных за колючую проволоку гетто, когда его воображение дорисовывало картину последних минут жизни Анны Семёновны в день массовой казни, о которой она догадывалась по рассказам людей, чудом уцелевших в окрестных местечках, когда он с безжалостным упорством заставлял себя мерить страдание матери, стоящей в толпе женщин и детей над ямой перед дулом эсэсовского автомата, ужасное по своей силе чувство охватывало его. Но невозможно было изменить то, что произошло и навек забетонировано смертью.

У него не было потребности рассказать о том, что он чувствует, жене, дочери, друзьям, он ни с кем не хотел делиться тем, что переживал.

В своем письме мать не вспоминала ни о Людмиле, ни о Наде и Толе, оно было все

обращено к сыну, и только в одном месте была фраза «Сегодня ночью видела во сне Сашеньку Шапошникову».

Штруму не хотелось показывать это письмо никому из близких. По несколько раз на день проводил он ладонью по груди, по тому месту, где лежало письмо в боковом кармане пиджака. Однажды, охваченный приступом нестерпимой душевной боли, он подумал: «Если б спрятать его подальше, я постепенно успокоился бы, оно в моей жизни как раскрытая и незасыпанная могила».

Но он знал, что скорей уничтожит самого себя, чем расстанется с письмом, чудом нашедшим его.

Штрум перечел письмо много раз. Каждый раз при чтении он испытывал чувство первопознания, которое испытывал в тот вечер на даче.

Может быть, его память инстинктивно сопротивлялась, не хотела и не могла включить в себя то, что своим постоянным наличием сделало бы жизнь невыносимой.

Казалось, все вокруг было таким же, как прежде, как и до отъезда его, — и почему-то всё изменилось.

Так тяжело больной человек, перенося на ногах свою болезнь, продолжает работать, разговаривать с людьми, есть, пить, даже шутить и смеяться, но все вокруг кажется ему иным — и работа, и лица людей, и вкус хлеба, и запах табака, и тепло солнца.

И люди вокруг тоже замечают и чувствуют, что этот человек как-то по иному работает, разговаривает, спорит, смеётся, курит, словно он отдалён от них легким и холодным туманом.

Как-то Людмила спросила у него:

— Ты о чем задумываешься, когда разговариваешь со мной?

— Да ни о чём, думаю о том, о чём говорю. И в институте, когда он рассказывал Соколову о своих московских успехах, о неожиданных перспективах расширения работы, о деловых встречах с Пименовым, о беседах в отделе науки и об удивительной быстроте, с которой тут же осуществлялись все его предложения, Штрума не оставляло чувство, будто кто то усталыми и грустными глазами смотрит на него и, слушая, покачивает головой.

И когда Штрум вспоминал о своей московской жизни, о красивой Нине, сердце его не начинало биться сильнее и ему казалось, что всё это было не с ним, а с кем то другим и что все это неинтересно. Нужно ли писать ей, думать о ней?

Александра Владимировна приехала в Казань вечером. О приезде своём она не предупредила, дверь ей открыла Надя, вернувшаяся накануне из колхоза.

Увидев бабушку в мужском чёрном пальто с маленьким узелком в руке, Надя бросилась к ней на шею.

— Мама, мама, бабушка приехала? — громко звала она и, целуя Александру Владимировну, скороговоркой спрашивала: — Как ты себя чувствуешь? Здорова? Где же Серёжа, где тётя Женя, а как же Вера?

Людмила Николаевна поспешно вышла навстречу матери, молча, так как от волнения у неё перехватывало дыхание, стала целовать ей руки, щёки, глаза.

Александра Владимировна, сняв пальто, вошла в комнату, поправила волосы и, оглянувшись, сказала:

— Ну вот, приехала, принимайте гостью... а Виктор где?

— В институте, он сегодня поздно вернётся, — ответила Надя. — Нашей бабушки Анны Семёновны уже, наверное, нет, немцы убили, папа получил письмо.

— Аню? — вскрикнула Александра Владимировна. Людмила, увидев, как побледнело лицо матери, произнесла:

— Надя, что ты вдруг, как обухом.

Александра Владимировна некоторое время молча стояла у стола, потом стала ходить по комнате и остановилась перед маленьким столиком, сняла деревянную коробочку и стала рассматривать её.

— Я помню эту коробочку, Маруся тебе подарила её, — сказала она.

— Да, Маруся, — ответила Людмила. Некоторое время мать и дочь, одинаково нахмутив брови и сжав губы, смотрели друг на друга.

— Вот как пришлось нам встретиться, Люда, — сказала Александра Владимировна. — Вот и Марусю потеряла, вот и Аню Штрум, а сама всё живу. Но раз жива, то надо жить.

Она повернулась к Наде и вдруг спросила:

— Ты в каком классе, колхозница?

— Перешла в десятый, — плача, ответила Надя.

— Мама, ты как хочешь, раньше чаю попить или помыться, горячая вода есть.

— Помоюсь, а потом уж будем чай пить, — Александра Владимировна развела руками и добавила: — Яко наг, яко благ. Ты мне дай белье, платье, полотенце и мыло — у меня всё сгорело.

— Всё, всё, мамочка, есть, всё будет. Почему Женя не приехала, ведь и она в чём была из огня вышла.

— Женя поступила на работу. После этих страшных дней она сказала мне: «Пойду работать, как Маруся советовала». Встретила в Куйбышеве знакомого, он её устроил в военно-конструкторское бюро старшим чертёжником, она ведь прекрасно чертит. Знаешь Женю Все запоем делает — начала работать, так уж по восемнадцать часов в сутки. Да и я не буду у вас на хлебах, завтра же начну устраиваться на работу. У Виктора есть связь с заводами?

— После, после, — сказала Людмила Николаевна, вынимая из чемодана бельё, тебе надо отдохнуть, оправиться после потрясения.

— Пойдём, покажи, где помыться мне, — сказала Александра Владимировна Надя как загорела, выросла и удивительно на Аню стала похожа, у меня есть фотография, снята, когда Ане было восемнадцать лет. И глаза, и рот, и общее выражение.

Она обняла Надю за плечи, и все пошли на кухню, где на плите стоял бак с горячей водой.

— Какая роскошь, море кипятку, на пароходе чашечка кипяточку это целое событие было, — проговорила Александра Владимировна.

Пока Александра Владимировна мылась, Людмила готовила ужин. Она накрыла стол скатертью, той, что клалась лишь несколько раз в год — на праздники и в день рождения детей. Она вынула все запасы свои, поставила на стол пироги, испечённые из детской муки к приезду мужа и дочери, отсыпала половину конфет, спрятанных для сына.

Потом она принесла из передней свёрток Александры Владимировны и развернула его. Как-то по особому трогательно рядом с убраным столом выглядел этот узелок, привезённый матерью надломленная половина кирпичика солдатского хлеба, побелевшего от чёрствости, словно тронутого сединой, соль в спичечной коробке, три варёные картофелины «в мундире», вялая луковка, детская простынка, видимо служившая матери в дороге полотенцем.

В истёртую на сгибах газету был завернут пакет старых писем. Людмила быстро перебрала их и, не читая, узнавала на пожелтевших от времени страницах детский почерк сестёр, косой, мелкий почерк покойного отца, увидела страничку из Толиной тетрадки, исписанную прямыми ровными буквами, два письма от Нади, открытку, писанную рукой свекрови. Среди писем лежали фотографии близких, и странно, больно и тревожно стало ей при взгляде на родные лица. Все они: и ушедшие из жизни, и живые, разбросанные судьбой по великой суровой земле, здесь были собраны вместе.

Людмила с какой-то особой, никогда не испытанной силой почувствовала нежность и благодарность к матери, заботливо вынесшей из сталинградского огня эти старые письма и фотографии, к матери, бережно и навечно объединившей в своей душе всех близких, память об ушедших, тревогу о живущих.

Любовь матери была так же драгоценна, проста и нужна, как этот кусок солдатского хлеба, лежащий в раскрытом узелке.

Александра Владимировна вышла из кухни. В домашнем платье дочери, оказавшемся

для неё слишком просторным, она выглядела особенно худой. Её порозовевшее, с капельками пота лицо казалось помолодевшим и одновременно приобрело выражение грусти и усталости.

Она оглядела накрытый дочерью стол и проговорила:

— Вот и попала с корабля на бал. Людмила обняла мать и подвела её к столу.

— Ты на сколько старше Маруси? — спросила мать и сама ответила: — На три года и шесть месяцев.

Садясь за стол, Александра Владимировна сказала:

— Кажется, вчера это было: на мой день рождения Женя затеяла пироги печь, сели за стол — Маруся, Женя, Серёжа, Толя, Вера, Степан, друзья наши, Андреев, Соня Левинтон, тесно было за столом, а сегодня... и дом сгорел, и стол, за которым мы сидели, сгорел. Вот и все мы: Надя, ты да я... Маруси нет, не верю! — громко произнесла она.

Они долго молчали.

— Папа скоро придёт, — сказала Надя, которой невыносимо стало молчание.

— Ах, Аня, Аня, — тихо проговорила Александра Владимировна, — одна жила, одна умерла.

— Мама, ты не представляешь даже, какое это счастье тебя видеть, — сказала Людмила Николаевна.

После чая Людмила уговорила мать лечь в постель, села возле неё, и они разговаривали вполголоса до двенадцати часов.

Виктор Павлович вернулся из института во втором часу ночи, когда все спали.

Он подошёл к постели Александры Владимировны и долго смотрел на её седую голову, прислушивался к негромкому мерному дыханию. Ему вспомнилась фраза из письма матери:

«Видела сегодня во сне Сашеньку Шапошникову».

Лицо Александры Владимировны поморщилось, углы рта дрогнули, но спящая не застонала, не заплакала, а едва заметно улыбнулась.

Виктор Павлович тихо прошёл к себе в комнату и начал раздеваться. Ему казалось, что встреча с матерью Людмилы будет для него очень тяжела, что, увидев старую подругу матери, он ощутит новый приступ боли и тоски. Но оказалось не так, умиленное чувство охватило его. Так после невыносимо мучительного, сухого мороза, сковавшего своей железной жестокостью землю, стволы деревьев и даже самое солнце, тускло багровеющее в ледяном воздушном тумане вдруг дохнет прелесть жизни, и чуть влажный, кажущийся тёплым снег тихо коснётся земли, и кажется, что и в январской тьме вся природа охвачена предчувствием весеннего чуда.

Наутро Виктор Павлович долго разговаривал с Александрой Владимировной; она была полна беспокойства о своих друзьях и знакомых, судьба которых ей не была известна.

Александра Владимировна стала подробно рассказывать о сталинградском пожаре, о налёте немецких бомбардировщиков, о бедствии, постигшем десятки тысяч людей, оставшихся без крова, о погибших, о своих разговорах с рабочими, с красноармейцами на переправе, о раненых детях, о том, как она и Женя шли пешком по заволжской степи вместе с двумя женщинами-работницами, которые несли на руках грудных детей; какие величественные звёздные ночи, рассветы, закаты видела она в степи и как горько и трудно, но в то же время сурово и мужественно переживает народ бедствия войны, сколько веры в торжество правого дела видела она в людях в эти дни.

— Вы не будете сердиться, если к вам вдруг придет Тамара Берёзкина, я дала ей ваш адрес? — спросила Александра Владимировна.

— Это ваш дом, вы здесь хозяйка, — ответил Штрум. Он видел, что гибель дочери, потрясая всё её существо, не вызывала в ней душевной подавленности и слабости. Она была полна сурового и воинственного человеколюбия, всё время тревожилась о судьбе Серёжи, Толи, Веры, Степана Фёдоровича, Жени и многих людей, которых Шгрум не знал. Она попросила Виктора Павловича узнать адреса и номера телефонов предприятий, где бы она могла устроиться на работу.

Когда он сказал, что лучше бы ей успокоиться, отдохнуть некоторое время, она ответила?

— Что вы, Витя, разве можно отдохнуть от всего пережитого мною? А работать необходимо. Я уверена, что ваша мама работала до последнего дня.

Потом она начала расспрашивать о том, как идёт его работа, и он оживился, увлёкся, стал рассказывать.

Надя ушла в школу. Людмила пошла по делам: её утром просил прийти комиссар госпиталя, а Штрум всё сидел с Александрой Владимировной.

— Я пойду в институт после двух, когда Людмила вернётся, не хочется вас одну оставлять, — сказал он. Но ему не хотелось самому уходить.

Поздно вечером Штрум остался один в своей лаборатории, ему нужно было проверить фотоэффект на одной из чувствительных пластинок.

Он включил ток индуктора, и голубоватый свет вакуум-разряда, мерцая, пробежал по толстостенной трубке. В этом неясном, похожем на голубой ветер свете всё привычное и знакомое казалось охваченным волнением и живым трепетом: и мрамор распределительных досок, и медь рубильников, и тусклые наплывы кварцевого стекла, и тёмные свинцовые листы фотоэкранов, и белый никель станин.

И Штруму внезапно показалось, что и он сам весь изнутри освещён этим светом, словно в мозг его и в грудь вошёл жесткий, сияющий пучок всепроникающих лучей.

Какое волнение, какое предчувствие! О, то не было ожидание счастья, то было чувство ещё большее, чем счастье, чувство жизни. Не усталость, не изнеможение были в нём, а живая сила.

Всё, казалось, слилось вместе в суровом и дивном единстве: и мечты детских лет, и каждодневный упорный труд исследователя. Всё слилось: и его душевная боль, и жгущая день и ночь тоска, и ненависть к тёмным силам, вторгшимся в мирную жизнь советских людей, и величественная мощь всенародного труда, к которому он приобщился на Урале, и рассказы Александры Владимировны о беде, бушевавшей на Волге, и горестные, молящие о помощи глаза колхозницы на вокзале в Казани, и его вера в счастливое и свободное будущее своей Родины, и его желание служить народу.

Он почувствовал, что в этот грозный час народной жизни, в этот грозный час своего сердца он не бессилён, не покорён судьбе, а готов напрячь все свои силы для тяжкого и упорного труда.

И он чувствовал и понимал, что силы для этого труда недостаточно черпать в одном лишь упорстве и целеустремлённости исследователя, что силы для этого труда нужно искать в кровной и неразрывной связи своей души с душой народа, в страстном желании народного счастья, которое ощутила его подавленная горем душа.

И видение счастливого свободного человека — разумного. И доброго властителя самой могучей энергии, хозяина земли и неба — на миг мелькнуло перед ним в голубоватом, похожем на порыв ветра, свете катодной лампы.

Шахтёр проходчик Иван Павлович Новиков шёл с ночной смены домой. Должно быть оттого, что война ни днём, ни ночью не переставала давить ему на душу, это прохладное и ясное утро не восхищало его своей прелестью.

Семейные бараки, где Новиков получил квартиру, находились в полутора километрах от рудника. Дорога от шахты проходила по топкому месту, его загатили. Под тяжёлыми шахтерскими сапогами вздыхала земля, и кое-где тёмная, болотная жижа выступала между белых поваленных телец берёзок.

Осеннее солнце пятнало землю, побуревшую траву, берёзовые и осиновые листья светились и улыбались утру, и вдруг, хотя в воздухе не было ветра, пестрая, яркая листва то на одном, то на другом дереве начинала трепетать, и казалось, что это тысячи тысяч бабочек-лимонок, красных крапивниц, адмиралов, махаонов, трепеща крыльями, вдруг вспорхнут и заполнят своей невесомой красотой прозрачный воздух. В тени, под деревьями, краснели зонтики мухоморов, среди пышного, влажного мха, словно рубины на зелёном

бархате, рдели ягоды брусники.

Странной казалась эта лесная утренняя прелесть, которая и десять, и сто, и тысячу лет назад создавалась из тех же красок, из тех же сырых, милых запахов, соединённая теперь с гудением завода, с белыми облаками пара, вырывавшимися из надшахтного здания, жёлтозелёным густым дымом, стоявшим над коксовыми печами.

Иван Павлович шёл к дому и размышлял о делах своей жизни. На лице его лежал несмываемый след подземной работы, и от этого лицо казалось суровым и угрюмым: с насупленными бровями, с тёмными, густо подчёркнутыми сланцевой пылью ресницами, с морщинками в углах рта, прочерченными вьёвшимся в кожу колючими осколками каменного угля. И только с его светлоголубыми, приветливо и радушно глядевшими на мир глазами ничего не могла поделаться тьма подземной работы, угольная пыль и пыль силикатных пород, разъедавшая кожу и легкие подземных тружеников. То были добрые и умные глаза русского рабочего.

Всю жизнь Иван Павлович работал и потому был доволен своей жизнью. Но жизнь его не была лёгкой, как не была лёгкой его работа. Когда-то мальчишкой он работал помощником конюха в подземной конюшне, потом заправлял бензинки в ламповой, потом таскал санки по низким и жарким ходкам шахты, разрабатывавшей пласты малой мощности, потом работал коногоном на коренной продольной, гнал к стволу поезда вагонеток, пружённых коксующимся, жирным углём, года два работал он на поверхности, в копровом цехе юзовского завода, рвал динамитом ржавое железо и чугун, шедшие на загрузку мартеновских печей. Из копрового цеха пошёл он в цех мелкосортного проката, стоял у стана, похожий на древнего витязя — в кольчуге и металлическом забрале, странно было людям смотреть на человека, в котором всё казалось неумолимо суровым, когда, откинув с лица металлическую сетку, он улыбался своими простодушными глазами, — неужели то он царствовал среди огненных свистящих многосаженных змей, железной, не дрожащей рукой укрощал их, прижимая их красные головы щипцами?

Но ещё задолго до войны он окончательно вернулся на подземную работу. Стал он бригадиром по проходке новых шахтных стволов, новых штолен, бремсбергов, квершлаггов, околоствольных выработок — насосных, бункерных камер, работал и по палению шпуров и по глубокому бурению.

Младший брат его к началу войны окончил военную академию. Многие сверстники его вышли в большие люди: один, Смиряев, мальчишкой, лет восемнадцать назад на шахте 10-бис, вместе с ним колбасивший вагонетки, стал даже заместителем министра, другой вышел в директора рудоуправления, третий стал заведывать пищевым комбинатом в Ростове-на-Дону. Лучший друг детской поры Стёпка Ветлугин выдвинулся по профсоюзной линии и сделался членом ЦК профсоюза горняков, жил в Москве; Четверников, работавший в смену с Иваном Павловичем, закончил заочно металлургический институт, потом учился в Промакадемии и теперь где-то, не то в Томске, не то в Новосибирске, был ректором технологического института.

Да не только родичи, товарищи детства, сверстники и однолетки выходили в полковники, директора, становились партийными и профсоюзными деятелями, многие ребята, которые учились у Новикова, говорили ему «дядя Иван», тоже пошли по широким и просторным дорогам: один был депутатом Верховного Совета, другой работал в ЦК комсомола и как-то приезжал навестить Ивана Павловича на легковой зисовской машине... Всех не упомнишь и всех не перечислишь. Но вот если вспомнить встречи, которые были у Ивана Новикова с братом, все задушевные разговоры с ним и письма, полученные от него, если вспомнить все встречи со сверстниками и однокашниками, ушедшими из цехов и забоев на высокое выдвижение, ни разу и никто не помыслил сказать Новикову: «Эх, брат, что ж это ты, всё в забое, да в забое» И ведь у самого Ивана Павловича всю жизнь было не покидавшее его ощущение удачливости, силы, большого жизненного успеха...

При мыслях о брате и товарищах у Ивана Павловича возникло какое-то дружелюбное и в то же время чуть-чуть снисходительное отношение к ним. Он всегда и неизменно ощущал

свой труд как самое высшее, самое главное и основное дело в жизни, всегда и неизменно гордился своим званием рабочего. И он уже привык к тому, что, рассказывая о своей жизни и работе, брат ли, старый ли товарищ, живший теперь в Москве, поглядывали на него, ища одобрения и совета...

Иван Павлович стал подниматься по косогору и, чтобы сократить путь к дому, пошёл тропинкой, срезавшей угол между двумя витками дороги, поднялся на вершину холма, остановился на мгновение передохнуть после крутого подъёма.

С высоты хорошо видна была окрестность, и Новиков стоял, глубоко и шумно дыша, оглядываясь на лежавшие в далёкой котловине заводские цехи, на рудничные постройки, отвалы породы, на поблёскивавшие рельсы ширококолейной железнодорожной ветки, подходившей к заводу и к шахте. Для него картина завода и шахты была всегда прекрасна, и он невольно залюбовался жемчужным дымом над коксовыми печами, клубами пара, которые, подобно откормленным белогрудым гусям, тяжёлой стаей взвивались в небо в лучах утреннего солнца... Могучий товарный паровоз, зеркально сверкая на солнце своей выпуклой грудью, неторопливо подавал негромкие сигналы, маневрировал на подъездных путях, и Иван Павлович с внезапной завистливой тревогой поглядел на машиниста, сердито машущего стрелочнику.

«Вот бы на таком Илье Муромце поработать», — подумал он и представил себе на миг огромный товарный состав, груженный пушками, танками, боеприпасами... Ночь, ливень, гроза, а Иван Павлович ведёт состав со скоростью семь десять километров в час, все гремит кругом, бьют в землю голубые молнии, дождь сечет по ветровому стеклу, а паровоз режет воздух, и вся широкая степь дрожит от его могучего хода.

В Иване Павловиче жила жадность к работе, и он знал в себе эту черту, страстное, не ослабевавшее с годами любопытство к труду самых различных рабочих профессий. Ему нравилось мечтать. То представлялось интересным поехать в Восточную Сибирь, поработать на золотых приисках, то прикидывал он, как бы попробовать свою силу на медеплавильных печах, то представлял он себя механиком на морском пароходе, то подумывал о том, чтобы стать к сложному токарному станку, то мечталось проникнуть в тайну работы бортмеханика на тяжёлом воздушном корабле.

Ему хотелось видеть весь мир, побывать во всех концах своей страны, поглядеть, как живут и работают люди на дальнем севере и в жарких среднеазиатских республиках, поездить по теплым морям. Но он органически не мог представить себя живущим без работы, праздно путешествующим, праздно разглядывающим города, леса, поля, заводы. И должно быть поэтому мечта о странствовании всегда соединялась в его душе с мечтой о работе машиниста, паровозного механика, бортмеханика на самолёте. Да это и не было одной лишь мечтой: ему много удалось повидать в жизни Повезло прежде всего в том отношении, что жена его, Инна Васильевна, была очень лёгким на подъём человеком, ей ничего не стоило сняться с насиженного места и поехать с мужем в далёкие места. Правда, всегда через год-два их тянуло на родину, и они возвращались в Донбасс, в свой посёлок, на свою шахту.

Побывали они на Шпицбергене, где Иван Павлович, завербовавшись на два года, работал в угольной шахте, а Инна Васильевна учила ребят советской колонии русскому языку и арифметике. Прожили они пятнадцать месяцев в пустыне Кара-Кум, где Иван Павлович работал по проходке серных рудников, а Инна Васильевна преподавала в школе для взрослых. Поработали они и в горах Тянь-Шаня на свинцовом комбинате, где Иван Павлович работал по бурению, а жена его заведывала школой ликбеза.

Правда, перед войной о путешествиях они перестали думать: родилась у них дочка, болезненная, слабенькая девочка. И, как часто бывает у супругов, которые долго не имели детей, они с какой-то особой, почти болезненной любовью относились к ребёнку, боялись за его здоровье, подчинили свою жизнь, свой личный интерес жизни маленького существа.

Иван Павлович поглядел на посёлок, лежавший по восточному склону холма, и к сердцу его прилило тепло: он представил себе Машу, с лёгонькими, светлыми волосиками,

ясными голубыми глазами, с бледным белым личиком... Он войдёт в дом, и она побежит в трусиках ему навстречу, незагоревшая, беленькая, чуть-чуть даже голубенькая, закричит:

— Папа пришёл!

Ах, кто поймёт его чувство! Он берёт её на руки, проводит ладонью по мягким, тёплым волосам, осторожно понесёт в дом. А она, болтая босыми ногами, оттолкнётся кулачком от него, оглядит его лицо, склонит набок голову, захохочет. И почему он вдруг станет сам не свой... Эти ладошки, полные живого тепла, эти крошечные пальцы с ноготками, похожими на чешуйку у самого маленького карасика, как-то удивительно, как-то странно соединялись в душе его с могучей силой ревуших доменных печей, со скрежетом и воем бурильного станка, с глухими, потрясающими каменную грудь земли выбухами динамита, с красным, дымным огнём, вспыхивающим над коксовыми печами... Это тёплое, чистое дыхание, эти ясные глаза каким-то удивительным, странным образом соединялись в его душе с великой тревогой войны, с измождёнными лицами эвакуированных женщин и стариков, со зловещим нытьём немецких самолётов в ночном небе, с нарастающим гулом артиллерии, с заревом пожаров, полыхавших в ту ночь, когда он с женой и дочерью грузился в эшелон, покидал родной посёлок...

Он вошёл в дом, когда Инна Васильевна, торопливо прибрав со стола, собиралась на работу — занятия в школе начинались через двадцать минут. Оглядев мужа быстрым, внимательным взглядом, укладывая в портфель детские тетради, которые она взяла накануне на проверку, а в сумку — бидончик и стеклянную банку, так как после занятий рассчитывала зайти в распределитель, она скороговоркой произнесла:

— Ваня, чайник горячий под подушкой, хлеб в тумбочке, хочешь кашу кастрюля в сенях...

— А Маша где?

— Маша у соседей. Ей Доронина старуха молока даст, а в обед суп разогреет. Я часам к пяти приду.

— Ох, а писем от брата всё нет, — вздохнул Новиков.

— Я уверена, что в ближайшие дни будет письмо от Петра, — сказала Инна Васильевна.

Она направилась к двери, но неожиданно повернулась, подошла к мужу, положила руки на его широкие плечи, и утомлённое, тронутое морщинками лицо её стало миловидно и молодо от нежной, милой улыбки.

— Ваничка, спать ложись, такой работы и с твоей силой не выдержать, — тихо произнесла она.

— Ничего, — ответил он, — мне нужно в рудоуправление пойти. С Машей вместе ходим.

Она приложила его большую шершавую ладонь к щеке и рассмеялась.

— В чём дело, рабочий класс? — громко, с нарочитым задором спросила она Не забуришься? Ванька мой, Ваничка.

Он проводил жену до дверей и смотрел ей вслед: она шла по улице рядом с девочками-школьницами, размахивающими клеёнчатыми портфелями, и тоже размахивала сумкой и портфелем. Издали, невысокая, с узкими плечами, быстро шагавшая, Инна Васильевна тоже походила на школьницу. И Иван Павлович вспомнил её, какой знал долгие годы девочкой с косичкой, сердито и бесстрашно спорившей с разбушевавшимся в получку отцом, соседом Новиковых по балагану; и студенткой педагогического техникума, читавшей Новикову вслух «Тараса Бульбу» возле ставка; и в снегах Шпицбергена, в меховых унтах и кухлянке, с пачкой тетрадей, прижатых к груди, при дивном свете северного сияния, смешавшегося с режущей ясностью рудничных фонарей; и читающей сводку Совинформбюро в товарном вагоне жадно слушающим рабочим в бесконечном, тяжелом, голодном эвакуационном пути на восток.

«Ох, и повезло мне в жизни», — подумал он.

А в это время за спиной его раздался чуть слышный шорох, точно мышонок метнулся,

и ногу его обхватили руки дочери. Он быстро нагнулся, подхватил ее на руки, и голова у неги закружилась, то ли от радости встречи, то ли от нечеловеческого напряжения ночной подземной работы.

Попив чаю, Новиков посадил Машу себе на плечи и, выйдя с ней на улицу, пошёл в сторону рудоуправления.

Сурово и угрюмо выглядел посёлок даже в это солнечное утро. Печать войны, военных лишений, тяжёлого труда лежала не только на землянках, вырытых по склону холма, на длинных приземистых бараках, но и на домиках-коттеджах, в которых жили инженеры, мастера, ведущие стахановцы. Какое-то равенство между военным трудом и бытом красноармейцев на переднем фронтовом крае и жизнью их братьев и отцов в трудовом уральском тылу ощущалось с выпуклой ясностью.

Рабочий посёлок возник в калящие зимние морозы 1941 года с той быстротой, с какой в одну ночь возникали среди таких же холмов и лесов в снегах и вьюгах блиндажи, землянки, окопы стрелковых дивизии и артиллерийских полков.

Провода, висевшие меж стволов деревьев, воздушные телефонные линии, тянувшиеся от домика директора, главного инженера, секретаря рудничного партийного комитета к надшахтным постройкам, к конторе, цехам, диспетчерской, напоминали линии полевых военных телефонов, связывающих командиров и начальников штабов дивизий с полками, батареями, тыловыми мастерскими, продовольственными складами. И многотиражка, повешенная у входа в шахтный комитет, с короткими статейками и заметками о трудовых достижениях подземных рабочих, напоминала дивизионную газету, боевой листок, выпускаемый на фронте в дни жестоких и тяжёлых оборонительных боёв.

И так же, как дивизионная газета призывала новое пополнение изучать гранату, автомат, противотанковое ружьё, листок, выпускаемый парткомом и шахткомом, торопил колхозников, домохозяек, пошедших на работу в шахту, постичь тонкости работы врубовок, бурильных молотков, лёгких ручных и тяжёлых колонковых перфораторов, следить, не греется ли корпус электросверла, не гудит ли ненормально мотор, не бьёт ли кабель, не выпадает ли при работе резец.

Много, много было сходства между этим посёлком и фронтовой частью, вышедшей на линию огня. И должно быть поэтому так трогательно хороши были белоголовые и чернявые дети, шумные и робкие, крикливые и застенчивые, озорные и задумчивые, игравшие возле землянок, среди осенних деревьев на взрытой земле, на отвалах породы, над песочным карьером...

Должно быть поэтому так трогали вывески над белёнными извёсткой бараками, оповещавшие, что в бараках находится школа-семилетка, рудничные ясли, консультация для кормящих матерей.

Этот посёлок был частью войны, и дети, матери с детьми на руках, старухи, развешивающие бельё, — всё говорило о том, что война народная, что рабочий класс участвует в ней весь — и с ребятами, и со стариками.

Иван Павлович остановился возле вывешенной газеты.

— Вот, черти, уже успели, — сказал он, прочитав, что старший проходчик Новиков перевыполнил сменное задание, что бригада его в составе проходчиков Котова и Девяткина и крепильщиков Викентьева и Латкова вышла из прорыва, догнала передовые бригады по всем показателям.

Он внимательно читал статейку, придерживая Машу за ноги, то и дело терпеливо говоря:

— Маша, Маша, что это ты? — так как девочка всё норовила попасть носком ботинка по газетному листу.

Разок ей удалось это сделать, удар пришёлся прямо по напечатанной крупным шрифтом фамилии отца.

В статейке всё описывалось правильно, но всё же о главном корреспондент не рассказал. А главное состояло в том, что очень уж трудно было наладить работу, что народ в

бригаде подобрался на редкость тяжёлый, неумелый, что Котов и Девяткин попали в шахту из трудового батальона и хотели освободиться от подземной работы, перейти на поверхность, что Латков оказался бузотёром, однажды пришёл на работу выпивши. Вот Викентьев, тот был кадровым шахтёром, понимал и любил подземную работу. Но и с Викентьевым было нелегко: характер у него оказался крутой и он всё придирался к ответчицам, впервые попавшим на работу в шахту. Одну эвакуированную из Харькова домашнюю хозяйку он довёл до отчаяния, а делать этого никак не следовало у неё муж, служивший экономистом в харьковском тресте, погиб на фронте, и она старалась работать как можно лучше.

Но в чём же упрекать корреспондента? Ведь, пожалуй, и сам Новиков не сумел бы рассказать, каким образом получилось, что не жадный до работы Девяткин, то и дело садившийся пожевать хлебца, и озорной Латков, и обрусевшая полька-откатчица Брагинская с грустными глазами — стали так дружно, без слов понимая друг друга, вытягивать норму на тяжёлой, а подчас и опасной работе. Само собой, что ли, это получилось? Или Новиков добился этого? Конечно, увеличили глубину шпуров с полутора до двух метров, наладили бесперебойную доставку к началу смены крепёжного леса и порожняка, вентиляцию в общем наладили..

Всё это так, да не в этом всё же дело, кое-что а другое...

Он сердито оглянулся на проходивших мимо работах — что ж это народ не почитает газетку, неграмотные, что ли?

Ведь не только статейка о Новикове, сводка Совинформбюоро напечатана, да и статейку не грех посмотреть.

Когда Новиков подходил к бараку, где помешалась шахтная контора, ему повстречалась откатчица Брагинская, худая и длинноногая женщина.

— Чего ж не отдыхаете? — спросил Новиков. Странно она выглядит на поверхности — в берете, в туфлях на высоких каблуках. А в шахте совсем по-обычному — в резиновых сапогах, в брезентовой куртке, повязанная платочком. Там казалось естественно крикнуть ей:

— Эй, тётя, давай сюда порожняк!

А сейчас, пожалуй, невозможно назвать её на «ты».

— Ходила в амбулаторию сына записать на приём, — объяснила Брагинская, замучилась я с ним, просила вчера у Язева записку, чтобы его в город взяли, в школьный интернат с трёхразовым питанием, а он мне отказал. Вот и приходится на два фронта действовать — на работе и дома.

Она помахала листком многотиражки.

— Читали?

— Читал, как же, — сказал Новиков, — зря вашу фамилию не напечатали.

— Зачем моё имя, — сказала она, — достаточно, что напечатали про бригаду, а впрочем, конечно, прочитать было б своё имя ещё приятней. — Она смутилась от этого признания, погладила Машу по руке и спросила: — Дочка ваша?

Маша, обняв отца за шею, громко с вызовом произнесла:

— Да, я его дочка, он подземный, никому его не отдам, никуда его не отпущу. — И, помолчав немного, увещевающе спросила: — Тётя, зачем вы сердитая? Что вас в газете не напечатали?

Брагинская пробормотала:

— А мой Казик отпустил своего папу, никогда он к нам не приедет.

— Дура ты, Машка, — сказал Новиков и добавил: — Хватит на мне верхом ездить, ходи своим ходом.

И он снял девочку с плеч и поставил её на землю.

— Вы бы к нам зашли как-нибудь, — сказал он — с женой моей познакомитесь.

Брагинская покачала головой:

— Спасибо, где уж мне ходить, еле успеваю с домашними делами справиться перед работой.

— Да, трудненько приходится, — проговорил Новиков, — жмём уж, действительно, очень сильно. Теперь-то можно будет полегче, а то и мужские кости трещат от такой работы.

Он поглядел на лицо женщины и виновато вздохнул — действительно нажали сильно. Уж на что здоров Девяткин, и тот под утро в конце смены сказал:

— Ломает меня, словно от гриппа. Кажется, всю жизнь на производстве работал и ничего, а тут, в забое, прямо не выдерживаю.

— Ничего, ничего, вот сейчас подтянули, подогнали, темп сейчас примем нормальный, — проговорил, прощаясь с откатчицей, Новиков.

«Интересное дело, — подумал он, — вспомнить, как я всю жизнь работал, и, кажется, как начал, так и сейчас работаю. А в действительности весь советский рост в промышленности я своими руками перемерил. Начал с того, что с санками ползал, а теперь во весь рост стою, и кровли не видно, а в забое теперь завод размещается, а раньше обушок, да санки, да топорик, да лампочка бензина. Вот и жизнь так должна была расшириться, как работа в тяжёлой промышленности, чтобы кровли не видно, а народ в землянках живёт. Подрубила нас война».

Он поглядел на три запыленные легковые машины, стоявшие у входа в контору, одна из них, «эмочка», принадлежала начальнику шахты, на второй, «ЗИС-101», ездил секретарь обкома, а третья, иностранной марки, кажется, принадлежала директору военного завода, расположенного у соседней железнодорожной станции.

— Зря пришёл, хоть и вызывали, начальство собралось, — сказал Иван Павлович, обращаясь к шофёру шахтной машины, с которым был знаком.

— Чего зря, раз вызывали? Новиков рассмеялся

— Знаешь, если уж три машины собралось, значит начальство заседание устроило. Увидят друг друга — и заседать, уж без этого не могут. Сами не рады. Притяжение.

Знакомый шофёр рассмеялся, девушка, сидевшая у руля заграничной машины, тоже улыбнулась, а водитель обкомовского «ЗИСа» неодобрительно нахмурился.

В это время из открытого окна конторы выглянул начальник шахты и сказал:

— А, Новиков, зайдите к нам сюда.

В коридоре, увешанном объявлениями, Новиков узнал от встретившегося ему начальника участка Рогова что на шахту приехал уполномоченный ГОКО, провёл техническое совещание.

— Он сейчас у начальника шахты, — скачал Рогов и, подмигнув Новикову, добавил — Не робей, брат.

— Эх, куда же мне Машу девать — растерянно оглянула Новиков — Я думал на минутку меня вызывают, акт подписать.

А Маша ухватила крепко отца за руку и предупредила.

— Папа, ты меня не оставляй, я крик подниму.

— Чего кричать, посидишь с бабушкой уборщицей, тётя Нюра, ты ж её знаешь, — просительным шепотом сказал Новиков. Но в это время открылась дверь кабинета, и юная секретарша начальника шахты нетерпеливо сказала:

— Где же вы там, Новиков?

Иван Павлович подхватил на руки Машу, зашёл в кабинет.

Начальник шахты Язев, красивый, тридцатипятилетний человек с правильными, строгими чертами лица, с чётко сомкнутыми губами, одетый в щегольскую гимнастёрку, подпоясанную широким поблёскивавшим кожаным поясом, ходил по кабинету, приятно поскрипывая ладными, хромовыми сапогами. У письменного стола сидело несколько человек. Один из сидевших, в поношенном генеральском кителе, был мужчиной богатырского роста, с широкими пухлыми плечами, со спутанными волосами, нависшими над широким лбом, с набрякшими под глазами мешками. Второй, сидевший в кресле начальника шахты, небольшого роста, в очках, с тонкими губами и желтоватым бледным лицом не спящего по ночам человека, был одет в светлосерый летний пиджак и светлоголубую рубаху без галстука. Перед ним на столе лежали раскрытый портфель, пачки

бумаг, широкие мятые полотна синей кальки. У стен на стульях сидели жёлтозубый, нахмуренный директор угольного треста Лапшин и секретарь шахтпарткома Моторин, седеющий, румяный, кареглазый, обычно подвижной, весёлый и громкоголосый, сейчас лицо его казалось озабоченным и смущённым.

У окна стоял знакомый Новикову по областному стахановскому совещанию, проходившему в мае месяце, секретарь обкома партии по промышленности худощавый, высокий человек в чёрной куртке с отложным воротником. Он и лицом и фигурой напоминал старого приятеля Новикова, подземного слесаря Черепанова.

— Вот, Георгий Андреевич, это и есть Новиков, проходчик, — сказал Язев, обращаясь к сидевшему за столом бледному человеку в очках. Поморщившись, он вполголоса сказал:

— Зачем вы с ребёнком явились. Ведь вызывал вас начальник шахты, а не заведующая яслями.

Он сделал ударение на втором «я» — яслями — и слово от этого показалось каким-то обидным и смешным.

— Да она, пожалуй, переросла для яслей, — сказал секретарь обкома по промышленности: — Тебе сколько лет, девочка?

Маша, смущённая непривычной обстановкой, ничего не ответила; округлив глаза, загадочно смотрела в окно. Искося она быстренько глянула на отца, как он, — тоже, может быть, растерялся, неожиданно увидев столько незнакомых дядек? Но отец успокаивающе погладил её по голове.

— Ей четвёртый год, — сказал Новиков, — я думал, меня на минутку вызвали, подписать акт о неисправности в подводке сжатого воздуха... А что касается яслей, то ведь закрыты и ясли и детский сад, у них карантин.

— Вот оно что! — сказал очкастый. — А по какому поводу карантин?

— Несколько случаев кори было, — сказал Моторин и виновато покашлял.

А Новиков добавил:

— Уж девятый день закрыты.

— Вот оно что, уже девятый день, — сказал очкастый Георгий Андреевич, покачал головой и спросил: — А что это за неисправность с подачей сжатого воздуха? Зачем протоколы подписывать, не проще ли исправить то, что неисправно?

Поглядев на Новикова, он сказал:

— Садитесь, в ногах правды нет! Новиков, чувствуя всё нараставшее раздражение против Язева, проговорил:

— Как же садиться, хозяин не приглашает.

— Что ж хозяин... вы тоже хозяин.

Новиков поглядел на Язева, покачал головой и так лукаво и умно усмехнулся, что все невольно рассмеялись.

Новиков не любил начальника шахты. Ему помнились первые часы приезда на проходку — синий, жёсткий морозный вечер, люди, выгрузившиеся из эшелона на пронзительно скрипящий снег, Инна с ребёнком на руках, сидящая на узлах, закрытая через голову ватным одеялом, костры, разведённые в котловине у железнодорожного полотна, толпа, окружившая Язева, стоявшего возле легковой машины в белом полушубке, в высоких белых бурках... На недоуменные вопросы рабочих, успевших узнать, что бараки не дооборудованы: «Где же печи в общежитиях, о которых сообщил в дороге Язев, как без транспорта ночью доставить детей за 8 километров», — он стал говорить о трудностях, о фронтовиках, о необходимости приносить жертвы, не считаться ни с какими лишениями. Говорил он горячо, и всё, что он говорил, было верно и правильно, но почему-то, странным образом, Новиков чувствовал обиду за эти суровые, святые слова, которые были выношены им в страданиях, в тяжёлом труде, в муках души... Не этому самодовольному, равнодушному человеку произносить такие слова. Как-то не ладилась она с его расшитыми ёлочкой варежками, с его красивыми, холодными, прищуренными глазами, с легковой машиной, в которой лежали аккуратные, завернутые в бумагу пухлые свёртки.

Когда под утро с двумя тяжёлыми узлами, перекинутыми через плечо, поддерживая жену, несущую на руках завёрнутую в одеяло девочку, Новиков подходил к недостроенным длинным баракам, мимо проехала гружённая мебелью и домашней утварью трёхтонка. Он сразу догадался, чья это мебель.

С тех пор с Язевым у него долгое время не было прямых столкновений, но чувство нелюбви к нему не проходило, и он собирал в памяти, в душе всё подтверждавшее эту неприязнь: чёрствость его к людям, жалобы рабочих на то, что к начальнику не добиться, а если добьёшься, всё равно толпу не будет отказать и ещё на шумит, крикнет секретарше:

— Зачем по мелким бытовым вопросам ко мне пускаете, война, что ли, кончилась? Почему вы не приходите посоветоваться, как производительность труда повысить?

На производстве, известно, есть малый процент людей, которые любят без дела морочить начальников своими пустыми просьбами, а большинство уж если пойдёт пропить о чём-нибудь заведующего цехом или директора, то по самой уж крайней необходимости. И человек, понимающий рабочую жизнь, знает, как важны эти пустые с виду просьбы: дать записку в детсад, чтобы приняли ребёнка, перевести из холостого общежития в семейное, разрешить пользоваться кипятком в котельной, помочь старухе матери перебраться из деревни в рабочий посёлок, открепить от одного магазина и прикрепить к другому, который поближе от квартиры, разрешить не работать день, с тем чтобы отвезти жену в город на операцию, приказать коменданту дать угольный сарайчик. Кажутся эти просьбы действительно мелкими и нудными, а от них ведь зависит и здоровье, и спокойствие души, а значит, и производительность труда.

Ивана Павловича вроде как бы и огорчало, что у этого сухого и недоброго человека работа шла хорошо. Язев не только администрировал, он был сведущим инженером, отлично разбирался в технических вопросах, связанных с проходкой новых выработок, с эксплуатацией крутопадающих пластов, его считали знатоком и по механизации отбойки и откатки и по скоростным методам нарезки лав; в Наркомате угольной промышленности Язева ценили, часто премировали, а недавно даже наградили орденом.

А Новиков, вглядываясь в его красивое, спокойное лицо, всё покряхтывал: может быть, и дельный он инженер, и толковый начальник, а душа не лежала к нему.

И сейчас Новиков тихонько сказал Маше:

— Сядь с этой стороны, — и пересадил девочку таким образом, чтобы светлые, холодные глаза Язева не видели её.

Уполномоченный ГОКО Георгий Андреевич проговорил:

— Товарищ Новиков, кое-какие вопросы к вам будут. Генерал очень шумно вздохнул и произнёс:

— Вопрос один — нужно возможно быстрее вскрыть новый пласт и пустить в эксплуатацию.

Он навалился грудью на стол и, глядя в упор на Новикова, произнёс:

— Мы досрочно закончили строительство завода, определяющего выпуск бронепроката, выпуск танков. По плану уголь и кокс должны нам давать вы. А вы не даёте. Ваш уголь нам нужен сегодня, а вы ещё не ввели шахту в эксплуатацию. Опоздали.

Язев проговорил:

— Мы не отстали от плана, мы перевыполняем его. Шахта будет сдана в эксплуатацию в намеченный планом срок. Так ведь я говорю, Илья Максимович? обратился он к директору треста Лапшину: — Я от вас план получил, я по плану работал, я план выполняю.

Лапшин утвердительно кивнул:

— Работы идут в рамках графика. Шахта план не сорвала, — и раздражённо сказал генералу: — Так ставить вопрос нельзя, товарищ Мешков! Есть объективная документация, утверждённая директивными органами. Как будто так, Иван Кузьмин?

И он вопросительно посмотрел на секретаря обкома до промышленности.

Секретарь обкома весело ответил:

— Так-то так, но вот получилось — от Мешкова отстали, ему кокс действительно

сегодня нужен.

— Я прекрасно это понимаю, — сказал Лапшин, — кто же виноват, однако? То мы перевыполнили план, то, выходит, не выполнили.

— Кто виноват? — переспросил Мешков и тяжело поднялся во весь свой богатырский рост, развёл руками и, обращаясь главным образом к Маше, сказал: Выходит, что Мешков виноват! Так, что ли? Кругом я виноват! А со мной вместе виноваты и землекопы, что рыли котлованы, и бетонщики, и каменщики, и монтажники, и наладчики, и прокатчики, и штамповщики, и токари, и клепальщики, и сварщики — весь рабочий класс, так, что ли, выходит? Что ж смотреть, товарищ Язев и товарищ Лапшин, под суд нас и отдавайте, раз мы виноваты в том, что завод построили вдвое быстрее, чем предусмотрено планом!

Язев поморщился, глядя на смеющиеся лица участников заседания, я проговорил:

— Товарищ генерал, вы, может быть. Героя соцтруда получите, а с нового пласта угля вам шахта сегодня всё же дать не может. Вот рабочий, старший бригадир, проходчик, спросите его, люди вкладывают себя целиком в работу, а больше дать они не могут, потому что они всё же люди. Не может шахта дать сегодня уголь.

— А когда сможет? Я сегодня и не прошу.

— В соответствии с планом — ввод в эксплуатацию в конце четвёртого квартала сорок второго года.

— Нет, это не пойдёт, — сказал секретарь обкома.

— Тогда скажите, что делать? — спросил Лапшин. — План не с потолка взят, в соответствии с ним построен весь график работ, обеспечение рабочей силой, материалами, продснабжением! Я с Язева спрашиваю круто, но ведь я не смогу в ближайшее время обеспечить его квалифицированными кадрами. Это надо прямо сказать. А где он их сам возьмёт? В тайге? Нет у треста бурильщиков, врубмашинистов, крепильщиков. А если бы и были они, Язев их не обеспечит перфораторами, электросвёрлами. А были бы перфораторы и электросвёрла добавочные, его всё равно будет лимитировать недостаточная мощность компрессора и электростанции. Вот и скажите, что тут делать?

Георгий Андреевич снял очки и, прищурившись, посмотрел на стёкла.

— Вы тут, товарищи угольщики, — сказал он, протирая платком стёкла очков и продолжая улыбаться прищуренными, близоруко мигающими глазами, — вы тут всё время ставите вопросы, которые уж ставились властителями дум революционной интеллигенции в девятнадцатом веке: «Кто виноват?», «Что делать?».

Он надел очки, оглядел всех вдруг ставшим хмурым острым взглядом и сказал:

— О том, кто виноват, в нынешнее время нам говорит прокуратура, а чтобы зря не беспокоить её, давайте определим новые сроки ввода нижнего горизонта шахты в эксплуатацию. План у нас один и очень прост: отбить немцев от Сталинграда, отстоять независимость, честь Советского государства. — Сердито, злым голосом он добавил: — Вам понятно это? Простой план. Не с потолка взят. Извольте в соответствии с ним перестроить свой график.

В это время вошла, громко скрипя кирзовыми ботинками, старуха уборщица, внесла чайник и стаканы.

Георгий Андреевич, обращаясь к секретарю парткома Моторину, неожиданно сказал:

— Накурили мы здесь ужасно, для девочки это вредно, — и нерешительно спросил: — Может, пойдёшь, девочка, с тётей?

Маша совсем затосковала, слушая споры о горизонтах, перфораторах, электросверлах и компрессорах... Сколько уж раз слышала она разговоры отца с приятелями обо всём этом: «Где возьмёшь крепильщиков... в компрессоре нет мощности... по такой породе нужно тяжёлым перфоратором работать...? Оказалось, что и здесь, в конторе, идут эти разговоры, называются те же непонятные слова, и Маша, зевая, проговорила:

— Мне не вредно, мне скучно.

Она протянула руку уборщице, пошла с ней, но в дверях остановилась, мгновение глядя на отца, словно усомнилась в своих правах, и, желая вновь утвердить их, крикнула: — Это

мой папа!

Со странным чувством слушал Новиков шедший в кабинете Язева разговор. Казалось, что Язев как раз и говорил о том, о чём хотелось самому Новикову сказать. Но сейчас Новиков не соглашался с тем, что говорил Язев. Он понимал, что Язев, говоря о сверхнапряжении работы, о тех усилиях, которые тратят рабочие для выполнения плана, по существу имел в виду лишь свой спор с генералом, директором военного завода.

Язев вдруг повернулся к нему и сказал:

— Давайте спросим товарища Новикова, одного из лучших наших проходчиков, каково ему работается, имея в помощниках и сменщиках колхозников, никогда не работавших на шахтах, а тем более на шахтных проходках, домашних хозяек и парнишек — учеников ремесленного училища? Ведь это действительность, с ней надо считаться, когда мы ставим вопрос об ускорении столь уплотнённой работы чуть ли не в полтора раза. Давайте спустимся в шахту, посмотрите, как работает вот такой Новиков, ведь он чудеса теперь делает, чудо в полном смысле слова! Поглядели бы вы на уборщиков породы, на откатчиц, вот одна из них ко мне приходила — Брагинская, болезненная женщина, жена погибшего на фронте совслужащего, горожанка, никогда в жизни, видимо, не работавшая, не то что в шахте, а на огороде, в саду! Что с нее спросишь? Всё это надо учесть, прежде чем принимать решение, Георгий Андреевич. Я говорю об этом не потому, что боюсь трудностей. Вы сами дали высокую оценку моей работе, и ГОКО отметил её. Если я берусь выполнить план, то я его выполняю. Вот поэтому я и не боюсь снова поставить перед вами этот вопрос. Пусть наш передовой рабочий скажет.

Новиков увидел, что Георгий Андреевич нахмурился, слушая Язева, а тот вдруг резко добавил:

— И скажу вам прямо, Георгий Андреевич, меня агитировать не надо. Я-то уж знаю, какая война сейчас идёт. В первый же день, когда в декабре сорок первого года в жестокий мороз на снег разгрузился здесь первый эшелон, я прямо и ясно сказал людям, что война требует от них великих жертв. И я-то уж умею со всей непоколебимостью напомнить об этом людям.

Мешков тоже повернулся к Новикову и сказал с какой-то новой, совсем иной интонацией, которая бывает не на заседаниях, а в разговорах людей, связанных давней и откровенной душевной дружбой, определяющей простоту и искренность этих отношений:

— Ох, товарищ Новиков, но ведь наши-то цехи такие же люди строили: и кадровые, и вербованные, и домохозяйки. Я ли не видел трудностей. Да касайся это меня лично, стал бы я так волноваться и добиваться. Ведь цехи простаивают! Ведь танкисты ждут! Ведь новые танковые корпуса формируются! Приезжал ко мне недавно командир такого нового формирования! — и совсем уж неожиданно, протяжно произнёс: — Ведь это, боже мой, боже мой, что зависит от этого, а мне директивные органы говорят: добейся! Ведь не для себя же, кабы для себя, что ж, сказал бы, нет так нет. Разве я не понимаю, что Язев веские, правильные вещи говорит. Но ведь нужно! Вот! Нужно!

Георгий Андреевич сказал:

— Давайте, товарищ Новиков, говорите, слушаем вас. На мгновение стало тихо. Моторин негромко проговорил:

— Эх, шахтёр, шахтёр, видишь, как тебя спрашивают, а ты сесть не хотел я, мол, здесь не хозяин.

В это короткое мгновение Иван Павлович вспомнил, казалось, десятки важных вещей, которые хотелось ему сказать. И раздражённое желание высказать Язеву свои упрёки: почему же он отказал откатчице Брагинской в содействии, чтобы устроить мальчика в интернат, а сегодня так жалостно говорит о ней; почему так сурово сказал рабочим, что можно жить и в нетопленных общежитиях, а у себя на квартире печи поставил кафельные; хотелось сказать, что действительно ведь трудно приходится, что паёк вправду недостаточен, что многие живут в сырых землянках, что люди к концу смены на ногах еле держатся; хотелось сказать и про брата, который с первых дней на фронте, и про то, как сердце болело,

когда покидал он оставленный немцам Донбасс, так болело, что он, сильный и спокойный человек, шахтёр, мучился, стонал, словно тяжело раненый, в вагоне, прижавшись лбом к стеклу, и глядел при свете далёких пожаров на те шахты, где он работал, где шла его жизнь; хотелось рассказать, как он видел на уральском разъезде похороны умершего в санитарном поезде молоденького паренька-красноармейца, как вынесли его, словно птенчика, на носилочках и закопали в мёрзлую землю; хотелось сказать об огромной народной беде, которую он чувствовал, сам пережил, о том, что он думал о Гитлере, о проклятом фашистском войске, дошедшем сегодня до чистой волжской воды, о том, что нет на свете дела лучше, чем шахтёрская работа; хотел сказать он и о том, как любит он свою дочку, как болеет она здесь, не переносит местного климата, как вечером читают они с женой Некрасова, поглядят друг на друга украдкой — и у обоих слезы на глазах; хотел сказать, как отец умирал, всё ждал приезда младшего сына из армии, а тот не смог приехать, что не пришлось брату проститься с могилой отца и матери, теперь там немцы топчутся!

Забилось сердце, таким жаром обдало его, что, кажется, день бы говорил он и эти люди слушали б его, слова не проронили.

А сказал он негромко, медленно: — Я считаю, пробуемся, давайте нам план.

Ночью Иван Павлович, получив наряд, помахивая тяжёлой аккумуляторной лампой, шел к надшахтному зданию. Как удивительно? Сказала как-то на днях Инна, что будет известие от брата — и принес сегодня почтальон телеграмму. Как в воду глядела! Иван Павлович так радостно, так громко и весело ахнул, прочтя телеграмму, что Маша, спавшая после обеда, проснулась... Все мучился мыслью жив ли Пётр, а он, оказывается, где то тут, недалеко, да ещё грозитя в гости приехать...

Пятно света от аккумулятора, покачиваясь, плыло рядом с ним, и сотни таких светлых пятен плыли из бани, нарядной, ламповой, по широкому двору в сторону надшахтного здания, а навстречу им шел другой поток покачивающихся огней — то клеть качала на поверхность отработавших смену. Было тихо. В этот строгий час, когда шахтёры уходили с земли в шахту, не возникало громких разговоров, сосредоточенно, молча, двигались люди, каждый по-своему переживая минуты расставания с землей. И как бы ни любил человек подземную работу, как бы прочно ни складывали долгие годы подземного труда привычку к шахте, вошедшую в человеческую душу, всегда в эти минуты, перед спуском, вдруг охватывает шахтера то молчаливое, сосредоточенное состояние, в котором и тревога, и привязанность к прекрасному миру, в котором он живёт и к расставанию с которым даже на несколько часов все же нельзя привыкнуть.

Покачивающиеся огоньки плыли по воздуху, и видно было по ним: вот созвездье, пять вместе, наверное, бригадой идут, как и работают, один огонек немного впереди, это и есть бригадир, три тесно сбившись, а пятый юлит-то отстанет немного, то, наоборот, опередит всех, то снова отстанет, — наверное, паренёк ремесленник в больших сапогах зазеваается, потом спохватится, побежит вперёд, догонит бригадира... Пунктиром тянутся одиночки, мелькают пары, пары, пары: друзья идут рядом, перекинутся словом, опять замолчат. Вместе в клеть войдут, под землей разойдутся в разные стороны, а после смены снова встретятся на подземном рудничном дворе, сверкнут белые зубы, блеснут белки глаз. И так ведь всюду, и на Сучанах, и на Тыргане, и в Восточной Сибири, и на среднеазиатских рудниках, и на Урале — блестят, сверкают, покачиваются шахтёрские лампочки...

Вот светящееся облако вываливает из Ламповой, медленно растекается, дробится, разжижается и плывёт, всё ускоряя движение, а там, у надшахтного здания, новое густое облако шевелится, дышит, втекает потоком в невидимые в темноте двери.. А над головой в осеннем небе мерцают, переливаются звёзды, и кажется, какая-то связь, милое живое сходство объединяет огни шахтёрских ламп с голубоватым, бледным мерцанием звёзд во мраке осеннего неба. Не затемнила война этих огней.

Много лет назад Иван Павлович мальчишкой шёл душной летней ночью следом за отцом и матерью, державшей на руках младшего брата, на соседний рудник; отец помахивал шахтёрской лампой, освещая путь. А когда мать пожаловалась: «Ой, руки не держат,

устала», отец сказал ему: «Ваня, на-ка понеси лампу, а я Петьку от матери возьму». И вот уж давно нет на свете матери и отца, а Петька, которого несли родители на руках, стал высоким, плечистым, молчаливым человеком с полковничьими шпалами на шинели, и уж не может Иван Павлович вспомнить, почему они тогда ночью всей семьёй шли на рудник-то ли свадьба была, то ли дед умирал... А вот воспоминание о первом прикосновении к шершавому крючку лампы-бензинки, ощущение тяжести её и живого, тихого света, шедшего от неё, навек сохранилось в нём.

Тогда был он так мал ростом, что руку пришлось согнуть в локте, а то на вытянутой руке лампа ударялась о землю.

И теперь, когда поднимает он лампу, сгибая руку в локте, вдруг шевельнётся где-то в тёплой глубине души дальнейшее воспоминание и, кажется, нерушимая связь живёт между той далёкой ночью, когда шестилетним мальчишкой, гордясь, шёл с лампой по донецкой степи, освещая тропинку отцу и матери, и сегодняшней ночью тяжёлой военной поры, когда идёт он, отдалённый толщей времени и тысячевёрстной толщей пространства от родных мест.

Человека не видно в темноте, только лампочка плывёт, покачивается. И каждый рабочий, сосредоточенный, молчаливый перед спуском под землю, быть может, на миг неясно, мельком ощущает связь времён, вспомнит что-то далекое, близкое, своё, объединит это с военной тревогой сегодняшнего дня, чувствует ту вечную, нерушимую связь, что охватывает и воспоминания детства, и могилы близких, и любовь к отчизне, и гнев, и печаль.

Новиков подошёл к клетки, и душное, мягкое, влажное дыхание шахты коснулось его лица, пришло на смену дивной свежести осенней ночи.

Люди молча наблюдали, как скользит жирный, поблескивающий при свете электричества канат, бесшумно выбегает из чёрного мрака шахтного ствола. Вот бег его плавно замедлился, стали видны коричнево-жёлтые натёки масла, серебристая белизна крутых битков металлических нитей. Клеть медленно выплыла из мрака, и блестящие, кажущиеся особо возбужденными глаза людей в грязных, мокрых брезентовых шахтёрках встретились с глазами тех, кто ждал спуска.

Ноздри поднявшихся на поверхность ощутили примешавшуюся к влажной духоте воздуха струю ночной свежести, и люди нетерпеливо поглядывали, когда же стволовой выпустит их, даст ступить на землю, не будет держать на весу над бездной

— Восемь парней, восемь девок, — сосчитал стоящий рядом с Новиковым Девяткин, а Латков засмеялся и крикнул:

— Прямо в загс их, венчать?

Новиков замечал, что и обстоятельный Девяткин, и Латков, и угрюмый, морщинистый Котов — все недавно работавшие в шахте никак не могли спокойно относиться к минуте погрузки в клеть и каждый по своему выдавал свое волнение: Латков громко, громче, чем следовало спокойному весёлому человеку, отпускал шуточки, а Котов совсем становился молчалив, стоял полуопустив веки, и на лице его было выражение «Э, глаза б мои не глядели, добра я от всего этого не жду».

Женщины при спуске в первый раз обычно пугались больше, чем мужчины, некоторые даже охали и вскрикивали, зато привыкали быстрее — и Новикова даже сердило, что они, входя в клеть, продолжали тараторить о своих житейских делах на поверхности — про карточки, про мануфактуру, а молодые про кинокартины и про то, что «я ему сказала, а он мне сказал, а Лида спросила, а он только засмеялся, закурил, ничего не ответил...» Иван Павлович считал, что женщины не чувствуют подземной работы вот так, как он чувствует — все же торжественное что то в ней есть.

Но вот загремела цепь, стволовой, тоже донбассовский эвакуированный, подмигнул Новикову и дал сигнал машинисту к спуску.

— Ох, мамынька, парашют давайте? — дурашливым голосом закричал Латков и обнял за плечи, точно ища защиты, лебёдчицу Наташу Попову.

— Не дури, Колька, — сердито закричала она, ругнулась, откинула его руку.

Но Латков не только дурил — всё же он побаивался в душе, а вдруг именно на этот раз

и оборвется канат, как-никак хоть и не на фронте, а лететь по стволу сто восемьдесят метров.

От быстроты спуска чуть-чуть кружилась голова, хотелось заглотить какой-то всегда появляющийся в эти минуты комок в горле, да и в ушах хотелось ковырнуть — закладывало их. А клеть погромыхивала, и, сливаясь в серую слюдяную ленту, стремительно мчалась мимо глаз каменная обшивка ствола, всё усиливался капёж, и тяжёлые теплые брызги падали на лицо и одежду.

Вот клеть замедлила ход, стала приближаться к первому горизонту, где шла добыча угля, и слюдянистая обшивка ствола стала превращаться в чёткую мозаику, состоящую из обтёсанных камней разной формы, разного цвета.

На первом горизонте сошли, кивнув Новикову, забойщик и машинист электровоза, две девушки-лебёдчицы, крепильщик, машинист врубовой машины, живший по соседству с Новиковым.

Латков крикнул:

— Наташа, не забывай меня!

Стволовой дал сигнал к дальнейшему спуску — и клеть пошла на нижний горизонт, где проходчики прорубали путь к мощному четырёхметровому пласту коксующегося угля.

По проходке этой части ствола в течение трёх зимних месяцев работал Новиков, и теперь, когда клеть шла до нижнего горизонта, он по-хозяйски оглядывал новую обшивку — нет, что ни говори, поработали здесь люди на совесть.

Ему казалось, что здесь и клеть идёт мягче, интеллигентнее, и что капёж какой-то приятный, вроде тёплого, цыганского дождя, когда и радуга, и солнце светит, и на подземном рудничном дворе воздух суше, чище, чем на первом горизонте.

Но уж действительно поработал он здесь, попотел! Зимой что тут делалось: работал на входящей струе, мокрый, как мышь, а по разгорячённой, потной спине бил ледяной дождь и холодная входящая струя по телу резала... До сих пор тяжело вспомнить — душный, грязный туман стоял всё время в проходке, пар, едкий дым от отпалённых шпуров... Подымаешься на поверхность мокрый, разомлевший, лицо, спина в поту, бежишь от надшахтного здания к бане, а метель воет, пока добежишь до ламповой, инструмент так остынет, что пальцы к нему липнут, жжёт металл, словно его в горне раскалили.

И вдруг вспомнилась ему работа по проходке серного рудника, и он даже усмехнулся: вот уж где мечтал о морозах, метели, о русской суровой зиме. Ох, и Кара-Кумы... Люди лежат на глиняном полу, в домах двери и окна закрыты, баррикады против солнца строят, завернётся человек в мокрую простыню, пьёт горячий кок-чай, и всё равно нет спасенья, задыхается. А в это время работать под землёй — жара, пыльно, вентиляция пшиковая, а тут ещё подорвут породу, напустят дыму — и совсем дышать нечем! Подынешься после смены — из одной печки в другую: кругом тёмные скалы, вдали песок белеет, и кажется, что вся земля горит в тифу. Но ночью посмотришь вокруг — и обо всём забудешь, небо чёрное, антрацитовое, а звёзды большие, крупные, как весенние цветы сон, белые, голубые... Вот, кажется, ударишь кайлом по антрациту — я упадёт цветок с неба. Нет, всё же интересно там.

А бригада уж идёт по квершлагу. Девяткин постукивает по стойкам крепления, поблёскивают тоненькие рельсы...

Латков с весёлым, но не добрым сокрушением говорит:

— Ох, и порода здесь, кремень, набрал наш товарищ Новиков обязательств, а до угля далеко, ой, далеко! Котов силным басом поддерживает:

— Я днём слышал, маркшейдер говорил, хорошо б к декабрю, особенно при таком питании. Обещать, конечно, всё можно!

— Ясно, почему не обещать. У нас на заводе до войны поляк работал, у него поговорка была: «Обеянка цацанка, дурному радость», — подтверждает Девяткин.

— Откуда поляк? — спрашивает Брагинская

— Думаешь, землячок?

— Нет, просто это у моего дяди такая поговорка была.

— А у моего дяди... — мечтательно произносит Латков, и, когда договаривает до конца,

Брагинская вздыхает:

— О господи Девяткин смеётся.

— Глупый ты всё-таки, Латков, — говорит Иван Павлович.

Его внимательный, спокойный взгляд, пока они идут по коренному штреку, видит всё происшедшее за дневную смену... Вот тут бы надо подкрепить кровлю, верхняк подломился, в таких местах случается — купола выпадают, на разминовке перекосяк получился, а здесь боковое давление большое — ножка у рамы сломалась.. ну, конечно, обещал начальник подвести в соседний квершлаг сжатый воздух, а труб не нарастили за дневную смену, где вчера остановились, там и стоят, да и не привезли труб с поверхности, правда, и на складе их не было, но обещали со станции привезти, может быть, грузовика не дали? Так. Зато кабель протянули, да что в нём пока толку, когда до сих пор не включили добавочную мощность, а энергии едва хватает для механизированных работ на первом горизонте — врубовки одни сколько энергии забирают...

Они сворачивают в квершлаг, и Девяткин говорит:

— Вот тут уж мы работали.

— Конечно, мы, — говорит Латков, — крепили на совесть, забутовка полная, рамы, как гвардия, стоят... — вот где-то в этом месте меня чуть породой не присыпало. Помнишь, Котов, как бурки отладили, я и полез ремонтину ставить.

— Не помню, — отвечает Котов, чтобы позлить Латкова, хотя отлично помнит этот случай.

Он поворачивает к Новикову своё худое, суровое лицо, которое под нависшим сводом, в раме крепления, кажется ещё суровей, и говорит с одышкой:

— Вишь, и думал, сжатый воздух соседу подведут, а трубы даже по коренной не прошли, и не видно, чтобы подвели ни на поверхности, ни на рудничном дворе. И соседям плохо, и нам ерунда.

Новиков отвечает ему:

— А, всё замечаешь, болееешь за подземную работу. Но Котов только нахмурился. Ему казалось, что не тем делом пришлось ему сейчас заняться: заведовал он приёмным пунктом в конторе «Заготптицы», вёл конторскую запись и вдруг в шахту попал... Вот Девяткин, тот до войны был рабочим на галалитовой фабрике, точил корпуса для вечных ручек, потом на заводе пластических масс прессовщиком работал, штамповал технические детали. Кадровый рабочий, и тоже ведь в общежитии сказал:

— Ка-ак посмотрю я на эту кровлю, ка-ак подумаю, что над головой дома стоят, сосны растут, как подумаю, что мне туда спускаться, ох, Котов, не говори!

Котов, любивший говорить людям наперекор, ответил ему тогда:

— Боишься шахты, попросись на фронт добровольцем.

— Ну и что ж, — скачал Девяткин, — я не против. Сейчас они шагали рядом, и оба поглядывали на широкую спину Новикова, бесшумной, лёгкой походкой идущего к забою. Странное чувство вызывал Иван Павлович в людях, работавших вместе с ним. В нерабочее время, казалось, не было человека мягче, добродушней, уступчивей. Вот и сейчас Латков всё время задирает его, спрашивал:

— Слышь, Новиков, ты вчера в конторе подписал, что к первому числу вроде до угля дойдёшь. А нас ты спрашивал? Сам хочешь дойти? Или как, ты с Моториным, секретарём парткома, вдвоём будете бурить?

И Новиков не сердился на приставания Латкова, лениво отвечал:

— С кем дойду до угля? Вместе с вами.

— А у нас по восемь рук, по четыре шкуры? — спросил Девяткин.

— Посмотри, что я в распределителе вчера получил, а потом обязательства давай. — добавил Котов.

— Чего мне твой паек смотреть, — отвечал Новиков, — карточки у нас одинаковые.

— Вот то-то, что одинаковые

— Нет, ребята, никак вы в толк не возьмёте, что подземная работа лучше всех, —

сказал Новиков с кроткой убеждённостью.

— Так ты и не выезжай из шахты, — сказал Девяткин, — сиди здесь и всё.

— Нет, всё-таки есть в тебе, Новиков, административная струя, — сердито сказал Котов.

— Почему во мне административная струя, — обиженно сказал Новиков, — это ты ведь всё мечтаешь в контору перейти. А я всю жизнь рабочий. Вот вы б послушали, как рассказывал директор военного завода, надо танковые части формировать, а завод на полную мощность не могут пустить: угля не хватает. Ждут нашего.

— Это мы понимаем, вчера уже слышали, — сказал Котов и спросил у Брагинской: — А страшно в шахте, вдруг завалит? Останется у тебя сирота.

Брагинская ничего не ответила.

Латков посмотрел на два огонька, мерцавшие вдаль, и проговорил:

— Гляди, Нюра Лопатина и Викентьев уже в забой пришли. Вот уж сознательные, дальше некуда, вроде бригадира.

Близость угольного пласта всё больше чувствовалась во время работы проходчиков. Уголь словно сердился, свирепел, что люди подбираются к нему, собираются его растревожить. То и дело во время бурения происходили легкие выбросы газа, и вода, которой промывались бурки, с шумом выплёскивалась в забой, иногда выбросы были так сильны, что вместе с водой выстреливало кусочки породы.

В кровле образовалось суффлярное выделение, и невидимая струя рудничного газа с лёгким, тревожащим душу, свистящим шорохом вырывалась на штрек. Когда к этому месту рабочие подносили аккумулятор, видно было, как стремительно вылетают из трещины поблёскивающие чешуйки сланцевой пыли. Когда Нюра Лопатина приблизила к этой трещине свой белокурый волос, он затрепетал, словно кто-то подул на него. Седоусый газовый десятник перед началом работы пришёл в забой замерить газ, и пламя в его индикаторной бензиновой лампе злоеще набухало, росло; шахтёры переглядывались, десятник веско спросил.

— Видишь, товарищ Новиков?

— Отчего ж не видеть, вижу, — спокойно отвечал Новиков, — есть там уголёк, дышит.

— Понимаешь?

— Отчего ж не понимать, на верном направлении бурим. Вот что, — проговорил он, обращаясь к Девяткину и Котову, — прежде чем бурить шпур, зададим мы глубокую разведывательную бурку на ручном станке, дренажик сделаем, а там уж пойдём бурить для отпалки. Так вернее будет.

Вентиляционный десятник сказал?

— Правильно, так и начальник вентиляции велел. Спешить — людей смешить.

— Смешить бы ничего, — сказал Новиков, — а вот губить зря людей, совсем даже глупо. Брагинская спросила:

— Это опасно, Иван Павлович?

Он пожал плечами. Что отвечать ей? Всяко бывает. Вот работал он на западном уклоне жаркой и тяжёлой шахты Смолянка 11, там случались внезапные выделения газа, при которых забой засыпало на десятки метров, под самые верхняки; сотни тонн угольной пыли и штыба, словно из огромной пушки, выстреливало на штрек. Конечно, опасно. Засыпет, откапают через неделю. Такие забои охрана труда закрепляла, прекращала в них работу. Работал он на проходке шахты 17-17-бис в Рутченковском рудоуправлении. Вот уж где были суффляры! Газ вылетал так, что человеческого голоса не слышно! Выбросы при бурении такие были, что щит у бурильного станка в щепки разбивало? И ничего ведь пробурился на пласт. А тут, что ж сказать, ручаться нельзя, может вдруг так ударить, что стойку выбьет, не то, что белокурый Нюрин волос шевельнёт. Ведь всё-таки подземная работа, недра земли, а не конфетная фабрика. «Это опасно?» Ну что ответишь? Там, где младший брат, похуже. А она, точно поняв по неохотному пожатию плеч, по молчаливой усмешке Новикова ход его мыслей, смущённо сказала:

— Правда, где муж мой был, не спрашивали — опасно или не опасно.

Новиков оглядел лица притихших рабочих, каждый задумался о своём в эти минуты подземной тишины, оглядел незакреплённую часть забоя, хмуро нависшую кровлю, поблёскивавшую недобрым графитным блеском породу, поглядел на бурильный станок, на порожняк, подогнанный для откатки породы на штрек, на заготовленный, сладко пахнущий сыростью и смолой крепёжный лес, сказал негромко и точно нерешительно:

— Ну что ж, пожалуй, придётся нам поработать. Неслышно, тихо, медленными, как будто неохотными движениями подошёл он к бурильному станку, стал проверять ход механизма. И все находившиеся в забое оглянулись на него, словно он, их запеваля, потихоньку окликнул их, не голосом окликнул, — приглашал подтянуть удивительную, без слов и без звука песню, самую простую, самую старинную народную песню — хоровую, артельную работу.

Есть какая-то несказанная, нежная и волнующая прелесть в этом первом мгновении работы, в этом первом движении рабочего, приноравливающегося, преодолевающего инерцию покоя, словно ещё не до конца знающего свою силу и в то же время верящего в неё, ещё не охваченного жарким напряжением, напором, скоростью, но ощущающего, предчувствующего приход их.

Это первое мгновение труда переживает машинист, выводящий из депо мощный товарный паровоз и ощущающий своим сердцем первый лёгонький толчок поршня, предшествующий стремлению паровой машины по рельсовому пути; это ощущение знает токарь, следящий за плавным зарождением движения в запущенном в начале смены станке. Это ощущение знают и водители самолётов, когда их первое, как бы задумчивое и тихое движение порождает сонный, ещё неуверенный оборот воздушного винта.

И все рабочие люди горновые на доменных печах, и машинисты врубовых машин, и водители тракторов, и слесари, берущиеся за гаечный ключ, и плотники, прихватывающие половчей топорнице, и бурильщики, включающие тяжеловесный ручной перфоратор, — знают, любят и ценят прелесть этих первых движений, рождающих ритм, силу, музыку работы.

В эту ночь работа была особенно трудной. Вентиляция действовала плохо, барахлил вентилятор, установленный для дополнительного проветривания на входящей струе, жара, соединённая с влажностью, расслабляла. А когда в соседнем забое запальщик подорвал бурки, маслянистый, едкий дымок заполз в квершлаг, лампы горели словно в голубоватом тумане, и работать стало ещё тяжелее, минутами духота казалась нестерпимой. Першило в горле, пот выступал на теле, хотелось присесть, отдышаться; мысль о далёком, свежем воздухе на поверхности была подобно миру путника, мечтающего о ключевой воде.

Первое время Новиков проходил в породе глубокую разведывательную скважину, бур шёл сравнительно легко, его не зажимало, и мерный скрежет станка успокаивал, казался сонным, недовольным, точно и металл разморили жара и духота.

Латков помогал Викентьеву прилаживать пихтовые стойки, подтаскивать обаполы для затяжки кровли.

— Что же ты мне даёшь незаделанную ножку? — спросил Викентьев и показал на незатёсанный, незакругленный нижний конец стойки — Ослеп, что ли?

— Это от жары, — объяснил Латков и убеждённо добавил? — Нет на свете хуже жары, мороз для русского человека лучше.

— Ох, не скажи, — проговорил Викентьев, — я вот эту зиму поработал на вскрышных работах в Богословском районе, мороз сорок градусов, туман такой густой — сметана мёрзлая, неделями стоит, а есть разрезы, ветер из Челябинской степи прихватывает, да, вот там уж поймёшь мороз. Ну их, открытые работы. Вот застудил в зиму лёгкое, слышишь, как кашляю! Нет, под землёй лучше.

А Котов и Девяткин, помогавшие Новикову, всё поглядывали, когда он перестанет наращивать штанги. Девяткин, не вытирая пота, крупными тёмными каплями выступавшего у него на висках и на лбу, сказал томным, прерывающимся голосом — Только смена

началась, а надо бы отдохнуть.

— Крути, крути, Гаврила, — сказал Котов, которому самому не легко было вращать ручку станка, и, улучив мгновение, обтёр рукавом лицо.

Новиков оглянулся на подручных и сказал:

— Боюсь штангу зажмёт, попотей уж. Ох, и мокрый ты, Девяткин.

— Слава богу, что идёт тихо, — сказал Котов.

— Зачем слава богу, когда тихо — скучно.

В минуты, когда Новиков, склонившись, сосредоточенно следил за ходом станка, ему представилось, что он работает на родине, в Донбассе: и свита пород здесь напоминала свиту Смоляниновского пласта, и влажный, душный воздух походил на воздух нижних продольных западного уклона Смоляниновской шахты. И на миг показалось — нет войны, он выедет из шахты и пойдёт к дому, где прожил многие годы жизни, по улицам, где знакомо всё с детства, и пойдёт с тем лёгким радостным покоем на сердце, покоем и лёгкостью, которые потерял 22 июня 1941 года. И он жадно вдыхал душный, жаркий воздух, и пот, выступавший у него на лбу, был ему приятен, как ласка далёкого Донбасса. Но это лёгкое чувство длилось недолго, да он и не хотел обманывать себя, не хотел обманных утешений.

Внезапный выброс воды, смешанной с кусками породы, одарил его по груди и по плечам с такой силой, что Новиков пошатнулся, у него перехватило дыхание. Подручные с напряжённым выражением глядели на него, и он, перехватив их взгляд, глубоко вздохнул, хрипло крикнул:

— Давайте, ребята, не останавливайтесь, зажмёт нам штангу!

Там, в тёмной глубине каменных пород, таился угольный пласт, острие Новиковского бура нащупывало дорогу к нему, и вот завязалось дело — кто одолеет, чья возьмёт!

Здесь во всей полноте ощущал он в себе ту силу, не обманную, а самую истинную силу, какая только была на земле, — силу рабочего человека. Он тратил её с великой щедростью, любовью и радостью, не жалея, не оглядываясь, и он чувствовал всей душой, что ни каменно-плотные слои породы, ни страшная тяжесть, сжимавшая в полостях и трещинах скопления гремучего газа, ни внезапные выделения, ни мощные суфляры не остановят людей, прорубавшихся к углю.

Вот тут и началось то, что каждый из работавших объяснял по-своему, в душе дивясь тому, что происходило. Тихий и деликатный Новиков, добродушно отшучивавшийся, когда Латков приставал к нему, редко, редко поднимавший голос, всегда деликатно становившийся в очередь и при подъёме из шахты, и в магазине, когда отоваривались карточки, чинно гулявший с дочкой по земляной улице посёлка, выполнявший в отсутствие жены бабью работу, — то чистивший картошку на пороге дома, то щупавший висевшее на верёвке бельё — просохло ли, внезапно преображался. Точно лицо его становилось другим, и точно светлые глаза темнели, а мягкие, спокойные движения сменялись напряжёнными, резкими, и даже голос сразу менялся, становился хриплым, быстрый, содержащий в себе тяжёлую, повелительную силу.

Латков насмешил всех, когда, разгорячённый работой, оговорившись, крикнул бригадиру:

— Эй, товарищ атаман, гляди присыпет!

Но и Нюра Лопатина, пришедшая в шахту из дальнего саратовского колхоза, катя вместе с Брагинской на штрек тяжёлую, полную породы вагонетку, оглянувшись на освещённого лампами, мокрого, забрызганного водой, облепленного чёрной грязью Новикова, неожиданно сказала:

— Как Емельян Пугачёв какой-то! Брагинская, отводя рукой прилипшие ко лбу волосы, ответила ей:

— Мне кажется, в нём какой-то языческий бог живёт. Я таких людей никогда не видела.

Потом уж, когда разведывательная, глубокая бурка была пробурена и шахтёры присели отдохнуть перед началом работы по проходке, Нюра Лопатина, смеясь, сказала:

— Дядя Котов, а наша Брагинская бригадира знаете как называет: языческий бог!

Все оглянулись на Новикова, приложившего в это время ухо к трещине в породе и слушавшего, не свистит ли газ.

— Языческий бог? — добродушно сказал Котов. — Чёрт в нем сидит собачий!

— Да уж, — согласился Девяткин, — с ним не покуришь. Хмурый, худой и покашливающий Викентьев, в первое время сердившийся, что он, коренной сибиряк, попал в бригаду к донбассовскому приезжему, проговорил:

— Надо уж прямо сказать, настоящий подземный, понимает шахту.

Новиков подошёл к сидевшим и сказал:

— Что ж, товарищи, забой проветрен, дренаж провели, давайте немного поработаем.

Удивительно! Казалось, каждый из работавших делал своё особое, отдельное от других дело.

Брагинская и Лопатица выносили из забоя отбитые глыбы угля, с грохотом наваливали их в вагонетки, медленно, преодолевая сопротивление неохотно вращающихся колёс, отгоняли гружёные вагонетки на штрек. Викентьев перебирал пихтовые стояки, поднесённые Латковым, то бил топором, то укорачивал пилой обапол, сшивал оклады Девяткин и Котов помогали Новикову, отбивали кайлами подорванную после паления шпуров породу.

Казалось, каждый из работавших был отъединён от других своими мыслями, не сходными с мыслями, надеждами, опасениями других... Викентьев думал о том, что жена с детьми живёт в Анджеро-Судженском рудоуправлении и долго нельзя будет ей перебраться к нему, нет семейной комнаты в общежитии; а вчера она прислала письмо, пишет, что ей невмоготу жить порознь. Викентьев думал, что пласты, на которых он работал в Кузбассе — Горелый, Мощный, Спорный, Садовый, — куда богаче тех, Смоляниновских да Прасковеевских, о которых рассказывал Новиков, и нечего Новикову всё вспоминать эти донбассовские маломощные да зольные пласты, подумаешь, чем решил удивить. А что ни говори — хорош бригадир? С ним не скучно, душа в работе есть. Викентьев думал о том, что старшего сына, пожалуй, осенью призовут, ведь ходит уж на занятия при военкомате, неужели ж не придётся повидать его — отпусков-то нет. «Эх, была бы Лиза здесь, она бы мне банки на ночь ставила».

А Латков думал о том, что зря он поссорился с Нюрой Лопатиной, наговорил ей вчера бог весть чего и что зря он не попросил прикрепительного талона в столовую номер один, ребята говорят, заведующий там не ворует. И зря он обменял на барахолке сапоги на кожанку, ребята смеются, говорят, обдурили его... Вот поработал с кадровым крепыльщиком Викентьевым и стал понимать, как соединять оклады при креплении в лапу, в паз, в шип, в стык... Вот захочу и выйду в лучшие стахановцы — на доску почета! И зря не записался на вечерние курсы машинистов врубовых машин. Эх, вот так бы, как Новиков, — даёшь, и ни в какую? И почему он, Латков, делает всё зря, да не так, сгоряча, не подумавши, а потом сам жалеет, а потом опять сделает не так...

«Ну и ладно, подумаешь, не нужна мне эта Нюра колхозная, ни эти сапоги, пойду в военный стол, скажу — Сдаю вам броню, отправляйте меня на оборону Сталинграда»

А Девяткин думал «Эх, попал неудачно под землю, надо бы на прессах работать, вот проберусь на попутной в посёлок военного завода, поговорю с людьми, наверное, нужна там моя специальность, а тут схожу в отдел найма и увольнения, попрошусь, человек я в конце концов одинокий, общежитие не так уж важно, устроюсь... да не отпустит, очень уж вредна эта баба — инструктор отдела кадров, бюрократка, а без неё, что ж. надо отцу в деревню рублей двести послать, ну и ладно, пошлю, разве я говорю, что не пошлю... Тут я не выдвинусь, а вот если на заводе, меня бы сразу отметили, стаж довоенный. На поверхности я, может, не хуже Новикова буду, начну давать детали — ахнет вся промышленность. Эх, если б не война, я женатым был бы... не захотела, в сестры пошла, разве она помнит про меня, кругом гвардия, ребята — будь уверен! Был и я до войны в кружке гитаристов... Ну, в общем ничего — война, всё же холостому легче... нет... развалилось моё счастье — забыла меня она, и гитары той нет...»

А Брагинская вспоминала в тысячный раз день своего прощания с мужем, харьковский вокзал... «да нет, не может быть — это ошибка, просто однофамилец. Нет уж, какая ошибка... Вдова я, вдова, нельзя привыкнуть к этому слову: вдова, вдова, вдова, и Казимир сирота. А он лежит там, один, под ракушкой, в земле. Кто бы мог подумать весной прошлого года, что всё так будет — его нет, а я где-то за тысячи вёрст, в забое под землёй, в брезентовой куртке.. Собирались летом в Анапу поехать, перед отъездом хотела завиться и маникюр сделать, Казик должен был поступить в школу для музыкально одарённых детей... А минутами всё забываешь — нет ничего важнее, кажется, этой лопаты и угля! И опять это утро на харьковском вокзале, душное, тёплое, солнце и дождь, лужи блестят, и эта последняя его улыбка, такая милая, растерянная, ободряющая, и десятки рук машут из окон:

«Прощайте, прощайте « Да было ли всё это? Две комнаты, тахта, телефон, на столе хлебница, много, много хлеба — белый, сеяный, сушки и опять белый, вчерашний, чёрствый, его никто есть не хотел... А теперь забутовка, разрез, забурилась вагонетка, обаполы, навалотбойщики, шпурсы, бурение... Как он говорит. «Пробуриremos?» — и улыбнётся как-то особенно».

А Котов, хмурясь, думал: «Эх, где ж ты, моя родина, город Карачев, Орловской области... как утром встаёшь, подует ветерок с лесной стороны, от Брянского леса, воздух такой богатый... мамаше восемьдесят второй год пошёл, осталась в деревне, фашисты проклятые там ходят, нет уж, не увижу.. Даша разве понимает — вчера, говорит, Викентьев в получку девятьсот рублей принёс, а ты четыреста восемьдесят шесть.. Что ж я, шахтёр? Дура ты, дура была, дура и есть. Вот скажу — сама поработай, в очередях стоять, язык чесать — это не работа по военному времени. Слава богу, здоровье есть, поработай на откатке. Жизнь со мной прожила, горя не знала... Ох, но и борщ же она варила в Карачеве? А то поедешь в Орёл — сел в кабину, шофёр Петя, выехали на шоссе, сады кругом, яблони, небо-то какое... нет лучше родной стороны!»

А Нюра Лопатина думала? «Ну пусть, ну и пусть, подумаешь... очень Латков этот мне нужен.. и маманя правильно говорила... верно, лучше наших деревенских парней нет, хамло он такое. Не пойму, чего стонут, что под землёй, что на земле... Девочки в общежитии хорошие, раз в неделю кино, радио, журналы... нет, лучше Саша моего нету и не было... а этот шумит, а сам, небось, к броне прижат... А Саша Сталинград защищает, крови не жалеет своей. А какой тихий, какой принципиальный, чтоб при девушке выразился... Латков, подумаешь, сразу видно из детского дома... А мне что, — отцу с матерью каждый месяц посылаю, на курсы пойду, выучусь на электромонтёра, сколько хочешь, вчера ходила тут одна девушка из комсомола, обещала записать... Вот только бы братик, да Саша, да дядя Иван, да дядя Пётр, да Нюрин Алеша домой пришли живые... Да где уж, всех не дождёмся, мама писала — Рукина Люба похоронную получила, Сергеева — на двоих сразу.. А тут, конечно, в глубоком тылу, вот такие Латковы, а сам шахты боится до сих пор, по глазам видно. А на язык он скорый — городской паренёк...»

Иногда труд казался очень уж тяжёлым, но случалось, что именно в эти минуты к рабочим, работавшим в забое, приходило чудесное, сильное чувство, которое просто, ясно переживается, а потом никак не поймёшь, в чём же оно есть? Удивительное чувство благородного единства, что связывает людей в рабочих артелях.

Каждый как будто работает свою отдельную, особую работу, а в душном воздухе точно зазвонит пчелой высокая струна, тревожная, радостная, одинаково волнующая и молодое и старое сердце. И вот уже все люди в забое связаны между собой этой прочной, звенящей связью: и труд, и движения их, и тяжёлая поступь откатчиц, и глухие удары кайла, и скрежет лопат, и шип пилы, и гулкий удар обухом топора по упрямой стойке, не желающей принять на себя тяжесть кровли, и мерное дыхание бурильщика — всё связывалось между собой в прочную, единую, неразрывную, живую силу, всё живёт одной жизнью, дышит одним дыханием, одной мыслью. Дивный ритм этого единства чётко, звонко звучит в каждом человеке, и уж не порвёшь этой связи, не нарушишь этого ритма, не разъединишь того, что связалось, скрутилось, сплелось.

А человек с добрыми голубыми глазами, широкоскулый и светловолосый, человек с большими тёмными руками, которые могут поднять многопудовую железную балку и приладить волосок в часах, не поворачивая головы в сторону работающих, ощущает своим нежным чувствительным нутром эти звенящие, поблёскивающие нити, что натянулись между ним и всеми, кто работает рядом, вместе, одну общую работу.

А потом, когда идут люди к ламповой, каждый кряхтит от усталости, думает о доме, о жене, о старухе матери, о дочери, о нелёгкой жизни и никак не поймёт, в чём оно есть это самое чувство своей разумной, доброй силы, которую только и поймёшь, когда она связалась, сплелась с общей силой; чувство своей свободы, которую отдал другим людям, связал с ними, я в связи этой и есть свобода; чувство подчинения напору суровой и тяжёлой власти бригадира Новикова и ясное ощущение того, что в этом подчинении вдруг взяло да раскрылось лучшее, что доступно человеку, — братство общего труда.

Ночью на шахтном дворе состоялся короткий митинг. Шахтёров ночной смены предупредили днём, чтобы они пришли в нарядную на двадцать минут раньше обычного. Клеть беспрерывно качала из-под земли людей, отработавших смену на подземном рудничном дворе секретарь парткома Моторин предупреждал о предстоящем собрании.

Когда кто-нибудь говорил: «Где ж тут собрание после работы, устал народ», — Моторин отвечал:

— Ничего, товарищи, осенняя ночь длинная, успеете отоспаться, веек кого надо во сне увидите.

Люди усмехались «Ладно уж», — с Моториным не хотелось спорить, его любили, говорили о нём: «Мужик хороший, из шахтёров, и вообще не дурак».

Ночь была тёмная, беззвёздная, ветреная, слышался шорох листвы на деревьях и ровный далёкий шум соснового леса. Несколько раз начинал накрапывать дождь, и в холодных мелких каплях, падавших на лица и руки людей, словно таилось напоминание об осеннем ненастье, распутице, о надвигающейся зиме с метелями, заносами. Свет прожектора над шахтным копром косым лучом освещал небо, и казалось, что не листва деревьев, не лес шумит, а шуршат по небу рваными боками тяжелые, шершавые облака.

На сколоченном из досок помосте стояли партийные и технические руководители, а вокруг негромко гудела толпа шахтёров, и черные лица выехавших из шахты сливались с чернотой ночи.

Там и здесь вспыхивали десятки огоньков-цыгарок, и с какой-то почти физической осязаемостью ощущалось, как выехавшие после смены шахтеры жадно вдыхали вместе с сырой ночной прохладой тёплый, горький махорочный дым.

Что-то было в этой картине особое, и при взгляде на неё человека охватывало волнение: холодная, осенняя ночь, тьма небес и тьма на земле, ниточные пунктиры электрических огней на соседнем руднике и железнодорожной станции, едва заметные розовые мерцающие пятна, шевелящиеся в облаках, отсветы разбросанных по широкому пятидесятивёрстному кругу заводов и рудников, влажное живое приглушённое гудение леса, в котором таились и угрюмое пыхтение столетних древесных стволов, и шёлковый шорох влажных сосновых игл, и скрип смоляных ветвей, и постукивание шишек, бьющихся на ветру друг о дружку...

В этой раме тьмы, гула, холодных капель дождя сияло огромное скопление света, какого не видело небо в самые свои звёздные ночи.

И должно быть, этот большой свет, эти тысячи шахтёрских ламп, горевших вокруг, говорили о тысячах глаз, умов, о тысячах рабочих рук, о людях, восставших на гитлеровскую тьму, нависшую над Советской страной...

Первым говорил секретарь партийной организации Моторин. Странное чувство испытывал он в эти минуты. Сколько раз приходилось ему выступать — на рабочих собраниях, на слётах стахановцев, на митингах, на коротких летучках, под землёй, на рудничном дворе! Так привычно стало ему произносить речи, делать доклады, выступать в прениях... С улыбкой вспоминал он своё первое выступление на областной конференции

комсомола: шахтёрский паренёк, взойдя на трибуну, растерялся, увидев сотни оживлённых, внимательных лиц, запнулся, услыша свой дрогнувший голосишко, отчаянно, растерянно махнул рукой и под добродушный смех и снисходительные аплодисменты вернулся на своё место, так и не договорив. Когда Моторин рассказывал об этом своим детям, то сам же с недоверием думал: «Неужели могла произойти такая оказия?» И вот сейчас он ощутил, как комок подкатывался к горлу, сердце бьёт неровно, мешает дыханию.

То ли нервы сдали — сказалось переутомление, бессонные ночи, а может быть, расстроил его разговор с военным, что прилетел на самолёте из-под Сталинграда и рассказывал в парткоме о тяжёлых боях на юго-востоке, о сожжённом Сталинграде, о немцах, вышедших в двух местах к Волге, кричащих прижатым к воде красноармейцам: «Эй, русь, буль, буль!» Расстроила ли его сводка Совинформбюро, прочтённая накануне собрания...

То ли оттого, что он по-особенному остро, по-особенному глубоко ощутил под этим мелким, холодным дождём в эту мрачную осеннюю ночь ту связь, что соединяла его с невидимыми во тьме рабочими, и на секунду показалось, что все эти тысячи огней жгут ему грудь, горят где-то в нём, заполнили его всего.

И когда он сказал слабым, дрогнувшим голосом:

— Товарищи... — ему показалось, что он не сможет больше произнести слова, что волнение, перехватившее дыхание, не даст ему говорить. Из глубины памяти неожиданно, непонятно почему, встал перед ним отец, заросший седой бородой, в синей рубашке, с воспалёнными жалобными глазами, босой, прощавшийся на прииске с товарищами по работе; он поднял руку и сказал.

— Дорогие рабочие и друзья... Моторин с той же, жившей в нём отцовской интонацией, по-сыновьи, покорно и старательно повторил:

— Дорогие рабочие и друзья... — помолчал и снова негромко произнес:

— Дорогие рабочие и друзья...

И затерявшийся в толпе, стоявшей вокруг помоста, проходчик Иван Новиков тихонько вздохнул и шагнул вперед, чтобы лучше слышать, чтобы лучше рассмотреть лицо начавшего говорить человека; ему показалось что-то очень давно знакомое в этом голосе, что-то коснувшееся самой далекой поры его.

И точно так же шагнули десятки шахтёров, стоявших рядом с Новиковым, чтобы лучше услышать; чем-то взбудоражил людей этот неясно слышимый под шум леса, сквозь шелест близкостоящих деревьев голос.

Шагнули Девяткин, Котов, шагнул Латков, и Брагинская, и Нюра Лопатина... «

А Моторин увидел, как враз колыхнулись сотни ламп, и оттого, что сгрудилась толпа вокруг помоста, ему показалось, свет стал ярче, горячей...

Та речь, что приготовил он, речь о сменной выработке, о необходимости повысить процент добычи и в полтора раза ускорить проходку в погонных метрах, исчезла, растворилась в тумане, и он, уж совсем не думая о том, что будет говорить, не зная, что скажет, произнёс:

— Вспомнил я, когда был еще совсем мелким мальчишкой... Отца моего хозяин прогнал с прииска, выкинули вещи из квартиры на улицу, а в этой квартире родились две мои сестры и я родился, и время было под осень, вот как сейчас. Пришли стражники, собрались рабочие... надо уходить, а куда, ведь родной дом, здесь жили, здесь работали, здесь деда с бабкой схоронили. Посмотрел я на отца, как он стал прощаться, услышал его слова, и вот уже голова седая, а не могу забыть, не могу, да разве возможно...

Моторин поглядел на горевшие кругом огни: это же всё люди стояли вокруг, а он словно сам с собой разговаривал. И удивлённым голосом спросил:

— Товарищи, вам ясно, к чему я это говорю...

И он уж не удивился, когда услышал ответ многих голосов?

— Ясно...

А он, как будто уверенно и как будто спокойно, а на самом деле это спокойствие и

уверенность и были проявлением волнения, владевшего им, продолжал свою речь, посветил аккумулятором, порылся в кармане, вытащил смятый листок бумаги и стал читать сводку Совинформбюро:

— На северо-западной окраине Сталинграда продолжались ожесточённые бои. Противник, стремясь любой ценой сломить сопротивление защитников города, непрерывно атакует наши части. Отдельным отрядам гитлеровцев ночью удалось проникнуть на некоторые улицы города. Завязались тяжёлые уличные бои, переходившие в рукопашные схватки...

Теперь он не спроси! у шахтёров, ясно ли им, почему говорил он об отце и вдруг стал читать про бои в Сталинграде. Тут уж всем нутром стало ясно это и ему и тем, кто слушал его.

И он говорил медленно, казавшимся негромким, но всем слышным голосом, и чувство, что испытывал он, произнося первые слова речи, не покидало его; говорил, словно сам слушал свою боль; говорил, словно с самим собой, и в то же время, казалось, говорил он не от себя, а только рассказывал то, что пришло к нему от людей, стоявших под темным осенним небом.

Новикову, стоявшему в толпе шахтёров и чувствовавшему тепло, идущее от большой, плотно сбившейся человеческой массы, представлялось, что он не только слушает, а и сам говорит, и ему даже странно было, почему необычно звучит его голос. Казалось, он, Новиков, и произносит давно выношенные им слова: нет той работы, которая оказалась бы не по плечу рабочему человеку в дни народной войны.

Люди, стоявшие рядом с ним: те, с которыми он вместе работал в забое, и те, которые жили с ним в одном бараке, и те, которых знал он лишь в лицо, все, каждый по своему, переживали это чувство, остроту его сознания, чувство, рожденное из самой жизни, из повседневных тяжестей и печалей её, — и потому-то такое прочное и сильное.

Высоко в тёмном осеннем небе, на быстрых облаках отражались едва заметные, дрожащие розовые тени — след дыхания заводов и рудников, лежащих окрест, напоминание о сотнях и тысячах и десятках тысяч заводов, фабрик, шахт, железнодорожных мастерских, лежавших от Великого океана до волжской воды, напоминание о тех миллионах рабочих, что так же, как и Новиков, и Брагинская, и Моторин, и Котов, думали о погибших, о пропавших без вести, о тяжёлой, нелёгкой, подчас голодной военной жизни, напоминание о тех миллионах людей, что так же, как и Новиков, и Брагинская, и Моторин, и Котов, и старик Андреев в горящем Сталинграде, знали, что их рабочая сила все переборет, всё преодолет.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

25 августа немцы стали наступать на Сталинград от Калача, с запада. К этому времени немецкие танки и пехота, прорвавшиеся на юге, у Абганерова, достигли Дубового оврага за озером Сарп.

На севере немецкие войска закрепились в посёлке Рынок, вблизи Тракторного завода. Таким образом, кольцо немецких войск вокруг Сталинграда сжималось с юга, запада и севера.

31 августа немцы начали новое наступление на Бассаргино-Варапоново. Части 62-й армии под ударами противника отошли на средний оборонительный обвод вокруг Сталинграда, но новые концентрические удары немцев по обескровленным дивизиям 62-й армии заставили их ко 2 сентября отойти на внутренний обвод, последний из оборонительных обводов.

Линия обороны прошла через хорошо известные всем сталинградским жителям пригородные посёлки: Рынок, Орловку, Гумрак, Песчанку.

Удары восьми немецких дивизий, наступавших суженным фронтом на город, поддерживались пробивной силой пятисот танков и активной мощью тысячи боевых

самолётов. Среди степи, на открытой местности, налёты немецкой авиации были особенно тяжелы для наших войск.

Немецкая артиллерия имела выгодные позиции: местность у города заметно понижалась с запада на восток, и немцы свободно просматривали не только передний край, но и тылы советской обороны, контролировали огнём своих батарей подходы и подъезды к советским боевым линиям.

Подступы к городу для немецких пехотных полков облегчались обилием балок, оврагов, русел высыхающих летом речушек, в том числе Мечетки и Царицы, тянувшихся из степи к Волге.

В эти дни в бой втянулись не только все дивизии 62-й армии, но и те резервы, которыми располагал командующий Сталинградским фронтом.

Большую тяжесть немецкого удара приняла на себя дивизия НКВД, её полки один за другим вступали в кровавые, изнурительные бои, сперва на северной окраине города, а затем на западном направлении.

Рядом сражались части ополчения — сталинградские рабочие и служащие, превратившиеся в пулемётчиков, танкистов, миномётчиков и артиллеристов

Но, несмотря на упорство оборонявшихся, несмотря на их презрение к смерти, немцы медленно и неуклонно подходили к городу; слишком велико было неравенство сил: трём немецким солдатам противостоял один русский, двум немецким пушкам одна русская.

? сентября Сталин передал по прямому проводу Маленкову и Василевскому.

«Сталинград могут взять сегодня или завтра, если северная группа войск не окажет немедленной помощи. Потребуйте от командующих войсками, стоящих к северу и северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по противнику и прийти на помощь сталинградцам. Недопустимо никакое промедление. Промедление теперь равносильно преступлению. Всю авиацию бросьте на помощь Сталинграду».

5 сентября началось большое наступление советских армий, расположенных северней и северо-западной Сталинграда и отделённых от защитников города коридором, прорубленным немцами от Дона к Волге.

Бои эти были жестоки и кровопролитны. Наступавшие по открытой местности советские войска несли большие потери, немецкая авиация с утра до ночи тёмной тучей висела над шедшими в бой советскими дивизиями, огневые позиции артиллерии и места сосредоточения танков подвергались жесточайшим бомбёжкам.

Казалось, наступление советских войск кончилось неудачей немецкий коридор не был прорван, бои за отдельные степные высоты не принесли решительного успеха, незначительное продвижение, купленное дорогой ценой, было постепенно ликвидировано контратаками немецких танков, поддержанных пикирующей авиацией. Однако немцы вынуждены были повернуть значительную часть своих сил на север, сняв их с главного для них Сталинградского направления. В отвлечении немцев от главной их цели был выигрыш советского командования.

Но был ещё один выигрыш, которого не понимали люди, участвовавшие в казавшемся им неудачном, кровопролитном наступлении, выигрыш времени. Эти бои помогли защитникам города продержаться до середины сентября

Время — всегдашний враг авантюристов, всегдашний друг истинной силы. Оно за тех, за кого история, оно против тех, у кого нет будущего. Время всегда разоблачает мнимую силу, всегда несёт победу силе истинной.

Но драгоценная сила времени проявляется лишь тогда, когда люди видят в нём не щедрый дар судьбы, а сурового и требовательного союзника.

Резервные дивизии Красной Армии, смешав день с ночью, стремясь выиграть каждый час, двигались к Сталинграду.

Среди дивизий, вступивших впервые в бой 5 сентября у деревни Окатовки, на высоком берегу Волги, северо-западнее Сталинграда была та, в которой служил лейтенант-артиллерист Анатолий Шапошников. Среди частей, форсированным маршем

шедших левым берегом Волги к осаждённому Сталин граду, находилась дивизия генерал майора Родимцева, в которой проходили службу командир стрелковой роты Ковалёв и красноармеец Вавилов. Родимцевской дивизии приказ Ставки определил первой вступить в осаждённый город и навек связать свою славу со славой Сталинграда.

Едва орудия были вытащены по каменистому, крутому откосу на холм, поросший виноградником, прибежал связной и передал приказ занять огневые позиции: в садах и виноградниках у расположенной на ближайших холмах деревни сосредоточились немцы.

Толю Шапошникова, пыльного, потного, разгорячённого — он только что помогал втаскивать орудия по крутой глинистой осыпи, — командир дивизиона послал наладить доставку боеприпасов на гору.

Грузовики со снарядами стояли у воды, подняться по откосу они не могли.

Толя стремительно сбежал по мшистому и травянистому холму, тёплый ветер засвистел в ушах, потом так же стремительно в красном облаке пыли Толя стал спускаться по обрыву к берегу.

У воды под крутым откосом лежала тень, и после ослепительного степного солнца, казалось, пришёл вечер. Волга там, где не было тени, сверкала живой упругой ртутью.

Расставив цепь красноармейцев, передававших снаряды вверх по откосу. Толя взобрался на грузовик и принялся помогать разгрузке «Пусть не думают, что я только командовать умею», — повторял он про себя, ворочая ящики со снарядами и подтягивая их к борту грузовика.

Ему казалось, что он сделал ошибку, кончив артиллерийскую школу: легче и проще было бы воевать рядовым красноармейцем. Большой, плечистый, с угрюмым лицом, он казался с виду парнем жёстким и грубым, но вскоре все — и начальники его, и красноармейцы — поняли его добрую, застенчивую и стыдливую натуру. Он был нерешителен и терялся, когда ему приходилось отдавать приказания. В таких случаях он путался в длинных «будьте добры, пожалуйста», начинал говорить невнятной скороговоркой и командир батареи Власюк сердито и сострадательно подбадривал его.

— Опять вы, Шапошников, забубнили, не можете завоевать авторитет. Забываете, что артиллерия — бог войны. Ты пойми, ты артиллерист!

Толя охотно оказывал своим товарищам и начальникам разные услуги подменял приятеля на дежурстве в штабе, переписывал отчет, ходил за письмами.

Склонные к юмору командиры-артиллеристы говорили:

— Эх, жалко Шапошникова нет, порадовал бы парня, он бы за тебя подежурил... Попроси Шапошникова, он сходит... — и, улыбаясь, добавляли:

— Шапошников любит дежурить... Шапошников обожает по припёку в штаб ходить

Но отношение к Толе было не только насмешливым и снисходительным. Его выдающиеся технические способности ценились сослуживцами, а особенно хорошо о них знали красноармейцы артиллеристы. С уверенностью и быстротой разбирал он все дефекты и неполадки, случавшиеся в работе. Шапошников умел просто и коротко объяснить самым непонятливым людям суть сложного и отвлечённого закона, умел быстро нарисовать чертёжик, который, освобождая от зубрёжки, разъяснял, почему надо при прицеливании по такой-то движущейся на таком-то расстоянии цели, да при таком-то ветре вести расчёты эдак, а не так.

Но всё же как было не посмеиваться над Шапошниковым — едва заходил разговор о девушках, он начинал кашлять, краснел. Сестры из медсанбата, считавшие артиллеристов командиров самыми культурными в дивизии, с усмешкой спрашивали лейтенантов из артдивизиона:

— Что ж это ваш товарищ такой гордый, «воображало», никогда не поговорит, а встретит на дороге — обойдёт сторонкой, спросишь его, он — «да», «нет» — и побежит?

Шапошников как-то сказал: командиру батареи Власюку:

— В штабе о вас спрашивала одна молодая особа противоположного пола.

С тех пор товарищи дали Шапошникову прозвище: «особа противоположного пола».

Красноармейцы называли его между собой: «лейтенант будьте добры».

В этот час всё вокруг было величественно и грозно. Огромная пустынная река блестела на солнце. Казалось, вечная тишина должна стоять над этой вечной рекой, а воздух был полон грохота, скрежета.

По узкой прибрежной полосе, под высоким обрывом, отпихивая глыбы рыхлого песчаника, ползли тягачи, волоча орудия и прицепы с боеприпасами. Пехота, подразделения с противотанковыми ружьями, пулемётчики, стиснутые между водой и высоким откосом, уходили оврагами от берега, поднимались вверх на холмы в степной простор, а следом шли всё новые и новые батальоны и роты.

Прекрасное небо, где от века стояла величавая синяя тишина, раскалывалось грохотом воздушных боёв, среди пушистых беленьких облачков выли моторы, печатали скорострельные пушки, рычали пулемёты. Иногда самолёты проносились низко над водой и вновь взмывали воздушные бои шли во всех этажах неба.

Из степи доносился рокот начинавшейся наземной битвы: то резервные полки Красной Армии с хода вступали в бой с частями северной группировки армии Паулюса.

Станным казалось людям, стоящим внизу, в тревожной тени, что именно там, в тёплой степи, где так безудержно и беспечно светит солнце, происходит кровавое сражение.

А люди с оружием всё поднимались от берега в степь. На всех лицах было то напряженное выражение волнения и решимости, странное соединение страха, испытываемого солдатом, вступающим в свой первый бой, и страха опоздать, отстать от своих, чувство, заставляющее идущих на передовую не замедлять шаг, а ускорять его.

Вот и подошёл Толя к главному дню своей жизни...

Час назад дивизион проходил по прибрежному грейдеру через посёлок Дубовку. Здесь впервые ощутил Толя фронт, услышал свист и грохот бомб, сброшенных налетевшими самолётами, увидел разбитые дома, улицы в осколках стёкол. Мимо него проехала телега, на которой лежала женщина в жёлтом платье, и кровь её быстрыми каплями падала на песок, пожилой мужчина без пиджака, громко плача, шёл, держась за борт телеги. За заборами колыхались, скрипели от ветра десятки колодезных журавлей, и казалось, — то мачты охваченных тревогой суденышек.

А утром он пил молоко в тихой деревушке Ольховке, где на широкой сырой площади, поросшей свежей, яркозелёной травой, паслись молодые гуси.

Ночью во время короткой остановки он, шурша сапогами по сухой полыни, отошёл на несколько десятков метров от дороги и лёг на спину, всматриваясь в звёздное небо, издали доносились голоса красноармейцев, а он всё смотрел в мерцающую звездную пыль.

Вчера днём было душное бензиновое тепло в кабине грузовика, горячее пыльное смотровое стекло, тарахтение мотора Год назад был в Казани крытый клеёнкой письменный столик, тетрадка дневника, раскрытая книга, мать клала тёплую ладонь ему на лоб и говорила: «Спать, спать».

Два года назад Надя, худая, в трусиках, взбежала босыми ногами по ступенькам дачной террасы, пронзительно крикнула: «Толька, болван, украл мой волейбольный мяч». А ещё раньше был детский авиаконструктор, чай с молоком и конфета перед сном, санки с твёрдым матерчатым сидением, обитым бахромой, ёлка на Новый год. Седая мать Виктора Павловича держала Толю на коленях и тихо пела: «В лесу родилась ёлочка», — и его тоненький голосок подтягивал: «В лесу она росла».

Теперь всё это сжалось в тесный, плотный, как орешек, крошечный комоч, да и было ли всё это?

Встала единственная реальность — идущий издали, всё нарастающий грохот битвы.

Он чувствовал, что смятение охватывает его. Это не был страх перед смертью или перед страданием. Это был страх перед главным жизненным испытанием выдержит ли он, справится ли? Страшно было по-разному — и по-серьёзному и по-ребячьи. Сумеет ли он командовать в бою? Вдруг сорвётся, задрожит голос, пискнет по-заячьи? Вдруг командир дивизиона крикнет: «Девчонка, маменькин сынок!» Вдруг он станет пригибаться, и

красноармейцы сострадательно начнут поглядывать на него? Пушки-то он хорошо знает — за это он не боится, вот если б себя знать.

Быстрые мысли о матери, о доме не вызывали в нём умиления и любви, наоборот, он сердился на мать. Разве она не знала, что жизнь подведёт его к этому боевому часу? Зачем она баловала его, охраняла от тяжёлой работы, дождя, мороза? Зачем были конфеты, печенья, новогодние ёлки? Надо было закаляться с первых дней жизни — ледяная вода, суровая грубая пища, работа на заводе, экскурсии в горы, мало ли что. Курить надо было научиться.

И он всё поглядывал наверх, откуда несло тяжёлое грохотанье и где ярко, бешено светило солнце. Где ему — робкому, теряющему от волнения голос, командовать сильными, побывавшими в боях людьми:

Толя постучал по крышке кабины и крикнул выглянувшему из оконца водителю.

— Товарищ водитель, отъезжайте в сторонку, сейчас вторую машину будем разгружать.

Он стал спускаться с грузовика, — в самом деле, ведь разгрузка и доставка снарядов важная, ответственная работа, — и увидел, как с откоса, прыжками, бежит сержант из штаба дивизиона. Он громко кричал красноармейцам, подтягивающим в гору снаряды:

— Где лейтенант?

Через минуту он стоял перед Шапошниковым:

— Товарищ лейтенант, командира батареи только что с самолёта пулеметной очередью ранило. Товарищ майор вам приказал принять командование батареей.

Толя взбирался по откосу, слушая задыхающуюся речь сержанта у соседей пехота уже пошла, есть раненые в дивизионе, настели истребители, бомб не бросали, но стреляли из пулемётов, в степи бело — столько немцы листовок с воздуха побросали, — а немецкая передовая — километра четыре отсюда.

Толя, слушая его, глядя, как клубится красная пыль под ногами, оглянувшись Волга была внизу.

Они поднимались по крутому, скользкому от мха и мелких камешков холму: сержант впереди, нажимая ладонями на надколенники, чтобы веселей шли ноги. Толя следом. Казавшийся жестоким солнечный свет коснулся его лица, ударил ослепительно по глазам.

Он так и не понял, когда, в какой миг и отчего стал он спокоен и уверен. Случилось ли это тогда, когда он подошел к орудиям, чьи мощные и беспощадные стволы, прикрытые прядями сухой травы и плетями винограда, были обращены в сторону занятых немцами высот, тогда ли, когда он увидел радость на лицах красноармейцев — вот командир, теперь всё будет хорошо, тогда ли, когда поглядел на степь, покрытую белой сыпью немецких листовок, и его поразила простая ясная мысль, что всё ненавистное ему, смертельно враждебное его родине, земле, матери, сестре, бабушке, их свободе, счастью, жизни находится рядом, видимо, осязаемо и что в его силах бороться с этой вражьей ордой, или же тогда, когда, получив боевую задачу, он с внезапным задором, быстро, почти весело задумал смелый план — выдвинуть далеко вперед орудия, занять огневые позиции на гребне откоса — «Я левый край всего фронта, упёрся в Волгу, я впереди всех, мой фланг прикрыт самой Волгой...»

Он так и не понял, как же случилось, что тяжёлая неуверенность с такой простотой сменилась радостным чувством, торжествующим вдохновением

Никогда он не ощущал себя таким сильным, нужным людям, как в этот жестокий и страшный день. Да он и не знал, что может с такой решительностью идти вперёд на риск, он не знал, что смелые, дерзкие решения радостно и весело принимать, что голос его может звучать так громко и уверенно.

Когда красноармейцы дружно выкатывали орудия на гребень волжского откоса, а лейтенант Шапошников указывал старшине, где устанавливать их, подъехал на «виллисе» подполковник из штаба дивизии. Он быстрыми шагами подошёл к Шапошникову и спросил:

— Кто приказал так далеко выдвигать орудия?

— Я приказал, — ответил: Шапошников.

— Вы что же, хотите к немцам в лапы попасть, прикрытия у вас нет.

— Нет, товарищ подполковник, я хочу, чтобы немцы в мои лапы попали, ответил: Толя.

И он коротко, в нескольких словах, показал, как удобно расположатся орудия на виноградном холме, прикрытые небольшой рощицей, защищённые с востока Волгой, с юга крутым обрывом, идущим к Волге, держа под огнем ту часть степи, по которой могут пойти немецкие танки.

— Вон за теми садами немцы сосредоточены, я господствую над ними, товарищ подполковник, прямой наводкой могу вести беглый огонь.

Подполковник, прищурившись, посмотрел на выбранные Шапошниковым огневые позиции, потом на овраг, тянущийся к Волге, потом на степь, где пыля, врассыпную шла советская пехота и беспорядочно вздувались облачка разрывов немецких мин.

— Толково, — сказал: он и, перейдя на «ты», спросил: — Что, лейтенант, с первого дня воюешь, видно?

— Нет, товарищ подполковник, мой первый день сегодня.

— Значит, родился артиллеристом, — сказал: подполковник — Связь с дивизионом не теряйте, где провод, не вижу?

— Я его велел по откосу провести, меньше шансов, что перешибут осколки.

— Толково, толково, — одобрил подполковник и пошёл к машине.

Вскоре позвонил по телефону командир дивизиона и при казал Шапошникову не открывать огня до распоряжения, предупредил, что справа могут появиться танки противника, их надо сдерживать любой ценой, так как, прорвавшись, они устремятся в тыл всем перешедшим в наступление хозяйствам.

Слушая ответы командира батареи, майор вдруг усомнился в том, действительно ли Шапошников с ним говорил, — очень уж бодро звучал голос растяпистого лейтенанта Не немец ли подключился?

— Шапошников, это вы на проводе?

— Я, товарищ майор.

— Вы кого замещаете?

~ Старшего лейтенанта Власюка, товарищ майор.

— А вас как звать?

— Толя, то есть Анатолий, товарищ майор.

— Так, так, я как-то голос не сразу узнал. У меня всё пока.

И, положив трубку, майор подумал, что лейтенант, видимо, хлебнул для храбрости.

Какой удивительный, какой бесконечно длинный и полный событиями был этот день! Казалось, об этом дне Толя мог бы рассказать больше, чем о всей своей прошедшей жизни.

Величаво прозвучал первый залп батареи над Волгой. Это не был обычный артиллерийский залп, и всё вокруг замерло прислушиваясь, русская степная земля, огромное небо и синяя река подхватили пушечные выстрелы, стали множить их многоголосым эхо. Степь, небо, Волга вложили, казалось, свою душу в это эхо — оно громыхало, торжественное, широкое, подобно грому, полное печали и угрюмого гнева, соединяя в себе несоединимое: бешенство страсти и величавое спокойствие.

Невольно артиллеристы притихли на миг, потрясённые и взволнованные, слушая рождённый их орудиями звук, — он грохотал в небе, то глухо гудел над Волгой, то перекатывал над степью.

— Батарея, огонь!

И снова Волга, степь, небо, теряя немоту, заговорили, зашумели, грозя, жалуясь, печальсь, торжествуя, и голос их сливался с той угрозой, печалью и торжеством, которые жгли сердца красноармейцев.

— Огонь:

И батарея рождала огонь. В бинокль было видно, как серый дым застилал виноградники и деревья, как суетились сероголубые фигурки и, словно потревоженные жуки

и мокрицы, расползались замаскированные в виноградниках и между молодыми тополями немецкие танки. Сверкнуло белое пламя, короткое, жёсткое, прямое, и сразу же чёрные потоки дыма, крутясь, сливаясь, поползли над занятыми немцами садами, поднялись в небо, вновь тяжело опустились к земле, заволокли степь, и видно было, как вырывалось пламя, распарывая своим белым лезвием плотную дымовую пелену.

Скуластый наводчик татарин оглянулся на Шапошникова и улыбнулся. Он ничего не сказал, но короткий, быстрый взгляд его выразил многое — и то, что он счастлив удаче, и то, что меткий огонь ведёт не он один, а всё товарищество артиллеристов, и что Шапошников хороший командир батареи, лучшего и не надо, и что нет на свете лучшей пушки, чем русская дивизионная.

Зазуммерил телефон, на этот раз уже Шапошников не узнал изменённый волнением, радостный голос командира дивизиона:

— Молодец, умница, ты ему поджжёг склад горючего... Только что звонил командир дивизии, велел благодарность передать. Пехота пошла, есть продвижение, смотри не накрой своих.

По фронту от Волги до Дона атаковали немцев стрелковые полки Красной Армии, поддержанные артиллерией, танками, авиацией.

Пыль стояла над степью. Дым разрывов смешивался с пылью. Смешались грохот артиллерии, гудение танков, протяжное «ура» бегущих на немецкие позиции красноармейцев, командирские свистки, пронзительный вой пикировщиков, треск автоматов, сухие разрывы мин.

Одновременно с наземным сражением всё шире разворачивались бои в воздухе. Бывали мгновения, когда земля замирала и тысячи глаз следили за стремительным бешенством воздушных схваток. Моторы истребителей ревели и выли, советские самолёты то взмывали вертикально в небо, то, подобные сверкающему ножу, устремлялись через всю ширь неба на шедших к полю битвы «юнкерсов», врывались в зловещую карусель пикировщиков.

Над Волгой завязывались мгновенные схватки «яков» и «лагов» с «мессершмиттами» и «фокке-вульфами». Быстрота этих схваток была так велика, что глаз не успевал отмечать столкновений, мгновенных ударов и манёвров, даже мысль не поспевала за бешеной скоростью сложнейших воздушных комбинаций, то возникающих, то разряжающихся напряжений. Скорость, быстроту, бешенство этих схваток, казалось, не могли породить сила моторов, лётные качества самолётов, мощь тяжёлых пулемётов и авиационных пушек — сердца советских юношей, лётчиков-истребителей, их страсть, их боевое вдохновение определяли немислимую скорость и смелость манёвра самолётов, где в кажущемся безрассудстве и безумии проявлялся высший разум боя. Самолёт, ещё мгновение назад казавшийся трепещущей светлой точкой, затерянной в воздушном море, вдруг превращался в мощную ревущую машину, и люди на земле видели голубоватые крылья с красными звёздами, цветное пламя пулемётных трасс и молодую голову лётчика в шлеме, а через мгновение машина, брошенная круто вверх, таяла в огромности воздушной толщи. Иногда радостный гул голосов проносился над степью, и пехотинцы, забывая об опасности, вскакивали, махали пилотками, радуясь победе советского лётчика, а случалось — протяжное, горестное «о-о-о-х» вырывалось у сотен людей, когда из охваченного пламенем истребителя выбрасывался советский лётчик и на вздувающийся хрупкий пузырёк его парашюта накидывались «мессершмитты».

Удивительный случай произошёл на батарее Шапошникова. Советский лётчик истребитель, потерявший ориентировку, принял батарею Шапошникова за немецкую; возможно, его смутило то, что пушки Шапошникова были выдвинуты значительно дальше на юг, чем остальные советские батареи. Пролетая над обрывом, самолёт пустил очередь по скрытым среди тополей и виноградных холмов орудиям. Три «мессершмитта», заметив советский истребитель, отогнали его и стали барражировать над откосом. Больше двадцати минут кружили они над батареей. Когда же в баках вышло горючее, немецкие лётчики, видимо, вызвали по радио себе смену, которая деловито и добросовестно кружила над

батареей, зорко следя, чтобы никто не нанес ущерба замаскированным среди деревьев орудиям. Сперва артиллеристы не поняли, для чего над ними кружат немецкие самолёты, и опасливо поглядывали — вот-вот немцы обрушат осколочные бомбы и начнут сечь землю орудийными залпами и пулёмётными очередями. Когда же лейтенант крикнул. «Товарищи, не демаскироваться, они нас за своих приняли, взяли под охрану», среди красноармейцев поднялся такой оглушительный хохот, что, казалось, немцы в воздухе услышат его.

Но и этот случай, который в другое время занял бы мысли на долгий срок и долго служил бы темой разговоров и смеха, вскоре был забыт и вытеснен напором новых боевых событий.

Успех стрельбы по немецким танкам и пехоте создал то настроение счастливого подъёма, которое на фронте часто с резкой внезапностью сменяет состояние тревоги и подавленности. Видимо, не только немецкие лётчики, но и наземные наблюдатели были обмануты тем, что батарея, находившаяся на гребне волжского откоса, выдвинулась так далеко вперёд. Её никто не засёк, по ней не вели огня. И эта долгая удача и лёгкий бескровный успех способствовали настроению уверенности, насмешки и презрения к противнику, охватившему всех людей на батарее. Как всегда в таких случаях, люди бессознательно расширяли свой частный успех на все окружающее, и им казалось, что по всему фронту наступления дела идут превосходно, немецкая оборона прорвана, что с часу на час придет приказ продвигаться вперёд, что через день два армии, начавшие наступление северо-западнее Сталинграда, соединятся с защитниками города и общими силами погонят немцев на запад. И как всегда в таких случаях, нашлись люди, якобы лично говорившие с лейтенантом либо раненым капитаном, пришедшим с того участка фронта, где немцы бегут без оглядки, бросая оружие, боеприпасы и «шнапс».

Вечером пришел час тишины Толя Шапошников присел у телеграфного столба, наспех поел хлеба и консервов. Губы стали шершавые, словно не свои, и казалось, слышно, как шуршит сухой хлеб, касаясь пересохшего рта. Чувство изнеможения от пережитого за день было приятно. В ушах шумело, и слегка туманилось в голове от выстрелов орудий. В памяти вспыхивали короткие слова команды, словно Толя продолжал выкрикивать их, щеки горели, и хотя он полулежал, спокойно прислонившись к телеграфному столбу, сердце билось быстро и сильно.

Он поглядел на песчаную полосу у воды: немислимо короткий срок отделял его от часа, когда, охваченный смятением, стоял он там, внизу, в кузове грузовика. Сейчас его не удивляло, что первый боевой день был так успешен: он получил благодарность от командира дивизии, он уверенно и легко разбирался в быстро менявшейся обстановке, голос его впервые в жизни звучал громко и уверенно, люди слушали его команду, ловили каждое его слово. Оказывается, он не верил в свою силу, потому что не понимал её и не подозревал её. Сейчас он не удивлялся своему успеху — как же могло быть иначе? Ведь его сила, способности, ум, воля — всё это было в нём, они постоянно существовали в его мозгу, душе, он ведь не нашёл их случайно, не воспользовался чужим, всё это было его собственным, всё это и было Толей, Анатолием Шапошниковым. Если уж удивляться, то тому, что вчера, и позавчера, и год назад, и сегодня утром он не знал этого.

Действительно, лейтенант Шапошников оставался самим собой. Если кому-нибудь кажется — знакомый человек внезапно изменился и преобразился, — то это неверно. Тот, кто по-настоящему знал и понимал человека, никогда не скажет, разведя руками: «Как внезапно изменился человек», а всегда скажет: «Внезапно изменились обстоятельства, и в человеке проявилось то, что и должно было проявиться».

И всё же это всегда удивительно!

Толя Шапошников лежал под телеграфным столбом и представлял себе, как он пойдёт с товарищами к девушкам в медсанбат и будет самым остроумным, самым весёлым рассказчиком, затмит всех...

Надю спросят в школе: «Это о твоём брате сегодня писали в газете?» Виктор Павлович придёт в институт, будет показывать газету сотрудникам...

А сестры в медсанбате скажут: «Вот вам и лейтенант Шапошников, а как танцует, а как остроумен...»

Если долго лежать под телеграфным столбом в степи, то слышишь музыку очень разнообразную и сложную музыку. Столб наливается ветром и поёт. Словно вскипающий самовар, он тихонько шкворчит, гудит, свистит, булькает. Столб аспидно-серый, продутый ветром, прожаренный солнцем, прокалённый морозом. Он, как скрипка, струны на нём — провода. И вот степь завела себе такую скрипку, играет на ней. Хорошо лежать, прислонившись затылком к столбу, и слушать скрипку, дышать, думать...

Вечером Волга окрасилась в великое богатство красок, она стала синей, розовой и вдруг покрылась лёгкой жемчужной пылью, заблестела серым шёлком. От воды шла вечерняя прохлада, покой, а степь дышала теплом.

Берегом, у воды, брели на север раненые в окровавленных бинтах, над шёлковой, розовой водой сидели полуголые люди, стирали портянки, зорко просматривали швы на белье, рядом ревели тягачи, скрежеща по прибрежным камням.

— Во-о-оздух: — протяжно кричит часовой, а воздух, ясный, тёплый, пахнет полынью
Как хорошо жить на свете!

Едва стемнело, немцы перешли в наступление Зловеще осветилась земля, и всё вокруг стало неузнаваемо и страшно. Самолёты развесили высоко в небе огни, покачиваясь, как огромные тяжёлые медузы, висели они, немые, внимательные, загасив тихий свет звезд и месяца, подробно освещая Волгу, степную траву, овраги, виноградники и молодые тополи над береговым обрывом.

Угрюмо загудели в небе мощные «хейнкели», затарахтели итальянские воздушные таратайки «макки»; заколебалась земля от бомбовых разрывов, дрогнул воздух от зловещего свиста тяжёлых снарядов. Вскоре поднялись сигнальные цветные ракеты, в их зеленом свете степь и Волга окрасились ядовитым анилином, стали похожи на мёртвый, раскрашенный макет из папье-маше, да и люди, их липа, руки вдруг стали картонными, неживыми. Станным казалось, что над землёй, превратившейся в генштабовский макет, где уж не было холмов и долин, живой реки, а лишь занумерованные высоты, пересеченная с запада на восток местность, идущая с севера на юг водная преграда, по-прежнему стоял нежный, горький и сладостный запах полыни.

Завыли моторы немецких танков, зашуршала в ковыле немецкая пехота.

Видимо, немцы сумели нащупать батарею Шапошникова, определили, что её огонь будет мешать их продвижению. Снаряды стали рваться один за другим на виноградных холмах, послышались стоны раненых, люди забегали, ища укрытий. А в это время пошли немецкие танки и голос лейтенанта вызывал людей из укрытий. Орудия открыли огонь Жестоко заплатила батарея за лёгкий дневной успех. К огню немецкой артиллерии вскоре присоединились миномёты. Они стреляли с холмов, расположенных по ту сторону оврага. Пулемётные очереди, как внезапный грозовой ливень, ударили по виноградникам. Свалился, срезанный снарядом, певучий телеграфный столб.

Толе Шапошникову казалось, что ночному бою не будет конца. Душная ночь рождала врагов. Протяжно свистели авиационные бомбы, и вся округа вздрагивала от взрывов, вновь и вновь подходили танки, стреляли из пушек, били из пулеметов, внезапные огневые налёты оглушали и ослепляли, поднимали тучи земли, листьев, мелких камней.

А через несколько минут вновь слышалось ноющее гудение бомбардировщиков...

Во рту пересохло, земля скрипела на зубах. Толе хотелось сплунуть, избавиться от противного ощущения, но слюны во рту не было. Голос его стал хриплым, и мгновениями он сомневался — неужели это он кричит так силно и басовито.

Яркий режущий свет в небе погасал, тьма становилась непроницаемо плотной, люди рядом угадывались по тяжёлому дыханию. Белым пятном на чёрном фоне мутнела церквушка в Заволжье. А через минуту сухой, мёртвый свет вновь разгорался над степью, и казалось, это от него першит в горле и пересыхает гортань.

Стрельба занимала все силы без остатка. Лишь одно чувство, одна смутная мечта жила

в душе — додержаться до утра, увидеть солнце. И Толя Шапошников увидел его.

Оно поднялось над заволжской степью, над нежнорозовым, пепельным и жемчужным волжским туманом.

Высокий, плечистый юноша, широко открывая запекшийся рот, прокричал слова команды, и рёв орудий, отбивших все ночные атаки немцев, приветствовал восход.

...Толе показалось, что земля в двух шагах от него ослепительно сверкнула, тяжёлый кулак толкнул его в грудь, и он споткнулся об стреляную гильзу и упал. Он слышал, как чей-то голос кричал:

— Давай, санитар, сюда, лейтенанта ранило.

Он видел склонённые над собой лица красноармейцев и не мог понять, почему они смотрят на него с выражением жалости и заботы, — вероятно, они ошиблись, ранило не его, а какого то другого лейтенанта, а он сейчас поднимется на ноги, отряхнёт с себя пыль, спустится к Волге, умоется чудной, холодной и мягкой речной водой и вновь примет команду над батареей.

Возле шлагбаума контрольно-пропускного пункта на перекрёстке степных дорог ожидали попутных машин несколько командиров и красноармейцев.

Каждый раз, когда вдали показывалась машина, все ожидающие, подхватив свои мешки, подходили к регулировщику, и он недовольным голосом говорил:

— Ну чего же вы снова в кучу сбиваетесь, ведь сказано было — всех посажу. Отойдите в сторону, нельзя работать.

Майор средних лет, в многократно стиранной, но опрятной гимнастёрке, усмехался словам регулировщика с видом человека, много уже испытывшего в жизни и давно знающего, что учить вежливости кладовщиков продовольственных складов, иных генеральских адъютантов, писарей АХО и регулировщиков, сажающих в машины, — дело безнадёжное.

На перекрёстке был вбит большой столб со стрелками-указателями: «Саратов», «Камышин», «Сталинград», «Балашов».

Дороги казались одинаковыми, куда б ни был повернут указатель, — на восток, на запад, на север, на юг.

Жёлтая пыль лежала на сухой, серой траве, коршуны сидели на телеграфных столбах, когтистыми лапами охватив белые изоляторы. Но люди, стоявшие у шлагбаума, знали различие дорог — той, что бежала на восток и на север, и той, что вела на юго-запад и к Сталинграду.

У шлагбаума остановился грузовик, в кузове его сидели раненые, обвязанные потемневшими от пыли бинтами с проступающими чёрными пятнами высохшей крови.

Регулировщик сказал: майору:

— Садитесь, товарищ майор.

Майор закинул в кузов мешок, стал ногой на колесо и полез через борт. Когда грузовик тронулся, майор махнул рукой оставшимся случайным спутникам своим — капитану и двум старшим лейтенантам, с которыми недавно лежал на траве, ел хлеб и рыбные консервы и которым показывал фотографии жены, дочери и сына.

Он оглядел новых спутников — серых от пыли, бледных от потери крови красноармейцев и, позёывая, опросил одного с рукой на перевязи

— Под Котлубанью?

— Точно, — ответил: раненый, — вели нас по передовой, ну он и обрадовался, давай молотить.

— А нас по-над Волгой, — сказал: второй раненый, — народу покалечило! Ребята говорили — ночью бы надо подойти, а так по степу ему ж все видно. Думали — конец, никто не поднимется.

— Минами немец бил?

— Ну а чем же? Ясно. У него миномет отвратительный

— Что ж, теперь отдыхать будете, — сказал: майор.

— Да нам что, — сказал: раненый и, указав на лежащего на соломе человека, добавил — Вот лейтенант отвоевался.

— Надо бы его удобнее положить, — сказал: майор — Санитар!

Лежащий посмотрел прямо в глаза майору долгим взглядом, страдальчески поморщился и снова закрыл глаза.

Он лежал со строгим лицом, с запавшими щеками, с плотно сошедшимися, слипшимися губами. Лицо его показывало, что он не хочет смотреть на свет, что ему не о чем говорить, что ему нечего просить. Ему уж не было дела до пыльной огромной степи и до сусликов, перебегающих дорогу, его не интересовало, скоро ли привезут его в город Камышин, покормят ли горячим, можно ли отправить из госпиталя письмецо, наш или немецкий самолёт гудит в воздухе?

Он лежал и угрюмо следил, как остывало внутри него тепло жизни единственной драгоценности, принадлежавшей ему и утерянной им навеки веков.

О таких людях, хотя они ещё дышат и стонут, санитары говорят:

— Этот уже готов.

Ночью немцы налетали на Камышин, и раненые с беспокойством оглядывали дома с вышибленными оконными рамами, жителей, смотревших все время вверх, блестящую стеклом мостовую, ямы, вырытые упавшими с неба тридцатипудовыми бомбами, которые немцы нацеливали с верстовой высоты на маленькие домики под зелёными и серыми крышами.

Раненые волновались и говорили, что хорошо бы сразу, не останавливаясь здесь, сесть на пароход и поехать в Саратов. Они бережно подносили свои обвязанные руки и ноги к борту, точно это были дорогие, очень ценные, не им принадлежащие предметы, и спускались вниз, крихтя и охая, доверчиво глядя на подходившего военного врача в куцем белом халатике с короткими рукавами и в кирзовых сапогах.

Майор, слезая с грузовика, оглядел тяжело раненого. Тот лежал с железным тёмным лицом и снова посмотрел глубоким взглядом прямо в глаза майору.

Майор махнул рукой своим случайным спутникам и пошёл по центральной улице.

«Почему-то умирающие всегда в глаза смотрят», — подумал он.

Он шёл не торопясь, оглядывая дома, скверики охваченного военной тревогой городка, и вспоминал, что жена его училась тут в гимназии. И ему стало грустно от мысли, что по этим улочкам когда-то худенькой девочкой с длинной тонкой косой, обмотанной вокруг головы, ходила его Тома и что за ней ухаживали тут гимназисты и, наверно, назначали ей свидания в этом садике над Волгой, где теперь толпились беженцы, щетинились в небо зенитные пулемёты, а раненые в серых халатах с возбуждёнными, озорными лицами меняли хлеб и сахар на водку и самосад.

Потом он вспомнил, что ему следует получить по продовольственному аттестату продукты, и спросил регулировщика, где находится продпункт.

— Не знаю, товарищ майор, — ответил: регулировщик и махнул флажком.

— Так-с, — сказал: майор, — а где расположен комендант?

— Не знаю, товарищ майор, — ответил: регулировщик и, чтобы обезопасить себя от сердитого замечания, добавил; — Мы тут недавно, ночью только пришли.

Майор пошёл дальше. Его опытный армейский глаз определил, что, очевидно, несколько часов назад в город пришёл корпусной или армейский штаб.

Возле домика с колоннами стоял автоматчик, а у калитки несколько командиров, ожидавших пропусков, оглядывались на плавно идущую официантку, подпиравшую своей высокой грудью поднос, прикрытый белой салфеткой.

Щёки официантки были румяны и круглы, икры её сильных больших ног белы, глаза чёрные, дерзкие, весёлые.

— Да-а а, — протяжно сказал: майор. И все командиры в зелёных пилотках и пыльных сапогах, обвешанные планшетами и полевыми сумками, услышав это многозначительное «да-а-а», улыгнулись.

Майор шёл по улице. Из-за фруктовых деревьев в саду видна была мачта радиостанции, слышался чёткий стук движка, связисты, оглядываясь, тянули провода. Возле облупившегося малинового здания с наполовину выбитыми пыльными стёклами я с вывеской над входом «кино Коминтерн» стояли тяжеловесные машины-фургоны и капитан в роговых очках, размахивая руками, кричал на шофёров.

Майор сразу понял, что это типографская техника армейской газеты. Больше того, он по многим признакам определил, что армия эта пришла из резерва, никогда в боях не была. Он понял это и по нервозной суетливости людей, и по их новому обмундированию, и по тому, что штабные командиры лихо носили на плече совершенно не нужные им здесь автоматы с тяжёлыми патронными дисками, и по тому, как были тщательно камуфлированы грузовики, и по тому, как шофёры, часовые, командиры, связисты всё время посматривали на синее августовское небо.

Майор, вначале оробевший от близости большого начальства, почувствовал себя весело.

Он со снисходительным спокойствием и с чувством превосходства оглядывал пришедших из тыла.

Майор воевал летом 1941 года в лесах Западной Белоруссии и Украины, прошёл через испытания первых дней войны и знал всё и видел всё. Все рассказы о войне майор, человек молчаливый и скромный, выслушивал с тихой сдержанной улыбкой, теша себя мыслью — «Эх, братцы, о том, что я знаю, не расскажешь и не напишешь».

И только встретив такого же, как он сам, всё испытавшего и через всё прошедшего тихого и застенчивого майора и сразу узнав его по тысяче ему одному известных примет, затевал с ним сердечный разговор.

Майор вышел на обрыв над Волгой и сел на зелёную скамейку. Он считал, что торопиться в военном деле не следует, война ведь не на месяц и не на два. Он никогда не забывал пообедать, любил посидеть на солнышке с трубочкой, предаваясь воспоминаниям и тихой грусти; в дороге пропускал чрезмерно перегруженные составы и, становясь на ночёвку, отыскивал квартиру с приветливой хозяйкой, у которой кстати была бы корова. Козьего молока майор с детства не любил.

День стоял жаркий и безветренный. Волга была видна на многие вёрсты, сияла под ясным полновесным солнцем. Было очень жарко, и даже от скамейки, от крыш домов, от тёмных бревенчатых стен, от булыжника мостовой, от пыли, лежавшей на выгоревшей траве, шёл запах, словно старое мёртвое дерево, камень, жёсть, сухой прах земли потели, как живые. Левый берег, поросший ивами и камышом, был хорошо виден — светлый, должно быть, необычайно горячий песок украшал его, и малюсенькие военные люди тяжело брели от переправы по этому песку. Тут бы голышом полежать и — в воду: поплавать полчаса, а потом залечь в тени и пить пиво из бутылок, опущенных на верёвочках на дно холодного» ключика.

А даль казалась чуть туманной, словно в голубоватый воздух осторожно капнули молока. Волга текла неторопливая, большая к Луговой Пролейке, к Дубовке, Сталинграду, к Райгороду, к Астрахани. Казалось, ей грустно и она утомлена пышностью этого горячего августовского дня. Волга ведь знала, что торопиться ей некуда.

Майор оглянулся, нет ли поблизости высшего начальства и тихонько расстегнул три пуговицы на своей гимнастёрке.

«Дынь и арбузов тут много, — подумал он, — сходить бы на базар, да неловко менять на сахар. На деньги ведь колхозники не любят продавать. Эх, Томочки тут нет, она бы это дело устроила».

Он с печалью подумал о семье, пропавшей без вести в пограничном городке, вынул из кармана карточку и долго смотрел на неё.

Мимо проходил босой мальчишка с сиреневой латой на брезентовых штанах.

— Эй, мальчик, подойди-ка сюда, — позвал его майор. Мальчик, как всякий тринадцатилетний человек, у которого на душе всегда есть несколько грехов, остановился и

недоверчиво смотрел на майора.

— Ну, чего? — спросил он

— Как бы купить арбуз, а? — приветливо сказал: майор.

— На табак, — ответил: мальчик и подошёл к майору — Полпачки.

— Ну что ж, давай. Ты притащи его сюда, только смотри, чтобы косточки чёрные, у меня табак знаешь какой!

— «Боомское ущелье», верно. Я сейчас, товарищ майор Мальчик пошёл по тропинке, а майор вынул кисет, аккуратно нарезанную папиросную бумагу, исписанную фиолетовыми цифрами, свернул толстую папиросу, продул прозрачный мундштучок, сделанный из авиационного стекла, поглядел на свет в дырочку и закурил.

«Ох, ох, ох, камушек на исходе», — озабоченно подумал он, пряча в карман зажигалку.

В это время проходивший по дорожке румяный и полнолицый техник-интендант 2-го ранга вдруг остановился и посмотрел на майора. Он сделал шаг вперёд, но снова оглянулся.

— Извините, товарищ майор, ваша фамилия не Берёзкин? — и тут же, вскрикнув: — Иван Леонтьевич, ясно! — подбежал к майору.

— Постой, постой, — произнёс майор, — ну точно — Аристов, сколько же это я тебя не видел? Ты ведь V меня начальником хозчасти был.

— Точно, Иван Леонтьевич, одиннадцатого февраля сорок первого года был откомандирован в распоряжение Белорусского военного округа.

— А теперь где воюешь?

— Я, товарищ Берёзкин, теперь начальник продотдела армейского, всё время в резерве были.

— О, брат ты мой, начальник продотдела, — сказал: майор и внимательно посмотрел на Аристова. — Садись, чего ж стоять, закуривай.

— Ну, что вы, зачем крутить — пожалуйста папиросу, — и Аристов, смеясь, спросил: — А помните, как гоняли меня в Бобруйске, когда не заприходовал сено, что в колхозе взял?

— Ну как же, — сказал: майор, — помню.

— Вот было время, вот была жизнь, — сказал: Аристов. Майор посмотрел на его щёки и подумал, что Аристову и теперь неплохо живется. Он был одет в габардиновый костюм, на голове была щегольская защитная фуражка, на ногах отменные сапожки.

И все предметы, принадлежащие ему, были хороши: зажигалочка с сиреневой аметистовой кнопкой, ножичек в замшевом чулочке — Аристов вынул его из кармана и, поиграв им, снова спрятал, — хорош был и планшетик необычайно добротной красной кожи, висевший на боку.

— Пойдемте ко мне, — сказал: Аристов, — у меня квартира тут рядом, прямо два шага.

— Мне надо мальчишку подождать, — сказал: Берёзкин, — я его снарядил арбузик принести, на полпачки табаку выменять.

— Что вы, ей богу, — с возмущением сказал: Аристов, — нужен вам мальчишка этот.

— Ну, неловко же, условились, лучше минуточку подожду, — сказал: майор.

— Да пойдёмте, съест он этот арбуз за ваше здоровье. И Аристов подхватил зелёный майорский мешок.

Майору за его долгую военную жизнь приходилось не раз обижаться на АХО и военторги.

— Ох, Иванторг, — любил говорить он и покачивать головой.

Но надо сказать, шёл он сейчас за Аристовым не без удовольствия.

По дороге он рассказывал свою историю. Воевать он начал на границе в пять часов утра 22 июня 1941 года. Он успел вывести свои пушки и даже прихватить две оставленные соседом батареи стопятидесятидвухмиллиметровых орудий и несколько грузовиков с горючим. Шёл он через болота и леса, дрался на сотнях высоток, на десятках больших и малых речек, под Брестом, Кобрином, под Бахмачом, Шосткой, Кролевцом, под Глуховом и хутором Михайловским, под Кромами и Орлом, под Белёвом и под Чернью. Зимой воевал он на Донце, наступал на Савинцы и на Залиман, прорывался на Чепель, наступал на Лозовую.

Потом его ранило осколком, потом его лечили, потом снова ранило, но уж не осколком, а пулей, теперь он нагоняет свою дивизию.

— Така работа, — сказал: он и усмехнулся.

— Иван Леонтьевич, — спросил Аристов, — как же это вы столько воевали и ничего такого, — и он указал на грудь выцветшей, словно поседевшей гимнастёрки Берёзкина.

— Э-э-э, — протяжно сказал: майор, — четыре раза представляли, а пока представят, заполнят наградные листы, меня в другую армию переведут. Я вот никак подполковника не получу, тоже, пока надумают аттестовать, — меня на новое место переводят. Известная вещь мотострелковая часть — цыганам по фронту. Нынче здесь, а завтра там. Така работа — Он снова усмехнулся и притворно-равнодушно сказал: Мои все приятели, которые училище со мной в двадцать восьмом кончили, теперь дивизиями командуют, дважды, трижды орденосцы, а один, Гогин Митька, тот уже генерал, в Генштабе, что ли, к нему теперь: «Ваше приказание, товарищ генерал, выполнено, разрешите итти!» Лапу к уху, повернулся и пошёл. Солдатское дело, така работа.

Они вошли в чистенький дворик, и красноармеец с заспанным лицом, торопливо оправляя смявшуюся гимнастёрку и отряхивая солому, прилипшую к брюкам, лихо приветствовал их

— Спишь? — сердито сказал: Аристов. — На стол накрывай.

— Есть! — крикнул красноармеец и, взяв из рук Аристова мешок, пошёл в дом.

— Вот, чёрт, первый раз вижу толстого бойца, — сказал: майор

— Жук он, — сказал: Аристов с уважением, — в АХО писарем был, требования выписывал, но оказавшись повар мировой. Переводить будем в столовую Военного Совета, испытываю его теперь.

В проходной полутёмной комнатке с дощатыми стенами, выкрашенными по волжскому обычаю голубой масляной краской, их встретила хозяйка — приземистая, плечистая старуха с седеющими усиками.

Она хотела поклониться гостю, но так как была очень мала ростом и очень широка, поклониться ей не удалось, и её словно шатнуло вперёд.

Здороваясь с хозяйкой, майор вежливо козырнул и оглядел покрытый вышитой скатертью стол, кусты китайской розы, двуспальную кровать, закрытую опрятным белым одеялом.

Он вынул из полевой сумки мыльницу, полотенце и попросил хозяйку слить ему воды на руки.

— Как же ваше имя и отчество, мамаша: — спросил Берёзкин, сняв с себя гимнастёрку и намыливая крепкую, красную шею и лысеющую бритую голову.

— Вот до сих пор звали Антониной Васильевной, — протяжно, певуче ответила старуха.

— И дальше так будут звать, Антонина Васильевна, поверьте уж мне, сказал: майор. — Лейте, лейте, не бойтесь.

Он зафыркал, зафукал, заохал, закряхтел, нежась от удовольствия, подставляя голову под холодную струю воды, хлопая себя ладонями то по щекам, то по затылку.

Потом он прошёл в комнату и сел в кресло, полуприкрыв глаза, молчал, охваченный внезапным чувством покоя и уюта, которое с особой силой приходит к военным, вдруг попавшим из пыла, ветра, шума, вечной полевой жизни в мирный палу мрак человеческого жилья.

Аристов тоже молчал. Вместе наблюдали они, как накрывал на стол толстый боец.

Старуха принесла большую тарелку крепеньких коралловых помидоров.

— Ешьте на здоровье. А скажите, товарищи начальники, когда оно, горе, кончится?

— Вот разобьем немца, тогда и кончится, — зевая, оказал Аристов.

— Тут у нас старичок есть один, — сказала Антонина Васильевна, — по книге гадает он, потом петухи у него — один чёрный, другой белый, они у него дерутся, и по тому, как Волга весной разливалась, по всему, словом, говорит этот старичок, выпадает, что двадцать

восьмого ноября войне конец.

— Вряд ли он знает, — сказал: боец, ставя на стол бутылку водки.

Майор, с детской улыбкой глядя на водку и тарелки с закусками — были тут грибы маринованные, и холодная баранина, и студень, — сказал:

— Вы, Антонина Васильевна, этим старичкам шарлатанам не верьте. Они больше всего курами да яичками интересуются.

— Мне вот шестьдесят четвёртый год пошёл, — проговорила Антонина Васильевна. — Отец мой восемьдесят четыре года жил, а отца отец — девяносто три, и все мы коренные волжские люди, но не помним, чтобы немца или француза пускали до волжской воды. А вот этим летом пустили его, дурачки, до коренной земли. Говорят — техника какая-то у него, самолёты очень тяжёлые против наших; будто у него ещё порошок такой есть, насыпет в воду — и в машины заливает, заместо бензина. Не знаю я. Вот только утром на базаре из Ольховки старуха одна приезжала, муку меняла и говорила, будто у них в избе пленного немецкого генерала держали, так он прямо всем говорит «У меня такой приказ от Гитлера, возьмём Сталинград — вся Россия наша будет, а не возьмём — обратно к своей границе вертаться станем». А вы как считаете? Сдадим Сталинград или удержим?

— Нет, будь уверена, Сталинграда не сдадим, — сказал: Аристов.

— Дело военное, — сказал: майор, — тут трудно наперёд гадать. Постаремся, конечно, Антонина Васильевна Аристов хлопнул рукой по лбу:

— Да у меня ведь завтра идёт в Сталинград машина. С ней едет подполковник Даренский из штаба фронта, он в кабину сядет, а сзади только два человека мой кладовщик и лейтенант, мальчик, из школы едет — просили его подбросить. Вы у меня заночуете, а утром они прямо заедут за вами.

— Вот чудесно, — сказал: майор, — вот чудесно, это я знаю — к фронту всегда раньше срока попадёшь.

Они сидели несколько минут молча — состояние, хорошо знакомое всем, готовящимся выпить: говорить уже хочется о вещах в некотором роде сокровенных, до выпивки разговор этот не клеится, и потому собутыльники благоразумно ждут первой рюмки, когда можно будет приступить к настоящей беседе.

— Готово, товарищ начальник, — сказал: боец Майор подсел к столу, оглядел его и с весельем произнёс.

— Ох, и молодец вы, товарищ лейтенант! Он хотел польстить Аристову, и его звание техника интенданта перевёл на строевое. Майор Берёзкин знал политичное обращение, неписанные армейские законы. Если подполковник командует дивизией, то политичные подчинённые никогда не обращаются к нему, «товарищ подполковник», а всегда: «товарищ командир дивизии»; если капитан командует полком, то к нему обращаются: «товарищ командир полка». Ну, конечно, обратно, если человек с четырьмя шпалами командует полком, то все обращаются «товарищ полковник» и уж никогда не скажут: «товарищ командир полка», чтобы не подчеркнуть досадного несоответствия между званием и должностью.

Майор посмотрел на Аристова и сказал:

— Слушай, ты мою жену и ребят помнишь?

— Ну конечно, в Бобруйске вы ведь на первом этаже жили в доме начальствующего состава, а я во флигельке — каждый день их видел. Супруга ваша с кошёлкой синей ходила на базар

— Точно, с синей. Это я ей во Львове купил, — сказал: майор и сокрушённо покачал головой.

Ему хотелось рассказать Аристову о своей жене, о том, как они купили за день до войны зеркальный шкаф, как жена хорошо готовила украинский борщ и какая она была образованная — брала много книг в библиотеке и знала по-английски и по-французски. Ему хотелось рассказать, каким хулиганом и драчуном был старший. Славка, и как он пришёл и сказал: «Папа, выпори меня, я кошку укусил!»

Но хозяин, перебив Берёзкина, заговорил сам.

К таким людям, каким был его бывший начальник, Аристов относился со сложным чувством снисходительного, насмешливого недоумения перед святой деревенской простотой и жизненной неумелостью их, а с другой стороны, — со страхом и уважением. «Эх, брат ты мой, — думал он, оглядывая выцветшую гимнастёрку и кирзовые сапоги майора, — эх, брат ты мой, отвоевал бы я хоть ноль целых две десятых того, что ты, я бы здесь не сидел. Я бы... Уох! Я бы...»

И он, угощая майора, сам завладел разговором:

— Командующий курит трубку, — есть, товарищ генерал, «Золотое руно»! Дня не сидел без руна: Начальник штаба болеет язвой, состоит на диете. Есть, товарищ начальник, диета, — удивляется даже. В степи ни колхозов, ни совхозов — получает полную молочную диету: «Где ты берёшь сметану, опасный человек?» спрашивает. Вызвал меня специально, интересовался. В чём же главная суть? Будем ждать по нарядам, пока доставят, ничего не дождёшься. А тут нужна инициатива, размах большой, смелость. Вот завтра гоню машину в Сталинград ясно, винный завод, после пожара, эвакуация, всего не вывезешь. А ждать, пока привезут, — ничего никогда не дождёшься. А если тебе что-нибудь нужно, пожалуйста, я такой человек — бери, оформлю, не пожалею, машины дам, на риск пойду. Но уж если мне нужно, давай, как первый друг даёт. И меня знают люди и говорят: «Аристана слово крепче всех нарядов и накладных». — Он посмотрел на собеседника и спросил: — Может, пива, товарищ майор?

— Ты, я вижу, себя в общем не ущемляешь, — сказал: майор, показывая на стол

— Я себе ничего не позволяю, — ответил: Аристов. И он поглядел своими ясными голубыми глазами прямо в глаза Берёзкину. — Ни в какой мере! Для себя нет! Я ведь живу у всех на виду: тут и комиссар штаба, я от него не хоронюсь!

Майор выпил и покачал головой.

— Хороша!

Он начал было ощупывать помидоры, выискивая достаточно зрелый, но не вошедший в мягкость, и смутился, с печалью вспомнив про жену — она всегда была недовольна, если он щупал помидоры или огурцы, лежавшие на общем блюде.

В это время зазуммерил полевой телефон, установленный на комодке Аристов взял трубку:

— Техник-интендант второго ранга Аристов слушает.

Очевидно, говорило высокое начальство, так как во время разговора Аристов стоял прямо, с напряжённым лицом, и левой рукой поправлял гимнастёрку, счищал крошки еды. С его стороны весь разговор заключался в том, что он четыре раза произнёс: «Есть, есть, есть... понятно, есть...» Он положил трубку и сразу кинулся к фуражке.

— Извините, вы тут ешьте, ложитесь отдыхать, если хотите, меня вызывают по срочному делу...

— Ладно, пожалуйста, — сказал: майор, — только насчёт машины давай не забудем.

— Сделаем, сделаем, — и Аристов кинулся к двери.

Майор находился на том градусе, когда человеку совершенно немыслимо оставаться без собеседника. Он подошёл к двери в маленькую комнатку, где сидела хозяйка, и позвал.

— Мамаша, а мамаша, пойдите-ка сюда. Старуха вышла к нему.

— Садитесь, Антонина Васильевна, — пригласил майор, — может быть, рюмочку выпьете со мной за компанию?

— Можно, — ответила старуха, — с удовольствием. Это раньше, знаете, считалось бог весть что. Тоска-то какая!

Она выпила рюмку, закусила помидором.

— Ну, как он вас тут, бомбит? — начал разговор Берёзкин так же, как тысячи майоров, лейтенантов, бойцов начинали разговор со старыми и молодыми женщинами в фронтовых деревнях и городах.

Она ответила ему так же, как отвечали тысячи старую и молодых на этот вопрос:

— Бомбит, бомбит, дюже бомбит, милый.

— Что ты скажешь, — сокрушённо произнёс майор и спросил: — А вы не помните, мамаша, в старое время тут у вас в Камышине проживал такой Сократов?

— Ну как же, господи, не помнить, — сказала старуха, — мой ведь старик рыбачил, и я всегда рыбу им носила.

— И семейство его знали?

— Знали, конечно, знали, сама-то хозяйка ещё в ту войну умерла, а дочки у них — Тамара — та помоложе, а Надя, старшая, болела всё — за границу ездили с ней.

— Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, — сказал: майор.

— А вы здешний, знаете их? — спросила Антонина Васильевна.

— Нет, я их не знаю, — подумав, сказал: майор.

Старуха выпила вторую рюмку, налитую майором.

— Дай вам бог живым домой вернуться, — проговорила она и вытерла губы.

— Ну а как, что за люди были? — спросил майор.

— Это кто же?

— Сократов этот самый.

— О, он вредный был. Его тут все боялись. Генерал настоящий, не дай бог прямо. А она душевной женщиной была, и пожалеет, и расспросит, многим даже помогала, и в приюте сиротском всегда от неё подарки богатые были.

— А дочки, верно, в неё пошли характером, не в отца? — спросил майор.

— Дочки да, дочки тоже хорошие были, обе худенькие такие, простенькие, платица на них коричневые, гулять ходили по Саратовскому проспекту или на Тычок, над Волгой садик у нас такой был.

Она вздохнула и сказал:а:

— Тут кухарка их старая жила, Карповна, по соседству с нами, её убило в прошлое воскресенье, когда днём налегал он. Шла с базара, меняла платок на картошку, и прямо около неё бомба упала. Карповна эта про них всё рассказывала. Надя померла в революцию, а младшенькую на службу нигде не брали, в союз не принимали, а потом нашёлся будто хороший человек такой, из простых совсем, плотником он, что ли, раньше был.

— Вот оно что, — сказал: майор, — плотником?

— Вот видишь. И будто женился он на ней и имел неприятности, ему товарищи советовали: «Брось ты её, мало, что ли, в России девок да баб», а он ни в какую: «Я её полюбил и всё тут». А потом уж они хорошо жили, спокойно, и дети у них стали

— Что ты скажешь, — говорил майор, — что ты скажешь.

— Да, теперь жизнь рассыпалась, — продолжала хозяйка, — народу-то, народу пропало: На старшего сына я похоронную получила, а младший вот уж год не пишет, — считают без вести пропал.

— Да, кровь наша льётся, — сказал: майор. Он отсел от стола к окну, вынул из полевой сумки белую металлическую коробочку, разложил на коленях полный портновский набор и стал выбирать нитку по цвету, чтобы залатать продравшийся в дороге локоть гимнастерки. Шил он умело и быстро, каждый раз, прищурившись, оглядывал своё творчество.

— Ох, и ловок ты шить, сынок, — сказала старуха, переходя с майором на «ты».

Без гимнастёрки этот человек в опрятной рубахе, с лысеющей головой, с сероголубыми глазами, с немного скуластым загорелым лицом очень был похож на волжского рабочего, и ей неловко и обидно показалось говорить ему «вы».

— Шить я умею, — с улыбкой вполголоса сказал: он, — надо мной в мирное время товарищи смеялись, говорили — «Наш капитан — портниха». Я могу покроить и на маши! а прострочить, и детское платье могу сшить

— Что ж ты до службы портным был^

— Нет, я с двадцать второго года солдат Он надел гимнастёрку, застегнул воротничок и прошёлся по комнате

Старуха, вновь переходя на «вы», сказал:а

— Я вас вполне вижу, настоящего человека сразу понимаю, на ком держава стоит, кем держится, — и, хитро прищурившись, шёпотом сказал: а — А вот этот приятель ваш, это уж воин. Такой разве понимает? Для него всё государство на спиртах стоит. Что государство, что контора — одно слово.

Майор рассмеялся и сказал:

— Ох, мать, умна ты, видно.

Она сердито сказала ему.

— Нешто дура?

Майор вышел погулять по улице, прошёл к домику напротив и спросил у девчонки, развешивающей на веревке жёлтое солдатское бельё.

— Где тут Карповна жила, старуха? Девочка оглянулась и сказала: а.

— Нету. И квартира заколочена, и вещи её в деревню невестка повезла.

— А где тут Тычок? — спросил майор.

— Тычок? — переспросила девочка — Не знаю такого.

Он пошёл дальше я слышал, как девочка за его спиной смеялась и объясняла кому-то

— Карповну спрашивает, за наследством жених приехал. И ещё «тычок» какой-то.

Майор прошёл до угла, вынул фотографию из кармана гимнастёрки, посмотрел на неё, потом послушал тонкие жалобные голоса гудков, вещавшие о новом налёте немцев, и пошёл обратно на квартиру отдыхать.

Ночью пришёл Аристов, он подошёл к Березкину и спросил, светя ему в лицо электрическим фонариком:

— Отдыхаете?

— Нет, я не сплю, — ответил: майор Аристов наклонился к Березкину и зашептал

— Ну и гонка мне была, завтра генерал армии Жуков из Москвы прибывает на «Дугласе», подготовлял все к приезду.

— О-о, шутка ли, — сочувственно сказал: майор, — шутка ли, ты бы всё ж и мне продукты кое какие устроил на дорогу.

— Машина в девять утра сюда за вами заедет, — сказал: Аристов — Насчет продуктов будьте спокойны. Не такой я человек, чтобы старого начальника не уважить.

Он стал стаскивать сапог, застонал, завозился, затих.

За перегородкой послышалось не то всхлипывание, не то вздох.

«Что такое, что за звук такой, — подумал майор и сообразил — А, это хозяйка».

Он поднялся, подошёл в носках к двери маленькой комнаты и строго спросил:

— Ну, чего плакать, а?

-Тебя жалею, — сказала старуха, — одного похоронила, второй не пишет. А сегодня тебя увидела, жалею — в Сталинград едешь, а я знаю, там крови будет... хороший ты человек.

Майор смутился и долго молчал, потом он походил по комнате, повздыхал и лёг на постель.

Подполковник Даренский возвращался после лечения в тылу в резерв штаба фронта.

Лечение не принесло ему пользы, и он чувствовал себя не лучше, чем перед отпуском.

Его тревожила мысль о возвращении в резерв, где ждало его тяжелое ничегонеделание.

Даренский остановился в Камышине, куда накануне пришел штаб выходящей из резерва на фронт армии. В штабе артиллерии нашёлся знакомый, обещавший устроить Даренского на попутную машину, которая утром должна была пойти левым берегом Волги к Сталинграду.

После обеда Даренский, как это часто с ним бывало, почувствовал признаки начинающегося приступа желудочных болей и отправился на квартиру. Он лёг и попросил хозяйку согреть на керосинке воды и дать ему горячую бутылку. Приступ оказался слабым, но всё же уснуть он не мог. К нему постучался адъютант его приятеля Филимонова, заместителя начальника штаба артиллерии, и предложил зайти к полковнику.

— Передайте Ивану Корнеевичу, — сказал: Даренский, — что у меня приступ, не

смогу прийти. И напомните ему, пожалуйста, о машине на завтра.

Адъютант ушёл, а Даренский лежал с закрытыми глазами, прислушивался к разговору женщин под окном. Женщины осуждали некую Филипповну, путившую ядовитую сплетню, будто Матвеевна поссорилась со своей соседкой Нюрой «через старшего лейтенанта».

Подполковник морщился от боли и скуки. Чтобы развлечься, он представлял себе фантастическую картину, как войдут к нему начальник штаба и командующий, сядут возле постели и станут трогательно и заботливо расспрашивать.

«Ну как, Даренский, дорогой, что ж это ты, — скажет начальник штаба, даже побледнел как-то».

«Надо врача, обязательно врача, — пробасит командующий, оглядит комнату и покачает головой» — Переходи ко мне, подполковник, я велю вещи перенести, чего тебе здесь валяться, у меня веселей будет».

«Что вы, это всё пустое, мне бы только завтра утром в Сталинград».

Однако время шло, а генералы в комнате Даренского не появлялись. Зашла хозяйка и, оглянувшись, спит ли постоялец, стала перебирать глаженое бельё, сложенное на столике швейной машинки.

Начало темнеть, настроение у подполковника совершенно испортилось. Он попросил хозяйку зажечь свет, и та сказал:а:

— Сейчас, сейчас зажгу, вот только маскировку раньше сделать надо, а то ведь налетит антихрист.

Она завесила окна платками, одеялами, старыми кофтами так старательно, словно «юнкерсы» и «хейнкели», подобно клопам и мухам, могли пролезть в щели стареньких, рассохшихся рам.

— Давайте, давайте, мамаша, поскорей — мне работать надо.

Она пробормотала, что керосину не напасёшь: и воду греть, и свет жечь.

Даренский сердился и обижался на хозяйку. Она, видимо, жила неплохо, имела кое-какие запасы, но была необычайно скупа — потребовала с Даренского за квартиру, а за молоко спросила такие деньги, что даже в Москве было оно дешевле.

И к тому же весь вчерашний день приставала, чтобы он дал ей грузовую машину съездить за семьдесят километров в деревню Климовку, привезти муку и дрова, запасённые осенью прошлого года. Откуда у него машина?

Он раскрыл тетрадь и стал просматривать записи, сделанные им в начале войны.

Чувство обиды поднялось в нём при мысли о несправедливом снятии с должности. «За что в резерв, — думал он, — за то, что я был прав, правильно оценивал обстановку, когда эта оценка не была нужна Быкову. Эх, где-то мой защитник, полковник Новиков. Выходит, мол, ошибка в том, что я был прав. Нет уж, я не такой, я ценность человека понимаю с первого взгляда, людей понимаю и умею ценить».

Ему вспомнился человек, написавший на него пять лет назад донос. Даренский пережил много тяжёлого, пока, наконец, не была доказана ложность обвинения. Оклеветавший его человек был разоблачён, а Даренский вновь был возвращён в армию.

Вспомнился тот месяц, когда бумаги его не были оформлены, и он работал на разгрузке барж в Космодемьянске. Вспомнился торжественный день, когда он вновь надел военную форму.

«Эх, дали бы мне полк, — думал он, — я бы полком стал командовать, доверили дивизию — я бы дивизию повёл. Надоела мне вся эта третьестепенная работа военного архивариуса».

И, засыпая, он представлял себя сидящим на командном пункте в Сталинграде. Входит Быков, пониженный в звании — майор: «Прибыл в ваше распоряжение, товарищ генерал». И вдруг бледнеет, узнаёт Даренского.

Тут уж десяток поступков — на выбор любой.

Но почему-то больше всего нравился Даренскому и отвечал его душевной потребности такой разговор:

«А-а, старый знакомый, вот где довелось встретиться! — Помолчать, улыбнуться: — Садись, садись, знаешь, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. Пей чай, закусывай, проголодался, верно, с дороги... А ну, скажи, какую бы должность хотел получить, сейчас вместе сообразим...»

И увидеть, как дрогнет от волнения и душевной признательности лицо бывшего его начальника...

Он сам дивился тому, что человек, причинивший ему зло, сейчас не казался ему врагом.

Он был честолюбив и тщеславен, вероятно, не больше других людей, но так как в жизни часто ущемлялось его честолюбие и тщеславие, он страдал, раздражался, постоянно думал об этом. И случалось, что он, серьёзный тридцатипятилетний подполковник, устраивал ребячьи воображаемые пиршества для своего тщеславия.

Утром к переправе из Камышина на Николаевку подъезжали одна за другой грузовые машины, подходила пехота.

Августовский горячий воздух, мерцая, переливался над рыжей щетиной скошенных пшеничных полей, над увядшими листьями бахчей.

Регулировщики прятались от солнца под стены домиков и, отгоня флажками подъезжавших, кричали.

— Стой, куда прёшь, не видишь, баржа ушла, рассредоточивайся!

Шофёры с лицами, покрытыми пепельной и жёлтой пылью, в зависимости от того, по чернозёмной или по глинистой дороге они спускались к переправе, выглядывали из кабин — куда бы укрыть машины. Зенитчики лежали в окопчиках возле поднявших свои худые рыльца пушчонок, отгораживались от солнца плащ-палатками. Сидевшие в кузовах грузовиков красноармейцы, ощупывая чёрные тела авиационных бомб, зевая, говорили.

— Ещё бомбы начнут рваться, горячие, яишню на них жарить.

А полуторки с авиационными бомбами шли одна за другой, пыля колесами, транспорт двухсоток переправлялся на заволжские аэродромы.

Один из водителей, озорно вскрикнув, дал газ. Машина» тяжело оседая под страшным грузом, съехала с помоста и пошла к берегу, подсакивая и стуча рессорами Регулировщики побежали ей наперерез, крича:

— Стой, назад!

Первым добежал к грузовику высокий регулировщик; он замахнулся прикладом на радиатор, водитель объяснял что-то, показывая на задние скаты, размахивал руками.

Подбежали ещё два регулировщика, и все они сразу зашумели. Казалось, шуму этому не будет конца, но шофер вынул из кармана железную банку, и регулировщики, обрывая куски газетки, полезли в банку за табаком и закурили. Машину отвели к самой воде, чтобы она не мешала встречному транспорту, который придёт с баржей с левого берега. Шофёр лёг на камни в тень.

— Первым пойдёшь, — сказал: и регулировщики и затянулись.

На берег въехал чёрный новенький «пикап», возле шофёра сидел подполковник с худым лицом и такими сердитыми и холодными глазами, что регулировщики только вздох — нули и не стали придираться.

В кузове на скамеечке сидел майор, куривший «готовую» — папиросу, и лейтенант — красивый мальчик с болезненными глазами, одетый во всё новое, видимо, недавно выпущенный из школы. А рядом сидел начальник в нарядной шинели внакидку, которого солдаты сразу определили как «представителя».

Регулировщики отошли на несколько шагов и услышали, как подполковник сказал: из кабины:

— Наблюдайте за воздухом, товарищи.

Один из регулировщиков насмешливо заметил:

— Вот живут! Папироски курят готовые, чай пьют из термосов!

К самой воде подошёл отряд красноармейцев. Шедшие впереди озирались, ища глазами

командира, замедляли-шаги — приказание остановиться не было, лейтенант в эту минуту прикуривал от папироски регулировщика и спрашивал, бомбит ли немец переправу.

— Стой! — закричал издали лейтенант. — Стой!

Красноармейцы опускались на прибрежные камни, складывали мешки, винтовки, скатки шинелей, и сразу над Волгой встал запах потного тела, пропотевшего белья, махорочного дыма, словом, тот особый запах, который бывает у войска, шагающего по той дороге, что кончается на переднем крае.

Каких только лиц не было здесь: худые горожане, не привыкшие к походам; посветлевшие от усталости широкоскулые казахи; сменившие халаты и цветные тюбетейки на гимнастёрки и пилотки узбеки с бархатным взором, полным задумчивой печали; заводские молодые ребята; отцы семейства, колхозники, люди могучего, тяжёлого труда — их жилистые шеи и мышцы, игравшие под мокрыми от пота гимнастёрками, ещё крепче и чеканной выступали, подчёркнутые аскетической тяжестью солдатской жизни; был плечистый и поворотливый солдат, такой румяный и улыбающийся, словно вся тяжесть похода не касалась его, как не касается промасленного жесткого крыла молодого селезня речная вода.

Некоторые сразу же пошли к воде, присев на корточки, черпали котелками, один стал стирать платок, и чёрный клуб грязи пошёл в светлую воду, другой мыл руки и плескал горстью себе на лицо. Иные, сидя, жевали сухари, крутили папиросы. Большинство же легло, кто на бок, кто на спину, и лежало, закрыв глаза, так неподвижно, что можно было их принять за мёртвых, не будь на их лицах выражения усталости.

И лишь один — плечистый, худой, смуглый красноармеец лет сорока с лишним, не сел, не лёг, а остался стоять и долго смотрел на реку. Поверхность воды была совершенно гладкой — она лежала ровной, тяжёлой плитой, и казалось, весь зной неподвижного августовского дня идёт от этого огромного

зеркала, врезавшегося в берег, бархатно-чёрного там, где падала на него тень от песчаного обрыва, аспидного, голубоватого там, где било по нём наотмашь могучее солнце.

Красноармеец долго и пристально оглядывал луговой берег, откуда тащилась баржа, посмотрел вверх по течению, посмотрел вниз, оглянулся на своих товарищей...

Шофёр вышел из «пикапа» и подошёл к лежавшим красноармейцам:

— Откуда вас, ребята, ведут? — спросил он

— То на окопы, то на подсобное посылали, — ответил: боец с тайным намерением расположить к себе шофёра и попросить у него покурить, — так вот идём, солнышко такое, что с ног людей валит. Покурить нету ли, товарищ механик, газетки за тонкое число?

Водитель достал из кармана кисет, свёрнутую газетину и дал красноармейцу закурить.

— Под Сталинград, что ли? — спросил шофёр.

— Кто его знает — куда. Сейчас обратно в Николаевку — там дивизия наша в резерве.

Второй красноармеец, досадовавший на себя, что не догадался попросить у водителя табачку, сказал:

— Вот так маршируем, хуже нет от своей части уйти, горячей пищи не видим. Табаку второй день не получаем, — и, обращаясь к тому, что курил, попросил: Оставь, что ли, покурить.

Едва на баржу были погружены «пикап» с командирами, машины с авиабомбами, несколько колхозных подвод, запряжённых волами, и едва начальник переправы дал команду к погрузке людей, как в небе над Волгой началась необычайная суэта. Несколько истребителей барражировало над Волгой и заволжскими песками, наполняя воздух высоким пронзительным гулом моторов. Красноармейцы оглядывались, замедляли шаги, ожидая, не отменят ли приказание о погрузке в связи с начавшейся в воздухе тревогой, но начальник переправы замахал рукой, перехваченной красной перевязью, и закричал:

— Давай! Давай!

Может быть, ему хотелось поскорей отогнать от причала огромную баржу, гружённую тяжким весом двенадцатипудовых авиационных бомб, либо он привык к воздушным налётам

и вовсе не придавал им значения.

Людей на барже собралось несколько сотен, все они инстинктивно старались пройти подальше от места, где скопились машины, пробирались к носу и к корме, озирались на решетчатые цилиндрические ящики с бомбами, смотрели на два спасательных круга, висевших на мостике, и, может быть, думали, кто раньше успеет в миг удара схватиться за круг и кинуться в воду.

И правда, нет хуже чувства нового страха — так для людей, привыкших к земле, особенно невыносимым казался страх на воде. Его, видимо, испытывали все — и командиры в машине, и красноармейцы. И должно быть, действительно, вся суть состояла в непривычке к новому страху — ведь тут же матросы баржи ели, подхлёбывая обильный сок, помидоры, мальчишка, меланхолично отвесив губу, следил за поплавком удочки, а пожилая рыжая женщина, сидя возле рулевого, вязала не то чулок, не то варежку.

— Ну как, товарищ лейтенант, самочувствие? — спросил майор, продувая мундштук — Плавать умеете? Спасательный кружок надо?

Вышедший из машины подполковник усмехнулся и указывал на тесно стоявшие один к другому грузовики с авиабомбами:

— Я думаю, если противник угодит по нашей барже, то лейтенанту больше понадобится парашют, чем спасательный круг.

Он сразу же сделал строгое лицо, чтобы после этой шутки майор не вздумал с ним фамильярничать.

Лейтенант, вопреки правилам душевного поведения людей юного возраста, сказал: с откровенностью:

— Я прямо сознаюсь, жутко. И почему это столько истребителей в воздух поднялось?

— Да, дело ясное, оповестили по радио, идут немецкие бомбардировщики. Как раз застанут на серёдке, — сказал: майор и бережно погладил свой мешок, вспомнив о помидорах, данных ему перед отъездом старухой — квартирной хозяйкой.

А истребители продолжали неистовствовать. Баржа скользила томительно медленно, силы маленького буксира, казалось, вот-вот иссякнут, правый берег отходил дальше и дальше, левый все казался бесконечно далёким, недостижимым. Красноармейцы напряжённо следили за движением баржи, вглядывались в западную часть неба, откуда должны были прийти немецкие бомбардировщики.

— И чего это их носит, и чего это их носит, — бормотал молодой красноармеец.

— Бахчу стерегут, — отвечал ему пожилой боец, тот, что не присел отдохнуть на берегу, — тут бахча очень богатая, понял?

— Да ну вас, — сказал: молодой, — вам бы смеяться, а ещё человек семейный. Вот потопят нас, тогда вам смеху не будет.

Никто на барже не знал, да и не мог знать, что истребители подняты в воздух, чтобы прикрыть на посадке пассажирский самолёт, вышедший с московского аэродрома.

Красноармейцы на барже вдруг увидели низко идущий над Волгой двухмоторный самолёт. Следом за ним шли истребители; те истребители, что были над Волгой, ринулись вверх, в стороны, прикрывая казавшуюся медленной по сравнению с ними транспортную машину.

— Глянь-ка, глянь-ка, Вавилов, — крикнул молодой парень, указывая на плавно движущийся «дуглас», — кто бы это прилетел?

И второй красноармеец, окинув взором мечущиеся вокруг «Дугласа» истребители, прислушался к ржанию и топоту, свидетельствовавшему, что действительно силы моторов поднятых на воздух машин равны силище табуна в пятнадцать тысяч лошадей, грохоча бегущих по небу, этот второй с лукавой серьёзностью всё понимающего человека ответил:

— Должно быть, ефрейтор, что отстал вчера на продпункте, прилетел.

Ночевали они в Верхне-Погромном. Майор Берёзкин и лейтенант пошли спать в сарай, подполковнику Даренскому постелили в избе, а представитель начпрода и водитель легли спать в машине, поближе к вырытому во дворе окопчику-щели.

Это был очень душный и жаркий вечер. За Волгой слышалась орудийная стрельба, и небо на юге было в светящихся клубах дыма. Снизу по реке всё время слышался гул, словно Волга у Сталинграда валилась со скал в преисподнюю, и вся плоская громада степного Заволжья дрожала, подчиненная этому тяжёлому гулу: позванивали стёкла в избе, тихонько скрипела на петлях дверь, шуршало сено, и с чердака сыпались кусочки глины. Где-то рядом вздыхала корова, ворочалась, приподнималась и снова ложилась — её, видимо, тревожили гул, запах бензина и пыли.

По деревенской улице шли войска, двигались пушки, грузовики. Автомобильные фары мутно освещали колеблющиеся спины идущих, в клубах пыли блестели дула винтовок, воронёные стволы противотанковых ружей, широкие, как самоварные трубы, миномёты. Ночная пыль стлалась вдоль дорог, тяжело клубилась чёрными облаками у ног. Не было конца потоку людей, они двигались в глубоком молчании. Иногда мигающий свет порождал во тьме голову в железной каске, худое лицо, тёмное от пыли, с блестящими зубами. А через мгновение машина проносилась мимо, и следующая за ней на миг ловила фарами сидящую в кузове мотопехоту, в касках, с ружьями, с чёрными лицами, с развевающимися за плечами плащ-палатками.

Свистя, проносились могучие трёхосные грузовики, буксируя за собой семидесятишестимиллиметровые пушки с еще тёплыми от дневного зноя стволами.

Ошалевшие от ярких фар мохнатые совушки металась в воздухе. Ужи и желтобрюхи, потрясённые гулом и грохотом, пытались уйти далеко в степь, переползали сотнями прибрежную дорогу, и их раздавленные колесами тела темнели среди белого песка.

Ночное небо было полно гудения, среди звёзд ползали «юнкеры» и «хейнкели», по нижним этажам неба, потрескивая, шли на бомбежку «кукурузники», и где-то высоко-высоко глухо ревели медлительные четырехмоторные мамонты «ТБ-3».

Все небо было охвачено гулом. Тем, кто был внизу, казалось, что они стоят под пролётом огромного, украшенного звёздами, темносинего моста, слушают грохотание движущихся над головами железных колёс.

Маяки прожекторы на аэродромах Заволжья, плавно поворачиваясь вокруг оси, намечали ночные дороги, и на дальней периферии неба светящийся километровый карандаш с молчаливым бешеным усердием вычерчивал голубой круг.

По военно-автомобильной дороге двигались без конца и без начала машины и люди, вспыхивали фары и гасли мгновенно, испугнутые злым криком пехоты:

— Туши свет, летит!

Чёрная пыль клубилась над дорогой, и высоко в небе стояло зарево. Это мерцающее, светлое зарево уже несколько ночей стояло над Волгой, над степью, над Сталинградом.

И его увидело всё человечество. Зарево влекло и ужасало тех, кто шёл к нему.

А в степи под тёплым августовским небом лежали сталинградские беженцы женщины и девушки, одетые в меховые шубы, с фетровыми ботиками на ногах, в тёплых кацавейках, в пальто, вытасненных в последнюю минуту из сундуков. Дети спали, лёжа на узлах. Запах нафталина, шедший от вещей, смешивался с запахом вянущей в степи полыни.

А еще дальше — в оврагах и ярах, вымытых весенней водой, неясно горели огоньки, то шедшие на переформирование бойцы рабочих дорожных батальонов, пастухи, переправившие стада в Заволжье, сидя у маленьких костров, варили сорванную на огородах тыкву, латали одежду.

Возле ворот стояли представитель продотдела, водитель «пикапа», старуха хозяйка. Все они молча глядели на войска, спешившие к Сталинграду среди ночи. Минутами казалось, что в стремительном людском потоке нет отдельных людей, что движется одно огромное существо с огромным сердцем и устремлёнными вперёд глазами.

Вдруг от пешей колонны отделился человек в каске и подбежал к воротам:

— Мамаша, — крикнул он, протягивая аптечную бутылочку, — налей воды!

Пока старуха лила из кружки воду в узкое горло бутылочки, боец стоял, оглядываясь то на осанистого представителя, то на уже прошедшее мимо отделение.

— Фляжку тебе нужно, — сказал: представитель, — какой ты солдат без фляжки.

— Зачем мне фляжка, и бутылочка хороша, — сказал: боец.

Он поправил брезентовый пояс. Голос у него был тонкий и в то же время хриплый, какой бывает у птенца. И худое лицо его с острым носом, и молодые глаза, блестящие из-под широкой нависшей надо лбом каски, напоминали глядящую из гнезда пичугу.

Он закрыл бутылочку пробкой, допил воду из кружки и неловко побежал бормоча:

— Вот этот с противотанковым, двое с миномётами, а следующая наша шеренга, — и исчез во мраке.

Подполковник Даренский зашёл в избу и велел перестлать себе постель — он ляжет не на кровати, а на лавке, головой к образам, ногами к двери.

Молодая женщина, невестка хозяйки, равнодушно сказала:

— Твердо, товарищ командир, спать на лавке.

— Боюсь блох, — сказал: Даренский.

— У нас блох нет, — обидчиво сказал: сидевший у порога старик, похожий не на хозяина избы, а на странника, пущенного ночевать.

Даренский оглядел избу — всё в ней было сурово и бедно. При плохом свете лампы без стекла.

«А ведь есть человек, который сейчас, сидя на переднем крае, вспоминает этого старика, женщину, эту духоту, этот дощатый потолок, оконца — и нет для него ничего дороже на свете», — подумал Даренский.

Ему не хотелось спать: зарево в небе, гудение самолётов, могучий ночной поток войск в сторону Сталинграда волновали его. Он понимал значение того, что происходило. Возбуждение, охватившее его, всё росло — недавно он хотел высказать майору, случайному спутнику, свои соображения о предстоящих боях на сталинградском рубеже. Поэтому Даренский и зашёл в избу, чтобы не говорить с майором: человек скрытный, он всегда страдал после случайно возникшего откровенного разговора с малознакомыми. Да к тому же этот майор чем-то раздражал его, чем — он и сам не мог понять.

Молодая женщина, собрав одеяла, ушла из избы.

— Где бабушка? — спросил Даренский.

— Бабка в окопе, — сказал: старик, — боятся женщины в доме спать. Начнёт бомбить — бабка, как суслик, из окопа выглядывает; то спрячется, то выглянет.

— А ты, старик, бомб не боишься?

— Чего их бояться, — сказал: старик, — я на японской был, потом на германской. От меня двенадцать человек в Красной Армии представлены — пять сыновей, семь внуков Где мне в окоп хорониться? Два сына полковники — шутишь? А моя старуха без отказа всё бы раненым отдала. Он у меня, кошкин сын, коробок спичек смылил, а она ему молоко, кашу тыквенную, что на ужин, отдаёт и плачет. Вот какое дело Совсем бабка ослабела, — кто ни войдёт, только она и знает «Сыночек, сыночек...» А вот вы мне объясните, товарищ командир, так полагается? Пригнали в наши степи из-за Волги скот эвакуированный, и эти самые сопровождающие каждый день тёлочку режут, а корова — тысячи стоит. А? Это по правилу, что ли, — один смертью умирает, а другим от войны полное удовольствие. А? Как вы понимающий?

— Надо спать, — сказал: Даренский, — завтра я с рассветом в Сталинград.

В это время послышался сильный взрыв — очевидно, пролетающий немец уронил над дорогой бомбу. Изба вздрогнула. Старик поднялся, подхватил тулуп.

— Куда? — смеясь, спросил Даренский.

— Куда, куда — в окоп. Слышишь, бомбит, — и старик, согнувшись, выбежал из избы.

Даренский лёг на скамью и вскоре заснул.

Всю ночь шли войска под гул далекой артиллерии, шля среди трепещущей голубой колоннады прожекторов, шли в сторону, где светилось пламя невиданного по размерам пожара, — справа была Волга, слева — солончаковая степь, Казахстан.

Мрачно, торжественно и сурово выглядело это движение тысяч людей. Казалось, все

идушие охвачены значительностью происходящего, не думают о своём страхе, о своей жизни, о своей усталости и жажде.

Здесь, на границе казахских степей, шли войска, и казалось, и степь, и небо, и звёзды, к которым летели трассирующие снаряды, понимали, что тут будет решаться судьба народов.

Как видение, вставляли в воспоминаниях советских людей бронзовые памятники Львова, приморский бульвар в Одессе, пальмы на набережной Ялты, каштаны и тополи Киева, вокзалы, сады, площади, улицы Новгорода, Минска, Симферополя и Харькова, Смоленска и Ростова, белые украинские хаты, поля подсолнечника, виноградники Молдавии, вишнёвые сады Полтавщины, воды Дуная, Днепра, яблони Белоруссии, пшеница Кубани.

Верблюды, впряжённые в телеги, мерно шевелили длинными губами, прищурились, смотрели на идущее войско, совы, попадая в свет автомобильных фар, слепли и метались, ударяя по лучам тёмными крыльями, разбуженные ужи шумели в сухом бурьяне, ползли, осыпая песок.

И в эти дни народ, стоявший у пушек, тащивший на себе противотанковые ружья и пулеметы, и народ, работавший на заводах, на полях, — все увидели простую истину: война дошла до Волги, за Волгой начинались степи Казахстана. Эта истина, как и все истины великого значения, была необычайно проста и понятна всем без исключения.

Войска видели, что по холмистому правому берегу Волги уже нельзя ходить: прямо к волжской возе вышли немцы. Войска видели, что на левом степном берегу жевали колючку верблюды, начинались солончаки. И вооружённые советские люди смотрели на правый берег, на ветлы, на дубы, на рощицы, на деревню Окатовку, Ерзовку, Орловку через простор волжской воды: простор этот ширился, все дальше уходили рощи, деревня Окатовка, колхозы, рыбаки, мальчишки, оставшиеся под немцами, вся громада Кубани, Дона.

А Украина с этого плоского берега казалась далёкой и недосыгаемой. И только грохот пушек и пламя сталинградского пожара были горестным братским приветом, который жёг сердца ушедших за Волгу людей, звал их, торопил.

Даренский проснулся незадолго до рассвета. Он прислушался — грохот и гудение продолжались. Обычно предрассветный час — это тихий час войны. Час, когда тьме и страху ночи подходит конец, задрёмывают ночные часовые, тяжело раненые перестают кричать и лежат, закрыв глаза; это час, когда у больных спадает жар, испарина выступает на коже, спящие птицы неторопливо приподнимают плёнку с глаз, шевелят отдохнувшими крыльями, младенцы тянутся во сне к груди спящих матерей; это последний час сна, когда солдаты не ощущают комковатой земли под рёбрами и тянут на головы шинели, не чувствуя инея, белой плёночкой покрывшего пуговицы и пряжки ремней.

Но в эти дни война не знала тихого часа. По-прежнему в предрассветной мгле гудели в небе самолеты, шло войско, хрипло кричали машины и издали доносились взрывы и пушечная стрельба.

Охваченный беспокойством, Даренский стал готовиться в дорогу. Пока он брился, мылся, чистил зубы, подправлял пилочкой ногти, совсем уже рассвело.

Он вышел во двор. Водитель спал, упершись головой в угол сидения и выставив разутые ноги в окно кабины. Даренский постучал по ветровому стеклу и, так как водитель не проснулся, нажал на клаксон.

— Давайте собираться, выводите машину, — сказал: он, пока занемевший от сна водитель извлекал своё тело из кабины.

Даренский прошёл мимо окопа, где на соломе, укрывшись тулупами, спали хозяева избы, и вышел на огород.

Вдали поблескивала сквозь узор желтеющей прибрежной листвы Волга. Лучи восходящего солнца, едва лишь оторвавшегося от горизонта, шли параллельно земле, облачка в небе были розовые и лишь некоторые — ещё не освещённые несли на себе голубовато-пепельный холод ночи.

Обрыв горного берега вышел из сумрака, и известняк, подобно молодому снегу, светился на солнце. С каждой минутой света становилось больше. В лучах солнца по

кочковатой рыжей земле двигалось овечье стадо. Белые и чёрные овцы шли плотной толпой, тихонько бляя, и лёгкий розовый дымок пыли выбивался из-под их ног.

Пастух шёл с большим посохом на плече, за плечами развевался плащ.

Даренский невольно залюбовался — в широких косых лучах восхода стадо, шедшее по рыжей, растрескавшейся земле, среди кочек, похожих на валуны, и пастух с посохом, в плаще, напоминали ему рисунок Доре. Когда стадо подошло ближе, он увидел, что у пастуха на плечах брезентовая плащ-палатка, а тяжёлый посох оказался однозарядным противотанковым ружьем. Он шёл по обочине, и, видимо, до этого мирного стада ему не было никакого дела.

Даренский вернулся к машине.

— Готово? — спросил он.

Лейтенант, худощавый, робкий юноша, проговорил:

— Майора нет, товарищ подполковник.

— А где же майор?

— Он пошёл молоко искать, чтобы позавтракать перед отъездом. Тут у хозяев корова не доится. Даренский прошёлся по двору и сказал:

— Чёрт знает что, спешу, времени нет, а тут, оказывается, корова не доится!

Несколько минут он ходил молча, охваченный внезапным раздражением.

— Долго я буду вашего дояра ждать? — спросил он.

— Да он с минуты на минуту должен прийти, — сказал: виноватым голосом лейтенант и, оробев, бросил на землю свёрнутую папироску.

— В какую сторону он пошёл?

— Вот по этому порядку, — сказал: лейтенант. — Разрешите сбегать поискать?

— Не надо, — ответил: Даренский.

Его раздражение против майора росло всё сильнее. С ним случалось, как обычно это бывает с нервными людьми, что всю желчь и злость свою он внезапно обращал против совершенно случайного человека.

И когда Даренский увидел майора с арбузом подмышкой и литровой тёмной бутылкой, ставшей светлозелёной от налитого в неё молока, он задохнулся от злости.

— А, товарищ подполковник, — сказал: майор и положил арбуз на сиденье машины, — как спали? Я вот молочка парного достал.

Даренский молча смотрел на него и тихим голосом, которым обычно и произносятся самые злые слова, сказал:

— Вместо того, чтобы беречь каждую минуту, вы бегаєте по избам и занимаетесь товарообменом.

Лицо майора стало тёмным от крови, прилившей под загорелую кожу; несколько мгновений он молчал, потом негромко произнёс:

— Виноват, товарищ подполковник. Лейтенантик наш всю ночь кашлял, я решил его парным молоком угостить.

— Ладно, ладно, — сказал: смутившись, Даренский, — давайте всё же ехать.

Ему казалось, что он слишком медленно едет, а в действительности он нервничал оттого, что ехал слишком быстро.

Даренский посмотрел на майора — лицо его, раздражавшее своим, казалось, невозмутимо спокойным выражением, сейчас было напряжено, рот полуоткрыт, а в глазах было нечто такое растерянное и в то же время напряжённое, почти безумное, что Даренский невольно оглянулся, посмотрел в ту сторону, куда смотрел майор. Казалось, какая-то ужасная сила готовилась обрушиться на них, может быть, парашютисты, десант?

Но дорога, искромсанная колёсами и гусеницами, была пуста, лишь вдоль домов плелись беженцы.

— Тамара, Томочка! — сказал: майор, и молодая женщина в тапочках, подвязанных верёвками, с мешком за плечами и девочка лет пяти с маленьким, сшитым из наволочки мешочком остановились.

Майор пошёл к ним навстречу, держа в руке бутылку молока.

Женщина, недоумевающая, смотрела на военного, идущего к ней, и вдруг крикнула:

— Ваня:

И так страшен был этот крик, столько в нём было жалобы, ужаса, горя, упрёка и счастья, что все слышавшие его зажмурились и невольно поморщились, как морщатся от внезапного жара и от боли.

Женщина бросилась к майору, беззвучно и без слез рыдая, обхватила его шею руками.

А рядом стояла девочка в босоножках и, широко округлив глаза, смотрела на бутылку с молоком, которую сжимала большая, с надувшимися под коричневой кожей жилами, рука её отца.

Даренский почувствовал, что его затрясло от волнения. И после вспоминалась ему эта минута, и казалось, что он понял именно тогда всю горечь войны — это утром в песчаном Заволжье запылённая, бездомная женщина с худенькими девичьими плечами стояла рядом с широколицым сорокалетним майором и громким голосом говорила:

— А Славочки нет больше, не уберегла я его. И тоска при воспоминании вновь сжимала его сердце, как в ту минуту, когда двое людей смотрели друг на друга, и лица их и глаза выражали и лютое горе и бездомное счастье той ужасной поры.

Через несколько минут майор провёл женщину с ребёнком в избу, тотчас вышел и, подойдя к Даренскому, сказал:

— Простите, товарищ подполковник, я вас задерживаю, вы езжайте без меня. Я семью встретил.

— Мы подождём, — проговорил Даренский.

Он подошёл к машине и сказал: представителю:

— Да, скажу вам, будь это моя машина, я бы попутчиков ссадил, а женщину бы доставил до Камышина.

— Нет уж, давайте ехать, — сказал: представитель, — у меня задание командования, а им тут до завтрашнего утра разговору.

И, оглянувшись на молчавшего шофёра и лейтенанта, в эту минуту с обожанием смотревшего на Даренского, он подмигнул и рассмеялся.

Даренский понял, что действительно лучше поскорей уехать, не мешать майору бесполезной, ненужной заботой, и сказал:

— Ладно, заводите машину, а я сейчас возьму вещи. Он вошёл в избу и, опустив голову, стал нашаривать в полумраке свой чемодан. Он слышал, как старуха хозяйка, всхлипывая, что-то говорила, увидел расстроенное лицо старика хозяина, стоявшего с шапкой в руках, увидел бледное, возбуждённое лицо невестки — видимо, внезапная встреча разволновала всех.

Он старался не смотреть на майора и его жену, ему казалось, что им нестерпимо тяжело присутствие и внимание посторонних.

— Мы, значит, поехали, товарищ майор, — громко сказал: он, — разрешите пожелать всего хорошего. Вы, видно, задержитесь тут.

Он пожал майору руку и, подойдя к его жене, снова почувствовал волнение. Она протянула ему руку. Даренский низко склонил голову и бережно поднёс к губам её тонкие, как у девочки, с чёрными следами от кухонного ножа, пальцы.

— Простите нас, — сказал: он и поспешно вышел из избы.

Какая выворачивающая душу была эта встреча! Горе, цепкое, как бурьян и чертополох, было сильней радости, и каждое радостное чувство тотчас забивалось горем.

Встреча ужасала своей кратковременностью — ведь больше дня она не могла продлиться.

Лаская дочь, Берёзкин испытывал страшное, страстное горе по сыну. Люба не понимала, почему у отца каждый раз, когда он брал ее на руки, гладил её по голове, лицо вдруг хмурилось, словно он злился. Она не могла понять, почему мать, горевавшая столько об отце, теперь, встретив его, то и дело начинала плакать.

Однажды ночью матери приснилось, что отец вернулся, и Люба слышала, как она смеялась, разговаривала с ним, но теперь, когда эта встреча произошла наяву, а не во сне, она два раза повторяла:

— Нет, нет, я не буду плакать, какая я дура.

Она не понимала, почему сразу же после встречи они заговорили о расставании, стали записывать адреса, отец сказал, что посадит их на попутную машину до Камышина, стал спрашивать, нет ли у мамы фотографии на память, так как старые фотографии за год почти совсем истёрлись.

Он принёс из сарая свои вещи и разложил на столе угощение, какое Люба видела однажды в гостях у Шапошниковых. Тут было сало, и консервы, и сахар, и сливочное масло, и красная икра, и колбаса, и даже шоколадные конфеты.

Мама сидела за столом, как гостья, а отец всё готовил сам. А потом мама быстро стала отламывать кусочки хлеба и вылавливать консервы из банки, а Люба всё спрашивала:

«А колбасу мне можно? И сала можно ломтичек?» — «Можно», — говорил папа. Он протянул ей кусок хлеба с маслом, и она положила наверх кусочек печенья и стала есть — это было очень вкусно, так вкусно, что Люба начала смеяться. Люба посмотрела на отца и увидела, что он смотрит на быстро жующую маму, на её дрожащие пальцы, а на глазах его — слезы. Неужели ему жалко продуктов и он заплакал от этого? На мгновение она замерла от обиды, но тут вдруг ощутила своим маленьким сердцем всё, что чувствовал отец в эту минуту. И не радость найденной опоры, а желание утешить и защитить отца в его беспомощности и горе почувствовала она. Посмотрев в тёмный угол избы, где, казалось ей, притаились силы зла, она суровым голосом произнесла:

— Не трогайте его!

Мама рассказала, как ей помогали в Сталинграде Шапошниковы, как она пережила пожар. Когда сгорела квартира, она пять дней не ходила туда, а Шапошниковы приходили за ней, а ее с Любой не было, и Шапошниковы уехали грузовой машиной в Саратов, а оттуда пароходом в Казань, оставили адрес и письмо, из которого она все узнала. Она перебралась на пароме и пошла с Любой пешком.

А потом мама стала рассказывать с самого начала, и Любе стало скучно, она всё это знала и о том, что у них не было зимних пальто, и что их четыре раза бомбили, и пропала корзинка с хлебом, и что зимой они ехали двенадцать дней в теплушке, и хлеба не было, и что мама шила, стирала, копала грядки, и что хлеб стоил сто рублей кило, и что сахар и сливочное масло, которое им выдал однажды комендант, мама обменяла на хлеб; в деревне с хлебом лучше, чем в городе... когда они жили три месяца в деревне, дети были сыты и имели не только хлеб, но и пили молоко. А колечко и брошку она хотела обменять на ржаную муку, но их украли, и после этого ей пришлось отдать Славу в детский дом, там он хоть поел хлеба. Хлеб, хлеб, хлеб. В свои четыре года Люба хорошо знала значение этого великого слова.

— Мама, — сказала она, — оставим конфеты для Славки, можно:

Но тут опять маму затрясло каким то новым, без слез, неизвестным Любе беззвучным плачем, и потом у неё сделалась икота, а папа странным, сонным голосом говорил:

— Что же делать, война, война, не мы одни. Он начал рассказывать маме о своей жизни и о старых знакомых, которых мама иногда вспоминала, и Люба заметила, что в папином рассказе всё время, как в мамином «хлеб», повторялось слово «убит».

— Убит, убит, убит, — говорил папа — Мутьян убит на второй день, ещё под Кобрином, а Алексеенко, ты помнишь, его под Тарнополем видели в лесу, лежал раненный в живот, а немцы уж совсем рядом чиркали из автоматов, а Морозов не Василий Игнатьевич, а тот, что играл в спектакле с тобой, был убит во время контратаки под Каневом на Днепре прямым попаданием мины. А Рубашкин, мне говорили, уже под Тулой был убит, «мессер» обстрелял, как раз когда он с батальоном через шоссе переходил, в голову из крупнокалиберного пуля попала; хороший был человек Рубашкин. Моисеев застрелился в прошлом году в июле, мне человек один рассказывал, сам видел, вынул наган — и всё; на

болоте немцы их окружили, он в ногу ранен был, не мог двигаться. Если посчитать, то по нашей дивизии из командиров полков я один остался. А вчера, знаешь, кого я встретил? Аристова помнишь, завхоза моего? Я тебе адрес дам и записку. Он парень хороший, всё сделает и на машине до Саратова отправит, он мне говорил — у них машины грузовые каждый день на Саратов идут.

— А ты, ты? — спросила мама. — Господи, сколько я писала. Сколько запросов, ты обо всех знаешь, а о тебе никто не знал.

— Ну что я, — ответил: папа и махнул рукой, — стрелял, стрелял, да видишь, где фронт проходит. Главное — не терять друг друга, как мы потеряли.

Он рассказал маме, что возвращается в свой полк, дивизия стояла в запасе, «полнокровная», сказал: он, — он вернулся, а дивизии нет, ушла к Сталинграду. Теперь нагоняет её. Потом папа сказал:

— Тамара, давай я тебе бельё постираю, а ты отдохни. И мама вдруг сказал:а:

— Господи, ты столько пережил и совершенно тот же, чудный ты мой, добрый, кремень, — и они оба улыбнулись: так мама называла его до войны.

Потом Люба стала засыпать, и отец сказал:

— Она устала. А мать сказал:а:

— Мы бредём уже десять дней, она очень боится самолётов, узнаёт немецкие по звуку, ночью всё время просыпается, кричит, плачет, кроме того, она плотно поела, а ей непривычно.

Люба сквозь сон помнила, как отец взял её на руки и отнёс в сарай, где пахло сеном... Вечером она просыпалась, снова ела, и хотя в небе летали немцы и всё время грохотали бомбы, ей не было страшно, она лишь подошла к отцу и положила его большую ладонь себе на голову, стояла спокойно, внимательно прислушиваясь к гудению в воздухе.

— Спи, спи, Люба, — сказала мама, и она уснула. Какая это была странная, счастливая, горькая ночь.

— Встретились... неужели ты воскрес для меня, чтобы завтра расстаться и уж навсегда?

— Да ты как-то неудобно сидишь, выпей ещё молока, ей-богу, и похудела ты, я смотрю: ты и не ты...

— А его нет, лежит на дне этой ужасной реки, ночью в темноте, холод, и нет, нет в мире силы помочь...

— Я тебе отдам своё бельё, всё же лучше, чем ничего, сапоги хромовые, парадные, я их два раза надевал только, мне ведь совершенно не нужны... Я тебе намотаю две пары портянок, ведь к зиме дело...

— А в последний раз, когда я его видела, он всё спрашивал: когда ты меня заберёшь? Но откуда я могла знать, радовалась, дура, — поправляется.

— Знаешь, дай-ка я адрес со своей полевой почтой пришью к платью, а не к жакету, вдруг жакет пропадёт, а платье верней.

— Какая я страшная стала, одни кости, тебе не стыдно, что я такая.

— Ножки худенькие, до крови стёрты, сколько они исходили.

— Ну что ты, целовать ноги зачем, хороший мой, я всё мечтала от пыли их отмыть.

— А обо мне он вспоминал?

— Нет, нет, не могу я одна остаться, гони меня палкой — я всё равно пойду за тобой. Я не могу, слышишь, не могу!

— Да ты подумай о Любе.

— Я знаю, знаю. Сяду завтра в грузовик и поеду с Любой в Камышин.

— Да что ты не ешь ничего, вот печенье это съешь, молоком запей, хоть глоточек.

— Неужели это ты, господи, я не верю, и такой же, совершенно такой. Вот и тогда просил: хоть глоточек.

— Это я теперь стал, а вот в прошлом сентябре посмотрел на себя как-то: ну, подумал, Тамара на меня глядеть не захочет. Щёки ввалились, зарос щетиной, голову не брею.

— Всё летят, летят, ноют в воздухе, опять бьют, день и ночь, целый год. Тебе, верно,

часто смерть грозила?

— Нет, что ты, обычное, да и ничего особенного.

— Чего он хочет, проклятый!

— В деревнях бабы детей пугают: не плачь, слышишь, Адольф летит терзать.

— Франт ты мой милый, голову бреешь, воротничок белый, ногти подстрижены. Увидела тебя — мне показалось, тысяча пудов с души упала. А через минуту всё стала выкладывать. Ты не думай, я молчу, — кому охота слушать — только тебе ведь. Только ты, на всём свете ты.

— Ты мне обещай питаться лучше, аттестат теперь будет. Слышишь, молоко пей Каждый день.

— Господи, до чего хорошо. Неужели ты?

— А я знал, что встречу. Ещё вчера знал.

— Ты помнишь, как Слава родился. Машина испортилась, ты меня из родильного пешком вёл, а его на руках нёс.

Нет, я знаю, это наша Последняя встреча, уже не увидимся, а её подберут в детский дом.

— Ну что ты, Тамара!

— Слышишь, как ударило?

— Ничего, это в реку.

— Боже мой, а он лежит в реке... Ты плачешь, Ваня, да? Не плачь, не надо, вот увидишь, будет хорошо. Мы встретимся, обещаю тебе, и молоко буду пить. Бедный ты, что в твоей душе, а я только о себе, да о себе. Ну, посмотри на меня, посмотри, хороший мой, ну дай я тебе глаза вытру. Ах ты глупый мой, слабенький, как это ты без меня...

А утром они расстались...

Левым берегом Волги, через Верхне-Погромное, проходили из Николаевки к Сталинграду полки 13-й гвардейской стрелковой дивизии.

Марш был моторизован, и лишь несколько подразделений двигались пешком. Командир батальона Филяшкин, узнав, что для части его людей не дают машин, позвал к себе в избу командира 3-й роты Ковалёва и объявил ему, чтобы он двигался своим ходом он употребил даже более сильное выражение по поводу того, какого рода энергию должен использовать в движении Ковалёв.

— А Конаныкин на машинах? — спросил Ковалёв. Филяшкин кивнул.

— Ясно, — сказал: Ковалёв.

Он не любил командира 1-й роты Конаныкина и завидовал ему: все события своей служебной жизни он связывал с Конаныкиным.

Если поступал приказ командира полка, выразившего Ковалёву благодарность за отличные результаты учебной стрельбы, он справлялся у полкового писаря:

— А Конаныкин как?

Если ему выдавали хромовые сапоги, он спрашивал:

— А Конаныкину какие? Кирзовые?

Если ему был нагоняй за потёртость ног у красноармейцев после марша, то его прежде всего занимало, какой процент потёртости в роте Конаныкина.

Красноармейцы украинцы называли Конаныкина «довготелесым», — у него действительно ноги и руки были длинные.

Ковалёву было неприятно, что только он со своими людьми будет пылить пехом, когда вся дивизия едет на машинах; Конаныкин, конечно, тоже двигался на машинах — мог бы длинноногий и пошагать.

Получив маршрут и сведения о конечном пункте движения, он сказал:, что своим ходом поспеет не намного позже машин.

— Только уж это всегда так, товарищ командир батальона, — добавил он, когда официальная часть беседы была кончена: — Если пешком — так мне, а на машинах — то Конаныкину.

— Видишь, — переходя с официального тона на товарищеский, объяснил Филяшкин, — ты с людьми вернулся с того берега, под тебя не дали машин, а у Конаныкина весь состав в наличии был. Как они у тебя пойдут, не потеряли ног?

— Пойдут, — сказал: Ковалёв, — если надо, то пойдут. Он пошёл в роту и приказал старшине готовить людей к маршу, сам забежал на минутку на квартиру собрать вещи и проститься с хозяйкой, а потом ещё забежал в санчасть перекинуться словом с отъезжавшей санинструктором Еленой Гнатюк.

Стоя перед личным составом санчасти, уже погрузившейся на машину, он сказал:

— Сталинград — городок знакомый, я в июне, когда из госпиталя возвращался, гостил там в семействе одного моего друга.

Лена Гнатюк сказала: а, наклоняясь через борт грузовика:

— Нагоняйте нас скорее, товарищ лейтенант. Машина тронулась, все стали смеяться и говорить в один голос, и Лена замахала рукой в сторону серых домиков и крикнула:

— Прощайте, кавуны и дыни:

Команда, переправившаяся через Волгу, подросла за два часа до начала марша, и люди только успели закусить и перемотать портянки, как снова пришлось выступать. Некоторые в спешке не успели получить табак и сахар.

Прошагав свыше сорока километров, они уже не мечтали о прохладе и питье, шагали молча.

К вечеру колонна растянулась на несколько сот метров. Троице бойцам лейтенант разрешил держаться за край обозной повозки, а двоих захромавших он приказал ездому посадить на ротное имущество.

Сидевшие на телеге все время побрякивали и угощали ездогого табаком, а те, что шли, припадая то на одну, то на другую ногу, сердито смотрели на них.

Над узким мостиком висела надпись «10 тонн» и большая фанерная стрела указывала: «Объезд для танков».

Водитель трехосного грузовика напрасно сигналил, требуя дороги, — бойцы шагали, почти безразличные к происходящему вокруг. Водитель, нагнав колонну, приоткрыл дворцу и высунулся, чтобы поразить матюгом глухих пехотинцев, но, поглядев на утомленные лица, пробормотал: «Царица полей, пехота», — и свернул на объезд.

Впереди колонны шли Вавилов и Усуров.

Усуров время от времени оглядывался на растянувшуюся в пыли колонну и усмехался — он испытывал удовольствие, чувствуя свое превосходство над теми, кто, далеко отстав, ковылял позади. Он не жалел отставших — все были равны в тяжёлой доле.

Лейтенант Ковалёв, шедший по обочине дороги, хлопывая себя прутиком по пыльному голенищу, бодро, как полагалось командиру, спросил:

— Ну как, папаша, дела? Шагаете?

— Ничего, товарищ лейтенант, — отвечал Вавилов, — дойдем.

Подошёл старший сержант Додонов и сказал:

— Товарищ лейтенант, Мулярчук этот всю роту терроризует, пытается привалы делать.

— Передайте политруку, пусть с ним поработает, — сказал: Ковалёв.

Усуров посмотрел на верблюдов, впряжённых в подводы, стоявших возле дороги, и громко, но не глядя в сторону лейтенанта, проговорил.

— Довоевались, до верблюдов дошли.

— Да, этот скот — страшное дело, — сказал: Вавилов, — неужели и такое в колхозе работает?

В хвосте колонны шли двое — эти не говорили, не смотрели по сторонам. Глаза их были красны, шершавые губы потрескались. Они не испытывали усталости, потому что усталость была чрезмерно велика, заполняла их кости, жилы, просверливая мозг костей.

И вот один из них усмехнулся и сказал: второму:

— А мы, бачь, не последние, якимсь герой за мостом кульгае...

Второй сказал:

— Это трепило наш, Резчиков, я думал, он отстал совсем.

— Ни, тянется.

Они снова пошли молча.

К вечеру Ковалев объявил привал. Он сам еле держался на ногах. Команда расположилась у самой дороги.

Со стороны Сталинграда шли беженцы: мужчины в шляпах, в пальто; дети волокли на себе подушки, некоторых женщин пошатывало под тяжестью ноши.

— Куда, гражданка, идёшь? — спросил боец у проходившей женщины. У ней на спине был тючок, на груди висели ведро и кошёлка. Следом за ней шли три девочки с мешочками за плечами.

Она остановилась, некоторое время смотрела на него, отвела рукой прядь волос со лба и сказал:а:

— В Ульяновск.

— Так тебе не донести, — сказал: боец.

— А есть детям нужней — сказала она. — Денег-то у меня нет.

— Это всё жадность, — сказал: молодой боец, вспомнив, как он ночью кинул в канаву тёрший ему плечо противогаз, — нахватают вещей, а бросить жалко!

— Дурак ты, — проговорила женщина. Голос у нее был глухой, безразличный. Боец, которого она назвала дураком, вынул из вещевого мешка большой кусок обкрошившегося сухого хлеба.

— На, возьми, гражданка, — сказал: он.

Женщина взяла хлеб и заплакала. И три большеротые, бледнолицые девочки молча и серьёзно смотрели то на мать, то на лежащих бойцов.

Так они и пошли, и бойцы видели, что мать свободной рукой разделила хлеб и раздала его девочкам.

— Себе не взяла, — сказал: бухгалтер Зайченков.

— Мать, — веско объяснил кто-то.

Люди разулись, и сразу запах казармы пересилил запах вянущей полыни, согретой солнцем.

Они лежали молча. Мало кто дождался, пока закипела вода в котелках. Одни сосредоточенно жевали концентрат, макая его в тёплую воду, другие сразу уснули.

— Отставшие все подошли, старшина: — спросил Ковалев.

— Вон последний подтягивается, — ответил: старшина Марченко, — Резчиков песенник наш.

Казалось, Резчиков только и может закричать да пожаловаться, но он неожиданно весело сказал:

— Прибыл, мотор исправен, гудок работает! Ковалёв поглядел на подошедшего бойца и сказал: политруку Котлову:

— Все ж таки крепкий народ, товарищ политрук. Мотопехота час назад проехала, — вровень почти с машинами идём.

Котлов отошёл в сторону и, присев, стал стягивать сапоги — он натёр ноги.

Ковалёв присел рядом с ним и вполголоса спросил:

— Что ж ты не проводишь политработы на марше? Котлов, разглядывая свои окровавленные портянки, сердито ответил:

— Мне все бойцы говорят: «Садитесь, товарищ политрук, на подводу, у вас, видно, до кости ноги стёрты», а я иду пешком и ещё песню запеваю — вот это моя политработа на марше.

Ковалев поглядел на портянку в чёрных кровавых пятнах и сказал:

— Я тебе говорил, товарищ политрук, бери сапоги на номер больше, а ты не захотел.

— Ну это что, — сказал: Рысьев, оглядываясь на сидевших командиров, налегке, а вот такой марш, да ещё пуда два снаряжения, когда на горбу — и бронебойки, и миномёты, и патроны, — и тоже ничего

Те, «что сперва не спали, уже заснули; те, что сразу же уснули, постепенно стали просыпаться, ворошить свои мешки, доставать хлеб.

— Сальца бы, — сказал: Рысьев.

— Эх, сало. Тут не Украина, — проговорил старшина Марченко, — я як подивлюсь, ой. Сёла, ну як черна хмара, хати вой черны, земля як вуголь, та ще верблюды. Як згадаю наше село, ставок тай ричку, садки, як дивчата на левади спивалы, и подивлюсь на цей степ, та на хаты, як могылы, черные, то сердце холоне — дошли до кинця свиту.

К красноармейцам подошёл старик беженец с клеёнчатой яркокрасной кошёлкой, в пальто и галошах. Он расправил белую бороду и спросил:

— Вы откуда, ребята, отступаете? Рысьев сказал:

— Мы не отступаем, папаша, к передовой идем.

— Мы наступаем, — сказал: старшина Марченко.

— Видели мы, — сказал: старик, — да куда ж дальше отступать. Немец дальше сам не пойдёт. Зачем ему сюда ходить? — и старик показал рукой на серую и рыжую землю.

Он вынул из кармана тощий кисет и стал сворачивать тоненькую папиросу: бумаги в ней было больше, чем табаку.

— Табачку нема у вас свернуть? — спросил Мулярчук.

— Нету, — спокойно ответил: старик, спрятал в карман кисет и пошёл дальше по степи, высокий, неторопливый, шаркая по пыли галошами.

— А курить не дал, — сказал: кто-то. Все рассмеялись.

— Он тронутый старик. В галошах.

— Чего ж он тронутый, он правильно говорит.

— А я слышал: драться наши стали сильно, на Дону, что ли. Дрались — прямо, говорят, удивление. Только он обошёл.

— Идешь по этой степи — сердце болит.

— И не пойму я, что за место. Солнце встало, я гляжу:

что такое — вроде снег, а это соль. Вот уж правда, горькая земля.

— Немец — шутишь, что ли.

— Что немец. Видел я этих немцев. Как даванули мы его за Можаем, бегал получше нас. Ты дома был, вот и боишься его.

— С такого похода жить не захочешь, а помирать, обратно, неохота.

— Тебя не спросят — охота или нет.

— Ну, давай, что ли. Резчиков, расскажи чего-нибудь.

— Раньше закурить дайте!

— Ты сперва расскажи, а то знаешь, как солдат говорил:

дайте, мамаша, напиток, то так есть хочется, что даже ночевать негде.

Но Резчиков вдруг сказал:

— Эх, ребята, не время теперь рассказы рассказывать. Помяните одно моё слово отобъём: Вот увидите, наша возьмёт! Мы ещё с вами блины печь будем!

— Так, ясно, — сказал: серьёзный голос, — нам блинов не есть. Давай хоть поспим, гляди, что делают.

И все посмотрели в сторону Сталинграда. Там во всё небо стоял тяжёлый, мохнатый дым. Огонь и заходящее солнце окрасили его в красный цвет.

— Это кровь наша, — сказал: Вавилов.

Холодный предутренний ветер шевелил траву, поднимая облака пыли на дороге. Степные птицы ещё спали, нахохлившись от рассветной прохлады, непривычной после душного дня и тёплой ночи...

Небо на востоке стало светлосерое, и нельзя было понять — то ли всходит солнце, то ли закатывается луна. Слабый свет казался жёстким, холодным, идущим от железа, — то не был ещё свет солнца, а лишь отражение света от облаков, и потому он походил на мертвый свет луны.

Всё в степи в эту пору было недобрым. Дорога лежала серая, неприветливая, и

казалось, никогда не шли ею босые ножки детей, не скрипели мирные крестьянские телеги, никогда не ездили по ней люди на свадьбы и на весёлые воскресные базары, а лишь гремели пушки да грузовики с ящиками снарядов. Телеграфные столбы и стога сена почти не отбрасывали тени в этом рассеянном свете и стояли, как будто очерченные твёрдым резким карандашом.

Цвета терялись, не было ни пыльной и бурой зелени травы, ни пожелтелости и зелени сена, ни неясной, мутной голубизны речной воды, а лишь тёмное и светлое, как бывает во мгле, когда чёрные предметы видимы лишь оттого, что они чернее ночи. Особо выглядели в этот час лица людей: бледные, с обострившимися носами, с тёмными глазами.

Проснувшиеся курили, перематывали портянки.

Сквозь улегшуюся усталость проступала тревога, предчувствие скорого боя. Это предчувствие не только томит душу, но холодным комом то зашевелится в груди, то жаром дохнет в лицо.

К отдыхающим, бесшумно ступая, подошла высокая женщина с узкими плечами и худым лицом, поставила на землю плетёную корзинку

— Угощайтесь, ребята, — сказала она и стала раздавать красноармейцам помидоры.

Никто не благодарил её, никто не удивлялся, откуда она появилась среди степи, все молча брали помидоры, словно получали продукты по аттестату на продпункте.

Женщина стояла и тоже молчала, смотрела, как красноармейцы едят помидоры.

Подошёл Ковалёв и сказал:, пошарив рукой в корзине:

— Всё разобрали мои орлы.

— Тут моя изба недалеко, её за холмиком не видать, пойдём — ещё помидоров принесёшь, — сказала женщина.

Ковалёв усмехнулся простоте женщины, не понимавшей, что лейтенант не может ходить с корзиной помидоров, и крикнул Вавилову:

— Товарищ боец, пойдите с гражданкой.

Идя рядом с женщиной, касаясь плечом ее плеча, Вавилов разволновался и расстроился — вспомнилась ему последняя ночь, проведённая дома, вспомнилась Марья, провожавшая его в таких же предрассветных сумерках. Женщине было лет сорок — сорок пять, она и ростом, и походкой, и даже голосом напоминала Вавилову жену.

Женщина негромко говорила ему:

— Вчера прилетел немецкий самолёт, а у меня в избе легко раненые бойцы стояли, он, как копьё, пошёл вниз, прямо на мою избу, тут его и бить, а бойцы в бурьян полегли. А я стою посреди двора и кричу им: «Вылазьте, я его сейчас кочергой собью».

— Что ж ты нас кормить: — спросит Вавилов. — Видишь, как мы воевали, довели немца до самой Волги, прямо к тебе домой. Таких вояк кормить не нужно, таких вояк этой самой кочергой гнать.

А когда они вошли в тёплый и душный сумрак избы и с дощатых нар приподнялась светлая детская голова, Вавилов почувствовал, как дрогнуло сердце от волнения — таким родным, близким показались ему я запах, и тепло, и печь, и стол, и лавка у окна, и полати, и светлая голова ребёнка, и лицо женщины, глядевшей ему в глаза.

Он заметил вышибленную доску в нижней части двери и спросил:

— А хозяин где?

Мальчик таинственным шёпотом ответил:

— Не нужно спрашивать, не расстраивайте маму. Женщина спокойно проговорила:

— Отвоевался, он в феврале убит под Москвой... Тут немца пленного недавно вели, я спрашиваю: «Когда пошёл воевать?» — «В январе...» — «Ну, значит, ты моего мужа убил», — замахнулась я, а часовой не пускает... «Пусти, — говорю, я его двину», а часовой: «Закона такого нет...» — «Пусти, я его двину без закона» Не пустил...

— Топор у тебя есть: — спросил Вавилов.

— Есть

— Дай-ка его, я тут хоть тебе доску в двери забью, а то выдует тебя зимой.

Его цепкий глаз заметил лежавшую под стеной доску. Он взял топор, и всё, что было в топоре схожего с его собственным топором, вызвало в нём печаль. И все, что оказалось несхожего — топор у женщины был куда легче, а топорище тоньше и длиннее, — тоже вызвало в нем печаль, вновь напомнило, как далеко до его дома.

И она, поняв его мысль, сказал:а:

— Ничего, будешь ещё дома.

— О-о, — ответил: он, — от дому до фронта близко, а от фронта домой далеко.

Вавилов стал обтёсывать доску.

— Гвоздей у меня нет.

— А мы без гвоздя, — ответил: он, — приладим на шипе. Он работал, а она накладывала в корзину помидоры и говорила:

— Я рассчитываю, мы с Серёжей тут до зимы проживём. Зимой Волга замерзнет, и если немец на нашу луговую сторону перейдёт, мы с Серёжей бросим всё, в Казахстан уйдём... У меня в жизни он один теперь. При советской власти он у меня в большие люди выйдет, а при немцах ему пастухом умирать.

Так же говорила Вавилову и Марья, и другие матери в деревне.

Ему показалось, что за спиной слышны шаги лейтенанта, и он отложил топор, распрямился. В этой запретности труда было нечто тяжелое, нехорошее, оскорбительное.

«Вот немец до чего довёл, полный переворот жизни», — подумал он и, оглянувшись, снова взялся за топор.

Когда он шёл назад, чувство волнения не оставляло его, он подошёл к начавшим строиться бойцам, лейтенант спросил его:

— Вы что там, заснули?

Марченко похабно пошутил, но никто не поддержал его шутки.

Вскоре дана была команда к маршу. В это время подъехал конный, помощник начальника штаба полка, весь увешанный сумками и планшетами, и стал выговаривать лейтенанту:

— Кто вам велел отдыхи устраивать? Не дотянули всего восемнадцать километров!

— Мне командир батальона приказал, — ответил: Ковалёв. Он хотел было сказать, что люди устали, но постеснялся: заподозрят его в мальчишеском слабодушии.

— Вот доложу подполковнику, — он вам жизни даст. Расселись тут, теперь догоняй. Чтобы в десять ноль-ноль прибыл без опоздания.

Покричав немного, всадник заговорил самым мирным образом. Он был старый приятель Ковалёва; рассказал, что ночевали хорошо, все спали в избах, на ужин ели яичницу с салом, только разбудили его рано — в два часа ночи комдив приказал подогнать отстающих.

Дружелюбно и насмешливо глядя на Ковалёва, он сказал:.

— Зашёл к Филяшкину уточнить твой пункт, а у него, знаешь, кто ночевал? санинструктор Лена...

Ковалёв пожал плечами.

А над степью опять встала пыль. То там, то здесь поднимались серые и жёлтые облачка, вскоре слились они в пелену, соединились вместе, заволокли огромное пространство, как будто новый пожар из Заволжья шёл навстречу сталинградскому пожару.

Земля, пропитанная солью, была жёсткой и сухой, и чугунное солнце в небе палило огнем, поднятая недобрым, сухим ветром пыль била в глаза.

Вавилов оглянулся на своих товарищей, на степь, на дым в небе и вслух, как бы подводя итог, сказал: самому себе:

— Нет, всё равно мы его завернём.

Над сгоревшим городом белела пелена дыма, и этот дым соединился в небе над Волгой с пылью, поднятой в Заволжье.

К десяти часам утра рота Ковалёва подходила к дощатому городку — Средней Ахтубе.

Давно уж вся вода из фляг и бутылок была выпита. Предполагавшийся маршрут

внезапно изменили — дивизию двинули к Волге.

Мимо уплотнившихся колонн пехоты промчались два легковых автомобиля, мелькнули нахмуренные лица командиров, рядом с водителем на шедшей впереди «эмке» сидел молодой генерал.

Проезжая мимо колонн, он всё время держал руку у околышка фуражки, приветствуя красноармейцев.

Вскоре промчался на мотоцикле связной в синем комбинезоне, с болтавшимися ушами кожаного шлема. Проехал на тарантасе командир батальона и крикнул лейтенанту:

— Ковалёв, следуй по новому маршруту форсированным маршем!

И словно по рядам прошёл ветер — ветер предчувствия. Часто люди дивятся, как это солдат умеют правильно и точно узнавать новости войны. Ведь не к солдатам, а к командиру дивизии генералу Родимцеву подъехал на броневике офицер связи с запечатанным пакетом — боевым приказом командующего фронтом дивизии форсированным маршем двинуться по маршруту Средняя Ахтуба — хутор Бурковский, выйти к Волге в районе Красная Слобода и немедленно приступить к переправе в Сталинград.

А красноармейцы уже знали, что ночью немцы прорвались с окраин города к центру, что в двух местах они вышли к Волге, что пушки немцев бьют через Волгу и обстреливают ту самую Красную Слободу, откуда должна происходить переправа.

Десять тысяч солдат идут по дороге. Они не пропустят мимо себя ничего. Они успеют спросить и женщин с узлами, идущих от Волги, и сталинградского рабочего, толкающего по песчаной дороге тележку, на которой среди узлов сидит раненый мальчик с перевязанной головой, и штабного связного, остановившегося на обочине наладить забарахливший мотор мотоцикла, и раненых с палочками, идущих от Волги, с шинелями внакидку, и детей, стоящих у дороги. Они уже всё успели заметить и рассмотрев, какое лицо было у генерала, мелькнувшего среди пыли на быстрой машине, и в какую сторону тянут связисты штабную шестовку, и куда свернул известный им грузовик с ящиками фруктовой воды и десятью курами в клетке, и в какую сторону пикируют немецкие самолёты, разворачивающиеся высоко в воздухе, и какими бомбами немец бомбил этой ночью дорогу, и по какой причине сжёг немец машину (видимо, включил водитель фары, чтобы проехать по разбитому мостику), и какой глубины колея, идущая к Волге, и насколько глубже колея, идущая от Волги. Чего ж удивляться, что солдаты всё знают, когда они хотят что-либо узнать.

— Шире шаг: — кричали командиры, и на их лица легла та же тревога, что на лица солдат. И странно казалось, легче стало шагать, не так болели плечи, не так резал стёртую ногу проклятый, ссохшийся в степи ботинок.

Гвардейская дивизия генерал-майора Родимцева стремительно двигалась к Сталинграду.

Дивизия получила первоначальный приказ выйти к берегу Волги намного южнее Сталинграда. Но так как в последние часы обстановка в самом городе резко ухудшилась, Родимцев получил новый приказ — не теряя ни минуты, изменить направление движения и прибыть в Красную Слободу, что напротив Сталинграда.

В штабе Родимцева были раздосадованы новым приказом — уже дважды дивизии меняли маршрут.

Никто из командиров и рядовых не знал, что этот новый марш назавтра приведет гвардейскую дивизию на улицы города, с которым людская молва навеки свяжет её имя.

Штаб фронта ушёл на левый берег Волги и разместился в деревушке Ямы, в восьми километрах от Сталинграда.

Немецкие тяжёлые миномёты достигали до Ям, и все отделы штаба находились под постоянным беспокоящим огнём противника. В таком расположении штаба не имелось, казалось, никакого смысла.

Действительно, раз командующий фронтом принял решение сняться из Сталинграда и переправиться на левый берег, было уже безразлично расположится ли штаб в восьми или двадцати километрах от Волги. Неудобств от столь близкого размещения штаба имелось

множество. Из-за обстрелов часто нарушалась связь. Самые спокойные и трудолюбивые сотрудники штаба много времени тратили на разговоры — когда, где, кого ранило, как и когда разорвался снаряд, куда вцепило осколок.

Часть сотрудников искала в этих рассказах смешного: повар управлял штабной кухней на расстоянии и заправлял еду, сидя в щели, официантка при свисте снаряда вздрогнула и вылила на майора тарелку супа, воинственный полковник всё время доказывал, что его отдел должен находиться при первом эшелоне, теперь начал доказывать, что его отдел должен находиться во втором эшелоне.

Другие охали, говорили о ненужности пребывания штаба под огнём.

И все же в этом размещении в деревне Ямы большого военного учреждения, с отделами, подотделами, отделениями, машинистками, писарями, топографами, стенографистками, интендантами, официантками, вестовыми, секретарями, — во всём этом был свой смысл и своя логика.

Из всех блиндажей в Ямах были видны дымящиеся пожарища Сталинграда, ведь штаб ушел на левый берег для того, чтобы лучше организовать защиту города, а не для того, чтобы отступить. Опасность от снарядов и мин в Ямах была не меньше, чем в Сталинграде.

Командиры и комиссары дивизий приезжали в штаб, делали свои дела, возвращались на правый берег, их спрашивали товарищи — начальники штабов, комиссары полков, командиры батальонов, спрашивали с усмешечкой, с которой всегда фронтовой народ, стоящий ближе к смерти, говорит и думает о народе, стоящем дальше от смерти:

— Ну, как там штаб фронта на левом берегу, культурно устроился, отдышались после Сталинграда? А приехавшие из штаба отвечали:

— Ну, брат ты мой, какой черт, пока я от оперативного до АХО добежал, четыре мины немец положил. А город весь как на ладони оттуда виден...

Думали ли обо всём этом люди, принимавшие решение и перемещении штаба в Ямы, а перед тем державшие его в Сталинграде до самой последней возможности?

Люди приняли это решение потому, что всем сердцем не хотели уходить на левый берег, приняли его от желания доказать самим себе своё равнодушие к опасности в эти роковые часы и дни.

Подполковник Даренский приехал в штаб Юго-Восточного фронта в деревню Ямы.

Почти все его бывшие сослуживцы по Юго-Западному фронту находились не здесь, а в деревне Ольховка на правом берегу Волги, северней Сталинграда, там создавался новый фронт — Сталинградский.

Повсюду люди были новые, и лишь к вечеру Даренский встретил подполковника — сослуживца по оперативному отделу Юго-Западного фронта, тот ему рассказал, что обоими фронтами пока командует Ерёмченко, но уже известно, что Ерёмченко станет командовать одним Юго-Восточным; этот фронт объединяет армии Шумилова и Чуйкова, непосредственно прикрывающие Сталинград, и армии, расположенные в степном и межозёрном районе от Сталинграда до Астрахани. На фронт, расположенный севернее Сталинграда, едет новый командующий, будто бы Рокоссовский, тот, что зимой 1941 года командовал под Москвой армией.

О положении на фронте он не стал рассказывать, а только махнул рукой и сказал:

— Плохо, совсем плохо...

Подполковнику не нравилось на новом фронте, и он жалел, что ему не удалось перейти в штаб, стоявший северо-западнее Сталинграда.

— Там хотя бы в Камышин можно съездить, а при удаче и в Саратов, а тут, в Заволжье, верблюды да колючки. И люди здесь мне не нравятся, какие-то они... да вы сами увидите, там я всех знал и меня знали...

Даренский спросил, там ли Новиков, и подполковник ответил:

— Как будто нет, в Москву отозвали, — и, подмигнув, добавил: — Быков зато там...

Он спросил Даренского, есть ли у него квартира, и обещал его устроить в избе, где разместились офицеры связи. В избах жили, кто пониже званием и должностью, а в

землянках — те, кто поважней. В избе офицеров связи Даренский провёл первую ночь, в ней и остался жить, ожидая назначения.

Офицеры связи (старший из них был в звании майора, остальные лейтенанты и младшие лейтенанты) вели однообразную жизнь. Они вообще то были ребята хорошие и относились к Даренскому с почтительностью и фронтовым гостеприимством: уступили ему лучшую постель, в первый вечер принесли ему кипятку.

Впоследствии, случайно просматривая список офицеров связи, выбывших из оперативного отдела, Даренский заметил, что многие его тогдашние соночлежники были убиты при исполнении служебного долга. Но в те дни Даренский постоянно злился на офицеров связи.

Один из них мог после работы спать четырнадцать часов подряд. Со спутанными волосами, он изредка шёл на двор, возвращался и вновь ложился на постель. Остальные в часы отдыха играли в подкидного и грохотали ненавистными Даренскому костяшками домино. А когда за кем-нибудь из офицеров прибежал связной, причём речь шла о смертельно опасной поездке в горящий город, вызванный, уходя, наказывал получить на него продукты и выходил с таким лицом, словно идёт не на смерть, а по обычному, пустому делу.

Товарищи, не прерывая игру, пока он натягивал сапоги, надевал португую и, наконец, шёл к двери, продолжали своё:

— Трефону не любишь, сейчас получишь трефону у меня полный отбой в вальтах... а винёвого тузика не хочешь?

Даренскому казалось, что они живут, как пассажиры в поезде дальнего следования погаснет свет, все сидят, вздыхают, потом спят. Зажётся свет садятся на койку, раскроют чемоданчики, просматривают имущество: один потрогает лезвие бритвы, второй поточит карманный нож, опять сыграют в подкидного или в морского козла. Они внимательно читали газеты, подолгу и молча, но Даренского сердила их манера называть большие очерки «заметками», а трёхколонные сочинения в полгазетной полосы — «статейками»

О своей работе они почти не говорили, а ведь каждое путешествие в Сталинград под обстрелом через ночную Волгу, вероятно, было полно раздирающих душу переживаний.

Даренский спрашивал:

— Как съездили? Ему кратко отвечали:

— Хреново, бьёт всё время.

Когда к офицерам связи приходили свободные от дежурства приятели, разговор у них шёл примерно такой:

— Здорово, ну как?

— Ничего, полковник в командировку сегодня поехал, ты зайди в АХО, там жилеты меховые привезли, в первую очередь, сказал: майор, оперативному давать будут.

— А насчёт дополнительного пайка ничего не слышно?

— Вроде ничего, со второго эшелона ещё не привезли. Один из офицеров связи, Савинов, красивый, плечистый лейтенант, любил рассказывать о том, как хорошо живут строевые командиры рот, отдельных стрелковых, танковых, сапёрных батальонов.

— К награждению представляют сразу же после боя — и тут же ордена выдаёт командир дивизии или командарм, а у нас пока представляют к звёздочке, да пройдёт через фронтовой наградной отдел, да подпишет командующий, да член Военного Совета... На передовой у тебя и парикмахер свой, и повар сготовит, чего захочешь, хочешь студень, хочешь печёночку зажарит, и портной тебе пошьёт френч по мерке, и жалованье гвардейское, будь здоров, не то, что наше...

Но Савинову почему-то никогда не приходило в голову, что все эти мнимые и действительные преимущества командиров переднего края связаны с величайшим сверхнапряжением сил, страданиями от холода, жары, огромными переходами, кровью, ранами, смертью...

Даренского сердило, что офицеры связи мало говорят о женщинах, а если говорят, то

скучно, обыденно. Сам Даренский всегда готов был удивляться, восхищаться женщинами, осуждать их легкомыслие и коварство. Как все истинно женолюбивые люди, он мог увлечься самой серенькой, некрасивой и неинтересной девушкой, все женщины казались ему хороши, в присутствии любой женщины он становился оживлённым, острил.

Ему казалось, что в мужской компании нет интересней разговора, чем разговор о женщинах...

Несмотря на подавленное настроение, он уже два раза ходил на узел связи полюбоваться милыми личиками бодисток, телефонисток, приёмщиц корреспонденции... А красавец Савинов добудет из чемоданчика коробку рыбных консервов, долго повертит в руках, потом вздохнёт, откроет её карманным ножиком и тем же ножом, как гарпуном, вылавливает кусочки рыбы, съест всё содержимое банки, вожмёт зазубренную крышечку, скажет: «Так, порядок», постелит газетку под сапоги и ляжет на койку.

Даренский понимал, что раздражение его против офицеров связи несправедливо. Ведь он их видит лишь в часы отдыха после смертельно опасной работы. А главное, у него самого было плохо на душе, волнение и жажда деятельности вдруг сменились тоской и безразличием.

Разговор с начальником отдела кадров штаба фронта сильно расстроил его. Это был рыжеватый, плотный полковник с медленной, певучей украинской речью, внимательным взглядом небольших, с рыжими искорками, глаз.

Разговаривая, он бережно переключал листы лежавшего перед ним дела, разглядывал пронумерованные, украшенные красными и синими пометками листы. Казалось, он ищет оценку сидящего тут же, в двух шагах от него, человека не в напряженных, живых его глазах, не в взволнованной речи, а в отстуканных на машинке или писанных спокойным писарским почерком строках послужного списка, характеристик, биографических и прочих справок, опросников.

Слушая Даренского и поглядывая в дело, он вдруг то покачивал головой, то слегка поднимал бровь, то глаз его чуть-чуть задумчиво прищурился.

Даренский, видя это выражение полковничьего лица, волновался, старался угадать, какой страницей его служебной жизни вызвано сомнение и недоумение начальника отдела кадров.

Начальник отдела кадров задавал ему вопросы, все те вопросы, какие обычно задают начальники отделов кадров.

Отвечая, Даренский волновался и сердился; он хотел объяснить полковнику, что ведь дело совсем не в том, почему он не был допущен, и не в том, почему он был отчислен и не зачислен, и почему недостаточно отражено то или иное служебное обстоятельство, и почему об этом он указал там-то, но не указал там-то.

Даренскому казалось, что всё это не имеет отношения к самому важному, что решает оценку человека. Почему полковник не интересуется его душевным состоянием, его желанием отдать все силы работе?

Было похоже, что ему предложат работу в управлении тыла, где-нибудь во втором эшелоне, а его любимую штабную оперативную работу ему не доверят.

Начальник отдела кадров спросил:

— А где жена ваша, здесь это не отражено? — и он постучал пальцем по бумаге

— Ведь мы, собственно, разошлись перед войной. Когда со мной была эта неприятность. Собственно, тогда у нас и разладились отношения, — он усмехнулся, — не по моей, конечно, инициативе.

Этот разговор мирного времени происходил в блиндаже начальника отдела кадров под грохот разрывов, гул дальноточных пушек, цоканье зениток на берегу и тяжёлые глухие удары авиабомб.

Когда начальник отдела кадров спросил, в каком году был вновь аттестован Даренский, где-то поблизости крякнуло так сильно, что оба собеседника невольно пригнулись и посмотрели на потолок — не рухнет ли сейчас на них земля и дубовые брёвна; но потолок не

рухнул, и они продолжали беседу.

— Придётся вам обождать, — сказал: начальник отдела кадров.

— Что так? — спросил Даренский.

— Да кое-что уточнить надо тут.

— Что ж, подождём, — сказал: Даринский, — только об одном прошу, не давать мне назначения во второй эшелон, я оператор. И уж очень прошу вас не затягивать с назначением.

— Учтём, учтем, — скачал начальник, но голос его не мог особенно обнадежить Даренского — наоборот, мог лишить надежды.

— Мне как, наведаться к вам? — спросил Даренский вставая.

— Зачем зря беспокоиться. Где вы остановились?

— У офицеров связи.

— Я помечу у себя, когда понадобится — за вами пришлём. У вас как с питанием?»
Аттестат, все в порядке?

— В порядке, — отвечал Даренский

Он шёл обратно в избу офицеров связи и глядел на туманный город, белевший за Волгой. Всё, казалось ему, складывается плохо. Он просидит в резерве многие месяцы. Офицеры связи перестанут замечать его, он сам будет проситься сыграть в подкидного. В столовой девушки-официантки с сострадательной насмешкой за спиной его будут говорить: «А, это безработный подполковник из резерва»

Придя в избу, он, не глядя ни на кого, не снимая сапог, лёг на койку, повернулся к стене, плотно зажмурил глаза.

Он лежал и медленно вспоминал все подробности разговора, выражение лица собеседника. Всё сложилось неудачно — в штабе оказались новые люди, никто его не знает по работе. А по бумагам — что можно сказать.

Его осторожно толкнули в плечо.

— Товарищ подполковник, идите на ужин, — тихо сказал: чей-то голос, сегодня каша рисовая с сахаром, а то скоро столовая закроется.

Даренский продолжал лежать неподвижно.

Второй голос сердито сказал:

— Зачем ты товарища подполковника беспокоишь, видишь — отдыхает. А если утром окажется — заболел, ты пойдёшь в санчасть и врача приведи — И совсем тихо тот же голос добавил: — А ещё лучше, принеси подполковнику ужин на квартиру, может, в самом деле болен, в столовую метров шестьсот, все таки трудно. Я бы сам сходил, да мне сейчас на тот берег переправляться, пакет Чуйкову. Мой ужин возьми сухим пайком, сахар особенно.

Даренский узнал голос — это был Савинов. Он вздохнул и почувствовал, что слезы внезапного умиления выступили у него сквозь плотно сжатые веки.

Утром, когда офицеры связи, не вызванные ночью, подшивали воротнички, омывались, чистили сапоги, вошел, запыхавшись, посыльный и, быстро оглядевшись, с опытностью тертого штабного солдата, сразу определив старшего званием, выговорил скороговоркой, без точек и запятых:

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться, кто здесь товарищ подполковник Даренский? Вас полковник срочно вызывает в отдел кадров, велел до завтрака прийти. Разрешите быть свободным, товарищ подполковник?

В отделе кадров Даренскому сообщили о назначении на большую и ответственную работу в штаб артиллерии — о такой он и не мечтал, даже не помышлял.

— Надо явиться завтра в штаб артиллерии к полковнику Агееву, он велел в четырнадцать, — строго глядя на Даренского, сказал: начальник отдела кадров.

— Есть, явиться завтра в четырнадцать, — ответил: Даренский. Тот, точно поняв новые мысли Даренского, сказал:

— Вот видите, оказалось, что всё без задержки, а вы, верно, думали: бюрократы меня замотают, — и, рассмеявшись, добродушно добавил с протяжным украинским выговором: —

Бюрократы мы, верно, но на войне треба торопиться.

В последний вечер Даренский впервые по душам разговорился с офицерами связи и был искренне удивлён, что не видел до сих пор, какие они чудесные парни: скромные, мужественные, простые, начитанные, работающие, расположенные к людям...

Он допоздна разговаривал с ними и открывал в них всё новые и новые добродетели. Казалось, достоинствам офицеров связи не было конца.

Он всё не верил себе — так хорошо ему было, так радостно, свободно дышалось в этой избе в унылых солончаках Заволжья, среди угрюмого грохота артиллерии, среди гудения боевых самолётов.

Мечта его свершилась: он получил ответственную, большую работу, его начальником станет человек талантливый, опытный и умный; его будущие сослуживцы — артиллеристы, люди поистине замечательные: умницы, трудолюбивые, остроумные, и ему невольно стало казаться, что вокруг всё вдруг стало светло и легко.

Так бывает с человеком в пару успеха, — собственная жизнь стала казаться Даренскому необычайно значительной, удачливой, а грозное положение на фронте уже не представлялось таким мучительным, сложным и тяжёлым.

Агеев был человек уже совсем седой, но очень подвижной и деятельный. Его помощники, шутя, говорили о нём:

— Если б нашему полковнику дать волю, он внедрил бы артиллерию и в цветоводство, и в скоростное дачное строительство, и в Московский художественный театр.

В 1939 году он был глубоко уязвлён, узнав, что сын его решил учиться на филологическом факультете. А когда спустя год после этого дочь, которую он возил по воскресным дням на полигон «слушать настоящую музыку», вышла замуж за кинорежиссера, Агеев сказал: жене:

— Вот плоды твоего воспитания, погубили девочку.

У него имелась теория артиллерийского характера и физической конституции артиллеристов: «Наш русский артиллерийский народ с большим черепом, с большим мозгом, ростом большой, в плечах широкий, костистый».

Сам он был болезненный, хрупкого сложения и небольшого роста, ноги у него были такими маленькими, что жена покупала ему «мальчишковые» ботинки в детском отделе Военторга — страшная тайна, известная, как думал Агеев, лишь ему одному, но в действительности разглашённая по штабу артиллерии его адъютантом, участником этих покупок.

Агеев считался хорошим и опытным артиллерийским командиром, его уважали и ценили за большие знания и живую, всегда молодую и смелую голову. Но некоторые, ценя достоинства Агеева, не любили его за плохой характер.

Он бывал резок, насмешлив, часто невоздержанно перечил и спорил.

Он больше всего не любил карьеристов и политиканов, и однажды на Военном Совете наговорил своему сослуживцу, которого подозревал в угодничестве, столько обидных слов, что произошёл конфликт, дошедший до Москвы.

Даренский ожидал решения своего вопроса как раз в то время, когда у Агеева происходили большие служебные волнения. Речь шла о решении исключительно ответственном — переводе тяжёлой артиллерии из Сталинграда на левый берег.

Агеев объездил песчаные, поросшие густым лозняком и молодым лесом прибрежные районы и нашёл, что бог создал Заволжье, чтобы удобней разместить в нём артиллерию больших калибров.

Затем он перебрался на моторной лодке в город, побывал на батареях, в штабах тяжёлых артиллерийских дивизионов и полков, разместившихся на площадях и среди развалин, и, понаблюдав условия их работы, понял, что тяжёлая артиллерия на правом берегу работать не сможет.

Немцы вплотную подошли к городу. Снайперы и небольшие подразделения немецких автоматчиков проникали ночью в центральные районы города, пробирались среди развалин

и стреляли по огненным позициям тяжёлой артиллерии и по артиллерийским штабам.

Достойных объектов для тяжёлых калибров в таких условиях отыскать было нельзя, и приходилось вести огонь по мелким, подвижным группам, по отдельным пулемётным и миномётным гнёздам.

Усилия артиллеристов дробились по мелочам, и главной их заботой было оборонять от внезапных наскоков драгоценные пушки.

Связь всё время нарушалась. Подвоз тяжёлых снарядов к огненным позициям по заваленным улицам был необычайно сложен, а часто и вовсе невыполним.

Агеев доложил обо всём этом командующему с раздражающей прямолинейностью, произнося множество своих любимых слов: «благоглупость», «перестраховочка», «я ответственности не боялся и бояться не буду» — и стал требовать срочного перевода тяжёлой артиллерии на левобережье Волги.

Он пришёл на доклад в самый для себя неудачный момент. Донесения с фронта поступали тревожные и тяжёлые, войск было мало, немцы подошли к сталинградским окраинам и, по последним данным, несколько часов назад начали штурм города. Гвардейская дивизия Родимцева, брошенная на помощь Сталинграду, была ещё на подходе.

Двигались массы противотанковой артиллерии, полки гвардейских миномётов, тяжёлая артиллерия Ставки Верховного Командования; для подвоза войск и боеприпасов был выделен гигантский парк резерва Ставки. Сталин поставил задачу перед командованием не делать ни одного шага назад.

Немцы, явно учуяв движение резервов к Сталинграду, поторопились начать последний штурм.

Тревога и напряжение нарастали: командиры некоторых частей то и дело обращались в штаб фронта с просьбами о переводе под всевозможными предлогами штабов на левый берег.

Вот в это то время и явился Агеев с разговорами о немедленном выводе тяжёлых пушек на левый берег.

Среди десятков просьб такого же рода эта была продиктована интересами дела. Среди десятков неправильных предложений предложение Агеева явилось объективно нужным и важным.

Десяткам людей генерал справедливо отказывал в их просьбах, но просьбу Агеева диктовала сама необходимость.

Однако свет устроен не так уж совершенно, ошибаются все люди, даже командующие. Командующий по инерции заподозрил Агеева в эвакуаторстве.

Никто из работников штаба не присутствовал на докладе Агеева. Известно было лишь, что доклад не был особенно продолжителен и что, вернувшись в свой блиндаж, Агеев швырнул папку на стол, издал странный носовой звук, дважды за ночь принимал валериановые капли и перекопал всю свою походную библиотеку в поисках душевного успокоения.

Потом уж адъютанты командующего рассказывали приятелям из оперативного отдела, что никому из эвакуаторов не влетело так сильно, как Агееву.

На языке адъютантов это называлось «дать дрозда». В том, что проделал Агеев на следующий день, сказалась его самопожертвованная и чистая любовь к общему делу и к артиллерии.

Он вновь поехал в город и на свой страх — а страх был не шуточный приказал переправить на самодельных плотках два тяжёлых дивизиона на левый берег. Всем управленцам и командованию полка он строго велел оставаться в городе. Связь управления с огневиками первое время поддерживалась через Волгу проволокой, которую Агеев до замены специальным кабелем посоветовал обмазать смолой.

После дня работы подтвердилась польза перевода тяжёлой артиллерии на левый берег — пушки работали неутомимо, опасность им не угрожала, вопрос о доставке тяжёлых снарядов решил сам собой.

Телефонная связь ни разу не нарушалась, огневики перестали думать о немецких автоматчиках, а занимались лишь стрельбой, управленцы, командование, развязав себе руки и перестав бояться за пушки, ушли к пехоте и сообщали на огневые о движении больших масс противника, достойных внимания бога войны.

Нервная, лихорадочная стрельба на авось сменилась сокрушительным прицельным огнём.

Стало ясно, что уход тяжёлой артиллерии за реку — не отступление, а жизненная необходимость. Это была первая заявка артиллерии на одну из ведущих ролей в обороне Сталинграда, первый образец бесценной братской помощи заволжской артиллерии сталинградской пехоте.

Агеев вновь отправился к командующему.

Он доложил о том, что все наличные миномёты, батальонные, полковые артиллерийские средства перебрасывает в город; одновременно он послал в город многих сотрудников штаба артиллерии, затем уж сказал: о двух тяжёлых дивизионах на левом берегу и живописал их отличную работу, подчеркнув, что управление и командование остаются в городе — «на самом что ни на есть переднем крае».

Генерал, получивший донесения, что, наконец-то, долгожданная гвардейская дивизия Родимцева подходит к Красной Слободе, надел очки и стал читать вновь положенный перед ним Агеевым проект приказа о занятии тяжёлой артиллерией огневых позиций на левом берегу Волги.

— А как эти дивизионы сюда попали? — спросил он тонким, почти девичьим голосом и ткнул пальцем в приказ.

Агеев закашлялся, утёрся платочком, но, так как ещё мать приучила его говорить только правду, ответил:

— Я перевёл их, товарищ генерал

Генерал снял очки и посмотрел на докладчика.

— В виде опыта, товарищ генерал, — поспешно добавил Агеев.

Генерал молча смотрел на лежащий перед ним проект приказа, — он дышал с хрипотцой, губы его надулись, морщины собрались на лбу.

Сколько труда, волнения было вложено в эти короткие строки, в этот тоненький листок бумаги...

Артиллерия дальнего действия, сосредоточенная на левом берегу Волги и подчинённая командующему фронтом! Большие калибры, тяжёлые миномёты, реактивная артиллерия — «катюши»! Какой сокрушительный кулак, какая плотность огня, какая маневренность, какая быстрота сосредоточения!

Агеев стал считать про себя секунды. Он досчитал до сорока пяти, а генерал всё молчал.

«Старик под суд меня отдаст», — подумал Агеев, мысля генерала стариком, хотя был на восемь лет старше его.

Он снова вынул платочек, внимательно и грустно посмотрел на вышитую женой оранжевую шёлковую меточку.

В этот момент генерал подписал приказ.

— Дельно, — сказал: он.

— Товарищ генерал, вы сделали большое дело, — волнуясь, проговорил Агеев, — ручаюсь честью, в этом решении залог нашего несомненного успеха. Мы создадим невиданной силы артиллерийский кулак. — Командующий молча отодвинул приказ и потянулся к папиросам. — Разрешите итти, товарищ генерал? — меняя голос, спросил Агеев и пожалел, что не поговорил о «перестраховочке» одного из штабных генералов.

Генерал откашлялся, посвистел ноздрями и, неторопливо кивнув головой, сказал:

— Выполняйте, можете итти! — Потом он окликнул Агеева: — Сегодня Военный Совет баню пробует на новом месте, приходите часиков в девять, попаримся.

— Обошлось, — с некоторым удивлением сказал: и адъютанты, когда Агеев, улыбаясь,

помахал им рукой на прощание и стал подниматься по земляным ступеням.

Вот в эту удачную пору Агеева и пришел к нему на службу Даренский.

Ночью Даренского, назначенного на работу в штаб артиллерии, дважды вызывал начальник.

Беспокойный Агеев всегда огорчался, когда его сотрудники ночью спали, обедали в обеденный перерыв или отдыхали после работы.

Он поручил Даренскому на рассвете выехать на правый фланг проверить, как прошла переправа орудий, какова маскировка их на новых огневых позициях, переговорить по телефону с командирами полков и дивизионов в Сталинграде, проверить связь — проволочную и по радио, обеспечение боеприпасами, побывать на дивизионных обменных пунктах. Отпуская Даренского, Агеев сказал:

— Всё время меня информируйте, каждые три-четыре часа докладывайте, связь со мной у них через второй эшелон 62-й армии. Если кого-нибудь из старших командиров обнаружите на огневых, немедленно выгоняйте в Сталинград. Имейте в виду, разведотдел донёс о крупном сосредоточении противника в южном районе, напротив Купоросной балки. Завтра нам предстоит держать первый серьёзный экзамен — командующий хочет нанести массированный артиллерийский удар.

До рассвета оставалось ещё часа два, но Даренскому не хотелось ложиться, он не спеша пошёл к своему блиндажу.

Над Волгой стояло неяркое зарево пожара, и стёкла в деревенских домах розовели. Прожекторы освещали небо, гудели самолёты, из города доносилась пушечная стрельба, иногда слышались пулемётные очереди. Часовые вдруг выходили из тьмы и для порядка спрашивали:

— Кто идёт?

Даренский радовался тому, что не спал ночь и, не отдохнув, должен пуститься в дорогу. Он мечтал последнее время об усталости, о бессонных трудовых ночах, об опасности и большой ответственности — и вот всё это свершилось.

Пройдя в блиндаж, он зажёл свечу, положил перед собой на столик часы, вынул из сумки бумагу и конверт с заранее написанным адресом и стал писать матери письмо.

Он писал и поглядывал на часы — скоро ли зашумит перед блиндажом автомобиль.

«...Это, может быть, первое послание, в котором не будет мечтаний, просто оттого, что мечты осуществились. Не стану описывать своего путешествия, такое же, как и все военные путешествия — не в меру много пыли, духоты, тесноты, ночных тревог. Был у меня, как полагается, в пути приступ, но, уверяю тебя, не вру, — самый пустяковый. Не стал бы вспоминать о нём, если б не связал себя словом писать обо всём, не скрывая. Прибыл на место. Началось у меня из рук вон плохо. Я пал духом, решил, что придётся либо в резерве болтаться, либо загонят в тыловую дыру. Но тут, видно, воздух и всё как-то иначе. Пренебрегли формальностями, и я работаю теперь день и ночь на ответственной, оперативной должности, как пьяный, вот и эту ночь не спал, пишу тебе перед рассветом, а сейчас вновь выезжаю. Я даже не знаю, с чем сравнить своё состояние. Артиллеристы, сослуживцы мои, люди замечательные, умные, культурные, сердечные, чудесный народ. Начальник принял меня сердечно. Тут произошло одно дело, и он вёл себя изумительно, ты ведь знаешь, что военному человеку можно быть героем и не под пулями.

Словом, у меня, как говорят, каждая жилка играет, ощущение непередаваемой радости, значительности всего, что делаю. Дела идут превосходно, люди дерутся, как львы, настроение у всех отменное, бодрое, никто не сомневается в победе.

Между прочим, мне тут рассказывали, что в армии вводятся погоны, уже шьют их в тылу на фабриках, — золотые будут для строевых, а серебряные для интендантов.

Да, кстати, вчера выпил водки, закусил жирной свиной с чёрным хлебом, и язва моя даже не поморщилась — вдруг стал совершенно здоров.

В общем, готов писать бесконечное письмо, которое, в конце концов, тебе наскучит читать... Я очень прошу тебя — береги себя, не волнуйся, не мучь себя тревогами обо мне.

Пиши — полевая почта на конверте, пиши обо всём, как у тебя, запасла ли топливо на зиму... И ещё раз, не волнуйся обо мне. Помни, что мне никогда не было так радостно и хорошо на душе, как сейчас...»

Он запечатал конверт, пододвинул к себе лист бумаги и задумался — писать ли на Донской фронт, старшей машинистке Ангелине Тарасовне, или написать молодому врачу из терапевтического госпиталя, Наталии Николаевне, провожавшей его две недели назад на вокзал.

Но в это время послышался шум автомобиля, и Даренский, отложив бумагу, встал и надел шинель.

Подхода дивизии гвардии генерал-майора Родимцева с мучительным нетерпением ожидали в штабе фронта.

Но это мучительное нетерпение и напряжение всё же не шло ни в какое сравнение с тем, что испытывали военные люди, находившиеся на правом берегу Волги, в самом Сталинграде...

10 сентября немцы начали общий штурм города. Две немецкие армии, 6-я и 4-я танковая, при поддержке бомбардировочной авиации, наступали на город с юга, с запада и севера.

В наступление на город было брошено свыше ста тысяч человек, пятьсот танков, около полутора тысяч артиллерийских орудий, тысяча самолётов.

На севере наступавшие немецкие войска были прикрыты 8-й итальянской армией, с юга — дивизиями 6-го армейского корпуса.

Главный удар по городу наносился с юга, со стороны Зелёной Поляны, Песчанки и Верхней Ельшанки, и с запада, со стороны Городища и Гумрака. Одновременно немецкие войска усиливали давление с севера на Тракторный завод и посёлки завода «Красный Октябрь».

Под сильными ударами с юга и запада, которые с нарастающей мощью наносил в эти ясные сентябрьские дни немецкий наступательный молот, медленно сплющивалась, отходила к Волге оборона 62-й армии.

Немецкие атаки с юга были отражены, но во второй половине дня 1? сентября немцы, наступавшие с запада, прорвались в центральный район Сталинграда.

Улица за улицей в центральной части города переходили в руки немцев.

Пространство, отделяющее немцев от берега Волги, таяло с каждым часом. Яростная контратака на несколько часов приостановила продвижение противника.

В руках 62-й армии, если глядеть от севера к югу, находились три завода: Тракторный, «Баррикады» и «Красный Октябрь»; затем прибрежная полоса длиной в десяток километров и шириной не более двух-трёх, отделявшая заводы от центральной части города.

В этой полосе, сильно пересечённой балками и оврагами, идущими перпендикулярно к течению реки, находились мясокомбинат, несколько рабочих посёлков, железнодорожные пути и насыпи, ведущие вдоль Волги к заводам, нефтехранилища, измазанные огромными рыжими, зелёными и черными запятыми, отчего они казались ещё заметней в прозрачном осеннем небе.

На этом же участке находилась господствующая над Сталинградом и Волгой высота 102. Военные называли её высотой 102, сталинградцы — Мамаевым Курганом. Через несколько недель сталинградцы, наглядевшись на военные карты, стали звать этот курган высотой 102, а военные, породнившись с городом, говорили Мамаев курган.

Если смотреть дальше на юг, туда, где находился центр города, то полоса земли, занятая 62-й армией, всё суживалась; часть центральных улиц уже находилась в руках немцев, и постепенно от района пассажирских пристаней, памятника Хользунову, к устью Царицы и элеватору полоса эта сходила на нет там немцы вышли к самой Волге.

Просторные южные промышленные районы Сталинграда — Сталгрэс, «Завод 95», посёлок Бекетовка, Красноармейск, прикрытые 64-й и 57-й армиями, были отрезаны в начале второй декады сентября от центральной части города.

С севера немцы ещё 2? августа в районе Ерзовка — Окатовка отрезали 62-ю армию от войск, стоящих северо-западнее Сталинграда.

Таким образом, 62-я армия находилась как бы в сплюснутой пятидесятикилометровой подкове; за спиной у неё с востока была Волга, с севера, запада и юга — немецкие дивизии.

Командный пункт 62-й армии за эти дни трижды менял своё местоположение. С высоты 102, после того как враг завязал бои за неё, штаб перекочевал в штольню на реке Царица. После этого враг вновь вплотную подошёл к новому командному пункту, и командарм переселил штаб на волжский обрыв, недалеко от завода «Красный Октябрь», под нефтяными баками.

Не надо обладать ни военными знаниями, ни особым воображением, чтобы, взглянув на карту, представить чувства и состояние командования армией внутри этой сжимавшейся с каждым часом железной подковы.

Истощённые, обескровленные стрелковые дивизии, измотанные танковые бригады, подразделения морской пехоты, курсанты военных училищ, отряды народного ополчения — вот всё, что мог до подхода подкреплений противопоставить в эти дни командующий армией стотысячному гитлеровскому войску, начавшему штурм Сталинграда.

14 сентября с утра советские части вновь яростно контратаковали немцев на центральном участке фронта. Контратака имела успех, немцы были несколько потеснены. Однако мощной силой танков и авиации они нейтрализовали успех советских частей и продолжали штурм центральной части города.

К трём часам дня немцы захватили вокзал Сталинград 1-й и значительно расширили зону прорыва в центре города.

С утра блиндаж командующего армией Чуйкова сотряснулся от грохота авиационных бомб.

Командарм сидел на койке, застеленной серым одеялом. Он сидел, опершись локтями о маленький столик, запустив пальцы в курчавые спутанные волосы, красными от бессонницы глазами тяжело смотрел на лежавший перед ним на столе план города. Курчавые, спутанные волосы, большой мясистый с горбинкой нос, небольшие, тёмные, но яркие глаза, засевшие под выпуклыми надбровными дугами, толстые губы — всё это придавало смуглому и полнокровному лицу его выражение особое, угрюмое, властное и привлекательное.

Командарм вздохнул, переменял положение тела и подул на кисть руки — кожа мучительно зудила: обострившаяся нервная экзема не давала ему покоя ни днём, в часы оглушающих налётов немецкой авиации, ни ночью, в пору упорной и лихорадочной работы.

Электрическая лампа, подвешенная над столом, покачивалась, белые сыроватые доски, обшивавшие стены и потолок блиндажа, страдальчески вздыхали и скрипели. Висевший на стене револьвер в жёлтой кобуре то начинал раскачиваться, подобно маятнику, то вздрагивал, собираясь сорваться с гвоздя. Ложечка на блюде рядом с недопитым стаканом чаю позванивала и дрожала, заражённая дрожью земли. Оттого, что лампа покачивалась, тени предметов шевелились по стенам, вздрагивали, то набегали к потолку, то сбегали к полу.

Минутами этот тесный блиндаж напоминал каюту парохода во время морской качки, и чувство тошноты подкатывало к горлу.

Отдельные звуки разрывов за толстым сводом и двойными дверями сливались в нечто гудящее и вязкое, ноющее, имеющее, казалось, тяжёлую массу. Этот звук давил на темя, царапал мозг, вызывал резь в глазах, обжигал кожу. Этот звук проникал в самое нутро, мешал сердечному ритму и дыханию. Он, видимо, не был лишь звуком, с ним сливалась и смешивалась лихорадочная дрожь земли, камня, дерева.

Так обычно начиналось утро — немцы с рассвета и до заката долбили авиационными бомбами то один, то другой участок прибрежной земли.

Генерал провёл языком по пересохшим от бесконечного ночного курения дёснам и губам и, продолжая глядеть на карту, вдруг зычно крикнул адъютанту:

— Сколько сегодня?

Адъютант, хотя и не расслышал вопроса, но уже зная, каков бывает первый утренний вопрос, ответил?

— До двадцати семи одномоторных, — и склонился над столом, проговорив над ухом командующего: — Пашут, паразиты, одни приходят, другие уходят, волнами до самой земли пикируют. Метров сто пятьдесят отсюда рвутся.

Чуйков посмотрел на часы — было без двадцати минут восемь. Уходили пикировщики обычно в девятом часу вечера, оставалось терпеть бомбёжку «всего» ещё

часов двенадцать тринадцать... «Минуток восемьсот», — сосчитал он и крикнул:

— Папирос!

— Чай пить будете? — переспросил, не расслышав адъютант, но, поглядев на нахмуренное лицо командующего, поспешно прибавил — Понятно, папирос.

В блиндаж вошёл плотный, большелобый, с лысеющей головой человек, с петлицами дивизионного комиссара. Это был член Военного Совета армии Гуров. Он обтёр платком лоб и щёки, отдуваясь, сказал:

— Меня с койки сдуло, немецкий будильник опять ровно в половине восьмого начал.

— Сердце у тебя не в порядке, товарищ член Военного Совета, — крикнул командующий, покачав головой, — дышишь тяжело!

Политработники, некогда знавшие Гурова по Военно-педагогическому институту и вновь встретившие его в грозные дни Сталинградской обороны, находили, что прежний Гуров и член Военного Совета Гуров похожи друг на друга. Но самому Гурову казалось, что он совершенно изменился за войну, и ему иногда хотелось, чтобы дочь поглядела на него, «папочку», в те минуты, когда он весной 1942 года выходил на танке из-под Протопоповки, или теперь, сталинградской осенью, пробирался в сопровождении автоматчика на командный пункт дивизии, выдерживающий немецкие удары с земли и воздуха.

— Эй, — закричал в сторону полутёмного коридора командующий, — скажи, пусть дадут чаю!

Когда девушка в кирзовых сапогах, уже знавшая, что такое «чай» в такое утро, как это нынешнее, внесла селёдку с луком, икру и копчёный язык, дивизионный комиссар сказал, глядя, как она ставит на стол две гранёные стопки:

— Три давайте, сейчас начальник штаба придёт. — Он показал рукой, что у него в голове всё смешалось от бомбёжки, и спросил: — Сколько часов мы не виделись, часа четыре?

— Поменьше, в пятом часу кончил заседать Военный Совет, а начальник штаба ещё минут сорок у меня сидел, латали тришкин кафтан, — проговорил командующий.

Член Военного Совета сердито посмотрел на раскачивающуюся электрическую лампочку и, подняв ладонь, остановил её.

— Бедность не порок, — сказал: он, — тем более, что скоро будем богаты, очень, очень будем богаты. — Он улыбнулся. — Вчера пробрался в штаб пехотного полка к командиру майору Капронову. Сидит командир под землёй в магистральной подземной трубе со своими людьми, ест арбузы и говорит: «Поскольку они мочегонные, я сижу в водопроводной трубе, далеко ходить не нужно». А кругом ад кромешный. Хорошо, что смеётся. Счастливое свойство. Пришёл с заседания от тебя ночью — меня ждал Кузнецов, комиссар дивизии НКВД. Пять их полков растянулись от заводов до центра. Двести шестьдесят девятый полк отходит, непрерывные атаки — танки и пехота. Потери огромные, в двести семьдесят первом полку сто десять человек осталось, а из них сорок человек в партию подали! О чём это говорит? В двести семьдесят третьем сто тридцать пять человек осталось. А какие у них полки были полнокровные! Вот в их двести восемьдесят втором потери поменьше; Кузнецов говорит, — тысяча сто штыков. Шестьдесят два человека в полку в партию подали! Нет, нас с таким народом никто не побьёт!

Командующий ударил кулаком по столу, закричал не для того, чтобы пересилить внешний шум, а от внутренней ярости и боли:

— Я от командиров и солдат требую всего невозможного, сверхчеловеческого! А дать

что могу им? Роту охраны штаба в подкрепление, штабную батарею, лёгкий танк, что ли? А какие люди дерутся, какие люди! — Он снова ударил кулаком, да так, что привычная к бомбёжке посуда подскочила, и налился тёмной краской. Если не подспеют подкрепления, вооружу штаб гранатами и поведу! Чёрт с ним! Чем в мышеловке этой сидеть или в воде барахтаться. Хоть вспомнят тогда! Не оставил, скажут, без подкрепления вверенные войска.

Он исподлобья, нахмутив брови, поглядел, положив руки: на стол. Молчание длилось долго, потом по его лицу от углов глаз пошла лукавая улыбка.

Улыбка, медленно, с трудом преодолевая угрюмую складку губ, осветила всё его лицо, и оно, потеряв своё грозное выражение, посветлело, засмеялось.

Он погладил дивизионного комиссара по плечу:

— Вы тут похудеете, ты, то есть (они накануне, торжественно расцеловавшись, перешли на «ты» и ещё сбивались, не привыкли): — Похудеешь, похудеешь!

— Я знаю, — сказал: Гуров и улыбнулся командующему, — похудею не только от немцев.

— Вот-вот, и от меня, от моего тихого характера. Да это ничего, похудеешь, для сердца полезно. — Он зычно позвал в телефон: — Второго! — и тотчас проговорил: — С утренней бомбёжкой вас, что ж вы опаздываете? Или отдыхаете? Давайте, давайте, а то чай стынет.

Дивизионный комиссар прижал ладонью ложечку, звеневшую на блюде, и увещевающе сказал: ей:

— Да перестанешь ты дрожать, — и, подняв руку, снова остановил начавшую вновь качаться лампочку.

В это время вошёл начальник штаба Крылов. Всё в нём дышало неторопливым, необычайным в этой обстановке покоем. Большая голова с приглаженными, смоченными водой волосами, и чистый, без морщин лоб, и большое лицо с крупным носом, и усталые большие карие глаза, и полные свежесвыбритые щёки с несколько ноздреватой кожей, пахнущие одеколоном, и белые руки с овальными ногтями, и белая полоска над воротничком френча, и мягкие движения, и внимательная улыбка, с которой он взглянул на накрытый стол, — всё принадлежало человеку непоколебимо, принципиально спокойному.

Негромкий голос его был почему-то слышен среди гула и грохота, и ему не приходилось кричать, как другим. То ли он умел произносить слова именно в те мгновения, когда несколько смолкал гул бомбёжки, то ли научился выбирать какой-то особый тембр голоса, незаглушаемый громом войны, то ли спокойствие его было настолько сильно, что оно не смешивалось с раскатами штурма и всплывало, как масло на поверхности гремящих вод.

Вся война прошла для него в грохоте осады, и он привык к тому молотобоец, привыкший к грому молота.

Осенью 1941 года он был начальником штаба армии, оборонявшей Одессу, затем — начальником штаба армии, оборонявшей двести пятьдесят дней Севастополь, сейчас он стал начальником штаба армии, оборонявшей Сталинград.

Член Военного Совета, улыбаясь, — видимо, ему доставляло большое удовольствие смотреть на спокойное лицо начальника штаба, — спросил:

— Что в южной части:

— Артиллерия выручает из-за Волги, намолотила и наворотила немцев. Толково её там расставили. Весь день «эрэсы» и тяжёлые работали по южной окраине. Мои сотрудники подсчитали, что немцы за вчерашний день произвели тысячу сто самолёто-вылетов.

Чуйков недовольно пожал плечами:

— Мне-то что, от такого подсчёта ни холодно, ни жарко. Начальник штаба юмористически сказал:

— Что дурни роят, воду меряют. Наши КВ отбили танковую атаку. Потери за вчерашний день меньше позавчерашних, но я думаю оттого, что машин меньше осталось. Картина ясная. Но оттого, что она ясная, нам не легче. Выжигают с воздуха Ворошиловский район. Бесперывно атакуют с воздуха и с земли с прежних направлений: Гумрак, Городище,

Бекетовка. По солдатским книжкам убитых видно, что со вчерашнего дня появились две новые дивизии. А на юге держим! Ночью замечено сосредоточение в районе Тракторного — танки, пехота. Видимо, противник считает задачу по городу практически выполненной и перегруппировывает силы. Много самолёто-вылетов на заводы, очевидно, подготовку начали.

— А мне-то, мне-то, — проговорил командарм, — когда противник перегруппировывается для решающей атаки, мне-то где взять людей для перегруппировки, надавать ему по зубам! Спросят-то с меня! Я сам с себя спрошу! Вот потеряли вокзал, элеватор, дом Госбанка, Дом специалиста...

На некоторое время они замолчали — взрывы, стремительно нарастая, подкатывали к блиндажу Тарелка, стоящая на краю стола, упала и, казалось, беззвучно, как на немом киноэкране, разбилась.

Начальник штаба отложил вилку, полуоткрыл рот, сощурился, вибрация земли и воздуха стала нестерпимой, раскалённая игла входила в мозг. Лица сидевших стали неподвижны. Вдруг блиндаж весь затрясся, заскрипел, всё заходило, словно в гармошке, лихо растянута и снова сжатой грубым рывком чьих-то пьяных рук.

Все трое за столом распрямились, подняли головы: вот она и смерть!

И вдруг наступила оглушительная, дурацкая тишина. Дивизионный комиссар вынул платок и помахал им около лица. Начальник штаба приложил большие белые ладони к ушам:

— А я уж вилку поскорей отложил, — сказал: Крылов, — подумал ещё откопают меня с вилкой в руке, смеяться будут. Командарм искоса посмотрел на него и спросил.

— Всё ж таки сознайтесь, в Севастополе ведь такого не было, там ведь не так бомбили?

— Трудно сказать, но пожалуй...

— А-га-а, пожалуй, — сказал: командующий, и в этом «ага» была радость, горькая гордость, торжество: он, должно быть, ревновал начальника штаба к Севастополю, ему, видимо, хотелось, чтобы ничто на войне не могло сравниться с той тяжестью, что он принял на свои плечи. Но, кажется, так и было.

— Нет, в Севастополе не так было. Куда Петрову до нас, — отдуваясь и лукаво улыбаясь, сказал: Гуров, и командарм, увидя, что его чувство разгадано, рассмеялся.

— Что ж, как будто притихло, — сказал: Чуйков, — давайте выпьем за Севастополь.

И едва он произнёс эти слова, вновь сверху послышался воющий звук, и страшный удар потряс блиндаж, затрещало крепление, сквозь лопнувшие доски посыпались на стол пыль и труха.

В пыли на мгновение потонули все предметы и лица людей, и лишь слышались взрывы то справа, то слева, сливающиеся в один потрясающий барабанный звук

Когда пыль стала оседать, командующий армией, кашляя и чихая, посмотрел на стол, на чудом уцелевшую и продолжавшую гореть лампу, на опрокинутый, упавший на пол телефон, на ставшую вдруг пепельно-серой подушку, на побледневшие, напряжённые лица своих товарищей и вдруг с какой-то необычайной простотой улыбнулся и сказал:

— Ну и попали мы с вами в Сталинград, за какие грехи? И столько детского удивления было в его улыбке, и такой человеческой, солдатской простотой прозвучали его слова, что все, слышавшие его, невольно усмехнулись.

Адъютант, растирая ладонью ушибленную голову, доложил:

— Товарищ командующий, один сотрудник штаба убит, двое ранено, разрушен блиндаж коменданта штаба.

А командарм, вновь суровый и напряжённый, посмотрел на растерянное лицо адъютанта и резко сказал: ему:

— Связь, связь мне немедленно восстановить!

— Нет, в Сталинграде круче, чем в Севастополе, — повторил дивизионный комиссар понравившуюся ему фразу.

— А что же, конечно, круче, — подтвердил командующий, — и оборону трудней строить, все улицы к Волге идут; прямые, короткие, простреливаются насквозь, от первого

номера дома до последнего.

В блиндаж вошёл дежурный по штабу:

— Покажи-ка, — и командующий протянул руку к пачке донесений и шифровок, не давая дежурному доложить по форме.

— Тринадцатая гвардейская поступила в моё распоряжение, выходит к Волге, торжественно и внятно сказал: он. Все склонились над телеграммой.

— Черт! — сказал: командарм и вскочил на ноги. — Сегодня приступим к переправе. Эх, если бы вчера! Не пустил бы я его так далеко в город! Оставшимися танками выйду на набережную, обеспечу переправу. С передовой, из боевых частей ни одного человека не сниму! На танки посажу работников штаба.

— Дивизия полнокровная, — проговорил начальник штаба, — она, думаю, восстановит положение, которое минуту назад я считал совсем скверным.

— Родимцев меня спасать пришёл, — усмехнулся командарм.

Три события были весьма важны в первой половине сентября 1942 года для Сталинградской обороны: наступление советских армий северо-западной Сталинграда, массирование тяжёлой артиллерии на левом берегу и переправа на правый берег новых дивизий, в первую очередь родимцевской дивизии.

Бои, завязанные по приказу Ставки северо-западной Сталинграда, отвлекли от города большие силы немцев и итальянцев. Это и дало возможность продержаться до подхода подкреплений в те раскалённые минуты, когда немецкое командование готовилось объявить о занятии Сталинграда.

Дивизия Родимцева переправлялась через Волгу с хода. Батальоны сгружались с машин, и тут же на берегу, у самой воды, старшины взламывали патронные ящики, вспарывали мешки с сухарями, разбивали прикладами ящики с консервами, раздавали людям патроны, гранаты, запалы, сахар, концентраты.

И тут же на берегу политруки рот и полковые агитаторы по указанию комиссара дивизии зачитывали приказ Военного Совета № 4: «Стоять насмерть!», раздавали газету «Красная звезда» от четвёртого сентября с передовой статьей «Отбить наступление немцев от Сталинграда», проводили короткие пятиминутные беседы о фактах героизма, рассказывали о бронбойщиках Болоте, Олейникове, Самойлове, Беликове, уничтоживших пятнадцать танков в одном бою.

И тотчас же повзводно, поротно красноармейцы грузились на катеры, баржи, паромы, и шуршание шагов по мокрому песку сменялось дробным сухим тарахтением сотен тяжёлых сапог по палубным доскам — казалось, погрузка людей идет под негромкую, тревожную дробь барабанов.

Рванный жёлтый туман стлался над водой — это у причалов жгли дымовые шашки. А сквозь дымку виден был город, освещённый солнцем; он стоял над обрывом белый, узорчатый, зубчатый, издали нарядный и живой, казалось, нет в нём хижин, одни дворцы. Но было в нём что-то необычайное и страшное: город стоял онемевший и слепой, стёкла не блестели на солнце, и сердца солдат тревожно угадывали пустоту за белым узором безглазого ослепленного камня.

День был светел, солнце с беспечной щедростью и весельем дарило своим богатством всё малое и большое на земле

Тепло солнца входило в шершавые борта лодок, в мягкие натёки смолы, в зеленые звёздочки пилоток, в диски автоматов, в стволы винтовок. Оно грело кобуры командирских пистолетов, глянцевою кожу планшетов, пряжки ремней Оно грело быструю воду, и ветер над Волгой, и красные прутья лозы, и печальную жёлтую листву, и белый песок, и медные снарядные гильзы, и железные тела мин, ждущих переправы в Сталинград

Едва первый эшелон достиг середины реки, у причала загремели зенитки, и тотчас с юга на север, отвратительно каркая пулемётными очередями, с воем пронесли над самой Волгой меченые чёрным крестом жёлто-серые «мессеры».

Поворачивая тощее жёлтое пузо, ведущий самолёт круто развернулся и снова, воя,

каркая, устремился к рассыпавшимся по реке понтонам и баржам. А вскоре в воздухе зашелестели, запели на разные голоса снаряды и мины, и зачмокала вспаханная разрывами вода.

Тяжёлая мина угодила в небольшой понтон, его на мгновение закрыло грязным дымом, огнём, сеткой брызг, и на других понтонах и баржах увидели, когда рассеялся дым, как молча тонут оглушённые и искалеченные взрывом люди: подвязанные к поясу гранаты, набитые патронные сумки тянули ко дну.

Потрясённые красноармейцы смотрели на гибнущих, а понтоны, баржи, катера всё шли к правому берегу.

Дивизия приближалась водой к Сталинграду, и как передать то, что чувствовали и о чём думали тысячи людей, вступив на баржи, глядя на увеличивающуюся текучую полосу воды между плоским берегом Заволжья и бортом, слушая тревожный плеск волны и пение мин, всматриваясь в выплывавший из дымки белый город.

В эти долгие минуты переправы люди стояли молча, редко кто-либо произносил слово. В эти минуты люди бездействовали, они не могли ни стрелять, ни окапываться, ни кинуться в атаку. Люди думали.

Можно ли передать чувства этих многих тысяч людей? Можно ли передать то, что объединяло хаос надежд, страха, воспоминаний, любви, сожалений, привязанностей этих тысяч таких различных людей, многодетных отцов и юношей, горожан и советских крестьян, собравшихся сюда из сибирских деревень, с украинских и кубанских полей, из городов и заводских посёлков?

Когда баржи отчалили, Вавилов пробрался к борту — инстинктивное чувство, заставившее его стать в том месте, которое было поближе к берегу, подальше от Волги и Сталинграда.

После непрерывных гудков, гула грузовиков, тяжёлого топота и криков команды — странной казалась вдруг наступившая тишина, лишь вода чуть слышно хлюпала у борта да минутами ветер доносил стук мотора буксирного катера.

Ветерок обдувал разгорячённое лицо, прохладная влага касалась сухих, растрескавшихся губ и воспалившихся от пыли век.

Вавилов оглядел реку, близкий, рукой подать, берег. Кругом молчали красноармейцы, озирались, как и он. Томительно медленно ползла баржа, а расстояние от берега, казалось, увеличивалось быстро — вот уж не видно песка на дне, и вода стала серой, железной. А город в белой дымке всё был далёким, кажется, и за день до него не доползёт баржа.

Течение сносило баржу, канат вздрагивал, постреливал от напряжения, а при развороте он ослабел и ушёл в воду, и казалось, сейчас буксир резко дёрнет и канат оборвётся, баржа поплывёт вниз по течению всё дальше от молчаливого города, пойдёт среди тихих берегов, где лишь белый песок, птицы... Берегов не станет видно, баржа уйдет в море, и кругом будут лишь синяя вода, да небо в облаках, да тишина. И на минуту захотелось уплыть, выскользнуть в тишину, в покой, в безлюдье. Хоть на день, хоть на час отдалить войну.

Сердце вздрогнуло, буксир натянул канат, но баржа все ползла и ползла к Сталинграду.

Стоявший рядом с Вавиловым Усуров тряхнул своим вещевым мешком и сказал:

— Пустой, пара белья, мыла кусочек, ниточка да иголочка: в кулак всё имущество зажать можно. Всё побросал в дороге.

Он впервые заговорил с Вавиловым после происшествия с платком, и Вавилов мельком оглядел Усурова: чего это он завёл разговор — мириться надумал?

— Тяжело, что ли, нести? — спросил он.

— Нет. Шёл на службу, так сидор нагрузил, жена поднять не могла. А теперь бросил, ни к чему эта жадность, что в гражданке у меня была.

Вавилов понял, что Усуров заговорил с ним не просто так, лишь бы поговорить, — разговор был серьёзный. Он кивнул в сторону правого берега и насмешливо сказал:

— Там барахолки нет, зачем же барахло?

— Верно, зачем барахло, — согласился Усуров и оглядел огромный, на десятки

километров вдоль Волги раскинувшийся город, в котором не было ни базаров, ни пивных, ни бань, ни кинокартин, ни детских садов, ни школ.

Он придвинулся к Вавилову и сказал: шёпотом:

— В свой смертный бой вступаем, нам полагается без всякой этой ерунды, — и он потрянул пустым мешком.

Слова эти, произнесённые на тихой барже посреди Волги, произнесённые не безгрешным человеком, как-то странно подействовали на Вавилова, словно ветерок прошёл по пруди. И стало ему как-то не по-обычному печально и спокойно.

А Сталинград стоял под безоблачным небом — город, где беда ходила по пустым улицам и площадям, где не шумели, не дымили заводы, не торговали магазины, не спорили мужья с жёнами, не ходили дети в школы, где не пели под гармонику в саду на заводской окраине.

Вот в эту минуту и налетели немецкие самолёты, стали рваться в воде снаряды и мины, заголосил, зашелестел воздух, разодранный осколками

И странное произошло с Вавиловым. Он сперва вместе со всеми кинулся на самый край кормы, хоть на шаг ближе быть к берегу, от которого отчалил, стал всматриваться, мерить расстояние — удастся ли доплыть? Жарко и душно сделалось, так тесно сгрудились люди на корме. Запах пота, быстрое человеческое дыхание сразу перешибли волжский ветер, словно над головой была крыша красного вагона, а не небесный простор. Некоторые переговаривались, а большинство молчало, только глаза у всех были воспалённые, быстрые.

На минуту отталкивающим показался город, к которому тянул буксир, и таким сладостным и привычным — спокойный заволжский песок.

Мелькнула в памяти дорога, сперва последние минуты пути до Волги, разгрузка машин, а потом дорога встала вся, без края, тёмным, угрюмым видением — крутящаяся пылица, горячие глаза на залепленных пылью лицах, как будто глядящие из земли, степь в бледных шершавых пятнах солончаков, змеиные шеи верблюдов, седые головы старух-беженек, отчаянные и заботливые лица матерей, склонённые над вопящими, подопревшими грудными ребятами.

Вспомнилась молодая украинка с помутившимся разумом — она сидела у дороги с котомкой на плечах, смотрела безумными глазами на клубящуюся над степью жёлтую, крутую пыль и кричала:

— Трохьме! Земля горыть... Трохьме, небо горыть! — и старуха, видимо мать безумной, хватала её за руки, не давая рвать рубаху.

Дорога всё тянулась дальше, и снова он увидел спящих детей, лицо жены в тот час, когда шёл со двора навстречу красному рассвету.

Дорога тянулась всё дальше — мимо кладбища, где похоронены мать, отец, старший брат, шла среди поля, где стояла весёлая, зелёная, как его ушедшая молодость, рожь, уходила в лес, к реке, к городу, и он шёл по ней, сильный, весёлый, и рядом шла Марья, и попевал на кривых ножках младший сынок Ваня...

Тоска ожгла его, всё дорогое ему — жизнь, земля, жена, дети было там впереди, куда тащил буксир, а за спиной остались сиротство, жёлтая пыль. По тем заволжским дорогам он уж не выйдет к дому, навек потеряет его. Здесь, на этой реке, сошлись и вновь навсегда, навек, разбегались, как в слышанной в детстве сказке, две дороги.

Выйдя из толпы, сгрудившейся на корме, Вавилов пошёл вдоль борта, глядя на всплески воды, поднятые взрывами снарядов.

Немец не хотел пускать его домой, отгонял в заволжскую степь, бил изо всех сил снарядами и минами, налетал с воздуха.

Город был уже близок, ясно виднелись пустые глазницы окон, полуобвалившиеся, в трещинах стены, свисавшая с крыш покоробленная жесь Видна была мостовая в каменных обвалах, провисшие балки межэтажных перекрытий, остатки обуглившихся стропил. На набережной у самой воды стоял легковой автомобиль с открытыми дверцами, он словно собрался въехать в реку и раздумал в последнюю минуту А людей не было видно

Город всё рос, ширился, увеличивался, выступал во всё новых подробностях, в строгой, печальной тишине и покое, втягивал в себя...

Вот уже косая тень высокого обрыва и стоящих на нём домов лежит на воде в этой широкой, сумрачной полосе вода тихая, снаряды с размаха перелетают её

Буксир стал разворачиваться вверх по течению, а баржу занесло и сильным током быстрой прибрежной воды погнало к берегу.

За это время многие перешли с кормы на борт и на нос, и строгая, холодная тень от сожжённых домов легла на лица людей, и они стали еще более печальны, задумчивы, спокойны.

— Вот и дома, — негромко сказал: кто-то.

И Вавилов ощутил, что вот здесь, в Сталинграде, в его солдатские руки попадает ключ от родной земли, ключ к родному дому, ко всему святому и дорожному для человека.

Это сокровенное, глубоко скрытое ощущение, вдруг ясно и просто осознанное Вавиловым, и было общим для тысяч молодых и старых человеческих, солдатских сердец.

Переправа дивизии закончилась на рассвете 15 сентября. В донесении командующему Родимцев сообщал о незначительных потерях. Переправа, несмотря на сильный миномётный и артиллерийский огонь, прошла успешно.

Днем молодой генерал сам переправился на правый берег. В нескольких метрах от его лодки шла лодка с бойцами батальона связи.

Рябь, поднятая ветерком в спокойной воде затона, и волна на стрежне, там, где течение выходило из-за Сарпинского острова, «Золотая Звезда» и ордена на груди генерала, жёлтая банка от консервов, брошенная на дно лодки для отчерпывания воды, — всё сияло и сверкало. Это был ясный и легкий день, богатый теплом, светом, движением

— Ох, и проклятая погода, — сказал: сидевший рядом с командиром дивизии седой и рябоватый полковник-артиллерист. — Если не дождь, хоть бы дымка была, а то воздух, как стекло, одно хорошо, что солнышко немцу в глаза светит, он ведь с запада бьёт

Но, видимо, солнце не мешало немецкому артиллеристу. Со второго выстрела снаряд врезался прямо в шедшую рядом с родимцевской лодку.

В этой лодке лишь один человек, сидевший на самом носу и свалившийся при взрыве в воду, уцелел и поплыл обратно к левому берегу. Остальные пошли ко дну.

Когда уцелевший боец-связист подплыл к берегу, на песок вылетел маленький автомобиль и представитель Ставки генерал Голиков, соскочив с него, подбежал к воде и крикнул:

— Командир дивизии цел, жив?

Боец, оглушённый взрывом и весь захваченный чудом своего спасения, махнул тяжёлыми, полными воды рукавами и дрожащими губами ответил:

— Один я остался. Только я подумал, обязательно бить будет, он и ударил, сам не знаю, как жив остался, плыву и не понимаю куда.

Лишь через час Голикову сообщили, что Родимцев благополучно высадился на сталинградский берег и находится на своём командном пункте.

Временный командный пункт дивизии помещался в пяти метрах от берега, среди глыб кирпича и обгоревших брёвен, в неглубокой яме, прикрытой листами кровельного железа

Родимцев и комиссар дивизии Вавилов, полнотелый, бледнолицый москвич, спотыкаясь о камни, подошли к яме, у которой стоял красноармеец в рыжих сапогах с автоматом на груди.

— Есть связь с полками? — спросил командир дивизии, наклонившись над ямой.

Этот вопрос тревожил его ещё на том берегу и во время переправы, и первые его слова в Сталинграде были именно о связи с полками.

Из ямы выглянул начальник штаба майор Бельский. Он поправил пилотку, сбившуюся на затылок, и отрапортовал что связь имеется с двумя полками, третий, выброшенный северней, пока отрезан от управления дивизии.

— Противник? — отрывисто спросил Родимцев.

— Жмёт? — спросил комиссар и присел на камень, чтобы отдышаться. Глядя на спокойное, деловито будничное лицо Бельского, он удовлетворенно кивнул головой — комиссар в душе восхищался работягой Бельским, неизменно спокойным и добродушным. Шутя рассказывали, что однажды, когда немецкий танк въехал на штабной блиндаж и, елозя гусеницами, старался смять перекрытие, полупридавленный Бельский, светя ручным фонариком, поставил на карте с обстановкой аккуратный ромбик. «Танк противника на командном пункте дивизии».

«Вот бюрократ», — шутили о нём.

И теперь, стоя по грудь в яме и отгибая рукой лист кровельного железа, он смотрел на Родимцева своими спокойными, не улыбающимися глазами совершенно так же, как неделю назад в кабинете, докладывая о наличном вещевом довольствии.

«Золотой вояка», — с умилением подумал комиссар, слушая Бельского.

— Новый командный пункт оборудую в трубе, — сказал: Бельский, — там почти в полный рост стоять можно. Вода по дну течёт, я велел сапёрам деревянный настил сделать. А главное, метров десять земли над головой — условия есть.

— Да, условия, — задумчиво повторил Родимцев, рассматривая план города, только что переданный ему Бельским, на плане были помечены позиции, занятые дивизией.

Командные пункты полков разместились в двух-трёх десятках метров от берега. Командиры батальонов и рот, полковые пушки, батальонные и ротные миномёты расположились в ямах, в овраге, в развалинах домов, стоящих над обрывом. Тут же неподалёку разместились стрелковые подразделения.

Бойцы, не ленись, рыли в каменистой почве окопы, ячейки, строили блиндажи и землянки — все чуяли опасность, напозавшую с запада.

Не надо было смотреть на план города — прямо с воды открывалось расположение двух стрелковых полков и огневых средств дивизии.

— Что ж, затеяли здесь долговременную оборону строить без меня? — и Родимцев показал рукой вокруг.

— Тут и проволочной связи не нужно, — сказал: Бельский, — команду голосом можем передавать из штадива в полки, а из полков в батальоны и роты.

Он посмотрел на Родимцева и замолчал. Молодое лицо генерала было сердито, нахмурено; редко Бельский видел его таким.

— Кучно очень лепитесь к воде и друг к другу, чувствуется, что боитесь, сказал: он и, отойдя от ямы, стал прохаживаться по берегу.

Вдоль берега валялись каменные глыбы, обгорелые брёвна, листы кровельного железа.

Обрыв, ведущий к городу, был крутой и каменистый, множество тропинок вело вверх, где белели высокие городские дома с выбитыми стёклами.

Было довольно тихо, лишь изредка рвались мины да с воем и свистом, заставляя всех низко пригибаться, проносился над Волгой желто-серый «мессер», хрипя пулеметными очередями и нахально постукивая скорострельной пушчонкой.

Но чувство тревоги возникало не от привычных для многих выстрелов, по-настоящему жутко становилось в минуты тишины. Все люди в дивизии, от генерала до солдат, понимали, что они сейчас стоят на главной дороге немецкого наступления. Так тревожно и тихо бывает на рельсах — кажется, можешь и прилечь, и присесть, но знаешь, пройдёт время, и с грохотом налетит огромный я стремительный состав.

Вскоре подошел комендант штаба и лихо отрапортовал, что оборудован новый командный пункт.

Родимцев всё с тем же нахмуренным, злобным выражением сказал: ему:

— Почему в кубанке: На свадьбу в деревню приехали? Надеть пилотку:

Улыбка исчезла с широкого, молодого лица коменданта.

— Слушаюсь, товарищ генерал-майор, — сказал: он Родимцев молча пошёл на новый командный пункт, сопровождаемый штабом.

Он поглядел на красноармейцев, несущих к окопам и блиндажам брёвна, доски, куски

железа, и, покосившись на тяжело дышащего комиссара дивизии, насмешливо сказал:

— Видал? Как бобры, прямо на воде долговременную оборону строят.

Жерло трубы темнело в десяти метрах от берега.

— Ну вот и дома, кажется, — сказал: комиссар. Видимо, очень страшен был сталинградский берег в этот сияющий весёлый день, если, уходя от ясного неба, от солнца и прекрасной Волги в чёрную трубу, выложенную заплесневшим камнем, в затхлую духоту, люди с облегчением вздыхали и выражение напряжённой суровости в их лицах сменялось успокоением.

Бойцы комендантской роты вносили в трубу столы и табуреты, лампы, ящики с документами, связисты налаживали провода телефонных аппаратов.

— Мировой у вас КП, товарищ генерал, — сказал: немолодой связной, который ещё на Демиевке, в Киеве, передавал в батальоны приказы Родимцева. — Тут и для вас вроде особое помещение — вот на ящиках, и сено есть, отдохнуть, полежать.

Родимцев хмуро кивнул ему и ничего не ответил. Он прошёлся по трубе, постучал пальцем по камню, прислушался к журчанию воды под ногами и, повернувшись к начальнику штаба, спросил:

— Зачем телефоны тянем? Голосом будем команду передавать, все рядом на пляже, в купальнях сидим.

Бельский видел, что командир дивизии недоволен, но так как спрашивать у начальника о причинах и поводах недовольства не полагалось, Бельский с почтительной грустью помолчал.

Комиссар дивизии, наблюдая хмурое и злое лицо Родимцева, и сам начал хмуриться.

Никто, пожалуй, в дивизии не знал столько о людской силе и людских слабостях, как комиссар Вавилов. Он знал, что десятки глаз пытливо смотрят на Родимцева. Он знал, что через штабных, связных, телефонистов, посыльных, адъютантов и вестовых в штабах полков и батальонов скоро будут передавать о генерале: «Всё ходит, не присел ни разу», «На всех сердится, даже Бельского обложил — нервничает, сильно нервничает!»

И думая об этом, комиссар дивизии сердился на Родимцева; надо было помнить, что в необычных, тяжёлых условиях Сталинграда, в штабах полков и батальонов начнут переглядываться, шёпотом говорить: «Ну ясно, дело худо, нет, уж отсюда не выберемся». А ведь Родимцев знал о том, что именно так будут говорить. Не раз комиссар восхищался его умением усмехнуться под тревожными взглядами и, слушая донесение — «Немецкие танки ползут к командному пункту», спокойно проговорить «Выкатить гаубицы для стрельбы прямой наводкой, а пока давай обед кончать!»

Когда наладили связь, Родимцев позвонил командарму и доложил о переправе дивизии.

Командарм сказал: ему: — Имейте в виду, передышки после марша не будет, надо наступать.

— Есть, товарищ командующий, — ответил Родимцев и подумал: «Какая уж тут передышка».

Родимцев вышел на воздух. Он присел на камень, закурил, поглядел на далёкий левый берег, задумался.

На душе у него было тяжело и спокойно — знакомое ему чувство, приходившее в самые трудные часы войны.

В солдатской пилотке, с накинутым на плечи зелёным ватником, сидел он поодаль от общей суеты человеческого муравейника.

Он казался значительно моложе своих тридцати шести лет, и посторонний, поглядев на худощавого, светловолосого военного с юношескими чертами лица, не подумал бы, что этот кареглазый, миловидный человек, рассеянно и грустно глядящий вокруг себя, и есть командир дивизии, первой высадившейся в осаждённом и наполовину занятом немцами Сталинграде.

За те часы, что Родимцев был оторван от дивизии, жизнь тысяч людей, подобно воде, ищущей удобного и естественного русла, уже пошла своим чередом.

Люди, где бы они ни находились — на узловой станции, в ожидании пересадки, на льдине, плывущей по Северному океану, и даже на войне, — всегда стараются поудобней улечься, усесться, потеплей укрыться.

Это естественное стремление всякого человека. Часто на войне. Это естественное стремление не противоречит целям боя. Солдаты выкапывают ямы и рвы, чтобы укрыть свои тела от стальных осколков, и стреляют по противнику. Но иногда инстинкт сохранения жизни побеждает все остальные помыслы в бою.

Сидя на камне. Родимцев равнодушно, мельком просматривал донесения полков об успешном строительстве обороны на берегу.

Он видел, что все эти меры внешне были как будто совершенно разумны с точки зрения самосохранения дивизии, самосохранения полков и батальонов. Но вот оказалось, даже умница Бельский не мыслит, что в этот час речь идёт не об обороне дивизия, расположившейся у самой волжской воды.

— Бельский! — позвал Родимцев. — Погляди-ка, меня тут не было, и вы затеяли на берегу оборону строить. Давай всё же подумаем, — и он помолчал, приглашая Бельского подумать. — Что мы имеем? Один полк от нас оторван, связь с ним ерундовая. Сидим мы тут в пяти метрах от воды, начнём обороняться, что будет? А? Нас всех, как кутят, немцы в Волге утопят. Обмолотят миномётами и утопят. Вы знаете, какие у них силы:

— Что ж делать, товарищ генерал? Какое вы принимаете решение: — с тихим спокойствием спросил Бельский.

— Что делать: — задумчиво спросил Родимцев, на мгновение поддаваясь спокойствию Бельского, и тут же громко и раздельно проговорил: — Наступать! Штурмовать! Врываться в город! Вот что надо делать. У нас одно преимущество внезапность, а у них преимуществ сто, да ещё сто

— Правильно, — сказал: комиссар дивизии, и ему показалось, что именно об этом он думал всё время, — правильно, не ямки копать нас сюда прислали.

Родимцев посмотрел на часы.

— Через два часа я доложу командарму, что готов наступать... Вызовите ко мне командиров полков. Я нацелю их на новую задачу с рассветом наступать! Разведанные у вас слабенькие очень. Немедленно поставьте задачу дивизионной разведке. Свяжитесь с разведотделом армии, выжмите все данные о противнике, уточните его передний край, расположение огневых средств. Проверьте связь с огневыми в Заволжье. Готовьте своих людей наступать, а не обороняться. План города вручить всем командирам и комиссарам. Они через несколько часов будут воевать на этих улицах. Действуйте.

Говорил он негромко, но властно, точно легонько толкая Бельского в грудь.

Вавилов крикнул своему ординарцу:

— Немедленно вызвать ко мне комиссаров полков! Командир и комиссар переглянулись и одновременно улыбнулись друг другу.

— В эту пору мы обычно после обеда в степь гулять ходили, — сказал: Родимцев.

Поток человеческих действий зарябил, заволновался. Родимцев положил первый камень плотины, чтобы по-новому заставить работать духовную и физическую силу людей. Этот человек, еще несколько минут назад сидевший на камне, отчужденный от общей суеты и работы, со всё нарастающей быстротой перехватывал людей. Вскоре давление его воли чувствовали не только в штабе, не только командиры полков и батальонов — оно сказалось во взводах, его ощутили красноармейцы. Рытьё окопов и блиндажей на берегу уже не казалось самым быстрым и важным делом.

Все чаще в полках и батальонах говорили: «генерал отменил», «генерал не велел», «генерал приказал», «первый одобрил», «первый торопит», «первый сейчас проверить будет».

А среди красноармейцев уже шёл свой разговор — по десяткам признаков стало ясно, что произошло нечто новое, совершенно иное, не то, что было час назад.

— Шабаш, откладывай лопату, старшина дополнительно патроны выдаёт.

— А бутылки с горючкой вам выдавали? Ещё по две гранаты дадут. А пушки на откос выкатывают...

— Родимцев приехал, наступать на город будет.

— Нашего майора, связные говорят, позвал: «Ты что думаешь, я тебя в Сталинград привёл ямки копать?»

— В первом взводе бойцам по сто граммов водки раздают и шоколаду по две плитки.

— Да, брат, будет нам шоколад.

— По пятьдесят патронов дополнительно выдали.

— В темноте, наверное, пойдём, заблудим ещё тут, ох, страшно тут ночью.

По вызову комиссара дивизии первым явился комиссар полка Колушкин — в довоенное время известный в Сталинграде комсомольский и партийный работник.

Ему хотелось рассказать комиссару дивизии о том, что он ходил на развалины дома, где жил когда-то, щупал рукой тёплые от пожара стены и в пустой коробке дома нашёл куски штукатурки, покрытой голубой краской, которой перед майским праздником в 1940 году отделал одну из комнат в своей ныне разрушенной квартире. Но комиссар дивизии был нахмурен и озабочен.

Вскоре пришли ещё один старший батальонный комиссар и три батальонных.

— Берите блокноты, вот вам задача, — сказал комиссар дивизии, нацеливайте политсостав на политработу в наступательном бою.

И он стал диктовать пункт за пунктом.

— А как с таном лекций? — спросил один из писавших.

— Отменим. Живая короткая беседа: Оборона Царицына — оборона Сталинграда, обобщение боевого опыта. Знакомьте с планом города. — И, обратившись к ординарцу, сказал: — Теперь комиссара тыла и редактора мне вызови.

Вскоре в штабах полков и батальонов, на батареях и в миномётных ротах, в отдельном саперном батальоне забелели блокноты старших и младших политруков; агитаторы пошли в роты и в отделения проводить беседы.

В сумерки комдив в сопровождении двух автоматчиков пошёл берегом, вдоль самой воды, на доклад к командующему.

Было тихо, лишь изредка слышались одиночные винтовочные выстрелы, должно быть, боевое охранение старалось рассеять вечернюю жуть, заглушить поскрипывание жести и шорох обваливающихся камней.

Вернулся Родимцев через полтора часа, уже в темноте, с подписанным приказом о наступлении.

Наступил час тишины. Ночь встала над Волгой в дивном богатстве своем, в синеве и мягком плеске волны, в прохладе и тепле многоструйного ветра, несущего то жар степи, то мёртвую духоту улиц, то живое, сырое дыхание реки.

Миллионы звезд смотрели на город, на реку, слушали журчание воды в прибрежных камнях, слушали шёпот, побряхтывание, негромкие вздохи людей.

Работники штаба вышли из трубы, глядели то на реку, то на небо, то на силуэты командира дивизии, комиссара и начальника штаба, сидевших у воды на полузасыпанном песком бревне.

Всем было тревожно, и все думали об одном и том же, поглядывая на широкую водную преграду, вглядываясь в ту сторону, где едва темнело Заволжье.

Командир дивизии — вынул папиросу, закурил, затянулся несколько раз.

Начальник штаба негромко спросил:

— Как, товарищ генерал, наш новый командующий?

Видимо, Родимцев не расслышал вопроса, и Бельский не стал повторять его.

Родимцев ещё несколько раз затянулся, бросил папиросу в воду.

Вавилов негромко проговорил:

— Вот и новоселье.

Родимцев, видимо думая о своем скачал:

— Да, вот именно. Так вот и живем.

Казалось, каждый из них говорил о своём, не отвечая собеседнику, но это было не так: они понимали настроение и ход мыслей друг друга.

Все они начали войну в июне 1941 года и вместе пережили столько тяжёлого, так часто видели смерть, столько холодного осеннего дождя и горячей июльской пыли, зимних метелей выпало на их долю, столько было говорено и рассказано, что они с первого слова, иногда с полуслова, а иногда и без слов понимали друг друга.

Родимцев молчал и вдруг сказал:, отвечая на вопрос Бельского:

— Начальство есть начальство. Или оттого, что немец раздражил, пикировал на него весь день, но, видать, — характер есть.

Они долго слушали тишину в предчувствии, что больше тишины в этом городе им не слышать.

По Волге томительно медленно скользил какой-то тёмный предмет, и нельзя было понять, лодка это без вёсел, раздутый труп лошади или обломок взорвавшейся баржи.

А за спиной молчал сожженный город, и люди, глядевшие на Волгу, вдруг оглядывались, точно лоя на себе давящий, тяжелый взгляд, наблюдающий за ними из тьмы.

Вечером командарм уже знал о подробностях переправы. В двадцать два часа ему представился Родимцев, и командарм отдав приказ о наступлении. В полночь он принял начальника особого отдела и председателя армейского трибунала, доложивших дела командиров, самовольно переправивших свои штабы на Зайцевский и Сарпинский острова. Командарм тяжело задышал и, взяв карандаш, пододвинул к себе бумаги.

— Всё, — сказал: он, — можете быть свободны.

После он долго ходил по блиндажу. Лицо его потемнело, тяжёлые брови насупились, взор был угрюм. Он сел на стул, взъерошил волосы и, выпятив нижнюю губу, стал пристально разглядывать карандаш, которым только что подписал бумаги, принесённые трибунальцем и особистом; вздохнул и снова заходил по блиндажу, расстегнул ворот, ощупал пальцами шею, провел ладонью по груди и по затылку. В прокуренном блиндаже нечем было дышать.

Командарм прошел к выходу, по штольне, где опал его адъютант.

Лейтенант лежал, полуприкрытый шинелью, сползшей до пола. Командарм посветил фонариком — бледное детское лицо с полуоткрытыми губами казалось болезненным

Генерал поднял шинель и прикрыл худые плечи спящего.

— Мама, мама, мама, — сдавленным голосом позвал спящий.

Генерал всхлипнул и, тяжело ступая, поспешно вышел из блиндажа.

В предрабачной мгле неясно мелькали тени людей, позвякивало оружие полки тринадцатой дивизии, поднятые по тревоге, готовились к выступлению. Политруки негромко окликали людей, сзывали на короткую беседу, светя электрическими фонариками, указывали дорогу.

Над откосом, на горах кирпича сидели красноармейцы, слушали комиссара полка Колушкина. Он говорил негромко, и сидевшим в задних рядах приходилось напрягать слух, чтобы расслышать. Это собрание на волжском откосе, среди развалин сталинградских зданий, при слабом свете едва наметившейся на востоке светлой полосы зари, вещавшей приход жестокого дня, было каким то особым, будоражающим душу.

Колушкин не стал говорить по плану, который наметил себе заранее, а начал рассказывать красноармейцам о своей жизни в Сталинграде, о том, как работал на стройке завода, рассказал, как перед войной ему дали квартиру неподалёку от того места, где он сейчас сидит на обгоревшем бревне, рассказал, как болела его старуха мать, как она просила, чтобы постель ее поставили у окна, из которого видна Волга... Красноармейцы слушали в молчании, и какое-то удивительное чувство близости, родства установилось между людьми, сидевшими среди каменных развалин.

Когда Колушкин кончил говорить, он вдруг различил массивную фигуру комиссара дивизии, прислонившегося к выступу кирпичной стены

«Ох, — с тревогой подумал Колушкин, — чего я наплёл такого, все не на тему вот он, придира, мне даст, разве это политработа в наступлении?»

Комиссар дивизии пожал ему руку и проговорил:

— Спасибо, товарищ Колушкин, хорошее слово сказал.

Когда германская ставка сообщила по радио, что Сталинград занят немецкими войсками и сопротивление Красной Армии продолжается лишь в районе заводов, немцы сами были убеждены в полной объективности этого сообщения.

Вся центральная административная часть города её площади, улицы, вокзал, театр банк, школы, центральный универсальный магазин, здание обкома партии, горсовет, редакция газеты и сотни полуразрушенных жилых многоэтажных зданий, собственно и составляющих новый город, находились в руках немцев. В этой части города советские войска занимали лишь узкую полосу набережной.

По мнению немецкого командования, сопротивление красных на северных заводах, а на юге в предместье Бекетовке, не имело никакой перспективы.

Линия советской обороны была рассечена и нарушена, центр отъединен от севера и юга, взаимодействие армий представлялось невысказанным, коммуникации были полупарализованы.

Убежденность в победном решении сталинградской задачи была у всех немецких офицеров и солдат, никто не предполагал закреплять захваченное, настолько ясной казалась прочность завоевания. Многие штабные немцы считали, что уход Красной Армии из Сталинграда за Волгу — вопрос дней, даже часов.

Поэтому одной из причин успеха первого наступления дивизии Родимцева, накануне переправившейся из Красной Слободы в Сталинград, была внезапность. Немецкое командование не ждало этого наступления.

Правофланговый полк дивизии завязал бои за Мамаев Курган, господствовавший над городом, после чего все три полка соединились и вновь восстановили непрерывную линию фронта.

Были захвачены десятки больших зданий. Полк, наступавший в центре, особенно далеко продвинулся на запад и одним из своих батальонов захватил вокзал и прилегавшие к нему постройки. Наступление немцев в южной части города было полностью приостановлено.

Родимцев отдал приказ занять оборону и драться: в полуокружении, в окружении — драться до последнего патрона.

Он объявил командирам, что будет рассматривать малейшее отступление, как самое тяжёлое воинское преступление. Об этом ему объявил командарм. И то же самое объявил командующий фронтом командарму.

И кроме пути, которым спускался этот приказ сверху, был и другой путь его он выражал душевное решение красноармейцев. И кроме того, хотя успеху родимцевского наступления способствовала внезапность, имелась вторая, более веская причина этой успеха — закономерность.

Наибольший успех выпал на долю батальона старшего лейтенанта Филяшкина.

По узким улочкам, по пустырям батальон продвинулся к западу от Волги на тысячу четыреста метров, вышел к вокзалу и, почти не встретив сопротивления, занял полуразрушенные станционные постройки, будки стрелочников, сараи с углём, полуразваленные оклады, пол которых был густо припудрен мукой и усыпан кукурузными зёрнами.

Сам Филяшкин, рыжеватый человек лет тридцати, с небольшими, покрасневшими от бессонницы глазами, расположился под насыпью в бетонированной будке с выбитыми стёклами.

Утирая пот и ковыряя пальцем левой руки в ухе (ему заложило ухо при разрыве мины), он писал на линованной конторской бумаге донесение командиру полка. Он был одновременно обрадован успехом — шутка ли занять Сталинградский вокзал — и

раздосадован тем, что соседние батальоны далеко отстали и, открыв фланги батальона Филяшкина, не дали ему возможности продвинуться дальше на запад.

Комиссар батальона Шведков, со следами солнечного ожога на лице, возбуждённый своим первым боем, — он до последнего времени работал в гражданке», был инструктором райкома партии в Ивановской области, — громко говорил Филяшкину.

— Зачем останавливаться: Бойцы рвутся вперёд, надо развивать успех!

— Куда рвутся? Я прошёл вперёд на запад дальше всех: — перебил Филяшкин, тыча пальцем в план города. — Куда мне развивать — на Харьков? Или прямо на Берлин?

Он произносил «Берлин» с резким ударением на первом слоге

Подошёл лейтенант Ковалёв, командир 3-й роты — упрямый вихор выбивался у него из-под заломленной на ухо пилотки. Каждый раз, когда он резко поворачивал голову, вихор этот подскакивал, словно витой из тугой проволоки.

— Ну что? — спросил Филяшкин.

— Порядок, — стараясь не прокашливаться и говорить сиплым басом, ответил Ковалёв, — лично положил девять, — и улыбнулся глазами, зубами, всем существом, как умеют улыбаться лишь дети.

Потом Ковалёв доложил, что политрук роты Котлов примером личной храбрости воодушевлял бойцов в бою, ранен и эвакуирован в тыл.

Начальник штаба батальона, седой лейтенант Игумнов, молча рассматривал карту. Он работал до войны в районном совете Осоавиахима и не уважал молодых командиров за легкомыслие и бахвальство, страдал от того, что комбат был по годам сверстником его старшего сына.

Подошел Конаныкин, командир первой роты, темноволосый, плечистый, длиннорукий, с очень резкими и быстрыми движениями. Один кубик на петлице его гимнастёрки был вырезан из красной резины.

Игумнов сердито пробормотал:

— Открыли клуб, а кругом противник.

— Докладывай, товарищ Конаныкин, — сказал: Филяшкин. Конаныкин, доложив об успехах роты и понесенных ею потерях, передал написанное крупным почерком донесение.

— Ох, и дал я сегодня немцу, — сказал: Филяшкин и позвал Игумнова Начальник штаба, пойдите сюда, закусим кое-чем.

Ковалёв, указывая пальцем в сторону молчаливых городских построек, занятых немцами, сказал:

— Вот тут я летом с одним моим другом лейтенантом на квартиру заезжал, ох и погуляли мы. Теперь уж могу признаться, товарищ старший лейтенант: лишний день прогулял. Одна тут была, хозяйкина дочь, уж лет ей верно двадцать пять, незамужняя, но, скажу, красота, прямо, я таких не видел. Культурная, красивая...

— Общее развитие есть, это самое главное, — сказал: Конаныкин. — Достиг у хозяйкиной дочки тактического успеха?

— Будь спокоен. Точно — Ковалёв сказал: эти неправдивые слова для Филяшкина, пусть знает — не очень его интересует санинструктор Елена Гнатюк. Верно, в резерве он ходил с инструктором гулять в степь и подарил ей фотографию, но это делалось от скуки.

Филяшкин зевнул и сказал:

— Э, что вы мне про Сталинград этот рассказываете. Был и я тут проездом, когда училище кончил, ничего особенного нет, зимой ветра такие, жуткие прямо, чуть не пропал.

Он протянул Ковалёву кружку.

— Спасибо, товарищ старший лейтенант, я не буду, — отказался Ковалёв.

Филяшкин и Конаныкин выпили, как говорится, по сто граммов и заспорили, чья квартира в резерве была лучше.

Сталинград за эти несколько часов не стал для них ещё тем, что можно вспоминать, и они продолжали жить воспоминаниями о месяцах заволжского резерва. Для них и для многих, пришедших после них, Сталинград не смог стать воспоминанием, он сделался

высшей и последней реальностью, сегодняшним днём, за которым не наступил завтрашний.

Вернулся связной с запиской командира полка. Подполковник приказывал готовить оборону. По многим данным враг собирался контратаковать.

— А как же продовольствие, у нас с собой две суточных дачи? — спросили в один голос начальник штаба и комиссар.

Конаныкин глянул на Филяшкина и усмехнулся. В его рассеянной, беспечной усмешке было столько готовности встретить судьбу и такое понимание простоты своей судьбы, что седой Игумнов содрогнулся, почувствовав себя мальчишкой перед этим лейтенантом. Филяшкин наметил на карте участки обороны, командиры рот поместили их на своих картах, записали в блоккнижки указания.

— Разрешите итти? — спросил Ковалёв и вытянулся.

— Идите, — отрывисто ответил: Филяшкин.

Ковалёв пристукнул каблуками и круто повернулся, приложив пальцы к виску под борт пилотки.

Так как сталинградская почва, усыпанная кусками битого кирпича и алебаstra, не была приспособлена для таких эволюций, Ковалёв споткнулся и едва не упал. Он смутился и, видимо желая скрыть свою неловкость, подпрыгнул, побежал, словно он не споткнулся за секунду до этого, а стремительно выполнял приказание начальника.

— Поворачиваться не умеете! — сердито крикнул Филяшкин.

Мгновенный переход от приятельских отношений к необычайной строгости казался неестественным и часто напоминал игру. Но, по-видимому, это было неминуемо среди молодых людей, обладающих противоречивыми склонностями к совместным приключениям, читке семейных писем, хоровому пению в к суровой власти над подчинёнными.

Мягкость, прикрывающая превосходство, снисходительность сильных, приходит к людям лишь после долгих лет командования.

Филяшкин повертел регулятор бинокля, висевшего на груди, и сказал:

— Надо в штаб полка сходить кому-нибудь из командиров, там наше хозяйство осталось, да и роту мою забрал себе в резерв командир полка, разбазарит он её.

Он оглянулся на начальника штаба и старшего политрука — и они поняли, что он выбирает, кому из них пойти.

И оба невольно изменились в лице, такой ясной стала зависимость целой жизни от коротенького слова Филяшкина.

Обманчивая тишина предсказывала надвигающийся бой, лукавый покой вещал смерть. Штаб передового полка казался мирным, тыловым пристанищем.

«Пустите уж меня, папашу», — хотелось сказать Игумнову, сказать смеясь, сказать в шутку. Он с отвращением почувствовал, как неестественно прозвучит его смешок, как криво усмехнётся он, и нахмурился, с безразличным видом склонившись над раскрытым планшетом.

А Шведков уже понял, что успех первого наступления батальона обманывал своей лёгкостью. Недавние слова его о дальнейшем движении были сплошным неразумием, они и так в тылу у рвущихся к Волге немцев.

Но и он, конечно, молчал, рассматривая свой пистолет.

Филяшкин к людям относился с подозрением: не хитрят ли они. Шведкова он невзлюбил сразу же — он не уважал людей, пришедших из запаса в армию, а Шведков получил ни за что высокое звание, носил «шпалу», когда Филяшкин многие трудные годы выслуживал свои три кубика. Начальника штаба он считал пустым стариком. Конаныкина, командира первой роты, он признавал: тот кончил трехлетнюю нормальную школу и служил действительную рядовым, но Конаныкина он не любил за нежелание хоть в чём-либо уступить начальству.

— Смотрите, однако, Конаныкин, — сказал: ему как-то обзлившись, Филяшкин.

— А что мне смотреть, — ответил, тоже обзлившись, Конаныкин, — пусть смотрит, кто боится, а мне всё равно. Думаете, солдат в бой водить легче, чем самому солдатом быть?

Хуже мне не станет.

Подумав, Филяшкин сказал:

— Шведков, сходи ты в полк, что ли? — и, усмехнувшись, добавил: — А то ещё отрежет нас противник, и в политотделе не смогут выговор тебе сделать за непредставленный отчёт.

Отправив Шведкова в полк, он надел поверх полевой сумки и планшета шинель, чтобы немецкий снайпер не взял его тотчас на мушку, прихватил автомат и сказал: Игумнову:

— Обойду боевые порядки.

Игумнов, изнемогая от тишины, нарочно громко проговорил:

— Товарищ комбат, под зданием вокзала глубокий подвал, там бы устроить склад боеприпасов, а роты по убываемости припасов смогут оттуда пополняться.

Филяшкия мотнул головой:

— Какие там склады, — сказал: он, — вы проследите, чтобы все патроны и гранаты попали в отделения и были розданы бойцам. Какие уж тут склады!

Тихо было, немцы не стреляли, и тем страшней казался далёкий, угрюмый гул, шедший с севера. Филяшкин не любил тишины и боялся её, как всякий опытный вояка. Он помнил тишину за Черновицами ночью 21 июня 1941 года. Он вышел тогда из душного помещения штаба полка покурить на воздухе. Как было тихо, как блестели стёкла при спокойном свете луны; сменщик должен был принять дежурство в шесть часов утра — и Филяшкину теперь казалось, что он уже пятнадцать месяцев всё не может сдать своего дежурства.

Эта пустынная, аспидносерая сталинградская площадь, пошатнувшиеся столбы с болтающимися проводами, поблескивающие, ещё не тронутые ржавчиной рельсы, затихшие подъездные пути, трудовая, пролетарская земля, лоснящаяся от чёрного масла, земля, исхоженная сцепщиками и смазчиками, земля, всегда гудевшая и вздрагивавшая от тяжести товарных составов, — всё молчало, казалось от века спокойным и сонным. И станционный воздух, обычно просверленный и изодранный свистом кондукторов, дудками сцепщиков, гудками паровозов, был сегодня цельным и просторным. И весь этот тихий день напоминал ему те последние часы мира, и в то же время напоминал о родном доме, когда семилетний Филяшкин Павел, сын путевого обходчика, ускользнув из-под материнского надзора, шлялся по путям.

Укрывшись под станционной стеной, он раскрыл планшет и сквозь мутную желтизну целлулоида перечёл записку командира полка. Чтение этой записки не принесло ему душевного утешения. И командир полка понимал: покой на вокзале обманчивый, временный.

Вот, казалось, повторится всё так же, как в ту лунную ночь: тишину внезапно сменит рёв самолётов, огонь. И Филяшкин подумал, что бывшее пятнадцать месяцев назад уже никогда не повторится — сегодня его уж не застанут врасплох, сегодня он ждёт, сегодня он другой, чем тогда, на границе. Может быть, — это не он стоял, покуривая, той лунной ночью, а какой-то другой, вислоухий лейтенант... А он ведь сильный, хитрый, умелый, по разрыву различит любой калибр, до прочтения донесения, до телефонного разговора с командирами рот он уж знает, что делают пулемёты, куда бьют миномёты, на чью роту сильнее всего жмёт противник. Ему стало досадно за своё томление.

— Хуже нет, — сказал он шагавшему рядом вестовому, — чем из резерва опять на передний край выходить. Воевать, так без отдыха.

Батальон принял круговую оборону...

Как обманчиво предчувствие! Хлебнувшие войны люди опасаются его коварной, вкрадчивой лживости. Человек вдруг проснётся ночью с предчувствием близкой смерти, настолько ясным, что, кажется, всё до последней строки прочёл в суровой и короткой книге своей судьбы. Печальный, хмурый, либо примирённый и растроганный, пишет он письмецо, глядит на лица товарищей, на родную землю, не торопясь перебирает вещи в походном мешке.

А день проходит тихий, спокойный, без выстрелов, без немецких самолётов в небе...

А иногда, и как часто, легко, уверенно, с надеждой, с мыслями о далёком послевоенном устройстве начинает человек спокойное утро, а к полудню день захлёбывается в крови, — и где он, начавший этот спокойный день человек? Лежит засыпанный, только ноги в обмотках видны из земли.

Весело и хорошо, дружно и смешливо настроились красноармейцы батальона, занявшего станционные постройки и Сталинградский вокзал.

— Ну, теперь домой поедом, — говорил один, оглядывая холодный паровоз, пар подымет, сам вас поведу, бери номерок на посадку у коменданта.

— Вот и угля сколько, хватит мне до Тамбова доехать, — шутливо поддержал второй. — Пойдем, что ли, на станцию, буфет открыт, пирожков в дорогу купим.

Ломиками и топорами прорубали люди бойницы в стенах и устраивались поудобней... «сена бы, соломки сюда». А хозяйственный боец даже приспособил полочку в стене и сложил на ней свой мешок и котелок. Двое сидели и рассматривали жестяную смятую кирпичом кружку, советуясь, стоит ли отклёпывать от неё цепочку.

— Мне кружечка, а тебе цепочка, — говорил один.

— Ты добрый, спасибо, — говорил второй, — ты уж и цепочку бери.

А третий приспособился на вокзальном подоконнике, поставил зеркальце и стал снимать пыльную, скрипящую под бритвой бороду.

— Дай мыльца побриться, — сказал: ему товарищ.

— Какое у меня мыльце, видишь, осталось... — И, посмотрев на обиженное лицо товарища, добавил: — На вон, докури, только затяжечку мне оставь.

На участке, где стало штрафное отделение, приданное конаныкинской роте, не слышно было руготни, воцарилось настроение добродушия — люди размещались обдуманно, обживали место, думая, что здесь придётся стоять долго.

Один говорил, оглядывая полуразрушенные перегородки и проломанный потолок:

— Видишь, нам, штрафным, досталось, а гвардейские роты — в первом классе да в комнате матери с ребёнком.

Другой, узкоплечий, с вьющимися волосами, бледным, не поддающимся загару лицом, установил противотанковое ружье, прищурившись, примерился, приложился и, мягко картавя, с ленивой усмешечкой, обращаясь ко второму номеру, произнёс:

— Жора, отойди-ка, ты у меня стоишь в самом секторе обстрела, может произойти случайный выстрел — Он не выговаривал «р» и у него получалось. «Жога», «выстгел».

И там, где разместились рота Ковалева, шёл под трудную работу свой разговор. Топоры вырубали кирпич, лопаты долбили землю, начиненную битым, рыхлым от влаги кирпичом, белыми черепками, кружевной, истлевшей жостью.

Желтоглазый Усуров, стоя по пояс в окопчике, спросил:

— Слышь, Вавилов, что ты шоколат свой не съел? Надоело тебе кушать: Сменяй мне на полпачки махорки. Мне очень понравился шоколат.

— Не сменяю, — отвечал Вавилов, — девчонке и мальчишке своим спрячу.

— Пока ты её увидишь, девчонку-то, он к тому времени скиснет.

— Ничего. Пускай.

— А то смотри, Вавилов.

Усуров отставил лопату, повернулся к Вавилову. Глядя на большие руки Вавилова и на его спокойные движения, на мощные, неторопливые и умные удары, под которыми камень отваливался легко и охотно, точно был в договоре с Вавиловым, Усуров, забыв обиду, почувствовал нежность к этому большому, суровому человеку, он чем-то напоминал ему отца.

— Ох, и люблю я деревенскую работу, — проговорил он, хотя деревенской работы не любил, да и вообще больше любил зарплату, чем работу.

Там, в Заволжье, казалось, глядя на красное зарево, что и часу не прожить человеку в городе, а попали в Сталинград — и увидели вдруг: есть тут и каменные стены, за которыми можно хорониться, есть окопчики, есть тишина, есть земля и солнце в небе. И все

развеселились, успокоились. От мрачного ожидания перешли люди к задорной уверенности, к вере в счастливую судьбу

— Как дела, орлы? — спросил командир роты. — Смотри не ленись — противник, вот он.

Нос Ковалёва с облупленной кожей был местами нежно-розовым. Снисходительно и спокойно оглядывал Ковалёв работавших людей.

Только что командир батальона обошёл с ним пулемётные гнёзда, окопы, поглядел на боевое охранение и сказал: прощаясь:

— Правильно построена оборона.

Ковалёв чувствовал себя опытным и сильным. Он разместился на своём КП, в кирпичной берлоге, отрытой под полуобвалившейся стеной товарного склада. КП находился в глубоком тылу, по крайней мере в пятнадцати — двадцати метрах от передовой. Устройство обороны уже заканчивалось, патроны, гранаты, бутылки с горючкой розданы, пулемёты проверены, ленты заряжены, противотанковые ружья установлены, сухари и колбаса разделены, связь с батальоном проложена под укрытием развалин, боевое охранение выставлено, командиры взводов инструктированы... Старшему сержанту Додонову, попросившемуся по нездоровью в санчасть полка, сделано грозное предостережение...

Ковалёв раскрыл полевую сумку и предался рассмотрению своего походного имущества. Чтобы обезопасить себя от насмешливых взглядов, он разложил карту-двухкилометровку и, якобы изучая её, стал вынимать содержимое сумки. Здесь хранились свидетели его жизни, короткой, бедной и чистой. Кисет с красной звездой, сшитый старшей сестрой Таей из пёстрых лоскутков, из рукава её некогда нарядного платья. Это платье он помнил, когда был восьмилетним ребёнком. Тая в нём праздновала свою свадьбу со счетоводом Яковом Петровичем, приехавшим к ним в деревню из районного центра.

Когда Ковалёва спрашивали «Ого, брат, откуда у тебя такой кисет богатый?» — он отвечал: «Да так, мне сестрёнка подарила, когда ещё в школе лейтенантов был».

Затем посмотрел он маленькую тетрадь в коленкоровом переплёте, с потёртыми краями и со стёртой, когда-то золотой надписью: «Блоккнижка», подаренную ему учителем при переходе в седьмой класс сельской школы. В тетрадку были вписаны великолепными овальными буквами стихи и многие песни. Были тут и «Знойное лето», и «Гордая любовь моя», и «Идёт война народная, священная война», и «Катюша», и «Душе моей тысячу лет», и «Синенький, скромный платочек», и «Прощай любимый город», и «Жди меня».

Были в эту книжечку вложены четыре билета на метро, билеты в Музей Революции и в Третьяковку, билет в кино «Унион», билет в Зоопарк, билет в Большой театр — память о двухдневном посещении Москвы в ноябре 1940 года.

Первую страницу занимало аккуратно переписанное стихотворение Лермонтова, и слова «на время не стоит труда, а вечно любить невозможно» были жирно и аккуратно подчёркнуты синим и красным карандашом.

Затем он вынул вторую тетрадку, в неё он вписывал конспекты по тактике, тактические задачи. По тактике он шёл отличником, единственный в группе, и этой тетрадкой гордился.

В целлофановую бумагу была завернута фотография скуластенькой девушки с сердитыми глазами, с вздёрнутым носом и мужским ртом. На обороте имелась надпись чернильным карандашом — «Не в шумной беседе друзья узнаются, друзья узнаются с бедою, коль горе нагрянет и слезы польются, тот друг, кто заплачет с тобою На долгую память от Веры Смирновой». А в правом углу был очерчен четырёхугольник и в него вписано мелкими печатными буквами: «Место марки целую жарко».

Ковалёв снисходительно усмехнулся, вновь завернул фотографию в целлофановую, похрустывающую бумагу. Затем он извлёк из сумки материальные ценности, бумажник с пачкой красных тридцаток, сиреневый кошелечек, в котором хранились два запасных кубаря для петлиц, немецкую трофейную бритву, трофейную зажигалку, красный галалитовый карандаш, металлическое круглое зеркальце, компас, массивный складной нож, имеющий

вид плоского танка, невскрытую коробку папирос.

Он посмотрел вокруг, прислушался к далёкому гулу и к близкой тишине, разрезал ногтем бандерольку на коробке и закурил, потом оглянулся на подошедшего старшину Марченко, ставшего теперь, после ранения политрука, его ближайшим помощником, и сказал:

— На-ка закури, — и, покосившись на разложенное добро, добавил: — Вот, затерял запалы для гранат, всю сумку перерыл.

— А чего их шукать, вон их полно принесли, — сказал: Марченко, осторожно взял двумя пальцами папиросу и прежде чем закурить, повертел её, оглядев со всех сторон.

Только придя в Сталинград, Пётр Семёнович Вавилов во всей глубине понял и почувствовал войну.

То, что слышал он от красноармейцев, и то, что выпросил он у беженцев, и то, что рассказывал на политбеседах политрук, и то, что вычитал он в газетах, которые читал день за днём, — всё это, существовавшее в его сознании не слитно, соединилось теперь в единое целое.

Всё это было связано с его жизнью, с постелью, на которой он спал, с хлебом, который он косил, с его женой, детьми, с его родной землёй, с его любовью к труду, с его судьбой.

Огромный город был убит, разрушен. Некоторые дома после пожара сохранили тепло, и Вавилов в сумерках, стоя на часах, ощущал жар, ещё дышавший в глубине камня, и ему казалось, что это — живое тепло людей, недавно ещё живших в этих домах.

Ему не раз приходилось бывать до войны в городах, но только здесь, в разрушенном Сталинграде, обнаружился и стал виден огромный труд людей, строивших город.

Как нелегко было в деревне во время войны добыть малое оконное стекло, шпингалеты для больничных окон, навесы для дверей, железную балку, понадобившуюся при ремонте мельницы. Гвозди при стройке давались счётом, а не по весу, так мало их было. Сколько труда потратили в колхозе, когда настелили в школе новый пол, как радовались, когда покрыли железом школьный дом!

Развалины города раскрыли огромное богатство, затраченное при стройке домов тысячи листов смятого огнём кровельного железа валялись на земле, дефицит — кирпич — мёртвыми холмами загораживал улицы на сотни сажен, тротуары блестели в стеклянной чешуе. Казалось, таким количеством стекла можно было наново остеклить всю колхозную Россию. Перегоревшее, сжёванное пожаром железо, мягкие, потерявшие в пьяном огне силу гвозди, шурупы, дверные ручки валялись тысячами, огромные, погубленные стальные рельсы и балки, прогнутые, порванные, закрученные злодейской силой немецких бомб...

Сколько пота затратили люди, чтобы из горной породы, песка, из руды извлечь стекло, камень, железо, стальные балки, медь. Тысячи и тысячи артелей каменщиков, плотников, маляров, стекольщиков, слесарей десятки лет с утра до заката работали здесь.

Какое мастерство видно было в кладке кирпича, как хитро, сложно выкладывались лестничные клетки, какая силища была в капитальной кладке треснувших стен. Гладкий асфальт был разрыт — темнели бомбовые ямищи, такие, что в них можно было сложить стог сена. Эти ямы разъели гладь площадей и улиц, и обнажился второй город, подземный, — толстый телефонный кабель, водопроводные трубы, котлы парового отопления, выложенные бетоном колодцы, переплетения подземных проводов.

Сокрушение величайшего труда! Казалось, пьяные мордатые злодеи издевались над тысячами рабочих людей. А те, кто жил в этих домах, встретились Вавилову в заволжской степи, обессиленные старухи, женщины с младенцами, сироты, старики. А сколько их лежало под кирпичными холмами!

— Вот это Гитлер, — произнес протяжно вслух Вавилов, и всё время эти три слова звучали в его ушах: — Вот это Гитлер...

Мерцающее облако с утра стояло в воздухе — прах искромсанных снарядами кирпичей, серая пыль, поднятая с неметенных городских площадей взрывами мин, снарядов и тяжким шагом подкованных сапог.

В полуденном, струящемся воздухе немецкие солдаты-наблюдатели, взобравшиеся на верхние этажи разбитых домов, увидели через пустые глазницы окон реку, поразившую их своей красотой: Волга голубела, отражая безоблачное небо, широкий, напоминавший море простор её сверкал на солнце. Влажное, чистое и нежное дыхание реки обдувало потные лица солдат.

А по улицам, среди горячих, пустых каменных коробок шли германские войска; самоходные пушки, броневые автомобили, танки со скрежетом делали на углах крутые повороты; мотоциклисты в распахнутых мундирах, без фуражек и пилоток кружили по площади, охваченные весёлым пьяным безумием.

Пыль смешалась с дымом походных кухонь, запах гари — с запахом горохового супа.

Автоматчики, покрикивая и весело замахаясь, вели пленных в кровавых, грязных бинтах, перегоняли на западную окраину бледных, растерянно озиравшихся жителей: женщин, детей, стариков.

Пехотинцы офицеры то и дело щёлкали фотографическими аппаратами и, не доверяя памяти, вытаскивали записные книжки, делали пометки — каждая из этих книжек должна была стать семейной реликвией, памятью славного дня для внуков и правнуков.

Солдаты с серо-каменными, пыльными щеками, облизывая сухие губы, входили в дома, гулко ступая по уцелевшим паркетным полам брошенных квартир, стучали прикладами автоматов в стены, заглядывали в шкафы, встряхивали одеяла.

И как не раз это происходило — солдаты совершенно непонятным, чудесным способом находили среди развалин бутылки русской водки и сладких вин.

Улицы огласились пронзительной музыкой сотен губных гармошек, из-за выбитых стёкол слышалось ухающее хоровое пение и топот солдатской пляски, хохот, крики; одиноко и печально звучали среди картавых немецких выкриков, среди волмнок и гармошек звуки советских патефонов, найденных в брошенных квартирах: тенор Лемешева, бас Михайлова.

«И кто его знает, чего он моргает...» — пел печально и удивлённо девичий голос.

Солдаты выходили из домов, запихивая на ходу в ранцы из телячьих шкур чулки, кофточки, мотки ниток, полотенца, гранёные рюмки, чашки, разливные ложки, ножи. Солдаты хлопывали себя по оттопыренным, туго набитым карманам. Некоторые, озираясь, бежали через площадь: прошёл слух, что за углом находится фабрика дамской модельной обуви.

Шофёры наваливали в грузовики рулоны мануфактуры, сложенные ковры, мешки муки, ящики макарон; танкисты и водители броневиков запихивали в люки боевых машин ватные одеяла, сорванные с окон гардины, занавески, снятые с постелей покрывала, дамские пальто.

А с прилегавших к Волге улиц слышался треск автоматов, разрывы мин, пулёмётные очереди, но к ним не прислушивались.

На балконе четырёхэтажного здания, обращённого к Волге, стоял унтер-офицер-наблюдатель в маскировочном балахоне, расцвеченном жёлтыми, коричневыми и зелёными овалами, с вуалью, украшенной мохнатыми лоскутками, и кричал картаво и повелительно в трубку: «Feuer!.. Feuer!.. Feuer!..» [Огонь!.. Огонь!.. Огонь!..], взмахивал рукой — и из-под деревьев на бульваре оглушительно послушно рычали пушки и из чёрных жерл молниеносно, как из змеиной пасти, выбрасывало жёлтые и белые раздвоенные языки.

— Быстро проехал бронированный штабной автомобиль, сделал разворот среди площади и остановился: худой генерал с жёлтыми крагами на кривых ногах, с горбатым носом, с лицом, пересечённым несколькими шрамами, вышел из автомобиля и, поблескивая стеклом моногля, оглядел небо, площадь, дома, нетерпеливо указывая рукой в перчатке, сказал: несколько слов подбежавшему офицеру и, снова сев в машину, уехал в сторону вокзала.

Вот таким и должен был быть последний день войны — таким он представлялся, и таким он пришёл.

Казалось, мерцающий жаркий туман стоял не в небе, а в раскалённых головах. Запах гари, прокалённого камня, жилья, мягкого асфальта опьянял после долгих недель, проведённых в степи.

Волга, столько раз виденная на карте бесплотной голубой жилой, сейчас живая и подвижная плескала о каменную набережную, шуршала, колыхала на себе плоты, понтоны, брёвна, лодки. И все поняли: вот она — победа!

А там, где края вбитого Паулюсом в центре Сталинграда клина граничили с районом, ещё не очищенным от советских войск, все ещё продолжалась война — там пока не думали о трофеях. Танки били прямой наводкой по подворотням и окнам, расчёты, пригибаясь, тащили пулемёты к развалинам на волжском обрыве, ракетчики сигналили цветными ракетами, автоматчики пускали очередь за очередью в тёмные подвалы, по краям оврагов ползли снайперы, двухфюзеляжные самолёты корректировщики висели в воздухе, и картавый вопль наблюдателей, шедший к командирам немецких дивизионов и батарей, многоэтажным эхом врывается в уши сидевших в Заволжье на приёме советских радистов: «Feuer!.. Feuer!.. Gut!.. Sher gut!..» [Огонь: Огонь: Хорошо: Очень хорошо!]

Командир пехотного гренадерского батальона гауптман Прейфи разместил свой штаб в нижнем этаже уцелевшего двухэтажного дома.

С востока штаб был прикрыт массивным остовом полуразрушенного строения, и Прейфи рассчитал, что, вздумай русские вести артиллерийский огонь из-за Волги, штаб окажется защищённым от прямого попадания снарядов.

Батальон первым вошёл в город, и рота лейтенанта Баха в ночь на одиннадцатое, двигаясь по руслу реки Царицы, достигла набережной Волги. Бах донёс, что боевое охранение роты закрепилось у самой воды, держит под огнём крупнокалиберных пулемётов дорогу на левом берегу Волги.

Не первый раз входил гренадерский батальон в завоёванный город, и солдаты привыкли к тому, что улицы, по которым они ступают, пустынные, что под сапогами скрипит битый кирпич и осколки стёкол, что ноздри ловят горячий запах гари, что при виде первого серо-зелёного пехотного мундира жители столбенеют.

Ведь они всегда были первыми немцами, которых видели русские. И им казалось, что в них самих жил пафос завоевательской силы, повергавший в развалины дома и железные мосты, вызывавший ужас в глазах женщин и детей.

Так было по всему пути гренадеров моторизованной дивизии.

И всё же приход в Сталинград был особым, отличным от других приходов. Перед атакой в полк приезжал заместитель командира корпуса, беседовал с офицерами и солдатами, а представитель отдела пропаганды производил киносъёмку и раздавал обращение. Известный армии журналист, корреспондент «Фолькишер Беобахтер», деливший с войсками всю тяжесть восточного похода, знаток солдатской жизни, взял интервью у трёх старых участников русской кампании. Прощаясь с ними, он сказал:

— Дорогие друзья, завтра я буду свидетелем, а вы участниками решающей битвы с Россией, войти в этот город, значит кончить войну. За Волгой кончается Россия, там мы не — встретим сопротивления.

Газеты, привозимые на самолётах из далёкой Германии, и свои, армейские, выходили в эти дни с огромными шапками:

«Der Fuhrer hat gesagt:Stalingrad muss fallen! [Фюрер сказал: «Сталинград должен пасть!»]. Жирным шрифтом газеты печатали цифры колоссальных потерь Советов, перечисляли трофеи: живая сила, танки, пушки, захваченные на аэродромах самолёты.

В уме солдат и офицеров, в сознании армии сложилось убеждение, что пришёл решающий день войны. Правда, такое убеждение рождалось уже не раз, но теперь стало очевидно, что ложность того прошлого убеждения подтверждала истинность этого, нынешнего.

— После Сталинграда можно ехать домой, — говорили все. Передавались слухи, что верховное командование наметило дивизии, которые после войны останутся в

оккупационной армии.

Когда Бах сказал: своему командиру батальона, что ведь не заняты ещё колоссальные пространства, держится ещё Москва, есть Урал, Сибирь, есть запасные советские армии, Прейфи ответил:

— Всё это чепуха. Если мы возьмём Сталинград, неразбитые армии побегут и рассыпятся, а Англия и Америка немедленно заключат с нами мир. Мы поедим домой, а здесь останутся лишь части для несения гарнизонной службы и борьбы с партизанами. Важно не попасть в такую часть, а то мы скиснем в каком-нибудь вонючем русском городке.

Ночью Бах подполз к Волге и зачерпнул каской воды. На рассвете, когда позиции были закреплены и стрельба утихла, он принёс эту воду в штаб батальона и угостил ею гауптмана Прейфи.

— Знаете, — сказал: Прейфи, — так как вода сырая и в ней могут заключаться микробы азиатской холеры, мы смешаем её со сталинградским спиртом. — Он подмигнул и добавил: — Поменьше воды и побольше спирта.

Они так и сделали, чокнулись, выпили, и Бах, подняв руку, сказал:

— Вот что: пять минут тишины, пусть каждый напишет сейчас же коротенькую открытку домой, все мы пили волжскую воду.

— Это правильная, настоящая немецкая мысль, — сказал: Прейфи.

Бах написал невесте о том, как южные звёзды стояли над чёрной рекой, и что влажное дыхание Волги казалось ему дыханием истории.

Капитан Прейфи написал, что, поднимая кружку волжской воды, он уже видел себя в кругу семьи, уже чуял запах парного молока, которое принесёт ему жена в ясное весеннее утро, какое счастье думать о своих милых в эти великие дни.

Начальник штаба Руммер, считавший себя глубоким стратегом, написал старику отцу о грандиозном прорыве на восток, в Персию, Индию, о соединении с японцами, идущими из Бирмы и Индо-Китая, о стальном поясе, который закует на десять веков земной шар.

«Пал последний рубеж, — писал он, — я поднял тост за встречу с союзниками».

А Фриц Ленард, обер-лейтенант с нежным, молодым лицом, с маленьким розовым ртом, высоким белым лбом и немигающими голубыми глазами, командир роты, коллега Баха, никому не писал, он, усмехаясь, ходил по комнате среди собранных хозяйственным Прейфи трофеев, встряхивал кудрями и бормотал вполголоса стихи Шиллера.

Этого Ленарда побаивался сам Прейфи, картавый гигант с громким голосом и могучей хозяйственной энергией.

Ленард до войны был пропагандистом, затем он служил в звании штурмфюрера в войсках СС, а когда началась война с Россией, его перевели в штаб моторизованной дивизии.

Шепотом передавали, что по его доносу арестовали двух офицеров майора Шиммеля он обвинил в сокрытии еврейской крови со стороны отца, а о другом, Гофмане, Ленард якобы раскопал длинную историю о тайных связях с интернационалистами, заключёнными в лагере; оказалось, Гофман не только переписывался с ними, но и ухитрялся с помощью родных, живущих в Дрездене, пересылать им из армии деньги и вещевые посылки. Однажды Ленард, по-видимому, забыл, что находится в армии и недостаточно вежливо ответил: командиру дивизии Веллеру. Генерал откомандировал его в роту. На передовых Ленард держался хорошо, получил несколько благодарностей от командира полка, был представлен к железному кресту.

Офицеры полка знали, что Ленард дважды участвовал со своей ротой в акции раз при сожжении партизанского села на Десне, второй раз при массовом уничтожении пяти тысяч евреев в местечке на Украине.

В полку и в батальоне офицеры не любили Ленарда, но всё же многие искали его дружбы, даже и те, кто был старше его чином, должностью, годами.

Бах чуждался Ленарда, хотя тот был, видимо, умнее других офицеров в батальоне. С командиром батальона Прейфи, охваченным хозяйственным пылом, нельзя было говорить о предметах, не имевших прямого отношения к вещевым и продовольственным посылкам.

Всякий разговор он сводил к тому, что следует руководствоваться комбинированным методом при организации посылок. Вначале он считал, что надо домой посылать полотно и шерсть, потом он решил посылать продовольствие: натуральный кофе, мед, топленое масло. Лишь перейдя Северный Донец, он осознал, что многообразные потребности семьи следует удовлетворять гармонично, комплексно.

Он любил показывать офицерам своё походное производство: денщик в белом халате переливал через химическую воронку с фильтром топленое масло в большие металлические банки. Тут же банки герметически запаивались. Денщик умел мастерски паять, шить плотные мешки, компактно, с ловкостью фокусника укладывать десятки метров мануфактуры в немыслимо маленькие пакеты. Все эти дела тешили великана Прейфи, занимали его мысли в свободное от войны время.

Начальник штаба батальона алкоголик Руммер раздражал Баха своей многоречивостью. Как и все недалёкие люди, он был необычайно самоуверен, а напившись, любил, авторитетно поучая собеседника, говорить о международной политике и стратегии.

Молодые офицеры не склонны были к беседам. Их интересовали простые радости: пьянка, женщины. А Баху в этот необычайный день страстно хотелось поговорить, поделиться с умным собеседником мыслями.

— Недели через две, — сказал: Прейфи, — мы попадём в самую настоящую Азию, в царство шёлковых халатов, бухарских и персидских ковров кустарной выделки, им нет цены. — Он рассмеялся — Нет, что ни говори, но в этом Сталинграде мне досталось кое-что, чего вам не удалось достать. — Он приподнял край плащ-палатки, прикрывавшей рулон серой материи. — Чистая шерсть, я пробовал жечь нитку на спичке, краешек нитки спекается. Кроме того, я вызывал эксперта — полкового портного.

— Это настоящая ценность, — сказал: Руммер, — метров сорок.

— Ну, какие сорок, не больше восемнадцати, — сказал: Прейфи. — Если б я не взял эту материю, её взял бы другой, ведь это ничьё, как воздух.

Он не любил в присутствии Ленарда говорить о крупных масштабах своих операций.

— Где женщины, которые жили в этом доме? — вдруг спросил Ленард. — Одна из них красивая, настоящий северный тип.

— Их переправили вместе с другими на западную окраину, есть распоряжение начальника штаба дивизии, — ответил: Руммер, — он предполагает возможность контратаки.

— Жаль, — сказал: Ленард.

— Вы хотели побеседовать с ними?

— С толстой старухой, конечно?

— Ну ясно, красавица его не интересуется.

— Толстуха не так уж стара, у нее восточный тип лица, — сказал: Прейфи, и все засмеялись.

— Совершенно верно, господин гауптман, — сказал: Ленард, — я и подумал: не еврейка ли она.

— Там разберут, — сказал: Руммер.

— Вот что, отправляйтесь в роты, — сказал: Прейфи и прикрыл плащ-палаткой рулон шерсти, — и не лезьте зря под пули. Сегодня я стал трусом: быть убитым русскими под конец войны — нет ничего глупей!

Бах и Ленард вышли на улицу. Их командные пункты разместились в одноэтажном длинном здании — Бах в южной части, Ленард — в северной.

Ленард сказал:

— Я к вам приду посидеть, тут можно пройти от меня внутренним коридором, не выходя на улицу.

— Заходите, у меня есть спирт, — сказал: Бах, — меня раздражают бесконечные разговоры о трофеях.

— Если мы высадим десант на луне, — сказал: Ленард, — то первый вопрос нашего

гауптмана будет: есть ли тут мануфактура, потом уж он спросит, есть ли кислород в атмосфере. — Он постучал пальцем по стене. — По-моему, эта стена возведена в восемнадцатом веке.

Стены поражали ненужной толщиной, такой толщины стены могли бы выдержать восемь этажей надстройки, а дом был одноэтажный.

— Русский стиль, бессмысленный и пугающий, — сказал Бах. Телефонисты и вестовые помещались в большой комнате с низким потолком, офицеры уселись в маленькой комнатке. Из окошечка они видели набережную, памятник какому-то советскому герою и кусочек реки; из второго окошечка виднелись высокие серые стены городского элеватора и заводские постройки в южной части города.

Почти половину первого сталинградского дня они провели вместе, пили и разговаривали.

— Удивительное свойство немецкой натуры, — сказал: Бах, — всю войну я тосковал по дому, а сегодня, когда я, наконец, поверил, что войне подходит конец, мне стало грустно.

Я не берусь вам сказать, какие часы были самыми приятными в жизни — не эти ли, минувшей ночью, когда я подполз с гранатами и автоматом к чёрной, дикой Волге, зачерпнул каской воды, вылил её себе на разгорячённую голову и посмотрел на чёрное азиатское небо, на азиатские звёзды, и капли воды были на моих ресницах, на стёклах очков, и я вдруг понял — это я, я прошёл своими ногами от Западного Буга до Волги, до азиатских степей.

Ленард проговорил:

— Мы победили не только большевиков и русское пространство — мы избавили самих себя от бессилия гуманизма.

— Да, — сказал: Бах, охваченный умилением, — вот такой разговор, как мы сейчас ведём с вами в завоёванном городе, на командном пункте роты, могут вести только немцы. Страсть обобщать факты — это наша привилегия. И вы правы: эти две тысячи километров мы прошли без помощи морали.

Ленард дружелюбно, по-товарищески, нагнувшись через стол, спросил:

— И я бы хотел видеть человека, который бы с берега этой Волги упрекнул Гитлера, что он повёл Германию по неправильному пути.

— Такие люди, вероятно, есть, — сказал: весело Бах, — но они, естественно, молчат.

— Есть, правильно, но разве это имеет значение? Разве на историю влияют сентиментальные старухи-учительницы, интеллигентские слюнтяи и всякие там специалисты по детским болезням. Не они выразители немецкой души. Важна не сопливая добродетель, важно быть немцем. Это главное.

Они снова выпили, и туман застлал голову Баха, он ощутил непреодолимое желание завести откровенный разговор. Где-то в глубине сознания Бах понимал, что будь он трезв, он не стал бы говорить того, что скажет сейчас, что, протрезвившись, пожалеет о своей болтливости, будет испытывать нудный страх и беспокойство. Но здесь на Волге ничто не казалось недозволенным, даже откровенный разговор с Ленардом.

Ленард варился в армейском котле, он не тот, что был. В его светлых глазах с длинными ресницами было что-то притягивающее.

— Видите ли, — сказал Бах, — я долгое время считал, что Германия и национал-социализм — это различные вещи. Я воспитывался в такой среде: мой отец, учитель, вылетел со службы, он говорил школьникам не то, что нужно. Правду говоря, меня всегда интересовали другие идеи. Я не был сторонником расовой теории, откровенно скажу, я сам вылетел из университета. Но вот я дошёл до Волги! В этом марше больше логики, чем в книгах. Человек, который провёл Германию через русские поля и леса, который перешагнул через Буг, Березину, Днепр и Дон, — теперь-то я знаю, кто он. Вот это я понял... То, что дремало в туманных страницах: «По ту сторону добра и зла», в «Закате Европы», в Фихте, — всё это сегодня марширует на земных полях...

Он говорил и не мог остановиться. Он сам понимал — сказались бессонница,

напряжение последних боёв, четырёхста пятьдесят кубиков крепкой русской водки.

— Вот, Ленард, я всё думал, должен вам сознаться в этом, что народ не хочет акций против детей и женщин, стариков и безоружных. И только в этот час победы я понял: эта битва вдет по ту сторону добра и зла. Идея германской силы перестала быть идеей, она стала силой. В мир пришла новая религия, жестокая, яркая, она затмила мораль милосердия и миф интернационального равенства.

Ленард подошёл к Баху, утёр платочком с его лба капельки пота, положил ему руки на плечи.

— Вы говорите искренно, — медленно произнёс он, — это главное, но вы всё же ошибаетесь. Это наши враги приписывают нам отрицание любви. Но это чепуха! Эти слюнтяи выдают за любовь дрожь бессильных. О, вы ещё увидите, как мы нежны, чувствительны. Не думайте, что мы только жестоки. Мы тоже знаем любовь. Но миру нужна лишь любовь сильных. Я хотел бы дружить с вами, милый Бах!

Бах увидел внимательный и ждущий взгляд. Он снял очки — и лицо Ленарда расплылось, стало светлым, безглазым пятном.

— Это настоящее, — сказал: Бах, пожимая руку Ленарда, — я ценю настоящее. Послушайте, давайте выкупаемся в Волге, а? Здорово! Напишем домой — два немца купались в Волге, а?

— Купаться? — Глупо, нас подстрелят, — сказал: Ленард и добавил. — Вам надо просто смочить голову холодной водой, вы очень сильно хватили.

Бах, трезвея, с тревогой посмотрел на него. В голове его быстро мелькнула хитрая мысль: если Ленард вздумает придирается к его словам, лучше всего сослаться на опьянение — шутка ли, такой день?

— Я, действительно, здорово напился, — пробормотал он. — Наутро я обычно не помню ни слова из чепухи, что болтал накануне.

Ленард, видимо, понял его и рассмеялся:

— Что вы, вы не говорили чепухи! Вы говорили замечательно, всё это хоть завтра можно напечатать в газете. — Вдруг перейдя на «ты», он сказал: — Эх, слушай, дружище, как это я прозевал эту красивую женщину. Но я попытаюсь найти ее. Как живая перед глазами стоит.

— Я её не видел, — сказал: Бах, — но мне говорили о ней солдаты.

— Это единственный вид трофеев, который я признаю, — сказал: Ленард.

Ночью при свете яркobelой электрической лампочки Бах, морщась и вздыхая от головной боли, записал в свой дневник:

«Мне кажется, я начинаю понимать суть. Не в отрицании человечности тут дело. Дело в высшем понимании... Сегодня Германия, фюрер решают главную задачу. Категории добра и зла способны взаимно превращаться, они формы одной сущности, они не противоположны, они условные знаки, противопоставление их наивно. Сегодняшнее преступление — фундамент завтрашней добродетели. Национальный импульс проглатывает, объединяет в себе добро и зло, свободу и рабство, мораль и аморализм в едином всегерманском порыве. Может быть, сегодня в Сталинграде эта задача нашла своё окончательное и простое решение».

Роты Баха и Ленарда ушли из верхних этажей большого дома и разместились в просторном и прохладном подвале. Сквозь выбитые стёкла проникал свет и свежий воздух. Солдаты трудолюбиво притащили в подвал мебель из несгоревших квартир. Подвал напоминал не военный бивуак, а склад мебельного магазина.

У каждого гренадера имелась своя кровать, прикрытая одеялом либо периной. Были принесены кресла с затейливыми тонкими ножками, столики и даже трельяж.

Любимец батальона старший солдат Штумпфе устроил себе в углу подвала нечто вроде спальни. Он приволок из квартиры верхнего этажа двуспальную кровать, застелил её голубым одеялом и положил в изголовье две подушки в вышитых наволочках, по обе стороны кровати он поставил ночные столики, прикрытые салфеточками, а на каменном

полу постелил ковер. Он принёс два ночных горшка и две пары стариковских туфель, обшитых мехом. На стене он повесил с десятков семейных фотографий в рамках, добытых в различных квартирах.

Он специально подобрал смешной семейный типаж. На одной фотографии были изображены старик и старуха, по-видимому рабочие, снятые в торжественной праздничной одежде: старик в пиджаке и галстук сурово и смущённо нахмурился, старуха в чёрном платье, с большими белыми пуговицами и с вязаной шалью на плечах сидела, кротко опустив глаза, руки её лежали на коленях.

На другой очень старой фотографии были сняты молодожёны, те же старик и старуха (эксперты определили это), она в белой подвенечной фате, с восковыми букетиками флёрдоранжа, миловидная и печальная, готовая к суровой и долгой жизни, а молодожён стоял рядом с ней, опершись локтем о спинку высокого чёрного стула, в лакированных сапогах гармошкой, в чёрной тройке, с цепочкой на жилете.

На третьей фотографии был изображён дощатый гроб, обклеенный бумажными кружевами, в нём лежала мёртвая девочка в белом платьице, а вокруг, взявшись за борт гроба, стояли смешные люди: старичок в ситцевой рубаше без пояса, бородатый мужчина, мальчик с открытым ртом и несколько пожилых женщин в платочках — все с каменными, торжественными лицами.

Когда Штумпфе, в сапогах, не снимая с шеи автомата, повалился на одеяло и тонким, жеманным голосом, считая, что подражает русской женщине, позвал:

— Либер Иван, ком цу мир, — всю казарму охватили корчи смеха.

Потом он и ефрейтор Ледеке сели по обе стороны кровати на ночные горшки и вели шуточный диалог, подражая пожилым деревенским супругам.

Слушать это представление пришли солдаты из других полков, а вскоре явился подвыпивший Прейфи в сопровождении Баха и Ленарда.

Штумпфе и Ледеке показали офицерам всю программу и необычайно насмешили Прейфи, тот стал растирать ручищами свою гигантскую грудь и загудел:

— Хватит, хватит, я сейчас умру, если вы не перестанете!

Вечером солдаты занавесили окна платками и одеялами, зажгли большие лампы под зелёными и розовыми абажурами, залив в них бензин с солью, уселись за стол.

Немногие из них были участниками русского похода с первых дней — всего лишь шесть человек. Остальные прибыли из дивизий, стоящих в Германии, из Польши, из Франции, двое были из африканских роммелевских частей.

В роте имелись солдаты-аристократы и солдаты-парии. Немцы насмехались над австрийцами. Но иногда немцы зло посмеивались и друг над другом. Родившихся в Восточной Пруссии называли мужланами. Над берлинцами смеялись баварцы, они говорили, что Берлин — еврейский город, где смешалось множество всякой швали: итальянской, румынской, мексиканской, польской, чешской, венгерской, бразильской, и что в Берлине нельзя найти ни одного настоящего немца. Пруссаки, южане, берлинцы презирали эльзасцев, считали их свиньями и чужаками. Репатриированных из Латвии, Литвы и Эстонии называли «четвертью немца». Фольксдейче вообще не считались за немцев — имелась инструкция не очень-то им доверять, присматривать за их поведением.

Аристократами в роте считались Штумпфе и Фогель, они служили в войсках ОС и по известному приказу фюрера были переведены в числе многих тысяч в обычные армейские части для упрочения духа в войсках.

Признанным столпом роты был затейник Штумпфе. Высокий, полнолицый, что редко встречается среди ефрейторов и рядовых, он радовал и восхищал солдат своей удачливостью, смелостью, умением быстро, быстрее всех, организовать полноценную посылку в полусожжённой деревне, стоило ему поглядеть на русского крестьянина — «восточника», — и вдруг возникали мёд и сало.

Он любил жену и детей, брата, непрерывно писал им письма, сооружал калорийные посылки не хуже офицерских; его бумажник был полон фотографий, и все в роте

пересмотрели по многу раз фото: худенькая жена Штумпфе с горкой тарелок у обеденного стола, она же в пижаме, облокотившись на камин, она же в лодке, подняв весла, она же улыбается, держа в руках куклу, она же на прогулке в деревне.

На многих фотографиях были сняты дети Штумпфе — высокий бледный мальчик и хорошенькая шестилетняя девочка со светлыми волосами до плеч.

Разглядывая фотографии, солдаты говорили протяжно и задумчиво: «Да-а-а», и сам Штумпфе, прежде чем положить их в бумажник, долго всматривался в дорогие лица, и выражение у него было торжественное и сосредоточенное.

Он умел хорошо рассказывать о своих детях, и обер-лейтенант, как-то послушав его, сказал:, что с такими данными можно выступать на сцене. У него имелся один рассказ — подготовка к рождественской ёлке, в нём были десятки смешных и милых словечек, вскрикиваний, всплескиваний руками, ребячьего лицемерия, ребячьей хитрости, ребячьей зависти к чужим подаркам. В этом рассказе было какое-то удивительно противоречивое свойство — слушая его, все хохотали» а выслушав до конца, расстраивались, некоторые даже до слез

Но и в самом Штумпфе соединились, казалось, несоединимые, противоречивые черты. У него случались периоды бесшабашной жестокости и буйства, тогда никто не мог его удержать, он превращался в совершенного чёрта.

Однажды в Харькове он, напившись пьяным, вылез из окна пятого этажа и обошёл весь дом по узкому карнизу, ухитряясь при этом стрелять из пистолета.

В другой раз он поджёл дом, влез на крышу, пел среди дыма и пламени, размахивая руками, дирижировал причитанием и плачем женщин и детей, движением огня и дыма.

В третий раз он разбушевался лунной майской ночью в деревне, бросил ручную гранату в гущу цветущих деревьев — граната застряла в ветвях и разорвалась в четырёх метрах от Штумпфе; его засыпало ворохом белых лепестков, листьев, и один осколок гранаты распорол голенище его сапога, второй — пробил погон. Штумпфе после этого два дня плохо слышал: взрыв контузил его.

В его лице, в больших спокойных глазах, в светлой глубине которых вдруг мелькал блеск стекла, было нечто, внушавшее ужас «восточникам». Когда он входил в избу и медленно, насмешливо осматривал хату, брезгливо подозрительно нюхая воздух, а затем приказывал почище протереть белым полотенцем табуретку, обомлевшие старухи и бабёнки сразу догадывались, что перед ними нешуточный человек.

— Я упростил русский словарь, — говорил он, — в моей грамматике есть лишь одно наклонение: повелительное.

Товарищи любили его рассказы о прошлой жизни — ему многое пришлось испытать, многое повидать.

Юношей он служил в спортивном магазине; потеряв службу, два сезона был сельскохозяйственным рабочим, работал на молотилке; в 1926 году он работал три месяца в Руре на шахте «Кронпринц». Он кончил курсы и стал шофёром — возил молоко на грузовике, затем работал на легковой машине — возил известного гельзенкирхенского дантиста; через год он стал шофёром такси в Берлине. Внезапно он оставил эту профессию и стал помощником портье в гостинице «Европа», а ещё через год он получил должность наблюдающего за кухней в небольшом ресторане, который посещался деловыми людьми — промышленниками и юристами.

Ему нравилось, что руки у него стали белыми и нежными, он ухаживал за ними, чтобы согнать с них последние следы изуродовавшей кожу прошлой работы.

Он подошёл вплотную к той жизни, которая всегда привлекала его. Как-то он высчитал, что покупка акций, идущих от понижения к внезапному повышению, принесла одному посетителю ресторана доход, равный прошлой заработной плате Штумпфе за сто двадцать лет, или за тысячу четыреста сорок месяцев, или за сорок тысяч дней, или за триста тысяч часов, или за девятнадцать миллионов минут. Покупка акций была произведена по телефону, стоящему на ресторанном столике, и заняла минуты полторы две.

Это соотношение казалось Штумпфе выражением дивной силы, она-то и влекла его.

Пребывание в атмосфере чужого богатства, разговоры всеведущих кельнеров о том, кто из клиентов приобрел автомобиль «испано сюиза», кто построил виллу, кто купил актрисе кулон, — всё это доставляло Штумпфе томительное наслаждение.

Младший брат Штумпфе — Генрих, такой же рослый, с таким же холёным лицом, в 1936 году поступил работать в политическую полицию. Он часто говорил брату: «Мы увидим с тобой настоящую жизнь».

Генрих шёпотом рассказывал старшему брату об игре ещё более смелой и крупной, чем та, которую вели посетители ресторана. То была настоящая работа один удачный и дерзкий ход возносил человека.

Иногда Штумпфе останавливался перед трюмо в полутёмном вестибюле ресторана, придав лицу утомлённое, брезгливое выражение, которое подмечал у некоторых клиентов. Его фигура была хороша — рост — 177, вес 80 кило, мягкие волосы, кожа на теле белая, чистая, бесшерстная.

И Штумпфе с волнением думал «В самом деле, неужели я не достоин лучшей участи»

А в газетах, в журналах, брошюрах, по радио, на собраниях и лекциях, в выступлениях фюрера, в речах Геббельса, рейхсмаршала, Розенберга, Штрайхера доказывалось, писалось, провозглашалось, что мудрость мудрецов, труд великих тружеников — все ничто по сравнению с величайшей драгоценностью — кровью, текущей в жилах немцев. И кружилась голова, посаженная на жадное до еды и питья ленивое туловище.

Но чем ближе шло дело к концу войны, тем ясней становилось для Штумпфе, что у него нет возможности по настоящему реализовать своё племенное превосходство — он оставался солдатом, все его имущество умещалось в вещевом мешке. Посылки уже не тешили его.

Товарищи уважали Штумпфе. Унтер-офицеры замечали, что солдаты в беседе больше всего любили слушать Штумпфе, а если происходила ссора или возникал спор, обычно он становился судьёй. Он был храбр, и его часто посылали в разведывательные поиски, ходить с ним в разведку нравилось солдатам, говорили, что с ним ходить верней, чем с унтером Мунком, окончившим специальную школу.

Товарищам нравилась веселая насмешливость Штумпфе, он почти всем присваивал прозвища, умел подмечать в людях смешные черты и точно копировал их. У него был целый набор походных рассказов «Фогель организует скромный завтрак — яичницу из двадцати яиц и жарит небольшую курочку», «Бабник Ледеке домогается любви русской крестьянки в присутствии её маленьких детей», «Очкастый Зоммер выслушивает внушения командира батальона», «Майергоф втолковывает еврею, что ему выгодней покинуть сей свет несколько раньше того срока, который ему отпустил еврейский бог». Но самыми разработанными были обширные программы, посвященные Шмидту. Этот Шмидт старанием Штумпфе превратился не только в ротную, но и в полковую знаменитость, предмет постоянных насмешек.

Штумпфе демонстрировал множество сценок, посвящённых Шмидту. «Шмидт женится, но, работая в течение года в ночной смене, никак не соберётся переспать с женой», «Шмидт получает значок за двадцатилетие своей слесарской работы на механическом заводе и пытается обменять этот значок на килограмм картофеля», «Шмидту торжественно перед строем зачитывают приказ о разжаловании его из унтер-офицеров в рядовые» — событие, действительно происшедшее в прошлом году.

Внешне Шмидт не производил впечатления комической фигуры большой, сутулый, такого же роста, как и Штумпфе, он обычно был мрачен и молчалив. Но Штумпфе умел подмечать самые незначительные его особенности; манеру шаркать на ходу подошвами, шить с полуоткрытым ртом, внезапно задумываться и сопеть при этом.

Шмидт был самым пожилым солдатом в роте, он участвовал в первой мировой войне. Рассказывали, что он в восемнадцатом году был сторонником дезертирского движения.

Какой то раздражавшей, унылой тупостью веяло от этого допотопного болвана

Шмидта. Штумпфе не мог спокойно смотреть на него. Он был неудачлив, в армию попал, как унтер-офицер — рядовым бы его не взяли по возрасту, но после разжалования его не демобилизовали, хотя он обладал квалификацией рабочего, дающей право вернуться в тыл. Словом, он влип, и неудачливость его смешила и раздражала. Ею всегда посылали на тяжёлые работы. Он обладал талантом попадаться на глаза как раз в ту минуту, когда нужен был человек для реконструкции офицерской уборной или для закапывания нечистот. Работал он с тупой и молчаливой добросовестностью, с какой-то идиотской неутомимостью. Разжалован в рядовые он был в самом начале восточной кампании, когда рота, ещё не дойдя до фронта, охраняла тюрьму и лагерь военнопленных. Шмидт отлынивал от несения конвойной службы, пытался симулировать болезнь, и полковой врач обнаружил это — видимо, дезертирство жило в его крови. После разжалования он не проявлял трусости, был исправен, неплохо стрелял. Когда рота уходила на отдых в тыл, он усердно отправлял домой продовольственные посылки. И всё же он был смешон. Штумпфе называл его — Михель.

За круглым столиком при свете семейной лампы под розовым абажуром сидели три друга: Штумпфе, Фогель и Ледеке.

Их связывали узы трудов, опасностей, веселья, у них было мало тайн друг от друга.

Фогель — высокий, сухопарый юноша, учившийся до войны в гимназии, оглянулся на дремавших в полутьме людей и спросил:

— А где же наш приятель Шмидт?

— Он в охране, — ответил: тонкогубый Ледеке.

— Похоже на то, что война кончается, — проговорил Фогель — Огромный город всё же, я пошёл в штаб полка и заблудился.

— Да, — сказал: Ледеке, — всё хорошо, что хорошо кончается. Вы знаете, сейчас я стал трусом, чем ближе к концу войны, тем страшней быть убитым.

Фогель кивнул.

— Скольких мы похоронили, действительно глупо после всего погибнуть.

— Даже не верится, что я снова буду дома, — сказал: Ледеке

— Будет чем похвастать, особенно если заболеешь под конец веселой болезнью, — сказал: Фогель, не одобрявший женюльцев. Он осторожно провёл ладонью по орденским ленточкам. — У меня их меньше, чем у штабных героев, но я их честно заработал.

Молчавший Штумпфе усмехнулся и сказал:

— На них ничего не написано — и те, что выданы в штабе, выглядят так же, как те, что заработаны в бою.

— Штумпфе неожиданно впал в уныние, — сказал: длиннолицый Ледеке, — не хочет рисковать перед концом.

— Непонятно, — сказал: Фогель.

— Тебе непонятно, — сказал: Штумпфе, — ещё бы, ты вернёшься к папеньке на фабрику бритвенных лезвий и заживешь, как бог.

— Ну, ну, ты тоже не прибедняйся! — сказал раздражённо Ледеке.

— Что? — сердито спросил Штумпфе, хлопнув ладонью по столу. — Посылки?

— А мешочек на груди? — насмешливо спросил Ледеке.

— Ну и что в этом мешочке — дуля? Я только теперь под конец понял, оказался полным болваном. Как мальчишка, плясал на крыше во время пожара, а толковые люди занимались делом.

— Всё зависит от удачи, — сказал: Фогель. — Я знаю человека, которому достался в Париже бриллиантовый кулон. Когда он был в отпуску и принёс его ювелиру, тот рассмеялся и спросил: «Сколько вам лет?» — «Тридцать шесть». «Ну вот, если вы проживёте до ста и ваша семья будет всё расти, то, продав эту штуку, вы не будете нуждаться». А досталась ему вещь шутя.

— Хоть бы посмотреть на такую штуку, — сказал: Ледеке, — у русских мужиков не найдёшь бриллиантовых кулонов, в этом Штумпфе прав, конечно. Попал не на тот фронт. Будь я танкистом, я мог бы возить с собой ценности: сукно, меха. Не тот фронт и не тот род

оружия, в этом причина.

— И не то воинское звание, — добавил Фогель, — будь он генералом, он бы не хмурился сегодня. Они гонят грузовик за грузовиком. Я разговаривал с денщиками, когда был прикомандирован к охране штаба армии. Вы бы послушали их споры: чей хозяин вывез больше мехов.

— В штабе прямо в воздухе висит с утра до вечера: «Pelze... Pelze...»[Меха... меха...] Теперь мы подходим к Индии и Персии — пахнет коврами.

— Вы дураки, — сказал: Штумпфе, — к сожалению, сегодня, под конец, я понял, что был не умнее вас. Тут дело идёт о совершенно ином. Дело идёт не о шубах и коврах. — Он оглянувшись, не прислушивается ли кто-нибудь к их разговору, и перешёл на шёпот. — Дело идёт о будущем семьи, детей. Вот эти безделки: золотая монета, часики, колечко мне достались при еврейской акции, в жалком, нищем местечке. А представь себе, что получают люди из эйнзатцгрупп при ликвидациих в Одессе, Киеве, в Варшаве? А?

— Ну, знаешь, — сказал: Фогель — Ну их к чёрту, эти дела в эйнзатцгруппах, у меня не те нервы.

— Пфенниг с каждого переставшего дышать иудея, — сказал Штумпфе, — не больше.

— Ты не останешься в накладе, — сказал: Ледеке, — фюрер взялся за это дело, тут пахнет вагонами пфеннигов.

Они рассмеялись, но Штумпфе, самый весёлый из них, остался серьёзен.

— Я не такой идеалист, как ты, — сказал: он Фогелю, — и не собираюсь скрывать это. Ты человек прошлого века, вроде, лейтенанта Баха.

— Не у всякого богатая родня, — сказал: Ледеке, — будь у меня папаша фабрикант, и я бы говорил лишь о долге, душе и дружбе.

— Видишь ли, — сказал: Штумпфе, — вот в чём дело — я решил просить обер-лейтенанта. Пусть откомандирует меня, пока не поздно, я наверстаю потерянное. Я скажу ему, что это мой внутренний голос зовёт меня. Он ведь любит такие вещи. Поглядите-ка, — и Штумпфе достал из толстой пачки семейных фотографий открытку. На фотографии изображалась огромная колонна женщин, детей, стариков, идущих меж рядами вооружённых солдат. Некоторые смотрели в сторону фотографа, большинство шло, опустив головы. На переднем плане стояла открытая легковая машина, в ней сидела молодая женщина с чёрной лисицей на шее, резко оттенявшей её светлую кожу и белокурые волосы. Подле машины стояли офицеры и глядели на идущих. Женщина полными белыми руками приподняла над бортом машины большеголовую, толстоносую собачку с лохматой чёрной шерстью. Дама, невидимому, показывала собачке идущих, так матери поднимают на руки несмышлёных детей, чтобы потом через много лет напомнить им о виденном в младенчестве зрелище.

Фогель долго рассматривал фотографию.

— Это скотч-терьер, — сказал: он, — у нас дома есть такой же, мама в каждом письме шлёт мне привет от него.

— Да, вот это женщина, — со вздохом сказал: Ледеке.

— Это жена моего брата, — сказал: Штумпфе, — а брат — вот этот, опёрся на раскрытую дверцу.

— Он похож на тебя, — сказал: Ледеке, — я сперва подумал, что это ты. Но у него отвороты СС и чин не твой.

— Это снято в Киеве, в сентябре сорок первого, у кладбища, я забыл, как называется это место. Брат после этую пурима может твоему папаше одолжить несколько грошей, если ему понадобится строить новый цех.

— Дай-ка я на неё посмотрю ещё, — проговорил Ледеке, — особенно на фоне этого шествия смерти, что-то притягивающее в ней есть.

— Встретил бы её до войны, когда брат был актёром в оперетте, а она работала билетёршей. Ты бы посмотреть на неё не захотел. У женщины восемьдесят процентов красоты зависит от того, как она одевается, как завита, шикарная ли вокруг обстановка, И я

хочу, чтобы моя жена выглядела после войны не хуже. Брат пишет, он сейчас в генерал-губернаторстве, и намекает, словом, я понял, ими организована солидная еврейская фабрика. Киев — это игрушки. И он мне пишет: «Если тебя откомандируют, устрою тебя на своём предприятии». — Поверь уж, Ледеке, у меня нервы выдержат.

— А по-моему, свинство, — вдруг крикнул Фогель, — кроме всего этого, существует ведь товарищество. После четырнадцати месяцев, связавших нас, взять да удрать, это всё же подлость. Так не поступает солдат!

Ледеке, который легко поддавался влиянию чужих мнений, поддержал Фогеля.

— Ещё бы, если вспомнить всё, что было. Смысл сомнителен. Там не берут с улицы, попадёшь ли, никто наверное не скажет. А здесь-то, уж будь уверен, ордена за этот самый Сталинград мы получим. Нет немцев, которые кончили бы войну в пункте восточней нашего. Это раз. А два — будет: особый золотой знак за Сталинград и Волгу, по которому мы получим не только почёт.

— Замок в Пруссии? — спросил Штумпфе и высморкался.

— Ты опять не о том, Ледеке, — сказал: Фогель, — я говорю о чувстве, а ты, как мужик, который возит свёклу на рынок. Такие вещи не надо смешивать.

И тут внезапно друзья поссорились. Штумпфе сказал:

— Пошёл ты к чертям с твоими чувствами! Ты буржуйская морда, а я боюсь после войны остаться голодным.

Фогель, поражённый выражением ненависти на лице товарища, растерянно сказал:

— Ну, милый мой, моего отца так прижали промышленные комиссары государства, он выглядит обычным трясущимся служащим, а не капиталистом.

— Какого чёрта прижали, надо прижать по-настоящему, надо после войны всем вам кишки выпустить, паразиты. Фюрер вам ещё покажет: Он им скажет словцо, Ледеке!

Но Ледеке, всегда соглашавшийся с одним из спорящих, на этот раз, шепелявя от злого волнения, проговорил:

— Если уж сказать под конец войны правду, то все эти разговоры об единстве народа — дурацкая болтовня. Буржуи будут жрать и наживаться на победе, нацисты и эсэсовцы, вроде Штумпфе и его брата, тоже нажрут хорошо, а если уж кому выпустят кишки, так это мне, болвану рабочему, и моему отцу в деревне. Нам-то покажут единство! И ну вас к чёртовой матери — вам после войны со мной не по пути.

— Товарищи, что с вами? — испуганно произнёс Фогель — Что с вами, я не узнаю вас, точно другие люди? Штумпфе пристально посмотрел на него.

— Ну, ладно, ладно, хватит, — примирительно сказал: он. — И знаете, ребята, если я действительно не сделаю того, что задумал, и кончу войну дураком, то это только ради вас.

В это время вошёл сменный караульный, стоявший у входа в подвал.

— Что это за стрельба была? — спросил из полумрака сонный голос.

Караульный с грехотом положил автомат и, потягиваясь, ответил:

— Мне сказал: вестовой обер-лейтенанта, что какой-то русский отряд занял вокзал. Но это не на нашем участке. Кто-то из солдат рассмеялся:

— Они от страха заблудились, хотели пойти на восток, а пошли на запад.

— Наверное, — сказал: Ледеке, — все они нетвёрдо знают, где восток, а где запад.

Караульный сел на постель, стряхнул рукой мусор с одеяла и сказал: раздражённо:

— Ведь я просил два раза. Ей богу, завтра перед дежурством положу под одеяло гранату. Поразительно, что у людей нет уважения к чужим вещам. Ведь это одеяло я собираюсь отвезти домой, а кто-то шагал по нему в сапогах.

Он стащил с ног сапоги у, став добродушным от мысли о предстоящем сне, проговорил:

— Там подняли пальбу, а у Ленарда веселье: патефон, шум, гости, притащили плачущих девиц, и, представляешь, наш Бах тоже там, видимо, решил потерять невинность под конец войны. Там палят, а у нас музыка.

Голос из темноты подвала сказал:

— Пахнет капитуляцией. Ах, сердце замирает, когда думаю, что нас скоро повезут домой.

Солдат Карл Шмидт стоял на часах у выходившей во внутренний двор стены здания, в котором разместился штаб стрелкового батальона Худое, тронутое морщинами лицо Шмидта казалось особо хмурым и недобрим при мерцающем свете пожара.

По карнизу, тревожно озираясь, шла рослая белая кошка.

Солдат оглянулся, не наблюдает ли его кто-нибудь, и сипло позвал

— He du, Katzchen, Katzchen [Эй ты, кошечка, кошечка.] — Но, видимо, сталинградская кошка не понимала по-немецки, она на мгновение остановилась, соображая, насколько опасен для неё человек, стоящий у стены, и, быстро дёрнув хвостом, прыгнула на загремевшую железную крышу сарая, исчезла в темноте.

Шмидт посмотрел на ручные часы — до смены караула оставалось ещё полтора часа. Его не тяготило стояние в карауле у этой стены, в тихом внутреннем дворе — Шмидт в последнее время любил одиночество.

Дело тут было не в том, что Штумпфе избрал его предметом своих насмешек, дело было серьёзней.

Шмидт посмотрел, как по стене, словно на экране, ползли бесшумные тени розовые блики принимали странные формы лепестков, полукружий, овалов — это пожар по соседству запылал ярче, видимо, огонь добрался до деревянных перекрытий.

Удивительное дело! Как меняется натура человека. Лет десять назад жена сердилась на него, что он не сидит по вечерам дома — едва придет с завода, переодевается, обедает и уходит на собрание, в пивную, и так каждый вечер споры, слушание докладов. А теперь попади он домой, кажется, запер бы дверь и просидел бы год, не выходя на улицу. В чём тут дело? Прежде всего нет тех людей, с которыми он встречался — вся верхушка профсоюза, все активисты из завкома кто в лагере, кто постарался подальше уехать, кто перекрасился в коричневый цвет. А с теми, кто остались, нет особого интереса встречаться люди стали бояться друг друга, разговаривать можно о погоде, о покупке в рассрочку «народного автомобиля», обсуждать, что соседка варит на обед, кто из знакомых скуп, кто угощает гостей настоящим чаем, а кто желудковым кофе... Да и при этом страшновато если зачистит к тебе приятель, то уж обязательно блокварт начнёт совать нос в щели твоей двери и прикладывать ухо к стене твоей комнаты — какого чёрта они сидят и болтают, читали бы «Майн кампф».

Но вот, что действительно интересно понять — изменились ли люди?

— Чёрт его знает — это вопрос не простой. Кого спросишь, с кем поспоришь? Вот разве что кошку, да и она не захотела завязать знакомства.

А может быть, эта скотина Штумпфе действительно прав — он, Шмидт, глуп, как бревно? Всегда глуп был? Или теперь при наци поглупел? Или глуп для наци, а кое для кого и не так уж глуп? Было время, когда Шмидт считался заводилой в цехе, да не только в цехе, ведь он ездил в Бохум на съезд профсоюзов, его избрали делегатом от десяти тысяч человек. А теперь он ротное посмешище «Михель»

Шмидт отбросил ногой кусок кирпича и зашагал вдоль стены. Дойдя до угла дома, он постоял, посмотрел на пустынную улицу, на мёртвые, выгоревшие глазницы окон, и чувство жестокой тоски, холода, одиночества сжало его сердце. Он хорошо знал это ужасное чувство, когда казалось, что и глубина неба, и сияние звёзд, и солнечный свет, и воздух полей давят, мучат. Оно с особой силой приходило к нему весной — почему-то весной, когда молодая зелень, шум ручьёв мягкий, ласковый ветер, звезды в небе — всё говорило о свободе.

Когда-то сын читал ему из учебника ботаники, что есть такие бактерии анаэробы, не нуждающиеся в кислороде, они дышат азотом, отлично, весело и сытно живут на корнях бобовых растений. Видимо, есть и такие люди — анаэробы, дышат гитлеровским азотом! А вот он задыхается, не привык, ему нужна свобода, кислород!

Над хаосом бесчестия и невинной крови, над победной, сверкающей медью оркестров,

над лающим криком команды, над пьяным хохотом, над воплями гибнущих старух и детей, как странное видение, вставало перед Шмидтом бледное лицо, высокий скошенный лоб человека, объявившего, что он и есть Германия, что Германия — это он.

Как же это случилось, что он, солдат Карл Шмидт, немец, сын немца и внук немца, любивший свою родину, не радовался победам Германии, а ужасался им?

Ведь по-прежнему не было для Шмидта дома милей, чем его родной дом, по-прежнему радовал его звук родной речи, по-прежнему в дни отпуска, глядя в окно поезда на знакомые с детства поля, домики предместий, стоящие среди деревьев, на огромные цехи завода с задымленными стёклами, в котором он работал юношей. Карл Шмидт испытывал радостное сердцебиение.

Почему же такую тоску испытывал он сегодня ночью, когда стоял на часах в разрушенном городе, на берегу Волги и смотрел, как светлые тени огня шевелятся на стенах домов с выжженными, мёртвыми глазницами окон?

Как ужасно одиночество!

Иногда ему начинает казаться, что он разучился думать, что мозг его окаменел, перестал быть человеческим мозгом. А иногда он пугается своих мыслей, ему кажется, что Ледеке, Штумпфе, эсэсовец Ленард могут, взглянув ему в глаза, вдруг понять, прочесть всё, что происходит в его мозгу, в его душе. Иногда его охватывает ужас, что ночью в казарме он может проговориться, начнёт бормотать во сне и сосед подслушает его, начнёт будить товарищей, скажет: «Послушайте, послушайте, что говорит о фюрере этот красный Шмидт».

Вот здесь, в тёмном дворе, где за всё время его дежурства не прошёл ни один человек, он чувствует себя спокойно, здесь ни Ленард, ни Штумпфе не заглянут ему в глаза, не прочтут в них его мыслей.

Он снова посмотрел на часы: пришло время смены. Но ведь он знает, чувствует, что не он один думает так. Есть ведь в армии такие же люди, «михели», по определению Штумпфе. Но пойдёшь, поищи их! Всё же они не болваны, чтобы открыто затевать разговоры на такие темы. Есть, есть, он чувствует, он знает это, в Германии такие люди. Они живут, они мыслят, они, быть может, действуют! Как найти их?

Приоткрылась дверь, и на пороге появился караульный начальник. Свет пожара упал на его распахнутый мундир, нижняя рубашка его казалась нежнорозовой в этом свете.

Всматриваясь в сумрак, он позвал негромко:

— Эй, часовой Шмидт, пойдёшь-ка сюда.

Когда Шмидт подошёл к двери, караульный начальник, дыша на него водочным духом, проговорил необычайно ласковым голосом:

— Слушай, друг, тебе придётся постоять здесь. Твой сменщик Гофман справляет свой день рождения и несколько утомлён, неважно себя чувствует сейчас. А? Ведь теперь лето ещё, ты не замерз?

— Ладно, подежурю, — сказал: Шмидт.

Утром Штумпфе прошёл к приземистому дому, где ночевали офицеры. Часовой у двери был знаком ему.

— Ну как? — спросил Штумпфе, — в каком настроении сегодня командир, годится для разговора? Я принёс важное заявление.

Часовой покачал головой.

— Тут было дело, — сказал: он, — а в самый, что называется, момент — всех офицеров срочно вызвал полковник, и до сих пор они не вернулись.

— Может быть, капитуляция Москвы?

Часовой, не расслышав, подмигнул в сторону двери:

— Девицы-то здесь, я их охраняю, обер-лейтенант Ленард сказал: «Нам предстоит маленькая получасовая операция, надо очистить вокзал», и велел их постеречь, обещал вернуться к полудню.

Вскоре батальон подняли по тревоге, одновременно в сторону вокзала потянулись танки и артиллерия.

В два часа дня немцы атаковали вокзал Командир полка подполковник Елин писал в это время итоговое донесение командиру дивизии о боевых действиях за последние дни и рассеянно слушал негромкий спор между адъютантом штаба и начальником санчасти полка, какой арбуз слаще — камышинский или астраханский.

Един узнал об атаке сразу, на слух, ещё до донесения командира батальона, по грохоту внезапного обвала авиабомб и шквальной артиллерийской и миномётной стрельбе.

Он выбежал из блиндажа и увидел, как бледное облако известковой пыли и масляный, жирный дым, поднимаясь над вокзалом, смешивались в тёмную, медленно колышущуюся, цепляющуюся за развалины хмару.

Вскоре стрельба послышалась на левом фланге и в центре обороны дивизии.

«Началось», — подумал Елин, и так же подумали тысячи людей, ждавших неминуемого.

Чувство ожидания удара было особенно томительно и остро у переправившихся в Сталинград. Казалось, переправа полков с левого берега в Сталинград подобна действию человека, ставшего грудью навстречу катящемуся с откоса гружёному составу. Удар должен был быть неминуемым и жестоким.

Елин многое видел и испытал на своём веку и считал, что волосы его поседели не только от боевых трудов, но и от требовательности некоторых начальников и от нерадивости некоторых подчинённых.

«И далось им именно по Филяшкину со всей силой ударить, — подумал он, — по самому слабому моему звену, по недавно приданному батальону, где и людей я порядком не знаю».

В это время связной позвал его в блиндаж — звонил по телефону Филяшкин, доложил, что началось» немец обрабатывает его с земли и воздуха, он слышит гудение танковых моторов, он несёт потери и готовится отразить атаку.

— Да, я сам слышу, что началось, — крикнул в трубку Елин, — береги пулемёты, не думай отступать, я тебя поддержу. Слышишь? Огнём поддержу! Слышишь? Слышишь?

Но Филяшкин не слышал обещания командира поддержать его огнём — связь порвалась.

Елин позвонил командиру дивизии, доложил, что противник начал наступление, главный удар наносит по Филяшкину.

— Приданный мне батальон, тот, что у Матюшина был, — сказал: он.

Закончив разговор с Родимцевым, он сказал: начальнику штаба:

— Вот велит любой ценой вокзал удерживать, обещает нас дивизионной артиллерией поддержать. Слышите, что не мец выкомаривает? Как бы он нас не искупал в Волге

«Да, лодку не мешало бы для манёвра иметь», — подумал начальник штаба, но вслух не высказал своей мысли.

Елин стал вызывать командиров своих батальонов — проверять их готовность к активной обороне.

Быстрый успех начавшегося немецкого наступления грозил тяжёлыми последствиями Дивизии, брошенные на оборону Сталинграда, находились на подходе, на правом берегу была одна лишь дивизия Родимцева; спихнув её в Волгу, немцы могли воспрепятствовать переправе в Сталинград главных сил, брошенных Ставкой на оборону города.

Родимцев позвонил командиру правофлангового полка, вызвал начальника артиллерии дивизии и командира сапёрного батальона, проинструктировал их, велел Бельскому лично проверить танкоопасные направления. После этого он позвонил по телефону Чуйкову.

— Докладываю, товарищ генерал-лейтенант. Противник перешёл в атаку, навалился на мой левый фланг. Бомбит. Ведёт артогонь, сосредоточил танки. Стремится занять вокзал.

Родимцев понимал серьёзность положения: правый фланг дивизии был открыт, если противник быстро и легко решит задачу на левом фланге, он тотчас активизируется на правом, и тогда под удар попадёт вся дивизия в целом.

Он слушал отрывистый, тяжёлый голос Чуйкова и поглядывал на тёмный каменистый

свод трубы, на светлевший вдали выход — «Неужели здесь, в трубе, суждено кончить жизнь?»

— Держаться: Не отступать ни на шаг! Побегут — буду судить! — отрывисто говорил Чуйков. — Вам слышно? Через два часа начну переправу Горишного, он прикроет вам правый фланг. Линия фронта станет устойчива, положение коренным образом изменится. Слова: «отход, отступление» — забудьте:

Но Родимцев не собирался отступать — он хотел вновь активизироваться, ударить по немцам.

Чуйков был сильно встревожен начавшимся наступлением не удержать фронта теперь, когда в город пришла новая дивизия, когда через считанные часы должна была начать переправу вторая дивизия, когда на подходе находились могучие силы резерва Главного Командования.

Если б только завязавшийся бой затянулся, если б он сковал силы немцев! Ведь уже был известен обычай немцев под Сталинградом — не начинать новой операции, пока не закончена предыдущая. Затяжка боя на левом фланге дивизии Родимцева сулила множество выгод для армии. Едва немцы нажали слева, как на правом крыле, в районе заводов, стало легче дышать, сделалось тише, ушли пикировщики, давление ослабело.

Но если оборона окажется не стойкой, если немцы отсекут дивизию Родимцева, сомнут её, не дадут укрепить намеченную пунктиром и ещё не вчekanенную в землю Сталинграда линию фронта, если немцы реализуют свой перевес в силах, все свои преимущества, дающие возможность широкого манёвра... Как тяжело всё ещё не иметь резервов для действенного вмешательства. И ведь Чуйков ждал этого наступления с минуты на минуту, а в душе была надежда, что немец замешкается.

Командующий армией позвонил по телефону Ерёменко.

— Докладывает Чуйков, — отрывистым, хмурым голосом сказал: он — Противник после воздушной обработки перешёл в атаку против моего левого фланга, ввёл в бой артиллерию, миномёты, сосредоточил танки. Предполагаю: противник имеет намерение оторвать Родимцева, вырваться к Волге, рассечь мою оборону.

— Контратаковать надо, артиллерией поддерживайте! — сказал: Ерёменко и невнятно зашумел.

— Всё смешалось, дым сплошной, сейчас отдаю приказ артиллерии.

— Действуйте, — сказал Ерёменко, и по паузе Чуйков понял, что Ерёменко закуривает. — Только своих не накройте в дыму. Если Родимцев не устоит, худо нам будет; на правый фланг два больших хозяйства идут и ещё два, сразу переправлять начну. Действуй!

— Слушаюсь, товарищ генерал-полковник, — сказал: Чуйков. Он положил трубку и тотчас взял её. — Пожарского, — зычно сказал: он и, пока к телефону подходил командующий артиллерией Пожарский, оглянулся на сидевшего рядом Гурова, проговорил: — Сюда доносится, волтузят крепко, а у нас тише стало, но лучше бы уж нас. — Сразу же повысив голос, он сказал: — Пожарский, карта перед вами? Так... теперь отмечайте у себя...

А в это время по ту сторону Волги Ерёменко наклонился над картой.

Немцы начали наступать после двухдневной тишины, но всё же слишком рано. Частная это операция или начало общего наступления? Он не успел закончить перегруппировку дивизий армии Шумилова. По мысли Ерёменко, Шумилов должен был оказывать нажим каждый раз, когда немцы начнут атаковать Чуйкова, — этим он надеялся ослабить удар по левому флангу и центру стоявшей в Сталинграде армии. Кроме того, новые дивизии, переброшенные к нему Ставкой с Донского фронта, ещё не подошли к Волге, и он опасался, как бы немцы, расправившись с левым флангом и центром, тотчас бы не предприняли решительной атаки в районе заводов.

Он сказал: начальнику штаба:

— Вот далось ему, сукиному сыну, сегодня наступать. Тут и артиллерией трудно помочь. Не мог подождать до завтра, пока я Горишного переправлю. Ведь может шибануть.

— А? — переспросил Ерёменко молчавшего начальника штаба. — Чувствую, что

немец пошёл сегодня серьёзно. Даже сюда слышно.

Спустя минуту Ерёмченко говорил по телефону начальнику артиллерии:

— Надо левый фланг и центр поддержать... Что, трудно нащупать? Конечно, нащупать трудно. — И командующий произнёс насмешливое, солёное словцо. — Но надо, обязательно, немедленно!

Донесение на листе блокнота, писанное от руки, из штаба полка пошло в штаб дивизии. Донесение, перепечатанное под три копирки, повёз офицер связи из штаба армии через Волгу в штаб фронта. А оттуда в Москву зазвонил телефон высокой частоты, застучали аппараты Бодо на фронтовом узле связи, на пункте сбора донесений сургучили пятью печатями толстый пакет для фельдъегеря, летящего на рассвете «Дугласом» в Генеральный штаб: немцы начали после короткого затишья наступать.

Елин, оглохший от грохота, уже ясно понимал, какая ответственность ложится на него, крикнул телефонисту:

— Давай мне немедленно, слышишь, немедленно Филяшкина!

Телефонист упавшим голосом ответил:

— Нет связи, даже слова нельзя передать. В блиндаж спустился адъютант командира полка. Он прошёл мимо бледных, напряжённо глядевших на него, ожидающих вызова связных.

— Товарищ подполковник, третьего связного убивает, нельзя пробиться к нему, перерезали все пути, вокзал обложен кругом. Филяшкин своим батальоном круговую оборону занял.

— Радио? — отрывисто спросил Елин и закричал. — Радио?

— Не отвечает, товарищ подполковник.

— Значит, ясно, — сказал: Елин, — разбило ему передатчик.

Батальон был отрезан от полка, дивизии, армии, фронта. Может быть, Филяшкина уже убило, может быть.

Когда по всей линии фронта на минуту стихал огонь немецкой артиллерии и миномётов, особенно явственно слышалась пальба со стороны вокзала. Там огонь был непрерывен и не ослаблялся, видимо, немцы хотели во что бы то ни стало раздавить окруженный батальон. В эти короткие минуты перерыва вся дивизия, напрягшись, слушала мрачный и страшный гром, шедший со стороны отрезанного батальона.

Елин, жалуясь, сказал: комиссару полка:

— Вот и Филяшкин Мы то отбили атаку, а он как? Поможем ему всеми средствами — и огнём, и контратакой! Но разве я могу за него отвечать, если мне его недавно передали.

Комиссар сказал:

— Только я отправил Шведкова обратно в батальон с подарками американскими — и началось Хорошо, что комиссар в бою будет — он крепкий коммунист. А у них еще в роте одной штрафники до сих пор не выделены, я Филяшкину успел нагоняй сделать — приказал составить списки, перевести.

Елин позвонил по телефону соседу, командиру полка Матюшину, и они договорились об усилении обороны на стыке полков. После этого Елин спросил:

— Батальон Филяшкина, как ты его расцениваешь? Ведь твои люди фактически

— Нет, это ты брось, — сказал: Матюшин, сообразив, куда клонит разговор Елин, — батальон твой, я уже к нему отношения не имею Обыкновенные люди, всё зависит, как ими руководить будут.

Филяшкин, подготовив оборону, смущаемый лукавством жизненной жажды, понадеялся, что немцы не станут на него нападать; он отойдёт к Волге, конечно, не самовольно, а по приказу командира полка, поскольку для командира полка станет очевидна бессмысленность обороны батальона с открытыми флангами. Он рисовал себе, как будет отходить с боем и командир полка выведет батальон в резерв. Рисовалось ему и такое — он, легко раненый, в сопровождении батальонного санитаря Елены Гнатюк, эвакуируется на левый берег, госпитали оказываются переполнены, и он поселяется в рыбацкой хате. Гнатюк

ходит за ним, делает ему перевязки, а на рассвете он идет на речку Ахтубу и ловит удочкой рыбу.

Каждый по-своему думали триста человек о будущем, о счастливом для каждого конце войны, о работе и о жизни, которая будет, конечно, лучше после войны, чем была до войны. Одни думали о переезде в районный центр, другие о переезде в деревню, думали о жёнах — надо помягче с ней быть, когда вернусь, — думали о детях — посмотреть бы, учить буду Машу на докторшу!

Филяшкин первым понял, как рухнули в полчаса все его мечтания пожить на свете. Немцы нанесли основной удар прямо по Филяшкину, и сразу всё стало ясным. Связь с полком нарушилась, немецкие танки, а потом и пехота прорвались в тыл батальону. Разрывы мин и снарядов ложились необычайно кучно — и не то что перебежки делать и ползти, но выглянуть из укрытия нельзя было. Он вынул пистолет и ввёл патрон в ствол, отжал предохранитель. После этого ему стало беспечней на душе.

— Связи нет, — крикнул Игумнов, — отрезали с востока.

— Всё: Сами хозяйева, — ответил: он и вместо обычной напряжённости и озабоченности увидел на лице Игумнова улыбку. Кровь отлила с побледневшего морщинистого лица начальника штаба, и оно, словно омытое, стало белее и моложе.

Филяшкин увидел, что Игумнов вытащил из кармана гимнастёрки несколько писем, стал рвать их на мелкие клочки, разбрасывать по полу. Он даже не задумался над тем, что делает Игумнов, понял сразу — начальник штаба не хочет, чтобы немцы, обшарив его мертвым, стали бы лапать письма от жены и детей.

Игумнов вынул расчёску и провёл ею по седому ежику.

— Да мать её жизнь: — крикнул, внезапно рассердившись, Филяшкин. Командовать надо.

Он послал связиста найти порыв провода, ведущего в полк. Он связался с командирами рот, велел укрыть пулемёты и противотанковые ружья, чтобы их не разбило до атаки (он был уверен, что атака будет), велел получше укрыть людей и рассредоточить их по мере возможности, чтобы до атаки не терять батальону человеческой силы. Велел командирам рот приберечь связных, спросил, как люди, не понизилось ли их моральное состояние, посулил комротам и комвзводам, что если кто из людей вздумает драпать, суд будет тут же на месте.

На мгновение вдруг заговорил телефон, Филяшкин связался с Елиным, тот обещал поддержать батальон всеми огневыми средствами полка, но они не успели договорить: связь тут же порвалась и уже больше не восстанавливалась — либо её перешибли, либо немец, зашедший в тыл батальону, перекусил проволоку.

Он приказывал, объяснял, облизывая сухие губы и похлопывая себя по лбу и по затылку, — оглушило немного, и все, что он говорил, основывалось на одном, необычайно простой и ясном чувстве его батальон во время немецкой атаки не сдвинется с места, не будет отступать, не попытается прорваться к Волге, на соединение с полком, а будет драться до конца: вздумаешь, Филяшкин, отходить весь полк немцы утопят в Волге.

И люди, переправившиеся с ним несколько дней назад через Волгу, хотя многие из них впервые попали в бой, а остальные давно уж не были в бою, казалось ему, испытывали такое же чувство решимости. Все сомнения его, вместо того чтобы усилиться, исчезли, перестали его тревожить: отступать некуда, отступать невозможно, под обрывом вода, и все они дружно вцепились в этот край земли и уж, чёрта, не слезут с него, не дадут себя утопить в реке. Но все же Филяшкин наклонился к Шведкову, вернувшемуся перед самым началом огневого налёта из штаба полка, и крикнул ему.

— Хорошо бы пробраться к Конаныкину, у него в роте штрафники есть, как их самочувствие?

В роте Конаныкина первая мина упала на край окопчика, в котором сидели трое бойцов. Их осыпало землёй. Двое в миг разрыва склонились над котелками и замерли пригнувшись, точно чья-то рука продолжала их прижимать к земле. Третий, сутулый, худой, спокойно сидел, привалившись плечом к стенке окопа.

— Вот, паразит, что делает, поесть не даёт, — сказал: один из бойцов, разглядывая засыпанный землёй котелок, словно по условию войны полагалось не стрелять во время еды.

Второй, стряхивая землю с плеч и растерянно обтирая ладонью ложку, пробормотал.

— А я думал ну, всё!

Третий вдруг молча лёг на землю, навалившись тяжестью тела и мёртвой головой на ноги товарищей.

Тотчас вновь послышался ужасающий своей невинной нежностью шелест, и несколько мин шлёпнулось, перелетев через окоп.

Из грохота и дыма разрывов родился пронзительный стон человека, и два голоса закричали:

— Тащи...

И снова свист и разрывы.

«Накрыло огнём», — эти слова точно выражают происходящее при внезапном огневом налёте, людей накрывает огнем, как накрывает сеть, мешком.

Осколки вlepялись в кирпич, рождая красненькие облачка пыли, и тут же, потеряв свою убойную силу, с безобидным плоским постукиванием плюхались на землю. Каждый осколок шумел по своему, согласно своему весу, скорости, форме. Один словно во всю силу играл на гребешке, у него, наверное, были кудрявенькие, зазубренные края. Второй дудел, выл, видимо вспарывая воздух большим стальным когтем, третий пыхтел, мокро шлёпал, его, должно быть, свернуло в трубочку, и он кувыркался, с бешенством расплёскивая сухой воздух.

А брюхатые мины свистели с переливом — такой звук только и могло родить металлическое веретено, сверлящее тоненьким носиком круглую дырочку в воздухе, а затем силой своих плотных плеч ловко расширяющее эту дырочку.

И все эти пискливые, шепелявые, визгливые, скрипящие пустяковые звуки невидимого глазами железа — и были голосом смерти.

Отдельные, то здесь, то там возникающие рыжие и серые дымки слились в один дым. Отдельные облачка кирпичной, известковой, земной пыли слились в одну серую муть. Дым и пыль, смешавшись, отделили землю от неба, закрыли батальон, стоявший среди развалин.

Шла подготовка немцев к танковой атаке, и главное остриё этой подготовки было нацелено совсем не на то, чтобы перебить всех людей в батальоне — военный опыт показал, что и самым плотным огнём не удаётся истребить сотни людей зарывшихся в землю, схоронившихся в каменные норы, залезших в глубокие щели, законы вероятности опровергали возможность такого полного истребления.

Главная мощь огня была направлена против солдатской души, против солдатской воли. Сила огня врывается в душу каждого человека, проникала в нее, как бы удачно, как бы глубоко ни зарылся человек в землю, она просверливала те нервные узлы, до которых не добраться ножу самого хитрого хирурга, она врывается в человека через ушной лабиринт, через полузакрытые веки, через ноздри, она потрясала его череп и мозг.

Сотни людей лежали в дыму и тумане, каждый сам по себе, каждый, как никогда в жизни, чувствуя своё тело, как нечто бесконечно хрупкое, могущее в любой миг безвозвратно, навечно исчезнуть. Сила огня и была направлена на то, чтобы человек сосредоточился в своём одиночестве, оторвался от других людей, уже не слышал в грохоте слов комиссара, не видел в дыму командира, не ощущал связи с товарищами и в страшном своём одиночестве познал свою слабость. Не секунды, не минуты, а два часа длился огонь, отшибавший память, путавший мысли.

Люди, на миг приподнимая головы, озирались, видели неподвижные тела товарищей жив ли, мёртв? А затем вновь лежали с одной мыслью: я-то пока жив, вот свищет, скрипит, моя ли смерть?

В этом воздействии на оставшихся в живых и был главный смысл огня, накрывшего и прижавшего к земле батальон.

Огонь внезапно оборвался, когда, по расчёту сил человеческой природы и по закону

сопротивления духовных материалов, напряжение и страстное ожидание должно было смениться подавленностью и покорным безразличием.

О, какой недоброй, какой жестокой была эта тишина! Она позволяла собрать воедино всё прошедшее, она позволяла робко порадоваться сохранённой жизни, она будила надежду, но и страшила безнадёжностью, она подсказывала: пришёл миг покоя перед будущим, более безжалостным, чем только что прошедшее, — отползи, спрячься, через минуту будет поздно.

Для таких мыслей нужно лишь краткое мгновение, и столь же краткой была отпущенная опытным противником тишина. В такой тишине и рождается решение. Послышался негромкий, угрюмый, хриплый и лязгающий звук металла, скрежещущего по камню, выхлопы газа, нарастающее подвывание моторов, дающих большие обороты, — шли немецкие танки. И тотчас откуда-то издали донеслись уверенные разбойничьи голоса.

А батальон молчал, молчал, и казалось, опытный и сильный противник достиг своей главной цели, подавил, ошеломил, прижал, распластал волю, душевную силу красноармейцев.

И вдруг треснул винтовочный выстрел, громоподобно ударило противотанковое ружьё, за ним второе, и затрещали сотни винтовочных выстрелов, пулемётные очереди, ударили взрывы гранат. Живые были живы.

Немцы хотели разрезать оборону окружённого батальона. Они знали разрезанная оборона теряет свою силу, как теряет жизнь разрезанное живое тело. Уверенные, что после жестокого огня упругость обороны нарушена, ткань ее омертвела, стала вялой и податливой, немцы направили удары в те стороны, где, мнилось им, легче лёгкого достичь быстрого успеха. Но танковое остриё не вошло в живое тело батальона, а зазвенело бесцельно, отвалилось, затупленное и зазубренное.

Вавилову казалось, что он первым выстрелил по атакующим немцам. Но каждому из многих десятков людей казалось, что именно он, а никто другой, первым нарушил тишину, сковавшую батальон.

Вавилову казалось, что не винтовочный выстрел раздался, а сам Вавилов отчаянно крикнул, и тотчас его голос подхватили сотни других голосов — и всё вокруг загремело, запестрело вспышками огня. Он видел заматавшихся немцев и, хотя он редко ругался, залёгшие рядом с ним люди слышали, как он длинно выматерился.

Его поразило, что маленькие жужжащие комарики, бегущие следом за танками, и были причиной тех страшных горестей, разорения и мучений, которые он видел и о которых слышал.

Тревожное, дикое несоответствие было между огромностью беды и маленькими суетливыми существами, принёсшими эту беду.

Конаныкин был опытен в деле воины, и когда немцы, окружив батальон, открыли огонь, он сказал: вслух, обращаясь к самому себе:

— Вам ясно, товарищ лейтенант?

Вместе с вестовым он дополз к ящику с гранатами, ставшему главной ценностью мира, и подтащил его на командный пункт.

Проползая мимо красноармейцев из штрафного отделения, он добродушно и спокойно сказал: им:

— Ну, держитесь, ребята, сейчас для всех амнистия будет.

И эта грубая, но добродушная шутка, произнесённая с немислимым спокойствием, ободрила людей.

Конаныкин во время огневого налёта наблюдал за штрафниками, он заранее разместил их поближе к командному пункту. Он видел, как один всё поглаживал рукой зелёное тельце гранаты, второй судорожно вытаскивал из кармана сухари, пихал их в рот, видимо, жевание утешало его; третий то дёргался всем телом, то обмирал в неподвижности, четвёртый стучал носком сапога по кирпичу, словно хотел раздолбить его, пятый разевал рот и затыкал пальцами уши, шестой всё время быстро шептал — не то молился, не то ругался.

«Так и не взяли их у меня, пришлось с ними в бой вступать, — думал Конаныкин, —

такое моё счастье, герои один в один».

В штрафном отделении были красноармейцы — частые нарушители военной дисциплины, а один штрафник — белокурый, картавый, с прищуренными светлоголубыми глазами, Яхонтов, был необычайно нахальный и упрямый тип. Штрафники всегда держали Конаныкина в раздражённом состоянии, всегда с ними происходили нелады — один потерял красноармейскую книжку, второй попался командиру полка без поясного ремня, третий отстал на марше; а нахальный Яхонтов умел жалобить деревенских женщин, и они его поили самогоном. Командир взвода писал о нём в рапорте: «Яхонтов шибкого поведения насчёт вина».

Но сейчас Конаныкин не мог почему то вызвать в себе раздражения ни против них, ни против Филяшкина, замешкавшегося с откомандированием штрафников, он подумал об их судьбе — и ему стало жалко их.

Кто-то тронул его за плечо — он оглянулся и не сразу узнал в потном, перепачканном землёй человеке комиссара батальона Шведкова.

— Какие потери, как моральное состояние людей? — спросил комиссар, жарко дыша в ухо Конаныкина.

— Состояние здоровое, драться будем до конца, — ответил: Конаныкин и выругался — снаряд разорвался совсем рядом.

Необычайную, несвойственную ему, уверенность в людях и дружбу к людям чувствовал Конаныкин. Он обычно делил всё мужское население советской страны на две половины: первые — люди, служившие в кадрах до войны, вторые — никогда не служившие в кадрах.

Служившим в кадрах до войны он отдавал все преимущества... И здесь, среди сталинградских развалин, деление это исчезло.

Когда Шведков, расспросив его, сказал: «Ну, желаю тебе», — и пополз в роту Ковалёва, Конаныкин умилённо подумал «Ой, славный, боевой орёл, хотя в кадрах и не служил».

И ему показалось естественным, что комиссар Шведков, ушедший перед атакой в штаб полка, очутился снова в батальоне и ползал под огнём по переднему краю, уверенно, душевно говорил с командирами и бойцами.

Но Конаныкин не смог по-новому ощутить, проверить своё чувство к людям он был убит за несколько минут до начала немецкой атаки.

Серый гранёный танк с чёрным крестом на широком покатым и низким лбу рывком всполз на невысокий кирпичный вал, замер в неподвижности, но чувствовалось, он дышал, озирался.

Казалось, не люди правят его осторожными и недоверчивыми движениями, бесшумным медленным вращением орудийной башни, шевелением хищного пулеметного зрачка в прищуренном стальном глазу. Казалось, это живое существо, со своими глазами, мозгом, ужасными челюстями, когтями и не знающими усталости мускулами.

Леденя от волнения, белокурый наводчик противотанкового ружья изготовился для стрельбы. Медленно, невероятно медленно приподнял он приклад — и дуло противотанкового ружья опустилось, затыльник приклада вжался в плечо, и это прикосновение немного успокоило стрелка. Он прижался щекой к прохладному прикладу, и его глаз увидел через овражек прорези прицела припудренный розовой кирпичной пылью, низкий, покатым, обезьяний лоб танка, закрытый прямоугольный люк, потом медленно выплыла боковая броня с бугристым пунктиром клёпки, сверкающая серебром гусеница, натёки масла. Подушечка пальца, едва касавшаяся спускового крючка, стала плавно нажимать, и крючок мягко поддался. Испарина выступила у наводчика на груди, инстинктом он понял, что дуло ружья устремлено в эту секунду на самую незащищённую часть стальной серой шкуры.

Танк шевельнулся, башня медленно поплыла, и орудие плавно повернулось в сторону лежащего под кирпичной горкой человека, — оно словно ноздрей вынюхивало жертву.

Боец, не дыша, продолжал жать на спусковой крючок, и вдруг курок сорвался с боевого взвода, мощная отдача ударила по плечу и по груди, как кулаком встряхнула его.

Всю свою силу, всё напряжение страсти вложил боец в этот выстрел, но он промахнулся.

Танк весь вздрогнул, точно рыгнул, белый, ядовитый огонь мелькнул из оружейного дула. За спиной, справа, взорвался снаряд. Наводчик подал затвор вперёд, дослал черноносый бронебойный патрон, снова прицелился и выстрелил — и снова промахнулся, — он видел, как взлетело облачко разбитого камня в нескольких метрах от танка. Танк пустил пулемётную очередь, железная стая, скрежеща, пронеслась над припавшим к земле наводчиком. В отчаянии, уже напрягая все без остатка духовные силы, он вновь дослал патрон и снова выстрелил.

На серой броне мелькнул яркий синий огонь; наводчик, вытянув шею, смотрел, не показалось ли ему, — яркий василёк вспыхнул на танковой стали и сразу же исчез. Но вот потёк жиденький жёлтенький дым из люка и башни, послышался грохочущий, хрустящий треск — то, видимо, рвались внутри танка заряжённые пулемётные ленты. Вдруг быстрое чёрное огненное облако взлетело над танком, и раздался оглушительный взрыв.

Боец в первый миг не понял: он ли причина этого взрыва, связано ли это чёрное облако с синим огоньком, блеснувшим на броне... Потом он зажмурился, приложил голову к противотанковому ружью, долгим поцелуем, губами и зубами, прижался к широкой, пахнущей пороховым газом, воронёной стали.

Когда он поднял голову, то увидел дымящийся, развалившийся от взрыва боекомплекта танк: развороченный бок, съехавшую на танковый лоб башню, поникшую пушку, уткнувшуюся хоботом в землю.

Забыв об опасности, наводчик привстал, страстным шёпотом повторяя:

— Это я, я, я!

Потом он снова лёг, картаво крикнул соседу:

— Прошу вас обойму БС взаимнообразно!

Никогда, пожалуй, за всю свою многосложную, пёструю жизнь не испытал он такого счастья, как в этот миг. Сегодня дрался он не за себя, а за всех. Он чувствовал себя солдатом правды.

Шла смерть, грозившая всем советским людям, и боец сразился с ней один на один. Его подручный Жора был убит, его командира Конаныкина убило осколком за несколько минут до танковой атаки, его командир отделения умирал, придавленный многопудовой кирпичной глыбой, не мог приказывать и не мог даже хрипеть. А боец остался со своим ружьём. Кого вспомнил он в эти минуты? Вспомнил он отца, мать? Он и не знал их.

Он двухгодовалым ребёнком попал в детский дом. Он учился, потом бросил учение, начал работать, женился, потом бросил жену, оставил работу, свихнулся, стал пить. Война застала его в трудовом исправительном лагере. Он написал заявление — и его отправили на фронт, дали возможность заслужить себе прощение.

В этот день он подбил танк и был ранен в ногу осколком — он знал, что после этого с него снимут судимость. Но он не думал об этом, когда увидел среди развалин второй танк.

Спокойный, уверенный в своей силе, ошастливленный, успехом, стал он, заранее торжествуя, готовить выстрел, но пулемётная очередь опередила его. Санитары, найдя его ещё живого, с перешибленным позвоночником и развороченным животом, уволокли на шинели.

Вечером, когда притихло, Филяшкин попытался подсчитать потери. Но ему стало ясно, что проще подсчитать наличный состав.

Командиров в живых, кроме Филяшкина, остались лишь Шведков, ротный Ковалёв и взводный — татарин Ганиев.

— В рядовом составе потерь процентов шестьдесят пять, — сказал: Филяшкин комиссару, вернувшемуся после обхода окопов, — я команду передал старшинам да сержантам. Ничего, народ боевой, без паники.

Будку их разбило в первые минуты боя, они сидели в яме, прикрытой брёвнами, принесёнными из станционного сарая. Лица их за эти часы почернели, щёки славно присохли к лицевым костям, на губах напеклась тёмная корка.

— Как с убитыми быть? — спросил старшина, заглядывая в яму.

— Я сказал: уже, — проговорил Филяшкин, — сложить а подвал станционный, и с досадой добавил: — Я знал: гранат «эргэде» и «эф один» маловато окажется.

— Командиров отдельно? — спросил старшина.

— Зачем отдельно, — раздражённо сказал: Шведков, — вместе убиты, рядом пусть лежат.

— Правильно, — сказал старшина.

— Два станковых пулемёта мне разбил, пять ружьев пэтээр, три миномета из строя вывел, — озабоченно проговорил Филяшкин.

Старшина уполз, поскрипывая и позванивая по стреляным гильзам, лежавшим возле ямы.

Шведков раскрыл школьную тетрадь и стал писать. Филяшкин выглянул из ямы, осмотрелся и снова полез обратно.

— Раньше утра не начнёт, — скачал он — Чего это ты пишешь?

— Политдонесение комиссару полка, — сказал Шведков. — Описал факты героизма, начал убитых перечислять да при каких обстоятельствах убиты и запутался: начштаба Игумнова пулей, а Конаныкина осколком? И кого раньше, я уж не помню. Как будто семнадцать часов было, когда Игумнова убило.

Они оба покосились на тёмный угол, где недавно лежало тело Игумнова.

— Брось ты летопись писать, — сказал: Филяшкин — Всё равно не доставишь в полк Отрезаны.

— Это верно, — согласился Шведков, но не закрыл тетрадку и продолжал писать.

— До чего глупо погиб Игумнов: приподнялся связного позвать — его и срезало, — сказал: Шведков.

— Знаешь что, — сказал: Филяшкин, — ты имей в виду, комиссар, умно никого не убивает, всех по-глупому.

Ему не хотелось говорить об убитых товарищах, он знал суровое и спасительное чувство душевной замороженности в бою. Потом уж, если останешься жив, начнёшь вспоминать товарищей, и придёт боль. В тихий вечер подкатит под сердце, и слезы польются из глаз, и скажешь: «Какой был начальник штаба, простой, хороший, как сегодня помню — только немцы начали атаку, он достал письма и порвал, точно чувствовал, а потом гребешок вынул, причесал волосы, посмотрел на меня».

А в бою сердце деревенеет, и не нужно его рачморазивать, не время, да и не может оно вместить всю кровь и смерть боя.

Шведков, просматривая написанное, вздохнул и сказал:

— Народ наш золото, не зря политрабату проводили Бойцы — спокойные, мужественные, один боец Меньшиков мне сказал: «Не сомневайтесь, товарищ комиссар, у нас всё отделение коммунисты, мы своё дело исполним, для меня смерть лучше, чем фашистский плен», а второй: «Не такие, как мы, помирали». Шведков снова заглянул в тетрадку и прочел: «Красноармеец Рябоштан заявил: «Я сейчас выкопал окоп, и никакой огонь меня не заставит уйти отсюда. Тяжело сдавать родную землю, если бы скорее наступать». «Боец Назаров вытащил двух тяжело раненых из огня, а затем убил десять фашистов, одного ефрейтора и одного офицера, а на мои слова «Ты герой», — ответил: «Что это за героизм? Вот Берлин взять — это героизм». Он заявил: «С политруком Чернышёвым в бою не пропадёшь. Он в разгар боя подполз ко мне, засмеялся и развеселил меня». «Боец Назаров погиб смертью храбрых»...

— А командир полка слово сдержал, — сказал: Филяшкин, — чем только мог помогал — и огнём, и в атаку переходил. Да потом на него самого немец навалился — пришлось отбиваться, я уж на слух понял.

— Ничего, может быть, завтра пробьётся к нам, — сказал: Шведков.

Вблизи послышались один за другим два взрыва. Шведков поднял голову.

— Начинают?

— Нет, это он до утра будет методическим, чтобы спать не давать, снисходительно к понятию намерению врага проговорил Филяшкин — Ох, но и бой жестокий был, в шестом часу я лично из пулемёта штук тридцать уложил, густо шли!

— Давай твой личный подвиг запишем, — сказал: Шведков и послонил карандаш.

— Брось ты, — сказал ему Филяшкин, — для чего это нужно?

— А чего ж: — ответил: Шведков и стал писать.

— Чернышёв убит, — сказал: Филяшкин, — принял команду после Конаныкина, минут через тридцать и его убило.

— Хороший парень, коммунист настоящий. И боец и агитатор. И бойцы его любили, — сказал: Шведков и вдруг вспомнил: — Да, товарищ комбат, я ведь утром подарок принёс для наших девушек-героинь.

Он подумал, что не будь этого чёртового подарка, его бы так срочно не послал обратно комиссар полка и, быть может, он бы сейчас в блиндаже политотдела пил бы чай и писал отчётное политдонесение. Но мысль эта не вызвала сейчас в нём ни сожаления, ни досады. Он вопросительно посмотрел на Филяшкина и сказал:

— Кого наградим подарком? Пожалуй, Гнатюк? Она сегодня героически поработала.

— Что ж, можно, — лениво растягивая слова, ответил: Филяшкин.

Шведков окликнул автоматчика и велел ему позвать санитарного инструктора.

— Если только живая, — прибавил он.

— Ясно. Зачем она, если не живая, — угрюмо сказал: автоматчик.

— Живая, живая, я проверил, — усмехнулся Филяшкин и, стряхнув с рукава пыль, утёр лицо. Он всё время потягивал носом: в воздухе круто пахло свербящим горьким дымом, жирной сажой, сухим известковым прахом — тревожный, хмельной дух переднего кран.

— Выпьем, что ли? — неожиданно спросил непьющий Шведков.

— Нет, неохота, — ответил: Филяшкин.

Всё переменялось за эти часы: деликатные стали грубыми, а грубые помягчали, бездумные задумались, а погружённые в заботы с весёлым отчаянием сплёвывали, говорили громко, смело, как пьяные.

— Чудак, что это ты всё пишешь, пишешь, — проговорил Филяшкин, — будто тебе (он подумал и назвал срок, казавшийся ему огромным в этой яме) ещё полгода жить? Давай лучше поговорим. Ты, как, осуждаешь меня за санинструктора?

— Осуждаю. Не знаю, может быть, и неправильно, — сказал: Шведков, — пусть меня парткомиссия поправит, материал разберут. Я считаю, что командиру не нужно это.

— Ну, правильно, я и говорю, правильно. Чего ждать, пока разберут. Я тебе сейчас прямо скажу: виноват я в этом деле.

Охваченный дружелюбием, Шведков сказал:

— Э, давай примем сто граммов наркомовских по уставу, пока обстановка позволяет.

— Нет, неохота туманить себя, — ответил: Филяшкин и рассмеялся. Его смешило, что комиссар, всегда осуждавший его за склонность к выпивке, сам сейчас просил его хлебнуть.

Над краем ямы показалось лицо санитарного инструктора.

— Разрешите залезть, товарищ комбат? — спросила девушка.

— Давай, давай скорей, а то убьют, — ответил: Филяшкин. Он отодвинулся в угол: — Вручай, комиссар, я посмотрю.

Девушка, прежде чем пойти на командный пункт, несколько минут приводила себя в порядок. Но вода из фляжки не смыла чёрной копоти и пыли, осевшей на коже. Она тщательно тёрла нос платочком, но и нос не стал от этого белее. Она обтёрла сапоги куском бинта, но сапоги не блестели от этого. Она хотела заложить растрепавшуюся косу под пилотку, но запylённые волосы стали жёстки и непослушны, полезли из-под пилотки обратно на уши и на лоб, как у маленьких деревенских девчонок.

Она стояла, смущённая и неловкая в своей слишком тесной для полной груди гимнастёрке, измазанной чёрной кровью, увешанная сумками, в просторных суконных штанах, свисавших на её бёдрах, в больших тупоносых сапогах.

Она прятала свои большие руки с чёрными короткими ногтями, руки, отработавшие за этот день великий урок милосердия и добра. Она в эту минуту чувствовала себя некрасивой и неловкой.

— Товарищ Гнатюк, — громко сказал: Шведков, — по поручению командования, за самоотверженную службу вручаю вам этот подарок. Это дар американских женщин нашим девушкам, сражающимся на Волге. Посылки доставлены на фронт прямо из Америки на специальном самолёте.

Он протянул девушке большой продолговатый пакет, завёрнутый в хрустящую пергаментную бумагу, обвязанный шёлковым витым шнурком.

— Служу Советскому Союзу, — сипло ответила девушка и взяла из рук комиссара пакет.

Шведков совсем иным, вернее не иным, а обычным своим голосом сказал:

— Да вы разверните его, интересно ведь и нам посмотреть, что вам женщины прислали

Она сняла шнурок и стала разворачивать бумагу. Бумага потрескивала, топорщилась, посылка раскрылась, девушка, присев на корточки, чтобы не растерять предметов и предметцев, стала в ней разбираться. Чего тут только не было! Шерстяная кофточка, расшитая пёстрым красивым узором, зелёным, синим, красным; мохнатый купальный халатик с капюшоном, две пары кружевных панталон и рубашек с лентами; три пары шёлковых чулок; крошечные носовые платочки, обшитые кружевами, белое платье из отличного батиста, с машинной прошвой, баночка душистого крема, флакон духов, обвязанный широкой лентой.

Девушка подняла глаза и посмотрела на командиров взором, полным женственности, душевной грации, и, казалось, мгновенная тишина наступила над вокзалом, чтобы не смутить и не согнать с её лица этого выражения. Всё было в этом взоре: и печаль о не данном ей судьбой материнстве, и чувство своей суровой участи, и гордость своей участью.

Она стояла в больших солдатских сапогах, в штанах, в гимнастёрке, и странно, удивительно, но, может быть, женщина никогда не была так прелестно женственна, как в этот миг, когда Елена Гнатюк отказывалась от красивых, милых вещей.

— Зачем мне это всё? — спросила она — Я не возьму, мне это теперь не нужно.

И мужчины смутились, поняв, что чувствовала в эти минуты девушка, сознавая себя такой неуклюжей, некрасивой и такой гордой.

Шведков потёр между пальцами край дарёной узорной кофточки и смущённо сказал:

— Шерсть хорошая, это не бумажная ткань.

— Я здесь их оставлю, куда ж мне брать, — сказала она и, положив посылку в угол, отёрла ладони о гимнастёрку.

Филяшкин, разглядывая вещи, сказал:

— Чулочки так себе, два раза надеть и поползут, но выделка тонкая: паутина, бальные чулочки.

— Зачем мне бальные? — сказала девушка. И Шведков вдруг рассердился, это помогло ему решить сложный, впервые ему в жизни встретившийся «дипломатический» вопрос, сказал:

— Не хотите, ну и не берите. Правильно! Что они думают, мы тут на курорте? Смеются, что ли? Купальные халаты посылают — вот уж, действительно! — Он оглянулся на Филяшкина и проговорил: — Я пойду, посмотрю людей, побеседую.

— Ладно, походи, а я после тебя пойду, — поспешно сказал: ему Филяшкин, — я только перед тобой проверял оборону, осторожно ходи, снайперы метров сто пятьдесят от нас сидят, зашумишь — всё.

— Разрешите быть свободной? — спросила девушка, когда Шведков выполз на поверхность.

— Зачем, подождите немного, — сказал: Филяшкин. У него всегда был миг неловкости, когда он оставался наедине с девушкой, переходил от тона начальника, говорящего с подчинённым, на тон, обычный между возлюбленными Слушай, Лена, — сказал он, — давай вот что. Прости ты меня, что я так нахально держался на марше. Оставайся, простимся, Чего уж, война спишет.

— Мне списывать нечего, товарищ комбат, — сказала она и тяжело задышала И, во-первых, вам никто не должен прощать: я не маленькая, сама знала, сама отвечаю, отлично всё понимаю, и когда к вам пошла, понимала; и, во-вторых, я не останусь тут у вас, а пойду, куда мне положено по долгу службы. А, в-третьих, подарки мне эти ни к чему, у меня всё обмундирование есть. Разрешите быть свободной? — и эти слова: «разрешите быть свободной» прозвучали совсем не по-воинскому, не по уставу.

— Лена, — сказал Филяшкин, — Лена ты разве не видишь... — и голос его был такой странный и необычный, что девушка удивлённо посмотрела на комбата Он поднялся на ноги, хотел, видно, сказать что-то важное, но вдруг усмехнулся: Ладно, чего уж, — и уже спокойным глуховатым голосом закончил: — В случае чего, — он показал рукой на запад, — ты в плен не сдавайся, держи наготове трофейный пистолетик, что я тебе подарил.

Она пожала плечами и сказала:

— И в случае чего я могу застрелиться из своего нагана. И она ушла, не оглянувшись на старшего лейтенанта, на бесполезные нарядные тряпки, лежавшие на земле.

В сумерках, пробираясь на медпункт, Лена Гнатюк зашла на КП третьей роты.

Автоматчик резко окликнул её, но тут же узнал и сказал:

— А, старший сержант, проходи.

Её вдруг поразила мысль: неужели она, старший сержант, и есть та самая Лена Гнатюк, которая два года назад в деревне Подыבותье, Сумской области, работала бригадиром по сбору свёклы и вечером, возвращаясь с поля, входя в хату, капризно и весело говорила:

— Ой, мамонько, давайте кушать, я ужинать хочу!

Ковалев спал сидя, прислонившись спиной к балке, подпирившей перекрытие подвала. На полу горела свеча, припаянная стеарином к поставленному на попу кирпичу. Рядом беспорядочно, навалом, лежали ручные гранаты, словно заснувшая рыба, вытащенная сетью и брошенная на землю.

У Ковалёва на коленях лежал автомат, руками он прижимал к животу свою полевую сумку.

Спотыкаясь о гремящие пустые автоматные диски, девушка подошла к нему.

— Миша, Миша! — позвала она и тронула лейтенанта за рукав, взяла за руку, по привычке пощупала пульс.

— А? — спросил он и открыл глаза, но не пошевелился. — Это ты, Лена?

— Устал: — спросила она

— Нет, не устал, отдыхал немного, ~ ответил: он, словно оправдываясь, старшина дежурит, я отдыхаю.

— Миша, — позвала она негромко.

— Ну?

— Ты, Миша, не понимаешь ничего.

— Иди лучше, Лена, ей-богу, — проговорил он — Чего нам разговаривать об этом всем. Меня девушка дома ждёт.

Она вдруг прижалась к нему, положила голову ему на плечо.

— Мишенька, ведь нам, может, час жизни остался, — быстро заговорила она, ведь всё это глупость была, неужели ты не чувствуешь? Сегодня несут, несут раненых, а я только смотрю: нет ли тебя? Да ты пойми, мало ли что находит на человека, и на меня нашло, ты кого хочешь спроси, девчат из санчасти полка спроси, они все знают, как я к тебе отношусь. Вот и на КП была, я даже смотреть на него не хотела. Я тебя одно прошу поверь мне только, слышишь, поверь! Вот ты всегда такой! Почему ты понять не хочешь?

— Пускай, товарищ Гнатюк, я ничего понять не умею, зато вы слишком много

понимаете. Я к девушкам подхожу без замыслов. Вы и понимайте, а я не обязан людей обманывать, как некоторые.

И как бы ища поддержки в своём трудном решении, он прижал к себе полевую сумку, погладил её ладонью.

Несколько мгновений они молчали, и он вдруг сказал: громким голосом:

— Можете итти, товарищ старший сержант. Именно эти слова пришли ему в голову, чтобы окончательно и бесповоротно закончить разговор с девушкой, и он ощутил всем телом, спиной, затылком, как нехорошо прозвучали эти деревянные слова.

Два красноармейца, спавшие на полу, приподнялись одновременно и посмотрели сонными глазами, чей это рапорт принял командир роты.

Боец Яхонтов лежал на пруде шинелей, снятых с убитых. Он не стонал, а настойчиво и жадно, потемневшими от страдания глазами, смотрел в рябое звёздное небо.

— Уйди, уйди, — шёпотом прокричал он санитару, пробовавшему его подвинуть — Больно, у тебя руки каменные, не трогай меня!

Над ним наклонилось лицо женщины, на него пахнуло её дыхание. Слезы упали на его лоб и щёку, ему показалось, что с неба упали капли дождя.

И он внезапно понял то слезы, и они горячи и горяча рука, погладившая его, оттого что жизнь от него отходит и касание живого тела кажется ему горячим, как горячо оно для холодного куска железа или дерева. И ему вообразилось, что женщина плачет над ним.

— Ты добрая, не плачь, я поправлюсь ещё, — сказал он, но она не слышала его слов. Ему казалось, что он произносит слова, а он уже «булькал», как говорят санитары.

До утра не спала Лена Гнатюк.

— Не кричи, не кричи, немцы рядом, — говорила она бойцу с перебитыми ногами и гладила его по лбу, по щекам, — потерпи до утра, утром отправим тебя в армейский госпиталь, там гипс тебе наложат.

Она перешла к другому раненому, а боец с перебитыми ногами снова позвал её:

— Мамаша, пойди сюда, я спросить тебя хочу.

— Сейчас, сынок, — ответила она, и ей, и всем вокруг казалось естественным, что человек с седой щетиной назвал её мамашей, а она, двадцатитрёхлетняя женщина, звала его сыном.

— Это как — гипс, без боли, усыпляют? — спросил он.

— Без боли, потерпи, потерпи до утра.

На рассвете прилетел одномоторный «юнкере», крылья и нос его стали розовыми, когда он пошёл в пике над вокзалом. Фугасная бомба попала в ту яму под стеной, где находились раненые, Лена Гнатюк, два санитары — и не стало там живого дыхания.

Пыль и дым, поднятые взрывом, восходящее солнце окрасило в рыжеватый цвет, и легкое облако долго висело в воздухе, пока ветер с Волги не погнал его на запад и не рассеял над степью.

В 6 часов утра советская тяжёлая артиллерия открыла огонь из Заволжья по немецким позициям. В утреннем воздухе натянулись невидимые струны, и воздух над Волгой запел. Казалось, что серебристая рябь на воде поднимается вслед летящим над Волгой советским снарядам.

Над немецким расположением на западной окраине города и у вокзала вздымались черные и рыжие комья земли, древесная щепка, каменная крошка и пыль.

В течение часа ревела советская тяжелая артиллерия, выли снаряды и пелена желтого и черного дыма висела над замершими, заползшими в землю немецкими солдатами.

Как от эпицентра землетрясения, волнами расходились содрогания почвы, вызываемые разрывами советских снарядов. В блиндажах, у самого берега, позванивали металлические каски, штыки, автоматы, развешанные на стенах.

И тотчас, едва кончилась артиллерийская подготовка и вспотевшие от работы заволжские артиллеристы отошли от раскалённых стволов орудий, двинулись в атаку стрелковые подразделения, стала вскипать вода в кожухах советских пулеметов, гулко

заахали «феньки», разогрелись от огневой дрожи ППШ.

Но советская атака захлебнулась, пехота, действовавшая мелкими группами, не сумела развить успех.

К 11 часам вокзал представлял собой картину поистине ужасную.

Среди пыли и дыма, поднятых сосредоточенным огнем минометов и орудий, среди чёрных разрывов авиационных бомб, под вой авиационных моторов и секущий хрип мессершмиттовых пулемётных очередей батальон, вернее остатки его, продолжал отбиваться от немцев.

Голоса раненых, стоны тех, кто с тёмным от боли рассудком лежал в крови, либо ползал, ища укрытия, смешивались с командой, очередями пулемётов, стрельбой противотанковых ружей. Но каждый раз, когда после Шквального огня наступала тишина и немцы, пригнувшись, бежали к искромсанным развалинам, — эти казавшиеся окончательно мертвыми и немymi развалины вновь оживали.

Филяшкин, лёжа на груди стреляных гильз, нажимая на спусковой рычаг пулемёта, быстро оглянулся на Шведкова, старательно и плохо стрелявшего из автомата.

Немцы снова шли в атаку.

— Стой! — закричал самому себе Филяшкин, увидя, что пулемёт нужно перенести на новое место. Он крикнул подручному, молодому красноармейцу, с преданностью и обожанием глядевшему на командира батальона: — Тащи на руках, вот под эту стенку, — и ухватился за хобот пулемёта.

Пока они устанавливали пулемёт на новом месте, Филяшкину обожгло левое плечо, рана пустяшная, не рана, а порез, он не почувствовал её смертельной глубины.

— Перевяжи мне скоренько плечо, комиссар, — крикнул он, раскрыв воротник гимнастерки, — и тут же отмахнулся от бинта: — Потом, потом, полезли... — И он стал наводить пулемёт. — Начал срочную пулемётчиком, и сегодня пулемётчиком, бормотал он. — Ленту, ленту давай, — закричал он подручному.

Он подавал себе команду и сам исполнял её, — он был командир подразделения, и наблюдатель, и пулемётчик.

— Противник прямо и слева триста метров, — закричал он за наблюдателя.

— Пулемёт к бою... по атакующей пехоте, непрерывным, пол-ленты, огонь! закричал он за командира и, ухватившись за ручки затыльника, медленно повёл пулемёт слева направо.

Серо-зелёные немцы, внезапно выскочившие из-за насыпи, вызывали у него удушливое бешенство; у него не было чувства, что он обороняется и что бегущие в его сторону увёртливые, хитрые немецкие солдаты нападают, — ему казалось, он нападает, а не отбивается.

В нём всё время, как эхо скрежещущего непрерывного пулемётного огня, жила одна заполнявшая его мысль. В этой мысли находил он объяснение всему, что было в жизни: досаде, удачам, снисхождению к тем из сверстников, кто отстал в лейтенантах, и зависти к тем, кто, обогнав его, ушёл в подполковники и майоры. «Начал срочную пулемётчиком и кончаю пулемётчиком». Простая, ясная мысль отвечала на всё, тревожившее его в последние часы. Эта мысль слилась с чувством и говорила ему о том, что всё плохое и тяжёлое, случившееся в жизни, перестало значить для него, пулемётчика Филяшкина.

Шведков так и не перевязал его: Филяшкин вдруг, теряя сознание, с размаху ударился подбородком о затылок пулемёта и мёртвый повалился на землю.

Немец, артиллерист-наблюдатель, давно уже заметил пулемёт Филяшкина, и, когда тот вдруг притих, немец заподозрил хитрость.

Шведков не успел поцеловать комбата в мёртвые губы, не успел оплакать его, не ощутил тяжкого бремени командования, лёгшего на него со смертью Филяшкина, — и он был убит снарядом, всажённым немецким наводчиком в самую амбразуру его укрытия.

Старшим в батальоне остался Ковалёв, но он сам не знал об этом, — связи с Филяшкиным у него во время немецкой атаки не было.

Ковалёв уже не походил на того вихрастого и светлоглазого юношу, который два дня назад перечитывал стихи, записанные в тетрадке, и надписи на фотографиях. И мать не узнала бы в этом хриплоголосом человеке с воспаленными глазами, с прилипшими ко лбу серыми прядями волос — родного мальчика, сына.

От сильной контузии у него в ушах стоял звон и цоканье, голова горела от боли, кровь текла из ноздрей на грудь, маслянисто щекотала подбородок, и он размазывал её рукой.

Ходить по прямой ему было трудно, и он несколько раз валился на колени, полз на четвереньках, потом снова вставал.

В его роте, несмотря на то, что она подвергалась непрерывным атакам и многочасовому обстрелу, потери были несколько меньше, чем в других подразделениях батальона.

Ковалёв стянул в узкий круг остатки роты, и ему самому минутами казалось странным и удивительным, что огонь его роты по-прежнему был густым и плотным, словно в минуты немецких атак мертвые снова брались за оружие и стреляли вместе с живыми.

Он видел в тумане напряжённых мрачных людей, они били из автоматов, прижимались головой к земле, пережидали разрывы, то вскакивали и снова стреляли, то вдруг притихали, глядя, как косо и рассыпчато набегают серо-зелёные существа.

В эти минуты наступала тишина — сложное, томное чувство одновременного страха и радости от приближения врага.

И все спины, руки, шеи напряживались, а пальцы, сдвинув предохранительную чеку, сжимали рукоятки гранат, вклады вали в это пожатие всё напряжение, охватывавшее красноармейцев при приближении немцев.

Воздух сразу застилало пылью, и туман вставал в голове. Звук разрывов советских осколочных и фугасных гранат так ясно отличался в ушах Ковалёва от немецких, как отличались для него окающие голоса нижегородцев от картавых выкриков берлинцев и баварцев. И хотя крики отбивающих нападение не были слышны, но всем, имеющим уши, чтобы слышать, русским и немцам, казалось, что фанаты-жестянки, «феньки», противотанковые гулко над местом побоища, над всем городом и над Волгой выкрикивают грозные русские слова.

Затем пыль рассеивалась, снова выползали из каменного тумана постылые развалины, мёртвые тела, подбитые немецкие танки, поваленная набок пушка, провисший мост, необитаемые, безглазые дома, мутное небо над головой, и снова немцы с новым неутомимым усердием начинали молотить людей и камень, готовить новую атаку.

Ковалёв в эти минуты переживал многое. То в тумане гасло сознание и оставалось лишь чувство быстроты и отчаянности, словно ничего уж не было в мире, кроме серых бегущих фигур и скрежета танков.

Немцы бежали в атаку косо, рассыпчато. Иногда казалось, что они лишь мнимо бежали вперёд и действительной их целью было бежать назад, а не вперёд, — их кто-то сзади выталкивал, и они бежали, чтобы освободиться от этого невидимого, подталкивающего их, а затем уж, опередив, оторвавшись от него, начинали юлить, рассыпаться по кривой и поворачивали обратно.

И тогда, разгадав их, хотелось помешать им вести лукавую, обманную игру, не дать им повернуть, и движения Ковалёва становились спокойными, разборчивыми, он выбирал. В такие мгновения глаза видели многое, быстро старались подметить, залёг ли враг, укрылся ли, рухнул ли убитый, упал ли подраненный.

То казалось, бегут не люди — фанерки, безразличные, жалкие, не опасные, то он с ясностью видел перед собой людей, полных ужаса перед смертью. То вдруг делалось понятным не только для мозга, но для всего тела, ног, рук, плеч, спины, что немцы, сколько их ни есть, бегут с яростным и страстным желанием достичь той ямы перед выступом стены, где притаился контуженный, перепачканный в крови Ковалёв, с ноющей от тугого спускового крючка косточкой указательного пальца. И тогда волнение взрывало его, дыхание становилось прерывистым, исчезало всё, кроме счёта патронов автомата, мыслей о

патронном диске, лежащем рядом, — мысли: вот он будет перезаряжать автомат, а бегущие достигнут наклонённого столба с обрывками проволоки, а может быть, доберутся и до будки со снесённой крышей.

Он кричал, и голос его сливался с пальбой автомата. Казалось, что оружие разогревалось от его рук, от той ярости и жара, которые были в нём.

А потом неожиданно напряжение обрывалось, проглядывало ясное голубое небо, приходила тишина, не угарная больная тишина начала атаки, а спокойная, здоровая, румяная та, которой хотелось надолго, а не та, что мучила и давила больше грохота.

И внезапно мелькало воспоминание, случайное, быстрое, а может быть, совсем не случайное, лишь кажущееся случайным. Девушка, с розовой рябью оспенной прививки на обнажённой белой руке, ранним утром полощет бельё на берегу реки, замахивается мокрой, свёрнутой жгутом простыней, и сильный удар по тёмной и скользкой доске многократным ступенчатым эхом разносится вокруг, и вода искристо морщится от вкусного, сочного удара, а девушка краткое мгновение смотрит на Ковалёва и полуоткрытые губы её улыбаются ему, а глаза сердятся. Он видит, как колыхнулись её груди, когда она нагнулась и разогнулась, и от неё пахнет молодой травой, и прохладой воды, и мылым живым теплом. И она понимает, что он жадно смотрит на неё, и ей приятно и неприятно это, и он нравится ей, и ей смешно и странно, что он так молод и она молода...

И тотчас другое... Губастый, бледный лейтенант Анатолий, его дорожный спутник, лежит на полке в вагоне и, кашляя, неумело курит, подставив под папиросу ладонь, чтобы пепел не падал на сидящих внизу.. И вот они за большим столом, в городской квартире, в этом же Сталинграде, где-то на северо-восток от стеночки, где он сейчас лежит, и насмешливые, сердящие его глаза смотрят, спрашивают. И два старика, один хмурый, черный, другой лобастый, с толстым носом, и толстая военврач с майорскими шпалами, и темноглазый, дёргающийся парень, у которого он списывал стихи, смотрят на него.

И тревожное чувство раздражённого и неуверенного превосходства над этими привлекательными, милыми людьми коснулось его.

Ах, если бы та красивая, с белой шеей, поглядела сейчас, она бы поняла, почему он так затосковал, затомился, стал ругаться — ведь о смерти, ни о чём другом разговор, зачем же эти насмешечки и шуточки; «такой приказ — защищать давно есть». Эти взгляды, словно он мальчик, эти вопросы, чтобы ему удобней и приятней отвечать... Конечно, он жил в деревне, он только школу лейтенантов кончил, он еще молодой совсем.

Его чистая душа была воистину детской душой, ведь возраст его, и опыт жизни, и ясная вера, и сомнения, и мечты, и тревоги, и грубость — всё в нём было отроческим, юным. И в эти минуты он переживал горькое, безжалостное исполнение своей мечты, ощутил, что не только перед самим собой, перед своими земляками, перед мамой и девушкой, писавшей «место марки целую жарко», но и перед всем огромным светом, перед миром всех людей, и не только друзей, но и врагов, он, тот самый суровый и сильный, каким хотел видеть себя, когда, нахмутив белые брови и загадочно сощутив глаза, смотрелся перед сном в маленькое карманное зеркальце, обклеенное красной шершавой бумагой.

И для того, чтобы поделиться с кем-нибудь своим чувством и сохранить его среди людей, Ковалёв вытащил из сумки тетрадь, пощупал пальцами фотографию, завернутую в целлофановую бумагу, мельком взглянул на стихи, записанные красивым, жемчужным почерком, записанные каким-то другим человеком, а не им. Он вырвал лист бумаги и стал писать донесение.

«Время 11.30.

Донесение

Гвардии ст. лей-ту Ф:иляшкину. 20.9.42 г. Доношу — обстановка следующая:

Противник непрерывно атакует, старается окружить мою роту, заслать в тыл автоматчиков, два раза пускал танки через боевые порядки моей роты, но все его попытки не увенчались успехом. Пока через мой труп не перейдут, не будет успеха у фрицев. Гвардейцы не отступают, решили пасть смертью храбрых, но противник не пройдёт нашу оборону.

Пусть узнает вся страна 3-ю стрелковую роту. Пока командир роты живой, ни одна б... не пройдет. Тогда может пройти, когда командир роты будет убит или совсем тяжело ранен. Командир 3-й роты находится в напряженной обстановке и сам лично физически нездоров, на слух оглушён и слаб. Происходит головокружение и падает всё время с ног, происходит кровотечение с носа, несмотря на всё, 3-я гвардейская рота не отступает назад. Погибнем героями за город Сталина. Да будет им могилою Советская земля. Надеюсь, ни одна гадина не пройдёт, 3-я рота отдаст всю свою гвардейскую кровь, будем героями освобождения Сталинграда».

Подписав донесение и сложив листочек вчетверо (пока он писал, беленькая бумажка стала черно-рыжей от мазавшей по ней ладони), Ковалев подозвал бойца Рысьева и сказал:

— Снеси комбату!

Потом он вынул металлический медальон, повешенный ему на грудь заботой старших, на случай тяжелого ранения или смерти, и поверх официальных сведений о фамилии, звании, должности, части, адресе и составе крови, написал:

«Тот, кто осмелится изъять содержимое этого медальона, того прошу направить по домашнему адресу. Сыны мои! Я на том свете. За кровь мою отомстите врагу. Вперёд к победе и вы, друзья, за Родину, за славные сталинские дела!»

Он не знал, зачем написал сыновьям, которых нет, ведь он и женат не был. Но так нужно было. Память о нём — суровая, честная память — должна надолго остаться, он не хотел считаться с тем, что война оборвет его жизнь, что он не узнал и не узнает отцовства, не станет мужем своей жены. Он писал эти слова за несколько минут до смерти, он боролся за свое будущее время, он не хотел подчиниться смерти в двадцать лет, он и здесь хотел поупорствовать, победить.

Рысьев вернулся с командного пункта батальона. Он сам не понимал, как его не убило.

— Никого там нет, товарищ лейтенант, некому вручить донесение, все убитые, и связанного ни одного не осталось, — сказал: он.

Но и Ковалёв не принял у него обратно донесения, он лежал мёртвый, навалившись грудью на свою полевую сумку, заряженный автомат лежал у него под рукой.

Рысьев лёг рядом с ним, взял автомат, немного отодвинул плечом тело Ковалёва: видно, немцы опять готовились, собирались кучками, перебежали за сгоревшими танками, махали руками, а где-то сбоку уже к звукам разрывов примешивалось тырканье их автоматов.

Рысьев подсчитал гранаты и оглянулся на Ковалёва: между бровями на лбу его видна была короткая тёмная насечка .. ветер шевельнул его светлые волосы, а лёгкие ресницы, чуть опущенные, прикрывали глаза; он глядел в землю мило и лукаво, улыбался тому, что знал он один, тому, что уж никто, кроме него, не узнает.

«По переносью... сразу», — подумал Рысьев, ужаснулся быстрой смерти и позавидовал ей.

Из командиров, пришедших два дня назад на вокзал, Ковалёв был убит последним.

Младший командный состав был также почти целиком выведен из строя.

Старший сержант Додонов, подавленный страхом, отлёживался, на него никто не смотрел, никто не обращался к нему.

Старшину Марченко тяжело контузило тем же снарядом, которым был убит Ковалёв — он лежал неподвижно, и кровь текла у него из носа и ушей.

Но и после гибели Ковалёва красноармейцы продолжали вести огонь по немцам. В бою, шедшем до этого часа, Конаныкин, Филяшкин, Шведков, Ковалёв, политруки, комвзводы стреляли, как рядовые красноармейцы, — и это было естественно и законно. После их гибели принял команду рядовой красноармеец — и это также было естественно и законно.

В обычной жизни немало людей являются скромными, непроявленными вожаками. Об их душевной силе знают те, кто соприкасается с ними в труде, ее чувствуют, на неё оглядываются, но часто о ней и забывают. Есть две ценности человеческого характера —

одна в умении быстро, толково и правильно понять изменения жизненной поверхности, вторая ценность в духовной, неизменной и упрямой глубине.

В те времена, когда драма раскрывается не на поверхности, а в глубинах человеческих душ и сердец, — такие люди выступают вперёд, и их скромная сила становится явной.

В бою с завоевателями горсти окружённых красноармейцев, людей, для которых в грозный час единственной действительностью стало простое в жизни, добро мирных, трудовых людей и ополчившееся на это добро кровавое зло поработителей, для людей, ответственных в этом простом и главном перед своей собственной совестью, Вавилов стал человеком не менее сильным, чем сам командующий армией.

Вавилову и в мирные времена приходилось в работе становиться старшим, приказывать, указывать и советовать, случалось это и на пахоте целины, и в лесу, когда артель лесорубов валила сосновые стволы, и в ветреный осенний день, когда отбивали от огня горевшую деревню.

Само собой получилось, что бойцы стали оглядываться на него, а потом лепиться к нему. Никто не таил сухарей в карманах и воды в баклажках, когда он велел поделить их.

Вавилов разбил красноармейцев на группы, и так как он знал слабость и силу людей, с которыми вместе шагал и ел хлеб, людей, не таивших от него ни своей силы, ни слабости, он безошибочно поставил вперёд тех, кому надлежало по праву быть старшими.

Он ещё больше сузил, сжал круг обороны и посадил людей там, где стены прикрытия были особенно толсты и откуда видней всего были немцы.

Сам он остался с Резчиковым, Усуровым, Мулярчуком и Рысьевым в центре обороны и выбегал на поддержку к тем, на кого немцы оказывали главный нажим.

Он оставил резерв патронов, дисков, гранат и запалов, посадил пулемётные расчёты за толстым бетонированным брандмауэром, который прошибало лишь самым тяжелым снарядом.

За эти короткие дни красноармейцы постигли жестокую мудрость городского боя, они поняли смысл штурмовой боевой артели, как понимали трудовую артель, определяли размеры её и закон её силы. Сила была в каждом отдельном бойце, но отдельная сила имела значение лишь в артельности бойцов.

Люля взвесили и измерили ценность своего оружия и на первом месте утвердили ручную гранату «Ф-1», автомат, ротный пулемёт. Они узнали боевую силу сапёрной лопатки.

Резчиков, ставший на марше мрачным и унылым, сейчас, непонятно отчего, снова ободрился. Рассудительный и ни разу не поддержавший похабного разговора Зайченков проявил злое, безрассудное озорство и матерился после каждого слова. Усуров, готовый поскандалить по любому поводу, жадный до еды и до предметов, стал покладистым, щедрым, отдал половину табака и хлебный паёк Рысьеву. Но особо резко, казалось, изменился Мулярчук. Квельый и, как многим представлялось, бестолковый человек стал неузнаваем. Даже лицо его изменилось, морщины на лбу, придававшие ему выражение недоумения, залегли сердитой складкой, поднятые белые брови стянулись к переносице, потемнели от пыли и копоти. Дважды зажал его в окопе немецкий танк, дважды выполз он из окопа и с немисливо короткого расстояния сокрушил врага фугасной противотанковой гранатой.

Некоторые из тех, кто, скупясь, берёт от других свое духовное достояние, щедро стали раздавать его. А из тех, кто жил щедро, весело, бездумно, некоторые вдруг закупились, задумались, нахмурились.

Но Вавилов остался таким же, каким был, каким его знали его жена, родичи, соседи, каким сидел он после работы в избе, макая хлеб в кружку с молоком, каким был он на работе в поле, в лесу, в дороге.

Война научает различать законы поведения человека. Слабые духом, обманывая других, но прежде всего самих себя, умеют в тихие времена казаться душевно наполненными и сильными. В трудный час войны такие люди неожиданно не только для других, но и для

себя обнаруживают свою немощь. Вторые — это люди не всегда удачливые, застенчивые, тихие, их считают слабыми, и они ошибочно сами верят в свою слабость, такие чаще всего преодолевают и сбрасывают в тяжёлый час свою мнимую слабость, показывая настоящую силу. О таких на войне говорят «Кто бы мог подумать...» И наконец, третьи — высокая духовная порода, это люди, чей облик остаётся неизменным в часы величайших испытаний, их спокойные голоса, их суровость и дружелюбие, ясность их мысли, маленькие привычки и главные законы их духа, улыбка, движения остаются такими же в грозу, какими были в дни.

Ночью сон оглушил людей Они засыпали во время разговора, под выстрелы и разрывы.

В два часа в полной темноте началось совсем новое — страшное и незнакомое — ночная атака.

Немцы не жгли ракет. Они ползли со всех четырёх сторон. Всю ночь шла резня. Не стало видно звёзд, их закрыло облаками, и казалось, тьма пришла, чтобы люди не глядели в остервенелые глаза друг другу.

Всё пошло в ход ножи и лопаты, и кирпич, и кованые каблуки сапог.

В темноте раздавались вскрики, хрип, пушечные выстрелы, одиночные удары винтовок, короткое карканье автоматов.

Немцы ползли кучами, давили тяжестью: всюду, где начинался шум, драка, они появлялись десятками против одного или двух, во мраке били ножами, кулаком, подбирались к горлу. Их охватило остервенение.

Они осторожно перекликались между собой, но тотчас по немецкому голосу ударял выстрел скрывавшегося в развалинах красноармейца. Едва пытались они осветить условным зелёным либо красным светом электрического фонарика, как быстрые вспышки выстрелов заставляли их гасить огонь, прижиматься к земле. А через минуту вновь возникала возня, тяжёлое дыхание, скрежет металла.

Но, видимо, у немцев был план, они не ползли кто куда.

Постепенно всё сужался круг обороны, и там, где недавно ещё лежали в боевом охранении красноармейцы, становилось совсем тихо, затем ухо ловило чужой шёпот, воровато перемаргивались зелёные и красные огоньки. А вскоре в новом месте раздавался злой, отчаянный крик, шумел камень, ударял выстрел. А через минуту уже на новом месте быстро мелькал зелёный свет тайного фонарика...

Мелькнула жёлтая зарница, одиноко ударила ручная граната, поднялось смятение, пронзительно залился командирский свисток, потом сразу стало тихо, и снова мелькнул зелёный огонёк, а ему подмигнул на секунду красный и погас... Стало совершенно тихо, и опять мелькнуло красно-жёлтое пламя, точно кто-то на миг открыл дверь деревенской кузницы и вновь захлопнул её, ударила граната и голос протяжно затянул: «А-а-а»... и вдруг живой крик оборвался, бултыхнул в тишину. И ещё ближе мелькнул насторожённый зелёный свет...

Все, кто издали прислушивался к звукам ночного побоища, поняли, что борьбе батальона подходил конец.

Но на вокзале ещё слышался шёпот русской речи, и несколько человек бесшумно укладывали камни, прирачивали стены, готовились на рассвете продолжать бой.

Место, где лежали красноармейцы, было окружено ямами и воронками. Во мраке к ним нельзя было добраться.

Рысьев лежал на боку и, шумно дыша, шептал привалившимся к нему товарищам:

— Как волка, окружили, еле вырвался, только подранили, ничего — в левое плечо... а Додонов к немцам уполз, я слышал.

— Может быть, убили? — спросил Резчиков.

— Не убили, я всё проверил, автомат оставил, гранаты с себя сложил, а самого нет — проститутка.

Он в темноте нащупал руку Вавилова и сказал:

— С вами хорошо, вы верные люди...

— Не бойся... не оставим, — сказал Резчиков.

— Вот, вот, меня раненого не оставьте... Голова у Рысьева кружилась от потери крови, минутами он забывался, бормотал, потом затих.

— Вера, пойдй сюда, — спокойным ясным голосом позвал он и добавил после молчания — Ну, чего ждёшь?

Его удивило, что жена замешкалась, не сразу подошла к нему. Он долго молчал, потом в воспалённом мозгу его возникла новая мысль: «Семёныч... Пётр... ты как считаешь, скоро второй фронт откроется?»

— Молчи, молчи, тише, — сказал: Вавилов

— Я спрашиваю: откроют фронт? — сердито зашептал Рысьев и закричал во весь голос: Не слышно? Эй, я вас спрашиваю; вас не касается? Или не видите?

Резчиков зажал ему рот ладонью:

— Брось, дурак!

— Оставь, оставь, оставь... — задыхаясь, отбиваясь от него, бормотал Рысьев.

Но услышали его немцы. Несколько светящихся кровью очередей провыли над головами, послышалась тревожная переключка немцев, они звали друг друга по именам. Потом стало тихо, видимо, немцы решили, что кричал в бреду умирающий. Да так оно и было.

— Кто? — резко спросил Вавилов и поднял голову. В темноте зашуршал обваливающийся камень — полз человек.

— Я-я я, — быстро проговорил голос Усурова, — живы, а я думал, немцы кончают вас, — и попросил. — Дайте покурить!

— Прикройся шинелью, покуришь, — сказал: Вавилов. Усуров лег рядом с Рысьевым и долго натягивал на голову шинель, сопел, отхаркивался.

— Как я их в темноте признаю? — недоумеая, сказал: Усуров, высовывая голову из-под шинели. Видимо, потребность говорить с товарищами была сильнее, чем желание курить. Он погасил папироску, быстрым шёпотом заговорил:

— Ползёт он, а я чую, не по-нашему словно, и шум от него какой-то не тот, как от зверя, я стрелять боялся, я руками.

Мулярчук складывал стену, работал молча, быстро.

— Силен ты камни класть, — шепнул Резчиков, ему не хотелось прислушиваться к страшным словам Усурова.

— Так я ж печником был, — ответил: Мулярчук, — кладу и вспомнил вот жизнь была, отработал — и домой; в районном центре, печником.

— Тихо стало, — сказал: Вавилов, — теперь уж, видно, до рассвета. Ребята, только не шумите

— Женатый: — строго спросил Усуров у Мулярчука.

— Не, я у матери жил, в Полонном, в районном центре, — ответил: Мулярчук, радуясь, что интересуются им, и торопливо добавил — У меня мать хорошая. И я до неё добрый был, всё ей отдавал. Но уж она беспокоилась, чуть собрание или чуть задержусь — встречать шла. Я горилки не пил и с дивчатами не ходил. Я в районном коммунхозе печником был.

— А я вдовый был, и детей не было, — сказал: Резчиков, тоже, как и Мулярчук, говоря о себе в прошедшем времени. — О, брат, водочку я любил, как собачка молочко, и от женщин обиды мне не было.

— Слушайте, — сказал: Усуров, — я вас вот что прошу. Часик до свету посидим. Мы отсюда никуда, а утром к нам полк пробьётся — увидите, пробьётся!

Мулярчук отдельно, чтобы запомнили, сказал:

— Мою мать звать Мария Григорьевна, а меня Микола Мефодьевич.

Охваченный беспокойством, что товарищи так и не поймут и никогда уж не узнают, если он не расскажет, как летом красиво в районном центре Полонном и какие кругом сахарные заводы, и какой хорошей женщиной и умелой портнихой была его мать, — Мулярчук, смешивая русские и украинские слова, рассказывал:

— Моя маты усе могла пошить, но больше для селянства шила, пиджак чи фуфайку

дядьки зимой носят, сачки — на зиму бабы одивают, и корсет — така кофта без рукав, и лыштву — юбка вышита, на свято её носить, и спидницу, и жакетик лёгкий, она всё умеет... а я по печному дилу — и пичь, и грубу — по вашему подтопок, и припечек — лежанку, и в Полонном, и в Ямполи, и по сёлам, восемь рокив робыв, я считался добрый печник.

Вавилов спокойно, не боясь немцев, зажёг спичку, прикурил, и все увидели, как по грязным щекам его текут две чёрные слезы.

— Ты рассказывай, Мулярчук, рассказывай, — сказал: он, — я тоже хотел на то лето у себя печь переложить.

Усуров наклонился прикурить, и огонёк осветил его огромные ладони.

— Ранен в руки, что ли?

— Это не моя кровь, я двоих лопатой порубал. Пока ползал, — ответил: Усуров и всхлипнул. — До чего осатанели, а? — с жалостью к себе, изумляясь, сказал: он и тяжело задышал, прислушался.

— Притих Рысьев, — сказал: снова Усуров, — не дышит. — Он встал, потом снова сел, стал оглядываться. — Небо, как шуба, так в июле в Самарканде не бывает. — Он тревожно тронул Резчикова — Не спи, не спи, хоть посиди.

— Ты не томись, Усуров, — сказал: Вавилов, — не такие, как мы, умирали. Дома побывать хоть минуточку... А там что, там сон...

— Шоколад дочке передать, — усмехнулся Резчиков. Над Волгой поднялась советская ракета. Она вызревала, словно пшеничный колос, стала восковой, молочно-белой, пожелтела, поникла, поблёлкла, осыпалась... И после этого ночь сделалась ещё черней.

До рассвета люди молчали, редко-редко перебрасывались словом. О чём думали они? Дремали? Потом, насторожившись, они жадно, покорно и тревожно наблюдали, как в тишине из тьмы, равно наполнявшей небо и землю, рождался свет

Земля вокруг стала слитно-чёрной, а всё ещё тёмное небо отделилось от неё, словно земля оттянула немного тьмы от неба, и тьма оседала бесшумными хлопьями, отслаивалась книзу. В мире уже была не одна тьма, а две: ровная спокойная тьма неба и испулённый, густой мрак земли.

А потом небо словно тронуло пеплом, оно чуть-чуть посветлело, а земля всё наливалась мраком. Ровная черта, отделявшая небо от земли, стала ломаться, терять прямизну, стали прочерчиваться отдельные зазубрины, выбухи на земной поверхности. Но это ещё не был свет на земле, это тьма делалась видимой благодаря посветлевшему небу. А вскоре стали видны облака, и одно из них, самое высокое, самое маленькое, словно вздохнуло, и легкий, едва видимый румянец живого тепла прилил к его бледному, холодному личику.

Дремавшие в прибрежных зданиях бойцы 13-й дивизии вдруг услышали со стороны вокзала, где засел окружённый батальон, пулемётную очередь, взрывы ручных гранат, крики немцев, пальбу, разрывы мин, гудение танка.

— Ох, ну и народ, до чего крепок, — изумляясь, говорили красноармейцы.

Но никто не видел из прибрежных зданий, как на вокзале над тёмной ямой поднялся освещённый косым солнечным светом пожилой человек с запавшими щеками, поросшими чёрной щетиной, занёс гранату, оглянулся светлым, внимательным взором.

Автоматы жадно, перебивая друг друга, застрочили по нему, а он всё стоял в светложёлтом пыльном облаке, и когда не стало его видно, казалось, он не рухнул мёртвым кровавым комом, а растворился в пыльной, молочно-жёлтой, клубящейся и светящейся в лучах утреннего солнца туманности.

До вечера похоронные команды армии Паулюса собирали и складывали на грузовики трупы немецких солдат и офицеров, погибших при взятии вокзала.

На пустынной возвышенности, расположенной на западной окраине Сталинграда, планировщики намечали места для отыскания могил; специализированные отряды готовили гробы, кресты, дёрн, гальку, кирпич, везли песок для посыпания дорожек на новом кладбище.

Кресты поднимались в строгом равнении, в точной дистанции — могила от могилы, ряд от ряда. А грузовики всё шли и шли, пылили, везли тела убитых, гробы, кресты добротной фабричной выделки, сделанные из аккуратных, проваренных в химическом составе, предохраняющем дерево от гниения, стандартных брусьев.

На прямоугольных дощечках отряд маляров выписывал с помощью трафареток чёрным готическим шрифтом имена, фамилии, звания, дни, месяцы, годы рождения захороненных.

И среди сотен различных дат рождения, различных имён, фамилий, молодых и старых немецких солдат, убитых при штурме вокзала, во всех надмогильных надписях была одна совпадающая дата — дата смерти.

Ленард и Бах бродили среди развалин, разглядывая тела мёртвых красноармейцев.

Ленард, любопытствуя, трогал носком ладного сапожка убитых. Где она, в чём она скрыта, тайная причина, породившая ужасное, мрачное упорство этих ныне мёртвых людей? Они лежали маленькие, серолицые и желтолицые, в зелёных гимнастёрках, грубых ботинках, в чёрных и зелёных обмотках.

Одни лежали, раскинув руки, другие свернулись калачиком и словно поджимали мёрзнувшие ноги, третьи сидели. Многие были присыпаны камнем и землёй. Из одной воронки торчал кирзовый сапог со сбитым каблуком, в другом месте, навалившись грудью на выступ стены, лежал сухонький человек, его маленькая рука сжимала рукоятку гранаты, а череп и лицо были раздроблены — видимо, он поднялся из-за укрытия, чтобы бросить гранату, и в этот момент был убит.

— Смотрите, тут целый склад мертвецов, — сказал: Бах, — очевидно, вначале они стаскивали сюда убитых. Как клуб:

одни сидят, другие лежат, а один словно речь произносит.

В другой яме, оборудованной наподобие блиндажа, по-видимому, размещался командный пункт. Офицеры нашли среди раздробленных балок разбитый радиопередатчик и расщеплённый зелёный ящик полевого телефона.

Упёршись головой в смятый, с погнутым стволом пулемёт, лежал убитый командир, рядом с ним лежал второй, с комиссарской звездой на рукаве, у входа, скорчившись, сидел мёртвый красноармеец, видимо телефонист.

Ленард брезгливо, двумя пальцами поднял полевую сумку, лежавшую возле комиссара, и велел солдату снять планшет с командира, обнимавшего разбитый пулемёт.

— Захватите это, снесите в штаб, пусть посмотрит переводчик, — сказал: он.

Бах сказал:

— Вокруг наших брошенных окопов обычно лежат целые груды газет, иллюстрированных журналов, а тут вокруг окопов ничего этого нет

— Это глубокое наблюдение, — насмешливо сказал: Ленард, — но все же интересно сейчас не это. Здесь явно был командный пункт, судя по виду трупов, эти командиры были ликвидированы в первый день атаки. Выходит, что красноармейцы сами без командиров дрались с таким звериным упорством. А мы их считаем безинициативными...

— Пойдёмте, — сказал: Бах, — я не выношу этот сладкий запах, после того, как надышусь им, два дня не могу есть мясных консервов.

Поодаль бродили солдаты

— Да, хорошая штука — солдатская дружба, — сказал: Бах, — посмотрите.

Он указал Ленарду, как солдат Штумпфе обнял солдата Ледеке и, шутя, толкает его на труп красноармейца с поднятой скрюченной рукой.

— Вы всё же сентиментальный болван, — с внезапным раздражением вдруг сказал: Ленард.

— Почему это? — спросил пораженный Бах.

Ему казалось, что Ленард посмеивается над тем, что он затеял с ним откровенный и сложный разговор, действительно, надо быть болваном для этого, с нацистом, эсэсовцем, с человеком, о котором все говорят, как о явном работнике гестапо.

— Почему, я не понимаю вас, разве солдатская дружба плохая вещь? — спросил он

снова.

Но Ленард молчал — он ведь не имел права сказать, что этот самый весёлый и всеми любимый солдат Штумпфе три дня назад передал ему написанный в полевую жандармерию донос об опасных разговорах, которые ведут его друзья Ледеке и Фогель.

Офицеры ушли, а солдаты продолжали бродить среди развалин.

Ледеке заглянул в полуподвал с проломанным потолком.

— Видимо, здесь был перевязочный пункт, — сказал: он.

— Гляди-ка, Ледеке, женщина, это по твоей части, — сказал: Фогель.

— Ужасный вид.

— Ничего, сейчас пригонят жителей, они всё это закопают. Ледеке, рассеянно оглядывая мертвые тела, сказал:

— По-моему, искать тут нечего, имущества нет, тут и приличного полотенца или платка не подберёшь.

Лишь Штумпфе продолжал трудолюбиво перетряхивать тощие вещевые мешки, сердито отбрасывая сапогом котелки и кружки.

В одном мешке он нашёл обернутую в чистую белую тряпочку плитку шоколада, в полевой сумке убитого лейтенанта среди тетрадок, бумажек, писем он обнаружил ножик, зеркальце, довольно приличную бритву. Подумав немного, он всё это бросил.

Но под конец его трудолюбие было вознаграждено.

Когда офицеры ушли из командирского блиндажа, Штумпфе забрался туда и нашарил в углу полусасыпанный глиной пакет.

Он даже запел от удовольствия, увидев, что ему достались прелестные, ни разу не одёванные дамские вещи.

— Ребята! — крикнул он. — Поглядите-ка, вот неожиданность: Купальный костюм! Сорочка с кружевами! Шёлковые чулки! Флакон духов!

Марья Николаевна Вавилова проснулась в пятом часу утра и негромко окликнула дочь»:

— Настя, Настя, вставай!

Настя, потягиваясь, терла глаза, потом стала одеваться и расчёсывать гребнем волосы, плачущим голосом бормотала:

— Ой, не выспалась я, — и она, нарочно сердито морщась, дёрнула гребень от этого проходил сон.

Марья Николаевна нарезала хлеба для спавшего на постели Вани, налила в кружку молока, прикрыла всё это полотенцем, чтобы кошка не позавтракала раньше, чем сын проснётся. Потом припрятала в сундук спички, хлебный нож, шило — все опасные предметы, к которым Ваня в свои одинокие утра проявлял особый интерес, погрозила кошке пальцем, выжидающе поглядела на допивавшую молоко Настю.

— Пошли, что ли, — проговорила она.

— О господи, — со вздохом, по-старушечьи раздражённо, сказала Настя, хоть хлеб дайте дожевать. Стали вы бригадиром, так прямо спасения от вас нет.

Марья Николаевна подошла к двери, окинула взглядом комнату, вернулась, открыла сундук и, вынув оттуда кусок сахара, положила его под полотенце, где лежал приготовленный для Вани завтрак.

— Ну, чего надулась? — сказала она дочери, не поглядев на неё, но уж зная, что Настя обиделась: — Ты-то не маленькая, обойдёшься.

Когда они вышли на двор, Марья Николаевна, глядя на дорогу, негромко проговорила:

— Полгода сегодня, как отец наш ушёл.

Настя, видимо поняв ход материнских мыслей, скачала:

— Да я разве жалею сахар для Вани, пусть ест, мне-то что, я сахара и не люблю совсем.

Хорошо шагать после душной избы по непыльной, смоченной холодной росой дороге, поглядывать на милые с детства картины, разминая в ходьбе вчерашнюю затаившуюся в теле усталость, растворяя в ходьбе не прошедший ещё сон.

Как хороша была густая, подвижная, шелковистая зелень озимой пшеницы, освещённая косыми лучами раннего сентябрьского солнца; она шевелилась от прохладного восточного ветра, и казалось, это огромное живое и молодое существо легонько дышало, проверяя свою силу, радуясь жизни, свету, незлой прохладе воздуха. Нежные перья всходов пропускали через себя косые солнечные лучи и становились полупрозрачными. Зеленоватый свет переливался и мерцал над всем полем...

Сколько нежной, ребячьей, несмелой прелести было в каждом вершковом растении и какая упрямая, могучая сила чувствовалась в беловатом, толстом, прямом, стрелкой брошенном стебельке, сколько тяжёлой, чёрной работы проделали они, чтобы пробиться сквозь землю, раздвинуть зелёным плечиком комья земли, для них подобные тяжёлым глыбам гранита.

И в утренней зелёной прелести озими, в её промытой чистоте, в её ребячьей молодости всё казалось противоположно печали осенних полей, побуревшей траве, поплёкшим красным и жёлтым листьям осин и берёз, эта сияющая пронзительная зелень была единственно молодой, начинающей жизнь в увядающем осеннем мире прохладного воздуха, безжизненных, седых нитей бабьего лета, холодных, таящих в себе рассыпчатую белизну снега, облачков, кое-где плывущих в голубой пустоте небосвода. Разве могла с её молодостью сравниться задымленная пыльная зелень угрюмых старых елей, протянувших над просёлком свои тяжёлые ветви-ласты.

И всё же эта сентябрьская озимь, дружно и широко взошедшая на поле, чем-то да отличалась от беспечной молодости цветущих весенних садов и лугов. В её плотном строе, в её тугой густоте была не только весёлая молодость, была готовность вскоре, ещё не повзрослев, встретить суровость зимних метелей, была насторожённость, серьёзность.

В этой сомкнутой, упругой, плечо к плечу стоявшей дружине ощущалась приготовленность к трудной судьбе, упрямая, крепкая силёнка. И когда зазевавшееся облачко набежало на солнце и широкая тень бесшумно поплыла по скошенным и нескошенным полям и вдруг пошла по озимым всходам, они стали не то что тёмнозелёными, а почти чёрными, хмурыми, и вся их серьёзная, насторожённая сила сделалась особо очевидна.

А люди, работавшие в этот ранний час в поле, ощущали не только пустоту осеннего пространства и прохладу ветра, вещающую близость зимы, — они ощущали и печаль военной поры.

Девушки-подростки, женщины и старухи, повязанные платочками, жали серпами пшеницу, а по соседству на сжатом уже поле старики укладывали просохшие снопы на подводы, покрикивали на помогавших им мальчишек...

Казалось, миром и покоем была полна эта картина уборки хлеба под нежарким, утренним солнцем, под ясным простором осеннего неба.

Привычно шумела на гумне молотилка, негромко шуршало дышащее холодком скользкое веское зерно, оживлённо выглядели потные лица девушек, такими знакомыми и обычными были и серо-голубой пыльный туман, и душный, сухой запах, шедший от нагретых снопов, и перламутровый блеск легчайших соломенных чешуек, вившихся в воздухе, и хруст соломы под ногами...

Но Марья Николаевна Вавилова видела, чувствовала, знала, что всё в этой, казавшейся мирной картине дышало войной. Женщины в мужских сапогах, старик в солдатских штанах и старой гимнастёрке, этот четырнадцатилетний подросток в выцветшей пилотке с тенью звёздочки, обозначенной на необгоревшей от солнца и мороза материи, два малыша в штанишках со шлейками, пошитых из старых маскировочных халатов в оливковых и черно-коричневых овалах, — всё это была солдатская родня: жены, матери и сестры, отцы и дети солдат. Эта одежда словно была знаком той постоянной связи, что продолжалась между народом в деревнях и народом на войне.

Ведь также в мирное время жена надевала иногда мужнин пиджак, а сын отцовские валенки, и ныне народ, ставший на работу войны, нет-нет да и делился своей одеждой с

семьей, когда на смену старому, поношенному, получал новое обмундирование.

И если б не война, разве было бы в поле и на молотье столько стариков и старух, многим из них уж давно пора отдыхать. И разве б работали паренки и девчонки, которым в эту пору надо сидеть за партой в шестых и седьмых классах, — это война отсрочила им на месяц начало школьных занятий... Не слышно гудения тракторов. Где грузовики, обычно выходявшие в эту пору в поле? Ушли грузовики и тракторы на войну...

И разве вместо лихого слесаря, механика Васи Белова, служившего сейчас башенным стрелком, стояла бы сейчас у молотилки семнадцатилетняя сестра его Клава, с тоненькой белой шейкой ребёнка, с неуверенными, коричневыми от машинного масла пальцами. Вот нахмурилась она и крикнула своему помощнику, седоусому старику Козлову:

— Дай-ка ключ, заснул, что ли...

И разве не потому, что война, Дегтярёва, та, что стояла часами у ворот, всё ждала писем от мужа и сыновей, разогнула сейчас спину, отёрла потный лоб, поглядела с тоской на сжатые колосья, бессильно и густо лежащие на земле.

Плачь, плачь, Дегтярёва, есть тебе о ком плакать.

Думала ли Марья Николаевна, что придётся ей в эти полгода, что прошли со дня ухода мужа на войну, принять на свои плечи такую большую заботу.

Сегодня, в это ясное осеннее утро представилось ей, вспомнилось прошедшее время.

Уходил муж на войну, и в этот час сердце её было полно тоски, боли, представлялась жизнь без хозяина в доме, мучила тревога, что ж с детьми, прокормлю ли, сумею ли...

А случилось, что не за одну свою семью, не за одних своих детей, не за свою избу и дрова для своей печи приняла она ответ...

С чего началось? То ли с собрания, когда она первый раз в жизни заговорила перед десятками людей и все слушали её, и она с внезапно пришедшей уверенностью и спокойствием, следя за выражением лиц, проверяла правду и вес своих слов.

То ли началось это в поле, где она жестоко, медленно произнося слова, отчитала председателя, пришедшего навести критику на работу женской бригады

Конечно, трудно, очень трудно было, но и себя она не жалела в работе — не найдётся человека, который мог бы её упрекнуть.

Старик Козлов подошёл к ней и сказал: насмешливо:

— Видишь, Вавилова, бригадир-бомбардир, были бы наши сыновья да младшие братья, были бы шофера да механики, тракторы да грузовики — к Покрову бы закончили и уборку и обмолот. А в вашей бабьей конторе шуму много, а что толку? Снег пойдёт, а вы всё ещё жать да молотить будете.

Марья Николаевна оглядела узкоглазого, кадыкастого Козлова, хотела сказать ему грубое слово, но сдержалась — он ведь сердился оттого, что приходится ему работать подручным у девчонки; ведь и старуха-жена вечером, стоя у ворот, встречает его насмешливо:

— Что, Клашкин кочегар, домой пришёл, отпустил тебя механик?

А когда однажды он стал придирается к жене и внукам, младшая девочка, косоглазая Люба, сказала ему обиженным басом:

— Ты, дедушка, не очень, а то мы Клаше на тебя пожалуемся.

И, подумав об этом всём, Марья Николаевна усмехнулась, негромко ответила:

— Что смогли, то сделали, больше не сумели.

А ведь сумели много. Вышел в горячее время из строя трактор, тракториста забрали в армию, прислали другого, раненого, он стал ремонтировать мотор, неловко повернул блок, понатужился излишне, у него открылась рана, — ну, что ж, вспашку не остановили, пахали на коровах, а были два дня — сами плуг таскали на себе.

Вот стоит озимая пшеница, засеяли, не пустует земля. Что ж, надо продолжать работу, а то и в самом деле снег ляжет на необмолоченный хлеб.

Привычной рукой захватывала Вавилова пшеницу, сжимала хрустящие стебли, пригибала их, гнула на серп, подрезала, кладя на землю. Её быстрые, одновременно скупые»

и щедрые, размеренные движения объединялись, сливались с шершавым шорохом зажатых в руке колосьев, и в голове, словно сопровождая этот однотонный печальный звук, всё повторялась и повторялась одна и та же мысль: «Ты сеял, а я вот жну, что ты посеял... ты сеял, ты, а я твой урожай собираю, ты посеял, ты...» И какая-то тихая и красивая печаль возникала в душе от ощущения связи, объединявшей её с человеком, пахавшим это поле, сеявшим эту пшеницу, шурша ложившуюся под её серпом на землю.

«Вернётся ли? Вот Алёша ведь долго не писал, а теперь присылает письма жив, слава богу, здоров. Будет и от Петра письмо. Вернётся! Вернётся он!»

Пшеница зашумела, зашептала, затревожилась и опять притихла, ждёт, задумалась.

А серп позванивает, шуршат колосья...

Солнце уже поднялось, припекает по-летнему затылок и шею... Даже под кофтой плечи чувствуют его тепло. Тоненьким сверлящим голосом зазвенела быстрая осенняя муха.

«Что ж, придёшь — спросишь. Я работала, не считала свою силу, со здоровьем не считалась. Настю, и ту не пожалела, никто не скажет, плакала даже, бедная, в другую бригаду просилась... С тобой честно жили и без тебя по-честному — я в глаза тебе прямо посмотрю...»

Серп тихонько позванивает, и искорка радости в душе вдруг разгорается, обжигает надеждой, верой в счастливую встречу.

И снова под шелест колосьев, зажатых в руке и падающих на землю, повторяется мысль: «Ты ведь, ты это поле засеял...»

Марья Николаевна, не разгибаясь, из-под руки поглядела на зеленевшую вдали озимь: «Вот придёшь, будешь косить то, что я сеяла». И вера в эту простую, естественную, прочную, прочней, чем жизнь и смерть, связь заполнила её всю. Кажется, жала бы так до вечера, те разогнувшись, и не почувствовала бы, что болит поясница, ломит плечи, в висках стучит кровь.

Кругом белеют платочки жней, поотстали от неё, вровень с ней только Дегтярёва идёт.

Ох, Дегтярёва, Дегтярёва, трудно тебе...

Вдруг ударил холодный ветер, снова зашумела, загудела пшеница, пригибаясь, заметались колосья, словно охваченные ужасом и тоской.

Она распрямилась, поглядела кругом — на сжатые и несжатые поля, на темневший вдали широкой полосой лес... Пронзительный серо-синий простор воздуха был прозрачен и холоден, и красота освещённых ярким солнцем полей и рощ не радовала душу теплом и покоем.

Люди филишкинского батальона уже никому не встретятся в жизни, все они погибли.

Погибшие люди — имена большинства их забыты — продолжали жить во время сталинградских боёв.

Они были одними из основателей сталинградской традиции, той, что передавалась без слов, от души к душе.

Трое суток слушали полки грохот битвы на вокзале, этот угрюмый гул сказал: солдатам правду предстоящего.

И когда, долгие недели спустя, люди из пополнения переправлялись ночью через Волгу, числом, а не по списку, тут же на берегу распределялись по полкам, и иногда этой же ночью погибали в бою, они в короткие свои сталинградские часы знали так же, как Хрущёв, Ерёменко, Чуйков, о законах Сталинграда и сражались по строгому закону, который вызрел в народном сознании и был провозглашён в сентябре погибшими на вокзале людьми.

Командир полка Елин донёс Родимцеву, что его батальон трое суток дрался в окружении, не отступил ни на шаг и погиб весь до последнего человека.

Елин не заметил, что в первом донесении три дня назад он назвал батальон «приданным накануне подразделением из хозяйства Матюшина», а в донесении о стойком сопротивлении и героической гибели батальона трижды написал «мой батальон».

За эти дни в Сталинград переправилась дивизия полковника Горишного и стала на правом фланге у Родимцева Один из полков Родимцева был передан Горишному и

участвовал в атаке его дивизии на высоту 102 — Мамаев Курган.

Сперва действия этого полка не были удачны, он нёс потери и не продвигался вперёд, и Горишный сердился на его командира и говорил, что полк недостаточно подготовлен к наступательным боям в сложных городских условиях.

— Вечная беда: передадут в последнюю минуту полк — и отвечай за него, сказал: Горишному его начальник штаба.

Горишный — высокий, полнотелый человек с протяжным украинским выговором, спокойный и медлительный, снедаемый тоской по пропавшим без вести родным, — в этот же день говорил начальнику штаба:

— Разве с полком на эту высоту вот так лезть, тут не полком, а корпусом не прорвать, такое пекло.

А в трубе, где размещался штаб Родимцева, начальник штаба Бельский сказал: своему командиру:

— Потери большие в полку у Горишного, и с артиллерией взаимодействия не налажил.

Но в штабах обеих дивизий не знали, что именно в эту минуту полк под ураганным огнём поднялся в атаку и вырвался на гребень высоты 102.

В ту пору мало кого занимал вопрос о подчинённых или переподчинённых подразделениях и какими подразделениями, переподчинёнными или подчинёнными, был достигнут успех.

Да и сам спор честолюбия занимал ничтожное место в вскипевшем по несколько раз в сутки огромном котле Сталинградской битвы.

Этот котёл поглощал все душевные силы командиров дивизий и полков, всю их волю, всё их время, весь их разум, а часто и жизнь.

И лишь потом, в конце ноября — в начале декабря, когда всепоглощающее напряжение душевных сил несколько прошло, стали за обедом и ужином судить да рядить, кому досталось больше немецкого железа и огня, чей рубеж был важнее, кто отступил на метр, а кто не отступил ни на метр, чей отрезанный «пяточок» был меньше, гороховский или людниковский, кому и на какой срок был переподчинён или подчинён тот или иной полк, батальон.

Вспоминали и о первых атаках на высоту 102 и заспорили, кто в сентябре занял знаменитый курган.

В родимцевской дивизии справедливо считали, что успех достался родимцевскому полку.

Соседи резонно считали, что высоту 102 заняла дивизия Горишного, которой в этот час был переподчинён полк 13-й гвардейской дивизии.

Но тем, кто занял Мамаев Курган, и без спора было ясно, они-то и заняли, ведь, кроме них, и не было никого на гребне высоты. Молчали мёртвые, а их было немало, и каждый из них мог бы сказать слово в этом споре. Но спорщики делили славу между живыми.

Часто, особенно после войны, приходилось слышать ещё один спор участников Сталинградского сражения. Те, кто был в Сталинграде, утверждали, что главный успех обороны достигнут сталинградской штурмовой пехотой, гранатомётчиками, пулемётчиками, снайперами, сапёрами и миномётчиками. Артиллерия, конечно, поддерживала их, говорили они, но случалось, запаздывала, была не всегда точно, а иногда даже накрывала своих, не она решила исход обороны.

Те, кто был в Заволжье, утверждали, что пехота при всём своём мужестве не смогла бы отбить чудовищный натиск главных сил немецкой армии, что особенно к концу обороны пехота истоцилась и лишь обозначала передний край, а натиск фашистских дивизий был остановлен и отбит мощью организованной артиллерии.

Волга, лёгшая между пехотой Сталинграда и артиллерией Заволжья, Волга, отделившая резкой и глубокой чертой пехоту от пушек, создала мнимую значительность этого спора. Он возникал и на других этапах войны, но там отсутствие резкой черты не давало возможности прочно обосновать его. Здесь, по одну сторону широкой реки, находилась пехота, снайперы,

автоматчики, петееровцы, лёгкая полковая артиллерия, батальонные и ротные миномёты, сапёры с минами и толлом; по другую сторону реки находились сотни дивизионных пушек, гаубицы, тяжёлая и тяжелейшая артиллерия резерва Главного Командования, дивизионы и полки тяжёлых миномётов, полки сокрушительной реактивной артиллерии.

Здесь вырос левобережный огнедышащий город, сведённый в дивизионы, полки, дивизии, армейские и фронтовые артиллерийские группы, здесь орудия стояли так густо, что командиры батарей спорили между собой из-за места среди лозняка, из-за нескольких аршин песчаной земли.

Здесь вырос стальной лес зенитной артиллерии. Здесь в заводах маскировались бронированные суда волжской военной флотилии, вооружённые морскими орудиями.

Здесь возникли аэродромы истребительной авиации, и сотни «яков», «лагов» устремлялись отсюда через Волгу. Отсюда летали на бомбежки немецких тылов и коммуникаций «петляковы» и, ревя, поднимались в ночное небо тяжеловесные «ТБ-3».

Именно здесь была достигнута поразительная концентрация и централизация всей мощной техники современной войны. Здесь после радиодонесения о начавшейся атаке немецких дивизий, по короткому молниеносному приказу командования:

«огонь по указанному квадрату», весь огнедышащий город в течение нескольких секунд оживал и рушил тысячи снарядов на квадрат, обозначенный одним и тем же номером на картах командиров артиллерийских, миномётных и эрэсовских полков, поднимал на вздох и вдалбливал в землю всё живое и неживое, что находилось на этом участке.

Волга не разъединяла оба крыла Сталинградского сражения. Зримость резкой и глубокой черты была кажущейся, это не была разделительная черта, а наоборот, линия спайки. Волга не разъединяла, а соединяла терпение и мужество правого берега с артиллерийской мощью левого.

Не будь мужества пехоты, напрасна была бы чудовищная сила артиллерии на левом берегу. Артиллерия смогла проявить всю свою мощь, всю быстроту сосредоточения своего огня оттого, что пехота держалась в Сталинграде.

Но бесспорно и то, что пехота смогла держаться потому, что щит артиллерии заслонял её во время атак немецких пехотных и танковых дивизий. Без заволжской поддержки борьба сталинградских дивизий привела бы их к трагической гибели, ибо при отсутствии этой поддержки они бы не захотели отступить. Главная суть этих боёв и была в том, что боевая, духовная сила сталинградской пехоты слилась воедино с возросшей материальной мощью.

В середине сентября немцы подвергли артиллерийскому обстрелу Сталпрэс.

Это произошло в часы работы станции — в прозрачном воздухе ясно были видны белые клубы пара над котельной и дымок, поднимавшийся из трубы.

Когда первые снаряды из 103-миллиметровых орудий стали рваться на станционном дворе, в градирнях, а один из снарядов прошиб стену машинного зала, из котельной запросили, следует ли прекращать работу. Директор Сталгрэса Спиридонов, находившийся в это время у главного щита, приказал продолжать подачу мазута. Станция обслуживала ток Бекетовку, командный пункт и узел связи 64-й армии, производила зарядку аккумуляторов, снабжала энергией фронтовые рации, да кроме того, ток нужен был для ремонта танков и «катуш», налаженного в мастерских Сталгрэса.

Одновременно Спиридонов позвонил дочери в здание конторы и сказал: ей:

— Вера, немедленно отправляйся в подземное убежище. Вера голосом, очень напоминавшим директорский голос отца, ответила:

— Глупости, никуда я не отправлюсь, — и добавила: — Суп скоро сварится, приходи обедать.

В этот день начался удивлявший даже сталинградских военных турнир упорства и мужества, затеянный инженерами и рабочими Сталгрэса против немецкой артиллерии и немецкой бомбардировочной авиации.

Едва над трубами Сталгрэса появлялся дымок — немецкие батареи открывали огонь. Снаряды крушили капитальные стены, иногда осколки со свистом летали по машинному и

турбинному залам. Выбитые стёкла дробились на каменном полу, а упрямый дымок, подрагивая, вился над станцией, точно посмеиваясь над немецкими орудиями. Правда, люди на станции не смеялись, смешно им не было, но всё же изо дня в день рабочие упрямо и трудолюбиво поднимали давление в котлах, зная, что этим они вызывают на себя огонь немецких тяжёлых батарей. Иногда рабочие, стоя у топок, у штурвалов, у распределительных щитов и у устройств, регулирующих уровень воды в котлах, видели, как на гребне окрестных холмов появлялись немецкие танки, двигаясь в сторону Обыдинской церкви. Бывали минуты, когда казалось, вот-вот танки прорвутся к Сталгрэсу, и тогда директор отдавал приказ держать наготове «ящики с туалетным мылом» — так окрестили электрики запасы тола, которым были заминированы главные агрегаты. Эти ящики испортили много крови тем, кто вспоминал о них в часы артиллерийских налётов: вдруг угодит снаряд, ворон костей не соберет!

Семьи инженеров и рабочих, оставшихся на Сталгрэсе, уехали за Волгу, и все люди, обслуживающие станцию, жили не на своих квартирах, а при станции, на военном положении. Это объединение привычного труда с холостой, солдатской жизнью, это соединение давно знакомых людей, знавших друг друга по цехам, по производственным совещаниям, партийным собраниям, заседаниям завкома, в новой, грозной, боевой обстановке, — соединение людей мирного труда под завывание немецких самолётов и разрывы немецких снарядов по-новому повернуло отношения и душевные связи.

Каждый человек, какое бы незаметное место он ни занимал, стал в новой сталинградской обстановке необычайно значителен для всех других людей, интерес к человеку не ограничивался работой, а расширялся, усложнялся, охватил десятки скрытых в обычных производственных отношениях особенностей характера.

В Сталинграде, где выяснилось, как хрупко и непрочно бытие человека, ценность человеческой личности обрисовалась во всей своей мощи.

Дружество и братское равенство, внимательная почтительность человека к человеку сказывались и проявлялись во многом — и в мелочах и в главном.

Парторг ЦК Николаев понимал напряжённость и тяжесть ответственности, лёгшей на его плечи. Но именно в эти раскалённые, трагические сентябрьские дни парторг ЦК мог с особым интересом говорить о том, что инженеру Капустинскому, больному язвой желудка, не следовало бы курить натошак; что монтер Суслов много пережил в жизни тяжёлого и что у него душа глубокая и добрая, что рядовой военизированной охраны Голидзе — человек вспыльчивый, но весёлый и отзывчивый, внимательный товарищ; что техник Парамонов, дежуривший на третьем этаже, хорошо знает художественную литературу и что ему следовало, может быть, учиться в гуманитарном вузе, а не заниматься трансформаторами; что у бухгалтера Касаткина несчастно сложилась личная жизнь и это наложило отпечаток на его рассуждения о семье и браке, а по существу он человек не злой, склонный к шутке и очень любит детей.

Именно в эти дни различие производственных профессий, различие возраста и общественного места, иногда мешающие тесному личному объединению людей, словно исчезли, и все работавшие на Сталгрэсе ощутили главные связи жизни человеческие связи — и были объединены в одну большую, дружную семью.

Иногда Степану Фёдоровичу казалось: не месяц, а годы прошли со дня гибели жены, столько произошло напряжённых событий, изменений, смертей, столько чрезвычайного напряжения душевных сил легло за это время на его душу. Каждый день, каждый час возникали острые, напряжённые положения, забывалось всё на свете, и казалось, что этот день и есть последний в жизни. А иногда вдруг мысль о жене, как пламя, обжигала его, и он вынимал из кармана фотографию Марии Николаевны и, потрясённый, не понимал, не верил» неужели её нет в живых, неужели никогда он не увидит её, неужели навсегда он остался одинок, не будет говорить с ней, советоваться, обсуждать поступки дочери, шутить, кипятиваться, спешить домой, чтобы увидеть её, гордиться её статьями в газете, приносить ей в подарок материю на платье, говорить: «Не сердись, подумаешь, какие траты большие»,

ходить с ней в театр и ворчать: «Маруся, опять мы опоздаем, придём после третьего звонка».

Здоровье Веры поправилось, следы ожога почти исчезли, только на скуле осталось небольшое розовое пятно, зрение же восстановилось полностью, и лишь при внимательном взгляде заметны были зарубцевавшиеся швы — следы операции в области века.

В эти дни у него установились с Верой особенные отношения, трогавшие и радовавшие его.

Степан Фёдорович не говорил с Верой о том, что он переживает, и она с ним почти никогда не разговаривала о матери, но человек, знавший обоих при жизни Марии Николаевны, сразу бы увидел, что именно в этом изменении отношений между отцом и дочерью и высказаны были их чувства.

Изменение это выразилось прежде всего в том, что Вера, всегда безразличная к домашним делам, насмешливо недоброжелательная к семейным разговорам о здоровье, отдыхе, питании, бытовом устройстве, стала необычайно внимательна и заботлива к отцу. Она постоянно и неотступно следила за тем, сыт ли он, вовремя ли пил чай, спит ли хоть сколько-нибудь ночью, стелила ему постель, готовила воду для умывания. Совершенно исчез у неё тот часто присущий детям по отношению к родителям тон обличительной насмешливости, внутренняя суть которого сводится к такой мысли: «Учить нас вы всегда рады, но вот смотрю — и в вас множество несовершенства, слабостей и грехов « Теперь, наоборот, она охотно замечала слабости Степана Фёдоровича и с товарищеской мудростью говорила ему «А ты выпей, папа, водки, ведь такой тяжёлый день был у тебя».

Ей всё стало казаться в нём хорошим, замечательным, она гордилась тем, что, несмотря на немецкие обстрелы, он приказывает не прекращать работу станции, а наряду с чертами душевной героической силы она открыла в нём совершенно новые черты — житейской беспомощности.

А Степан Фёдорович, чувствуя заботу и постоянное внимание дочери, незаметно для себя также изменил своё отношение к ней. Ещё недавно каждый поступок её вызывал у него отцовскую тревогу, она казалась ему неразумным ребёнком, готовым наделать множество ошибок, ложных шагов. А теперь он относился к ней, как к разумной и взрослой женщине, — спрашивал её совета, рассказывал о своих сомнениях и ошибках.

Жили они не в своей просторной квартире, а в маленькой комнатке в полуподвале станционной конторы, где стены были особенно толсты, окна выходили не на запад, откуда били немецкие пушки, а на восток, во внутренний двор электростанции.

Первые дни после пожара Спиридонов поселил Веру в нескольких километрах от станции, в домике одного из сотрудников сталгрэсовской бухгалтерии. Домик стоял в безопасном месте, почти над самой Волгой, вдали от заводских корпусов и шоссеиной дороги. Спиридонов упрашивал дочь не возвращаться на Сталгрэс, но Вера не послушала его. Отец часто возобновлял этот разговор — настаивал, чтобы Вера поехала к тётке в Казань. Эти настойчивые просьбы отца были приятны ей сладко и больно было вдруг вновь ощутить себя маленькой девочкой безвозвратно ушедшей мирной поры.

Иногда ей самой хотелось поехать в Казань к Людмиле Николаевне — увидеть бабушку, Надю, не слышать пальбы и взрывов, не просыпаться ночью, с ужасом вслушиваясь, не появились ли немцы, но что то в душе говорило ей в Казани будет ещё тяжелей. Казалось, что, уехав, она покинет погибшую мать, навеки потеряет надежду на встречу с Викторовым — он либо приедет на Сталгрэс, либо напишет письмо, либо с оказией через товарища командира передаст поклон.

Когда в небе появлялись советские истребители, сердце Веры замирало может быть, он?

Она просила отца дать ей работу на станции, но он боялся, что Вера попадет под немецкий обстрел, и всё оттягивал.

Она сказала ему, что если он не устроит её на работу, то она пойдёт в санчасть расположенной поблизости дивизии и попросится на передовую, в полковой медпункт, и Степан Фёдорович обещал через день-два определить Веру в один из цехов.

Однажды утром Вера пошла в опустевший дом инженерного персонала, поднялась на третий этаж, в брошенную квартиру с распахнутыми дверями и выбитыми окнами. Она вошла в комнату Марии Николаевны, присела на остов кровати с металлической сеткой, смотрела на стены, где остались светлые следы от картин, фотографий, ковра. Ей стало так невыносимо тяжело на душе от чувства сиротства, от мыслей о матери, от чувства вины за свою грубость с матерью в последние дни ее жизни, от синего неба, от грохота артиллерии, что она быстро поднялась и побежала вниз.

Вера прошла через площадь к сталгрэсовской проходной, и казалось, отец сейчас выйдет, обнимет её, скажет: «Вот хорошо, что пришла, тут с оказией письмецо с фронта для тебя прибыло». Но стоявший у входа боец военизированной охраны сказал: ей, что директор уехал на машине с каким-то майором в штаб армии. И треугольного письмеца для неё не было...

Она прошла через проходную во двор Сталгрэса к главному зданию, навстречу шел парторг ЦК Николаев, светловолосый человек в солдатской гимнастёрке и рабочей кепке.

— Верочка, Степан Фёдорович еще не приехал? — спросил Николаев.

— Не приехал, — сказала Вера и спросила — Случилось что-нибудь?

Но Николаев успокоил её:

— Нет, нет, всё в порядке, — и, указав на дымок, поднимавшийся над станцией, наставительно добавил: — Вера, нет дыма без огня, не гуляйте по двору, сейчас немцы стрелять начнут.

— Ну и что ж, пусть, я не боюсь обстрела, — ответила она. Николаев взял её под руку и полушутя-полусердито сказал:

— Пойдем, пойдём, в отсутствие директора отцовские обязанности и отцовская ответственность ложатся на меня. — Он повёл её к станционной конторе и у двери остановился, спросил: — Что это у вас на душе, я по глазам вижу, мучит вас.

Она не ответила на его вопрос и проговорила:

— Хочу начать работать.

— Это само собой. Но такие глаза не от отсутствия работы.

— Сергей Афанасьевич, неужели вы не понимаете, — оказала печальным голосом Вера, — вы ведь знаете.

— Знаю, конечно, знаю, — сказал: он, — но мне кажется, что не только это. Растерянность, что ли, у вас какая-то?

— Растерянность: — переспросила она — Вы ошибаетесь, никакой растерянности я не чувствую и никогда не буду чувствовать.

В это время протяжно засвистел снаряд и с восточной стороны станционного двора послышался звенящий звук разрыва.

Николаев поспешно пошёл к котельной, а Вера осталась стоять у входа в контору, и ей казалось, что станционный двор во время обстрела весь вдруг изменился. И всё в нём: земля, железо, стены цеховых строений — стали такими же, как души людей напряжёнными, нахмуренными.

Поздно вечером вернулся Степан Фёдорович.

— Вера! — громко оказал он. — Ты не спишь ещё? Я гостя привёз к нам дорогого:

Она стремительно выбежала в коридор, ей на мгновение показалось, что рядом с отцом стоит Виктор.

— Здравствуйте, Верочка, — сказал: кто-то из полутьмы.

— Здравствуйте, — медленно ответила она, стараясь вспомнить, чей это знакомый голос, и вспомнила это был Андреев.

— Павел Андреевич, заходите, заходите, как я рада! — говорила она, и в голосе её слышались слезы, столько волнения, разочарования пережила она за это короткое мгновение.

Степан Фёдорович возбуждённым голосом стал рассказывать, как встретился с Андреевым, — тот шёл от переправы к Сталгрэсу по шоссе, и Спиридонов узнал его, остановил автомобиль.

— Неукротимый старик, — говорил Степан Фёдорович, — ты подумай, Вера. Два дня назад рабочих перевезли с завода на левый берег, под немецким пулемётным огнём переправляли, отправили в Ленинск, а он не поехал, а ведь жена, и внук, и невестка в Ленинске. Пошёл пешком до Тумака, сел с бойцами в лодку и снова в Сталинград приехал.

— Работа у вас найдётся для меня, Степан Фёдорович? — спросил Андреев.

— Найдётся, найдётся, — ответил: Спиридонов, — приспособим, дела хватит. Вот неукротимый старик, и не похудел даже, и выбрит чисто.

— Боец один утром перед переправой брился и меня побрил. Как он вас тут, бомбит?

— Нет, больше артиллерией, как только дымить начнём — и он молотить начинает

— На заводах жутко бомбит, головы не подынешь.

Андреев смотрел, как Вера ставила на стол чайник, стаканы, и проговорил негромко

— Хозяйкой у вас стала Верочка. Спиридонов улыбнулся дочери и сказал:

— Вот всё воевал с ней, требовал, чтобы к родным в Казань поехала, но капитулировал, ничего с ней не поделаешь. Дай-ка ножик, я хлеба нарежу.

— Помните, Павел Андреевич, как папа пирог делил? — спросила Вера и подумала: говорил он уже с папой о смерти мамы?

— Ну как же, помню, — кивнул головой Андреев и добавил: — Тут у меня в мешке хлеб белый есть, почерствел, надо его покушать — Он развязал мешок, положил на стол хлеб и со вздохом сказал: — Довёл нас фашист до края, но мы его согнём, Степан Фёдорович, вот увидите, согнём.

— Вы снимите ватник, у нас тепло здесь, — сказала Вера. — Знаете, бабушкин дом сгорел дотла.

— Я слышал. И мой домик на второй день налёта немец начисто снёс, тяжёлая бомба прямым попаданием — и деревца сокрушил в саду, и забор снесло... Вот всё имущество в мешке, да ничего, голова ещё не седая... — Он улыбнулся и добавил: — Хорошо, что Варвару Александровну свою не послушал, она меня уговаривала на завод не ходить, квартиру стеречь, в доме бы меня эта бомба и похоронила.

Вера налила чай в стаканы, придвинула стулья к столу.

— А я ведь про вашего Серёжу слышал, — сказал: Андреев.

— Что? Что? — одновременно спросили отец и дочь.

— Как же это я забыл: Раненый один ополченец с завода со мной переправлялся через Волгу — он с моим другом Поляковым, плотником, в миномётной батарее вместе воевал, вот я и спрашивал, кто ещё вместе с ними. Он перечислил и назвал, Серёжка Шапошников, городской парнишка, он, ваш, словом.

— Ну и что же наш Серёжка? — нетерпеливо спросила Вера.

— Ничего. Жив, здоров. Так про него специально не рассказывал, только сказал: боевой паренёк и очень с Поляковым подружился, так что смеялись даже на батарее — старый и малый всегда вместе.

— А где они теперь, где батарея их? — спросил Степан Фёдорович.

— Он рассказывал так: сперва в степи стояли, там первый бой приняли, потом под Мамаевым Курганом, а в последнее время отступили в посёлок заводской «Баррикады», в доме позицию заняли, прямо из подвалов бьют, стены, говорит, такие в этом доме, что их бомбы не прошибают.

— Ну, а Серёжа, Серёжа-то? Как он выглядит, как идет, как настроен, что говорит? — спросила Вера.

— Не знаю, что говорит, а одежда у всех одна, красноармейская.

— Да, конечно, это я глупости спрашиваю, но значит, совершенно здоров, не ранен, не контужен, ничего?

— Вот это он сказал: жив, здоров, не ранен, не контужен.

— Ну, вы ещё раз повторите, Павел Андреевич значит боевой парень, так он сказал:, с Поляковым дружит, не ранен, не контужен. Ну, повторите, пожалуйста, очень прошу вас, Павел Андреевич, — волнуясь, говорила Вера.

И Андреев, улыбаясь, медленно, растягивая слова, чтобы рассказ получился подлинней, снова повторил всё то, что слышал от раненого ополченца о Серёже.

— Вот бы бабушке поскорей сообщить, она, верно, ночи не спит, о нём тревожится, — сказала Вера и подумала: конечно, они уже говорили о маме.

— Я попытаюсь, попрошу в штабе армии, может быть, удастся телеграмму дать в Казань, — сказал: Степан Фёдорович.

Он достал из ящика письменного стола флягу и налил две большие рюмки себе и Андрееву, а третью, поменьше — Вере

— Я не буду, — быстро и решительно сказала Вера.

— Что ты, Вера, за встречу, — оказал отец, — полрюмки хотя бы

— Нет, нет, не хочу, то есть не могу.

— Вот всё меняется, — сказал: Спиридонов, — девчонкой была — самое большое удовольствие на именинах рюмку вина выпить: смеялись, говорили «пьяницей будет» А тут вдруг не хочу, то есть не могу.

— Как я рада Серёжа жив, здоров: — сказала Вера

— Ну что же, давай, Павел Андреевич, — сказал: Спиридонов и посмотрел на часы -А то мне на станцию нужно.

Андреев встал, взял рюмку своей большой, недрожащей рукой.

— Вечная память Марии Николаевне, — громко произнёс он.

Степан Фёдорович и Вера поднялись, глядя на суровое и торжественное лицо старика...

Андреев, несмотря на уговоры, не захотел остаться ночевать в комнате у Спиридонова и устроился на ночь в общежитии военизированной охраны. Степан Фёдорович на первое время предложил ему дежурить в проходной, проверять проходящих на станцию, выписывать пропуска.

Степан Фёдорович вернулся домой поздно ночью, на цыпочках подошёл к своей постели.

— Я не сплю, — сказала Вера, — можешь зажечь свет.

— Нет, не нужно, я отдохну часок, раздеваться не буду, под утро опять пойду на станцию.

— Ну, как сегодня?

— В стену котельной снаряд попал, а два во дворе разорвались, в турбинном зале несколько стёкол вышибло.

— Никого не ранило?

— Нет. Ты почему не спишь?

— Не хочется, не могу. Душно очень.

— Мне в штабе сказали опять немцы продвинулись к Купоросной балке, надо тебе уезжать, Вера, надо. Боюсь за тебя. Ты одна теперь у меня. Я перед мамой за тебя отвечаю.

— Ты ведь знаешь, я не поеду, зачем говорить об этом. Они некоторое время молчали, оба глядели в темноту, отец, чувствуя, что дочь не спит, она, чувствуя, что отец не засыпает, думает о ней.

— Чего ты вздыхаешь? — спросил Степан Фёдорович.

— Я рада, что Павел Андреевич к нам пришёл, — сказала Вера, не отвечая на вопрос отца.

— Меня сейчас Николаев спрашивает: «Что это с Верочкой нашей? Что с ней творится?» Ты о лёгчике своём волнуешься?

— Ничего со мной не творится.

— Нет, нет, я и не спрашиваю.

Они снова замолчали, и опять отец чувствовал, что дочь не спит, лежит с открытыми глазами.

— Папа, — вдруг громко сказала Вера, — я должна тебе сказать одну вещь. Он сел на постели.

— Слушаю, дочка

— Папа, у меня будет маленький ребёнок.
Он встал, прошёлся по комнате, покашлял, сказал:
— Ну что ж.
— Не зажигай, пожалуйста, свет,
— Нет, нет, я не зажигаю, — он подошёл к окну, отодвинул маскировку и проговорил:
— Вот это да, я даже растерялся.
— Что ж ты молчишь, ты сердисься?
— Когда ребёнок будет?
— Не скоро, зимой.
— Да-а-а, — протяжно проговорил Степан Фёдорович, — давай выйдем на двор, душно действительно.
— Хорошо, я оденусь. Иди, иди, папа, я сейчас приду, оденусь.

Степан Фёдорович вышел на станционный двор. Стояла прохладная, безлунная, звёздная ночь, в темноте светлели большие белые изоляторы высоковольтных кабелей, идущих к трансформатору. В сумрачном просвете между станционными постройками виден был тёмный, мёртвый город. Далеко на севере, со стороны заводов, время от времени мерцали белые зарницы артиллерийских и миномётных залпов. Вдруг широкий неясный свет вспыхнул над тёмными улицами и домами Сталинграда, казалось, сонно взмахнула розовым крылом огромная птица — то, видимо, взорвалась тяжёлая бомба, сброшенная ночным бомбардировщиком.

В небе, полном звуков, движения, мерцающих зелёных и красных нитей трассирующих снарядов, в той непостижимой, непонятной человеку высоте, которая одновременно объединяет в себе высоту, и ужасную глубину бездны, светили осенние звёзды.

Степан Фёдорович услышал за спиной лёгкие шаги дочери, она остановилась возле него, и он ощутил на себе её напряжённый, спрашивающий и ожидающий взгляд.

Быстро повернувшись к Вере, он всматривался в её лицо, потрясённый глубиной и силой охватившего его чувства. В её печальном, похудевшем личике, в её тёмных, пристально глядевших на него глазах была не только слабость беспомощного существа, ребёнка, ждущего отцовского слова, в ней была и сила, та удивительная и прекрасная сила, которая торжествовала над смертью, бушевавшей на земле и в небе.

Степан Фёдорович обнял худенькие плечи Веры и сказал:

— Не бойся, доченька, маленькому не дадим пропасть.

Две недели шли бои на южной окраине и в центре города 18 сентября 62-я армия по приказу Ерёменко контратаковала немцев, чтобы сорвать переброску немецких войск на север. Одновременно наступали наши войска, расположенные северо-западнее Сталинграда.

Оба эти наступления успеха не имели, северный клин немцев, по-прежнему упираясь в Волгу, разделял фронты.

21 сентября немцы силами пяти дивизий — двух пехотных, двух танковых и одной мотодивизии — атаковали центр города. Главный удар пришёлся по дивизии Родимцева и двум стрелковым бригадам. 22 сентября бои в центре города достигли высшего напряжения. Дивизия Родимцева отбила двенадцать атак, но всё же немцы потеснили её и заняли центр Сталинграда. Родимцев ввёл в бой свой резерв и удачной контратакой заставил немцев несколько отступить. С этого дня 13-я гвардейская дивизия, оставив центр, прочно удерживала восточную часть города вдоль побережья Волги.

Эпицентр битвы медленно перемещался с юга на север, от городских улиц, где засел Родимцев, к заводам. В октябре вся мощь немецкого удара обрушилась на заводы.

А новые дивизии всё шли и шли в Сталинград. Следом за Родимцевым пришёл Горишный, за Горишным Батюк. Горишный стал вправо от Родимцева. Батюк стал вправо от Горишного; в их районе стал Соколовский. Дивизии Горишного и Батюка занимали оборону в центре у Мамаева Кургана, Мясокомбината, под напорными баками.

Влево от них, на юг, вниз по течению Волги, в центральной черте города осталась дивизия Родимцева. Вправо от центральных дивизий, на север, вверх по течению Волги, на

заводах заняли оборону новые части: дивизии Гурьева, Гуртьева, Желудёва, следом за ними пришёл Людников.

Ещё севернее, на крайнем правом фланге, стояли бригады полковников Горохова и Болвинова.

Плотность обороны всё увеличивалась, да так, что полнокровная дивизия обороняла один лишь завод. Гвардейская дивизия генерала Гурьева расположилась на «Красном Октябре»; стрелковая сибирская дивизия полковника Гуртьева — да заводе «Баррикады»; гвардейская дивизия генерала Желудёва — на «Сталинградском тракторном», туда же несколько позже пришла дивизия генерала Людникова.

Эти огромные массы войск пришли из-за Волги и заполнили оборону, расположенную в узкой полосе прибрежных городских строений и на заводах, прилегавших к Волге. Лишь в отдельных местах расстояние от переднего края обороны до волжской воды превышало тысячу — тысячу двести метров, в большинстве полоса обороны была шириной в триста — пятьсот метров.

Войска снабжались через Волгу, так как они были отрезаны от «большой земли» и с севера, где на фланге стоял Горохов, и с юга, где стоял Родимцев.

Северный немецкий клин отделял защитников Сталинграда от Донского фронта. Южный немецкий клин отделял сталинградцев от 64-й армии генерала Шумилова.

Войска были вооружены всеми видами лёгкого оружия, поворотливыми подвижными пушками и миномётами малых калибров, пулемётами, автоматами, обычными и снайперскими винтовками, ручными гранатами, противотанковыми гранатами, бутылками с горючей жидкостью. Сапёрные батальоны располагали большим количеством тола, противопехотных и противотанковых мин. Вся полоса обороны превратилась в единое инженерное сооружение, покрылась густой сетью окопов, ходов сообщений, блиндажей, землянок.

Эта прочная сеть, этот новый город окопов, подвалов, подземных туннелей и труб, водопроводных и канализационных колодцев, логов, оврагов, идущих к Волге, лестничных клеток, авиационных воронок — был густо населён военными людьми. В этом новом городе находился штаб армии, штабы дивизий, штабы многих десятков стрелковых и артиллерийских полков, десятков пехотных, сапёрных, инженерных, пулемётных, химических, медикосанитарных батальонов.

Все эти штабы были связаны с войсками и между собой телефонной связью, радиопередатчиками, системой посыльных и делегатов связи.

Штаб армии и штабы дивизии держали беспроволочную радиосвязь со штабом фронта, с тяжёлым оружием, расположенным на левом берегу Волги.

Электромагнитные волны, шедшие от радиопередатчиков к радиопередатчикам, выражали не только связь переднего края с глубиной Сталинградской обороны, простиравшейся далеко на восток, захватывающей не только огневые позиции артиллерии средних и тяжёлых калибров, не только аэродромы истребительной авиации, не только аэродромы бомбардировочной авиации, но и домы Магнитогорска, но и танковые заводы Челябинска, но и коксовые печи Кузнецка, но и колхозы и совхозы Урала и Сибири, но и военные базы и рыболовецкие промыслы тихоокеанского побережья.

Определились ритм и размеры Сталинградского сражения.

Размах битвы стал огромен. Это видели, чувствовали и те, кто имел не прямое участие к боям, — сотрудники тыловые учреждений и баз, железнодорожники, работники отдела снабжения горючим, питавшего бензином поток машин; работники артснабжения, доставлявшие на ДОПы агрономические количества снарядов, пожираемых тысячами пушек, миллионы патронов для винтовок, автоматов, противотанковых ружей, десятки тысяч ручных гранат и мин.

Мощь огня свидетельствовала о мощи моральной, духовной энергии, затрачиваемой на борьбу. Миллионы пудов снарядов, гранат, патронов находились в прямой связи с напряжением воли, трудом, самопожертвованием яростью, терпением тех сотен и тысяч

людей, которые потребляли эти горы стали и взрывчатки.

Размеры битвы ощущали жители заводских деревень в тридцати-сорока километрах от Волги зарево стояло в небе, грохот, то нарастая, то стихая, не прекращался днём и ночью.

Напряжение этой битвы передалось токарям, слесарям, наладчикам на заводах боеприпасов, железнодорожным грузчикам, диспетчерам, шахтёрам на рудниках, доменщикам и сталеварам.

Невидимая, но прочная связь установилась между яростным ритмом битвы и ритмом работы военной промышленности. Напряжение Сталинградской битвы ощущалось в газетных типографиях, в работе радио и телеграфа, оно ощущалось в сотнях и тысячах выходивших в стране газет, его ощущали в лесной глуши и на далёких полярных зимовках, его чувствовали старики, инвалиды и старухи-колхозницы, сельские школьники и знаменитые академики.

Напряжение этой битвы ощущали миллионы людей в Европе, Китае, Америке, оно стало определять мысли дипломатов и политиков в Токио и Анкаре, оно определяло ход тайных бесед Черчилля со своими советниками, оно определило дух воззваний и приказов, выходивших из Белого дома за подписью Рузвельта.

Напряжение Сталинградской битвы ощутили советские, польские, французские партизаны, военнопленные в страшных немецких лагерях, евреи в варшавском и белостокском гетто — огонь Сталинграда был для десятков миллионов людей подобен огню Прометея.

Пришёл грозный и радостный час человека.

Николай Крымов в конце сентября после расформирования бригады получил новое назначение — ему поручили делать доклады по политическим и международным вопросам и прикрепили к сталинградской армии.

Крымов поселился в Средней Ахтубе, пыльном городке, застроенном деревянными дощатыми домиками, где расположился отдел агитации и пропаганды фронтового политуправления.

Жизнь в Средней Ахтубе с первого же дня показалась ему скучной и пресной, и он стал усиленно готовиться к докладам, решив про себя побольше времени проводить в частях.

Вечером Крымова вызвали в политуправление, ему предстояла первая поездка в Сталинград.

С запада, со стороны Волги, раздавалось то нараставшее, то затихавшее грохотанье, ставшее привычным за эти дни; оно слышалось непрерывно — и в ясные утренние часы, и во мраке ночи, и в задумчивую пору заката. На серых дощатых стенах, на тёмных стёклах затемнённых окон мелькали блики сталинградского военного огня, на ночном слюдяном небе пробегали красные, бесшумные тени, а иногда яркое белое пламя, подобное короткой молнии, рождённой не небом, а человеком на земле, вдруг вызывало из тьмы холм, облепленный маленькими домиками, рощицу, подступавшую к плоскому берегу реки Ахтубы.

У ворот углового дома стояло несколько ахтубинских девушек; подросток лет четырнадцати негромко играл на гармонии. Две парочки, девушка с девушкой, танцевали, остальные молча наблюдали за танцующими, освещёнными неясным, мерцающим огнём. Что-то непередаваемое было в этом соединении отдалённого грохота битвы с негромкой, робкой музыкой, в этом смертном огне, освещающем кофточки, руки и светлые волосы девушек.

Крымов остановился, невольно забыв на несколько мгновений о своих делах. Какая горестная прелесть, какая непередаваемая печаль и поэзия были в этих негромких звуках гармошки, в сдержанных, задумчивых движениях танца! Это не было легкомысленное и эгоистичное веселье молодости!

Лица танцующих девушек, бледные в неясном свете далёкого огня, казались сосредоточенными и серьёзными. Они то и дело обращались в сторону Сталинграда, и в этих девичьих лицах выражалась и связь с теми парнями, что лили свою молодую кровь в

Сталинграде, и печаль одиночества, и робкая, но нерушимая надежда на встречу, и вера в свою молодую прелесть, в счастье, выражалась и горесть разлуки, и ещё что-то, настолько великое и простое, по-женски сильное и по-женски беспомощное, что уж не было ни слов, ни мысли, чтобы выразить это, — а лишь душа, сердце могли это выразить — растерянной улыбкой, вздохом... И Крымов, так много переживший и передумавший за год войны, смотрел, смотрел, забыв обо всём, на танцующих.

Готовясь к докладам, которые ему предстояло сделать перед командирами и бойцами 62-й армии, Крымов просмотрел вороха иностранных газет, присланных из Москвы. Слово «Сталинград» стояло в огромных шапках на первой полосе газет всего мира; оно заполняло сводки и передовые статьи, оно было в телеграммах, в заметках... Всюду — в Англии, в Австралии, в Китае, в Северной и Южной Америке, в Индии, в Мексике, на Шпицбергене, на острове Кубе, в Южной Африке, в Гренландии — люди говорили, писали, думали о Сталинграде. И школьницы, покупавшие карандаш и, тетрадки и промокательную бумагу со сталинградскими эмблемами, и старики, зашедшие выпить кружку пива в пивную, и домашние хозяйки, собиравшиеся у бакалейных и овощных лавок, под всеми широтами, на всех материках и островах земного шара — все судили и рядили о Сталинграде, судили и рядили о нём не потому, что было интересно или модно, ново говорить об этом, а потому, что Сталинград стал элементом жизни каждого человека на земле, потому, что мысль о Сталинграде вплелась в жизненную ткань, в каждодневный быт. в школьные занятия детей, в расчёт бюджета рабочих семей, в расчёт покупок картофеля и брюквы, в мысль о сегодняшнем и завтрашнем дне, в мысль о будущем, без которой трудно жить разумному человеку на земле.

Крымов делал выписки из иностранных сообщений о том, как дипломатические позиции нейтральных держав, как многозначительные речи, произносимые премьерами и военными министрами, как действие международных договоров определяются пламенем и громом Сталинграда. Он знал, что слово «Сталинград» появилось, написанное углём и рыжей охрой — чёрными и красными чернилами толпы, — на стенах домов, на стенах рабочих казарм, на стенах лагерных бараков в десятках оккупированных фашистами городов Европы, что это слово произносят партизаны и десантники в Брянских и Смоленских лесах, что это слово помнят солдаты Мао Цзэ-дуна, что оно будоражит умы и сердца, зажигает надежду и волю к борьбе в лагерях смерти, где, казалось, нет места надежде. Обо всём этом и ещё о многом знал Крымов, собираясь делать доклады в 62 и Сталинградской армии о всечеловеческом значении жестоких боёв, которые вели солдаты этой армии. Все это захватывало, волновало его, и, думая о предстоящих докладах, Крымов заранее, в душе предчувствовал сильные и суровые слова свои.

Но в эти минуты, слушая голос гармошки, глядя на девушек, по-пичужьи сбившихся в кучку у дощатой стены маленького ахтубинского дома, он испытал волнение, пережил чувство которое не выразить в словах.

В ту минуту, когда Крымов сел в кабину грузовой машины и, привычно примащиваясь, отодвинул на бок раздутую полевую сумку, мешавшую привалиться к спинке, он почувствовал, что сейчас начинается нечто новое, ещё не пережитое им за всё время войны, и ему придётся увидеть то, чего он не видел никогда.

И с этим чувством, совсем не лёгким и не радостным, он оглядел беспокоящее, нахмуренное лицо шофёра и сказал:, как говорил обычно Семёнову:

— Ну, что ж, поехали...

Вздыхнув, он подумал: «Нет Мостовского, нет Семёнова... Оба без вести, как в воду».

В небо всходила полная луна. Улица я городские домики были освещены тем сильным, ровным небелым светом, который столько раз пытались передать художники и поэты и который не удаётся, видимо, передать потому, что он неясен, странен не только в тех ощущениях, которые вызывает в человеке, но и в самом своём существе; в нём противоречие между силой жизни, всегда связанной с ощущением света, и силой смерти, выраженной в каменной холодности ночного небесного мертвеца...

Машина спустилась по довольно крутому спуску к скучной, похожей на канал, реке Ахтубе, проехала по понтонному мосту и, миновав тонкоствольную жидкую рощицу, вышла на широкую дорогу, идущую в сторону Красной Слободы.

Вдоль дороги стояли высокие щиты с надписями: «За Волгой земли для нас нет!», «Мы не сделаем ни шагу назад!», «Отстоим Сталинград!», щиты с перечислением подвигов красноармейцев, уничтожавших немецкие танки, самоходные орудия, штурмовую пехоту и штурмовую артиллерию.

Дорога лежала широкая, прямая, дорога, по которой прошли десятки и сотня тысяч людей. Стрелы-указатели, обведенные широкой чёрной полосой, указывали: «К Волге» «На Сталинград», «На 62-ю переправу». Не было а мире дороги прямой и проще, чище, суровой и тяжелее этой дороги.

Вот такой прямой, думал Крымов, она останется и в лунные послевоенные ночи, и повезут по ней люди на переправу зерно, арбузы, мануфактуру, повезут детишек в гости к сталинградским бабушкам. И Крымову захотелось разгадать чувства послевоенных путников, что поедут по этой дороге. Станут ли думать они о тех, что шли по дороге от Ахтубы до Волги в сентябрьские и октябрьские дни 1942 года? Может быть, и не станут думать, может быть, и не вспомнят. Но, боже мой! Почему же захватывает дыхание, почему кажется, что вечно уж будут холодеть от волнения руки у тех, кто глянет на эти ветлы и деревца... Да посмотрите: Вот здесь, здесь, по этой дороге шли они, шли батальоны, полки, дивизии, блестили на солнце винтовочные дула, блестили при луне воронёные стволы противотанковых ружей», погромыхивали миномёты.

И только осенние деревца, притихшие рощицы видели людей, оставивших за спиной родные дома, людей, идущих к переправе через Волгу, на горькую боевую землю.

Никто, никто не шел им навстречу; никто, никто не видел этих молодых и старых лиц, этих светлых и тёмных глаз, тысяч и тысяч людей, живших в городах и селах, в степях и лесах, у Чёрного моря и на склонах Алтая, в Москве, в дымном Кемерове и мрачной Воркуте...

Они шли, построенное в походные колонны, — молодые лейтенанты шагали по обочине дороги старшины, сержанты оглядывали ряды, батальонные и полковые командиры шагали в ногу с солдатами... пробежал, придерживая болтающуюся полевую сумку, адъютант лейтенантик передать приказание...

Какая тяжесть на сердце и какая сила, какая печаль, сколько живых трепещущих сердец, как пустынно кругом, и вся Россия следит за ними глазами.

Через пятьдесят — шестьдесят лет проедут под выходной день к Сталинграду из ахтубинской степи на полуторке с пением и шутками парни и девушки. Может быть, шофёр на минуту остановит машину, выйдет из кабины, чтобы продуть подачу или подлить в радиатор воды. И вдруг станет тихо в машине Что такое? Слово не ветер поднял пыль над дорогой, зашумел в высоких вершинах деревьев, словно вздохнула чья то грудь, словно слышен гул шагов Идут И тихо-тихо станет и никто не поймёт, почему так сжалось сердце, почему так тревожно глаза глядят на пустую, прямую дорогу.. Мысли ли то были, грёзы ли: И сегодняшние ощущения и мысли Крымова смешались, сплелись с течи чувствами и мыслями, с которыми, казалось ему, оглянется на прошедшее послевоенный путник.

«Скажи, отчего ты так плачешь: зачем так печально слушаешь повесть о битвах данаев, о Трое погибшей? Им для того ниспослали и смерть и погибельный жребий Боги, чтобы славную песней были они для потомков «

Может быть, через восемьсот, через тысячу восемьсот лет, когда не будет уж этих деревьев, не будет и этой дороги, и сама эта земля навек уснёт, прикрытая другой толсто и плотно нарощей на ней новой землей, и будет на этой новой земле жизнь, о которой нам не дано знать, и не станет сёл и городов, где жили потомки наших потомков, пройдёт по этим приволжским местам седой, неторопливый человек. Он остановится и подумает: «А ведь в этих самых местах когда-то были раскопки, где-то здесь шли к Волге оборонять Сталинград солдаты далёкой поры Великой революции, народных строек, грозных нашествий». И

вспомнится ему картинка из детской книжки учебника: идут по степи воины с простыми, добрыми, суровыми лицами в старинной одежде, в старинной обуви, с красными звёздочками на головных уборах. Старик остановится, прислушается... Что такое? Словно вздохнула чья-то грудь, словно слышен гул шагов... Идут... И не поймёт он почему так сжалось сердце...

Когда машина дошла до стоящих вразброс домиков хутора Бурковского, шофер свернул на узкую дорожку, идущую среди густого молодого леса.

— Бьёт день и ночь по главной дороге, поедem в обход! — сказал: он.

Выехав на плохую лесную дорогу, он не уменьшил, а, наоборот, увеличил скорость, и грузовик скрипел и кряхтел, подсакивая на корнях, пересекавших колею, либо попадая колесом в рытвину.

Грохот стрельбы становился всё сильнее, его уж не мог заглушить шум мотора. Ухо уверенно отличало сильные удары советских артиллерийских батарей от разрывов немецких снарядов и мин, да собственно даже не ухо, а человеческое нутро само определяло различие звуков. Спокойно и дружелюбно безразличные к близкому, оглушающему удару своих пушек, сердце, нервы вдруг при немецких разрывах напрягались, замирали, а мозг разбирался — недолёт или перелёт, снаряд или мина, да каков калибр, да не в вилку ли попала трясущаяся на лесном объезде машина.

Вскоре стало заметно, что лес сделался ниже, деревья, словно подстриженные огромными ножницами, стояли без ветвей, без листвы, не лес, а частокол, десятки тысяч воткнутых в землю палок, кольев, оглобель, жердей. Это наработала немецкая артиллерия, — десятки тысяч немецких снарядов, разрываясь, порождали миллионы гранатных осколков, шрапнельных пуль, которые обдирали кору, стригли листву, ветки и веточки заволжского леса. Он стоял прозрачный, просвечивающий и казался при лунном свете не живым лесом, а скелетом леса, недвижимым, недышащим. Видно было, как вспыхивали огни выстрелов, видны были навалы земли, полянки, расчищенные для огневых позиции, белели дощатые двери землянок, замаскированные грузовики стояли по грудь в земле, в открытых убежищах. И чем ближе к Волге, к шестьдесят второй переправе, тем большее напряжение чувствовали приближающиеся к ней люди и им казалось, что тревога возникла не в них, а растёт, увеличивается во всём окружающем мире — в трепете звёзд, в дрожании лунного света, в песчаной бледности земли, в немоте безлиственного леса.

Машина вдруг выехала на опушку леса, шофёр резко затормозил и, торопливо протягивая заранее подготовленные бумагу и карандаш, сказал:

— Подпишите мне путёвку, товарищ батальонный комиссар, я поеду.

Видимо, ему не хотелось лишнюю секунду оставаться на переправе. И он, действительно, лишней секунды не пробыл на переправе.

Крымов прошел несколько шагов и огляделся. Он увидел высокий земляной вал, под которым в естественной котловине были сложены штабеля дощатых ящиков со снарядами, бумажные хлебные мешки, груды консервов в деревянной тара, кипы зимнего обмундирования, увидел десятки людей, которые переносили эти ящики и мешки к длинному деревянному помосту.

Он увидел Волгу, блестящую при луне в узком просвете между окончанием земляного вала и густыми зарослями прибрежных ветел. Он подошёл к красноармейцу-регулирующему в спросил:

— Где тут расположен комендант переправы? В это время со стороны леса сверкнул огонь и раздалась сильные взрывы. Красноармеец, повернув к Крымову своё большое немолодое лицо, переждав грохот, ответил:

— Вон под теми деревцами, где часовой стоит, земляночка, — и дружелюбно спросил:

— В Сталинград, товарищ командир?

Новые разрывы, показавшиеся ещё более сокрушительными, оглушающе ударили справа, слева, за спиной.

Крымов оглянулся — никто не ложился, не бежал, люди под земляным валом

продолжали своё дело, красноармеец, стоявший рядом, не оглянулся даже, ожидая ответа. И, подчиняясь его спокойствию, Крымов также неторопливо и дружелюбно проговорил:

— Да, в Сталинград. Тут уж обо мне звонили по телефону.

— Должно быть, на моторке пойдёте, — скачал красноармеец, — баржу сегодня не погонят. Очень уж ясная ночь, хоть иголки собирать.

Крымов пошёл к землянке коменданта, и, пока он шёл к ней, в воздухе свистели и подвывали снаряды, перелетавшие над головой, в лесу слышались разрывы, внезапно густой дым метнулся меж деревьев и всё кругом захрустело, затрещало, покатаюсь, что мохнатый дымовой медведь встал на дыбы, заревел, завертелся, стал крушить деревца. А люди продолжали своё дело, точно их все это не касалось, точно жизнь их не была хрупка и не могла оборваться вдруг, как стеклянная ниточка.

И Крымов, ещё не понимая своего нового чувства, не понимая возвышенного настроения, которое постепенно захватывало его, не сознавая до конца своего удивления перед деловитой и благородной величавостью движений, походки, речи встреченных им людей, жадно, радостно, напряжённо всматривался, сравнивал.

Вот с этим хмурым, всю дорогу курившим шофёром, круто развернувшим грузовик и нажавшим на железку, чтобы поскорей удрать от переправы, казалось прекратились люди, которых он нередко встречал всё это время.. Тревожные, быстрые взоры, внезапный смешок, внезапное молчание, а иногда крикливая грубость, прикрывающая растерянность... Сутулящиеся плечи усталых людей, идущих по пыльным грейдерам, сорок первого года, расширенные глаза, всматривающиеся в небо, — не летит ли гад? — хриплый, замученный лейтенант с пистолетом в руке, комендант донской переправы... Разговоры: «он пошел», «он пустил ракету», «он сбросил десант», «он перерезал дорогу», «он взял в окружение». Разговоры о клиньях, о танковых клещах, о мощи немецкой авиации, о приказах немецких генералов, где предусмотрен и день и час падения Москвы, и каждодневная чистка зубов солдатами па марше, и питьё на стоянках газированной воды.

Потом он часто вспомнит первый свой взгляд на работающих при лунном свете солдат шестьдесят второй переправы.

Крымов вошел в землянку, сотрясаемую разрывами. Широкогрудый, видимо, обладающий большой физической силой, белокурый человек в меховой безрукавке, сидевший на беленьком, новеньком табурете, за беленьким, новым столиком, представился ему:

— Перминов, комиссар шестьдесят второй переправы. Он пригласил Крымова сесть и сказал:, что баржа в эту ночь не пойдет и Крымов вместе с двумя командирами, которые вскоре приедут из штаба фронта, отправится в Сталинград на моторке.

— Чайку не хотите ли? — спросил он и, подойдя к железной печурке, снял с неё сверкающий белый чайник

Крымов, попивая чай, расспрашивал комиссара о работе на переправе

Перминов, отставив в сторону маленькую чернильницу и отодвинув от себя несколько листов разграфлённой бумаги, видимо, подготовленной для писания отчёта, отвечал немногословно, но охотно.

Он с первых же мгновений разглядел в Крымове бывалого, боевого человека, и потому беседа их шла легко и немногословно.

— Закопались основательно? — спросил Крымов.

— Устроились ничего. Своя хлебопекарня. Банька не плохая. Кухня налажена. Всё в земле, конечно.

— Как немец, авиацией главным образом?

— Днем обрабатывает Скрипуны Ю-семьдесят семь, эти да, вредны, а двухмоторные, знаете, кидают без толку. Большею частью в Волгу. Конечно, днём ходить у нас невозможно. Пашут.

— Волнами?

— Всяко. И одиночные, и волнами. Словом, от рассвета до заката. Днем проводим

беседы, читки. Отдыхаем. А немец пашет.

И Перминов снисходительно махнул рукой в сторону непродуительно пашущих в небесах немцев.

— Ну, а ночь напролёт — арминогнём, слышите?

— Средними калибрами?

— Большой частью, но бывает и двести десять. А то вдруг сто три запустит. Стараются, ничего не скажешь, всюю. Но толку нет. Мы свой промфинплан выполняем. Ничего он сделать не может. Бывают, конечно, случаи — не доходят баржи.

— Процент потерь большой?

— Только от прямых попаданий, — закопались мы хорошо. Вот вчера кухню разнёс — сто килограмм запустил.

Он перегнулся через стол и сказал, несколько понизив голос, как человек, желающий погордиться своей хорошей дружной семьёй перед близким знакомым.

— Люди удивительные у меня, спокойные до того, что бывает, сам не понимаю — что такое? Большой частью волгари, ярославцы, народ в годах, сами знаете, сапёры: лет под сорок большей частью. Работают под огнём — точно у себя в деревне школу строят. Мы тут штурмовой мостик делали, на Сарпинский остров его заводили. Ну, знаете немцев, конечно, — я он снова усмехнулся и махнул рукой в сторону Волги, — заметили, что мы плотничаем, и открыли ураганный огонь. А сапёры работают. Надо бы вам посмотреть, товарищ комиссар! Удивительно даже: Не торопясь, подумает, закурит. Как для строительной выставки. Без халтуры, без спешки. Стоит один сапёр, подобрал брёвнышко, сощурился, примерился, нет, покачал головой, откатил, подобрал второе, вынул верёвочку — померил, пометил ногтем, стал обтёсывать. А кругом, боже мой, ну, накрыли весь квадрат сосредоточенным, сами знаете.

Он, словно сокрушаясь, покачал головой, а затем, вдруг спохватившись, проговорил:

— Да мне, да нам что особенно рассуждать: мы шестьдесят вторая переправа, вроде курорта. Вот в Сталинграде, там уж, действительно, война! И сапёры постоянно говорят:

«Нам что, вот в Сталинграде, там, действительно, война...»

Вскоре приехали командиры, которым предстояла переправа в Сталинград подполковник и капитан. В третьем часу ночи пришёл дежурный сержант и сказал, что моторка готова, ждёт пассажиров. Вместе с ним зашёл молодой, высокий красноармеец, держа в руках два больших термоса, и попросил у Перминова разрешения переправиться на тот берег.

— Нашу лодку потопили в десятом часу, а я командиру молоко везу свежее, ему доктор прописал. Через день возим.

— Из какой вы дивизии: — спросил Перминов.

— Тринадцатой гвардейской, — ответил: красноармеец и покраснел от гордости.

— Езжайте, можно, — сказал: Перминов: — А каким образом лодку потопили?

— Светлая уж очень ночь, товарищ комиссар, луна полная. На самой середине Волги миной достал. И не доплыл никто. Я ждал, ждал, а потом подумал схожу-ка на шестьдесят вторую.

Перминов вышел из землянки вместе с отъезжающими и, оглядев светлое небо, сказал:

— Облака есть, да небольшие, правда. Ничего, доедете, моторист опытный, сталинградский паренёк, рабочий. Прощаясь с Крымовым, он сказал:

— Обратно будете ехать, может быть, у нас докладик сделаете?

Отъезжающие молча пошли следом за красноармейцем-связным, который повел их не туда, где лежали штабеля припасов, а по опушке леса. Они прошли мимо разбитой машины-трёхтонки, мимо могильных холмиков с небольшими деревянными обелисками и звёздочками. Было так светло, что ясно виднелись написанные чернильным карандашом фамилии и имена погибших сапёров и понтонёров, рабочих переправы.

Красноармеец с термосами на ходу прочёл:

— Локотков Иван Николаевич, — и добавил: — Отдыхать пошёл, тезка мой...

Крымов чувствовал, как растёт в душе тревога. Казалось, что через Волгу в эту светлую ночь ему живым не перебраться. Ещё сидя в землянке, он каждый раз подумывал:

«Не последний ли это табуретик, на котором мне пришлось сидеть?.. Не свою ли последнюю кружку чая в жизни допиваю?..»

И когда меж густой лозы засветлела Волга, он подумал: «Ну, Николай, дошагай положенное тебе на земле». Но спокойно дошагать Крымову не пришлось. Тяжёлый снаряд разорвался в лозняке — красный, рваный огонь засветился в огромном клубе дыма, и оглушённые люди, кто где стоял, попадали на холодный сыпучий прибрежный песок.

— Сюда, в лодку давайте! — крикнул сопровождавший связной, точно в лодке было безопасней, чем на земле.

Никто не пострадал, только в оглушённой голове шумели, шуршали, позванивали пузырьки.

Громко стуча по дощатому дну сапогами, люди прыгали в лодку.

К Крымову наклонилось худое, молодое лицо человека в замасленной телогрейке, и голос, полный непередаваемого спокойствия и дружелюбия, произнёс:

— Вы здесь не садитесь, запачкаетесь маслом, на той скамеечке вам удобнее будет.

Тот же необычайно спокойный человек обратился к стоящему среди лозняка связному:

— Вася, ты ко второму рейсу принеси сегодняшнюю газетку, я ребятам в Сталинграде обещал, а то к ним только завтра она попадёт.

«Удивительный парень», — подумал Крымов, и ему захотелось сесть поближе к мотористу, расспросить его — как зовут, какого он года, женат ли.

Подполковник протянул мотористу портсигар и сказал:

— Закуривай, герой, какого года? Моторист усмехнулся:

— Не всё ли равно, какого года? — и взял папиросу. Застучал мотор, ветки лозы похлопали по борту, распрямляясь с шуршащим шумом, и лодка стала выходить из затона на волжский простор. Запах бензина и горячего масла заглушил речную свежесть, но вскоре спокойное и ровное дыхание ночной воды пересилило все другие запахи.

Крымов напряжённо вслушивался в похлопывание мотора — не барахлит ли, не заглохнет ли. Он слышал уж несколько рассказов о том, как катеры с внезапно испортившимися, либо разбитыми снарядным осколком моторами прибывало к центральной пристани, прямо в лапы к немцам.

И, видимо, спутники его думали о том же.

Капитан спросил:

— А весел у вас, на всякий случай, нету?

— Нету, — ответил: моторист.

Подполковник, поглядывая на худое лицо моториста, на его длинные тонкие пальцы, запачканные в масле, ласково сказал:

— Видать, наш механик спец, зачем ему вёсла? Моторист кивнул:

— Вы не беспокойтесь, мотор хороший.

Крымов посмотрел вокруг. И картина, которую он увидел, так захватила его, что он забыл о своих тревогах.

На широком волжском плесе дышало и переливалось продолговатое, суживающееся к югу, серебристое поле. Волны, поднятые моторной лодкой, как дивные, голубоватые подвижные зеркала струились за кормой. Огромное небо, светлое и лёгкое, в звездной пыли, стояло над рекой и широкими землями, лежащими на восток и на запад.

Картина ясного ночного неба, торжественно блещущей реки, могучих, светлых в ночной час, холмистых и равнинных земель обычно связывается с ощущением величавого покоя, тишины, плавного, медлительного движения. Но не была тиха волжская ночь! Раскалённый отсвет боевого огня дрожал над холмами Сталинграда, над белыми, залитыми лунным светом зданиями, раскинутыми на десятки километров вдоль Волги.

Как мрачные крепости, высились чёрные заводские цехи. Медленный грохот, сотрясая небо, воду и землю, шёл из Заволжья, — то вела огонь советская артиллерия. Голубизна

осенней ночи была прошита тысячами красных нитей, это двигались трассирующие снаряды и пули, то одиночные, то густым роем, то вонзающиеся коротким копьём в землю и стены домов, то плавно растягивающиеся на половину ясного небосвода. Глухо гудели, кружа над Сталинградом, тяжёлые ночные бомбардировщики. Пучки цветных, красных и зелёных нитей, прорезая воздух расходящимся конусом, плыли к самолётам от земных зенитных полуавтоматов, причудливо скрещивались с теми расходящимися конусами трассирующие пуль и снарядов, которыми ночные бомбардировщики пытались подавить зенитную оборону на земле.

Разрывы тяжёлых бомб розовыми зарницами вспыхивали среди залитых лунным светом улиц и мгновенно растворялись в светлом воздухе. А над Волгой свистело и выло железо, мины рвались в воде, и сиреневые, синие куски пламени вспыхивали и гасли среди бегущей воды, среди вдруг вскипавшей золотисто-белой пены.

В первый миг казалось, что эту гремящую, раскинувшуюся на десятки километров кузницу, полную огня и движения, нельзя объять, нельзя понять. Но это не было так. Наоборот, с удивительной рельефностью выступали, становились видны не только главные силы — два молота и две наковальни битвы, — но и отдельные быстро текущие схватки между домами, между двумя окнами, между кружащим в небе бомбардировщиком и зенитной батареей на земле, всё это вдруг делалось понятным, ощущалось в своём движении, развитии, напряжении. Это был дышащий, живой чертёж войны, где пунктирные огненные трассы, огни взрывов и пулёмётных очередей прочерчивали на тёмносиней кальке лунного неба контуры и силовые узлы огромной битвы.

Один из холмистых участков северней заводов особенно ярко и густо рдел вспышками артиллерийских залпов, они возникали то длинной чеканной цепочкой, то отдельными пучками, то вдруг весь кусок земли мерцал, пылал переливающимися огнями. Видимо, это было место сосредоточения немецких артиллерийских средств, подготавливающих ночную атаку в районе заводов.

И вот из Заволжья поднялись сотни огненных, искрящихся парабол, они широким фронтом вознеслись над тёмным лесом, поползли к Волге, красной, широкой дугой встали над ней. В этот миг до сидевших в лодке достиг протяжный, воющий звук, который трудно с чем-либо сравнить, кроме оглушающего свиста пара, одновременно выпущенного десятками, а, может быть, сотнями огромных паровозов.

Светлые параболы, достигнув высшей точки над Волгой, плавно устремились вниз, вонзились в землю, и огневое кипение поднялось на холмах как раз там, где немцы сосредоточили тяжёлые калибры своей артиллерии. И тотчас затрещали железные барабаны, забив все звуки битвы, — это воздух, судорожно сжимаясь и растягиваясь, передавал грохотание того града, каждая градина которого способна сокрушить железобетонную стену...

Когда рассеялся светящийся туман, земля на холмах уже более не рдела ядовитыми вспышками немецких артиллерийских залпов, их выбило могучим сводным залпом нескольких гвардейских дивизионов реактивных миномётов — «катюш».

Как ясно глаза, уши и радостно холодевшее сердце Крымова поняли всё, что происходило в эти секунды. Он точно увидел и быстроглазых наблюдателей, кричащих данные для прицела, и радистов, передающих через Волгу эти данные, и нахмурившихся командиров дивизионов и полков, ждущих приказа, и седенького артиллерийского генерала в блиндаже, следящего за стрелкой часов-хронометра, и гвардейцев-миномётчиков, отбегающих от запущенных «катюш».

В моторка все заговорили, стали закуривать, только красноармеец, везущий молоко, сидел молча, не двигаясь, прижимая к груди термосы, похожий на кормилицу, держащую на руках младенцев.

Когда моторная лодка вышла на середину Волги, началась борьба между тёмными бастионами заводских цехов. Издали казалось, что высокие стены цехов расположены очень близко одна от другой. Вот на одной из них вспыхнул огонёк, и короткая трасса вонзилась в

стену соседнего цеха. Очевидно, немецкий артиллерист выстрелил прямой наводкой по цеху, в котором засели красноармейцы. Тотчас от тёмной стены советского бастиона отделилось быстрое огненное копьё и вонзилось в стену немецкого цеха. А через несколько мгновений десятки таких огненных копий и стрел, пучки трассирующих очередей, раскалённые, светящиеся мухи трассирующих винтовочных пуль замелькали в воздухе. Тёмные стены стояли, подобно грозovým тучам, и молнии сверкали между ними...

Крымову подумалось, что ведь действительно эти цехи полны электричества, что миллионы миллионов вольт определяют огромное напряжение двух противоположных энергий, двух мировых стихий.

В эти минуты Крымов забыл о том, что каждую секунду хрупкая моторка могла погибнуть, забыл, что он не умеет плавать, забыл о своём предчувствии в ожидании переправы. Его удивило, что спутники его сидели, пригнувшись, а один из них даже прикрыл глаза ладонью. А ведь удивляться тут было нечему — вокруг густо и грозно гудели невидимые стальные струны, натянутые над самой водой.

И было в этой потрясающей картине нечто, что делало её не только величественной и суровой, а и прекрасной и трогательной — это то, что рваное пламя и гром ночной битвы не тушили красок лунной осенней ночи, не осыпали колышущейся, переливающейся на волжском просторе белой пшеницы, не дробили задумчивую тишину высокого неба и нежной грациозной печали звёзд.

Удивительным образом этот тихий и высокий мир русской приволжской ночи слился с войной, и то, что не могло существовать рядом и вместе, существовало, объединяя в себе всю ширь боевой страсти, дерзости и страдания с покоем, примирённой печалью и задумчивой красотой.

Крымов вспомнил девушек, танцевавших накануне в Ахтубе при отсветах сталинградского побоища, вспомнил то волнение, которое он ощутил, глядя на них, и вчерашнее почему-то связалось в его памяти с другим, далёким воспоминанием: это было в день, когда он сказал: Жене о своей любви и она долго и молча смотрела ему в глаза... Но сейчас эти мысли уж не вызывали в нём печали

Когда моторка приблизилась к правому берегу, на воде стало спокойней, снаряды и мины переносило высоко над головой.

Вскоре лодка с выключенным мотором упёрлась носом в прибрежные камни. Пассажиры вышли на берег и стали подниматься по тропинке, ведущей к штабным блиндажам.

После напряжения, пережитого на воде, особенно приятно было вновь ощутить ногами землю, неровность камней, комки глины — и невольно хотелось поскорей подалее отойти от реки.

А за спиной послышался негромкий стук мотора, лодка вновь шла через Волгу к левому берегу, выходила на стрежень, где кипели клочья воды, изодранной взрывами.

Крымов подумал, что, поспешно выскакивая из лодки, он и спутники его забыли проститься с мотористом. Наверное, моторист потому и усмехнулся, когда подполковник перед переправой спросил, какого он года рождения. Вот также и с мотором — вначале прислушивались к малейшим перебоям, а стали приближаться к берегу — и перестали замечать, работает ли мотор или выключен вовсе.

А в это время новые, сильные впечатления охватили Крымова — он шёл по земле Сталинграда.

Конец первой книги.